



Настоящий друг русских классиков

**И. Репин, Л. Толстой, И. Айвазовский
и другие современники
в дневниках и письмах
АЛЕКСАНДРА ЖИРКЕВИЧА**



МОСКВА
«Художественная литература»
2017

УДК 82/89

ББК 84

П 11

**Издано при содействии Постоянного Комитета
Союзного государства**

Подготовлено к печати

Институтом мировой литературы им. А. М. Горького РАН

Научный редактор М. И. Щербакова,
доктор филологических наук, профессор,
зав. отделом русской классической литературы ИМЛИ РАН

Составители: Н. Г. Жиркевич-Подлесских, М. И. Щербакова

Рецензенты: Д. С. Московская, Е. В. Николаева

Благодарим за помощь в подготовке материалов:
Е. В. Антонову, Н. В. Голант, Е. А. Самофалову,
А. А. Самофалова, Ю. В. Чугунову

Оформление художника Татьяны Погудиной

- П 11 Настоящий друг русских классиков. И. Репин, Л. Толстой, И. Айвазовский и другие современники в дневниках и письмах Александра Жиркевича. — М.: ООО «ИИА «Пресс-Меню», 2017. — 592 с.: ил.

Книга представляет собрание мемуаров, писем, исторических документов и очерков об истории Северо-Западного края Российской империи. Их авторы связаны семейными узами. Род Жиркевичей, имевший в далеком прошлом польские корни, в XIX в. был уже накрепко связан с Россией, вписав в историю своего нового отечества многие известные имена. И. С. Жиркевич губернатор Витебска; его внук А. В. Жиркевич военный юрист, генерал-майор, литератор, мемуарист, коллекционер, собиратель произведений искусства, самоотверженно служивший делу сохранения и влияния русских культурных традиций на развитие просвещения, науки, искусства в Северо-Западном крае. Перед читателем раскрывается целая эпоха в истории Белорусской земли, в ее государственном, экономическом и культурном развитии; предстают неизменно актуальные для всего края вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений; отражены специфические особенности бытового уклада, впитавшего и переработавшего в себе вековые устои издавна соседствовавших этносов.

УДК 82/89

ББК 84

ISBN 978-5-280-03847-9

© Постоянный Комитет Союзного государства, 2017
© Жиркевич-Подлесских Н. Г., 2017
© Щербакова М. И., 2017
© Оформление. Погудина Т. Ф., 2017

«...Тому, кто старину пытающим умом
Способен озарить, любовью к правде сильный,
И может запылать над хартиєю пыльной!»

Александр Жиркевич

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Эта книга — пропуск в жизнь удивительных людей, которые творили, мыслили и дружили на заре XX века. Александр Жиркевич, уроженец Витебска, эрудит, наделенный многими талантами, долгие годы был связан духовными и душевными узами с Ильей Репиным, Львом Толстым, другими выдающимися современниками. Он вел подробные дневники, в которые записывал свои беседы с ними и просто примечательные факты, позволившие сохранить дух эпохи. Усадьба Репина «Здравнево» была местом, где друзья говорили о высоком и о житейском.

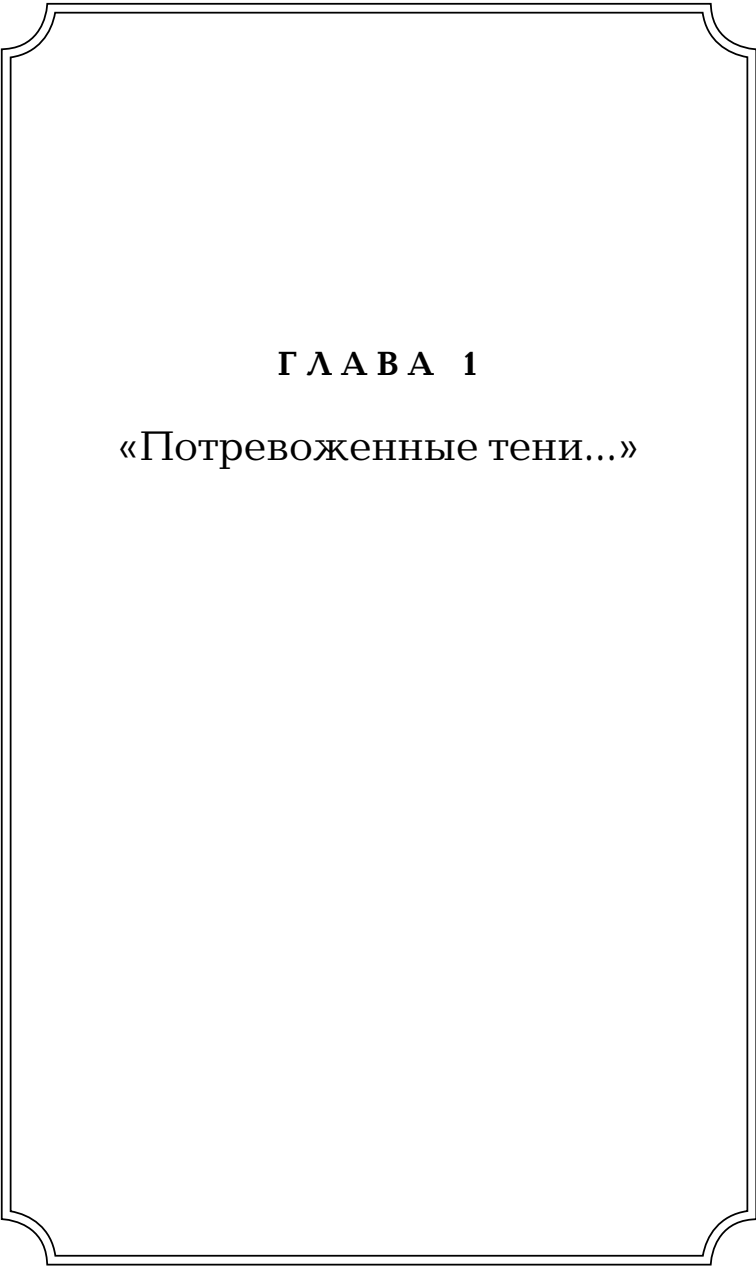
Потомки Жиркевича сохранили наследие деда. Его внучка Наталья Григорьевна Жиркевич-Подлесских, ныне проживающая в Подмоскowie, бережно расшифровала и обработала часть дневниковых записей. Переписка Жиркевича с Львом Толстымполнила архив писателя, хранящийся в его музее.

В основе Союзного государства, которое создали и строят Беларусь и Россия, — человеческая общность людей, взаимная симпатия, которая веками спланивала наши народы. Вместе работали, воевали и побеждали, были единомышленниками. Воспоминания Александра Жиркевича нам особенно дороги, потому что он документально сохранил эту атмосферу общения со своими великими друзьями.

Ученые из Института мировой литературы имени А. М. Горького РАН помогли на основании дневников создать эту книгу. Так семейная история Жиркевичей стала любопытной страницей союза двух народов и Союзного государства в целом.

Государственный секретарь
Союзного государства
Григорий Рапота





ГЛАВА 1
«Потревоженные тени...»

Записки А. В. Жиркевича об истории рода, составленные для дочери Марии

В последние наши свидания ты высказала такой живой интерес к нашему семейному прошлому и желание, чтобы я рассказал тебе о нем, что я, пользуясь обильными досугами, вызванными невольным пребыванием моим в Москве, хочу сообщить тебе кое-что по интересующему тебя вопросу. <...>

Мой род — старопольский, носивший фамилию Сфурц-Жиркевичей, некоторые предводители которого были придворными при дворах польских королей, потом измельчал, обеднел, из Польши перешел в Россию и стал православным. Ведь мой дед генерал Иван Степанович Жиркевич, равно как и отец его, были православными. Иван Степанович — гвардейский офицер, герой <войны> 1812 года, личный адъютант графа Аракчева, был впоследствии губернатором Симбирским и Витебским и скончался в большой нужде (в отставке) в Полоцке в 1848 году от холеры. Могилы его и его жены затеряны.

Дед был женат на Александре Ивановне Лаптевой, дочери известного генерала Лаптева. Остальные дочери генерала Лаптева вышли замуж за Гедеонова, Апухтина, Измайлова, Гольцова. Отсюда наше родство с этими фамилиями, в том числе и с Герардами, по матери их (рожд. Пирамидовой), родственницы Ивана Степановича Жиркевича.

Известный директор Императорских Театров Александр Михайлович Гедеонов¹ приходился близким родственником Ивану Степановичу Жиркевичу. Двоюродный брат моего отца генерал Николай Александрович Измайлов² был женат на род-

¹ *Гедеонов Александр Михайлович* (1790–1867). В 1833–1858 гг. директор петербургских и московских императорских театров. При нем артисты императорских театров 1-го разряда после 20-летней службы стали получать почетное гражданство.

² *Измайлов Николай Александрович* (1818–1880) — генерал-майор, член Совета Главного управления коннозаводства.

ной сестре¹ композитора Михаила Ивановича Глинки. Саша Измайлов, которого ты знаешь, сын его². Сыном их был и заведующий Конным Дубровским заводом великого князя Дмитрия Константиновича генерал Федор Николаевич Измайлов³.

Мать моя, а твоя бабушка, была рожденная Астафьева, дочь Марии Иосифовны Астафьевой, которую ты знала и которая умерла в Вильне, и Александра Ивановича Астафьева. Мать этого Астафьева была княжна Кропоткина. Отец же моей бабушки Марии Иосифовны Астафьевой — Новгородцев — был комендантом какой-то крепости на Востоке в чине полковника.

Я знал по Петербургу родную сестру Александра Ивановича Астафьева — старую деву сестру милосердия Астафьеву.

Скажу несколько слов о предках Мамочки. Отец Мамочки Константин Михайлович Снитко был Виленским уездным предводителем дворянства, богатым помещиком, жившим то в главном имении Карльсберг (Виленской губ. Вилейского уезда)⁴, где ты часто гостила у дяди Андрюши с Мамочкой, Гулей и сестрами. Женат он был, как я уже сказал, на Марии Алексеевне Пузыревской. У него были братья — генерал Адам Михайлович Снитко, о котором я тоже уже упоминал, Осип Михайлович и др. Родители Снитко были униаты⁵ и как ктиторы⁶ погребены в склепе под церковью в селе Верхнем Виленской губернии Дисненского уезда. Одна из сестер Константина Михайловича Снитко была замужем за князем Друцким-Любецким. У профессора Павла Васильевича Кукольника, дяди Мамочки, были два брата — Нестор Васильевич Кукольник, известный

¹ Глинка (Измайлова) Ольга Ивановна (1825–1859).

² Глинка-Измайлов Александр Николаевич (1856–1942), артист оперы, камерный певец и педагог.

³ Измайлов Федор Николаевич (1852–1911), генерал-майор.

⁴ Имение СниткоКарльсберг (официальные варианты написания — Калисберг, Кальсберг, совр. Кальзберг) находилось в 6 км на юго-восток от местечка Радошко-вичи. Во время Первой мировой войны имение сгорело. После подписания в 1921 г. мирного договора между Польшей и Россией имение оказалось на самой границе с Польшей.

⁵ Униатство возникло в 1596 г. по решению Брестской унии, объединившее в своем учении православные обряды и католические догматы (при подчинении Папе Римскому). Этому решению предшествовали сложные исторические и политические процессы. Более всего было распространено в западных областях Украины и Белоруссии, на территории нынешней Балтии.

⁶ Ктитор (*греч.* ktitor) — основатель, создатель. Иногда этим именем называли лицо, на средства которого был построен или украшен иконами, фресками храм.

писатель, и Платон Васильевич Кукольник — друзья Глинки и Карла Брюллова.

После отца Константина Михайловича Мамочка по разделу с братом Андриюшей получила имения Богданово Виленской губернии Дисненского уезда, находящееся в 26 верстах от вышеупомянутого села Верхнего.

Генерал Осип Михайлович Снитко был женат на Анне Петровне, жившей после его смерти в имении Мазурино, недалеко от имения Богданово. У них были дети — Миша, Юзя (Осип), Петя Снитко, все сначала воспитывавшиеся в кадетском корпусе. Где они теперь, не знаю.

Надо тебе заметить, что на мраморных досках храма Христа Спасителя в Москве упоминаются в качестве героев 1812 года Иван Степанович Жиркевич и его родные, Сфурс-Жиркевичи, как убитые, получившие боевые знаки отличий. У Ивана Степановича Жиркевича были дети Владимир (мой отец), дочь Зинаида Ивановна (в замужестве Ган) и приемная дочь Александра Ивановна Нахтман. У Зинаиды Ивановны Ган были дети — Володя, Леша и дочь Саша, вышедшая замуж — за кого не помню¹. Жива ли она, не знаю? И. С. Жиркевич, дед мой, сделавшись губернатором, перестал употреблять приставку Сфурс, напоминая о польском происхождении его предков. Отец мой и я тоже ее отбросили. Мы стали именоваться просто Жиркевичами.

Андриюша Снитко (брат Мамочки) был женат на Елизавете Никитичне Власовой, дочери почтово-телеграфного чиновника. У них дети: Всеволод-Сева (убитый в Германскую войну), Адя (Андрей), ныне здравствующий, и Верочка (в замужестве за депутатом Польского Сейма от белорусов Тарашкевичем, живущая в Вильне)².

Художник Павел Ильич Пузыревский был женат на Елене Александровне Сталевской, дочери незаконного сына Александра Сталевского, который был арендатором одного из имений Андриюши Снитко. Елена была служанкой в доме Ильи Алексеевича Пузыревского, где Павел Ильич с нею и сошелся. Прижив с нею ребенка, он имел порядочность на ней жениться и тем загладить свой поступок. У них дети — Павлуша (Павел), Котя

¹ Сейчас припомнил — за Зеньковича. У нее были дети. Мы с Мамочкой хорошо знали дочь ее Зинаиду Осиповну Зенькович, одно время жившую в Петербурге. — *Прим. А. Жиркевича.*

² См. об их судьбе: <http://www.proza.ru/2015/12/05/2052>

(Константин) и Петя (ныне здравствующий, живущий в Ленинграде).

Сестра Елены Алексеевны Пузыревской (рожд. Сталевская), которую мы звали Зосей, была нянькою у твоего брата Гули и других наших детей. Теперь, получив от Елизаветы Никитичны Снитко именина, она стала помещицей в Виленской губернии (Польша).

По деду Ивану Степановичу Жиркевичу нам приходились родными Михайловские, Полосковы, Валентин Сергеевич Сфурс-Жиркевич (которого ты знала по Москве).

По бабушке моей, Марье Иосифовне Астафьевой, рожденной Новгородцевой, и ее предкам мы были в родстве с князьями Голицыными, Аксаковыми (писателями) и другими видными лицами, но я их не знал. Знал только Новгородцевых — вдову брата бабушки, Николая, Александру Ивановну Новгородцеву и сыновей ее Николая и Александра Новгородцевых (все они давно умерли).

Со стороны Мамочки я знал еще дядю ее, артиллерийского генерала Якова Ивановича Костогорова, и его детей, а равно Лунских Ивана Ивановича и Ольгу Ивановну и детей их Володю, Колю и Олю (Ольгу Ивановну Лунскую, которую ты, верно, помнишь еще по Вильне. Жива ли она — неизвестно).

Кстати будет заметить, что отец мой, Владимир Иванович, рано стал пить и играть в карты. Женившись на моей матери, он, будучи артиллерийским офицером, продолжил ту же жизнь. Это порвало связи его с роднею, которая избегала общения с ним и лишь изредка оказывала ему протекции, когда, уйдя с военной службы, он стал кочевать с места на место по службе гражданской. Благодаря этому, мне при поездках моих в Петербург в качестве армейского офицера пришлось самому знакомиться с моей знатной, хорошо поставленной в столичном обществе родней. Последняя, однако, меня скоро полюбила, так что когда я ввел в нее Мамочку в качестве моей молодой жены, то ее приняли там очень тепло. Впоследствии семьи Герардов, проезжая через Вильну, останавливались у нас, а мы (я, Мамочка, покойный Гуля и Варя¹) гостили у Николая Николаевича Герарда и его жены в их имении Демьянки Могилевской губернии Гомельского уезда. Я же гостил в имениях Владимира Николаевич Герарда и Веры Александровны Добровольской в Волын-

¹ *Жиркевич Варя* (1892–1903). Умерла в возрасте 11-ти лет.

ской губернии. Когда я был в Академии, то подкармливался на родственных обедах у Герардов и Добровольской, что не спасло меня от тифа.

У всех моих родных были дочери. Когда они стали выходить замуж, то родство наше расширилось. Сын Марьи Николаевны Врангельфон-Гюбенталь Леонид (Лоло) Владимирович женился на Храповицкой¹, внучке генерал-адъютанта Храповицкого, владельнице майората, внучке статс-дамы баронессы Вревской, генерал-адъютанта графа Гейдена и других высокопоставленных лиц. Будучи в Академии, я был на их свадьбе в качестве шафера. Надя Добровольская вышла замуж за гвардейского офицера Эллиса, сына коменданта Петропавловской крепости генерала Эллиса². Я тоже был шафером на их свадьбе. Мой родственник Александр Николаевич Апухтин женился на дочери свитского генерала Арапова. Дочь Ивана Николаевича и Натальи Николаевны Герард вышла замуж за офицера Лейб-гвардии Преображенского полка Тилло.

Вот в какое общество ввел я покойного нашего Гулешу, когда по окончании Морского корпуса он стал морским офицером. И его там оценили и полюбили.

На этом оборву я мою заметку о наших предках и родных и стану продолжать описание нашей семейной жизни. <...>

Будучи бедным офицером, я вошел в дом моей жены с убогим багажом, сразу же попав на положение обеспеченного человека. У Мамочки были доходы с имений, имелся небольшой капитал. Жила она с тегей Пельской (Андрюша учился в Рижском политехникуме) безбедно, хотя и скромно. Я застал в доме ту роскошную мебель, принадлежавшую Варваре Ивановне Пельской, которую ты помнишь с детства и которую Тетя, умирая, оставила нам по завещанию. Теперь она — при бегстве нашем в 1915 году из Вильны от немцев — раскрадена управляющим того дома, что на Набережной, в котором мы жили в последнее время. В дому была кухарка, она же и горничная. Кроме того, одно время жила с нами старая экономка — немка Домброся, много лет находившаяся в семье Кукольников-Снитко. По наследству Мамочка от разных предков получила много хороших, ценных вещей. Все это наполняло довольно обширную, уютную нашу квартиру, в которой было много цве-

¹ Храповицкая Зинаида Александровна.

² Эллис Александр Вениаминович (1825–1907).

тов, на столах лежали дорогие издания. На стене висел дивный портрет Павла Васильевича Кукольника работы друга его Карла Павловича Брюллова (ныне отданный мною в Ульяновский художественный музей). Все еще дышало фамильными воспоминаниями В. И. Пельской, Кукольников, Пузыревских. Когда пошли у нас дети, Домброся переехала к Андрюше Снитко в имение Карльсберг, доставшееся ему по разделу. Но зато стали появляться в доме у нас кормилицы, бонны, гувернантки (немки, француженки), учительницы музыки, учителя рисования и т.д. Средства были. На образование же ваше и воспитание Мамочка средств не жалела и, как прекрасно знавшая языки немецкий и французский, а также недурно и английский, недурно певшая и игравшая на рояле, принимала живое участие в вашем образовании.

Будучи бедняком, не принеся с собою ничего, я вошел в дом Мамочки так, как будто бы всегда жил в нем в полном довольстве, на всем готовом, и Тетя, с которой установились у меня еще ранее, до женитьбы, хорошие отношения, и Мамочка были настолько воспитаны в лучшем смысле этого слова, что я не чувствовал униженности положения человека, живущего на чужих хлебах. И, по правде сказать, я скоро привык к удобствам, обстановке, хорошему столу и другим преимуществам вполне обеспеченной обстановки, хотя всегда благодарно относился к членам приютившей меня у себя стародворянской семьи.

Со временем, когда я перешел в Военно-Судебное Ведомство, т.е. получил и положение в обществе и стал получать порядочное содержание, я стал чувствовать себя несколько лучше как вносящий и свою долю в общую семейную кассу на жизнь и удовольствия.

С дядей Андрюшей мои отношения скоро тоже наладились, так что мы с ним стали говорить и переписываться на ты. Когда между ним и Мамочкой, согласно завещанию их родителей, произошел раздел, Мамочка в первое время сама вела всю скучную, сложную переписку по имениям с арендаторами (все имения ее были в аренде). При ее добросовестности, доброте, боязни обидеть кого-либо, желании помочь ближнему, облегчить чужую участь, она иногда по ночам, устав возиться с первыми детьми в течение дня, засиживалась за перепискою. Долго я, боясь вмешиваться в ее имущественные дела, чтобы не быть заподозренным в корыстолюбии, не вмешивался в эту сторону на-

шей семейной жизни. Но наконец Мамочка, которую как не ездившую по имениям нередко эксплуатировали арендаторы, совершенно выбилась из сил, и я предложил услуги по сношениям с ними. Мамочка выдала мне полную доверенность, до права продажи ее имущества включительно, после чего я стал совершать поездки по имениям (в Виленской, Ковенской, отчасти Минской губерниях) и вести деловую переписку. Так продолжалось до 1915 года, когда мы, спасаясь от немцев, покинули Северо-Западный край.

Не скажу, чтобы наша семейная жизнь была безоблачна. Хотя Варвара Ивановна Пельская и была прекрасно воспитанная, добрая и благородная старушка, но характер ее был неровный. А при моей вспыльчивости и щепетильности, у меня с нею выходили иногда столкновения, зачастую из-за пустяков. Отношения наши за последнее время жизни с нами Тети настолько стали неприятны, несмотря на усилия Мамочки наладить их, что Тетя незадолго до своей смерти переехала от нас к дяде Андрюше, в Карльсберг, где и умерла. До последних дней ее жизни у меня сохранились с нею вполне приличные отношения. Она до конца продолжала уважать меня и ценить как любящего свою семью семьянина, о чем при случае говорила знакомым и писала в письмах к своим друзьям. Быть может, и я не всегда был прав в наших домашних столкновениях. Теперь поздно разбираться в ошибках прошлого. Лучше считать себя виновным в недостатках характера и ошибках по отношению к ближним. Это я сейчас, набрасывая эти строки, и делаю.

Как счастливый сон пролетела моя семейная жизнь. Но разве я с моим вспыльчивым, упрямым, не всегда уступчивым характером могу считать себя вполне безукоризненным и чистым по отношению к нашей чистой, святой, несравненной Мамочке (Мурочке, как вы, дети, ее звали иногда в детстве по известной сказке из кошачьей семейной жизни)?! Хотя я никогда не изменял Мамочке, а всегда благодарно-восторженно смотрел на ее семейные подвиги и добродетели, но мне иногда кажется, что в некоторых случаях я мог бы быть более мягок, уступчив в отношении ее. Но и тут поздно уже раскаиваться: прошлого не воротить! Неким утешением для меня служит, что наша Мамочка, умирая, при Кате и Тамарочке благословила меня и поблагодарила за то семейное счастье, которое я ей дал. Значит, она и меня простила, как в течение всей своей жизни прощала всех тех, кто был в отношениях к ней несправедлив... <...>

Конечно, появление детей еще более сблизило меня с Мамочкой, которая вся отдалась делу ухода за вами, вашего образования и воспитания. <...>

Много помогало нам то, что у нас были средства: доходы Мамочки с имений и проценты с денежных билетов, лежавших в банках; мое жалование, а иногда и гонорар за литературные труды. Тетя тоже вносила в нашу общую, семейную кассу какую-то сумму ежемесячно за ее содержание. Так что, когда спустя два-три года (а может быть, и в иной срок) я захворал уплотнением в верхушке легкого, могшим перейти в чахотку, результат перенесенного в бытность мою в Академии тифа, то у нас хватило средств для моей поездки в Крым на осенние месяцы для лечения и, к слову сказать, исцеления. <...>

Следует тебе заметить, дорогая Манюточка, что как среди Мамочкиных предков, так и среди предков со стороны моих родителей женщины в нравственном, духовном отношении всегда были выше, чище, замечательнее мужчин. Таковы были — с моей стороны — жена Ивана Степановича Жиркевича Александра Ивановна (рожд. Лаптева), мать его Евфросиния Львовна Жиркевич и другие. Со стороны же Мамочки оставили по себе самые отрадные воспоминания Юлия Алексеевна Кукольник (рожд. Пузыревская) и Мария Алексеевна Снитко (тоже рожд. Пузыревская, мать Мамочки). О доброте этих женщин, особенно Ю. А. Кукольник, в жестокие времена крепостного права в замечательной памяти Мамочки нашей сохранились трогательные, назидательные легенды.

В имении Лабардзи Ковенской губернии, доставшемся Мамочке по наследству и разделу с братом, доживала свой век на полном нашем содержании престарелая пани Гавдзилевич — одинокая нищая старушка, полька, когда-то вместе с братом арендовавшая имение, много жившая там, знавшая многих из его прежних владельцев — Кукольников и Пузыревских. В мои редкие приезды в Лабардзи эта Гавдзилевич сообщала много фактов, преданий, легенд фамильного характера, не с очень хорошей стороны рисуя мужской элемент предков Мамочки и, напротив, симпатично обрисовывая характеры и поступки женщин, живших в имении. В этих женских типах я находил некоторые чудные черты характера и жизни Мамочки. <...>

Не думай, дорогая Манюточка, что Мамочка наша принадлежала к тем миллионершам-барышням, которым ничего не стоило благотворить беднякам, уделяя им крохи от своих колос-

сальных богатств. Мне кажется, что тебе будет интересно знать о том, что из себя представляло состояние Мамочки, когда она вышла за меня замуж и вскоре после этого.

Отец Мамочки — Константин Михайлович Снитко¹, человек предприимчивый, благодаря наследству и умению устраивать свои дела, связям и находчивости, составил себе большое состояние, главным образом в имениях, их хозяйственном инвентаре и обстановке, унаследовав кое-что и при женитьбе на Марии Алексеевне Пузыревской², не бесприданнице. Но он вел слишком открытую светскую жизнь и в Вильне, и в имениях, куда выезжал на время, любил не отказывать себе ни в чем, имел на стороне, втайне от болезненной жены, сердечные привязанности, чванился своим положением предводителя дворянства, не уклонялся от кутежей, приемов и т.п. Все считали его богатым. Но когда он неожиданно и преждевременно от воспаления легких скончался в Вильне, оставив жену с двумя сиротами-близнецами на руках, то обнаружились крупные долги покойного, настолько значительные и неотложные, что поднят был даже в родственном кругу вопрос о том, что следует в пользу заимодавцев отказаться от наследства. Мария Алексеевна Снитко, по натуре тепличное <существо>, не знавшее жизни и людей, при жизни мужа не посвящавшаяся в его денежные, имущественные дела, оставшись вдовой на скудной правительственной пенсии, в первое время совершенно растерялась, <оказавшись> лицом к лицу с действительностью, то есть с отсутствием средств для продолжения существования на прежних началах. Но тут ей повезло на поддержку группы друзей ее покойного мужа, помещиков, соседей по имениям, обязанным когда-то влиятельному предводителю дворянства Константину Михайловичу. Они взяли в свои руки дела вдовы его, выяснили наличность земель, инвентаря, обстановки, долгов и умело, серьезно подвели итоги. В конце концов оказалось, что если продать все имущество, находившееся в городе и по имениям (экипажи, посуду, скот, земледельческие орудия, запасы зерна и других припасов и материалов для платья, белья и т.п.), то, уговорив некоторых, наиболее настойчивых, упрямых век-

¹ *Снитко Константин Михайлович* (1812–1876) с 10 августа 1863 г. являлся вилейским уездным предводителем дворянства, почетным мировым судьей Сморгонского судебно-мирового округа; был награжден орденами Св. Анны, Св. Станислава 2-й степени с императорскими коронами, Св. Владимира 4-й степени.

² *Снитко Мария Алексеевна* (рожд. Пузыревская; 1828–1879).

селедержателей не настаивать на немедленной уплате долгов, можно спасти имения с наиболее нужным хозяйственным инвентарем. Так группа друзей покойного Константина Михайловича Снитко во главе с помещиком Свидзинским и поступила. В результате удалось уладить кризис, ввести Марию Алексеевну Снитко в права наследства и сделать ее и ее сирот обладателями довольно крупного, хотя и разоренного состояния. При том положении, в каком находились дела М. А. Снитко после смерти ее мужа, нечего было и думать о каком-либо крупном, планомерном хозяйстве, найме особого, опытного управляющего всеми имениями, увеличении доходов с последних. Как и при Константине Михайловиче, имения, кажется, кроме Карльсберга, где он часть года жил, находились в аренде. Тот же порядок пришлось продолжить и после его смерти, с той лишь разницей, что имения, лишенные крупного инвентаря, прежних ценностей, стали приносить и меньше доходов. С годами хозяйственная разруха по имениям, охватившая значительную площадь земли в 5–6 тысяч десятин с лесами, лугами, хозяйственными постройками, только углублялась, так как имения приходили все в больший упадок и доходы с них все уменьшались.

По духовному завещанию, в обход закона, Мамочка и дядя Андрюша должны были получить в наследство по равной части. Когда я женился на Мамочке, то застал оставшееся после Марии Алексеевны имущество в общем, еще нераздельном владении Мамочки и дяди Андрюши. Не были поделены между ними обстановка, золото, серебро, бриллианты, а также капитал небольшой, находившийся в банках в процентных бумагах. Доходы получались сообща, а всеми имениями заведовал дядя Андрюша, сам еще учившийся и живший почти безвыездно в Риге. Это, в свою очередь, еще более осложняло имущественные дела Мамочки. Дядя Андрюша, наезжавший в Карльсберг, попал по неопытности в лапы пройдохи, заведовавшего имением Карльсберг, — Сольца, опутавшего его векселями и разорявшего последнее, что в имении оставалось. Только вмешательство молодого Свидзинского (сына того Свидзинского, который выручил когда-то Марию Алексеевну) помогло отобрать от Сольца векселя, а самого его с его родней выгнать наконец из имения. В первые годы после женитьбы, до раздела между Мамочкой и ее братом, я из деликатности, чтобы меня не заподозрили в корыстолюбивых целях, уклонялся от вмешательства в

имущественные дела Мамочки и дяди Андриюши. Только потом, видя, что интересы Мамочки (а значит, и ваши, ее детей) страдают, я стал понемногу сам вникать в положение некоторых имений, заезжать туда на ревизию и входить в сношения с арендаторами (хотя все это и было не всегда приятно Мамочке, она боялась обижать брата, в честности и добрых намерениях которого и я никогда не сомневался).

Пришлось наконец приступить к разделу всего имущества по завещанию. Я и тут, придерживаясь моей политики невмешательства, держал себя в стороне от вопроса. В результате группа знакомых дяде Андриюше помещиков, которым Мамочка бесконтрольно доверила свои интересы, лучшее, благоустроенное имение Карльсберг, с домом, постройками, прекрасными лесами, признала нужным отдать дяде Андриюше, Мамочке же оставили мелкие, разбросанные на сотни верст друг от друга, притом в разных губерниях, именья и клочки земли. Мамочка (я уверен в том) была рада, что лучшая часть досталась ее брату (и его семье — в будущем). При разделе золотых, серебряных и бриллиантовых вещей Мамочка поступила так же: все лучшее отдала дяде Андриюше, беспокоясь лишь о том, чтобы не обидеть его и его семью. Зная Мамочкины взгляды и настроения, я во все это уже и не вмешивался, чтобы не огорчать и не тревожить ее.

Мне до сих пор непонятно, как добрый, благородный, немало услуг нам оказавший по возне с нашими именьями дядя Андриюша соглашался на подобные неправильности при разделе имущества между ним и сестрою. Не мог же он не знать, какие доходы с наших владений получаем мы в сравнении с тем, что приносит ему его Карльсберг с фольварками! Но Бог с ним! Сам он потом лишился всего, перенес и голод, и холод, и всяческую нужду, лишился на войне любимого сына-наследника (Севы) и умер, одинокий, на чужбине, в нищете¹.

Из всего же сказанного мною выше видно, что хотя мы с Мамочкой и имели состояние, но не такое уж большое, чтобы жить широко, в роскоши, ни в чем себе не отказывая, не нуждаясь в поддержке от моей службы. Мне же приходилось поддерживать материально бабушку до самой смерти и мать с сестрою довольно долго.

¹ 15 июня 1915 г. Всеволод Андреевич Снитко, служивший в кавалерии, погиб во время атаки на территории Галиции. Семья А. К. Снитко в 1915 г. выехала из Карльсберга в г. Глухов, где глава семейства умер в 1921 г.

Мамочка (Мурочка) никогда не отказывала мне в денежной поддержке на издание моих сочинений, на поездки в Петербург, на Кавказ для лечения. Немало денег своих она вложила в мои расходы по облегчению участи арестантов и раненых жертв войны. Наши кошельки никогда не были закрыты, когда вопрос шел о выдаче субсидий благотворительным учреждениям. Мурочка не жалела для моих знакомых в выдаче им крупных вспомоществований, когда дело касалось их участи. Так было ею поступлено по отношению к бывшему полковнику Аристову, во время службы на железной дороге растратившему крупную сумму вверенных ему по службе денег, и редактору Солоневичу, посаженному в тюрьму за невзнос наложенного на него штрафа. Мурочка обоих их выручила: один избавился от суда, другого выпустили из темницы.

Сейчас мне отраднo вспомнить, что наша Мамочка была любима моею роднею, особенно моими матерью и бабушкой, жившими в Вильне, и что я, в свою очередь, был в самых хороших отношениях с дядей Андриюшей и его семейством. И тут связующим всех нас звеном была «миротворица» Мамочка с ее удивительным тактом, уступчивостью и умением налаживать добрые отношения с самыми, казалось бы, неуживчивыми характерами. А к таким натурам, несмотря на все ее выдающиеся нравственные и умственные качества, принадлежала моя покойная мать — Варвара Александровна Жиркевич.

Упомянув мою мать, я вспомнил, что почти ничего не сообщил тебе, дружок, о тех моих родных по моей семье, с которыми я свел в Вильне Мамочку, когда на ней женился. Это — пробел, благодаря которому кое-что тебе будет непонятно из моего семейного прошлого. А потому, прежде чем продолжать повествование о моей личной семейной жизни, расскажу тебе о моих близких (попутно же и о моем детстве), хотя по многим тяжелым воспоминаниям мне это и не совсем приятно делать. Ты увидишь почему.

Отец мой Владимир Иванович, сын губернатора Ивана Степановича Жиркевича, воспитывался в Полоцком кадетском корпусе. Отец его, а мой дед, жил тогда с семьей в отставке, в крайней нужде в городе Полоцке, где и скончался. Он, по рассказам его сестры Зинаиды Ивановны Ган, был мальчик способный, особенно по математике, но шалун и сходилcя с дурными товарищами, которые рано научили его пить тайно, курить и развратничать. Несмотря на бывшее положение его отца и связи

его, благодаря дурному поведению, его выпустили в артиллерию. Кочуя с батареей по России, он очутился в городе Люцине Витебской губернии, где служил начальником инвалидной (или гарнизонной) команды мой дед по матери, Александр Иванович Астафьев, в чине майора. Семья его состояла из жены Марии Иосифовны (Осиповны) и бойкой, способной на всякие проказы дочери Вари, впоследствии моей матери. Отец мой влюбился в девушку, будучи сам беден и, кажется, не получив за мою мать приданого. В ноябре 1857 года в Люцине у них родился первый ребенок Саша — я, которого в честь дедушки Александра Ивановича окрестили Александром. После моего рождения дедушка вскоре умер. Мама и бабушка мне постоянно рассказывали, что это был честный, довольно крутого нрава служака, влюбленный в меня, своего внука, которого и на смертном одре баловал гостинцами, всегда лежавшими у него под подушкой. Сам же я дедушку совершенно не помню. Скоро батарея, в которой служил мой отец, ушла из Люцина и стала кочевать по России. В семье нашей родился еще мальчик Ваня¹, мой младший брат.

Надо тебе заметить, что бабушка Марья Иосифовна, жившая с детства с отцом и матерью среди степей (чуть ли не оренбургских), далеко от культурных центров, почти не получила никакого образования. До конца жизни она едва могла читать по складам и безграмотно писала. После ее смерти сохранился ее дневник, который она одно время вела, живя в Вильне. Он находится в наших фамильных бумагах, оставленных мною в Вильне. Это — очень трогательный семейный документ, характеризующий бабушку как женщину необразованную, простую, наивную, но в меня, в нашу Мамочку, в Гулешу влюбленную. Я хотел бы, чтобы ты когда-либо прочла эту тетрадь, сохранив ее для твоего потомства, если оно у тебя будет.

Мать моя за неимением в городе Люцине женского учебного заведения воспитывалась в частном пансионе польки Хлопицкой, где вместе с польками были и русские девочки, враждовавшие под командой мамы с польками, за что мама была прозвана последними в насмешку «казаком». Все преподавание велось в пансионе на французском языке, которого мама, поступаая туда,

¹ *Жиркевич Иван Владимирович* (1859–1920) — впоследствии чиновник при военно-юридическом ведомстве.

не знала. Но у нее, по ее собственному признанию, были хорошие способности, и она скоро не хуже других болтала, читала и писала по-французски (я помню маму в детстве, читавшую еще французские романы, под старость за отсутствием практики она почти совсем забыла французский язык).

Бабушка любила рассказывать мне и подраставшему Гулеше о своей жизни в степи, в крепости у своего отца, коменданта крепости полковника Новгородцева, о походах с мужем по степи с войсками, в которых он служил в тылу боевого отряда, с удобствами и провизией, в собственной коляске, на собственных лошадях. Об охотах мужа на перепелов в степи (по вабику — особой дудочке, приманивавшей птицу). Одно время после смерти мужа бабушка жила отдельно в качестве «интересной вдовы со средствами, за которой многие безрезультатно ухаживали», как она выражалась. Потом в Бессарабии, где стояла батарея моего отца (в Бендерах или Тирасполе), она переехала к нам и более с нами почти до самой смерти своей не расставалась. В моей поэме «Картинки детства»¹ я описал довольно верно и бабушку, и ее появление в нашем доме, вообще многие типы и сцены, связанные с моим детством. Два издания этой поэмы (по одному экземпляру вместе с другими моими печатными произведениями) хранятся в нашем фамильном архиве в Ульяновске.

Как только начинаю я помнить себя, все мои воспоминания связываются у меня с личностью моей баловницы-покровительницы бабушки и с денщиком моего отца (когда служили в батарее в Бессарабии) солдатом Корнеем, тоже описанным благодарно в упомянутой выше поэме. Он был у нас не только денщик, но друг дома, моя и брата моего нянька, повар, прачка, все что угодно. Родители мои, существовавшие лишь на скромное офицерское жалование моего отца, жили скромно, обходились без посторонней прислуги. К тому же у отца к тому времени стал развиваться порок его — пьянство, который и свел его преждевременно в могилу.

Мне не хочется осуждать отца, но не могу и умолчать о том, что, благодаря этому отцовскому недостатку, жизнь нашей семьи была всегда полна всякого рода неприятностями, раздорами, осложнениями. Я и сейчас, вспоминая об отце — человеке

¹ «Картинки детства» — поэма Жиркевича (псевд. А. Нивин). Впервые: отд. изд. — СПб., 2-е изд. перераб. — Вильна, 1900.

честном, по-своему любившем семью, способном математике, — не могу найти в себе благодарного к нему отношения. Любя мать, я даже питал к нему по временам из-за страдающей от семейных неурядиц матери враждебное настроение.

Помню, что из Бессарабии по выходе отца в отставку мы переехали в Петербург, где отцу через родных удалось получить скромное место полицейского офицера (во времена градоначальства генерал-адъютанта Трепова). Отец был на хорошем счету, поневоле, из боязни быть прогнанным со службы, почти совсем перестал пить. Но жили мы бедно, вечно нуждаясь, не держа прислуги. А тут, как на беду, родились у мамы близнецы — Коля и Володя, которых она сама кормила грудью и которые через год один за другим умерли. Жили мы у Обуховского моста и на Царскосельском проспекте. Уход за близнецами принудил нашу мать совсем забросить нас, старших детей: мы росли на дворах, с уличными мальчишками, научились от них сквернословить и т.д. Из моих петербургских воспоминаний я сохранил: задыхание от крупа (от которого спас меня доктор Я. Б. Бретцель — тот самый, который в бытность мою в Академии не дал мне умереть, заброшенному в меблированных комнатах, от тифа) и первые музыкальные впечатления. Мы жили на Царскосельском проспекте в доме богатой купчихи на втором этаже. Сын ее прекрасно играл на рояле. И я любил слушать его игру, лежа, приложив ухо к полу, причем, сам не зная почему, плакал от умиления.

С помощью родных отцу моему удалось получить место помощника исправника в провинции. Взяв с собою меня и брата, оставив прочих членов нашей семьи в Петербурге, он отправился в Вильну. Помню, что он служил помощником исправника в Соколке и Кобрине (Гродненской губернии), но в котором городе раньше, а в каком позже — не помню, как не помню, где занимались со мною моим образованием первые мои учителя Каченовский и Афанасий Иванович Ельцов, впоследствии священник, которого я знал, когда он был стариком.

В Кобрине отец с семьей жил за городом в деревянном двухэтажном особняке с фруктовым садом, принадлежавшем Говену. Отец счастливо играл в карты, почему мы жили открыто, принимали гостей, устраивали у себя балы, имели одно время собственные коляску и серых лошадей, выигранных отцом в карты у помещика, а мать моя, обратившись в светскую барыню, выезжала на балы (она прекрасно танцевала) и ездила для

развлечения в Петербург. Но так как отец не оставлял пьянства, то Гродненский губернатор Скворцов его и других чиновников, предававшихся картежу и пьянству, разогнал со службы, и отец остался без места¹. Однако опять с помощью родных, которые, зная его порок, сторонились от него, хотя в трудные минуты жизни его и выручали, отцу удалось получить место лесничего в Виленской губернии. Мы переехали в город Дисну. Оттуда отец был перемещен в другие лесничества губернии — Трокское и Лидское². Лесничим предоставлялись казенные фермы с домами, постройками, садами и участками огородной земли и сенокосов. В Трокском уезде отец с матерью жил в Бечканах, в Лидском — на ферме недалеко от Лиды.

В это время меня и брата Ваню отдали в Виленское реальное училище. С нами в Вильну переехала бабушка, открывшая ученическую квартиру, на которой мы и жили с другими учениками училища³.

В реальном училище, согласно программе подобного рода учебных заведений, обращалось особое внимание на математику, к которой я не только не имел способностей, но питал отвращение в противоположность брату Ване, от отца унаследовавшего математические способности. Это не помешало маме (отец мой в вопросы о нашем образовании и воспитании никогда не вмешивался, предоставив решение их моей матери) отдать меня и брата в реальное училище, где я во время прохождения курса хромал по математике, несмотря на репетиторов, успевая в общих предметах и по языкам. В результате вышло то, что я оставался по два года в одних и тех же классах, отстал от брата и едва-едва окончил реальное училище. Тут дороги наши разошлись: брат поступил в Павловское военное училище, которое прекрасно и окончил, а я на старший курс Вилен-

¹ Это событие относится к 1868 г.

² С 22 ноября 1869 г. В. И. Жиркевич исполнял должность дисненского лесничего; с 27 мая 1874 г. в должности лесничего 1 разряда трокского 1-го лесничества; с 12 мая 1882 г. — лесничий 1 разряда 2-го Ошмянского лесничества.

³ О том, что представляла эта ученическая квартира при бесхарактерности бабушки, ее неумении жить и уживаться с людьми, я подробно рассказал в моей автобиографии, которую оставил осенью прошлого года (1925 г.) для Толстовского музея — в дополнение к пожертвованному мною туда моему личному архиву. Я забыл об этом упомянуть в начале настоящей заметки. В автобиографии я описываю всю мою жизнь. Если бы вы, дети, моей работой когда-либо заинтересовались, то музей, конечно, даст вам возможность с нею ознакомиться. — *Прим. А. В. Жиркевича.*

ского пехотного юнкерского училища¹. Оба мы потом одно время служили в одной и той же 27-й пехотной дивизии, но в разных полках: он — в 105-м полку Оренбургском, я — в 108-м полку Саратовском. Затем мы опять сошлись с ним на службе по Военно-Судебному Ведомству, только в разных округах (он был чиновником, я — офицером). Недолго мы служили одновременно в Виленском военно-окружном суде.

Будучи реалистами, я и брат с бабушкой ездили на летние каникулы к родителям, у которых родилась моя сестра Маша. Когда удалось устроить ее в Петербургский Павловский институт на казенный счет через Н. Н. Герарда, бывшего тогда Главноуправляющим Канцелярией Его Величества по учреждениям Императрицы Марии, а я и брат в качестве офицеров встали на ноги, мать, жившая с отцом и бабушкой на ферме около г. Лиды (в 100 верстах от Вильны, тогда железная дорога туда еще не проходила), воспользовавшись отъездом мужа для обзора лесничеств, бросила его и переехала в Петербург, чтобы быть ближе к дочери. Тогда отец, оставшись в деревне на ферме одиноким, уволенный со службы, переехал в Вильну. Вскоре туда же съехались я, брат, бабушка, а затем и мать моя с Машей, когда та окончила институт. Одно время бабушка жила с мамой и Машей в одном доме. Потом они разъехались по квартирам. Маша вышла неудачно замуж и, бросив мужа, вернулась к маме в Вильну². Ко времени моей свадьбы она еще училась в Павловском институте, где мы ее в качестве молодоженов и посещали. Таким образом, вся семья, будучи в одном городе, жила вразброд, причем между некоторыми членами ее были даже неприязненные отношения. Отец мой продолжал пить еще усиленнее, появлением в пьяном виде на улицах нас всех (особенно меня, занимавшего уже тогда в городе видное служебное и общественное положение) компрометировал. Хотя он по большим

¹ На старший курс Виленского пехотного юнкерского училища А. В. Жиркевич поступил в 1879 г.

² В 1902–1903 гг. В. А. Жиркевич исполнял должность надзирательницы Виленского общежития Общества попечения о детях офицерских чинов 2-го Армейского корпуса; помощницей надзирательницы при ней являлась ее дочь — Мария Владимировна Травина. М. В. Травина занималась также различной педагогической деятельностью: была преподавательницей и классной дамой музыкального училища при Виленском отделении императорского музыкального общества (1900–1906). В 1904 г. — воспитательница в частном училище (позже — гимназии) В. М. Прохоровой, в 1907–1915 гг. — преподавательница в частной прогимназии Е. А. Кулаковской.

праздникам в мундире, при орденах — как бы с официальным визитом — появлялся в моем доме, но мы с Мамочкой его боялись и невольно сторонились. Бывали у нас часто мама, бабушка и Маша. Все они любили и ее, и вас, детей.

Потом смерть стала всех умиротворять и примирять. Папа скончался¹ от кровоизлияния в мозг во время рвоты при опьянении. Мы пожалели его и опустили равнодушно в могилу. Умерла и бабушка, всеми нами любимая и оплакиваемая, от воспаления легких, умерла скоропостижно, от паралича сердца, сама не сознавая, что умирает, в приготовлениях к наступавшей Пасхе. Мечтою старушки всегда было умереть на Пасху (во время пасхальной заутрени она обыкновенно исповедовалась и причащалась). Смерть бабушки случилась до Пасхи. Мы спешили похоронить ее до праздника, когда похороны не разрешались. Тело поставили в часовню при церкви Виленского военного госпиталя (бабушка, живя на Антоколе, любила ходить в эту церковь², хотя исповедовалась и причащалась всегда в Святодуховском монастыре). И точно во исполнение ее желания, чтобы у ее гроба раздавались пасхальные песнопения, пока тело ее стояло в часовне, в соседнем помещении церковный хор, готовясь к пасхальным заутрене и обедне, разучивал эти пасхальные песнопения. Это совпало с весной. Вообще похороны бабушки были удивительно трогательны и знаменательны.

Вот тебе, Манюточка, кое-какие картинки из отношений Мамочки к моим родным. С братом моим Ваней у нее были тоже самые хорошие отношения. Когда он переселился в Вильну (будучи в отставке), то жил одно время в деревянном домике на Антоколе, который приобрела себе на скудные свои сбережения моя мать. Приемная дочь его Оля (теперь Ольга Ивановна Жиркевич) во время ее серьезной болезни жила у нас, пользуясь уходом и попечительством Мамочки. Брат взял Олю из Виленского детского приюта подкидышей «Иисуса Младенца»³ и еще маленькой усыновил ее. Она до зрелого возраста ничего не подозревала о своем происхождении, тем более что и мы все относились к ней, как к родной, не делая различия между ею и нашими детьми.

¹ Владимир Иванович Жиркевич умер в 1887 или 1888 г.

² Виленский военный госпиталь располагался там же, в предместье Антоколь.

³ Приют для подкидышей, воспитательный дом «Иисус-Младенец», основанный в конце XVIII в., располагался на углу улиц Субоч и Бакшта (совр. Субочяус и Бокшто).

Брат мой Ваня во многих отношениях был выдающимся человеком, даже с дарованиями (математические способности, рисование и др.). Он мог бы пойти далеко, если бы не своеобразное отношение его к жизни. Будучи добр, благороден и великодушен, он сошелся с немкой Идой Шадауской в каком-то притоне разврата и, сжалившись над чистой еще девушкой, которой предстояла позорная жизнь, взял ее из публичного дома к себе и занялся ее спасением и образованием. Я нарочно назвал имя и отчество этой женщины, так как, хотя брат на ней и не женился, она обладала такими высокими нравственными качествами, так любила брата и так была предана ему, что я, мама и бабушка (а обе они были стародавних взглядов на брак, сожителство и нравственность) любили эту некрасивую, необразованную немку и уважали ее, искренно оплакав ее, когда она умерла в Вильне от черной оспы. После ее смерти брат увлекся другой особой, уже менее достойной, под тем предлогом, что подраставшей Оле нужна была женщина, которая заменяла бы ей мать. Этого, к сожалению, не случилось. Немало горя эта сожительница принесла Ивану (я даже до сих пор не знаю, был ли он женат на ней: они долго жили далеко от нас, в Ташкенте, где брат служил в Военно-Судебном Ведомстве секретарем военноокружного суда). Потом и она умерла. Ее похоронили тоже на Лютеранском кладбище, рядом с Идой Шадауской, недалеко от нашего семейного могильника. После ее смерти брат всецело отдался образованию и воспитанию Оли, которую и воспитал своеобразно, по своим взглядам и вкусам, вытравив из нее религию, любовь к искусству, насадив в ней скептицизм, насмешливо-критическое отношение к людям, недоверчивость к ним и холодную, рассудочную практичность.

Сейчас передо мною встает немало отдельных отрывков из эпохи моих детства и юности, которые я не могу связать ни между собою, ни с общим течением моей жизни, ни точно установить, когда все это произошло...

Вспоминается моя опасная болезнь в детстве. У меня сильный жар. Я брежу: мне мерещатся разные ужасы. Напрасно мама, бабушка и денщик Корней стараются меня успокоить. Наконец решено мне поставить за ушами пиявки. При виде этих черных, извивающихся червяков я прихожу в отчаяние, начинаю непосильную борьбу с окружающими. Меня держат за руки. Пиявки вонзаются в мое тело. Я дико вскрикиваю и теряю сознание... Когда прихожу в себя, мне говорят, что я три недели

был без чувств, что только «по молитвам Бог вернул мне жизнь...». У меня — волчий аппетит, но меня держат на диете, давая по несколько раз в день то немного желе (рюмочку), то несколько крупинок вареного риса. Я умоляю дать мне еще, ссылаясь на нестерпимый голод. А мама и бабушка прячутся от меня, чтобы я не стал просить их о пище...

...Мы всею семьей переезжаем «на долгих». У нас свой экипаж, лошадей же перепрягают на станциях. На козлах сидит не Корней, а другой денщик. Вдруг на опушке леса появляется огромная волчица. У нее отвисли соски. Она идет безбоязненно, шагах в 50-ти от нас, параллельно дороге, по которой мы едем. Денщик берет у кучера кнут и хочет, соскочив, побежать на зверя. Испуганная его криком, волчица оскаливает зубы и, свернув, не спеша скрывается в кустах опушки. Проехав несколько верст, мы останавливаемся у телеграфного столба, на котором висит надпись, гласящая, что тот, кто испортит телеграфную проволоку, будет на этом столбе повешен. Отец идет с заряженным револьвером в кобуре. Нам, маленьким детям, не объясняют причин такой предосторожности. Много лет спустя мне рассказывают, что мы тогда въезжали в пределы Северо-Западного края вскоре после усмирения польского восстания 1863 года, когда на дорогах не всегда было безопасно. Отец в минуты, когда держит на виду своей револьвер, мне кажется каким-то героем... <...>

...Мы гостим у сестры отца Зинаиды Ивановны Ган в Полоцке, пока отец устраивается на новом месте службы. Мои двоюродные братья Леша и Володя, учащиеся в Полоцком кадетском корпусе, водят нас на плац и знакомят нас с товарищами-кадетами. Чего-чего только у них нет, у этих шалунов в мундирчиках! Дрессированная ручная мышка, сидящая в рукавах мундиров или за пазухой — одна чего стоит. Тетя очень радушно нас принимает. У мамы с нею не выходит никаких конфликтов (как это бывало у нас из-за Женички, когда она у нас гостила летом). Нам на завтрак даются вкусные ломти хлеба, намазанные маслом и густо посыпанные зеленым сыром: просто объеденье! Все пальчики оближешь! Идут приготовления к Пасхе: красятся яйца. Так всюду вкусно пахнет, повсюду столько аппетитных вещей, что трудно оторваться от стола. Володя выпрашивает себе одно крутое яйцо, съедает белок и, оставив желток, куда-то уходит. Возвращается, желтка нет: его, по рассеянности, съела Зинаида Ивановна. Тогда он начинает приставать к ней, на все

лады плаксиво повторяя: «А где мой желточек?! А где мой желточек?!» Это выводит, наконец, Зинаиду Ивановну из себя. Схватив Володю одной рукою за руку, она начинает хлопать его, в такт приговаривая: «А вот твой желточек! А вот твой желточек!!»

...Какой соблазнительный, вызывающий голос у мороженщика Пашки! Бабушкина ученическая квартира помещается на Георгиевском проспекте. Весной, по вечерам, когда мы все высыпаем на крыльцо, чтобы поболтать на свежем воздухе и попеть для удовольствия бабушки русские хоровые песни, голос приближающегося Пашки заставляет нас мысленно подвести итоги наличным финансам. Увы! Ни у кого их почти нет. Одна надежда, что всех угостит мороженым на свой счет растроганная пением бабушка. Впрочем, Пашка не прочь отпустить нам свой «товар» в кредит, причем мы ведем счет таких долгов, записывая их карандашом на стене крыльца. В крайности можно продать учебники или даже тельные (крестильные) крестики, сказав родным, что потеряли их. Пашка знает наши слабости и готов подождать (в расчете на нашу честность). Недаром бабушка, заслышав на улице его вызывающий, задорный крик, говорит: «Вот идет ваша продувная бестия!..»

...Мама, отдав меня и брата в училище, перед отъездом заходит в так называвшийся Литературный переулок к книгопродавцу-библиотекарю, старому еврею Стракуну и, заплатив ему деньги, просит в ее отсутствие давать нам для чтения «только путешествия». Приехав же в Вильну через некоторое время, она находит у меня взятую от Стракуна книгу «Путешествие по морю житейскому» — роман, совершенно не подходящий к нашему возрасту. Захватив книгу, она спешит к Стракуну и упрекает его в том, что он не исполняет своего обещания — давать нам читать только путешествия. Стракун с невозмутимым видом перечитывает заглавие и говорит: «Да ведь это же и есть путешествие!.. Чего вам от меня надо?!»

...Я, юноша, нахожусь в том состоянии духа, когда в человеке определяется характер и намечаются его надежды на будущее. Наступает неудовлетворенность. Надвигаются сомнения. И вот в 15–16 лет мне хочется умереть, но умереть так красиво, эффектно, чтобы все меня пожалели у гроба, чтобы раскаялись в недостаточном ко мне внимании и любви. Я намечаю себе и смерть — в виде чахотки. Но я полон сил и здоровья! По видимому, мне суждено долго еще жить и страдать. И вот я, зи-

мою, открываю перед форточкою грудь и чаю в надежде простудиться, захватить воспаление легких, а там и желаемую чашотку. Ничто не помогает! Я — живу и даже начинаю бояться смерти! Я отдал дань наступающей молодости.

...В раннем детстве мама, я и Ваня гостили в имении Демьянки (Могилевской губернии) у Елены Петровны Герард, матери Николая, Владимира, Ивана Герардов и сестры их Марьи Николаевны Врангель фон Гюбенталь. Помню, что мы живем во флигеле, откуда нас водят в большой дом к красивой, ласковой, добродушной старушке в плоском чепце. В окошко флигеля, в котором мы живем, мы, дети, кормим собак, которых приманивает такая подачка. Чувствуется, что хотя мы и находимся у родственницы, но что это — барыня, перед которой наша мать стесняется. Робеем и мы, дети. Нам запрещается громко говорить, шалить в большом доме, где нам скучно и откуда нас тянет к подружившимся с нами псам.

Но прерву мои детские отрывочные воспоминания и вернусь к моей семейной жизни и солнышку, освещавшему своими живительными лучами, — к нашей Мамочке.

Для полной характеристики незабвенной Мамочки я должен отметить, что вообще она редко с кем сходилась близко, по-дружески, предпочитая интимным отношениям одинаковые со всеми ровные, приличные, но сдержанные отношения. Она очень любила Тетю и дядю Андриюшу, но и их не всегда впускала в свою душу и от них многое скрывала во имя сохранения мира и добрых связей. Недаром Тетя в минуты неудовольствия говорила про нее: «Светит, но не греет!..» Я же в шутку называл иногда Мамочку «дипломатом в юбке». Знаю, что более всего она была близка и дружна в молодости с княжной Оболенской, Ольгой Андреевной Шаломытовой (рожд. Костогоровой, своей родственницей) и Марией Никитичной (Маней) Власовой, сестрой Елизаветы Никитичны Власовой, рано от чашотки скончавшейся в Вильне, и с родственницей своей Верой Александровной Плеве (рожд. Сухомлиновой). Но и их едва ли она делала поверенными своих интимных дум, тревог и надежд...

Мне нравилось отношение Мамочки к прислуге, к гувернанткам, боннам, нянькам и другим служащим, беднякам. Когда у нас бывали на дому детские вечера и елки, Мамочка, бросая иногда гостей, старалась занять, угостить приехавших с детьми гувернанток, говоря с ними на иностранных языках.

Редко когда я видел ее рассерженной, вышедшей из себя. В шутку я напомнил Мамочке случай, когда за общим семейным чаем она, после упрасивания меня не говорить о предчувствии скорой моей смерти, через стол бросила в меня мандарин, конечно, деликатно, чтобы не ушибить меня.

Тяготение к простым, ниже ее поставленным людям выражалось у Мамочки и в том, что часто, отказываясь от общего с нами стола, она шла на кухню и ела с прислугой то, что готовилось там к обеду кухарки и няни.

К Пасхе и Рождеству дядя Андрияша из Карльсберга присылал нам всяческой вкусной дорогой деревенской провизии, часть которой шла для устройства праздничного стола наших служащих. В своей гостинной Мамочка никогда не прятала своих бедно одетых родных и других неимущих посетителей от бывавших в нашем доме высокопоставленных лиц: для нее всегда и везде все были равны. И тут у нее проявлялось много такта и умения жить с людьми.

Дорогая Манюточка! Не упрекай меня в том, что я, набрасывая для тебя эти беглые заметки в комнатке, в которой стынут мои руки и ноги¹, бываю не всегда последователен при изложении хода событий нашей семейной жизни! Много вспоминается постепенно, по мере того как я переносюсь в прошлое. Так и теперь мне хочется рассказать тебе кое-что о твоих предках, тем более что только я один могу это сейчас сделать. А с моею смертью угаснут и последние наши фамильные воспоминания. Надо торопиться с повествованием.

Не помню, упоминал ли я о том, что, когда я женился на Мамочке, ее имения были в запущенном состоянии. Всюду сидели арендаторы, платившие ничтожную аренду, но ловко устранившие свои личные дела. В большем порядке было имение Карльсберг, как недалеко находившееся от Вильны, в которое на лето приезжали дядя Андрияша, а иногда и Мамочка с Тетей.

Когда Мамочке досталось по разделу родовое имение Кукольников-Пузыревских Лабардзи Ковенской губернии Россиенского уезда, фольварк этого имения с домом, садом, холод-

¹ Музейная легенда говорит о том, что Александра Владимировича по дороге в Москву обворовали и он приехал в музей чуть ли не в калошах, подвязанных веревочками. В ожидании визы на въезд в Вильну ему разрешили ночевать в музее, и он полтора месяца спал на столах в холодном помещении. Не жалуясь на тяготы быта, Жиркевич целые дни проводил в работе со своим архивом, разбирая его, сопровождая пояснениями, писал письма и воспоминания «Потреховенные тени».

ными постройками арендовал некто Вербицкий. Так как Лего¹ не позаботился в течение долгих лет заключить с этим Вербицким контракт, то после его смерти жена его заявила, что она является собственницей фольварка. Я начал с нею процесс. Вербицкая выставила подкупных свидетелей. Хотя дело было доведено до сената, но мы его проиграли, и я, всегда стоявший за правду и за Мамочкины интересы, имел горе видеть эту землю в чужих, подлых руках.

Мне хочется сказать тебе, что в имениях Мамочки уцелели жилые дома — в Богданове (Виленской губернии, Дисненского уезда) и в Лабардзях.

Лабардзи до падения крепостного права, благодаря заботам старых Пузыревских, владельцев его, особенно уездного предводителя дворянства Степана Онуфриевича Пузыревского, было когда-то богатым владением с заводами, с фруктовыми садами, с двухэтажным домом в 14 комнат, с колоннами, оранжереей, парниками, прекрасным каменным флигелем и полукаменными холодными постройками (конюшнями, амбарами, погребам, людской). За садом с прекрасной липовой аллеей в недалеком расстоянии находилась деревянная православная церковь на холме, обсаженном каштанами, внутри которого помещался склеп с прахом троих Мамочкиных предков — Пузыревских. Местность имения была гористая, пересекалась быстрыми речками, в которых водились форели (или, как их на местном наречии называли, «петромги»). Кругом рощи, леса, красное поле: дуб, клен, рябина, осина, ольха и т.д.

Когда я в первый раз приехал в качестве Мамочкиного поверенного, то хотя и застал вышеупомянутый дом, но уже без колонн, балкона, оранжерей. Дом и постройки находились в запущенности. Фруктовый сад не подсаживался и одичал. В склеп с покойниками забрались воры, соблазненные легендами о том, что при покойниках сохронены дорогие вещи. Этому отчасти способствовало то, что один из Пузыревских, как носивший мундир, был погребен в блестящей военной форме. От заводов остались только фундаменты. В имении, кроме пани Гавдзилевич, сидел в качестве арендатора ее племянник Пшеволоцкий с женою, который грабил все, что только было можно, и которого в конце концов, несмотря на его капитанский чин и польский гонор (честь), за незаконную рубку нашего леса я выгнал из

¹ Лего Петр Иванович — опекун Андрея и Екатерины Снитко.

имения. Но в доме все еще пахло стариной, Мамочкиными предками, фамильными преданиями, хранительницей которых была престарелая пани Гавдзилевич. По целым часам я любил слушать рассказы болтливой старушки, с молодости сжившейся с Лабардзями, и производил розыски старинных вещей и бумаг, кое-где находившихся. То, что не было раскрадено, находилось в страшном запустении. На стенах в старинных испорченных рамах висели еще фамильные портреты предков Мамочки Кукольников, Пузыревских, а также хорошие портреты их друзей — четы Пеликанов и четы Ланских, сенатора и его жены — масляными красками. Я находил дорогую старинную мебель, настолько загаженную, что трудно было первоначально признать в ней что-либо интересное. В одном из бюро, ключи от которого были потеряны, нашел я кое-какие фамильные бумаги и письма епископа Ковенского Платона¹ (друга Пузыревского, впоследствии известного митрополита Киевского). Случайно в одном из ларей-сундуков наткнулся я на остатки прекрасного фамильного сервиза с соединенными гербами Кукольников-Пузыревских. Сервиза я не трогал, увезя лишь несколько старинных тарелок саксонского фарфора. Но мебель, портреты, бумаги перевез в Вильну, где все при бегстве нашем от немцев в 1915 году и было раскрадено. Мамочка была всегда недовольна, когда я брал что-либо из Лабардзей, но потом примирялась.

Я любил приезжать в Лабардзи, когда все там, вокруг дома, цело и благоухало при изобилии сирени и черемухи. Ветви деревьев из сада лезли в окна. Всюду и в саду — изобилие соловьев. В одном из садов (парке) имелось несколько запущенных прудов, когда-то соединявшихся ручьем, на котором стояла (во время оно) водяная мельница. Ручей давно иссяк, но пруды сохранились. Они имели особые формы, по которым в честь бывших владельцев имения звались «Сердце Юлии Алексеевны» (Кукольник), «Слезка Марии Алексеевны» (матери Мамочки) и т.д. Старые черемухи, надломившись, падали в пруды и там, поднимаясь из воды, еще цвели и благоухали. Мне как молодому поэту нравилась именно эта поэтическая запущенность старого парка, и я запретил делать в гуще его какие-либо расчистки и рубки. В местности, где было имение, сосна и ель почти

¹ Платон (Городецкий, 1803–1891) — в 1843–1848 гг. епископ Ковенский; митрополит Киевский и Галицкий с 1882 г.

отсутствовали. В одном из участков Мамочкиного леса находилось несколько старых елей, да две прекрасные, старые, нарочно посаженные сосны означали вход в парк. А по ночам среди старых дуплистых деревьев гукал филин, кричали совы... Мне было приятно выходить через заднюю калитку фруктового сада в поле, к реке, садиться под вековыми липами и дубами и слушать нескончаемую переключку бесчисленных соловьев по кустарникам.

Мамочка только раз, в юности, с дядей Андрюшей посетила Лабардзи. Пани Гавдилович любила рассказывать, как она, сидя в зале за разбитым роялем, играла молодым владельцам старинные полонезы и вальсы и как Андрюша с Мамочкой вальсировали по паркету, по которому когда-то во время балов скользили ноги его предков. Она любила показывать мне в зале вдавленную плитку паркета, объясняя, что будто бы во время одного из балов Павел Васильевич Кукольник во время мазурки так ретиво прихлопнул ногою, что вдавил паркетину.

Немало она рассказывала мне про Степана Онуфриевича Пузыревского, человека по тем временам доброго и порядочного, любимого местным дворянством, но деспота и самодура в семье. При моих приездах в Лабардзи я столкнулся еще с бывшими крепостными Пузыревских. Один из них, старик, бывший кучер Степана Онуфриевича, передавал мне, что барин приучил его везти так, чтобы экипаж не наткнулся по пути на камни и встряской своей не беспокоил «барского чрева». Пузыревский любил ездить за три версты к своим старым друзьям, помещикам Вольмарам, в гости и иногда подолгу оставался у них. Гостили и они в Лабардзях. Запрягалась четверником коляска с верховым мальчишкой-форейтором, который трубил в рожок, чтобы встречные мужики сворачивали со своими телегами с пути пана. По словам бывшего кучера, когда во время поездок к Вольмарам случалось, что экипаж наткнулся на камень и встряхивал пана, он приказывал кучеру остановиться, передать вожжи от четверика лошадей сидевшему рядом с ним на козлах лакею, слезть с козлов, найти «виноватый» камень и поцеловать его. Сколько раз толчки случались, столько раз кучер целовал бульжники, а затем в своей тяжелой кучерской одежде опять с трудом взбирался на козлы. И хватало же у Пузыревского терпения самого себя обрекать на такие задержки в пути! Ну и были же в крепостную эпоху нравы!! Жалеть ли о том, что они канули в вечность?!

Пани Гавдзилевич рассказывала мне, что когда этот Пузыревский после обеда ложился отдыхать, то в доме воцарялась мертвая тишина. Я знал еще в Лабардзях старинные часы в высоком разрисованном футляре, когда-то игравшие несколько музыкальных пьес. По словам Гавдзилевич, жена Пузыревского захотела сделать супругу своему сюрприз: поехала через границу в Тильзит, купила эти часы и, когда Пузыревский заснул, завела их, почему они и заиграли. Взбешенный разбуженный старик выбежал в соседнюю комнату и в сердцах так хватил палкою по футляру, что часы остановились и никогда уже более не играли...

Зато немало хорошего сообщала мне пани Гавдзилевич о живших когда-либо в Лабардзях женщинах, особенно о доброте жены Павла Васильевича Кукольника Юлии Алексеевны¹. Когда, например, при отмене крепостного права производилась урезка части земли от помещиков, эта женщина-христианка, которую и крестьяне, и домашняя челядь обожали за ее гуманное к ним отношение, заботилась только о том, чтобы к крестьянам отошли лучшие земли, притом с лугами, деревьями т.д. Неудивительно, что после такого отреза от имения последнее стало падать. Все же, когда я женился, в Лабардзях имелось более 500 десятин земли, часть которой была неудобной для обработки.

Любил я подъезжать к Лабардзям и глубокой осенью, когда с последнего перед имением пригорка открывался вид на постройки, церковь, рощи, разукрашенные всеми цветами осени.

Бывало, пойдешь гулять по окрестностям и вспугиваешь тетеревей, куропаток и другую дичь, но непуганую, так как за нею мало кто охотился. Придет арендаторша и расскажет, что сейчас у самого дома видела во ржи дикого козла с козочкой. Недалеко от дома, в оврагах, покрытых вековым лесом, водились в большом количестве лисицы и барсуки.

Когда я стал приводить в порядок вышеупомянутый фамильный склеп, то нашел в нем по углам немало гусиных и утиных лапок и перьев. Это лисицы, пробираясь внутрь склепа через окна с решетками, устроили себе здесь гнезда и лакомились награбленным. При первом моем приезде церковка над склепом

¹ Семейная легенда сохранила следующую подробность о доброте Юлии Алексеевны: когда крепостная девушка, согрешив, призналась в этом Ю. А., то Ю. А., войдя в ее положение, будто бы наделила ее коровой и помогла устроить жизнь. Узнав о таком сердобольном отношении, этим стали пользоваться и другие крестьянки.

еще стояла. Но была в полном разорении, так как с уходом из имения православных помещиков и с появлением там арендаторов-католиков в ней богослужений не совершалось (да и ближайшее духовенство жило в 50 верстах от города Россиен, куда ввиду упадка имения и равнодушия опеки и перетащило всю церковную обстановку). Церковь была сооружена над склепом по инициативе Павла Васильевича Кукольника, когда на лето в имение, где он жил с женою сам, стекалось в гости много родных. Тогда вызывался из Россиен священник, и совершались богослужения, служились молебны, панихиды и т.п.

При посещениях Мамочкиных имений Богданово и Лабардзи я всегда заботился о приведении в должный вид могил Снитко (около первого имения) и Пузыревских (в Лабардзях), чинил памятники, возобновлял надписи на надгробиях, пришедших в заброшенный вид, и т.д. Занялся я и приведением в порядок склепа в именье Лабардзи. Я нашел в нем три дубовых гроба на двух каменных подставках разломанными, кости выброшенными, равно как и остатки одежды, обуви. Суеверные жильцы Лабардзей боялись помогать мне в моих работах. Поэтому принялся за работу я сам: сколотил гробы, уложил в них кости, приставил черепа (вероятно, перепутав покойников), закрыл гробы крышками, повесил в склепе икону, дверь же склепа запер и завалил грудой булыжников. Могильный холм по моему приказанию был обнесен оградой, чтобы на него не взбирался скот.

Моя мечта была, чтобы Мамочка с вами хоть одно лето провела в Лабардзях, как на даче. В таких видах я познакомился с соседними помещиками Бурнейко и Вольмарами, с ксендзом, жившими недалеко от костелов в местечках Колтынянах¹ и Варсеядах. К лету 1915 года я уже сделал распоряжение о том, чтобы к дому была пристроена деревянная крытая веранда, а по парку разбиты (по моему плану) дорожки и поставлены скамейки. Но война, бегство в Симбирск и другие обстоятельства расстроили все мои предположения. Так вам, моим деточкам, пока не удалось побывать в своем родовом наследственном углу — говорю *пока*, так как кто может поручиться за будущее?!

Проклятая война! Как много она принесла зла не только человечеству, России, но и нашей семье. Благодаря ей мы, обра-

¹ Совр. Kaltinėnai.

тившись в кочующих, потеряли все состояние, Мамочку, дядю Андрюшу, моего брата Ваню, Севу и других родственников, погибших или на войне, или из-за войны в изгнании по чужим местам! Все, что я сделал в Вильне, тоже погибло: два основных мною музея, мои культурные пожертвования в разных учреждениях Вильны и других местах Северо-Западного края! Я добился уже ассигнования средств для устройства в Вильне особого общего архива, куда были бы свезены все исторические архивы Вильны и т.д. Разрешались благополучно и хлопоты мои по наименованию Виленской рисовальной школы имени Ивана Петровича Корнилова и Ивана Петровича Трутнева (я имел уже уведомление о том, что этот вопрос разрешен в благоприятном смысле). Предвиделось осуществление моих проектов по улучшению быта военных узников... И все, все погибло! Только бумаги моего личного архива, ныне находящиеся в Толстовском музее, свидетельствуют, по словам известного стихотворения, — «что ты была, и что стала, и что есть у тебя»¹.

Мамочка, потерявшая все, что имела, умиравшая нищей, в минуты, когда я оглядывался на наше недавнее благополучие, всегда успокаивала меня словами: «Бог дал, Бог и взял! Да будет на то Его святая воля!» Увы! Я не всегда мог дойти, довести себя до такой, истинно Евангельской, философии. Более всего я страдал за вас, бедные мои детки, юность и молодость которых протекала так страдальчески убого. За что?! Неужели за грехи и ошибки ваших предков?!

Еще вспоминается кое-что о нашей родне, главным образом, о родне со стороны моих родителей.

Мамочка и я были очень дружелюбно расположены к моим троюродным братьям Феде и Саше Измайловым (Федору и Александру Николаевичам Измайловым, отец которых кавалерийский генерал Николай Александрович Измайлов, человек удивительной доброты, женатый на родной сестре композитора Глинки Ольге Ивановне, был двоюродным братом моего отца). Но ты, надо думать, еще помнишь Федю Измайлова, когда, приезжая в Вильну к другу своему полковнику Заблоцкому, он посетил и нас, так же как и брата его, певца, учителя музыки, еще

¹ Искаженная цитата из стихотворения А. В. Кольцова «Что ты спишь, мужичок?»: «Встань, проснись, подымись, / На себя погляди: / Что ты был? и что стал? / И что есть у тебя?»

недавно разыскавшего тебя в Москве. Федя (генерал) заведовал Дубровским конным заводом великого князя Дмитрия Николаевича, был человек высоких нравственных, умственных качеств, был всеми уважаем и любим. После его смерти я был в Дубровском заводе и в числе найденных мною писем нашел несколько Мамочкиных с пометкой Феде «идейное», ему ею адресованных.

Вообще в числе моих родных я вспоминаю немало личностей с удивительно добрым сердцем и в то же время с недостатками, которые портили их жизнь. К числу их следует присоединить родную сестру моего отца Зинаиду Ивановну Ган. Имея взрослых детей, она сошлась с одним врачом и прижила с ним Женичку (Евгения Федоровича Жиркевича), который сделался, благодаря ее баловству, нравственным уродом. Я вынужден был порвать с ним связи. Если он жив, то, вероятно, при нынешних нравах где-либо хорошо устроился. Я нарочно напоминаю тебе и сестрам твоим на случай, если ты дашь им прочитывать эти заметки, об этом чужом нашей семье человеке, в предупреждение на случай встречи с этим страшным типом русской общественной мути. Мать же Жени до самой смерти своей, как говорится, «души в нем не чаяла», молилась на него, жила только его интересами, рассорившись из-за него с моей матерью. Мамочка его не знала. Уже служа в акцизном ведомстве, он неожиданно появился у меня в квартире в нетрезвом виде, что дало мне право выпроводить его вон, сказав, что я не признаю его родственником, как он велел прислуге доложить о себе мне. На том наши отношения и порвались.

Мамочка мне рассказывала, что, благодаря общественному положению ее отца и Павла Васильевича Кукольника (он — бывший профессор Виленского университета, цензор и действительный статский советник), в доме их бывал весь духовный и административный люд высших кругов Вильны. От нее и других я слышал, что в эпоху восстания 1863 года и варварской кровавой расправы с мятежниками графом М. Н. Муравьевым и К. М. Снитко, и П. В. Кукольник, пользовавшиеся расположением этого человека, своими ходатайствами немало спасли поляков, замешанных в восстании, от ссылки и, может быть, от виселицы. Об этом же мне говорили и некоторые поляки. Надо заметить, что Павел Васильевич Кукольник отлично знал польский язык и свободно писал по-польски, что видно из его писем к арендатору Лабардзей, брату Елены Ан-

тоновны, Гавдзилевичу, найденных мною у старушки. К слову сказать, у нее же я неожиданно нашел весьма ценные документы рода Гавдзилевич, в том числе и бумаги, относящиеся к Наполеоновским походам и восстанию 1863 года. Все это она мне и подарила, объяснив, что остальную часть фамильного архива ее покойного брата употребила на зимнюю обклейку окон.

В числе знакомых, бывавших у нас в доме в Вильне, которых особенно любила Мамочка и которые в свою очередь любили и читли ее, была интересная старушка Елизавета Густавовна Смецкая, сын которой¹, рано угасший (в 1888 году) от чахотки, был моим сослуживцем по Виленскому военно-окружному суду (откуда и мое знакомство с его осиротевшей матерью, и моя с ней дружба). В память Мамочки мне хочется познакомить тебя с этой интересной, даже выдающейся личностью (православной, несмотря на немецкое отчество). Муж ее был генерал и занимал видное место в придворном (кажется, удельном) ведомстве. После его смерти она осталась без средств и без пенсии, с сыном-кадетом Семеном (Сеничкой). Пришлось от обеспеченной, даже роскошной, обстановки перейти на положение бедной вдовы, ищущей заработка. Молодая красавица Смецкая не растерялась и принялась за работу, добывая себе и сыну средства шитьем. Когда этого оказалось недостаточным, она стала отдавать часть квартиры жильцам. Это столкнуло ее с М. М. Антокольским, В. Д. Орловским, И. Н. Крамским и другими молодыми передвижниками, отколовшимися от Академии художеств, застывшей в традициях старой классической школы, сблизило ее с художниками И. Е. Репиным, В. В. Стасовым и другими выдающимися личностями, посещавшими ее квартиру, на которой поселилась терпящая нужду, порвавшая демонстративно связи с Академией художественная молодежь. Познакомившись с Елизаветой Густавовной, я нашел у нее подарки некоторых ее бывших жильцов, в том числе гипсовую голову еврея из неоконченной группы Антокольского «Инквизиция и евреи» и медальон-портрет Смецкой в молодости работы того же Антокольского, пейзаж Орловского и проч. Все это, по желанию Елизаветы Густавовны, отчасти при жизни ее, отчасти после ее смерти я и получил в наследство, отдав в 1922 году

¹ *Смецкой Семен Семенович* — военный следователь, капитан, в должности с 27 июля 1886 г.

в Симбирский художественный музей (в доме Перси-Френч¹ на Московской улице).

Смецкая была обычно посетительницей Мамочкиных праздничных и воскресных вечеров с нуждающимися старичками и старушками. Мне удалось выхлопотать ей пенсию от Белого Креста² и изредка добывать ей пособия от благотворителей и учреждений. Сама себе во всем отказывая, она копила все эти деньги, как потом оказалось, мечтая оставить их в наследство мне и Мамочке. Большая чахоткой, старушка умерла скоропостижно. Нам пришлось хоронить ее на наш счет. Присутствуя как близкий ей человек при описи ее вещей полицией, я видел, как пристав в кармане юбки покойной нашел в особом свертке более 1000 рублей. Мне неловко было предъявлять к ним претензии. И деньги, как никому не принадлежащие, в ожидании возможных наследников, которых у покойной не было, попали в руки полиции.

Мне хочется рассказать тебе еще историю портрета Павла Васильевича Кукольника работы знаменитого Карла Брюллова, ныне украшающего вышеупомянутую картинную галерею в Ульяновске (Симбирске). С первых же визитов в дом Павла Васильевича Варвары Ивановны Пельской и Мамочки, тогда еще подростка, я обратил внимание на этот замечательный портрет с натуры, хотя и незаконченный, но поражающий силою мазка, выражением, мастерством художественного вдохновения. На портрете, на котором молодой Кукольник изображен великим художником в халате, с заложенными за спину руками, закончена лишь голова со смеющимся красивым выразительным лицом. Сам Павел Васильевич Кукольник рассказывал мне о происхождении этого фамильного Мамочкиного портрета, по наследству доставшемуся Мамочке, а затем подаренного ею мне. Как известно, брат Кукольника Нестор Васильевич был очень дружен с К. П. Брюлловым. Во время своих приездов к брату в Петербург сошелся с ним и Павел Васильевич. Последний был глубоко верующий, притом в церковно-православном духе, человек. У Брюллова же и Нестора Кукольника собирались знакомые совсем иного — антирелигиозного — направления. На по-

¹ *Перси-Френч Екатерина Максимилиановна (англ. Кэтлин Эмилия Александра, 1864, Париж — 1 января 1938, Харбин) — богатая помещица, благотворитель, меценат.*

² Общественная организация Белый Крест занималась помощью семьям военнослужащих, погибших или умерших в мирное время.

чве религии закипали горячие, бесконечные споры. Однажды, как говорится, припертый к стене оппонентами, Павел Васильевич встал именно в ту позу с заложёнными за спину руками и насмешливо вызывающим лицом, в какой потом изобразил его на портрете своею бессмертной кистью Брюллов, как бы желая молча выразить свою мысль: «Врите! Врите! С вами спорить не стоит!» Брюллову поза эта понравилась, крикнув Кукольнику: «Стой!», — он тут же сделал с него первоначальный эскиз портрета, а затем в несколько сеансов набросал с Кукольника и самый портрет, почему-то не закончив его и в таком виде подарив «оригиналу».

Портрет этот видели у меня, бывая у меня в Вильне, два знаменитых русских художника, мои друзья И. Е. Репин и В. В. Верещагин. Оба пришли от него в восторг. Репин же, уехав от меня за границу, в одном из писем своих оттуда об искусстве, упомянув о посещении меня в Вильне, посвятил этому, действительно выдающемуся произведению К. Брюллова, несколько сочувственных строк.

Мамочка не была знатоком живописи и даже к этому выдающемуся произведению кисти гениального Брюллова относилась довольно равнодушно, ценя в нем лишь «портрет бабушки». Зато она глубоко и сильно понимала и ценила музыку. Не забуду, как во время приездов в Вильну моей доброй знакомой певицы-артистки М. И. Долиной-Горленко¹, после спетой ею с удивительной экспрессией арии Вани перед монастырем (из «Жизни за Царя»), мы с Мамочкой пошли в комнату для артистов благодарить Марию Ивановну за ее исполнение. Мамочка начала было говорить, но расплакалась и пошла в другую комнату, а за нею со стаканом воды утешать ее отправилась артистка, говоря: «Душенька! Успокойтесь! Как вы глубоко чувствуете!» Мамочка без слез не могла слышать финала знаменитого трио Чайковского «На смерть великого артиста»² (Николая Рубинштейна). Нередко и в других случаях она, вопреки своему обычаю скрывать свои чувства, выдавала себя.

Ты, Манюточка, вероятно, еще не забыла того, как Мамочка с тобой и сестрами устраивала импровизированный вечер, причем пелись и светские песни, и церковные хоровые песнопения.

¹ *Долина Мария Ивановна* (настоящая фамилия Саюшкина, в замужестве Горленко; 1868–1919) — российская певица (контральто).

² Точное название «Памяти великого артиста».

Мамочка же сама аккомпанировала на рояле. Она старалась развить ваш слух и голоса. У всех вас были недурные голоса и музыкальные способности. Она вообще в деле воспитания детей придавала огромное значение искусству, не жалея средств на наем для вас хороших учительниц музыки. <...>

Дорогая Манюточка! Я хотел на этом месте моего повествования прервать рассказ о родных и знакомых, перейдя опять к моей семейной жизни с Мамочкою. Но ты пришла и, узнав, что я для тебя пишу воспоминания, попросила, чтобы я подробно рассказал о моем детстве и юности. Я не люблю таких тем, так как они вызывают много скорбного из моего прошлого. Однако, желая исполнить твою просьбу, попробую внести в настоящую памятку кое-что из этой полосы моей жизни.

Мать моя была женщина очень добрая, любившая нищих, животных, природу, всю жизнь кому-либо помогавшая (до глубокой старости сохранившая веру в Бога, привязанность к церковным обрядам и чувства патриотки). Много она выстрадала от пороков и характера моего отца. Все это не мешало ей держать нас, детей, в деспотическом порабощении, убивая в нас всякое проявление самостоятельности, оригинальности. У нее применялись к детям суровые, подчас унижительные наказания вроде колотушек, дранья за уши, постановки на колени и т.д. Никогда не быв хорошей воспитательницей, в детстве сама росшая на свободе, отличавшаяся шаловливым, неподатливым нравом, мать моя, едва мы начали учиться у нее начаткам грамоты, стала насаждать в нас эту науку, применяя самые суровые методы воздействия. Преподавала она плохо. Мы поэтому слабо, медленно усваивали себе грамоту. Это выводило маму из себя, заставляя наказывать нас. Немало в детстве я пролил горьких слез, будучи обруган (как мне казалось, несправедливо), наказан (поставлен на колени, выгнан на двор с пришпиленной булавкою к спине тетрадкой для чистописания, которую по неосторожности залил во время урока чернилами). Отец за всю свою жизнь только два раза по отношению ко мне употребил насилие. Один раз, за что-то на меня рассердившийся (кажется, за то, что я при ветре открыл окно, отчего отдувшейся шторой с этажерки были сброшены мамины безделушки), ударил меня по щеке. Мама вступилась за меня и стала в негодовании бросать в отца оставшимися на этажерке безделушками, так что он со страху выбежал в другую комнату. Я был тогда уже гимназистом (реалистом). В другой раз, когда уже подросток и жил у роди-

телей на каникулах, во время ужина у отца и матери началась перебранка. Оскорбившись за мать, я вмешался, сделал отцу замечание, после чего он из-за стола вытолкнул меня вон из дома, и я дня три скрывался у бабушки, жившей отдельно за садом в бане. Но и отец по временам обходился с нами, детьми, самодурно и несправедливо. Помню, как, желая досадить маме, он предлагал нам пить водку, а в другой раз, когда я заметил, что не следует кормить животных из одной тарелки с людьми, заставил меня, ребенка, есть то, что было в тарелке, из которой лакала суп любимая папина комнатная собачка. Мне не хочется пачкать эти страницы другими, подобными воспоминаниями. Я обрываю их, так сказать, на полуслове, — что можно было ожидать от человека, зачастую пьяного?!

К слову сказать, несмотря на суровый режим, введенный в детскую и школьную комнаты моею матерью, я до болезненной привязанности с самого раннего детства любил ее и жалел, так как видел, как много <она> страдала от дурного характера и привычек отца. В домашних стычках между родителями я всегда был на стороне матери. Она же в минуты особой нежности, оставаясь наедине с нами, детьми, подчеркивала недостатки отца, жаловалась на свою судьбу и т.д. Неудивительно, что с раннего детства у меня выросло особое, враждебное чувство к отцу, дошедшее в юности до затаенной к нему ненависти. Отец по-своему любил и нас, и маму. Но это был самодур, отравленный алкоголем, не могший быть уверенным в том, что сделает через несколько минут. До сих пор помню и периоды добрых отношений между отцом и матерью. Бывало, проснешься ночью в спальне (в ней же спала с нами и мама) и видишь, как на ее кровати сидит отец, трезвый, только что вернувшийся из гостей. Он развернул газету, из которой, пересчитывая, вынимает кучу бумажных денег: это результат его счастливой игры в карты. После этого мама или едет развлекаться в Петербург, или шьет себе новые бальные наряды. Конечно, и мать не всегда же бывала с нами суровою. Ложась спать летом после обеда, для того чтобы я и брат мой не тревожили ее играми, она предлагала нам ловить мешавших ей спать мух возможно тише и, когда это нам удавалось, угощала нас вкусными грушами, покупавшимися у арендовавшего сад еврея.

Вообще, как только начинаю вспоминать мои детство, юность и зеленую молодость, они мне представляются рядом крутых переломов в жизни. Одним из таких переломов яви-

лась передача нашего первоначального обучения настоящим педагогам Качановскому и Ельцову, людям добрым, мягкосердечным, любившим нас, детей, и насаждавшим в нас начатки знаний не окриками и наказаниями, а с терпением и кротостью. Особенно в этом отношении вспоминается мне Качановский, холостяк, по-видимому, преподававший в каком-то духовно-православном учебном заведении, там же и живший. Заведение находилось далеко от нашей квартиры, за городом, и мама нас отпускала к учителю в сопровождении горничной. При одном из таких путешествий, которые мы с братом очень любили, в поле мы наткнулись десятка на два собак, ухаживавших за сучкой. Когда эта сучка залаяла на нас, то вся свора, в составе которой были огромные псы, с остервенением и лаем бросилась на нас. Мы были бы разорваны на части или жестоко искусаны, если бы не находчивость девушки, севшей на землю и усадившей нас рядом с собою. Собаки, вообразив, что мы собираем с земли для самозащиты камни, оставили нас в покое.

Как теперь вижу огромные казенные здания, толпы играющих в саду и на дворе учеников и уютную прохладную квартиру Качановского, в которую так приятно было скрыться от палящих лучей солнца. У него открыто окно с решеткою. За окном — кусты цветущего жасмина. На столе, кроме учебников и других книг, на особом блюдечке под слоем благоухающих цветов жасмина и роз приготовлено для нас угощение: мармелад, леденцы, орехи. По окончании урока всем этим мы и наделяемся.

Другим резким переходом в моей жизни была отдача меня и брата в Виленскую реальную гимназию (позднее переименованную в реальное училище) и переезд для этого в Вильну, с помещением у бабушки Марии Осиповны Астафьевой на ее общую ученическую квартиру. Бабушка, сама еле-еле умевшая читать и писать, воспитанная на свободе, в захолустье, в степи, скоро обратила свой приют в гнездо распущенности и разврата, сама того не сознавая, по наивности и незнанию жизни и людей. На квартире жили и гимназисты, и подростки, и великовозрастные ученики старших классов, нередко брившие себе уже усы и бородки. Эти великовозрастные, курившие, пившие втихомолку, предававшиеся всяческому разврату сбивали с толку и малолетних своих сожителей. Царствовали в квартире — буйная свобода и разврат, о которых до начальства реаль-

ного училища доходили иногда слухи. Оно делало внезапные налеты на квартиру, но так неудачно, что не натыкалось на непорядки. Бабушка же вызывала симпатии своей простотой обращения, речи, бедностью. Начальство ей все прощало и на многое нежелательное снисходительно смотрело сквозь пальцы. Мать моя, приезжая по временам из деревни в город, завела между педагогами влиятельные знакомства, распространявшиеся и на бабушку.

Если, живя в обстановке бабушкиной квартиры, я не сделался пьяницей и картежником, то лишь потому, что, ненавидя и презирая эти пороки в отце моем, во всю мою жизнь не пил и не курил по глубокому убеждению, несмотря на всевозможные соблазны.

В моей юности я отличался оригинальными выходками, в бытность мою в реальном училище обращавшими на меня внимание и начальства, и товарищей. В доме моих родителей литература, искусство отсутствовали, если не считать романов уголовного характера, которыми зачитывался при обилии бывших у отца в деревне досугов, и романов другого характера, читавшихся матерью, а стены родительского дома, не считая красных углов, где сверкали ризы икон, были украшены дешевыми олеографиями на патриотические темы и церковными портретами. Тем не менее с юности во мне развились и любовь к настоящей художественной литературе, и восторженное отношение к произведениям искусства. По части увлечения моего литературой важную роль сыграл преподававший русский язык и словесность известный в те дни провинциальный писатель и незаурядный педагог Семен Вуколович Шолкович, который был в хороших отношениях с моими родителями и часто приезжал к ним летом и осенью на охоту. Шолкович интересно читал и обращал особое внимание на классные сочинения на литературные и иные темы, заохочивая учеников к такого рода упражнениям. Хотя он и говорил шутя, что на пятерку (высший в то время балл по пятеричной системе) могут писать сочинения только он да Бог, но я в скором времени дошел до такого мастерства в писании сочинений и классных, и внеклассных, что стал постоянно получать у Шолковича пятерки, самые же мои письменные работы зачитывались им в классе вслух как образец выдающегося писанья. Увлечшись благодаря такому поощрению литературой, я рано стал писать стихи, раболепно подражая Лермонтову, особенно его кавказским поэмам, героический дух

которых увлекал меня, так как я рано стал мечтать о героических подвигах, славе и т.п. Я так был уверен в оригинальности своего поэтического таланта, что послал тайком одно свое стихотворение Ивану Сергеевичу Тургеневу, посвятив его ему, и к неожиданной радости получив от него его фотографию с надписью, которая и сейчас хранится в одном из моих альбомов.

В художественном же отношении огромное впечатление на меня <произвела> захватившая в Вильну выставка картин передвижников. Это было для меня каким-то откровением. Я целые часы проводил на выставке в созерцании, изучении наиболее понравившихся мне картин и портретов. С тех пор я стал заниматься и коллекционерством, начав собирать литографии, книги, журналы с иллюстрациями. С годами все это превратилось в страсть, которая не оставляет меня и сейчас, на положении старого, бездомного, сироты-нищего, не знающего, где через неделю он будет, чем станет существовать. Подобными литературно-художественными настроениями и симпатиями я обязан отнюдь не родительскому дому, в котором о развитии моих эстетических наклонностей не заботились, а подчас даже их и высмеивали. <...>

С детства, в доме родителей приученный к серьезному отношению к вопросам религии, я долго и в юности сохранял в себе запас религиозных настроений до тех пор, пока жизнь, люди, время и тут не совершили во мне переворота. Особенно чтил я в юности, мистически, не давая себе отчета в моих чувствах, Виленских мучеников Антония, Иоанна, Евстафия, мощи которых благолепно покоились в пещерной, полутемной, похожей на склеп церкви Святодуховского монастыря. Мы одно время жили с бабушкой и с квартирантами-учениками за Острыми Воротами (в часовне которых помещалась над воротами чудотворная икона Остробрамской Божьей Матери, одинаково чтимая и католиками, и православными) в доме протоиерея Гомолицкого¹, так что, идя в реальное училище, мне приходилось по Большой улице проходить под воротами и мимо Святодуховского монастыря. Бывало, идешь на какой-либо «страшный экзамен» в училище, из-за лени и шалостей не подготовившись к ряду билетов (спрашивали по билетам, которые мы, ученики, наугад тянули со стола). И вот, зайдя в пещерный храм

¹ Гомолицкий Виктор Иванович — протоиерей Виленского Николаевского кафедрального собора.

Святодуховского монастыря, на коленях, со слезами, молишь святых мучеников, чтобы они помогли тебе вытянуть «удачный билет» и не допустили вытянуть билет, по которому не подготовился. И всегда беда меня миновала!..

Кстати, отмечу, что и наша Мамочка чтит Виленских мучеников, часто молясь у их раки и к мощам их прикладываясь. Думал ли я тогда, что когда-либо в сердце России — Москве, на Петровке, в Музее здравоохранения¹ увижу я те же мощи обнаженными, с оскорбительными надписями, выставленными на посмешище современной черни!! А это случилось в один из недавних моих приездов в Белокаменную.

На каникулы, а иногда на Пасху и Рождество, нередко с бабушкой, мы с братом уезжали погостить к родителям, особенно когда казенная ферма лесничего Бечканы находилась недалеко от Вильны и станции железной дороги. Несмотря на семейные нелады, мы любили подобные поездки, во время которых имели возможность охотиться, удить рыбу, кататься верхом и предаваться другим деревенским удовольствиям. Летом отец погружался в сельское хозяйство (сенокосы), мать занималась огородами, садом, цветниками, скотом, птицею. Домашние перепалки случались реже, да мы, дети, находясь почти весь день вне дома, их часто и не наблюдали. Семейные скандалы чаще всего закипали за обедами и ужинами, когда все поневоле сходилось в столовую. Зачинщиком и разжигателем их всегда являлся отец, предварительно делавший визиты к буфету, в котором стоял фамильный графин с водкою, принадлежавший еще Ивану Степановичу Жиркевичу! Как мы, дети, ненавидели эти семейные собрания, на которые вынуждены были идти с предвкушением предстоящих скандалов! Тяжело даже и сейчас, на старости, вспоминать об этих чуть не ежемесячных позорищах! Опускаю с жутким чувством перед тобою, моя Манюточка, занавес...

Кое-как, оставаясь в некоторых классах на два года, с пятерками по общим предметам и с тройками, чуть не из милости поставленными мне по математике, дотащился я до конца Виленского реального училища, получив вожделенный «аттестат зрелости», дававший право идти в высшее учебное заведение. Но и в этих «высших заведениях» меня как окончившего реальное училище заставили бы иметь дело с математикою, к которой я не

¹ Музей народного комиссариата здравоохранения.

имел способностей и которую искренно ненавидел. Пришлось сделать еще одну ломку в своей жизни и, бросив мечты о гражданской карьере, пойти на путь моих предков, в военную службу. А тут еще и по возрасту я должен был отбывать «всеобщую воинскую повинность». В военное училище, куда ушел брат, по слабости моих математических знаний я поступить не мог. Был только один исход — поступить в Виленское пехотное юнкерское училище, что я и сделал, благо в те дни нас, «второразрядников», т.е. окончивших средние учебные заведения, принимали сразу в высший, второй класс, что сокращало пребывание на военной службе в звании нижнего чина. Недолго думая, пробыв недолго вольноопределяющимся в 108-м пехотном Саратовском полку, я и поступил на второй курс Виленского пехотного училища, которое через несколько месяцев хорошо и окончил по общеобразовательным предметам, будучи совершенно «штатским» (как выражались юнкера) по строю и воинским уставам. Все это мне пришлось усваивать на практике после немалых усилий, когда я по окончании училища на правах «подпрапорщика» (полуофицера, полунижнего чина) вернулся в тот же полк.

Мне не хочется, дорогая Манюточка, долго останавливаться в этих воспоминаниях на моем пребывании в Виленском пехотном юнкерском училище: тебя, как девушку, не может интересовать вся эта «военщина»!.. Скажу только, что после реального училища с его свободой и «штатскими» нравами внезапный переход к грубой военной дисциплине, к грубым, малообразованным, плохо воспитанным офицерам училища и товарищам-юнкерам, к полуказенным нравам и обычаям был слишком резок и причинил мне немало страданий и разочарований. Бабушка же, всегда мечтавшая о том, чтобы я и брат пошли по военной дороге, была в восторге от того, что я не стал, как она выражалась, «штафиркой», а надел военный мундир. В моих бумагах, оставшихся в Ульяновске, есть рукопись ненапечатанной повести из юнкерской жизни автобиографического характера, так как я в ней описываю мое пребывание в юнкерском училище. Она, к сожалению, в черновых набросках. Если рукопись когда-либо попадет тебе и сестрам твоим в руки, то не знаю, будет ли у вас терпение разобрать мои иероглифы и вставки. Да и нужна ли такая работа! Все прошло, улеглось в могилы. Стоит ли тревожить загробные тени?!

Но вот наконец я и в скромном мундире пехотного офицера прапорщика, который бабушка, любуясь мною, сейчас же ста-

вит «выше иного гвардейского», так как Саратовский полк имел немало славы и боевых отличий в прошлом. Передо мною открылись необъятные, таинственно-заманчивые горизонты жизни. Мне сразу же повезло в том отношении, что я попал в 1-й батальон, уходивший на зимнюю стоянку в город Ошмяны, Виленской губернии, во главе которого стоял старый боевой служака, благородный человек Нил Васильевич Марков. Ротами командовали тоже хорошие люди и порядочные офицеры Г. И. Гофман и П. М. Длусский. Скоро 2-ю роту, в которую меня перевели, отделили от батальона в местечко Гольшаны¹, находившееся верстах в 15–18 от Ошмян. И я со штабс-капитаном Длусским и нижними чинами роты очутился в глуши, далеко от начальства, нас редко посещавшего, в старинном здании упраздненного римско-католического монастыря², в полуверсте от имени мирового судьи А. В. Горбунева, во владении которого находились развалины древнего Гольшанского замка³. Я жил дружно с Длусским. Скоро к нему приехала его любовница Елена Ивановна (он меня с нею познакомил), впоследствии он на ней женился. У ксендза костела, жившего на одном дворе с казармами, был сын, которому за обед стал я давать уроки русского и французского языков. С ксендзом я тоже скоро сошелся. Из хорошей библиотеки Горбунева возможно было получать книги и журналы, а также текущие газеты. Местечко было глухое. Общества — никакого! Развлечения отсутствовали... Эта обстановка заставила меня предаться служебным интересам и заняться, благодаря обилию досугов, моим самообразованием. Я стал вести дневник и писать рассказы охотничьего содержания, которые посылал в журнал «Природа и охота», где они и печатались, не принося мне гонорара, а лишь давая право на даровое получение журнала. Я был молод, пользовался хорошим здоровьем и прекрасным сном и аппетитом. Вспоминая благо-

¹ Гольшаны — древнее поселение, известное в летописях с 1280 г. Название пошло от первых владельцев — князей Гольшанских. По женской линии Гольшанские поднялись до самых политических верхов. От брака Софьи Гольшанской с польским королем Ягайло началась династия польских королей и великих князей литовских и русских Ягеллонов.

² Францисканский монастырь XVI в.

³ Знаменитый замок, построенный в 1610 г. на месте деревянного выдающимся литовским и польским деятелем князем Павлом Стефаном Сапегой (1565–1635). После восстания за независимость Польши 1863 г., власти отдали замок во владение А. В. Горбуневу, мировому судье, который довершил разрушение замка, начавшееся еще во время Северной войны, приказав взорвать его и продать на кирпичи.

дарно пребывание мое в Гольшанах, могу, положив руку на сердце, охарактеризовать его как «счастливый» период моей жизни.

Кое-как «подтянувшись» по строю, я, будучи младшим офицером роты, помогал ротному командиру в строевом обучении нижних чинов. Кроме того, на меня были возложены занятия с малолетними солдатиками в ротной школе начаткам грамоты и арифметики. Я стал устраивать с ротой чтения и беседы на общеобразовательные темы по собственной инициативе, хотя и с разрешения начальства. Приехав в Гольшаны подпрапорщиком, только тут, будучи произведен в первый офицерский чин прапорщика, я из моего скудного содержания стал помогать материально беднейшим нижним чинам роты. Недавно, перебирая мои старые бумаги, я наткнулся на уцелевшую каким-то чудом одну из записных книжек моих, в которую заносил подобные вспомоществования. И сколько при этом нахлынуло на меня воспоминаний!..

Не помню, говорил ли я тебе, дружок, о том, что знакомство в глубоком детстве с денщиком Корнеичем и другими нижними чинами той артиллерийской батареи, в которой служил мой отец, навсегда заронило во мне любовь и симпатию к русскому простонародному человеку. С годами эта симпатия во мне только укреплялась и получила лично для меня огромное воспитательное значение. Меня неудержимо, часто безотчетно, силой тянуло к старым представителям этого народа. Когда отец мой служил лесничим и жил на казенных фермах по захолустьям, лучшими моими приятелями были мужички из соседних деревень и лесники, съезжавшиеся в усадьбу по делам службы, помогавшие мне в моих охотничьих предприятиях.

Вторая рота скоро обратилась для меня в благодатную почву, на которой я мог изучать русского солдата и сближаться с ним, конечно, настолько, насколько позволяло мне мое привилегированное офицерское положение.

Грустным диссонансом врезалось в мою счастливую гольшанскую жизнь событие 1 марта 1881 года, заставившее скорбно зазвучать патриотические струны моей молодой впечатлительной души. Меня, помню, поразило то равнодушие, с каким нижние чины встретили объявление им о смерти Царя-Освободителя. Нас, нашу роту, в страшную весеннюю распутицу водили в город Ошмяны для присяги новому Государю. А там перешли мы и на зимнюю стоянку в г. Вильну. Этим не закончилась моя деревенская идиллия. Началась служба в карау-

лах, знакомство с остальным офицерским составом, с городским обществом и т.д.

Как это ни покажется тебе странным, военная служба привела меня к соприкосновению с миром отверженных, заключенных. Мир этот почему-то с детства приковывал к себе мое внимание. Как и почему? Не могу дать тебе сейчас определенного ответа. Несомненно, однако, что тут сыграло роль отношение матери и бабушки, смотревших на арестантов по-простонародному, как на «несчастненьких».

Помню, с каким ужасом и негодованием бабушка моя рассказывала о том, как на ее глазах во время прогулки (в молодости) тюремная стража жестоко избивала сбежавшего арестанта <...> Но тут же бабушка как бы и оправдывала подобное избивание тем, что если бы арестанта не изловили, прозевавшая его побег стража ответила бы по суду. Невольно, помню, у меня, ребенка, возник вопрос: но ведь его поймали! Так зачем же было бить до полусмерти? На это бабушка уклончиво отвечала, <мол,> сторожа озлобились. А во мне уже жила жалость к этому неведомому мне арестанту, который рвался на свободу и так жестоко пострадал.

Мать моя была, несомненно, добрая, отзывчивая на чужое несчастье женщина. Я с детства наблюдал постоянные примеры ее милосердия и благотворительности. Когда мы с нею во время прогулок проходили мимо партий работавших каторжников, она давала мне «копеечки», чтобы мы сунули их незаметно от стражи «несчастненьким». Мы делали это с некоторым страхом: как бы эти люди в сером платье, в кандалах, с «бубновыми тузами» на спинах не причинили нам вреда...

Но и тут врзалось мне в память и до сих пор живет противоречие в отношениях мамы к арестантам. Когда мы жили в доме Говена, во время одной из прогулок нам навстречу попался возок, а в нем сидевший жандарм, везший какого-то чиновника. Чиновник этот был мамин знакомый, который, увидя маму, приветливо с нею раскланялся. Она же сделала вид, что его не замечает. Я начал расспрашивать маму: «Кто этот арестованный? Куда его везут под конвоем? Почему мама не ответила на поклон его?» Мама сказала, что этот чиновник хотя и был с нею знаком, но совершил растрату казенных денег, что его везут в ссылку и кланяться с ним было бы неосторожно. «Но почему же? Почему?» — приставал я с допросами, неудовлетворенный таким ответом: «Раз он несчастненький, то надо его жалеть!..»

Недавно я еще видел, как мама обласкала свою приятельницу, старую сумасшедшую еврейку в лохмотьях, которую вечно преследовали, дразня, ругая, насмехаясь и бросая в нее грязью, камнями, ужасные мальчишки. В одной маме эта несчастная видела защитницу, покровительницу, всегда готовую приласкать ее и накормить. Страшная женщина только к моей матери подходила доверчиво и любовно гладила ее по лицу своими грязными костлявыми руками. Так почему же мама, такая милосердная к сумасшедшей, так безжалостно отвернулась от своего знакомого, впавшего в несчастье?!

Ряд вопросов, связанных с тюрьмами и томящимися в них узниками, возникал в моей детской головке, причем окружающие на них отвечали или уклончиво, или так, что не разрешали моих сомнений. Для меня было ясно только одно: люди от людей за что-то страдают и, как говорила иногда мать, «может быть, и безвинно, за других...».

С жизнью доктора Гааза¹ я, к стыду моему, познакомился лишь тогда, когда особым изданием об этом тюремном филантропе давно минувшей эпохи вышло исследование А. Ф. Кони, который и прислал мне с надписью, называвшей меня «последователем д-ра Гааза» (это было сравнительно недавно). Я с полной искренностью ответил уважаемому автору удивительно симпатичного очерка замечанием, что стал облегчать участь заключенных, особенно же военных, гораздо ранее, чем узнал о существовании доктора Гааза и его подвигах на благо узников.

Мне как офицеру вскоре по приезде из Гольшан в Вильну пришлось бывать караульным офицером и в местной каторжной тюрьме, и в других местах заключения города, а также на местной главной военной гауптвахте (в здании № 14 бывшей Виленской цитадели). Во время обхода камер с заключенными я стал беседовать с ними. Некоторые каторжники с разрешения начальства продавали свои изделия. Под предлогом покупки у них их работ я вызывал их в свою караульно-офицерскую комнату, чтобы расспросить их о тех преступлениях, которые привели их к кандалам, за решетки и замки. При этом передо мною все более развевался новый, до того неведомый мне мир не-

¹ *Гааз Федор Петрович* (1780–1853) — замечательный тюремный врач, известный своей филантропической деятельностью. Много сделал для облегчения участи заключенных. Ему приписывали слова «Спешите делать добро» — один из девизов Жиркевича. Автор книги о Гаазе А. Ф. Кони подарил ее Жиркевичу с надписью «Уважаемому последователю Федора Петровича Александру Владимировичу Жиркевичу».

описуемо тяжких человеческих страданий, в котором и я в качестве караульщика-офицера был повинен.

На эту тему я мог бы написать тебе, дружок, огромное исследование с описанием моих душевных тюремных переживаний и все-таки ничего не сказать, ничем не заключить мои воспоминания. Но ты, вероятно, не забыла, что с раннего твоего детства в доме нашем у меня с Мамочкой шли разговоры о моей борьбе за интересы узников, наконец, о том, сколько тупого противодействия и враждебного, до злобы, отношения к моим начинаниям встречал я со стороны всякого рода начальства — и военного, и гражданского — около вопросов, связанных с местами заключения и узниками. А потому позволь мне на эту тему более не распространяться! В моем личном архиве, пожертвованном в Толстовский музей, хранится немало документов, свидетельствующих, кем я был на этом крестном пути моем, каких добился результатов и в каких боях со злобой, неправдой покойной бюрократии потерпел поражение. Часть моих душевных переживаний я изложил в моих печальных исследованиях «Пасынки военной службы»¹ и «Гауптвахты России должны быть немедленно преобразованы...»². Мною подготовлялась и третья часть того же труда, посвященная уже не гауптвахтам, а дисциплинарным батальонам. Революция, открывшая двери этих ужасных, позорных мест заключения, сделала ненужным труд мой, но собранные мною материалы о тайнах этих мест заключения, особенно же о тюремных наказаниях, в них широко практиковавшихся, и теперь не утратили своего общественно-исторического значения. Может быть, кто-нибудь, ими воспользовавшись, помянет еще и мою филантропическо-тюремную деятельность теплым, благодарным словом... А не помянет — и не надо: совесть моя спокойна, и мне есть что «вспомнить перед кончиною» («Астры» Апухтина³).

Я недолго пробыл заурядным офицером. Меня как хорошего строевика скоро назначили в полковую учебную команду, под-

¹ Жиркевич А. В. «Пасынки военной службы», Вильна, 1912.

² Гауптвахты России должны быть немедленно же преобразованы на началах закона, дисциплины, науки, человеколюбия, евангельских заветов, элементарной справедливости, блага Родины: [О кн. «Пасынки воен. службы»] / А. В. Жиркевич. — Вильна: тип. «Русский почин», 1913.

³ Стихотворение А. Н. Апухтина «Астрам» («Розы — вот те отцвели, да хоть жили... / Нечего вам помянуть пред кончиною: / Звезды весенние вам не светили, / Песней не тешили вы соловьиною...»).

готовлявшую унтер-офицерский состав, а затем и полковым адъютантом, с каковой должности я пережил еще один крутой перелом в жизни, уйдя в Александровскую Военно-Юридическую Академию. На положении полкового адъютанта, будучи совсем еще юным, неопытным в жизни молодым офицером, я сделался, на правах ротного командира, начальником музыкантской, барабанщицкой и писарской команды, в составе которых насчитывалось немало сверхурочных служащих унтер-офицеров, по возрасту годившихся мне в отцы. Должность полкового адъютанта, считавшаяся почетною, требовала от офицера большого такта и умения ужиться: адъютант становился как бы посредником между командиром полка и обществом офицеров, по большей части весьма пестрым, как это и бывало во всех армейских частях. На положении полкового адъютанта я начал борьбу с процветавшим в полку «мордобийством»! Но об этом долго было бы тебе, моя Манюточка, рассказывать!

Военно-Юридическая Академия, с ее интересными общеобразовательными специально военно-юридическими курсами, с ее выдающимися профессорами, относившимися к слушателям-офицерам как к равным, с ее свободой, явилась после строевой муштры и канцелярского адъютантства чем-то небывалым, вводившим меня в новый для меня мир науки и облегчения участи заключенных на почве военно-судебной деятельности. Три года пролетели для меня как сон. Жизнь в Петербурге, сблизив меня с моей интеллигентною родней, ввела меня в круг выдающихся художников, писателей, ученых, артистов, общественных деятелей. А главное, у меня впереди яркой путеводной звездочкой сияла надежда на любовь Мамочки, на счастье семейной жизни с нею...

ГЛАВА 2

Витебский губернатор Иван Степанович Жиркевич и его мемуары

Н. Г. Жиркевич-Подлесских

«Я имел счастье быть внуком
И. С. Жиркевича»

Иван Степанович Жиркевич был назначен военным губернатором Витебска в 1836 г., в сложное время присоединения униатов к Православной церкви, и оказался в самом центре религиозного противостояния и экономических проблем края, о чем в дальнейшем подробно рассказал в своих мемуарах.

Пребывание Жиркевича на посту витебского военного губернатора было недолгим: с 1836 по 1838 гг. Но и спустя более полувека его продолжали помнить в городе. Внук губернатора, А. В. Жиркевич, оставил 25 ноября 1892 г. в своем дневнике запись: «Посетив Витебск, я много слышал воспоминаний старожилов о моем деде. Несмотря на его вспыльчивость, о нем живет здесь добрая память. Мне было приятно слышать от губернатора¹ доброе слово по адресу покойного моего деда. Он сказал, между прочим, что, девять лет губернаторствуя в Витебске, часто руководствуется записками деда и удивляется, насколько дед был умен и тонко понимал условия и быт местного края».

Быстрый в решениях, энергичный, хорошо понимающий проблемы края, независимый и неподкупный, жесткий до жестокости, но и справедливый вне сословных и национальных предрассудков, Иван Степанович всю свою деятельность подчинял одной идее — служению Отечеству на всех вверенных ему Императором постах. Его фанатическая честность, неустанная борьба с казнокрадством и взяточничеством, строптивость и неуживчивость, личная преданность Императору и букве закона, простота быта приводили в изумление многих, знавших его.

¹ Долгоруков Василий Михайлович (1840–1910), князь, губернатор Витебска (1884–1894), тайный советник (1888).

Сослуживец Жиркевича по Симбирску Э. И. Стогов¹, возглавлявший жандармскую службу, так отзывался о его служебных качествах: «Весьма часто я писал к шефу, что Жиркевич феномен между губернаторами, но в Симбирске он пришлось не по дому. Писал, что Жиркевича достанет управлять тремя губерниями, стоял за его благородную честность, неутомимость...»².

О предзнаменовании, случившемся при его рождении, Жиркевич писал: «Я родился в Смоленске в 1789 г., мая 9 дня, поутру, в половине шестого часа, в тот самый момент, когда князь Потемкин³ имел въезд в сей город и был приветствован как фельдмаршал пушечными выстрелами; бабушка, принимавшая меня, тогда же изрекла пророчество матери моей, что я буду губернатором — и эта идея с самого юного возраста моего была для матери моей постоянной, так что я более ста раз слышал от нее слова сии, — и, так сказать, надежду, что оное пророчество сбудется тогда, как сам я вовсе и помышления о себе не имел»⁴.

В пятилетнем возрасте Жиркевич был зачислен на военную службу в Сухопутный шляхетский кадетский корпус. В 16 лет, выпущенный в жизнь, сразу же принял участие в боях под Аустерлицем (тогда же получил свой первый боевой орден Св. Анны на шпагу), а затем и во всех заграничных походах 1805–1807, 1808, 1809 гг. Три года Иван Жиркевич был адъютантом графа Аракчеева.

Отечественную войну 1812 г. прошел от самого начала и до конца, окончив ее в Париже. За участие в Бородинском сражении награжден орденом Св. Владимира 4-й степени с бантом, одним из самых значительных в то время. После войны недолгое время служил в департаменте Военного министерства; был помощником командира Тульского оружейного завода. В 1834–1836 гг. — губернатор Симбирска.

¹ *Стогов Эразм Иванович* (1797–1880), полковник. По окончании курса в морском кадетском корпусе, в звании морского офицера недолго служил на Камчатке, потом в Иркутске; в 1834–1839 гг. состоял жандармским штаб-офицером в Симбирске. В 1837–1852 гг. — правитель канцелярии генерал-губернатора юго-западной России Д. Г. Бибикова. С 1878 г. стал сотрудником «Русской Старины».

² Стогов Э. И. Записки // Русская старина. 1903. Том 114. Май. С. 330.

³ *Потемкин Григорий Александрович* (1739–1791), граф, светлейший князь Таврический, генерал-фельдмаршал (1789), видный государственный и военный деятель России.

⁴ «Русская старина». 1874, т. 9, № 2, с. 207.

Яркий портрет И. С. Жиркевича в симбирский период сохранился в воспоминаниях Стогова: «Как ни бужу свою память, не могу добиться от нее воспроизведения момента с подробностями, как явился Жиркевич в Симбирск, и, думаю, едва ли солгу, сказав, что никто этого не знал; как тогда, так и теперь не сумею объяснить: пешком ли пришел или приехал Жиркевич? Днем или ночью? Как-то все вдруг узнали, что новый губернатор занимается делами. Говорили в обществе о Жиркевиче так, как будто он и не выезжал из Симбирска и как будто он давно уже губернатором. Всезнайки рассказывали: когда спросили его, когда он позволит представиться чиновникам? — он отвечал: “Зачем беспокоиться, я с господами служащими познакомлюсь, занимаясь вместе делами”. В губернском городе все знают, кто что ест, о приезде известно — богат, беден, скучен, весел, играет ли, танцует ли, даже хорошо ли говорит по-французски и проч. О Жиркевиче я не слышал ни одного вопроса, никто не интересовался, и почти не упоминалась фамилия. Говорили просто — губернатор. Я куда-то ездил; возвратясь, немедленно явился к новому губернатору. В зале два чиновника с кипами бумаг; я просил доложить, отвечали: не приказано, и указали на отворенную дверь в кабинет. Губернатор у стола, уложенного бумагами, на двух стульях — дела. Только я вошел, Жиркевич встал навстречу мне. Он был больше среднего роста (вершков восьми); правильное и, можно сказать, красивое лицо, но не только серьезное, почти суровое выражение; темно-русые волосы приглажены по-военному, в форменном штатском сюртуке, застегнутом на все пуговицы — видна привычка к военной форме. Жиркевич был сухого сложения, но не худ; поклон, движения мне напоминали воспитание в корпусе; говорил скоро, как-то отрывисто. Пригласил сесть. Думаю, захочет знать о губернии, об обществе... Ничуть не бывало, хоть бы слово спросил, а от кого же узнать, как не от жандарма! Странное впечатление сделал на меня Жиркевич. Он вежлив, но очень молчалив; все вопросы его касались только лично меня. Я попробовал сказать шутку — он не слышал; я хотел заинтересовать его серьезным — он не обратил внимания. Откланявшись, я решительно не мог составить себе понятия о характере Жиркевича.

Жиркевич скоро отдал мне визит, и опять странность — пешком, тогда как в Симбирске и мещане не ходили, а ездили; я не сказался дома; на карточке просто: “Иван Степанович Жиркевич”.

Зашел к Жиркевичу вечером — читает и подписывает бумаги, около стоит правитель канцелярии Раев. Жиркевич отпустил Раева, сказав: “Я бумаги к Вам пришлю”. Ну, думаю, теперь разговоримся. Жиркевич, все в форменном застегнутом сюртуке, был очень вежлив, говорил о погоде, местоположении города — сухая история! Я коснулся было общественной жизни, что дворяне любят веселиться и привыкли, чтобы участвовал с ними губернатор. Он отвечал, что как справится с делами, то и он не прочь разделить общее удовольствие. Но так и не справился! Я рассказал какой-то анекдот, думая сорвать улыбку, — рассказ мой прошел мимо! Видаясь по разным случаям с Жиркевичем, я всегда заставал его за бумагами и составил о нем себе понятие, что это человек дела. Он всегда был как-то сдержан, очень вежлив, но малейшая несправедливость, плутовство по делам — выводили его из себя; всплыв, он уже не знал границ гнева. Много ходило рассказов по городу, как он, забывшись, гнался до крыльца за советником. Мошенники для него теряли личность, но зато и боялись его чиновники!

Жиркевича полюбить очень трудно, но нельзя было не почитать его, нельзя было не уважать честной его деятельности, его бескорыстия; он отдался весь, без остатка, полезному служебному труду. Жиркевич был ходячий закон. Узнавши его, я готов был поклониться ему, но, к сожалению, видел, что он не по дому пришелся в Симбирске. Мои сношения с ним были прекрасны, но сухи¹.

С резким нравом, ревностным отношением к делу, быстрый в решениях и бескомпромиссный, И. С. Жиркевич, конечно, вскоре нажил себе врагов среди симбирских чиновников и дворянства, которое, по словам Стогова, «было гордо, богато, независимо и дружно». Император Николай I, зная взрывной характер Жиркевича, говорил, что «генерал — настоящий губернатор, только горяч, его надо обливать холодной водой...».

В 1836 году Император посетил Симбирск.

Рассказ об этом Александры Ивановны Нахтман, приемной дочери Ивана Степановича, записал его внук А. В. Жиркевич.

«Дворянство давало бал. Государь, обласкавший деда и желавший оказать ему внимание, спросил Ивана Степановича, есть ли у него семья и кто из них на бале. На ответ деда Государь сказал: “Жена твоя танцует?” — “Только польский”. —

¹ Стогов Э. И. Записки // Русская старина. 1903. Май. С. 328–329.

“А дочь?” — “Танцует все танцы”. — “Представь ее мне”. Дедушка представил Александру Ивановну. Государь, танцуя с ней кадрили, милостиво беседовал. Так, он спросил: “Вы, вероятно, сердитесь на меня за то, что я перевел вашего батюшку в Витебск?” — “Не смею сердиться, Государь, воля ваша». — “Знаю, знаю, что там неприятно служить...”»

В Витебске Жиркевич вскоре нашёл себе таких же недоброжелателей, как и в Симбирске. Не найдя общего языка с генерал-губернатором князем Дьяковым¹, человеком, по мнению Жиркевича, нерешительным и компромиссным, Иван Степанович неоднократно подавал прошение об отставке Императору, но Николай I не принимал его.

Неожиданно в 1838 г. отставка была принята. В воспоминаниях внука Ивана Степановича этот факт объяснен так: «Дедушка, подавая в отставку, был убежден, что Государь ее не примет. Но не любивший его Перовский² убедил Государя Николая I, что дедушка невозможен на службе. Отставку его приняли <...> Дедушка был огорчен, принял все смиренно, заказал себе серый сюртучок и явился в нем с грустным лицом семье. Желая вновь служить и нуждаясь, дедушка хлопотал несколько раз о возвращении его на службу... но Государь молча вычеркивал его из докладов, а ранее Государь всегда хвалил дедушку... Дедушка был уже в отставке, когда Государь посетил Витебск. Зная, что недруги, состоящие в свите, не позволят ему добиться аудиенции у Государя, дедушка вышел навстречу Государю на шоссе и встал отдельно от толпы, надеясь, что Государь вспомнит его и остановится. Одет он был в своем сером сюртучке. Но на поклон его Государь взглянул ему в лицо и отвернулся. Дедушка вернулся домой убитый, взбешенный. Дурное настроение выражалось у него всегда тем, что он пил самый крепкий кофе. Он потребовал этот кофе и заперся в своей комнате. Ввиду холеры, дедушка написал записку, в которой завещал хоронить себя в простом деревянном гробе, если можно даже в халате, без всякого парада».

Тогда же, еще в Витебске, И. С. Жиркевич начал свои «Записки», которые продолжал писать, когда с семьей в начале 1840-х годов переехал в Полоцк. Просто и незамысловато ведет в них

¹ Дьяков Петр Николаевич (1788–1860) — с 1836 г. генерал-губернатор смоленский, витебский и моголевский.

² Перовский Лев Алексеевич (1792–1856) — граф, пользовавшийся особым расположением Николая I и назначенный в 1841 г. министром внутренних дел.

он свое повествование об Отечественной войне 1812 г., о зарубежных походах русской армии, в которых принимал участие, о выдающихся военачальниках — М. И. Кутузове, А. П. Ермолове, А. А. Аракчееве, о подробностях армейского быта и боевых действий, усадебной жизни, о губернаторстве в Симбирске и Витебске и своей неустанной борьбе с казнокрадством и взяточничеством...

Умер Иван Степанович в 1848 г., в крайней бедности, от холеры, свирепствовавшей в городе. Через шесть недель умерла и неразлучная спутница его жизни Александра Ивановна (урожд. Лаптева). Похоронены оба были на Красном кладбище Полоцка. Могилы не сохранились.

«Записки Ивана Степановича Жиркевича. 1789–1848»¹ печатались в журнале «Русская старина» и принесли автору посмертную известность, вызвав интерес искренностью и неприятельностью рассказа очевидца и участника многих важных событий первой трети XIX столетия.

¹ «Русская старина». 1874, т. 9, № 2, с. 207–244, т. 10, № 8, с. 633–666, т. 11, № 11, с. 411–450, № 12, с. 642–664; 1875, т. 13, № 8, с. 554–580; 1876, т. 16, № 8, с. 627–648, т. 17, № 9, с. 127–144, № 10, с. 251–266, № 12, с. 771–786; 1878, т. 22, № 7, с. 401–422, т. 23, № 9, с. 33–54; 1890, т. 67, № 7, с. 63–132, № 8, с. 225–277, № 9, с. 667–706. Доп.: Из бумаг И. С. Жиркевича // «Исторический вестник», 1892, т. 48, № 4, с. 150–159.

Из «Записок Ивана Степановича Жиркевича»

* * *

В Петербург я вернулся из отпуска в последних числах февраля 1812 г., а 5 марта бригада наша выступила в поход в Вильно. Когда я явился к Ермолову, он меня принял весьма сухо, а в продолжение похода, заметив, что я не имею ни верховой лошади, ни хорошей обмундировки, стал обращаться со мной еще холоднее и даже с некоторой небрежностью, что меня чрезвычайно огорчало, но я не находил средств пособить этому. Одно утешало меня, что Ермолов каждый день более и более сближался с Вельяминовым и редкий день проходил, чтобы не был в квартире у него, где всегда заставал и меня, ибо я могу похвалиться, что преимущественно пред всеми моими товарищами пользовался дружбой Вельяминова.

Не доходя до Вильны, нас остановили в м. Даугелишках, где мы простояли до последних чисел мая 1812 г., а около этого времени пришли в Вильну, где находился уже государь и где были делаемы маневры. Когда мы стояли в Даугелишках, наша рота была расположена в деревне, отделенной от местечка небольшим озером, так что через оное до штаб-квартиры было не более $\frac{1}{4}$ версты, а в объезд должно было ехать около 4 верст. В апреле, когда уже в поле снегу вовсе не было, но на озере еще держался остаток льда, в нашу роту приехали в гости из штаба наши офицеры: Вельяминов, Базилевич, Демидов, кн. Михаил Горчаков, адъютанты Ермолова: Фон-Визин, Поздеев и бывший при нем же ротмистр Кавалергардского полка Римский-Корсаков¹. Все они были приятели товарища нашего Афанасия Столыпина. Пообедав хорошенько у нас и по какому-то особому случаю спеша возвратиться в штаб-квартиру, они заметили, что немного опоздали, тогда Столыпин вдруг пред-

¹ РС, 1874, т. 10, № 8, с. 636–645.

ложил ехать обратно через озеро, взявши на себя быть их вожаком. Сперва стали смеяться такому вызову; потом, видя его настойчивость и насмешку с выражением «струсили», и другие стали требовать непременно ехать через озеро, а у берегов уже саженой на десять и льда не оставалось. Вельяминов и Поздеев одни поехали в объезд, а прочие, в глазах наших, сперва вплавь, а потом, проламываясь на каждом шагу через лед, побрели озером. Ермолов с другого берега, увидев в окно это безрассудство, вышел к ним навстречу и, когда они перебрались, порядком намылил им головы, грозил арестовать их и отдал приказ по пехотному гвардейскому корпусу, которым он уже тогда командовал, не оставляя начальства и над бригадой нашей, не называя, однако же, имен, но выставя как безрассудный поступок, нисколько не приписывая таковой мужеству. Я здесь упоминаю это происшествие не в упрек Ермолову и не в осуждение, а для того, чтобы можно было судить о духе товарищей моих и об образе мыслей моего начальника, которого, при явном его нерасположении ко мне, я не переставал в душе уважать.

Во время маневров в Вильне, главнокомандующий 1-й Западной армией, военный министр Барклай-де-Толли, сделал мне очень строгое замечание, что я принимаю маневры не в виде настоящего сражения, ибо, имея пред собою, в нескольких сражениях, небольшое возвышение, при наступлении, открыл пальбу из орудий, не занявши этой высоты. Замечание вполне справедливое, по тактике; но если бы я, забыв равнение фронта, самовольно решился податься вперед и тем нарушил линию фронта, тогда, вероятно, дело со мной окончилось бы не замечанием, а арестом, и меня верно бы не спросили о самовольной моей выскочке, на сколько саженой впереди от меня находилось упомянутое возвышение...

До поступления моего в канцелярскую службу, я пользовался необыкновенно хорошим зрением, чем даже хвастал. Приготовляясь ко вторым маневрам под Вильною, наша бригада ночевала под монастырем на Антоколе, где было назначено сборное место. Это, я думаю, около четырех верст от города. Сбравшись в кружок, мы стояли несколько офицеров вместе. К нам подошел Ермолов и с видом нетерпения говорил о замедлении некоторых полков и обратил наше внимание, что по другую сторону города, несколько вправо, идет, кажется, какой-то полк, что можно было заключить по отблеску штыков на ружьях.

— Ну, господа, — сказал Ермолов, — кто угадает, какой это полк?

Взглянув в ту сторону, я отвечал: «Должно быть, егеря!»

— Почему ты это заключаешь? — сухо спросил он у меня.

— Другие имеют белые панталоны, — отвечал я, — а этот весь в темном.

— Ну, брат, на этот раз я поймал тебя, — возразил он мне опять очень сухо. — Сегодня у нас 15 мая и все полки в белых панталонах; не хорошо, брат, пули лить!

Я покраснел, но повторил: «Может быть, я ошибаюсь, но еще раз подтверждаю, что идущие солдаты с ног до головы имеют одежду темную!» Прошло около часа времени; прошел мимо егерский полк и в зимних панталонах. Ермолов сейчас поехал навстречу и спросил, отчего не в летних панталонах. Затем подъехал опять ко мне:

— Виноват, товарищ, — сказал он, — признаюсь в этом и всем буду рассказывать, какое у тебя отличное зрение: чуть ли не за пять верст отличил одежду!

Егеря пришли прямо с караула, и потому одни они были в зимних панталонах.

После маневров мы опять отошли от Вильны, и штаб-квартира нашей бригады расположилась в Свенцянах, а мы по окрестным деревням. Во время стоянки здесь, у Ермолова оже-ребилась его верховая кобыла; он приказал хорошенько отпоить жеребенка, а потом зарезать и зажарить; приглашая офицеров на это жаркое, он говорил, что хочет заблаговременно приучить их ко всякой случайной пище, так как, Бог знает, что придется еще есть. Обстоятельство это мне тем памятно, что Ермолов к обеду этому приглашал не только всех офицеров из штаба, но даже из близ квартировавших деревень, кроме меня, что меня ужасно потревожило и огорчило, ибо это было явное доказательство его ко мне нерасположения и небрежения.

Вот чем еще памятна для меня стоянка около Вильны. В 1808 г. к нам в гвардию переведен был из армии поручик Сухозанет тем же чином, и как я был в это время 4-м подпоручиком, то он стал мне, как называют, «на голову». В 1809 г. я произведен был в поручики, следовательно, недалеко от Сухозанета. В 1811 г., в первых числах февраля, Сухозанет, числясь адъютантом при кн. Яшвиле, переименован капитаном по артиллерии и назначен командиром роты Яшвиля. В конце февраля того же года, артиллерии, инженерам и кадетским корпусам дано стар-

шинство одного чина перед армиею и вместе сделано производство и уравнение из майоров и капитанов в подполковники, причем также произведен Сухозанет. В 1812 г., когда мы были в Свенцянах, государь смотрел две роты: батарейную 1-й бригады, полковника Глухова, старика лет семидесяти и имевшего орден Георгия 4-й степени, и конную — Сухозанета. Последняя ему так понравилась, а первая, напротив, так не понравилась, что он Сухозанета тем же чином перевел опять к нам в гвардию, а Глухова, для исправления, предоставил под команду Сухозанета, а потом и вовсе лишил бригады и роты, и Сухозанет стал у нас старше всех капитанов. В декабре, при производстве по линии, он произведен был в полковники, а в мае за Бауценское дело получил чин генерал-майора. Он был из кадет; выпущен в 1804 г. шестнадцати или семнадцати лет, а в 1813 г., то есть через девять лет, на двадцатипятилетнем возрасте, имел уже генеральский чин и за Лейпциг ленту Св. Анны. Не помню, кто-то весьма остроумно выразился на этот счет, что он одного человека знает только, который в чинах шел шибче Сухозанета, и этот человек Барклай-де-Толли, который, в 1807 г., командовал полком в чине генерал-майора, а в 1814 г. был уже генерал-фельдмаршалом.

14 июня бригаду нашу собрали на тесные квартиры в штаб, в Свенцяны, и тут мы узнали, что французы перешли границу. Вечером того же дня возвестили нам о скором прибытии государя и гвардии. Для государя заняли квартиру в небольшом домике гр. Платера, на конце города. Для караула была поставлена пехотная батарейная рота его высочества. Все офицеры бригады стояли на фланге, когда подъехал государь и вышел из коляски. Еще выходя, он поздоровался с солдатами и громко объявил:

— Поздравляю, господа, с военными действиями, примемся работать! Французы перешли Неман в Ковно 12-го числа, а теперь к делу! — Потом, поцеловав Ермолова, присовокупил: — Будет работы, мы имеем дело не с обыкновенным человеком. Ну, как думаешь, Алексей Петрович, чья возьмет?

— Государь, — отвечал Ермолов, — мы имеем дело, точно, с необыкновенным человеком, но все-таки с человеком! Его надобно бить его же оружием!

— Каким? — живо спросил государь.

— Упрямством! *Le plus opiniâtre sera toujours vainqueur!*¹

¹ Кто переупрямит, тот и выиграет! — *Прим. И. С. Жиркевича:* Замечание Ермолова, каким оружием можно победить Наполеона, было сказано по-французски, весь же разговор, а равно и ответ государя на это замечание, происходил на русском языке.

— Ну, что касается до этого, — сказал весело государь, — то я с ним готов буду поспорить, — и потом сказал: — На что ты поставил мне целую роту молодцев для караула, отпусти; пусть отдыхают, для меня довольно и десятерых!

На замечание Ермолова, что сейчас пришел Преображенский полк и что не прикажет ли государь сменить артиллеристов.

— Не надо, — сказал государь, — и они сберегут меня, — что нам всем чрезвычайно польстило.

Я в этот день назначен был главным рундом. По пробитии зари, когда я пошел с патрулем обходить посты, я имел обнаженную шпагу. Войдя в сад, у двери, выходящей туда и отворенной, я увидел, что часовой задремал... А между тем все окна в сад были отворены. С одной стороны, не слыша оклика себя, а с другой — при мысли о несчастьи, которое должно неизбежно постигнуть задремавшего часового, если государь заметит сию небрежность, поставило меня, на минуту, в затруднительное положение. Концом шпаги разбудил я часового, но тот так смешался и испугался за свою вину, что от робости все-таки не сделал оклика, так что я был уже вынужден заговорить с ним об этом и, возвратясь на гауптвахту, приказал немедленно сменить этого часового, все еще не зная, довести ли о таком проступке до начальства или наказать его по домашнему порядку. Я пошел далее по городу и чрезвычайно обрадовался, встретив на улице государя в одном сюртуке и фуражке, выходящего из квартиры Аракчеева. По форме я окликнул государя, и он, отозвавшись «солдат», сказал мне, улыбаясь: «Я говорил, молодцы артиллеристы, знают свое дело!» Это меня удивительно как облегчило: так что о вине часового я никому другому, кроме его ротного командира, не объявлял, и его очень милосердно наказали против того, чего тот заслуживал за свой важный проступок. На другой день мы выступили на бивуаки и для нас тоже началась уже действительная кампания.

Первые неприятельские выстрелы, в 1812 г., которые мы услышали вдалеке, были под Видзами. Туда, в числе прочих раненых, привезли мне двоих знакомых: полковника Рахманова, бывшего адъютантом при Барклае, до того издававшего «Военный Журнал», и гусарского поручика Фигнера, женатого на воспитаннице Мордвинова, с которым в феврале я виделся в Смоленске. Рахманов был весьма боек на язык. Государь посетил его и Фигнера. С государем был генерал-адъютант гр. Ожаровский. Тот, шутя над раною Рахманова, у которого картечью

оторвало два пальца на правой руке, поострился, сказав государю: «Rakhmanoff est puni, par où il a pêché!»¹

— Берегитесь граф, — возразил Рахманов по-русски, — этак не придется вам головы снести в эту кампанию!

Не помню, кто мне рассказывал это: Вельяминов или князь Горчаков, которые тут были у Рахманова, когда государь неожиданно посетил его, и, несмотря на присутствие императора, который сам невольно улыбнулся, все находившиеся тут засмеялись; один граф Ожаровский, как заметно было по выражению его лица, не сообразив тотчас всю ловкость ответа Рахманова, стоял с серьезным выражением лица.

Из лагеря под Дриссою мы выступили в первых числах июля 1812 г. и шли через Полоцк к Витебску, где, как слышно было у нас, готовились дать сражение неприятелю. Первоначально мы расположились около большой дороги, идущей в Оршу, и с того места, где была расположена наша бригада, даже простым глазом видели происходившую, под местечком Островною, стычку с неприятелем, а в подзорную трубу очень хорошо можно было различать даже передвижение войск. После дневки перевели нас на другую позицию, которая заслоняла проселочную дорогу, прямо идущую на Смоленск, через Лиозну и Рудню, и тут уже мы были поставлены в боевую позицию; но, простояв одни сутки, потянулись на Лиозну. Все эти переходы и колебания так уронили дух в войске, что не только офицеры, но и солдаты начали роптать на главнокомандующего Барклая.

Государь из-под Полоцка отбыл от армии в Москву, через Смоленск.

Не помню теперь, какого числа, наверное, между 10 или 15 июля, когда мы стояли под Лиозною, вечером, уже в совершенные сумерки, потребовали меня и моего ротного начальника, капитана Гогеля, к генерал-лейтенанту Депрерадовичу, командовавшему 1-ю гвардейскою кавалерийскою дивизиею. В его квартире были собраны уже несколько генералов и полковых командиров. Когда мы прибыли, как кажется, уже последними, он объявил нам, что он назначен начальником особого легкого отряда, отправляемого открыть дорогу армии к Смоленску и, как предполагать должно, дорога эта, быть может, занята уже неприятелем; а потому все мы должны ожидать жаркой встречи с незванным гостем.

¹ Рахманов в том наказан, чем грешил! (*фр.*)

— Хотя я, — продолжал Депрерадович, — совершенно уверен, что каждый из нас готов жертвовать жизнью за государя и отечество, но решил предупредить вас о нашем предназначении с тем, что если кто-либо не чувствует в себе твердости идти на видимую опасность, то лучше бы и не шел в этот отряд!

Разумеется, что подобного труса ни одного не оказалось.

Мы отправились к своим местам в 10 часов вечера, с особенною предосторожностью и тишиною снялись с бивуаков, как будто неприятельская цепь нас окружила в нескольких только шагах, и выступили в поход на Рудню. В отряде этом были полки: Кавалергардский, Конногвардейский, гвардейские егеря, лейб-гвардии Финляндский полк, сводный гренадерский батальон, конная гвардейская артиллерийская рота и наша 2-я легкая рота. Этот отряд шел с такой быстротой, что когда приходили к месту отдыха, то из пехоты на бивуаки едва-едва вступало несколько человек, но через час или два молодцы-егеря и финляндцы бывали всегда уже в полном комплекте. На отдых мы обыкновенно стояли три или четыре часа и, сваривши кашу, опять подымались в поход. Жар был нестерпимый, и мы не более как в 38 часов прошли около 75 верст до Смоленска без малейшей встречи с неприятелем. Третий роздых мы имели около удельного имения Приказ Выдры. Я знал, что в этом имении очень часто бывает мой внучатый брат Пирамидов, женатый на Лаптевой, сестре моей невесты, ибо он служил по удельному ведомству, поэтому я по прибытии на бивуак отправился в волостную контору отыскивать голову и расспросить его, давно ли был у них Пирамидов и когда и куда он уехал из Смоленска, а также не знают ли чего-либо о Лаптевых, которых деревня была недалеко от Выдры. У головы квартировал Депрерадович. Каков же был сюрприз для меня, когда голова сказал мне, что Пирамидов только несколько часов как выехал от них в деревню к теще своей, за 12 верст от них, и что ни его семейство, ни семейство Лаптевых вовсе не думали выезжать никуда. Это меня так сильно озадачило и напугало, что я тут же пошел к Депрерадовичу просить позволения отправиться тотчас же к Лаптевым, вывезти оттуда мою невесту и всю родню в Смоленск. Депрерадович сделал мне вопрос: «В какую сторону лежит деревня?» — и, когда я сказал, что к Днепру, он сперва мне решительно отказал, говоря, что хотя по другой стороне и тянется цепь казаков, но что на это полагаться никак нельзя, что неприятель местами может очень легко перебраться на нашу сторону

для розысков и что я тогда могу даром попасться в плен. Но я стал его убедительно просить отпустить меня, и он благословил меня, подтвердив, чтобы я сам на себя пенял и не выдал бы известия о том, что отряд наш идет на Смоленск.

Взявши у головы подводу, часов в 10 утра поехал я в Нолинцы (деревня Лаптевых), куда и прибыл в самый полдень. Во двор господский я должен был въехать аллеєю, так что можно было приезд мой видеть еще саженой за сто от дома. Первый предмет, бросившийся мне в глаза, когда я въехал во двор, была огромная масса сухарей, приготовленных для армии и сушившихся на солнце, а затем в окне я увидел все семейство Лаптевых, сидевших за обеденным столом, и в конце стола, прямо против окна, мою невесту, которая, вскочивши, закричала: “Ах! Иван Степанович приехал!” Тут и другие все бросились к окну, а потом и на подъезд, с вопросом: что значит мой приезд из похода? Этот вопрос мне показался весьма странным; но каково же было мое изумление, когда мать невесты и даже Пирамидов объявили мне, что они вовсе не имеют понятия ни о какой опасности; что они слышали, будто армия приближалась к Витебску и Могилеву; но что около этих мест где-то было сражение и французы уже прогнаны назад; что на днях государь был в Смоленске, смотрел там 12 армейских рот и рекрутов, всех успокоил и обнадежил; и что они вовсе не собираются и не думают куда-либо выехать. Я, объяснив им их ослепление, стал убедительно просить матушку тот же час собраться и ехать, по крайней мере, в Смоленск, что составляет не более 18 верст; там она сама могла удостовериться, что им никак нельзя долее оставаться в деревне. Она же мне объявила, что это вовсе не так легко сделать, как я предполагаю; что она обыкновенно все лето живет в деревне, следовательно, на лето у нее в Смоленске вовсе нет запаса; теперь же пора рабочая, мужики все в поле, и от работ отрывать их грешно. В дальний путь, с семейством, ей ехать и вовсе нельзя: “На это нужны деньги, а у меня их вовсе нет, — сказала она и потом прибавила: — Да что это, Иван Степанович, вы нас пугаете, вас, верно, послали по какому-нибудь делу в Смоленск, и вы хотите, чтобы ваша невеста была ближе к вам, и потому всех нас за собой тянете? Раненько, молодой человек, вздумали надо мной шутить”.

После долгих и долгих убеждений она понемногу начала давать веру моим словам, обещала подумать и дня через два приехать в Смоленск на несколько дней. Пробывши часа два у них,

отправился я к отряду своему, в деревню Ольшу. Когда я явился после к Депперадовичу, он с любопытством стал спрашивать меня, что слышно около Днепра о французах, но я удивил его моим рассказом, и он мне серьезно сказал: “Напишите сейчас к вашим родным, что я вам велел их уведомить: они не могут оставаться в деревне, и отправьте к ним нарочного”. Разумеется, я поспешил исполнить приказание генерала, и будущая теща моя, с четырьмя дочерьми, из коих две беременные, с двумя малютками, с дворней — человек до пятнадцати, без денег, без гардероба, без запасов на другой день, в пять часов утра, перебрались в Смоленск; а через полчаса после ее выезда в деревню наехали свои мародеры и весь дом перевернули вверх дном, так что оставшаяся дворня, а частью и крестьяне, бегом прибежали в Смоленск и принесли весть о том...¹

* * *

Цель записок моих — не столько удержание в памяти случайностей моей жизни, сколько наставление в будущности сыну моему, потому там, где я находил или видел зло, я описываю оное подробнее другого. Таким образом, скажу, что зять мой, Фролов, бывший в 1813 г. смотрителем Шкловского военного госпиталя, нажил 40 тыс. руб. асс. Я пожелал знать от самого Фролова, как он накопил такую значительную сумму и в такое короткое время, тем более что по характеру его я знал его всегда за самого человеколюбивого и притом слабого, близко к трусости наклонного чиновника. Основанием его фортуны была стачка с медиком, комиссаром, священником и с ревизорами госпиталя. Разумеется, что при этом положении он должен был с ними делиться и многих угощать. Усиленное показание высшего разряда порций, задержание выключки своевременно умерших, погребение сих последних без гробов, употребляя при выносе их один и тот же гроб под всех, наконец, искусственное поддержание справочных цен на припасы, а через это стачка с подрядчиками — вот источники, из которых собиралось золото, а приезжавшие ревизоры, получая свою долю, весьма значительную, находили все отлично, и госпитальные чиновники кроме прибыли получали еще награды.

Прибыв в Смоленск, я узнал, что семейство Лаптевых из Ярославской губернии перебралось в Тверскую, к родственнице

¹ «Русская старина». 1874, т. 10, № 8, с. 637–645.

матери моей невесты, Шишкиной, рожденной Талызиной, по первому мужу Гедеоновой. (Первый муж ее был родной брат Е. Я.) Родной мой край представлял все еще только одно пожарное пепелище. В имении матушки, Малоселье, более половины крестьян перемерло, осталось всего лишь шестнадцать душ, и Фролов, к которому от сестры перешло это имение, по крайней мере озаботился продовольствием мужикам и обсевом их и своих полей. В Нолинцах же, деревне Лаптевой, все стояло вверх дном. Поля не засеяны, крестьяне не призрены и, что всего чувствительнее для имения, — отсутствие хозяев, тем более что в самое это время выдавалось пособие от правительства. Как известно, что все подобные распоряжения вначале как-то идут живее и удовлетворительнее для нуждающихся, а впоследствии, по прошествии некоторого времени, участие и рвение остывают, и вот явное доказательство тому: матушка, не будучи налицо, по возвращении своем ничего не получила уже на свою долю.

В Смоленске я пробыл только два дня и поехал с Фроловым прямо в Елец, а оттуда в задонскую деревню Сергея Семеновича Сахарова. У него в это время жила моя мать. Семейство Сахарова, с которым я до сего времени не только не был знаком, но даже не знал о его существовании, состояло из трех братьев: Петра — старого холостяка, Ивана — женатого, имевшего деревню в Елецком уезде, и Семена — тоже немолодого холостяка, но еще более устарелого от несчастья, ибо он был разжалован в матросы, но потом прощен, и двух сестер: Матрены — девицы лет 35-ти, жившей с Семеном Сахаровым, и Марьи, по первому мужу Кожинной, а в это время Туровской. Мать Сахаровых была родная сестра моей матери, а отец их при императрице Екатерине II служил при дворе и был один из ее камердинеров. Сахаровы обворожили меня своим приемом, да в это время иначе и быть не могло. В таком краю, где молодые мужчины за войной совершенно исчезли, появление военного, да к тому же молодого гвардейского офицера, составляло происшествие, и я в кругу моих родных, переезжая из одного дома в другой, не замечал, как летели дни...

С матерью и с Фроловым мы отправились, в исходе октября 1814 г., в Смоленск, куда и прибыли 3 ноября. Здесь я узнал, что семейство Лаптевых все возвратилось и живет в деревне. Разумеется, что я сейчас же поспешил туда, но как меня поразил вид моей невесты! Она предшествовавшую зиму, во время краткого переезда из Ярославской губернии в Смоленск, отъехавши от го-

рода в деревню, на Днепре, с санями провалилась под лед и спаслась каким-то чудом; но с того времени открылось у нее сильное кровохаркание, так что при малейшем нравственном потрясении кровь немедленно вырывалась горлом чашки по две; да к этому у нее была корь, от которой выпали все волосы на голове. Тем не менее я стал настаивать на моем искательстве...

Теперь надо представить себе положение нас обоих и наших семейств. У моей матери в обрез, ровно ничего! У Лаптевых, кроме той же скромности достатка, большой долг, сделанный для прокормления крестьян и огромной дворни. На мне один старый мундир, два фрака, статский сюртук, без жалованья и даже без видов содержать себя! Я не знаю, право, что я думал тогда, но упрямство мое было так велико, что я настаивал на свадьбе! Иногда мне казалось, что я будто бы добиваюсь, чтобы мне отказали, но сердечная привязанность и внимание ко мне моей невесты не только не ослабели, но с каждым днем все больше усиливались, и чем более я размышлял о бедственном ее положении, тем дороже и милее становилась она мне. Наконец, в апреле 1815 г., на Вербной неделе, когда я стал настоятельно просить Елизавету Яковлевну решить нашу участь, она, при всей ангельской кротости, вынуждена была сказать мне, что я сошел с ума и что я сам не знаю, чего желаю и чего требую; я с сердцем уехал и сватовство свое считал совсем расстроеным.

Но в день Св. Пасхи я получил письмо от Александры Ивановны, в котором она извещала, что матушка решила благословить нас и что она сама будет писать к моей матери; и действительно Елизавета Яковлевна, извещая мою мать о моем настоянии, чистосердечно объяснила свое крайнее положение, просила, если можно, убедить меня обождать, пока я себя не пристрою, но если это покажется недействительным, то она, со своей стороны, не будет более нам препятствовать. Матушка, зная хорошо мой характер, передала мне только письмо, не говоря ни слова, и 2 мая 1815 г. я сделался мужем Александры Ивановны.

Невзирая на кротость этой свадьбы, на бедность наших средств, ибо, чтобы заплатить священнику и причетникам за венец, я взял у Фролова 30 рублей, а за невестой три старых платья, вот уже *тридцать два года* как я пользуюсь совершенным семейным счастьем и моим детям не желаю лучшей участи.

Полоцк. 1847 г.¹

¹ «Русская старина». 1874. Т. 11. № 12. С. 662–664.

* * *

Не знаю, достанет ли у меня сил и терпения описать те несправедливости и неприятности, которые я перенес и по сие время (1844 г.) переносу здесь, в Витебске.

Я уже сказал, что в бытность мою в Симбирске государь лично изволил сказать мне, что он назначает меня губернатором в Витебск потому, что я ему нужен на этом месте, «где буду служить вместе с генералом Дьяковым, человеком честным и благородным, но неопытным в делах гражданских», а как по Витебской губернии существуют большие беспорядки, которые мы вместе с Дьяковым, «любя его, будем уметь истребить», и, наконец, что он надел на меня военный мундир с тою целью, что он мне в Витебске «пригодится».

Последнее выражение, я понял, равно как и теперь не перестаю думать, относилось прямо на счет воинской строгости, необходимой для прекращения больших беспорядков.

Из Симбирска я выехал 2 сентября 1836 г. и 7 или 8 прибыл в Москву. Предполагая из слов государя, что к этому времени мог уже состояться обо мне высочайший приказ о переименовании меня в военный чин, я беспрестанно искал оного в приказах и газетах, но все тщетно.

В это время в Москве проживал в отпуску генерал от инфантерии князь Хованский, носивший еще звание генерал-губернатора трех губерний, в том числе и Витебской, который, узнав в Английском клубе от общего нашего знакомого и моего приятеля Озерова о моем пребывании в Москве, пожелал непременно меня видеть, убедительно прося Озерова дать мне о сем знать. Принимая это сообщение за какое-то приказание, которое я не спешил исполнить, зная, что он уже не вернется к старому своему месту служения, и, кроме того, ожидая ежеминутно надеть военный мундир, во время дороги я запустил усы как принадлежность военной формы, — то и не хотел являться в этом виде, чтобы не заслужить замечания, и затем, прожив в Москве дней пять и обмундировавшись совершенно, я выехал отсюда 12 сентября. 21 сентября 1836 г. поутру я приехал в Витебск.

На пути в Дорогобуже по случаю починки экипажа, будучи задержан несколько часов на станции, встретил там и познакомился с генерал-майором Мердером, окружным начальником батальонов внутренней стражи, в числе которых был и витебский, моим совоспитанником по 1-му корпусу, но поступившим туда гораздо позднее меня. С братом его, состоявшим при особе

государя наследника, я был хорошо знаком. Мердер просидел со мною довольно долго, и как до своего производства в генералы был лет шесть или семь жандармским штаб-офицером в Витебске, то, зная всю подноготную губернии, желал отчасти познакомиться меня с тамошними порядками и в особенности с чиновниками, о которых вообще отзывался с большим одобрением, но предостерегал меня насчет правителя канцелярии Дьякова, статского советника Г-кова как о большом фанатике и с весьма тяжелым характером; о чиновнике особых поручений при губернаторе Я-ве, которого вся губерния не терпит за натяжки разного рода в следствиях и в особенности в делах, касающихся религии, и насчет советника губернского правления С-ко, которого мне описывал как человека умного, хитрого и весьма корыстолюбивого (последний отзыв я выставляю здесь на вид для того, чтобы в последующем рассказе показать, как могут быть различны суждения даже людей беспристрастных об одном и том же лице, несмотря на близкие к нему отношения).

В Смоленске я слышал, что Полоцкий архиерей держит себя так гордо и самостоятельно, что князь Хованский не смел ему ни в чем противоречить, а предместника моего, тайного советника Шрейдера, держал в таком почтении и страхе, что когда, бывало, архиерей приезжал к Пасхе в Витебск, то он его лично встречал на берегу Двины у парома и провожал до церкви. Я не дал особенной веры всем этим рассказам, но, увя, на месте познал уже справедливость всех этих слухов.

По приезде моем в Витебск я был встречен, вместо управляющего губернией, председателем уголовной палаты Милькевичем, так как вице-губернатор недели две уже как находился в Люценском уезде для приведения к послушанию волновавшихся там крестьян. Дьякова в городе тоже не было, уехал в Динабург. Не желая показать себя пренебрежительным к формам одежды, я уничтожил свои усы, так как до того времени еще не появлялось обо мне никакого высочайшего приказа, и о таком промедлении уже не знал, что и думать.

На 22 сентября я пригласил чиновников познакомиться со мной и для сего назначил ровно в 10 часов утра. Все чиновники посторонних ведомств явились аккуратно, но советники губернского правления и член общественного приказа, инспектор врачебной управы как нарочно в назначенное время не прибыли, и я встретил советников на подъезде, когда сажился в экипаж ехать в присутственные места. Это обстоятельство послу-

жило поводом к показанию первого примера моей строгости на словах, сделав им выговор за невнимание и неуважение при встрече нового их начальника.

Приехав в больницу приказа, я нашел там инспектора врачебной управы статского советника фон-Гюбенталя, пользовавшегося, как я узнал впоследствии, особым расположением Дьякова... Найдя больницу по наружному виду гораздо ниже той, за которую я в Симбирске получил замечание государя, я выразил свое мнение в этом смысле и с приличною строгостью обратил мои замечания к смотрителю больницы, добавив при этом надежду видеть ее в скором времени в более приличном виде, чем в каком я ее нашел.

Фон-Гюбенталь, привыкший играть главную роль в больнице и в доме генерал-губернатора, взял на себя возражать, объясняя, что по сие время он считал, что лучшего порядка и быть не может, ибо даже князь Хованский, известный своей взыскательностью, всегда был доволен, посещая сие заведение. Я вспыхнул и суровым выговором остановил поток красноречия Гюбенталя, а смотрителя тут же арестовал, но при выходе из больницы возвратил ему его шпагу.

Затем я отправился в городскую тюрьму, где, найдя большую нечистоту, стал выговаривать смотрителю, и здесь как на мою беду подвернулся прокурор Безкоровайный, тоже опоздавший явиться ко мне, а потому тоже назвавшийся сам на неприятные для него объяснения.

Слух о моих взысканиях в тот же день разнесся не только по городу, но как необыкновенный случай долетел до Могилева, за 150 верст от Витебска.

Окончив обзор присутственных мест и других заведений, я счел долгом сделать визит супруге генерал-губернатора Екатерине Андреевне Дьяковой. В то время ей не было еще сорока лет. Небольшого роста, с миниатюрным острым личиком и сообразно тому стройной талией, она могла назваться если не красавицей, то весьма красивой женщиной, и в таком смысле она слыла у всех ее знакомых. Но с самого первого моего взгляда на нее, привыкший смотреть на все с хорошей и выгоднейшей для человека стороны, я почувствовал к ней сильнейшую антипатию. Думаю, что и она мне заплатила с первого взгляда тем же. Так как ее влияние было самым сильным и основным поводом к последующим и к продолжающимся для меня до сего времени неприятностям, я хочу сказать несколько слов о ней.

Екатерина Андреевна Дьякова, дочь бывшего в Вильне в 1812 г. частным приставом Вейсса, воспитывалась первоначально в доме отца своего, который женился в Дрездене на одной танцовщице. В 1812 г. гвардия и покойный государь Александр Павлович находились в Вильне, где в то время старшая сестра Дьяковой девица Софья Вейсс слыла красавицей и блистала ловкостью своего обращения на балах и в других общественных собраниях. Находившийся в то время при особе государя генерал-адъютант князь Трубецкой, долгое время хлопотавший о разводе со своею женой, рожденною принцессою Бирон, успевший наконец в своем желании, поспешил доказать действие развода, женись на Софье Вейсс...

Несмотря на все свое увлечение, он видел недостаточность образования в своей жене и тотчас начал стараться усовершенствовать ее, а вместе с ней образовалась и младшая сестра Екатерина, поселившаяся у них, вскорости приобрета весь наружный блестящий светский лоск, а по быстроте ума своего и по красивой наружности скоро обратившая на себя внимание общества.

Замужество старшей сестры доставило ход и сыновьям Вейсса, из которых старший Андрей попал в адъютанты к великому князю Константину Павловичу, женился впоследствии на известной баронессе Фридрихс (она же Александрова), но с женою прожил недолго и овдовел.

Дьяков по окончании кампании 1812 г. тоже попал в адъютанты к великому князю, и это общее служение, товарищество весьма сблизило его с Вейссами, где в ту пору гостила Екатерина Андреевна. Красивая внешность, привычка и знание света, блеск природного ума очаровали Дьякова, и он вскорости женился на ней в Варшаве, подчинясь с того времени совершенно ей.

Дьяков возвратился в Динабург дня через четыре по прибытии моем в Витебск. По обязанности моей я отправился к нему представиться на другой день в 9 часов утра. <...> В это время Дьяков стал вскрывать поданные ему с почты пакеты и в первом, где заключались высочайшие приказы, в самом заголовке нашел и указал мне мое имя с переименованием в генерал-майоры и с присвоением звания военного губернатора города Витебска. Приказ обо мне состоялся 17 сентября, а 15 сентября и он, Дьяков, утвержден генерал-губернатором.

Поздравив меня с искренним радением, он обнадеживал меня на свое честное и беспристрастное расположение и, со-

знаясь сам в малоопытности своей, просил не оставлять его своими советами и содействием.

Возвратясь домой, я нашел у себя письмо фон-Дервиза, при котором тоже приложен был приказ, и сверх того он объяснял мне причину замедления, из которой я тотчас усмотрел недоброжелательство ко мне и натяжку В. Ф. Адлерберга. До состоявшегося приказа он докладывал государю два раза обо мне, и оба раза с явным желанием мне повредить. В первый, что я прослужил в полковничьем чине едва пять лет, и в другой, как приказано будет зачислить меня, с старшинством или нет, ибо два губернатора, тульский — Зуров и харьковский — князь Трубецкой, оба произведенные не по очереди из полковников в генералы, по сие время считаются на линии полковников. Но государь приказал отстранить эти соображения и считать меня в чине и в линии генералов со дня переименования.

Чрез два часа после сего я отправился в военном уже мундире благодарить главного начальника за мое преобразование; я встретил его сходящим с лестницы на прогулку, и он меня совершенно не узнал, так переменяла меня новая форма.

Года за два до назначения меня в Витебск определен был туда же комендантом генерал-майор Соболев, следовательно, по чину старее меня, но в продолжение двух лет нашего общего сослужения мы оба держали себя в сношениях один с другим так, что это никогда не служило к размолвкам между нами, и я начал с того, что от Дьякова прямо поехал к Соболеву, чтобы предупредить его как старшего моим визитом, чем уже много утешил и обратил к себе старика, и, кроме сего, впоследствии старался выказать ему всегда мое уважение, когда представлялся ему малейший случай.

Дьяков же поступал с ним совершенно иначе: меня всегда принимал с видимым вниманием, не заставляя никогда себя ждать ни минуты, а Соболева держал по несколько часов в приемной, не приглашая в кабинет и не сажая его в своем присутствии, и все это делалось единственно из угождения своей супруге, которая с самого своего прибытия в Витебск невзлюбила чету Соболевых, в особенности госпожу Соболеву, русскую, истинно русскую почтенную старушку.

При вторичном моем свидании с Дьяковым он объявил мне, что замешательства и затруднения, встречаемые в настоящее время в Витебской губернии, происходят от предпринятой великой реформы, присоединения униат к Православной церкви,

на что должно быть обращено все внимание властей. Мера эта отчасти только религиозная, но главная цель есть политическая — составить одно тело и одну душу. За это взялись весьма старательно, но чересчур горячо, так что до правительства начали непрестанно доходить жалобы на притеснения и угнетения обывателей, а князь Хованский, Шрейдер и епископ Смарагд поставили дело так, что государь был вынужден первых двух сменить, а последнего оставить до времени, дабы видеть, как мы будем с ним ладить, а в противном случае он назначит на его место архиерея из Варшавы Павла. Государь настоятельно желает, чтобы обращение униат в православие не прекращалось бы и доведено было до конца.

Далее Дьяков коснулся того, что по губернии существует огромная недоимка в уплате податей, которых вовсе не вносят, а недоимка ежегодно все возрастает; затем он стал жаловаться на неисправность и дурное содержание почт по губернии и объявил, что по губернии вообще почты так дурно содержимы, что не проходит недели, в которую он, Дьяков, не получил бы жалобы на остановку в лошадях для проезжающих или на другие неудобства по почтовому ведомству, и на другой день препроводил ко мне письмо, на днях полученное им от генерал-адъютанта князя Лобанова-Ростовского, ехавшего по высочайшему повелению в Берлин, который в городе Режице в оба пути имел остановку на почте и даже неприятности.

Касательно общего духа обывателей Витебской губернии Дьяков заметил, что поляки все еще в лес смотрят, подобно волку, на которого и корм в селении не имеет влияния. Но со всем тем, однако же, во время последней польской революции помещики Витебской губернии не выказали ничего резкого, что бы можно было обратить им в укор или в желание уклониться от настоящего их к правительству положения¹.

* * *

Через два дня по моем приезде в Витебск я получил письмо от архиепископа Смарагда; предупреждая меня своим приветствием и рекомендуя себя к знакомству, он писал ко мне, что по обстоятельствам здешнего края он будет иметь необходимость в частых со мною сношениях, что дела здесь бывают иногда такого рода, что оные нельзя подводить под обыкновенные уста-

¹ «Русская старина». 1890. Т. 67. № 8. С. 225–232.

новленные формы и, наконец, добавил, что предместник мой с ним был всегда в хороших отношениях и что посредством его, Смарагда, не один раз обращал на себя внимание и получал награды от правительства.

Признаюсь откровенно, что это послание меня совершенно поразило. Я отвечал в тот же день его преосвященству, благодарил его за его упреждение, но вместе предварил его, что я в действиях моих всегда и безотступно следую буквальному смыслу законов; ежели встречу в чем-либо сомнение, не премину прибегать к его совету, но в заключение прибавил, что одно мое правило твердо и положительно: внимание и щедрость правительства извлекать из единственного и прямого источника.

Из числа чиновников, служивших в то время по выборам, обратили на себя мое внимание в особенности председатели палат гражданской — Сипайло и уголовной — Милькевич. Последний во время приезда моего, за отсутствием вице-губернатора, управлял губернией. На мои вопросы, сообразные с теми, которые я делал Шадурскому, отвечали они с видимою уклончивостью и робостью, но со всем тем подтверждали слышанное мною от последнего. Впоследствии удостоверился я, что эти оба чиновника весьма благородного образа мыслей справедливо пользовались доверием к ним дворянского сословия.

По губернскому правлению в советниках я нашел себе сотрудников, знающих свое дело: Соколова, скромного, тихого бескорыстного человека; Скляренко, скромного, но не застенчивого характера, с быстрым объемом в суждении, но против которого имел я некоторое предубеждение в своевольном и не всегда чистом направлении дел; предубеждение сие скоро во мне рушилось, ибо все его суждения по делам, в мое управление, совершенно согласовались с моими; зато Рыжевич, о котором я прежде слышал похвалы, не приобрел к себе моего доверия. К лучшему пояснению действий сих чиновников следует заметить, что, прослужа уже по несколько лет в должности, все трое они не блистали наружностью, ни в роскоши, ни в обращении, и даже ни один из них не имел экипажа и всегда ходили пешком, что если и не доказывало в совершенстве их бескорыстия, то по крайней мере могло быть отводом и от мысли на лихоимство. Жалобы ко мне на них впоследствии доходили иногда на одного только Рыжевича и некоторые оказывались довольно уважительными.

По городу нашел я на главных улицах и площадях заметную чистоту и опрятность, но зато в боковых улицах и переулках заразительная вонь, гнилость, всюду сопровождающие скопление евреев. Полицмейстером был коллежский советник (скоро переименованный полковником) Г-ка, старик расторопный, хитрый, но сомнительной честности; со всем тем он пользовался расположением к себе обывателей среднего и низшего сословия, но чиновники и дворянство не всегда о нем отзывались с похвалою. <...>

Богоугодные заведения и внутреннее полицейское устройство в губернском городе нашел я в весьма жалком положении. Особенно замечательна была в этом отношении полицейская прислуга; все старики в лохмотьях, с подогнутыми штанами, вечно небритые, в помятых, разодранных, разнокалиберных шапках. И на вопрос, Г-ке сделанный, что это за люди и откуда они набраны, я получил ответ, что часть из отставных солдат, а часть из бессрочно отпускных, что порядочных людей для примера приискать нет никакой возможности; жалованье назначено весьма скудное, но и то очень часто за несбором в свое время городских доходов на содержание полиции доходит неаккуратно. Малейшее взыскание за нерадение или неопрятность непременно влечет за собою отказ нанимающихся в служение, и очень часто хилого и неуклюжего старика вместо выговора приходится еще упрашивать, чтобы он продолжал числиться по списку в полиции. Пожарный инструмент не однообразен, ветхий; лошади — все уже перешедшие далеко за десять лет и при малейшей тревоге едва-едва с первого порыва дотаскивающие пожарные трубы до места пожара, а очень часто при отправлении под гору за водою не возвращающиеся к месту своего назначения.

Полицмейстеру полагалось жалованья из городских доходов всего 1200 руб. асс., без квартиры; из каких источников, не имея собственного достояния, мог он не только без нужды содержать себя, но даже довольно часто предлагать обществу угощение?

Первая забота моя была составить от себя официальные обращения, которые могли бы или подтвердить, или опровергнуть то, что я собрал уже из речей, мною слышанных.

Я приказал немедленно в губернском правлении составить мне две ведомости: одну о сложных месячных ценах на хлебные продукты, по крайней мере за десять лет, а другую ведомость о недоимках по уездам, с оставлением пробелов для моих

отметок об успешности взыскания оных, следовательно и о действиях в этом отношении земской полиции и градских властей. Эти две ведомости сделались настольной принадлежностью моего кабинета, и я, рассматривая их ежедневно, скоро открыл, что всякий раз, когда где-либо в уездном городе оказывалось повышение цен на хлеб, цена эта уже постоянно, до следующего урожая, не понижалась ни в городе, ни в уезде, хотя в губернском городе, напротив, изменение случалось часто и даже вдруг с значительным уменьшением, смотря по дорожным путям и подвозу хлеба из других мест. Подати срочные, настоящего времени, поступали хотя не вполне, но нельзя назвать и безуспешно; недоплата в податях вся почти оставалась в равной мере, только лишь взыскания за гербовую бумагу и пени заметно нарастали. Это замечание заставило меня обратиться в казенную палату к истребованию списков, на каких именно владельцах и с которого времени образовалась начальная недоимка. Открылось, что неисправными плательщиками были наиболее помещики большедушных имений, однако же не с близких сроков, а уже с давнего времени, и что эти неплательщики пользовались льготой, десятилетнею отсрочкою, которая должна была оплатиться к 1838 г. Далее нашел я неисправными казенные имения, находившиеся во временном арендном содержании, а часть недоимок оказалась уже совершенно неоплатною, ибо лежала на опекунской неисправности, о которой десятки лет безуспешно шла переписка, пени же накоплялись и нарастали ежегодно. Арендных содержателей стоило только пострадать внимательнее, и почти все пополнили свои взносы вскорости. Помещики же по личному моему с ними сношению обещали мне с окончанием льготы уплатить что лежало на них и сдержали едва ли не все свое слово, так что в 1838 г. губерния уплатила недоимки более 600 тыс. руб., по крайней мере хоть часть общей суммы.

Не полагаясь, однако же, и на сии изыскания, дабы проверить слова губернского предводителя, что губерния всегда была платежом исправна, кроме случайно падавших на нее бедствий, я истребовал из казенной палаты сведение по возможности, сколько она ее открыла за прошедшее время, сколько требовалось ежегодно с губернии денежного сбора и сколько внесла она такового.

В прежние годы, то есть в начале царствования Александра Павловича, предварительных смет на трехлетие о денежном

сборе не составлялось, а встретившаяся надобность в течение года, по высочайшем утверждении, разделялась в том же году или в последующем, на податные сословия, для коих открылась необходимость в издержке, а потому палата, хотя и доставила мне требуемое сведение за 27 лет, но давнейшие годы с показанием лишь только их взносов, без предварительного определения оных. Но за 20 последних лет разделила свои графы, из коих в первой оказалось — сколько следовало внести каждый год, во второй — сколько действительно поступило суммы и в третьей — сколько было недобора.

Вместе с тем палата представила мне другую ведомость, сколько в последнее время давалось губернии денежного пособия и сколько оно потом по разным милостивным манифестам сложено. Эти сведения открыли мне два обстоятельства: первое, что губерния, которая в последние 20 лет должна была внести с чем-то 38 милл. руб., действительно уплатила более 32, — а другое, что в интервале 11 последних годов губернии восемь раз отказываемо было от правительства вспоможение, следовательно, положительно можно было видеть, что только три года в этот срок можно было назвать урожайными.

Я как будто предчувствовал надобность в этих сведениях; очень скоро я получил от генерал-губернатора бывшие уже на рассмотрении в государственном совете с замечаниями министров проекты князя Хованского и Шрейдера об улучшении губернии, и Дьяков требовал моего на оное мнения. Мог ли я вскорости объять вдруг все предметы касательно положения и управления губернии? Мне не было иной возможности объясниться, как ссылаясь на теорию или на то, что я уже успел собрать.

Теперь я не могу обстоятельно и точно припомнить всех подробностей этих проектов, но кажется, что князь Хованский был против вольной продажи вина в уездах, а Шрейдер отстаивал вино. Шрейдер полагал по губернии ввести казенную продажу соли, Хованский — ограничить численность прислуги у помещиков сообразно количеству душ каждого, сократить в большом объеме псовую охоту, устроить образцовые хутора для хозяйства (посредством секций), на что пример уже создал при Витебске, собрав сумму и поручив управление хутором агроному фон-Гюбенталю; советовал под личным председательством генерал-губернатора в витебском хуторе учредить особый хозяйственный комитет, члены которого могли бы объезжать в продолжение года по всем замечаемым в дурном управ-

лении хозяйствам, имениям и владельцам сих имений брать в опеку. О евреях в городах была одна мысль — выводить их в другие места, изобилующие землею, на хлебопашество.

Здесь скажу о бросившемся мне в глаза при первом случае образцовом хуторе. Попечитель этого заведения инспектор врачебной управы статский советник фон-Гюбенталь, казенный медик, неутомимый прожектор по всем предметам общественного устройства и хозяйства, обворожил князя Хованского своими рассказами; но хутор, им управляемый в продолжение десяти или двенадцати лет, не только не принес никакой прибыли, но к приезду моему завелась об оном переписка; акционеры просили отчетности и премии с доходов, а Гюбенталь вознаграждения собственности его от понесенных убытков, и когда Дьяков разрешил это своим мнением, разобрав акции, то никто из акционеров ничего не получил в возврат, а хутор в совершенном расстройстве, без скота, с разрушенными строениями, поступил в казенное управление. Потом уже лет через пять местный архиерей, преосвященный Василий Лужинский, выпросил оный себе для причисления к архиерейскому дому. Теперь (1845 г.) этот хутор действительно есть образцовое имение, доказывающее, что при денержных средствах хорошее хозяйство действительно может и самое расстроенное имение поставить на должную ногу.

Дьяков предполагал в декабре или январе (1837 г.) отправиться в Петербург, просил меня поспешить моими замечаниями на проекты, ибо он хотел еще собрать под личным своим председательством временный комитет из находившихся у него под рукою наиболее уважаемых помещиков. Я счел долгом отвечать, что в короткое время обстоятельных соображений никак сделать не могу, но, поддерживая мысли Шрейдера о вольной продаже вина и о продаже соли по однообразной цене по всем уездам, я полагал весь барыш или, приличнее, ту разность, которая по уездам противу имеющихся цен на соль откроется, обратит к составлению особого губернского капитала с предположением одну половину оного в запас, на пособие, с уменьшенными процентами или вовсе без процентов, случайно одержимым в частностях бедствиями помещикам, а другую половину к общему зачету в земскую повинность по мере того, сколько тогда окажется прибыли, ибо, по соображении существовавших иногда по губернии цен вольной продажи соли, предположив на казенную соль незначительный барыш, можно было по-

лагать, что капитал должен в скорости составиться значительный; прочие же предположения князя Хованского, именно — лишение прав, вообще представленных дворянству, я отвергал решительно <...>.

Стараясь далее составить себе идею о существенном положении губернии и о средствах к ее улучшению, я неоднократно и с различными лицами вступал в особые об этом предмете разговоры. Старики утверждали, да и сам я, сколько мог, вспоминал, что в годах первых войн Александра Павловича с французами Витебская губерния не считалась в числе худших, что в городах оной видно было живое движение промышленности и следы оной еще и по сие время (1845 г.) видны. В Витебске, Велиже, Полоцке и в некоторых даже местечках видны еще остатки каменной мостовой; даже в побочных улицах во многих местах по сие время существуют хорошо построенные каменные будки для караульщиков; решительно во всех городах, где только были и есть католические костелы, из которых многие уже обращены в православные церкви, костелы выстроены прочно и заметны в них еще остатки бывшего их прежнего великолепия. По селениям хотя не видно было больших, значительных дворцов или построек, но всюду замечалась опрятность, чистота, и даже самые мелкопоместные помещики отличались своим хлебосольством (к чему и теперь еще — 1845 г. — сохранилась привычка). В селениях, а особенно в больших местечках, на евреях или, лучше сказать, на женском поле этого поколения всегда блестели жемчужины и золотые украшения; крестьянин по виду хотя казался глупым и простоватым, но был трудолюбив и работающ, чему в доказательство приведу, что лучшими в России землекопами в то время считались крестьяне Смоленской и белорусцы Витебской губернии. Лошади крестьянские при малом росте отличались крепостью; это в особенности можно было заметить нам, военным служащим, когда, проходя эту губернию по несколько раз вдоль и поперек в 1805, 1806, 1807 и 1808 годах, мы забирали в оной под своз наших тягостей подводы: из таковых подвод при следовании до границы насильственно достигали самого рубежа оной именно по той причине, что лошадей Минской губернии, а частью Могилевской мы находили тощими и худшими.

Куда же это все девалось и отчего упало изобилие?

Конечно, главною и важнейшею причиною было прекращение в 1808 г. торговли через Ригу с англичанами; торговля Ви-

тебской губернии наиболее была переходящая, а не собственными произведениями и изделиями оной. Проводниками этой торговли искони были евреи, и влияние их простиралось как на помещиков, так и на крестьян так далеко, что правительство решилось положить предел оному, и с 1808 г. евреи из селений выведены все на жительство в города и местечки. Помещики же чрез это лишились своих привычных комиссионеров; казалось бы, собственно быт поселянина должен был через это улучшиться; вышло же совершенно противное тому; тут только стали помещики утверждать, что витебский крестьянин в своих понятиях совершенно туп, ленив и ничем более не занимается, как пьянством. В первом отношении замечание может быть и справедливо, — крестьянин сам никогда не занимался своей промышленностью, а действовал, как и помещик, всегда посредством евреев. Мог ли же он вдруг сделать навык и изыскать те извороты, которыми руководились еврей-факторы, и вот сельская промышленность по селениям внезапно и совершенно прекратилась. Касательно же другого упрека, отчего крестьянин мог и стал пьянствовать более прежнего, — корчмы где были, там и теперь существуют; вино, продаваемое в оных, дешево, но тогда еще было дешевле, крестьянин часто за свои промыслы и произрастения тогда еще не получал и не платил денег, а обыкновенно вино заменяло ему уплату.

Я убедился совершенно, что вывод евреев из селений в этом отношении тоже не пособил, не улучшил быта поселянина, ни благосостояния городов, а наполнил города факторством и мелочной промышленностью, которые повели города к упадку, крестьянина же, отвлекая чаще от местожительства его чрез частые из селения отлучки, повлек к сугубому разврату и бродяжничеству.

Все прописанные мною замечания в голове моей родились весьма скоро, но в бытность мою губернатором я не имел времени сообразить и соединить нужные средства к отвращению того, что тогда уже признавал за зло и вредным¹.

* * *

В Яновольской волости <...> происходило между крестьянами волнение. Когда умер гр. Борх, в феврале месяце, в волость отправлен был чиновник для принятия имения в ведомство ка-

¹ «Русская старина». 1890. Т. 67. № 8. С. 235–244.

зенной палаты, и с первым приступом к тому он приказал собрать домохозяев, чтобы те, по учрежденному порядку, выбрали для себя старшин. Для этого необходим был обряд присяги. Крестьяне по наущению или по глупости объявили, что старшин выбрать они готовы, но присягать не станут, ибо “они теперь вольные, а когда присягнут, опять сделаются помещичьи”, и в этом отношении упрямство между крестьянами дошло до такой степени, что ни вмешательство священника и полиции, ни прибытие на место высших чиновников казенной палаты, ни даже личное присутствие бывшего губернатора Шрейдера не могло прекратить его. В последних числах июля Шрейдер уволен был в отставку, но по его, однако же, требованию в половине августа в Яноволь прислан был батальон пехоты полка прусского принца, а в первых числах сентября отправился туда же исправляющий губернаторскую должность вице-губернатор Домбровский с тем, чтобы хотя силою обратить крестьян к повиновению. <...>

Я приехал в Витебск 21 сентября 1836 г., а 25 числа Дьяков через правителя дел канцелярии своей Глушкова прислал ко мне только лишь полученное им от Домбровского донесение, что крестьяне только что не повинуются убеждениям и приказаниям, но 18 или 19 числа (не помню точно) человек около трехсот бунтующих ворвались к нему, Домбровскому, в квартиру, и если бы подоспела квартирующая в самом Яноволе рота солдат, то он едва ли бы избежал от угрожавшей ему опасности. Несколько из бунтовщиков захвачено, 78 человек из них содержатся под стражею и преданы уже военному суду, но, по мнению его, Домбровского, придется отдать под суд решительно всю волость, ибо ни один крестьянин повиноваться не намерен. Это обстоятельство вначале показалось мне весьма важным, но, когда я просмотрел всю производившуюся с февраля месяца по канцелярии генерал-губернатора и губернатора переписку, на что не потребовалось более получаса времени, я тот же час отправился к Дьякову и просил у него дозволения самому мне ехать немедленно в Яноволь; когда же Дьяков пожелал узнать, какие я приму меры к восстановлению порядка, я отвечал ему:

— Во всем этом деле важным нахожу, что крестьяне в толпе кричали: «Не хотим присягать, пускай что хотят с нами делают, а мы присягать не будем». Я поставлю крестьян в две шеренги и буду каждого из них спрашивать поодиночке, намерен ли он присягнуть или нет; желал бы очень знать, много ли будет

ослушников. Но как все же такие могут случиться и их немедленно должно будет наказывать в пример другим, телесно, то я присоединил вопрос: сколько за один раз виновных он, генерал-губернатор, считает вправе себя подтвердить к приговору к телесному наказанию.

По справке с законами, нашлось число 9, и я утвердительно заверил Дьякова, что более виноватых у меня не сыщется. На другой день я отправился в Яноволь. <...>

Кроме Домбровского я нашел в Яновле большое сборище других чиновников; там несколько недель находились уже: чиновник генерал-губернатора коллежский советник Война-Куринской, советник губернского правления Соколов, ассессор казенной палаты Пальчевский, несколько лиц люцинских уездных суда и земской полиции, и все это было собрано с целью увещания крестьян к повиновению. Меня тут вовсе не ожидали, и только передовой жандарм предварил их, что я буду через четверть часа, вслед за ним. Я приехал часу в пятом пополудни.

На площади перед господским домом стояли в козлах ружья двух рот солдат и расхаживали часовые; несколько в отдалении стояли две группы: одна — состоявшая из крестьянок, а другая — из крестьян. На вопрос мой, для чего они собраны, я получил ответ: «Каждый день приводят по два раза для убеждения, — все тщетно».

Я прежде всего обратил мое внимание на то, что чиновники, встретившие меня у подъезда, были все не при форме, а некоторые из них только в вицмундирах. Я приветствовал их тем, чтобы у кого нет мундира — не осмелился бы являться ко мне. Там, где идет дело о возмущении, каждый должен иметь всю форму на себе и первый помнить и выказывать, что он служит государю. Не знакомые еще со мною, а некоторые даже и не знавшие, что я прибыл в губернию, чрезвычайно были озадачены моим прибытием, и смятение их перешло некоторым образом и на крестьян. Пробыв несколько минут в покоях, я вышел к выстроенным уже ротам и, приняв приличную поступь, пошел к толпе крестьян, но, проходя женскую толпу, спросил: «А для чего сюда привели баб-то?»

Одна из них, выйдя вперед, обратилась ко мне:

— Ну, милость ваша, у нас уже так ведется: куда мужья — туда и бабы.

Признав выходку сию за дерзость, я приказал заседателю земского суда немедленно наказывать розгами выскочку, и через

пять минут на площади не осталось ни одной женщины. Подойдя к крестьянам, которые, числом около двухсот человек, все стояли без шапок, я обратил к ним в приличных выражениях мое предварение, что государь, по случаю беспорядков, в Витебской губернии происходящих, назначил меня в оную губернатором. Звание это налагает на меня обязанность быть каждому селянину отцом, но для бунтующих я прежде всего каждому явлюсь грозным судьей, и они меня теперь видят в оном последнем звании. Я буду уметь расправиться с каждым в свое время, а теперь чтобы они все разошлись немедленно по домам. Едва я успел обратиться на другую сторону, один из крестьян, вскинув шапку набекрень, возгласил: «Ну, посмотрим, братцы, пойдем домой!»

Заметив говорившего, я вошел в толпу и, взявши дерзкого за ворот, вывел вперед, приказав немедленно подать плетей, и тут же велел наказывать его. Несколько ударов он перенес с твердостью, потом стал просить помилования. Приостановив наказание, я спросил его, намерен ли он вперед в шапке стоять перед начальником? Он не отвечал, и я приказал возобновить наказание; три раза делал я ему один и тот же вопрос, и он все упрямялся, но, видя, что и я тоже упрямя в моем наказании, наконец дал обещание не только перед начальником, но даже при сотском и при десятском всегда ходить без шапки, и я повторил приказание, чтобы крестьяне шли по домам к себе.

Эти два внезапно сделанные примера так сильно подействовали, что когда через полчаса после этого приехавший из Люцина земский исправник Михаловский явился ко мне, то объявил мне, что он верстах в двух встретил крестьян и они в голос ему кричали: «Нет, батюшка! Сюда приехал не такой, как прежде. Поезжайте-ка туда: и вам достанется; нет, с этим шалить забудешь!» И Михаловский прибавил: «Я уверяю вас, ваше превосходительство, что крестьяне это говорили нешуточно, и смело заверяю вас, что теперь уже неповиновения не будет!»

Я пошел посетить арестантов. Они, в числе 78, содержались в двух огромных сараях, и около каждого из них поставлено было по шести часовых с заряженными ружьями. Вызвав их всех наружу, я выкликнул пятерых, поименованных особенно Домбровским в его рапорте к Дьякову как замеченных лично в толпе врывающихся в его квартиру. Этим приказал немедленно заковать и обрить им половину волос на голове и на бороде, а остальных немедленно отпустить домой. За этим я приказал ис-

правнику, чтобы на другой день к утру, в 7 часов, из ближайших деревень приведены были ко мне одни только домохозяева; но пришлось объявить от меня строжайшее приказание, ежели я увижу хотя издали кого нетребованного, мужика или бабу, я велю непременно и больно наказывать розгами; вместе с сим объявил я, чтобы к этому же сроку прибыли в Яноволь священники, для приведения к присяге, православного и католического исповедания. К вечеру в Яноволь возвратился Домбровский из Люцина и на расспросы мои утвердительно говорил:

— Сами вы удостоверитесь, ваше превосходительство, что упорство крестьян неодолимо и что нет других средств, как всю волость судить военным судом и по крайней мере десятого наказать из них.

Батальонному командиру я отдал приказание при квартире моей поставить караул из 12 человек, а часовых иметь днем одного, а ночью двух около дома. Прочих же солдат всех велел распустить по деревням, но по приводе крестьян в Яноволь иметь еще несколько человек без артиллерии и притом велел приготовить на случай надобности несколько пучков розог.

Поутру, при моем выходе, я нашел в зале уже чиновников всех, кроме Война-Курина, в мундирах, двух священников, из которых я к православному подошел по обычаю к благословению; но сколько поразило меня: от него, как от винной бочки, несло уже вином, так что я решительно отскочил назад. Само по себе разумеется, что я разразился в моих о сем предмете замечаниях, и от католического священника тоже был слышан запах вина, но в малом размере <...>

Когда исправник донес мне, что домохозяев приведено 37 человек, я велел им составить именной список и поставить их в две шеренги, а около них составить цепь из шести рядовых из караульных; сверх того, приказал арестантов, накануне закованных, без шапок провести мимо теперь собранных крестьян и объявить при этом, что их ведут к суду и что участь их сегодня же будет решена окончательно. Затем я сам вышел из покоев, окруженный большою свитою; обратясь к крестьянам, я сказал им:

— Вас долго и много увещевали, и все без успеха; я говорить много не люблю: слушайте мое приказание. При выборе старшин для себя вы должны все присягнуть; этого требует от вас Бог и государь. Я буду спрашивать поодиночке каждого из вас: намерен ли он присягнуть или нет? Другого ответа не надо:

да или *нет*. Кто скажет *да*, тот сейчас же присягнет; кто скажет *нет* — пальцем не трону: тот будет судим по закону; вы видели преступников — вот всем пример.

Окончив речь, я приказал исправнику по списку вызывать крестьян поодиночке вперед; первый вышедший на вопрос мой, будет ли он присягать, отвечал: “Отчего же не присягнуть? Я не прочь, когда и другие станут тоже присягать”.

— Я от тебя не требую рассказов. Отвечай мне словом: *да* или *нет*, — заметил я ему.

Он же опять повторил мне то же, то есть, что он тогда присягнет, когда будут присягать другие. Я приказал подать розги и велел наказывать его просто за упрямство. Ударов с пятьдесят выдержав, он стал просить о пощаде; приостановив наказание, я повторил, что требую коротких ответов *да* или *нет*... Крестьянин опять стал ссылаться на согласие других, и я приказал снова сечь его за упрямство. Четыре раза начинали наказывать, и наконец уже он просто отвечал: «Да!» Тут один из стоявших во второй шеренге закричал:

— Плетями и розгами каждого можно заставить делать что хочешь!

Я вызвал выскочку вперед и тут же приказал сечь его. Ему не дали и десяти ударов, как он стал просить прощения и кричал: «Я буду присягать без отговорки».

Я велел ему стать на свое место и объявил, что его наказывают за то, что он дозволил себе говорить, тогда как его еще не спрашивали: когда до него дойдет очередь, то и тогда он должен отвечать не более *да* или *нет*. За лишнее слово я не применю снова высечь. После этого до самого этого же крестьянина, который был выскочкою, каждый отвечал уже мне просто *да*, но, когда я обратился с вопросом уже к нему самому, он, приосанясь, громко закричал:

— Кладите голову на плаху, — присягать не хочу и не стану! Нисколько не возвышая голоса, я обратился к исправнику:

— Прикажите заковать бунтовщика, обрить ему голову и сию же минуту отвести его к суду, как отвели уже прежде семерых.

Видя мое хладнокровие и решительность, сопровитник вдруг упал на колени и стал умаливать о помиловании. Я же, не обращая внимания на него, стал продолжать далее допросы; других сопровитников не нашлось. Принесли налож, крест, Евангелие, и священник приблизился, чтобы читать форму присяги; я просил его, чтобы он прежде объяснил крестьянам

всю важность того священнодействия, к которому они теперь приступают. Священник, едва еще опомнившийся от пьянства, смешался, оробел, и я принял на себя то, что поручал ему. Когда же присяга была прочитана, то прежде, нежели допустить присягавших до креста и св. Евангелия, я приказал самому священнику подать пример троекратного поклонения, а за ним последовал я сам и потом каждого крестьянина заставлял делать то же; решительно могу удостоверить, что эта формальность, которая может показаться мелочным действием, сильно подействовала на присягавших; я видел, как каждый из них с трепетом и заметным волнением выполнял приказание и, приложившись к кресту и Евангелию, опять успокаивался. Точно тот же порядок и постепенность, т.е. пример священника и лично мой, я удержал при присяге католиков, которых было около десяти человек. Когда присяга кончилась и я подошел опять к крестьянам благодарить их и поздравить, они мне в один голос отвечали:

— Ну, отец наш, мы, глупые, до того времени не знали сами, что делать, а теперь как будто с души что-то спало; слава Богу, вот мы все присягнули!

На другой день я приказал привести остальных домохозяев всей волости, с лишком 240 человек; не встретил ни одного отреченного: все присягнули без прения; я приказал поспешить с окончанием суда и, при строгости приговора, объявленного преступникам, написал частное письмо к Дьякову, прося его как можно смягчить наказание при конфирмации; из восьми виновных, моему сопротивнику я просил определить наказание шпицрутенами через 1000 человек, четырех еще через 500 человек каждого, первого и трех старичков, за летами не подверженных телесному наказанию, сослать в Сибирь на поселение. Дьяков уважил мое представление, и через день у меня были уже развязаны совершенно руки к моему возвращению.

Когда приговоренных вели к наказанию, исправник донес мне, что из соседней волости, Нерзы, где тоже поговаривали о возмущении, пришло человек шесть мужиков из любопытства, чтобы видеть, как будут наказывать. Я приказал призвать их ко мне и велел поставить их за фронтом между домохозяевами, вызванными мною в полном числе для присутствия при наказании; а потом приказал, чтобы наказанных непременно еще проводили мимо всех для устрашения. Когда же наказание кончилось, нерзынцев я приказал опять привести к себе и, спрося их

мнение, больно ли были наказаны виновные, велел исправнику всех прибывших без приказа, а из любопытства одного, наказывать больно розгами, чтобы вперед мои приказания слушали без рассуждения, ибо от меня приказано было, чтобы посторонние, без вызова, в Яноволь не являлись.

Тотчас после этого я приказал батальону выстроиться вне селения, а домохозяев собрать перед моею квартирою на площади; выйдя к ним, я объявил, что теперь они должны сами, без всякого участия чиновников выбрать четырех человек старшин, из которых я тут же утвержу двоих в этом звании. Выбор не продолжался и четверти часа; кандидаты мне представлены налицо. Пригласив асессора казенной палаты, ибо это было его ведомство, я приказал ему избрать двух; через две минуты введен батальон на площадь, избранные старшины под знаменем присягнули на верность службы. Священник отслужил благодарственный молебен с коленапреклонением и окропил всех святою водою, и все дело неповиновения кончилось так, как я предварял Дьякова, т.е. *поставя крестьян в две шеренги*.

В присутствии крестьян я объявил исправнику и администратору имения строжайшее приказание: 1 и 15 числа каждого месяца доносить мне, что делается в волости, не скрывая ни одного ослушания, даже десятскому, с обещанием при первой оказии опять приехать лично для расправы. Во все время, пока я был губернатором, это выполнялось в точности, и в делах остались свидетельства, что все совершенно было успокоено и продолжалось, пока я не выбыл в отставку, а потом, к несчастью, более сорока жертв положили живот по своей глупости там, где теперь все так просто и благополучно кончилось¹.

* * *

— Я хочу спросить вашего совета, — сказал мне Дьяков, — до отъезда моего в Петербург я узнал, что в Бобруйской крепости все евреи выведены на форштадт, а в последнюю мою бытность в Динабурге меня поразили вонь и духота внутри крепости. Тут же в год раза два или три проезжает государь, и я теперь в бытность мою в Петербурге просил у государя дозволения и в Динабурге распорядиться по примеру Бобруйска; государь согласился, но теперь мне сказали, что там много домов по

¹ «Русская старина». 1890. Т. 67. № 8. С. 231–257.

контрактам на несколько лет уже занято евреями, и это может задержать вывод их совершенно. Государь же, узнав это, будет недоволен теперь после моего представления.

— Знают ли об этом динабургские евреи? — спросил я.

— Разве каким-либо духом дошло это до них; ибо, кроме меня, об этом даже не только на бумаге, но и на словах, кроме Глушкова, никто не имеет сведения.

— Я завтра же еду в Динабург и все устрою, — отвечал я.

Сказано сделано. В Динабург я приехал на второй день вечером. В эту поездку заметил я, с одной стороны, исправность и внимание чиновников земской полиции, а с другой, напротив, беспечность городской. Первые служат по выборам от дворянства, а последние по назначению правительства или просто по назначению генерал-губернатора. В Динабурге меня не встретили ни городничий, ни военный уезда начальник; о последнем узнал я, что он действительно болен и, как я полагаю, сделался жертвою горячек, свирепствовавших на рекрутах. Ему я поручал устройство больниц в Режице, ибо там городничий из военных Зброжин казался больным, просто от боязни заразы, а в Динабурге городничий Винокуров, отставной подполковник, с вечера отозвался болезнью, а поутру моему чиновнику объявил, что просто он был в бане, но после я узнал, что он был не в трезвом виде. И еще более неисправности мне доказано было, когда я внезапно сказал ему проводить меня в квартирную комиссию; он при мне, обернувшись к частному приставу, спросил его: «В чьем доме квартирная комиссия?» И этот городничий находился в таком пункте, где государь в год по два, по три, а иногда и более раз проезжает!

Напротив, исправники полоцкий, дрисенский и динабургский без малейшего от меня предварения, что еду, каждый встретил меня на границе своего уезда, конечно, по передаче сведений между собою от одного к другому. А еще более видел я расторопность их в ответах на все мои вопросы касательно их уездов, и мое ласковое слово они принимали как нечто необыкновенное, и впоследствии не было ни одного предмета, мною им указанного, которого они не стремились бы со всем усердием постигнуть и выполнить.

Поутру в Динабурге в 6 часов я вышел из квартиры, чтобы ехать в крепость к коменданту, генерал-майору Гельвиху, но, невзирая на столь ранний час, он предупредил меня на своем крыльце. Старик более 60 лет от роду и с которым я был знаком

еще в малолетстве моем, восхитил меня своею приветливостью и обхождением. Я ему при первой встрече не объявил о причине моего приезда, но через час, отправясь к нему в крепость, я взял с собою городничего, своего чиновника и там уже, объясняя мое намерение, просил дать мне одного плац-адъютанта с тем, чтобы эти три чиновника сей же час обошли все дома в крепости и от домохозяев отобрали контракты, которые заключены ими с их жильцами.

Как предполагал я, так и случилось. Контрактов было очень немного, всего два, а прочие постояльцы все жили на слове; думаю и полагаю, даже наверное, ежели бы я дал хоть час времени оглянуться или домохозяевам, или евреям, то контрактов явилось бы гораздо более, а главное — что многие бы уклонились на время отлучкою и приняли бы потом другие какие меры. Но тут вышло все по моему желанию.

Обедал я у Гельвиха, а перед обедом он водил меня осматривать госпиталь и крепость. Порядок везде и устройство приличные ежедневному ожиданию внезапного проезда государя. Старика Гельвиха много утешило, когда я, рассматривая разные постройки в крепости, в двух местах указал ему, что изображение некоторых вероятно принадлежат самому государю, и точно, когда мы возвратились в квартиру коменданта, он мне принес показать собственноручные два рисунка государя, присланные для отделки тех частей построек, которые мне бросились в глаза и на которые я теперь показывал.

На другой день я приказал собрать к себе всех купцов, как христианского, так и еврейского происхождения. Первые, большею частью из раскольников или, как сами называются, из старообрядцев. Со многими я был уже знаком несколько по переходящим у меня делам уголовной палаты, ибо большая часть этого сорта купцов были, так сказать, оборотливыми выскочками; по подрядам при постройке крепости они из самого бедного или уже по крайности из среднего класса сделались коммерсантами; но почти все были замешаны по делам отвлечения от православия или по пристанодержательству беглых, что весьма обыкновенно между раскольниками. В особенности мне встречалось в делах имя Поторочина.

Прежде всего я обратился к евреям и объявил им, что воля государя есть непременный их вывод на форштадт, но что это делается с самым благотворным намерением: улучшить собственно быт их и дома, ими выстроенные при пособии от каз-

ны. Государь в проезды свои через город не один раз изволил замечать, что многие дома совершенно почти пустуют от недостатка постояльцев, а между тем на хозяевах числится неоплатная недоимка даваемой им ссуды для постройки этих домов; лавки городские без товаров, в совершенном разрушении, а, напротив, в крепости что шаг, то заметна мелочная промышленность, и вывески оной едва ли не касаются чердаков. Следовательно, если все евреи без изъятия выведены будут на форштадт, никому не будет это обидно, и торговля и постояльцы разойдутся по еврейским же домам.

Мне возразили некоторые старики, что тогда одни христиане будут торговцами Динабурга, ибо у них останутся и даже размножатся лавки в крепости, а оттуда никто не пойдет за покупками в город, а главные и почти единственные покупатели — военные.

В ту же минуту я сообразил, что это справедливо, и обещал, что возьму на себя испросить от правительства разрешение, чтобы в крепости не иметь вовсе лавок и магазинов, а разве только одну мелочную для необходимых ежедневных потребностей живущим в крепости офицерам.

Евреи тотчас убедились моими словами и по приглашению моему дали мне тут же обещание составить благодарительный акт от себя за это распоряжение. Ясно видно было, что они завидовали христианским купцам, торгующим более других в крепости; но тут вышел вперед один из последних, украшенный медалью, и обратился ко мне с вопросом:

— Чем же мы виноваты, ваше превосходительство, что нас вызывали строиться в крепости и обнадеживали разными выгодами, а теперь вдруг нас обируют? Между нами нет ни одного, который не был бы должен в казну по ссуде, на которую нарастают проценты. Мы и теперь не можем исправно платить долга нашего, а за выводом наших постояльцев должны вовсе обанкротиться.

Я спросил, как зовут его.

— Поторочин! — отвечал он.

— Не всегда годится, братец, быть выскочкой. Ты верно думал, что я еще незнаком с тобою? Ты не тот ли Поторочин, который обвиняется по пристанодержательству таких-то лиц? Не твое ли дело по подозрению в грабительстве такого-то дома? — и далее я припомнил ему четыре или пять дел, совершенно свежих в моей памяти, где замешан он как главное лицо.

Это его чрезвычайно смешало, а других присутствовавших удивило.

Тут я прибавил еще, что дома в крепости решительно почти все выстроены собственно на ссудную сумму. Ежели бы она своевременно была выплачена и долгу не составилось на заемщиках, то беспрекословно это была бы их собственность! Но теперь на всех домах числится недоимка, равняющаяся первоначально выданной ссуде, а на доме Поторочина даже превышает она, и ежели правительство рассудит за благо, за неисправность дом обратить в продажу или прямо взять в казну — и это не будет несправедливостью.

Этим замечанием я закрыл рот недовольным, но тут еще прибавил:

— Там, где объявляется желание государя, воля его для нас всех должна быть равно священна; мы все присягали жертвовать даже жизнью его пользам, а государь еще столько милостив, что при всех своих предположениях непрестанно заботится и о наших выгодах и пользах, и теперь по выводе евреев он предполагает в крепости поместить комиссариат переводом одного из Вильны. С этим переводом дома почти все займутся по добровольному согласию с хозяевами и за выгоднейшую для них цену. Из крепости вынесутся вонь и зараза, и роптать решительно никто не может и не должен.

После этого я положил срок вывода через шесть месяцев, оставя два контракта до истечения срока во всей силе. От меня некоторые купцы бросились к коменданту с просьбою его покровительства насчет составления записки по моему предположению торговли в оной. Комендант тот же час приехал ко мне и стал меня просить прежде за четверых, потом, спускаясь по одному, уже за двоих, но я решительно отказал, ибо мое предложение я считал вполне справедливым, и в крепости, невзирая на все домогательства и жалобы, тогда по крайней мере разрешено было иметь одну только мелочную лавку¹.

* * *

В 1837 г., во вторник на Святой неделе, я получил донесение с эстафетой от дриссенского городничего, что река Двина во время весеннего разлития своего внезапно затопила половину города, так что жители затопленных домов лишились скота,

¹ «Русская старина». 1890. Т. 67. № 8. С. 265–268.

живности и всех сделанных ими запасов, и что нужно принять скорые и решительные меры для пропитания несчастных, иначе многие должны будут умереть с голода.

Полагая, что весенний разлив бывает ежегодно, я обратился к расспросам о прежних случаях и получил в ответ, что в Дриссе подобного никогда не встречалось, ибо в настоящий раз и в Витебске Двина поднялась гораздо выше обыкновенного, но что ежели несчастье постигло Дриссу, то должно гораздо большего ожидать в Динабурге, где ежегодно, без исключения, часть форштадта бывает под водою. Узнав, что в этот день выезжает в Дриссенский уезд, в имение свое, предводитель Шадурский, я решился сам выждать донесения из Динабурга, а его просил, заехав в Дриссу, на мой счет раздать некоторую сумму наиболее пострадавшим и нуждающимся.

Донесение из Динабурга не замедлило, и на другой день я был извещен тамошним городничим, что на этот раз несчастье в городе усугубилось не столько от необыкновенного возвышения воды, как от неожиданности случая, ибо в истекшем году через форштадт по берегу реки настлано полотно для шоссе, которое собою образовало возвышенную дамбу и должно было совершенно предохранять форштадт от наводнения. Но как это полотно было еще не вполне окончено, а насыпи щебнем на оном вовсе не было, то Двина около форштадта, самую дамбу сузив русло свое, накопила огромную массу льда в этом пункте. Потом с силою прорвало в нескольких местах проведенное шоссе, и вдруг, когда жители почитали себя в первый год совершенно избавленными от наводнения, водою залило весь форштадт, а напором льда не только повредило, но даже разрушило несколько домов, а один снесло с места и передвинуло более, нежели на сто сажений вовнутрь города. При этом случае у многих обывателей пропало все имущество, а главная потеря заключается в унесении леса, приготавливаемого для разных построек, и дров для топлива.

Подумав несколько и сообразив, что, поехав на место с пустыми руками, я принесу не много пользы, ибо только увижу то, о чем имею (донесение) у себя на бумаге, и не имея в моем распоряжении никаких денежных сумм, я пригласил к себе вице-губернатора (теперь — 1845 г. — председатель казенной палаты) Гжелинского, просил его совета и пособия, т.е. спросил, может ли он, не подвергая себя ответственности, из казначейства, на собственный мой страх, отпустить какую-либо зна-

чительную денежную сумму? Пересмотрев все ведомости, мы согласились, чтобы я дал палате предложение отпустить в прямое мое распоряжение строительный капитал, с несколькими рублями более 20 тыс. руб. Приняв эту сумму, я в тот же день поехал, прежде, через Полоцк, в Дриссу.

Остановясь на ночь в Полоцке, я стал подробнее расспрашивать о слухах о постигшем Дриссу несчастьи; слухи эти сообщались с донесением. Я приказал полицмейстеру на другой день утром скупить 150 четвертей муки и 20 четвертей круп, нанять лодку и спустить вниз по Двине до Дриссы, — издержка простиралась до 1800 руб., — и сам пустился рано утром далее, передовым отправя жандарма.

На городской черте, до Дриссы версты за две еще от заставы, встретил меня тамошний городничий на дрожках; я пересел сам к нему и стал расспрашивать его о подробностях. Он рассказывал мне, изображая все в самом горестном положении и утверждая, что более половины скота, городу принадлежащего, погибло в волнах. Из людей же утонул только один кузнец, но и то по своей неосторожности, ибо в самый разлив на доске хотел переправиться через реку Дриссу, поблизости устья оной с Двиною, и унесен в Двину. Мы подъехали к заставе, и я приказал ехать туда, где более город потерпел, и сделал это очень кстати. Я сейчас заметил решительно в каждом доме и козу, и курицу, и, наконец, там, где прежде была, и корову; одним словом, ни скота, ни живности нисколько не погибло, а в домах, где были полы, подняло оные, размыло печи и выбило много стекол. Указав все это городничему, строго заметил я ему ложность его донесения и спросил: приезжал ли в Дриссу Шадурский? Он отвечал, что сам Шадурский не приезжал, а присылал управителя своего, который и раздал беднейшим 2000 руб. ассигнациями.

Приказав немедленно составить и подать мне список, кому были выданы деньги, я приказал тут же городничему, под личною моею ответственностью, всю эту сумму собрать от тех, кто получил деньги, а взамен этого передать им муку и крупу, которые, по моему распоряжению, доставятся в город. Как я рассчитывал, так и случилось, и деньги, хотя не вполне, но соразмерно сделанной закупке, собраны, и две тысячи рублей возвращены Шадурскому.

Чтобы лучше объяснить разность усердия чиновников, по выборам служивших или по назначению от казны, с похвалою здесь подтверждаю, что хотя при настоящем разе Двина затопи-

ла большую часть прибрежной дороги, по которой размыло и снесло мосты, но я, при всей поспешности моего выезда, видел уже полную заботливость об исправлении поврежденного, а главное, что коммуникация почтовая вся уже перемещена была выше, с удобностью, так что я и часа нигде не был задержан.

В Динабурге я повторил мою проделку, но тут расстройство я нашел гораздо серьезнее. Несколько домов порядочно пострадали, повреждены были значительно, так что у трех или четырех выбит был и разбит фундамент, много размыто полов и печей и побито стекло. Когда же я прибыл на квартиру, городничий подал мне ведомость о потерях, простиравшуюся более 120 тыс. руб. Я вторично с ним отправился для соображения потерь по городу и на месте указал ему неосновательность его сведений; затем составил я особую комиссию, включив в нее моего собственного чиновника, и дал от себя инструкцию, по которой составленный счет с чем-то перешел за 16 тысяч рублей и был очень близок к истине. Более пострадавшим я тут же раздал около 2500 руб. и отправился обратно в Витебск, откуда послал обстоятельное донесение генерал-губернатору и прямо министру; в частном письме к последнему я объяснил решимость мою насчет денежных издержек и просил его снисходительного внимания, дабы они не пали лично на меня. Неделю через две министр выслал не только издержанную мною сумму, но и ту, которую я просил в пособие обоим городам, по личному моему обзору¹.

* * *

Едва я успел вернуться в Витебск и дал от себя назначение о прибытии моем на другую половину губернии, в Сураж, Велиж, Невель и Городок, я получил эстафету из Полоцка, что там произошел пожар, истребивший более 200 домов, лучшую часть города. Это известие я получил на другой день начала пожара в 10 часов утра; в 6 часов вечера я был уже в Полоцке. Пламя погубило уже строения, но на пепелищах во многих местах еще вспыхивало, и в мою бытность сгорел еще один дом. Я обошел лично все пространство, обнимавшее несчастный случай; там, где счел нужным, приказал поставить особые карулы от обывателей и полиции. При таком огромном несчастье, конечно, никакая сила, никакие распоряжения не могли совер-

¹ «Русская старина». 1890. Т. 67. № 9. С. 667–670.

шенно отвратить оного, а потому ни шуметь, ни взыскивать с кого-либо за действия мне не приходилось.

С 10 часов вечера до трех утра я занимался размышлением и распоряжениями, какими средствами искать можно было пособить погоревшим. Прежде всего предположил я открыть на месте и по губернии подписку на сбор денег и припасов для прокормления беднейших. Подписав от себя 400 руб. асс., утром пригласил я на пожертвование, через полицмейстера, генерала Хвоцинского, подписавшегося на 100 руб., и архиерея, давшего 50 руб. асс.; к этому началу до обеда от обывателей присоединилось еще до 1200 руб. Предвидя это, я предположил составить особый комитет для направления и раздачи пособий. <...>

Для удовлетворения потерпевших, я поручил комитету прежде всего озаботиться, чтобы бедные все были размещены на один месяц, в виде постоя, без платы, по домам, уцелевшим от пожара. Затем, чтобы раздача пособия производилась не деньгами, но закупаемыми припасами, мукою, крупною и печеным хлебом, покупаемыми непременно у евреев, по той причине, что ни один христианин не будет пренебрегать таковыми припасами, напротив же, евреи имеют предубеждение к отвращению того, что изготовляется христианами.

Еще в Симбирске государь за обедом изволил мне сказать: «Смотри, Жиркевич, твоя участь будет жить в Полоцке. Мы давно уже имеем в виду перемещение туда из Витебска, но генерал-губернаторы как-то этого не хотят и отстаивают; со всем тем я считаю, что тебе придется непременно туда переехать».

Это навело теперь меня на мысль, что на обгорелых местах постройки должны производиться с особою осторожностью и осмотрительностью, и я без разрешения моего воспретил даже и временные постройки. Там, где прежде были подвижные лавочки, указал я устраивать их в приличнейшем размещении, но поставил на вид полицмейстера дозволение на это давать по одной лишь необходимости, стараясь, чтобы подвижных лавок было как можно менее, ибо мне хотелось непременно выбрать удобные городские лавки и обывателей заставить волею или неволею нанимать оные в прибыль городу. Немедленно написал я всем уездным предводителям, городничим о рассылке, главным помещикам по губернии, письменно прося их о деятельнейшем участии в сборе пособий и о высылке оных без задержки на имя учрежденного мною комитета. Утром, собрав местное купече-

ство, лично убедил оное на подписку и внесение суммы; еще с вечера посылал я полицмейстера от себя спросить о здоровье Смарагда (уже извещенного о переводе его в Могилев) и о том, не беспокоил ли его особенно пожар, который коснулся до стен монастырского строения, и спросить, дозволит ли он мне видеть его. Смарагд дал ответ: «Я болен, перепуган, а губернатор во всем господин, что угодно, так пусть и делает».

Сочтя это за отказ и нежелание со мной видиться, я решился уже не заходить к нему, но поутру жандармский штаб-офицер, подполковник Певцов, придя ко мне, объявил, что Смарагд чрезвычайно расстроен и огорчен и пеняет, что я его не посетил. Я тот же час взял шляпу и отправился к нему. Он меня принял с сильнейшим чувством благодарности, можно сказать даже покорности, просил извинения, что не может мне по болезни заплатить визита, но при отъезде через Витебск будет у меня лично, для изъявления своего искреннейшего раскаяния за разногласие со мною в действиях. <...>

Теперь же, возвратясь в Витебск и в этот же день, по случаю обыкновенного у меня по пятницам сборища общества, собрав еще более 1000 руб. на погоревших, — я в подробном донесении государю изобразил все, что видел сам лично и какие приняты мною на месте меры. Далее дополнил, что все несчастные успокоены мною окончательно на целый месяц и не будут терпеть нужды, но что дальнейшую их участь передаю его благотворной деснице. Причем просил, сообразно известному уже мне предположению о перемещении со временем губерний в Полоцк, оказать городу особое значительнейшее пособие, как к постройке обывателями домов, так и к выстройке городских общественных лавок; для чего я полагал достаточным дать в ссуду без процентов 50 тысяч рублей ассигнациями, и для последнего предмета, собственно городу, столько же, без процентов, на 10 лет. Сверх того, просил я дозволения подписку в течении года распространить по всей России, в особенности же обратиться к купечеству, в это время собравшемуся на нижегородскую ярмарку.

Через день я отправился для ревизии городов, как сказано уже, прежде всего в Сураж. Сообразив и рассчитав, когда государь получит мое первое донесение, я был уверен, что он прикажет Дьякову немедленно лично ехать в Полоцк, а уже не было и малейшего сомнения, чтобы вместе с этим не пожаловал государь несчастным первое денежное пособие, и я приблизительно-

но рассчитывал на 50 тысяч рублей. На другой день утром, в Сураже, я разговаривал о моем соображении с предводителем, который, как и я, квартировал в гостинице, устроенной на почтовой станции; мне докладывают: «Чиновник генерал-губернатора из С.-Петербурга».

— Ну вот, видите, — заметил я предводителю, — как верны и точны мои расчеты.

И действительно, чиновник Несмелов объявил мне, что через час будет сам Дьяков и везет 50 тысяч рублей. Дьяков, которого я встретил на крыльце гостиницы с рапортом, обратился ко мне с вопросом: «Вы, верно, не ждали меня?»

— Напротив, ваше превосходительство; вот господин предводитель, который удостоверит вам, что непременно и именно сегодня ждал вас, и для этого нарочно на несколько лишних часов остался в Сураже и даже знал, что вы везете в кармане вашем.

Поговорив несколько времени наиболее о нужде, Дьяков уехал в Витебск, а я пустился в Велиж, оттуда далее в Невель и Городок, и через четыре дня я уже возвратился назад в Витебск, куда в этот же день вернулся из Полоцка, где он был, и Дьяков.

— Благодарю вас, Иван Степанович, за все ваши распоряжения по Полоцку, которые я одобряю; но я счел нужным членом в комитет присоединить Агатонова, — сказал мне Дьяков, — я не знаю, почему вы его не поместили туда?

Я объяснил деликатный повод, меня остановивший в этом, на что Дьяков не отвечал ни слова.

— Завтра я донесу обо всем государю, — прибавил он, — но здесь опять у нас встретится небольшое разногласие; вы назначили собрать пособие не только по губернии, но даже по целой России, это как будто сомнение в милостях государя; вот видите, государь сам озаботился и со мною послал от себя пособие, а потому я прошу, чтобы подписок никаких более не собирать.

— Напрасно вы так рассчитываете, ваше превосходительство, — возразил я, — сколько ни набралось бы пособия, оно никогда не будет лишнее; вы, конечно, не имели времени в Петербурге получить второго моего донесения, я в нем донес государю о подписках по губернии и о предположенной подписке по всей России и присил для города 100 тысяч рублей. Уверю вас, государь одобрит и уважит мое представление.

— Сомневаюсь, — отвечал Дьяков; но ровно на другой же день и сто тысяч, и утверждение мое представления получено уже было из Петербурга.

Продолжая об этом предмете разговор со мною, Дьяков спросил:

— Как вы думаете, Иван Степанович, раздать пожалованные уже государем 50 тысяч рублей?

— Я полагаю, — заметил я, — что вы эти деньги на месте уже раздали, ибо, как кажется, это была мысль государя, когда он вас так скоро и внезапно послал из С.-Петербурга.

Дьяков сконфузился и продолжал:

— Без вас я не хотел ничем распорядиться, тем более что вы всему уже дали начало, а главное, что сами на месте все подробно и обстоятельно видели.

— Это правда, — отвечал я, — что я все видел на месте, но мне кажется, ежели 50 тыс. руб., которые на месте же можно было раздать несчастным, туда теперь отправлять через почту, надо будет заплатить процентных 250 руб., а это капитал, на который порядочную избу для погорелого можно выстроить, а потому позвольте мне и доверить эти 50 тысяч рублей; я сам лично отвезу их в Полоцк и передам в комитет. Это уже будет делом самого комитета, кому и сколько именно дать безвозвратного пособия.

Дьяков согласился на это, и я опять поехал в Полоцк. Тут я услышал, что Дьяков в бытность свою так за пожар разбил полицеймейстера, голову, кагальных, словом — каждого, кто только попался ему на встречу; кричал, что я балую их всех и утруждаю государя напрасно об излишних пособиях, что они больше не должны ожидать ничего. Потом приказал всем, кто на месте получит от меня какое-либо предписание, принести и показать ему оное. Затем каждому дать новое от себя предписание, где подтверждал вполне то, что от меня уже предписано было, а Агаонову дал особое предписание присутствовать в комитете и наблюдать за распоряжениями оною, и даже имел неосторожность предложить это или поставить на вид комитету, чем сильно огорчился Хвошинский, и, когда он лично объяснялся со мною об этом, я насилу мог убедить его остаться председателем комитета. Я забыл сказать выше, что Дьяков один раз уже возвращался из Петербурга и опять туда поехал для устройства своих домашних дел. При первом возвращении его было у меня с ним объяснение насчет Ремезова, и разговор об этом предмете у нас был весьма крупный и громкий, так что я после спохватился, что посторонние чиновники, бывшие в ближнем покое, отделенном только от кабинета Дьякова кори-

дором, могли слышать наши объяснения. Огорчась его замечанием, что он все знает, что делается в губернии, и даже знает, что говорят и где о нем самом, Дьякове, я сказал ему, что он, вероятно, даже гораздо более знает, нежели и это, и, конечно, знает даже, что подумают о нем. Но я знаю одно, что по губернии нет чиновника, хоть мало дельного и расторопного, который бы не был положительно запятнан в его мнении через его приближенных, и что он решительно никому в губернии не доверяет.

— Укажите мне хотя одного чиновника, — заметил Дьяков, — которого вы разумели бы в этом понятии.

— Я не говорю уже о себе, но вот возьмем в пример хоть советника губернского правления, Скляренку, — отвечал я. — Когда я приехал в губернию, вы просили меня рекомендовать вам правителя для вашей канцелярии и предварили меня, что министр Блудов выставляет вам Скляренку, как способного на это место, но потом прибавили, что вы со своей стороны однако же слышали, что Скляренко взяточник. Тогда я промолчал об этом, но почел долгом особенно наблюдать за Скляренкою. Потом, вернувшись в первый раз из С.-Петербурга, вы повторили мне, что Блудов вам вторично рекомендовал Скляренку, но что вы сыскали какого-то Драгомыжского, и снова повторили, что Скляренко взяточник. Я еще раз промолчал.

— Ну, я и теперь то же говорю, — сказал вспльчиво Дьяков, — Скляренко взяточник, и первой руки взяточник.

— Нет уже, ваше превосходительство, возразил я, — восемь месяцев я наблюдаю внимательно и строго за этим чиновником; если вы его числите по сие время первым номером, спустите его ниже, а меня поставьте на его место.

После этого очень скоро разговор у нас прекратился; я вышел и тут уже заметил, как близко были от нас могшие слышать разговор наш; в числе прочих чиновников был и Скляренко; через полчаса, едва я возвратился домой, пришел ко мне прямо от Дьякова Скляренко и благодарил меня за мое к нему внимание, ибо Дьяков, отпустя других чиновников после приема, позвал его в кабинет и там, объясняя ему то хорошее и выгодное мнение, которое будто я внушил ему, просил его занять место правителя его канцелярии, на что он, однако же, не дал слова своего, без предварения меня об этом. Не знаю, ей-богу, как назвать этот поступок Дьякова, слабостью или благородством души; конечно, собственные мои чувства влекут меня скорее к последнему заключению.

Скоро после пожара Полоцка, через Дьякова я получил вопрос, нельзя ли воспользоваться настоящим случаем и при том значительном пособии улучшить город в постройках и изнутри города вывести евреев на другие места. Заметив в моем отзыве, что как в городе выгорела лучшая часть оного и почти все каменные строения, принадлежавшие евреям, то без особой несправедливости нельзя их лишить просто права на владение погорелыми местами, а я считал бы возможным: 1) На прежних местах давать дозволение строить новые дома прежним хозяевам не иначе, как по улучшенным фасадам и без малейшего пособия от казны или на счет собранной подписной суммы. 2) У тех, которые без пособия не в состоянии будут предпринять постройки (назначить срок постройки), места скупить в казну, по оценке обыкновенным порядком, и потом эти места отдать под новые казенные устройства или хотя частным лицам, но христианского вероисповедания, по тем же ценам, по которым приобретутся эти места в казну, с допущением пособия христианам. 3) Перепродажу и раздел домов в квартале от евреев евреям воспретить, и квартал собственно сделать христианским. 4) Строжайше воспретить евреям в домах отдавать участки под лавки для торгова, с дозволением и самим хозяевам занимать для торгова только один покой в доме, дабы этим заставить их строить особые лавки, в общем плане с городскими или нанимать городские собственно. 5) Для Полоцка учредить две ярмарки срочные, одну, со 2 февраля на две недели — зимнюю, а другую, с 10 июля на три недели — летнюю, и собственно для этих ярмарок выстроить на счет пожалованной городу ссуды лавки, частью только казенные, а сними по плану же дозволить пристроить и частные, что украсило бы город и дало бы оному средства к содержанию в лучшем виде городской полиции. Эти сроки я признал потому удобнейшими, что в первых числах февраля кончается ярмарка в м. Любовичах, Могилевской губернии, от Полоцка всего верст 150, не более, и откуда уже купцы разъезжаются окончательно. В феврале удобность пути дала бы возможность торгов их провести до Полоцка и без распутицы еще возвращаться домой. Вторая же ярмарка была бы в промежуток ярмарки Освейской, начинающейся 29 июня, и Белешковецкой, которой начало 16 июля. Купцы с одной переезжают на другую именно через Полоцк, следовательно, новая ярмарка была бы им по пути.

При этом я имел в виду, кроме сношений моих с начальниками соседних губерний, лично съездить на ярмарки Любавицкую, Белешковецкую и Освейскую и убедить торгующих купцов посещать Полоцкие ярмарки, где прежде устроить все удобства и необходимые для общества развлечения, и я уверен, что совершенно успел бы в этом. Но другие не поняли мою мысль, полагая, что достаточно будет оповестить только через газеты, что ярмарки разрешаются; да и самые лавки выстроены только на одну пожалованную ссуду собственно для обывателей, тогда как вся торговля в Полоцке в упадке, следовательно, остаются лавки или праздничными, или отдаются только что не даром, следовательно, пользу приносят городу совершенно ничтожную; а еще лучше всего, что, будто бы за неявкою никого на указанные сроки в Полоцк на ярмарки, сроки сии отменены и назначена новая ярмарка на 23 мая, то есть на день Св. Евфросиньи, покровительницы Полоцка, 25 мая время всегдашней распутицы, и поблизости нигде, ни прежде, ни после, на короткие сроки ярмарок не бывает; кто же нарочно поедет на эту ярмарку?

Как справедливо было замечание государя, что генерал-губернаторы не желают перемещения губернского управления из Витебска в Полоцк! Дьяков, передавая мне прописанный выше запрос, в своем предложении ко мне умолчал вовсе, что министр поставил ему на вид иметь в предмете будущее возможное изменение, и уже через два месяца министр случайно прислал мне копию с своего отношения к Дьякову.

Местное же еврейское купечество всячески хлопочет не допускать ярмарок. Два или три капиталиста, всеми путями, в канцелярии генерал-губернатора и даже выше, устраняют эту опасность их монополии, а оттого не только для Полоцка, но и для всей губернии, в центре которой лежит Полоцк, цены на все предметы, случайно поднявшись выше, никогда уже не понижаются, а держатся все в одной соразмерности, до нового еще возвышения, а потому и мои предположения все остались в небрежении¹.

* * *

Из Петербурга я возвратился в Витебск в половине января 1838 г. В мое отсутствие с Дьяковым случились первые при-

¹ «Русская старина». 1890. Т. 67. № 9. С. 679–687.

падки ипохондрии. Еще при первом моем с ним знакомстве я заметил, что он подчинен совершенно влиянию жены своей, но теперь она уже решительно стала управлять всеми его действиями, а на меня всегда глядела неприязненно. Да, признаюсь, что я сам платил ей взаимностью. Получив орден Екатерины, она вздумала устроить в Витебске, на счет других, разумеется, благотворительное заседание для призрения детей, под названием «Детского приюта» (тогда еще не было общего устава для подобного рода заведений) и, пригласив к участию нового губернского предводителя гр. Борха и несколько посторонних лиц, меня обошла и даже не удостоила ни сведения об этом, ни вопроса. Однажды мне подали в губернском правлении для подписи журнал, с прописанием в оном записки генерал-губернаторской канцелярии о произведенной публикации на пожертвование для приюта, и в записке говорилось, что оным управляет особый совет, под покровительством госпожи Дьяковой.

Я обратился к Дьякову с вопросом: какое это заседание, частное или казенное, и через кого образовался и утвердился совет, заведывающий оным, ибо я, начальник губернии, ничего о нем не знаю.

Дьяков извинился упущением канцелярии своей, что она меня не известила об его согласии на учреждение приюта, и просил меня и жену мою принять в оном участие.

Я послал 100 рублей ассигнациями и вместе прошение об отставке. В тот же день получил отзыв, что моя просьба пущена в ход; но поздно вечером произошел пожар в генерал-губернаторском доме, куда я поехал, и там ночью, в продолжении шести часов, у меня было обширное объяснение с Дьяковым, кончившееся новым между нами примирением. <...>

В это время было получено большое число секретных сведений о польских эмиссарах, пробравшихся в Россию для подготовки к возмущению в западных губерниях, и даже сообщен был знак наружный, долженствовавший быть признаком участия, именно — эмблема веры, надежды и любви. Зорко вникая во все, что могло вести к открытию злоумышленников, я имел случай в Лепеле отыскать пуговицы с сказанною эмблемою, изготовленные в Лондоне, и отправил их гр. Бенкендорфу, но как особы, на которых замечались таковые пуговицы, все оказались самыми ничтожными и даже отличающиеся простотою люди, то я решительно никого за это не беспокоил и откровенно об

этом написал графу. Однажды, однако же, пришел было в большую тревогу.

Полковник Потапов, секретно расследовавший в Лепеле о пуговицах, донес мне, что там захвачен подозрительный человек, по описанию совершенно сходный с эмиссаром Канарским, и еще страннее, что он сам называл себя фамилиею, тоже состоящей в списке об эмиссарах. Я немедленно отправил жандармов привезти его в Витебск, но по прибытии удостоверился с первого взгляда, что он и фамилию, и приметы приобрел суетно... Но в то время, когда его везли в Витебск, между обывателями дворянского разряда очень заметно было волнение и множество бросились ему на встречу. Все таковые любопытствующие взяты были мною в особое замечание.

Канарский, между тем, был захвачен действительно в Вильне, и я от тамошнего губернатора имел отношение отыскать одного дворянина (не помню фамилии), у которого некоторое время скрывался Канарский и имел с ним особые связи. Надобно же было, чтобы в это время я получил донесение от земской полиции, что именно такой же фамилии дворянин на днях зарезался в имении Гудим-Левковича. Я назначил строгое и аккуратное следствие, по которому оказалось, что дворянин жил у Левковича уже много годов и прежде был учителем в Витебске, бедный, скромный человек, вовсе не имевший ни с кем даже и случайной связи; следовательно, ход дела открыл его безвинным в участии по возмущению. Я не беспокоил Гудим-Левковича, но Дьяков, возвратясь из заграницы, на другой же день резко потребовал объяснения и сделал мне даже неприличное замечание. Пока мы переписывались, от виленского губернатора я получил известие, что отыскиваемое лицо им уже найдено и судится вместе с Канарским. Несправедливость Дьякова меня чувствительно тронула. <...>

1-го сентября (1838 г.) я подал в отставку.

Я был уверен, что государь обратит внимание свое на меня, и не ошибся в этом, граф Бенкендорф известил Дьякова, что государю угодно удержать меня на службе и передавал это ему, прося его содействия. Дьяков, слышав еще прежде от меня, что, если я подам опять в отставку, решительно уже не возьму просьбы своей назад, написал к Бенкендорфу, что он четыре раза меня уже останавливал, но, зная мой беспокойный характер, не ручается, чтобы я долго еще мог продолжать службу; что я решительно не могу быть ни у кого в подчиненности и никакого

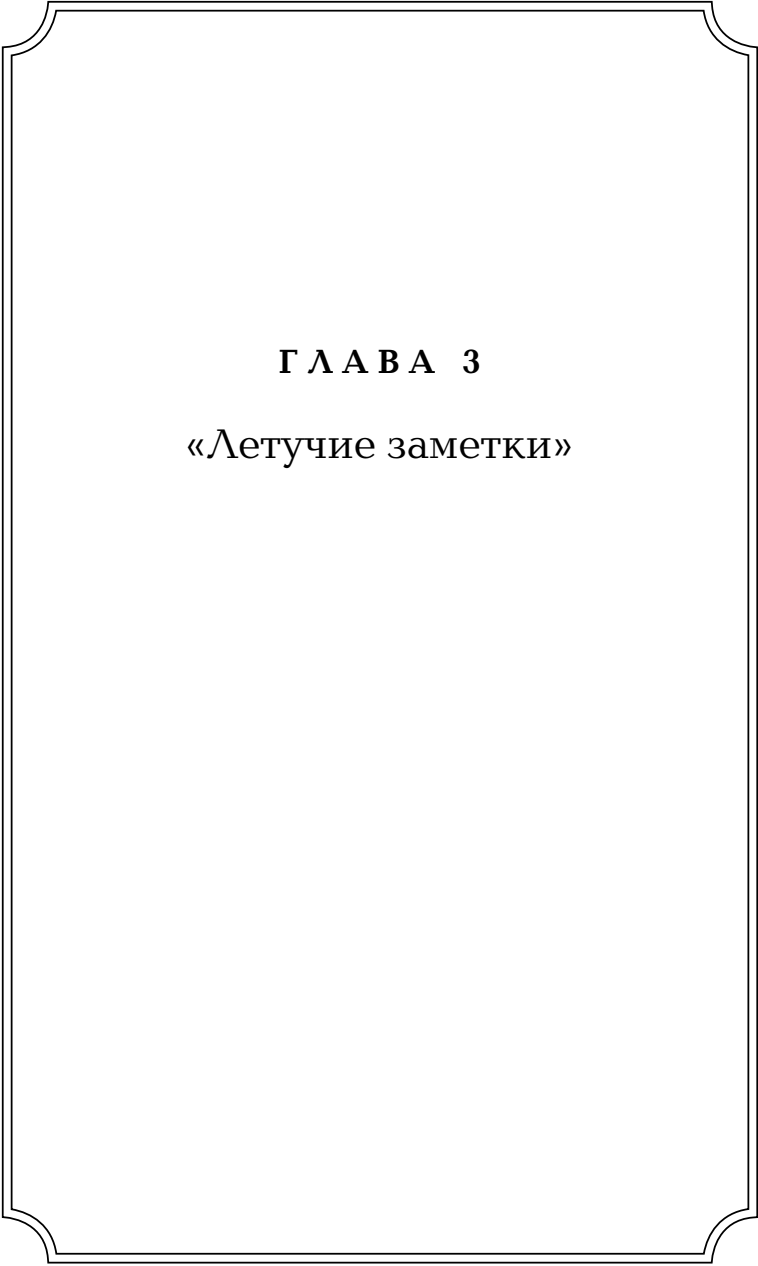
начальства над собою сносить не могу, а потому он, Дьяков, почитает даже вредным для службы новое для меня убеждение. Одним словом, вместо благодарности, Дьяков убил одним ударом и службу мою, и приобретенное мною личное ко мне благоволение государя.

Судьба привела меня после этого жить в Витебской губернии, и, как частное лицо, я имел случай еще сделать многие заметки, которые не дошли бы до меня никогда в звании начальника губернии.

Не прошло полугода, униаты общию массою присоединены в православие; мысль моя же, а награды достались Дьякову и окружающим его.

И. Жиркевич¹.

¹ «Русская Старина». 1890. Т. 68. № 9. С. 694–698.



ГЛАВА 3
«Летучие заметки»

Дневник Александра Владимировича Жиркевича 1880 — 1881 гг.

*М. Гольшаны Виленской губернии.
12 октября 1880 г.*

Не стану описывать, как судьба или, скорее, начальство в образе судьбы перевело меня в 27-ю роту из 1-й, почему и пришлось мне совершить пренеприятное путешествие на мужицкой лошаденке, нагруженной, кроме моей персоны, еще всем моим громоздким багажом, т.е. кроватью, постелью, тюфяками и двумя сундуками. Дорога до Гольшан убийственная, пришлось ехать в сумерках и при довольно сильном и холодном северном ветре, утопая вместе с телегой в грязи. Приключений в дороге не было, а часов в 8 вечера я, вынеся переезд через гольшанские грязи, явился к месту назначения, где встретил очень радушный прием от капитана Куша. С 1-ю ротою мне было, не знаю почему, грустно расставаться. Капитан Гофман был всегда так любезен со мной! Но, что же делать, может быть, и тут ужиться так же, как там.

Перед отъездом из Ошмян все офицеры собрались на так называемый между нами «литературный вечер». Много читали, много говорили. Капитан Труфанов рассказал маленькое событие из жизни одного из его многочисленных знакомых. Я его записываю вкратце, так как оно может служить темой для интересного рассказа....

Один знакомый Труфанова, живя недалеко от кладбища уездного города N., должен был по какому-то случаю ночью, и довольно вдобавок темной, проходить через это кладбище. Однажды он по обыкновению отправился через кладбище, которое все было засажено деревьями. При повороте в одну аллею он, при случайном свете луны, замечает труп повешенного, качающегося на дереве. Можете представить себе его ужас, когда вдобавок еще раздался где-то недалеко смех. Смех на кладбище, ночью, около повешенного! Понятен весь ужас путешественника. Желая выбиться куда-нибудь, а ночь хоть глаз выко-

ли, он, наконец, натывается на отдаленный огонь, куда и спешит. Вдруг какая-то невидимая сила отбрасывает его назад. Ужас придает ему мужество; он вторично устремляется вперед, и опять чья-то невидимая рука опрокидывает его назад. Он теряет чувства. Наутро его находят недалеко от дома кладбищенского сторожа, приводят в чувство, все разъясняется. Какой-то бродяга еще с вечера повесился на кладбище и был оставлен на ночь до прихода полиции. Смех, слышанный г. N., производили мальчишки, которых заинтересовал исход встречи N. с висельником. Невидимая сила объяснилась простою веревкою, натянутою около дома для сушки белья, и которая отталкивала каждый раз N., когда он с разбега и не видя ее, напарывался на нее.

Сегодня осматривал Гольшаны. Местечко грязное, жидовское¹. Так как сегодня праздник, то съехались в костел кое-какие паны. Я заходил и в костел, и в церковь. В костеле меня поразили ксендз, а в церкви поп. Ксендз, что говорится, распинался и выводил такие рулады и трели своим голосом, что надо было удивляться. Поп явился в церковь в зипуне, нечесанный, невымытый, с физиономией самой мужицкой. Но голос его приятный и сильный. Меня поразило одно явление в церкви. Это то, что я чувствовал себя как будто не в русском храме, а в костеле. Народ буквально весь, завывая, вторил хору при всех молитвах, и в этом главное участие принимают бабы. Кроме того, у многих баб были в руках молитвенники; я из любопытства заглянул в некоторые из них, они оказались польскими. Я был неприятно удивлен. Русский народ в русском православном храме молится по-польски! О, провинция, о, невежество! Ксендз, по слухам, очень разбитная личность, имеет *сёстру* и кое-какие доходы. Я слышал, что его проповеди обратили на себя внимание полиции, так что был прислан жандарм². Ксендз очень этим обижен. Он уверяет, что он только сказал: «Пусть православные ходят в церковь, а католики в костел».

Познакомился с владельцем Гольшан мировым судьей Александром Васильевичем Горбуновым³. Он сам приходил звать

¹ Жид — нормативный в старославянском языке и древнерусском этноним для иудеев, заимствованный через балканские романские языки; до 1917 г. слово оставалось употребительным в разговорном русском языке и входило в академические словари.

² О напряженной обстановке в крае, разделе Польши, Польском восстании 1861–63 гг.

³ *Горбунев (Горбанев) Александр Васильевич* — в должности мирового судьи 3-го участка с 1 марта 1871 г. Приобрел замок в 1880 г., при нем часть замка была разобрана на постройку корчмы.

капитана Куца на обед, пригласил и меня к себе; я оделся в парадную форму и сделал визит. Горбунев очень умный и образованный человек — вот первое впечатление, какое он на меня произвел. У нас с ним нашлись общие знакомые. Он живет в замке, выстроенном еще в XVII столетии¹, и который когда-то принадлежал Сапеге. Семейный поясной портрет бывшего владельца Гольшан князя Сапеге висит в столовой. При входе в замок меня поразила надпись над воротами: «Мировой судья». Какая насмешка судьбы: надпись, гласящая о правосудии, над воротами разбойничьего замка. Самые развалины еще сохранились хорошо. Горбунев живет в бывших покоях Сапеге, немного подновленных. Я, с позволения хозяина, пошел после обеда осматривать замок и его окрестности. Некоторые башни наполовину уцелели; от других остались только груды мусора и кирпича. Бывший костел, ныне сеновал, стоит еще в полной силе. Некоторые комнаты в башнях носят на себе еще следы украшений в средневековом вкусе; в одной из них я натолкнулся на подземный ход, идущий от замка к костелу и казармам местечка. Ход виден сажени на две, а далее опасно идти. Общее расположение замка напоминает расположение замка в имении Медниках генерала Лабанцева, где мы останавливались на ночлег, т.е. строения образуют квадрат. Густая аллея, конечно оголенная осенью, тянется кругом дома, по валу, за которым вьется ручей² и расположен пруд. Владелец замка хочет его продать на слом для имеющейся в проекте церкви. Мне более всего понравилась угловая башня, с разными причудливыми окнами и бойницами, а на ней свитое аистом гнездо. Существуют и предания. Говорят, что иногда по ночам слышен в костеле звук органа, пение, является белая фигура женщины и пр. Но о преданиях потолкую в другой раз. Я решил сделать несколько набросков карандашом. Горбунев говорил, что к нему уже приезжал какой-то англичанин и снимал виды замка. Горбунев выписывает газету, живет очень мило. В его комнатах есть много интересных вещей, как то: чучелы разных птиц и чучело медведя, поражающее натуральностью своей позы. Бедный мишка, ручной, был убит за шалости. В комнатах чувствуется присутствие женщины, и женщины развитой. Видны ноты и книги. Горбунев обещает мне дать французских и немецких книг для переводов.

¹ Замок выстроен в 1610 г. Львом Сапегой XVI.

² Ручей называется Карабель.

У него есть жена и дети; но они живут в Вильне. Горбунев когда-то служил в военной службе.

Я теперь живу в бывшем иезуитском монастыре¹ и занимаю с капитаном Кушем келью, быть может, какого-нибудь отшельника или тучного и развратного монаха-иезуита. Громадные коридоры, ряд келий, прилегающих к костелу времен Сапеги, имеют сводчатые потолки, квадратные (почти) двери, толстые стены. Так и пахнет стариной, особенно от кирпичных полов. В костеле мне указали гробницу Сапеги и трех его жен. Над местами, где они похоронены, у самого алтаря, стоит мраморный саркофаг, на котором лежат четыре фигуры: Сапега в рыцарских латах и рядом с ним три женские фигуры в старинных фижмах и платьях, с молитвенниками в руках. Все это из прекрасного мрамора и сохранилось до сих пор². Только недостает одной ноги у пана ясновельможного Сапеги. Говорят, что памятник этот заказан был в Италии и привезен оттуда «на волах». В костеле еще обращает внимание своей работой тот балкон, откуда теперь раздается мирная проповедь ксендза и откуда, быть может, не так-то еще давно звучали фанатические речи борцов за *ойчизну*. Народ прямо из костела валит в церковь, должно быть, веруя, что такая молитва *крепче* будет.

Замок в Гольшанах напомнил мне замок в Медниках, где когда-то жили литовские короли Казимир Святой и еще какой-то, имени не помню. Мне удалось осмотреть раза три и те развалины совершенно случайно. Проходя походом, мы были любезно приглашены на ночлег управляющим имения г. Орлондом, который по всем приметам принадлежит к еврейской нации. Но какое наше было дело до его национальности, когда мы получили любезный прием, теплую комнату и удобные постели! С Орлондом я обходил замок, который окружен густым парком. Уцелела одна башня с подземным ходом, куда уже нельзя проникнуть. Я видел эту башню при романтической обстановке.

Вечером, в день нашего прихода, имел оживленный разговор о преданиях замка, о семейных преданиях последующих владельцев замка. Г. Орлонд рассказал о трагической смерти одного хозяина имения, сошедшего с ума и повесившегося.

¹ Францисканский монастырь, основанный монахами-францисканцами, приглашенными П. С. Сапегой после изгнания им из Гольшан протестантов-кальвинистов.

² В настоящее время гробница Сапеги и его жен находится в Минске, в Музее древней белорусской истории и культуры.

Он все искал кладов. Даже статья, которую мы в тот вечер читали, влияла на нервную систему в сильной степени. Часов в 11 ночи завязался спор, что я не решусь пойти один в замок, где ходят привидения, с которыми многие встречаются по ночам. Сомнение в моей храбрости заставило меня решиться на путешествие.

Я вышел из дому. Ночь была темна ужасно; хоть глаз выколи. Мне пришлось идти почти ощупью через дремучий парк, в котором и днем трудно ориентироваться. Идти пришлось до башни с версту. Прибавьте к этому темную ночь, возбужденное воображение, ожидающее чего-то против всех убеждений рассудка, и вы поймете то чувство жуткости и какого-то безотчетного томления, которое против воли овладевало мною. Не в первый раз мне приходится жаловаться на нервы! Наконец, я добрался до башни, взобрался, как было условлено, на нее, заломил там для памяти три ветки и положил на видном месте, на плоском выдающемся камне, медную монету. Затем отправился назад, промочил себе ноги. К утру меня ожидал еще один сюрприз: мои единственные походные сапоги отказались служить, так как острые камни и осколки кирпича изрезали совершенно кожу и подорвали подошвы. Итак, моя любознательность была наказана, и я лишился самого необходимого для похода.

Не знаю, откуда у меня вдруг явилась потребность опять возобновить свои заметки, которые я когда-то сжег так безжалостно. Может быть, мое изолированное положение побуждает меня взяться за перо. Но ведь не все, что думаешь, можно передать бумаге! Такова моя доля: вечно скрывать в себе многие порывы, планы и мечты, обманывать самого себя, кривить душою. Нет, не исповедь цель моих заметок. Я не хочу изливать в них свои думы, свои опасения. В них я просто хочу перечислить факты, хочу изложить в форме летучих заметок те столкновения, те оригинальные взгляды, которыми дарила меня жизнь и люди. Я не забираюсь в прошлое. Прошлого у меня нет. Пусть не говорят, что с годами появятся радужные воспоминания детства. Нет, не может появиться то, чего уже нет, а вернее всего, и не было. Детство для меня прошло, как туманная сказка; годы, проведенные в школе, как-то беспутно рисуются в моем воображении бессвязным рядом событий и образов без названий, фамилий и определенных очертаний. Есть факты в прошлом, которые я помню. Но их так мало, а пробелов в жизни детства так много!

Итак, начинаю записывать события настоящего, для памяти и только для себя, а не для кого-нибудь. Мне жаль забыть все, а это так легко сделать. Мир фактов забывается мною, т.е. у меня есть способность забывать события, сохраняя навсегда и удерживая их смысл. А жаль забывать события, мелочи, из которых состоит жизнь. С сегодняшнего дня я начинаю заносить все, что обратит на себя мое внимание в окружающем. Я собираю материалы и, как любитель древностей, откапываю их в захолустье — Гольшанах. Как мне говорили, будет о чем писать.

Перед отъездом из Ошмян я имел интересный разговор с П. П. о положении духовенства в России и за границей. Мы оба пришли к заключению, что нашему священнику трудно быть честным, преданным делу тружеником. В Германии, например, пастор вполне обеспечен материально. Он получает прекрасное жалованье, дармовую квартиру. Не удивительно быть честным, не имея надобности подличать. Духовенство в Германии получает прекрасное научное образование. Пастор является и духовным и светским человеком. Я сам видел пасторов с элегантною наружностью, с европейским образованием. А посмотрите на нашего деревенского батюшку. Есть ли время ему думать о своей пастве, когда и сам он, и семья его нуждаются во всем самом необходимом. Да и образование нашего духовенства так плохо, так односторонне. Дайте нашему священнику образование, верный кусок хлеба и потом требуйте от него всего, что должно требовать от его сана. В Германии пастор в большинстве случаев занимается образованием мальчиков самых аристократических фамилий; многие пасторы даже содержат школы. Нечего говорить, что часто пасторы помогают и советом по части медицины, судебных уставов и разных других сведений. Одним словом, пастора можно считать за образчик того, чем должно стать и наше духовенство. В России даже ксендзы образованнее наших «батюшек». В настоящее время в священники из семинарии поступают только те, которым нет другого исхода или которые по своей ограниченности не могут занять место учителя или какую-нибудь другую должность.

Наравне с вопросом об обеспечении нашего духовенства восстает вопрос о дозволении частным лицам преподавать Закон Божий в школах и других учебных заведениях. Священник, являясь учителем Закона Божия, теряет в глазах учащегося поколения то обаяние, с которым связан его сан. Над учителем можно выделывать всякие штуки, учителя можно надуть. Хоро-

шо будет уважение к священнику, когда он является учителем?! Кроме того, от частных лиц можно и требовать большего, так как возможен выбор, чего нельзя сделать, когда на должности законоучителей назначаются только священники. Во Франции дозволено же преподавание Закона Божия в школах частным лицам! Наконец, к чему вводить Закон Божий как предмет преподавания! Дело веры — дело совести. Семья должна готовить ребенка в религиозном отношении, пусть семья и преподает ему все, что касается дела веры. Школа готовит к жизни, дает материал для деятельности, и не ее дело вбивать в голову ребенка вместе с математическими аксиомами догматы религии и веры. И как объяснить себе тот факт, что Закон Божий, например, в реальных училищах причислен к не главным предметам?! В таком случае лучше совсем не вводить его в число предметов годичного курса, чем, ставя его в число второстепенных предметов, заставлять юношество глядеть на него небрежно, сквозь пальцы. Ведь это подрывает всякое уважение, всякую веру и любовь. Уроки готовятся, как ненужная обуза. Ведь это предмет не главный; следовательно, и учить его не стоит: ведь два — переводной балл. Не истекает ли из такого легкого отношения к предмету подрыв уважения к нему?! Частные беседы, не облеченные формальностями уроков, были бы гораздо целесообразнее, гораздо полезнее. Живое слово, живая мысль, живой взгляд на религию, проведенный параллельно жизни, — вот что нужно для школы и чего нет в ней. Незачем преподавать догматы веры, как нечто отдельное от жизни, окружающего мира, а это бывает и теперь, когда Закон Божий является отдельным предметом. Самое преподавание Закона Божьего должно быть изменено. К чему заставлять юношество зубрить всевозможные ектеньи, порядок службы и тому подобные вещи, которые всем детям известны еще до поступления в школу?! Чем меньше зазубривания, тем лучше. Дайте пищу уму, но не убивайте его в бесплодных заучиваниях того, с чем реже всего придется столкнуться в жизни. Изучение Истории Церкви тоже вещь лишняя. Это дело уже всеобщей и отечественной истории, а не дело религии и Закона Божия. Если юноша и не будет знать сделать перечень событий в хронологическом порядке, то это еще не беда; но если тот же юноша не видит связи между религией и жизнью, то это уже преступление. На эту-то связь и должен беспрестанно указывать преподаватель Закона Божия, так, чтобы ученик сознательно видел проявление одной

и той же великой, общемировой идеи, которая разлита в жизни и которую религия должна подтверждать, как на основании существующих преданий, так и на основании действительной жизни. Я уже сказал, что дело религии — дело семьи. Кто может лучше женщины-матери вкоренить в ребенке христианские догматы, начала и догматы христианской религии? Мать руководит ребенком с колыбели, в ней он видит идеал женщины-христианки, и от нее он должен получать то, чего не даст ему никакая школа, никакие учебники и катехизисы. И сделала ли школа кого-нибудь истинным христианином? Нет, да и требовать от нее здравомыслящий человек этого не станет. Мы на каждом шагу наталкиваемся на атеистов, которые стали такими только благодаря школе, благодаря, быть может, тому, как поставлено в деле школьного образования и преподавание Закона Божия. И как же преподается Закон Божий в школах?! Ребенку дают факты, заставляют их заучивать, требуют их отличного знания; он долбит тексты, иногда не вполне понимая их смысл. На многие вопросы, на которые, будь священник образованнее, ребенок мог бы получить ясные ответы; ему приказывают верить, а что такое самое понятие *верить*, ему никто не дает себе труда объяснить. Есть и такие педагоги, которых злят подобные назойливые вопросы детского ума. Нетвердо выученный урок, перевернутый текст влечет за собою единицу. За Закон Божий, т.е. за учение Христа, не вполне усвоенное ребенком, ставится единица. Прекрасное наказание! Какое сопоставление — Закон Божий и единица! Священник вместо того, чтобы объяснить, растолковать ошибку, наказывает виновного юношу. Таким образом, дело веры, дело совести сводится к заурядному школьному преподаванию, вдобавок еще и не главного предмета!

14 октября

Так как скука была ужасная, то я отправился с Кушем в мировой суд, в котором я еще ни разу не был. Комната небольшая, со сводами, одним окном и выкрашенная желтою краскою, от времени кое-где слезшею. Сам мировой судья Горбунев сидит на возвышении, за столом, покрытом зеленым сукном, с цепью на шее. Вообще на своей трибуне он очень представительен. При входе мы с ним раскланялись, и нам любезно было очищено место на скамейке. Разбиралось дело о каком-то украденном у

бабы холсте. Обвинялся отставной солдат, обвиняла сама баба. Рожа обвиняемого сама выдавала его; к тому же и свидетели говорили не в его пользу. В конце концов его присудили к трехмесячному тюремному заключению. Интересно было видеть, как мужик, не обращая внимания на запрещение судьи, все говорил и говорил в свое оправдание. Комната суда представляла очень интересную картину. На задних скамьях мужики и жида в ожидании своей очереди просто-напросто спали, свалившись друг на друга. Вонь была ужасная. Воображаю, сколько надо иметь терпения, чтобы выслушать все, что болтают бессмысленные мужики. Разбиралось еще какое-то дело о беспощинной продаже водки. Тут уже обвиняемым явился жид, поэтому за него и ораторствовал местный Цицерон, гольшанский *аблокат* из евреев же. Говорил он довольно гладко, но, увы, его песнь была *как ветер свободна, и бесплодна*¹. Он говорил четверть часа и ничего не сказал. Положим, что это тоже своего рода талант, которым не всякий похвастается. На мужиков (конечно, только не спящих) речь «аблоката» произвела сильное впечатление. «Ишь ион как реже», — шептали они между собою. Я обратил внимание на один факт. Показания подсудимого находят отголоски в окружающих. Если бы судья обращал более внимания на зрителей, то он много нашел бы себе подспорья в том, как слушают они то, что делается на суде. Так, например, когда обвиняемый привел какой-то факт в свое оправдание, многие переглянулись, перемигнулись, и главное, из лиц неучастных делу.

15 октября

Вчера в 3 часа пополудни в местном костеле была свадьба каких-то довольно зажиточных панов. Молодая была очень интересна, немного бледна, сконфужена. Жених обладал менее выгодною наружностью. Провожатых было немного. Были кое-кто из виленских. Самый обряд, на котором я присутствовал первый раз в жизни, очень короток у поляков. Ксендз распинался и завывал ужасно, так что приезжие из Вильны сначала улыбались. Меня поразил один из мальчишек, прислуживавший пану ксендзу. Он не стеснялся ни присутствием самого ксендза, ни публикой, набравшейся в костел, и выделял разные фоку-

¹ Цитата из стихотворения Пушкина «Поэт и толпа».

сы. Так, проходя мимо какой-то девчонки и неся в руках ковер, он со всего размаху хватил им девчонку по голове, так что та даже опешила. Далее той же девчонке он ткнул мокрым кропилом в нос, и все это с самым невинным и серьезным видом. Он близкий родственник Василевского, офицера нашего полка, которого я, впрочем, лично не знаю. В костеле на этот раз я обратил внимание на опускные двери¹, которых имеется несколько штук и которые ведут в костельные склепы. Ксендз обещал сводить туда на днях.

17 октября

Вчера я провел вечер с капитаном Кушем у мирового судьи Горбунева. Он очень веселый человек и рассказывал много анекдотов, как из своей практики, так и из своей жизни.

Когда приезжал в Петербург во время франко-прусской войны Тьер², желая склонить Россию на сторону Франции, то в Вильне, на вокзале, в знак уважения к нему, его встретил губернатор и еще несколько лиц, в том числе и Горбунев, который исполнял тогда должность губернского предводителя дворянства. Тьер был со всеми любезен. Как вдруг на дебаркадер влетает княгиня Урусова (*marquise*) и без всякой церемонии обращается к Тьеру со следующими словами: «*Monsieur, quoique je n'ai pas l'honneur de vous connaître personnellement, j'ai eu l'honneur de vous voir à Paris entouré des courtisants*»³ и т.д. Тьер ее перебил очень вежливо: «*Peut-être, Madame, peut-être*»⁴. И при этом он состроил такое лицо, что Урусова поспешила отретироваться. Очень может быть, что Тьер хотел своим ответом показать, как глупо ею была высказана мысль, что она его видела, когда вся Европа знала черты его лица и слышала о нем.

Горбунев рассказывал о каком-то батальонном командире, князе Шаховском, очень набожном человеке и в то же время заядлом картежнике. В его комнате висел образ, перед которым была подвешена лампада. Когда он выигрывал, то, по возвращении домой, всегда зажигал перед образом лампадку. «Раз я лег

¹ Опускные двери — опускающиеся двери.

² Тьер Луи Адольф (1797–1877) — французский политический деятель и историк.

³ «Сударь, хотя я не имею чести знать вас лично, но я имела честь видеть вас в Париже, в окружении куртизанок» (*фр.*).

⁴ «Возможно, сударыня, возможно» (*фр.*).

спать рано, — рассказывал Горбунев, — как вдруг слышу, что князь возвратился из гостей, принеся целый бумажник денег и несколько пар выигранных часов. Часы он сейчас же развесил по стенке и потом, по обычаю, зажег лампаду. Наконец он улегся в постель, но немного погодя вскочил, схватил со стены часы, рассовал по карманам и ушел из квартиры. Только под утро возвратился он из гостей и сейчас — пф! — потушил лампаду. Дело в том, что он проиграл все, что выиграл. Как сам он потом рассказывал, часы над самым ухом чикали, как бы напоминая ему о себе; он не выдержал, пошел еще играть и все проиграл.

У Горбунова прекрасная библиотека, только не приведенная в порядок. В ней, вероятно, будет томов 400–500 книг. Большинство из них журналы. От Горбунова пришлось возвращаться ночью, переходить через два ручья по кладкам без фонаря — вообще путешествие было веселое.

Капитан Куц получил сегодня очень интересное письмо от начальника Восточного отдела Болгарской армии. Вся Болгария делится на два отдела, начальниками которых — Западного, полковник Логинов, а Восточного — полковник Боборькин. Я несколько раз с позволения капитана Куца читал это письмо, и некоторые фразы врезались мне в память. Он пишет, что вследствие его ходатайства военный министр¹ дал ему «обещание принять всех трех (просившихся в Болгарскую дружину, в том числе и капитана Куца) на службу в Болгарские войска». Далее он пишет о той рекомендации, которую он сделал об этих офицерах военному министру, которому рекомендовал их, поручался за них, «как за самого себя». «Теперь крайне трудно попасть на службу сюда; желающих масса, а министр имеет своих кандидатов, которыми и замещает открывающиеся вакансии, и при том устроил так, что они поступают сначала субалтерн-офицерами²; как только откроется вакансия ротного командира, сейчас же и готов кандидат, который находится тут же налицо, и, следовательно, не нужно ожидать, чтобы он приехал из России, как это было прежде и когда роты оставались по полгода без ротных командиров... Субалтерн-офицеры получают по сто рублей жалованья в месяц серебряными рублями... У нас теперь из трех отделов образовались только два... В прошлом месяце я представлял князю в Шумле довольно большой отряд войск,

¹ Милютин Дмитрий Алексеевич.

² Субалтерн-офицер — младший офицер роты, эскадрона или батареи.

собранных при этом городе из всех трех родов оружия: 6 батарей, 2 эскадрона и 13 рот пехоты. Князь остался в восторге и сообщил нашему Государю о трудах и заботах русских офицеров, за что мы все получили монаршее благоволение и найдены достойными представить нас к наградам по нашей армии. Откровенно говоря, я сам не ожидал того, что увидел, так как войска моего отдела были все время разбросаны мелкими частями по горам и лесам и гонялись за башибузуками. Честь и слава нашим офицерам, которые сумели в два года из забитых братушек сделать бравого и обученного солдата. Одно здесь скверно, что русские офицеры ужасно ссорятся между собой и заводят постоянно разные истории и кляузы, которые очень трудно разбирать. Новый элемент офицеров, в том числе и вы все, должны вносить с собою мир и согласие», — и т.д. в том же духе. Вообще письмо дышит умом и логично написано.

На свадьбе, про которую я уже упоминал, были поползновения некоторых панов запеть старые песни; но присутствие официального лица стесняло их. Один из них, обращаясь к молодым, сказал речь «о значении женщины вообще и польской женщины в особенности». Говорят, что вечер свадебный был немного расстроен пожаром в той деревне, где происходила свадьба.

Я на днях узнал, что в окрестностях Гольшан бродит шляхтич-разбойник, по прозвищу Кисель, с шайкою бродяг, чем и наводит ужас на окрестных жителей. Последнее воскресенье его видели на ярмарке в Гольшанах, но схватить его побоялись. Этот Фра-Диаволо¹ наводит ужас, а между тем полиция спит, и его не схватили. Он рыжий и окрасил себе бороду в черную краску. Капитан Куш хочет сделать на него облаву; если бы только можно было узнать наверное, где он находится, то переловить как его, так и шайку, с ротою солдат дело пустое.

19 октября

Воскресенье. Сегодня, по обыкновению, я с капитаном Кушем отправились в церковь. Там меня поразила баба с живою

¹ *Фра-Диаволо* (брат дьявол) — настоящее имя Микеле Пецца (1771–1806), итальянский разбойник, участник освободительного движения на юге Франции; его судьба привлекала внимание литераторов и композиторов.

курицей под мышкой. Курица несколько раз довольно громко пыталась заявлять о своих правах, т.е. кудахтала, а баба укрывала ей голову платком. Из церкви мы отправились с визитом к следователю. Но застали только его жену (заурядную бабенку, дочь местного священника); самого же следователя мы встретили у мирового судьи, куда были приглашены из церкви. Там и обедали. Был какой-то ксендз-каноник, который подвыпил немного и развязал язык. Вообще я замечаю, что в этом злочном и богоспасаемом месте многие еще думают, что «еще Польша не згиняла». Отец каноник очень хитер и все время корчил «Иезуса». Сегодня, будучи у г. Горбанева, я обратил внимание на дверь, которая находится в его зале, в углу комнаты и закрыта этажеркой. На мой вопрос он рассказал, что эта дверь вела в маленькую башню, в которой в 1846 году, при ремонтировке зданий, были найдены кости человека, с ног до головы одетого в латы. Доспехи эти отвезены в Вильну и хранятся в музее. Самый вход в эту тюрьму был так замазан и заделан, что на нее наткнулись совершенно случайно, тем более что вся тюрьма была проведена в стене и в косяке окна, находящегося в другой комнате, смежной с той, где находится входная дверь; стена в этом месте достигает полутора аршин толщиной. Неизвестно, кто был несчастный рыцарь, запертый в башню и умерший голодной смертью. Теперь в эту тюрьму проделана дверь и в ней сделан склад разных бумаг. Я уверен, что в замке, Горбуневу принадлежащем, есть много древностей, зарытых или скрытых в стенах.

Я начал эти летучие заметки с целью говорить только о настоящем. Но в последнее время желание погрузиться в прошедшее (хотя оно и не очень обогащает мой ум воспоминаниями) заставляет меня взяться за перо, чтобы набросать несколько летучих заметок прошлого, а пожалуй, отчасти и детства. Боюсь, как бы не изгладились из памяти и те немногие картины прошлой жизни, которые еще не изглажены житейскою прозою. Кто знает, может быть, когда-нибудь я, перечитывая летучие заметки, задумаюсь над картинами, давно забытыми, давно не говорящими сердцу. Наконец, может быть, и самая апатия к прошлому не есть постоянное состояние души, а временный недуг. Вообще в забвении своего прошлого, в том факте, что от него остались для меня только обрывки без связи и постепенности, я вижу что-то выходящее из ряда вон. Или я сам необыкновенная личность, идущая вразрез с веком, или я просто личность, мел-

ко плавающая в житейском море. Не дай Бог последнее. Итак, с этого дня я начну ряд отрывочных воспоминаний из протекшей жизни.

За связью, повторяю, я гнаться не могу; поэтому и воспоминания будут бессвязны. Я не имею целью описывать свою жизнь; кому нужно знать о пережитом каким-нибудь *жалким армейским подпрапорщиком*?!

Первые впечатления детства, которое очень часто возникает в моей душе, есть впечатление неясное, которое каким-то туманным пятном, без образов и ярких красок проносится в моей памяти. Это скорее не воспоминание, а запомненное, если можно так выразиться, чувство. Крутой берег какой-то широкой реки, даль и простор без границ, без меры, и над всем этим заунывная, щемящая за душу русская песня. Но ни местности, ни времени, когда я подвергался подобному впечатлению, ни слов песни я не помню. Так, что-то мутит мою душу, кого-то жаль, кто-то связан с этим чувством необъяснимыми, но крепкими узами. Была ли то мать, отец или друг, не знаю. Самое воспоминание мучает меня часто и теперь своею неразгаданностью, таинственностью.

Затем следует более определенное прошлое. Я в Полоцке. Брат и я сидим у окна, и по улице «бежит собачка, хвост крючочком». Какую тут роль играет собачка с хвостом, загнутым «крючочком», я не могу объяснить. Помню, что часто в детстве я приставал потом к матери с вопросом: «А помнишь ли, мама, собачку, хвост крючочком?»

Мать свою я называл «мамлюк», и все почти воспоминания детства связаны с нею. Она является в моей памяти всегда, как любящий элемент, вносящий в мою детскую жизнь какие-то живые и святые ощущения. При воспоминании о матери ничто не возмущает мою душу, ничто не заставляет болезненно сжиматься мое сердце.

Я вообще с самого раннего детства дичился других детей и не вел дружбы даже со своим братом, с которым часто ссорился. Чаще всего ссоры происходили вот отчего. С ранних лет мы оба очень любили сказки. Няни, фигурирующей обыкновенно в воспоминаниях детства у многих людей, у нас не было; ее всецело заменяли нам денщик моего отца Корнеич¹ и бабушка²,

¹ Давид Корнеич.

² Астафьева Мария Иосифовна.

жившая по смерти мужа постоянно с нашей семьей. От нее мы научились много чудесных сказок; вдобавок еще и мать читала нам по вечерам разные повести, пока отяжелевшие веки не закрывались и мир фантазии не заменялся царством сна. Все это развило в нас любовь к фантастическому, таинственному, любовь к рассказам, в которых непременно фигурировали герои.

Неудивительно, что и в мечтах своих мы уже лелеяли своих героев; мой герой, или скорее героиня, назывался *девочкой*, герой брата — *мальчиком*. Откуда и зачем дали мы эти названия своим героям, не стану описывать, да я и не помню этого. Помню только, что любимым нашим занятием, заменявшим иногда и игру в игрушки, были мечты, и мечты самые невинные. Улучив минуту, мы садились с братом где-нибудь в темном уголке (любовь к таким уголкам сохранилась у меня и до сих пор) и начинали мечтать вслух. Вот пример наших мечтаний вслух. Обыкновенно начинал брат: «А мой мальчик сильнее твоей девочки». — «Ну уж нет, моя девочка сильнее твоего мальчика». — «А мой мальчик твою девочку взял бы одною рукою и свалил». — «А моя девочка твоего мальчика одним пальцем свалила» и т.д. в том же духе. Кончалось это обыкновенно ссорой, а иногда и дракой, так как обыкновенно каждый с азартом заступался за своего героя. Замечательно то, что эти герои не имели определенных очертаний; это были призраки, без которых, однако, терялась бы вся прелесть наших игр. Брат всегда был благоразумнее меня: он часто в ссорах уступал мне и делал, однако, это так, что я чувствовал себя побежденным. Игра в мечты одно время так занимала нас, что я даже решился, по тогдашним моим понятиям, на страшный поступок. Дело в том, что представителями наших героев в мире фактов были две куклы, у брата — мальчика, у меня — девочки. На эти куклы переносилась и на них отражалась наша любовь. Лучшие платья, остатки лакомств, разные ласковые эпитеты — все повергали мы к ногам излюбленных кукол. Как теперь помню, у брата была восковая кукла, очень дорогая, закрывавшая глаза и говорившая «мама» и «папа». Эту куклу он берег как зеницу ока и прятал ее всегда под подушку. И вот однажды я, после обычного спора о качествах наших героев, решился отомстить за свою *девочку*. Я пробрался потихоньку в комнату к брату, вытащил из-под подушки его заветную куклу и свернул ей шею. Брат, вернувшись, увидел изуродованную куклу, и горю его не было границ.

Кстати, о куклах. Не могу забыть одно маленькое событие из жизни брата. Любимую его игрушкой была голая фарфоровая кукла, у которой, вследствие разных неосторожных случайностей, были попеременно отбиты руки и ноги. Оставались только туловище и голова. Но что всего дороже было для брата в этой кукле, это — ее нос. Кто-то уверил его, что как скоро его кукла потеряет нос, то она уже никуда не будет годна и ее будут звать — «курносой». Так как обрубок куклы, который брат лелеял с особенной любовью, часто выскальзывал из его рук, то брату приходилось частенько заливаться слезами. Бывало, во время игры брат уронит свою заветную куклу и с отчаяния начинает реветь. За слезами он ничего не видит и отыскивает куклу на полу ошупью, чтобы убедиться, на месте ли нос. Как только, бывало, он нащупает бугорок, означавший нос (который в фарфоровых куклах представляет самую прочную часть), мгновенно перестает реветь и самодовольно улыбается. В конце концов его кукла затерялась. Надо заметить, что у нас существовала довольно глупая игра, в которой мы закапывали кукол в землю, хоронили их. И вот однажды мы закапывали да закапывали его фаворитку, пока, заигравшись, не позабыли, где ее закопали. Нечего говорить, сколько слез пролил бедный Ваня.

Я помню, мы очень любили из глины делать голых ребят, которых клали просушивать на крыльцо громадного дома, принадлежавшего фон дер-Говену и построенного во время проезда покойного Государя Николая Павловича (в Соколке или Кобрине, не помню). Дети эти, которых мы делали в натуральную величину и которые обыкновенно клались вверх животом с раскинутыми ногами и руками, часто пугали бабушку, особенно когда вечером, желая подышать свежим воздухом, она нечаянно наталкивалась на них. «Ох, эти пострелята, накликают они беды!» — говаривала она обыкновенно. Что значило слово *пострелята*, мне и до сих пор неизвестно, а также и то, о какой беде тут шла речь!

Вопрос о том, что я за штука и каким образом явился на свет Божий, меня стал занимать лет с шести. На все мои вопросы мне рассказывали, что меня нашли в лесу, в корзинке, подвешенной на сучке. Тогда я глубоко верил этому.

Лет шести я влюбился, и в кого же — в запачканную и вечно вшивую жидовку моих же лет! Звали ее Сарой. Я не могу отдать себе ясный отчет в том чувстве, которое она во мне возбуждала; но потребность видеть ее, радость при встрече и какое-то непо-

нятное ощущение довольства сопровождали наши встречи. Скоро она умерла от холеры. Мне сказали, что я ее не увижу больше; но самой смерти я тогда еще не понимал, а потому и не очень огорчился потерей.

К этому же времени относится и моя история *со сливкой*. Для ясности рассказа я должен заметить, что в детстве был ужасный лакомка. Однажды моя мать делала из слив какое-то варенье, причем одна из слив пригорела и была ввергнута в горшок, наполненный нечистотами... Улучив минуту, когда мать вышла, я взял, вынул сливку из горшка, обтер рубашкой и съел ее. Дурного я в том не видел. Но о событии этом сейчас же все узнали, так как мама, возвратясь в комнату, увидела на моих губах следы пригоревшей сливы. Помню, как горько и неутешно плакал я, когда все стали смеяться надо мною! Долго еще потом, когда я ленился или шалил, мне напоминали роковую *сливку*.

К этому же периоду относится и событие *с подушкой*. Однажды, когда меня заперли в наказание одного в спальне, я от нечего делать занялся тем, что распорол подушку и стал горстями выпускать из нее пух, который летал по комнате и скоро наполнил всю комнату, точно дым. Не помню, кто вошел тогда в комнату (кажется, мама), но тот, кто вошел, не мог объяснить себе сначала, что происходило в комнате, потому что свету Божьего, как говорится, было не видно. Помню горячие шлепки по этому поводу, полученные от мамы.

Я был всегда любимцем офицеров — товарищей моего отца по артиллерии, которые часто брали меня с собой кататься верхом, причем садили впереди себя на седло и давали править поводьями. Мой отец был тогда молодым артиллерийским офицером, и у нас бывало всегда военное общество.

Не помню, знал ли я кого-нибудь в то время из своей родни, кроме Герардов¹ и семейства тети Ган². Меня свезли раз на покат к Елене Петровне Герард, которая жила в имении Демьянках, и теперь еще существующем, у Николая Николаевича Герарда. Помню красивую, опрятную старушку, приласкавшую меня, и ее подарок — коробочку, доверху насыпанную сере-

¹ *Герарды* — семья Николая Ивановича Герарда и Елены Петровны (урожд. Пирамидовой). Один из их сыновей, Николай — впоследствии видный государственный деятель, член Государственного совета, сенатор, действительный тайный советник; другой сын, Владимир — один из самых известных русских адвокатов.

² *Ган Зинаида Ивановна* (урожд. Жиркевич), дочь Ивана Степановича Жиркевича.

бром; помню, как я плакал, когда эта коробочка была взята у меня, а взамен ее у меня явилась новая пара платья.

У Герардов же со мной случилась маленькая неприятность. Так как нам отвели помещение во флигеле, а я боялся там оставаться один, то добрая Елена Петровна уговорила мою мать уложить меня около теплой печки на медвежий мех, недалеко от стола, за которым играла в карты мама. Пригрело ли меня слишком или просто я устал, но, заснувши, я пустил, как выражалась бабушка, *чуру* под самый стол, где сидели играющие. Мама ужасно переконфузилась, а меня с торжеством отнесла во флигель дворовая девка, причем я *орал благим матом* и брыкался ногами. Эта девка потом рассказывала маме, что я все *этак рачком, рачком*.

С Зинаидой Ивановной Ган и ее семьей мне пришлось прожить около года в Полоцке, где ее больной муж был воспитателем в кадетском корпусе. Из воспоминаний об этом времени у меня сохранилось кое-что, но очень мало. Как воспоминание, у меня осталось на всю жизнь отвращение к салату со сметаной. Покойный Ган его ел отвратительно, жадно, причем в тарелку с усов его этот салат падал обратно; к тому же меня раз заставляли есть этот салат насильно.

Со своими двоюродными братьями я сжился хорошо, хотя осталось до сих пор неприятное чувство, чувство обиды, которое явилось вследствие того, что они очень часто, даже и в играх, намекали, что мы с братом жили в их доме и потому были им обязаны. К тому же времени относится смерть несчастного Гана, который должен был ради покоя отправиться из дома в военный госпиталь, где и скончался почти скоропостижно, проговорив в бреду: «Володя, не шали!» Эта фраза, которую при мне рассказывали, врезалась мне в память, так как я и теперь помню, как, бывало, дразнили мои двоюродные братья и сестра своего больного отца, отравляя ему жизнь. Дело в том, что в своем доме он значил нуль и всеми заправляла его жена, моя тетка. Помню, как после его смерти в доме царил настоящий ад в продолжении нескольких недель. Тетка, женщина раздражительная, не церемонилась на колкости, и мы скоро прекратили свое пребывание у нее...

О Полоцке у меня сохранились кой-какие воспоминания. Там я познакомился со многими кадетами, которые меня очень любили. Помню одного из них, очень высокого и рябого, которого я очень любил. У него была ручная мышь, с которою он

выходил всюду. Там же я познакомился с кадетом, который в чем-то провинился, и его должны были высечь; он меня уверял, что когда секут, то это вовсе не больно, «если взять и закусить руку». Мои двоюродные братья очень любили играть в солдаты. Нас, мальчиков, на плацу пред корпусом собиралось очень много, и мы все, под барабан, маршировали с палками в руках вместо ружей, причем я редко участвовал в маршировке, так как никогда не соглашался быть подчиненным, а все хотел сам командовать. У нас был общий враг, парень лет 20, сын какого-то учителя, с которым мы всегда вели самую свирепую войну. В массе мы его обращали в бегство, но на единоборстве ему не было равного между нами. Даже Леша Ган, самый старший из нас, пасовал перед ним.

На лето кадет увозили в лагерь за несколько верст от Полоцка, куда мы с мамой часто ходили пешком в виде загородной прогулки. Помню, как однажды, во время одной из таких прогулок, мы наткнулись на стадо, в котором была бешеная корова, едва не раздавившая меня и брата рогами. Только пастух спас нас.

Помню еще одно событие. Мой двоюродный брат Леша Ган очень любил есть яйца вкрутую; причем белок не ел, а всегда тщательно очищал желток и съедал его. Однажды за ужином он только что очистил желток, как его услали за чем-то из-за стола. Пока он ходил, его мать, занятая разговором, машинально съела его желток. Вернувшись назад и не найдя лакомого кусочка, он стал приставать к Зинаиде Ивановне: «А где мой желточек, где мой желточек?» Он приставал до тех пор, пока рассерженная мать, которой он мешал разговаривать, взяла его за одну руку, а другой рукою дала несколько горячих шлепков по мягким частям тела, приговаривая: «А вот твой желточек, а вот твой желточек...»

В Полоцке в то время был один слепой нищий, который навел белками своих слепых глаз на меня ужас. Тем не менее я часто подшучивал над ним, кладя ему в руку вместо денег окурки папирос, за что и был пребольно выдран за ухо отцом, который подсмотрел эти проделки.

В Полоцке же, впрочем, уже когда мне было около десяти лет, я влюбился в одну девочку, Верочку Жукову, и влюбился не на шутку. Скоро после этого казуса я захворал тифом, после которого с трудом поправлялся. Когда я встал на ноги, то мне кто-то пресерьезно рассказал, что Верочка за время моей болезни

мне изменила и полюбила одного кадета. Я стал ее ревновать и, как теперь помню, на каких-то крестинах, при всех гостях, стал обвинять ее в измене. Бедная девочка со слезами на глазах не знала, куда деться от моих упреков. Чувство ревности и обиды долго жило во мне. Помню, как отец этой девочки, капитан Жуков, назвал в шутку одного знакомого мамы полковника Маевского *ноздрей со шпорой*, причем нарисовал на самом деле *ноздрю со шпорой*. Мне тогда эта довольно плохая шутка показалась очень удачной. В это же время, помню, мне был сделан подарок: глиняный коник, *что в срачку дуют*, как пояснил мне наш денщик, незабвенный Давид Корнейч, о котором поговорю в другом месте.

Вообще игрушками мы с братом избалованы не были.

Помню еще похороны моей маленькой сестры Верочки, которая умерла в Рогачеве и похоронена в сосновом лесу, где расположено русское кладбище. Самая смерть как факт небытия не смущала меня. Напротив, как и всякого ребенка, меня радовала новость. А новостей по случаю смерти сестренки было много. Меня одели в чистое платье, дали свечку в руки, заставили кланяться и креститься. А присутствующих так много, и все со свечами, и все так же, как и я, кланяются и крестятся!.. Верочка лежит такая нарядная!! Только когда я взглянул на мать, то заревел *благим матом*, как выразилась тогда бабушка, так как увидел, что мать плакала навзрыд.

Бабушку свою я начинаю помнить с самых ранних лет. Ее приезд очень живо рисуется в моем воображении. Еще накануне мне сказали, что бабушка придет. Поэтому я набрал к ее приезду букет полевых цветов и поставил его на стол в комнате, для нее предназначенной. Вечером, не дождавшись бабушки, я уснул. Помню хорошо, меня тогда интересовал вопрос, что такое моя *бабушка*? Меня разбудила нежным поцелуем сама бабушка, которая была еще очень моложава на вид. Последнее обстоятельство сильно огорчило меня, так как о всех бабушках я составил себе понятие, как о старушках в чепцах и очках. По этой причине, да еще оттого что меня потревожили во сне, я раскапризничался, разревелся и стал сквозь слезы утверждать, что это *бабушка неформенная*, чем и вызвал общий смех. Бабушка привезла мне гостинцев — каких-то пряников, которые трудно было укусить, так они были тверды. С бабушкой я скоро сошелся, так как никто не баловал меня так, как она. Всякие сласти, игрушки, пирожки — все это законным и незаконным

путем попадало мне в руки. Сказки рассказывать она была мастерица; но больше любила рассказывать о жизни разных святых, причем показывала и картинки, обыкновенно прикладываемые к подобным изделиям бойкого пера московских писателей-самоучек под фирмою Манухин и К°. Особенно меня интересовала история Иосифа Прекрасного и именно потому, что я чувствовал, что бабушка в ней не все рассказывала. Бабушка была мастерица и гадать, а потому я сделался скоро ее тайным адептом.

Я забыл упомянуть, что, живя в Полоцке, мы часто с мамою отправлялись в женский монастырь. В этот монастырь поступила, по случаю несчастной любви, одна светская и очень образованная девушка Любочка Маевская, подруга по пансиону моей матери. Помню, как однажды, после ее пострижения, мы отправились все в монастырь навестить Любочку, как ее звали знакомые. На просьбу увидеть Маевскую маме сказали, что Маевская уже умерла для света, а есть только сестра Анна. В ожидании же ее мы прошли в монастырский сад. Наконец пришла и Любочка. Ее вид испугал меня, так как она была вся в черном и, увидя маму, стала просить и умолять со слезами на глазах не приходиться к ней более и не смущать светскими и суетными речами ее душевный покой. Мама расплакалась, и я, так как не мог видеть плачущей матери без слез, тоже заревел во все горло, так что концерт вышел ужасный. Мама больше меня не брала с собою в монастырь.

Помню также, как в Полоцке же мы отправились в какой-то закрытый униатский мужской монастырь, в склепе которого лежали хорошо сохранившиеся тела каких-то монахов; помню, как мама спускалась туда их смотреть и как безутешно рыдал я, оставшись один наверху, думая, что я уже больше ее не увижу.

Как только начинаю помнить себя, то всегда вижу себя окруженным разными собаками и кошками, из которых всегда у меня были любимцы. Любовь к животным доходила у меня до того, что, когда раз мама хотела выбросить за окно мою любимую серую кошечку, то со мной едва не случился удар, и в эту минуту я ненавидел всех людей без исключения. У меня была любимая собака Белка, старая и слепая, из пуделей, которую держали в память ее прежних заслуг и верности. Меня, бывало, сажали на нее верхом, и я торжественно разъезжал по комнате. Как, бывало, я ни теребил старого пуделя, как ни тягал его за уши, он все терпел и никогда не укусил ни меня, ни брата.

Мы с братом любили часто возиться с кошками и собаками. Для кошек мы устраивали из платья и шуб уютные разные пещеры, куда их и усаживали. Однажды мы с братом играли на ковре, и у него в руках была кошка; а я в это время лежал на спине, лицом кверху. Брат, недолго думая, поднял кошку над моей головой и выпустил ее из рук. Кошка, инстинктивно стараясь уцепиться за что-нибудь, вцепилась мне в лицо и едва не выцарапала глаз.

Я очень поздно перестал играть в куклы. Причиной этому был мой болезненный рост, который постоянно отдавал меня в руки женщин и совсем было обабил меня. Лет двенадцати я шил куклы и сам выкраивал им разные платья. Подарок в виде какого-нибудь шелкового лоскутка был для меня в то время самым интересным и дорогим.

Отличительной чертой, которая всегда верно указывала время наступления моей болезни в детстве, было враждебное отношение, и к кому же? — к бабушке, которая для меня была готова отдать свою жизнь. Когда я бывал болен, бабушка изгонялась из моей комнаты. Для нее я всегда лежал с закрытыми глазами и не отвечал на ее вопросы, чем очень мучил бедную старуху. Такие враждебные отношения, вероятно, родились вследствие того, что бабушка всегда надо мною ахала, охала и причитала, что при моей нервной раздражительности приводило меня в злость. Если бабушке приходилось оставаться со мною и давать лекарства, то это было для нее настоящим мучением. Начинался обыкновенно торг за каждую ложку микстуры. Мною назначалась цена, за которую я готов был согласиться на прием, и я не спускал с этой цены ни копейки. Особенно дорого я запрашивал всегда за касторку, которую ненавидел и цена за которую доходила до 20 коп. за ложку. Обыкновенно я ставил вопрос о приеме лекарства прямо и без всяких околичностей: «Цена такая-то; иначе не приму!» — и бабушка давала мне все, что я хотел, тем более, что доктора запретили меня тревожить. Я вообще очень часто хворал и очень серьезными болезнями, так что несколько раз за мою жизнь отчаивались. Для матери мои болезни обходились дороже всего. Целые ночи напролет просиживала она у моего изголовья, не раздеваясь и не смыкая глаз. Бывало, ночью, чуть пошевельнешься, и уже встревоженный взгляд мамы встречается с моим взглядом. Во время таких болезней я обыкновенно грабил бабушку безмилосердно. Как теперь помню, у нее было дорогое старинного покроя голу-

бое шелковое платье. Я захворал воспалением легких и, когда стал выздоравливать, почему-то захотел для своей куклы на платье получить рукав от заветного платья бабушки. Без этого рукава она не смела и на глаза мне показаться. И что же? В конце концов бабушка отдала мне этот рукав, испортив все платье.

Иногда мне приходили дикие фантазии, вроде того, чтобы бабушка танцевала передо мной и т.п., и бабушка — женщина уже пожилых лет — исполняла все мои глупые требования и просьбы. Особенно трудно было успокаивать меня, когда доктора предписывали диету, и самую строгую, как, например, это было сделано, когда я стал поправляться после тифозной горячки. В такие дни я, насколько припоминаю, был невыносимо капризен. Каждый час я требовал пищи со слезами, так что мама обыкновенно в такие минуты уходила и не показывалась мне на глаза, чтобы не сердить отказом.

Но не к одной бабушке чувствовал я антипатию во время болезни, я чувствовал ее также и к моему отцу, хотя и в меньшей степени. От вопросов отца я обыкновенно отмалчивался, не желая сердить его грубыми выходками; но он сам чувствовал, что меня сердит его присутствие, и подходил ко мне очень редко. Помню одного доктора, кажется, Уверского, который называл меня *гусь лапчатый*.

30 октября

Целую неделю не брался я за заметки, но не по лености, а потому что занят был другим, а именно начал писать воспоминания о моих охотничьих приключениях, которые и хочу отослать в редакцию журнала «Природа и охота». За эту неделю было много разных мелких событий. Капитан Куш сдал роту поручику Д. Сдача роты выказала весь жидовский алчный характер Куша. Он на каждом шагу делал загвоздки и старался оттянуть деньги. Не стану описывать всех мерзостей... Скажу только, что он и меня при расчете обобрал кругом. Впрочем, разве первый раз я наказан за слишком честное и прямое отношение к делу? Грустное сознание!

Я за эти дни ближе познакомился с ксендзом, моим соседом. Он очень неглупый человек; хотя мы друг друга и плохо понимаем (он плохо говорит по-русски, а я не говорю по-польски); но мы проболтали с ним несколько раз очень долго. Что такое

он за штука, после первого разговора сказать не могу. Он очень жаловался в последнее свидание на упадок уважения к церкви и ее служителю, ксендзу; приводил примеры. Вообще вечер с ним я провел очень хорошо и с удовольствием, так как узнал много интересного из местного быта крестьян и панов.

От Горбунева, хотя он сам и уехал, я получаю газеты. В них нового ничего нет, если не считать перемен в Министерстве Финансов... Во Франции идет комедия — изгнание монахов из монастырей. Многие дома приходится брать силою, взламывать двери, и это где же? — во Франции, где в квартиру каждого частного лица даже полиция не всегда имеет право входить?! Народ, конечно, сочувствует монахам и, видя, как обращаются с ними, смотрит на них как на мучеников. Один монастырь окружен войском, и решено выкурить оттуда монахов голодом; те запаслись продуктами и решились, в свою очередь, выдержать осаду. Законопроект Ферри едва ли принесет желаемую пользу молодой Франции!

Продолжу свои воспоминания.

Пропустив кое-что из моего детства, перехожу к юношеству, которое буду считать с поступления в реальное училище (тогда еще гимназию). Мне было 13–14 лет (если не ошибаюсь; странный факт: из всего прошлого я помню сущность событий и забываю их фактическую сторону, т.е. цифры и собственные имена), когда меня решили отдать в реальную гимназию. Готовила меня сначала мама, и только месяца за два был нанят уездный учитель, который дал мне, так сказать, последний удар кисти. В августе месяце я в красной шелковой рубашке и бархатных шароварах, в высоких сапогах явился перед ареопагом и, перво-наперво, едва не разревелся. Чужие люди, чужие лица испугали меня.

Как бы то ни было, но я поступил во 2-й, а брат в 1-й класс. Еще до поступления в училище нас пугали учителем русского языка Шолковичем¹, говоря, что он любит резать на экзамене. Но мама, еще до подачи о нас прошения, обратилась к нему как русская к учителю русскому за советами, и мы сейчас же по выдержании экзамена познакомились не только с ним, но и с семейством г-жи Плаксиной, у которой он жил на квартире. Как

¹ *Шолкович Семен Вуколович* (1840–1886) — впоследствии заслуженный преподаватель Виленского реального училища, член виленской археологической комиссии, автор ряда монографий.

теперь помню, маленький Вася Плаксин подарил мне, уже большому мальчику, деревянного мужика. Пока мы сидели у г-жи Плаксиной, пришел Шолкович, принес с собою конфеток и, усадив нас с братом около себя, стал угощать, чем и рассеял наш страх. Через несколько дней начались уроки. Помню один эпизод из жизни брата. Шолкович в классе задал списать пять строчек всему классу; брат мой не расслышал и вместо пяти строк списал пять печатных страниц, на что убил около двух дней. Такой геройский поступок брата приобрел, как теперь помню, ему уважение товарищей.

Не помню, какое впечатление произвел на меня класс, когда меня ввели туда! Помню только одно столкновение и первую горькую обиду, которая, быть может, дурно повлияла и на все остальное пребывание мое в училище. У нас был надзиратель Носакин (умерший в том же году от холеры), личность высокого роста, чахоточная и холодно-серьезная. Никто не видел улыбки на его лице. Вот он-то, не найдя меня после звонка на месте, захотел наказать меня. В ту пору еще существовали в реальной гимназии постановка на колени, тягание за уши, за волосы и тому подобное. Носакин и вздумал поставить меня на колени. Гордость вдруг заговорила во мне. На все его требования подчиниться наказанию я хладнокровно отвечал: «Никогда». Он два раза уходил из класса и, возвращаясь, спрашивал: «Решились ли Вы встать на колена?» Наконец мне было объявлено, что в случае дальнейшего упрямства меня исключат из заведения. Тогда только, да и то по наущению учеников, я со слезами злобы и унижения встал на колени. Теперь Носакин давно уже сгнил, а ненависть к нему еще живет в моей памяти. Он первый разрушил дорогой для меня мир, полный благородных и гордых помыслов и столь далекий от всего несправедливого и унижительного; он первый заставил меня потерять стыд, так что после этого раза я частенько прехладнокровно стоял на коленях и впоследствии даже не находил это унижительным и обидным. Когда хоронили Носакина (а он умер перед самыми каникулами), я не пошел на похороны и даже не был у него на квартире, как это делали все ученики: я его боялся и ненавидел даже мертвого!

Познакомившись таким образом с первых дней с одним из надзирателей, я не преминул несколько иным способом познакомиться и с другим. Этот другой был весьма темная личность, старикашка с жидкими седыми бакенбардами, которые он в ми-

нуты злости (а злился он часто) теребил, — некто татарин Кречинский¹, автор какого-то словаря для Северо-Западного края. Этот Кречинский, вечно пьяненький и вечно ворчащий, впоследствии женился на своей кухарке, вышел из училища и, как рассказывали потом, написал донос на все начальство, начиная с попечителя; совершив это благое дело и заживив из училищной библиотеки несколько десятков книг, Кречинский поступил в полицию, затем бросил эту службу, и в настоящее время его можно постоянно видеть в Вильне, облеченного зимой в волчью шубу и с бакенбардами столь же жидкими, как и прежде. Он, говорят, ездит осматривать разные древности, но говорят также и другое... Так вот с ним-то я познакомился по следующему случаю. Между учениками существовал обычай, окрещенный кличкой: *давить сыру*. Этот варварский обычай состоял в том, что новичка прижимали в угол, и затем весь класс наваливался на него и, как выражались знатоки этого дела, «выжимали сыр». Эта пытка постигла и меня, так как я был такой же простой смертный, как и другие, и у меня не было протектора в стенах заведения. *Сыру* мне задали в шинельной (наша гимназия помещалась в одном здании с классической), и пытка была в разгаре, когда вдруг появились чьи-то две руки и сразу схватили за волосы несколько скучившихся голов. Попавшиеся, в том числе ни в чем не виноватый я, купно и были водружены на колени... Так познакомился я с Кречинским. Впоследствии я с лихвою отомстил ему; но об этом будет еще речь впереди.

Скажу несколько слов о товарищах. Всех их я, конечно, не помню. Но мучителей своих помню. Из них особенно жестокостью отличались Белявский, Никольский и некоторые другие. Весь класс разделялся по силе на сильных и слабых; я принадлежал к последним. Читая «Очерки бурсы» Помяловского, я недавно подумал, можно ли поверить, если сказать, что нечто подобное существовало в то время, когда я еще учился (шесть-семь лет тому назад) в стенах реальных училищ?! Возьму на поддержку некоторые факты. Сильные иногда придумывали пытки для слабых. Времени было достаточно, так как многие учителя почти совсем не приходили в класс, и потому в свободные уроки происходили самые возмутительные грязные насилия над беззащитными детьми. Сильные обыкновенно принадлежали к возрасту, оделенному уже бородой и усами, а слабые были или

¹ *Кречинский Иван Лукьянович.*

еще совсем дети, или больные. «*Дадим на кожу* такому-то», — кричала обыкновенно зверски необразованная толпа *старичков* или *камчадалов*, как их метко называли по той причине, что они обыкновенно восседали на задних скамейках, называемых Камчаткою, и зимовали там, т.е. оставались на второй год. Решивши *дать кому-нибудь на кожу*, герои бросались на жертву, раскладывали ее на столе или скамейке, и начиналось избиение: били ремнями, ладонями, линейками, а чаще всего кулаками, бил всякий, кто хотел, и обыкновенно били до тех пор, пока не надоедало бить. Крик жертвы заглушался: какая-нибудь грязная и вонючая рука опускалась на рот, и *избиение младенцев* продолжалось!.. Когда однажды дошла очередь и до меня, я прокусил одному из мучителей руку и пошел жаловаться. Начальство сделало допрос, и все отперлись мне в глаза и не были наказаны. «*Доносчик, ябеда, плакса, баба!*» — посыпались на меня крики *камчадалов*, и только что вышло начальство, как начались щипки, и я еще раз *для памяти* был избит!

Первый раз, и то в этих записках, решаюсь я написать о том, что приходилось мне тогда выстрадать. Я никому не рассказывал о своих пытках, настолько самый процесс их был для меня унизителен и гадок!.. Даже мать моя и брат, мои лучшие друзья, не знали об этом. Пусть не подумают, что я преувеличиваю факты. Кто учился тогда в Виленском реальном училище, тот хорошо помнит все это, так как это было не частное, а общее явление. В учебных заведениях г. Вильны существовал также грязный обряд *освидетельствования*. С жертвы снимали платье... Но я лучше умолчу обо всем цинизме взрослых недорослей, который практиковался над детьми. Недаром я так скоро развратился, не понимая еще даже, что такое значит слово *разврат*. Грязные и сальные рассказы, которых не услышишь среди солдат, были обыкновенными развлечениями этих *последних из могикан*. Разные похабные клички, даваемые друг другу, одни могли вконец развратить и не ребенка. Были «дылды» в первом классе, которые имели по 21 году (Шпановский), и вы представляете себе, сколько зла приносили эти развращенные до мозга костей недоросли еще невинным детям!

И вот эти-то милые создания забрали, с первых же школьных шагов моих, меня в свои руки. Я сейчас же выучился глотать нитку и вытягивать ее через нос и т.п. прелестям.

На последних скамьях, в *Камчатке*, во время уроков обыкновенно шла азартная игра в карты и *в перья*. Последняя игра,

еще, может быть, неизвестная просвещенному миру, состояла в том, что, нажимая пером на перо противника, поставленное выпуклостью кверху, старались опрокинуть его, и если это удавалось, то его забирали как выигрыш.

Из изломанных перьев я скоро научился устраивать фортепиано. А именно: отломанные их кончики вставлялись или скорее втыкались в дерево и подбирались по тону. Затем артисту стоило только пальцем отгибать быстро эти кончики, и получались довольно приятные звуки, развлекавшие публику во время скучных уроков. Подобные концерты обыкновенно давались учителю немецкого языка Рейнфельду¹. Удобство самодельного инструмента заключалось в том, что его можно было очень легко и быстро уничтожить и таким образом скрыть следы преступления. Только что, бывало, немец успокоится после напрасных поисков неизвестного композитора, как в другом углу уже невидимые из-под скамейки руки начинают издавать разные жалобные тоны. Опять следствие, и опять музыка. Вообще этот род занятий был очень интересен, хотя и сопряжен с опасностями, так как поучительный пример фактически говорил, что один пойманный артист был безжалостно исключен.

Но что было доведено до совершенства, так это система *контрабанд*, т.е. тайных подбрасываний решений задач, сочинений и т.п. *Контрабанды* сыпались отовсюду. То являлись они в виде шарика, пущенного в открытые двери класса из коридора, где кто-нибудь из старшего класса подслушивал заданную тему и, решив, посылал решение таким способом; то *контрабанда* таинственно облетала класс, переходя из рук в руки; то передавалась в книге, в пустой ручке пера. Один даже придумал такой способ: сидя на задней скамейке, он пожелал получить *контрабанду* с передней. Для этого он перед экзаменом протянул по полу под скамейками нитку от передней скамьи к своей. Решенная задача благополучно дошла к нему, когда он смотал всю протянутую нитку. Напрасно на экзаменах начальство принимало самые строгие меры к тому, чтобы уничтожить даже возможность подобной помощи; одно время за каждым учеником, попросившимся в нужник, посылался надзиратель. Достойное назначение надзирателя! Во время письменных занятий *контрабанды* летали, как птицы, и к концу урока у учителя, следившего за классом, набиралась их довольно порядочная кучка.

¹ Рейнфельд Дионисий Иванович.

Учитель немецкого языка Рейнфельд, которого мы звали *го-роховой колбасой* и которому преимущественно задавались концерты на перьях, был толстый немец, вечно охавший и сто-навший, вечно жирный и вечно наливавшийся пивом. Он знал русский язык очень скверно, и ни он нас, ни мы его объяснений очень часто не понимали. Помню, первая отметка, которую я получил в училище, была отметка четыре по немецкому (система баллов была пятибалльная). Помню, как горько я заплакал и как смеялся надо мною немец и весь класс, когда узнали, что я плачу оттого, что не получил пять! Следующая отметка по немецкому была единица «84-й пробы», как выражался у нас преподаватель русского языка Шолкович, единственно порядочный из первых моих учителей, если не считать инспектора классов Лялина¹ (он же преподаватель истории и географии). Рейнфельд за незнание уроков наказывал довольно оригинальным способом: он обыкновенно виновного посылал за громадную печку, стоявшую в классе, куда тот и должен был исчезать. Меня Рейнфельд не любил и, входя в класс, даже еще не сядясь, спрашивал грозно: «А где ваше место, mein Herr?!», — и я спешил удаляться за печку. Иногда туда ссылались два и даже три человека. О, тогда там было очень весело! Стоя за печкой, я обыкновенно начинал дразнить Рейнфельда, высовывая из-за нее время от времени свою голову. Он сердился и протестовал, на что я ему обыкновенно говорил, что «у меня, Дионисий Иванович, от жара голова болит». — «Ви ужасный ребенок, о Боше мой, Боше мой! Моя голофа трещит! О, ви гадкий мальшик! Я вас записываю в журнал», — и я записывался, но тужил об этом мало.

Вообще я должен сознаться, что во все пребывание в реальном училище, особенно в низших классах, я был ужасный лентяй. Влияние товарищей, отсутствие доброго совета, болезненность — все это сделало из меня упрямого и ленивого ученика. Характер мой быстро испортился. Из честного, откровенного, чистого душою и телом ребенка я стал скрытным, способным на всякую пакость. Не было шалости, злой и вредной, на которую бы меня не могли подбить. Я вечно находился под чьим-нибудь влиянием, и по несчастью это влияние было всегда тлетворно. Я в душе сделался очень подленьким. Силу и кулак я уважал как догматы, против которых нельзя было спорить. Пе-

¹ Лялин Владимир Александрович.

ред *камчадалами* я унижался, ненавидя их в душе, только из боязни их побоев и насмешек, даже заискивая перед ними.

Одно время я даже прослыл за шута между товарищами. «Сыграй, как на скрипке», — говорили мне, и я начинал паясничать, выводя тонким голосом разные ноты, как бы подражая скрипке. Не знаю, что вышло бы из меня, если бы судьба не поспешила избавить меня от влияния милых товарищей.

К этому же времени относится и эпизод *с копеечкой*. Я его расскажу, как нечто оригинальное и поучительное. В гимназию к нам ходил какой-то старик, как мы его называли за его горб — *Горбун*, и носил пирожное. Конечно, все гроши наши текли к нему в карманы. Однажды я получил от него сдачи копейку и, желая пофорсить перед товарищами, выбросил ее через окно на дворцовую площадь. Через несколько дней, желая что-то купить, я увидел, что у меня недостает ровно одной копейки. Тогда я пошел на площадь и часа два искал ту самую копейку, которую так глупо бросил. Этот эпизод мне памятен, потому что из него я вывел, первый раз в жизни самостоятельно, поучительное нравоучение. Конечно, копейки я не нашел...

Но буду продолжать характеристики. Друг и приятель Рейнфельда был швейцарец Маврикий Осипович Питон, про прошлое которого ходили темные слухи. Приехав нищим в Россию, он в то время, когда я его знал, имел уже солидный капитал, купил себе дом и содержал, да и в настоящее время содержит, ученическую квартиру, с которой получает хорошие доходы. Питон обладал колоссальным животом и ростом выше среднего и, как все толстяки, был очень добр, а как все французы — вспыльчив. По-русски он говорил убийственно. Когда он начинал сердиться, то употреблял такие фразы — «И то́ я не шучу, и то́ я не смеюсь», «И то́ ступайте на колідор!.. Булван». Последняя же война России с Турцией отразилась на его брани: так им прибавлен эпитет «башибазук». Он меня очень любил за то, что я с ним всегда говорил по-французски и вообще занимался его предметом с удовольствием. Он любил рассказывать в классе анекдоты, и его любимейшим анекдотом был анекдот о Диогене и Александре Македонском; причем он в конце рассказа всегда сам начинал хохотать, и мы ему вторили (только он никогда не мог понять, что смеются не над его анекдотом, а над ним самим). Он имел обычай диктовать некоторые грамматические правила, причем, конечно, диктовал их ломаным русским языком. Мы их так буквально и записывали, не понимая напо-

ловину, заучивали и весьма серьезно отвечали ему. Только помню, как однажды, когда один ученик, в совершенстве изучивший речь Питона, нарочно употребил с серьезным видом его буквальное выражение, весь класс «прыснул» со смеху. Но мы долго не могли забыть последствий этой шутки, так рассердился и стал выгонять из класса всех месяе Питон. Обыкновенно на его урок приносились на весь класс две-три книги «Margo»¹. Заметив это, Питон вооружался пером и начинал, хоть для примера, такой маневр: заметив, что ни у меня, ни у соседей нет книг, он вдруг обращался ко мне: «Continuez donc, Alexandre»² (он меня так называл всегда). Я направляюсь по скамейкам искать книгу. «Et où est donc votre livre?» — «Je l'oubliais à la maison». — «Bien, asseyez-vous, et vous voilà un grand Zéros!»³ Слово «Zéros» Питон необыкновенно тянул. «И вот ваш яйцо на Пасху... И кол». Но мы не боялись его нулей и единиц, так как он в конце четверти вооружался перочинным ножичком и с его помощью очень ловко единицы превращались в четверки, а нули в пятерки... Журнал его обыкновенно сквозил в нескольких местах и отличался изобилием «клякс», «жидов», как у нас называли. Любимым его наказанием было выгонять на коридор. Бывало, зазеваешься... «Allez-vous en»⁴, — гремит Маврикий Осипович. «Mais, Monsieur, je ne fais rien». — «Allez-vous en». — «Mais...»⁵ Затем следовало шумное изгнание.

Когда летнее солнце начинало, бывало, пригревать, Маврикий Осипович, заставивши кого-нибудь читать вслух, любил вздремнуть на стуле. Бывало, подставит солнцу живот, сложит на нем руки и дремлет при гробовом молчании в классе или при ленивом и безобразном чтении ученика. Глаза его слипаются, голова опускается, опускается на журнал, еще миг, и он клюнул бы носом, но тут он просыпается, и затем опять борьба. Я очень любил наблюдать за этою борьбою со сном, и так как на французском языке я сидел всегда на первой скамейке, то и проделывал с засыпающим Питоном такую штуку. Бывало, только что он задремлет, и даже уже храп раздается, как я вдруг шаркал ногою или стучал, конечно, делая это незаметно и с самым невин-

¹ Учебник французского языка Д. Марго.

² «Продолжайте, Александр» (*фр.*).

³ «И где же ваша книга?» — «Я забыл ее дома». — «Что ж, садитесь, в таком случае вы большое ничтожество!» (*фр.*)

⁴ «Подите вон» (*фр.*).

⁵ «Но, сударь, я же ничего не делаю». — «Подите вон». — «Но...» (*фр.*).

ным видом. Испуганный Питон, проснувшись, дико озирается кругом или едва не слетает со стула; а этого только всем и было нужно. Он ужасно любил чесать пальцами в голове, причем это ему доставляло такое удовольствие, что он скашивал глаза к переносице и был в это время, как мы говорили, похож на чешущуюся свинью (в чем было сходство, не упомяну). Голова его с седыми волосами в минуты гнева очень походила на львиную и была, несмотря на полноту щек, очень красива и характерна. Мы его все любили.

С Рейнфельдом Питон жил дружно, в том смысле, что оба они очень любили наслаждаться пивом в буфете «Бавария». Однажды, оба пьяные, они вернулись на квартиру Питона, и ученики рассказывали про такую сцену. Будто на полу лежат Питон и Рейнфельд, обнявшись. Первый говорит: «И ты друг, и я друг, и мы оба друзья», — а второй продолжает: «И ты скот, и я скот, и мы оба скоты»...

Как теперь припоминаю, Рейнфельд долго возился с нами по поводу глагола «sein»¹. «Как будет Präsens² этого глагола?» — спрашивает он. Не знаю и молчу. Наконец кто-нибудь подсказывает торопливым шепотом: «ich bin, du bist, er ist und so weiter»³. «So, — продолжает Рейнфельд, — господин такой-то, спрягайте так: ich bin дубина, du bist дубина, er ist⁴ дубина». С каким, бывало, наслаждением повторяешь в этом виде за ним спряжение, чтобы только произнести с особенным ударением и смотря прямо ему в глаза: «du bist⁵ дубина», чем приводился в восторг весь класс, а он не мог и придаться к слову, и только зло и сконфуженно усмехался. Каждое свое объяснение Рейнфельд начинал словом «also»⁶. У Рейнфельда все было основано на зубрене, и многие фразы его переводов я и теперь помню.

Однажды один из героев-камчадалов, Никольский, проделал с Рейнфельдом такую шутку. Он умел отлично подражать голосам разных животных и, как довольно искусный чревовещатель, мог приближать и удалять звуки. Однажды во время урока немецкого языка, когда даже игра на перьях не могла взбесить Рейнфельда, вдруг у запертых дверей класса раздается лай

¹ быть (нем.).

² настоящее время (нем.).

³ «я ем, ты есть, он есть и т.д.» (нем.).

⁴ «Так... я емь... ты есть... он есть...» (нем.).

⁵ «ты есть...» (нем.).

⁶ «итак» (нем.).

маленькой собачки. Конечно, весь класс покатился со смеху, вскочил со своих мест и поднял восторженный гвалт. Взбешенный Рейнфельд вскакивает и бежит к дверям, а за ними ничего не оказывается. Только что он сел и успокоился, как лай возобновляется с новой силой... Опять та же история и т.д. с вариациями. Помню, что тогда выходка Никольского показалась мне лихим удовольствием; я завидовал его талантам. Был у нас также учитель рисования, художник, академик Иван Петрович Трутнев¹. Он и теперь преподает в Виленском реальном училище и заведует вместе с тем рисовальной школой. Случай лишил его левого глаза, и он потому всегда носил темные очки, так что не сразу можно было заметить, что он кривой. Иван Петрович слыл между нами как за самого отчаянного обрывателя наших ушей; и, сказать правду, никто так больно не драл их, как Иван Петрович Трутнев, или, как у нас его называли, *Трутень*. Впрочем, с моей легкой руки его скоро прозвали *Циклопом*. Прозвали вот по какой причине. Во владении у Ивана Петровича был громадный рисовальный класс, куда на уроки рисования и впускались ученики. Однажды я увидел, как Иван Петрович, приотворив двери в рисовальный класс, впускал туда учеников, кажется, первого класса. Он между детьми казался великаном. Тут мне и пришла на мысль легенда об Одиссее и его спутниках, которых впускает в свою пещеру одноглазый циклоп Полифем. Об этом моем открытии я поторопился раззвонить, и вот Иван Петрович из *Трутня* превратился в Циклопа. Он имел отвратительную привычку щелкать учеников по голове костями пальцев, за что ему впоследствии и досталось от начальства, когда одна чадолюбивая мамаша слишком усердно стала преследовать его за своего сына. Трутнев обыкновенно в конце урока осматривал рисунки, ходя от скамейки к скамейке. Вот тут-то начиналась полная тревог кочующая жизнь по классу. Те, у которых ничего не было сделано, начинали перемещаться с места на место и садились на те скамейки, на которых уже свирепствовал карандаш Ивана Петровича. Он очень любил поправлять начатую работу, хотя иногда и портил ее, слишком замазывая и изменяя контуры. Бывало, подсунешь ему свой небрежный рисунок, он и начинает машинально рисовать, да и окончит, того сам не заметив. Ему очень часто *камчадалы* показывали *фиги* и языки, конечно, со стороны закрытого глаза.

¹ Трутнев Иван Петрович, художник.

Иван Петрович три раза был женат. Он был в хороших отношениях с Кречинским, и оба постоянно на уроках рисования о чем-то шушукались и редко появлялись не пьяными, что, конечно, не могло укрыться от учеников.

Помню еще учителя французского языка немца Рейншимля¹, теперь уже умершего. Он как-то вдруг перестал ходить на уроки, так как его разбил паралич и у него отнялась правая половина тела. Но нужда и семья заставили его потом, когда он немного оправился, продолжать уроки, и я не могу забыть того чувства, которое овладевало мною, когда, бывало, он входит в класс, болтая правой ногой и неся правую руку в левой. Баллы он ставил левой рукой и скоро единицы писал так же правильно, как и правой. Особенно страшно было смотреть на его лицо, когда он смеялся. Тогда у него появлялась такая ужасная адская гримаса, что мороз подирал по коже. Я его очень любил, может быть, потому, что жалел его и без слез не мог видеть его страданий. Он и в классе сидел в шубе. Меня же всегда называл шалуном и за проказы редко с меня взыскивал.

Был у нас учитель арифметики, некто Горячкин², человек очень бедный, так что он даже не ходил в классы в вицмундире, а в каком-то рьжем пальто. Все ученики у него разделялись на любимцев и не любимцев. Любимцев он почти никогда не спрашивал. Система его преподавания заключалась в том, что он, как это ни покажется невероятным, всех ленивых ставил около доски на колени, полукругом, и затем уже объяснял урок. Тот же знаменитый *камчадал* Никольский, вечно пребывавший на коленях, занимался обыкновенно тем, что пачкал копейку в мелу и такую печатью обмазывал сзади весь подол пальто Горячкина, пока тот объяснял у доски новый урок. Этот же Никольский и отучил Горячкина ставить его на колени. Надо заметить, что Горячкин был очень конфузлив. Однажды, придя в класс, он по обычаю водрузил и Никольского около доски. Только что он стал объяснять урок, как вдруг Никольский прерывает его, говоря: «Господин учитель, посмотрите, что у вас на сапоге?» Горячкин взглянул и сконфузился; оказалось, что к его каблuku пристал кусок свежего кала. «Пошел на место, болван!» — только и сказал он, страшно покраснев; а с тех пор Никольский никогда более не стоял часовым у доски.

¹ Рейншиссель Энгельберт Васильевич.

² Горячкин Василий Александрович.

В первые годы пребывания моего в училище в младших классах ужасно практиковалось воровство. Я уж и не говорю про воровство завтраков, булок и вообще съедобного, но пропали книги, циркуля, деньги. Как теперь помню такую картину: на коридоре, на коленях стоит ученик с поднятыми сверху руками, в которых он держит по циркулю, и еще один циркуль он держит в зубах. Это был пойманный на краже циркулей воришка, которого начальство *для примера* наказало таким шутовским способом.

Помню я одного ученика, сына духовного лица, Овчинникова. Помню я его, благодаря его изобретению. А изобрел он вот что. Он из бумажки вырезал голого человека со всеми деталями и раскрасил его, как следует. Затем, из бумажек же выкроил подрясник, ризу, епитрахиль, одним словом, всю священническую одежду, которая и надевалась на голого человека. Получался таким образом священник в полном облачении. Овчинников обыкновенно приносил эту фигуру на урок Закона Божия; затем она им раздевалась так, чтобы все ученики это видели, секлась и опять одевалась. Мы, помню, все понаделали себе таких попиков, так как они очень удобно прятались между страницами любой книги. Эта игра характеризует нравственный уровень и дух в реальном училище той эпохи.

К этому же времени относится и приезд министра народного просвещения графа Толстого¹. Помню, как он явился на урок рисования и рассматривал наши рисунки. Затем была сделана диктовка; граф сам исправлял тетрадки и ставил баллы, подписывая свою фамилию. Тетради этой я не сохранил. Нам ко дню приезда Толстого велено было купить тетради в золоченых переплетах.

Граф Толстой, как мне рассказывали, по поводу франко-прусской войны, высказался тогда в нашей инспекторской о немцах и французах так: «Немец — клоп, француз — пиявка. Пиявка, насосавшись, отпадает сама, а клоп пьет человеческую кровь, плодится, и его поколение пьет эту же кровь». Это верно: француз, нажившись у нас в России, сейчас же уезжает в свою Францию, а немец сейчас же основывает колонию и разводит целое поколение «немцев, которые *пьют нашу кровь*». Если это сравнение действительно принадлежит Толстому, то оно может быть приведено как факт, что и его голову посещали светлые мысли.

¹ Толстой Дмитрий Андреевич (1823–1889), министр народного просвещения в 1866–1880 гг., министр внутренних дел и шеф жандармов в 1882–1889 гг.

21 ноября

17-го числа мне исполнилось двадцать три года. Невольно подвел я итог истекшим годам моей жизни, невольно обернулся назад и взглянул в прошлое. 23 года! Почти бóльшая половина жизни прошла бесследно, бесцельно и бесцветно. Ничего отрадного, бодрящего душу не вижу я в своем прошлом, ни одной светлой страницы не занесено в летопись моей жизни. Я уже прожил более двадцати лет и в результате имею только полное разочарование во всем, холодное презрение к людям, боязнь прикосновения с ними! Все, что было яркого когда-то, теперь потеряло для меня смысл; все, что прежде пугало меня, стало теперь для меня догматом, фактом, в который верую и в котором заключается для меня весь интерес жизни моей.

Я сжег все, чему поклонялся,
Поклонился всему, что сжигал, —

сказал какой-то поэт¹. Да, я сжег все, чему поклонялся! Все дорогое для меня, все, что дало мне детство, семья, все исчезло, и исчезло безвозвратно. Годами накопились сомнения и превратились наконец в осязательную истину, сложились в характер. Нет более связи с прошлым, нет веры, нет любви к людям; все дорогое осталось в прошлом, и если и теперь есть на земле дорогие связи, то это еще остатки прошлого, его последние связывающие нити.

Жизнь дала мне много уроков, жизни обязан я настоящим. Одна жизнь прекратилась для меня, другая началась. На обломках прошлого, на остатках розового детства и сумрачной юности новая жизнь возродилась в новом сиянии, полная контрастов и противоречий с прошлым. Все неясные образы разрослись в могучие и колоссальные здания; все, пугавшее прежде своею неизвестностью, стало ясно как день: я перестал мечтать, а начал жить. Жизнь заговорила наконец со мной. До тех пор я прозябал, как прозябают животные; с тех пор я стал жить. Жизнь пахнуло на меня, жизнью, полною правды и надежд; и эта жизнь как непреложный закон явилась и сложилась для меня в несколько аксиом и в несколько формул. Целым рядом упорных битв с самим собою я выяснил себе все, что смущало

¹ Стихотворные строки, написанные И. С. Тургеневым для романа «Дворянское гнездо».

меня. Но это не сделало меня атеистом: я не отрицал ничего, я сомневался. Миру фактов я стал верить больше, чем миру фантазий! Виноват ли я в том?! Я все старался подвести к одному знаменателю и нашел его.

Дело не обошлось без борьбы, борьбы упорной, борьбы собственными силами, без помощи друга, без слез участия. Сомнения закрались в мою душу сами собою. Никто не рассеивал их, никому не было дела до моих страданий, до тех ужасных мук, которые испытал мой молодой неокрепший ум. Итак, один, совершенно один, без всякой посторонней помощи, я вдруг пришел к заключению, что или меня обманывали или жизнь лжет. Друзей у меня никогда не было; дружба для меня существовала только в теории, друг был для меня недостижимым идеалом. Даже моя мать, мой брат не были посвящены в тайну, закрашивающую во все нравственное существо мое. Борьба была ужасна. Часто приходила мне мысль о самоубийстве, но рассудок брал верх. Ничто не укрылось от безжалостного анализа: я подверг ему все, даже то, что не должно, не может быть анализировано человеком. В своей попытке добиться правды, вырваться на свободу из массы противоречащих друг другу фактов я впал в сумрачное состояние; оно длилось долго, это был сон души, агония прошлых верований, заря новых желаний и надежд. Я изнемог, обессилел, но в этом бессилии зарождались новые силы, новая цель жизни, а с нею и угасшая надежда. Сами собой, без пособия книг и философии, поднимались передо мной во всей своей правдивой наготе события моей жизни, воспоминания, портреты; но теперь они уже являлись совсем другими. Наивность, беспредметная любовь, слепая вера уступили место рассудку. И так продолжалось долго, долго; работа ума закипела деятельно. Это был период усиленной мозговой работы, нервного напряжения, доходившего до болезненности. Все удивлялись перемене во мне, все заметили мою задумчивость, мое апатичное отношение к занятиям в школе; но никто не знал причины этой перемены, этой апатии! Бессонные ночи, полные лихорадочной деятельности, с пером в руках, с какой-нибудь отвлеченною теориею на страницах книги перед глазами, дни, в которые я боялся видеть человеческое лицо, повлияли вредно на мой организм: я стал нервен, раздражителен... Вот чем был я лет пять тому назад... А чем я стал — кому какое дело! Кому интересен я с теми житейскими грехами, которые, незаметно для других, посетили и меня.

У меня нет друга, которому бы захотелось заглянуть мне в душу, излечить ее раны. Один, вечно один боролся я со всем и всеми; один, без друзей; и не друг закроет мне мои глаза. Нося в себе зачаток ненависти к людям, я их теперь только избегаю... Мне не нужен друг; я только в себе одном нахожу существо, которому могу сказать правду, доверить тайну. И зачем же писать свой портрет, когда я сам еще не могу уловить некоторых его черт, которых и сам не понимаю и которые являются чем-то невиданным и несслыханным... Что дала мне жизнь? Чем я ей обязан? Жизнь дала мне богатый материал, массу живых примеров и фактов, и только. Счастья жизни мне пока еще не дала... да я для себя и не понимаю счастья!.. У каждого человека есть известный идеал счастья, у меня его нет... Для меня не существует оседлости, а потому и счастья. Беспокойный ум ищет счастья, но не знает даже, в чем оно заключается... По правде сказать, я не верю в счастье; но чувствую, что оно где-то есть.

Найти счастье было бы для меня величайшим счастьем. Да и понятие о счастье весьма условно. Один счастлив, имея хозяйку-жену; другого коробит от такого мещанского счастья. Один хотел бы осчастливить весь мир, другой только одного себя. Каждый человек счастлив по-своему, у каждого есть счастье как идеал; а у меня его нет... В жизни у меня есть два-три существа, счастье которых могло бы составить мое счастье; но я счастьем их буду только доволен и не более... О, если бы я мог ясно формулировать свое назначение, я бы нашел свое счастье! Но, несмотря на все теории, созданные человеком, несмотря на все попытки ума моего проникнуть за пределы его ведения, я как человек не нахожу своего назначения и не найду его. Как гражданин, как служащий, как член семьи и государства — я совершенно ясно и твердо стою на законной почве; как человек — я ее теряю. Пока я ношу мундир, я сознаю, кто я такой; снимаю его — и теряю свою личность. Мне мало знать, что я человек, мне мало знать, что я похож на других людей!! Но где же цель, где смысл моего существования, где счастье, которого ищет душа вопреки рассудку?! Как ничтожный атом, брошен я в жизнь, и жизнь, помимо моей воли, кипит во мне, волнует меня, наполняет разными чувствами и, помимо моей воли, оставит меня... Но я не хочу так бесследно, так бесцельно промелькнуть в жизни. Мне мало глупой фразы, что *таков закон природы*. Мне нет дела до всего человечества, которое бессмысленно твердит эту фразу! Однако я вдался, сам того не замечая, в слишком туманную область, куда иногда не-

вольно уносит фантазию. Скорее в мир фактов, где жизнь кипит, где страдаешь и где потому только и чувствуешь, что живешь, что страдаешь! Побольше мук в жизни, побольше яду, чтобы чувствовалось, что живешь, чтобы сознание билось в каждой жилке, в каждом нерве! Прочь туманные теории, заслоняющие механику жизни, пусть жизнь является во всей своей наготе, со всеми язвами и ранами!.. Побольше фактов, побольше грязи и страданий, тогда только жизнь явится жизнью, а не сном. Ничего, что приходится стонать, стон есть признак жизни.

Я теперь совершенно одинок, так как пустой разговор, болтовню с человеком я не считаю обменом мыслей. Я как-то странно создан. Жить в одной комнате с человеком для меня тяжело: его присутствие стесняет меня.

Чем дальше я от людей, тем более я примиряюсь с ними; чем ближе сталкиваюсь с ними, тем более презираю их. Факт налицо: отца моего я терплю и даже уважаю только тогда, когда не живу с ним; присутствие его волнует меня, и я делаюсь относительно его груб и несправедлив. Чем больше я люблю человека как идеальное существо, как понятие общее, тем более презираю его частные разновидности. Не знаю, есть ли в мире существо, с которым бы я ужился, я хочу сказать о существе равном мне или превосходящем меня своим авторитетом. Чужой авторитет для меня — унижительное бремя. Но если человек ниже меня, то я думаю, что мог бы сойтись с ним, хотя до сих пор не пробовал.

Продолжу свои школьные заметки.

Из своих товарищей я помню не многих. К числу таких принадлежит и сын директора Лапина. Помню я его по одному эпизоду. Он от отца унаследовал набожность, доходившую до ханжества. Занимаясь усердно уроками, он не забывал отбивать сотни поклонов и при своей страшной худобе и серьезному, даже мрачному виду похож был скорее на монаха, чем на юношу шестнадцати лет. Идя на исповедь, он обыкновенно списывал все свои грехи на бумажку и подавал их священнику, чтобы избежать расспросов. Однажды перед исповедью он потерял подобную бумажку с многочисленными грехами и помыслами, и она, попавшая в руки учеников, долго служила предметом разговоров и насмешек. Но Лапин был аскет, о которого все это разбивалось бесследно.

Отец этого интересного экземпляра, Василий Иннокентьевич Лапин, преподавал историю в училище и был прекраснейший человек. Помню, как я и еще несколько лентяев исправля-

лись у него в инспекторской в конце четверти, и как он нам всем сказал в конце концов: «Уж как, друзья, вы ни садитесь, а в музыканты не годитесь»¹.

Как я уже сказал ранее, первое время, когда я поступил в реальное училище, оно помещалось в одном здании с классической гимназией; а потому на дворе происходили постоянные драки и скандалы между классиками и реалистами. Были у нас свои Гекторы, Ахиллесы и Одиссеи хитроумные, а схватки так и носили название *Троянских войн*. Мы, мелюзга, всегда начинали дело, а герои, обыкновенно уже возрастные ученики, продолжали и оканчивали его. Несколько несчастных случаев с обеих враждующих сторон заставили начальство обратить наконец внимание на эти безобразные и грубые забавы; и двери, соединявшие две гимназии, были забиты. Но драки не прекращались. Классики и реалисты нашли, где встречаться: это были горы Ботанического сада, Бекешевка, Крестовая и др. Там продолжали практиковаться сбрасывание с гор побежденных, постановка фонарей под глазами и синяков на всем теле. Междоусобица царилла и в классах, в стенах заведения. Класс ходил на класс, в дело употреблялись ремни, линейки и башлыки (причем последние в опытных руках превращались в опасное для глаз оружие), оставлявшие шрамы, опухоли, ссадины... Младшим классам доставалось от старших, и только 7-й класс держал себя солиднее. Но зато там практиковались разные танцы, пение и тому подобные благородные занятия. Конечно, все это производилось на переменах и на свободных уроках, а начальство смотрело на эти безобразия сквозь пальцы и не искореняло их.

Говоря о надзирателях, я забыл упомянуть еще об одном, Филиппе Петровиче Татлине. Это была личность во многих отношениях замечательная. Получив хорошее воспитание, он пошел бы отлично, тем более что многие его сочинения по естественным наукам были даже переведены на иностранные языки (так, например, его книжка о пчеловодстве²). Но, к несчастью, всему портила его страсть к *рюмочке*. *Рюмочка* для него была верным другом, и она-то и загубила по-дружески те таланты, которые, быть может, крылись в этой не тупой личности. Между учениками он слыл за сварливого начальника и носил раз-

¹ Неточная цитата из басни И. А. Крылова «Квартет»: «А вы, друзья, как ни садитесь, // Всё в музыканты не годитесь».

² Татлин Ф. П. Пчелы, как любопытный предмет естествознания, и пчеловодство. // Грамотей. Народный журнал. М., 1872. VIII.

ные меткие и злые клички; вот они, с указанием на их происхождение: Рыжий — намек на яркий цвет его волос; Пимпарлей¹ — название одной куклы в театре марионеток; Пимпук — сокращенное название предыдущей клички. В разговорах учеников Филипп Петрович не существовал иначе, как под этими кличками. Чаще всего его величали Пимпуком.

Помню эпизод с моей бабушкой. Ей надо было идти в училище, чтобы видеть Филиппа Петровича по делам ее ученической квартиры. Привыкнув постоянно слышать от учеников, что его называли Пимпуком, она вполне была убеждена, что это его фамилия. Придя в училище, она встретила с Татлиным и, не зная его в лицо, обратилась к нему с вопросом, *где найти надзирателя Пимпука*. Филипп Петрович, хорошо знавший свои клички, сначала даже усмехнулся, а потом очень обиделся и рассердился, а этот эпизод с моей бабушкой долго рассказывался в стенах училища.

Более всего бесила Татлина кличка Рыжий. Услышав из инспекторской шум и гвалт на коридоре, он обыкновенно прислушивался сначала, в какой стороне происходит беспорядок, а затем уже устремлялся туда, заложив руки в карманы брюк и негодующе сверкая *pinse-nez*. Но так как у дверей классов, в которых не было занятий, обыкновенно на такой случай ставились часовые, то и появление Филиппа Петровича усматривалось еще издали. По условному знаку все смолкает в классе, так что очень и отчетливо слышны в коридоре частые шаги Татлина. Наконец и он сам влетает в класс, красный более чем когда-либо. Производится допрос, обыкновенно не указывающий на виновников шума, и затем Филипп Петрович торжественно удаляется. Но только что он исчезает за дверь, как раздается чей-нибудь измененный голос из класса: «Рыжий». Филипп Петрович возвращается в класс, опять происходит строгая ревизия, допрос, и в результате получается нуль. Однажды он так был взбешен подобными криками «Рыжий!», что, вбежав в класс, диким голосом закричал: «Ну так что ж, что я рыжий?! Ну, я рыжий!.. А кто посмеет в глаза назвать меня рыжим? Я его называю подлецом, потому что он ругает меня исподтишка», — и т.д. Одним словом, у него шла постоянная борьба с учениками.

Филипп Петрович ужасно любил делать долги, но платить их не любил. Кредиторы обыкновенно караулили его по дороге

¹ *Пимперле* — то же, что Петрушка.

от училища на его квартиру. Квартиры он менял часто, причем на каждой оставался что-нибудь должен. Так, у бабушки с квартиры он просто-напросто сбежал, не заплатив ей 20 рублей, и потом, встречаясь с нею, даже не кланялся, вероятно боясь, что она напомним о деньгах. Иногда Филипп Петрович пропадал в городе, не являясь по нескольку дней ни домой, ни в училище: это было верным признаком того, что он получил жалованье и *запил*. После таких дней он хотя и возвращался в училище, но был молчалив, вспыльчив более чем когда-либо и вообще чувствовал себя *не в своей тарелке*.

Многие ученики очень искусно умели рисовать его портреты, причем подобные рисунки попадались не только на досках классов, но и на стенах заборов. Ученики утверждали, что голова его похожа на *ситник*. Филипп Петрович ужасно любил поспорить, причем всегда не выдерживал характер, выходил из себя, и разговор превращался в личную ссору. Помню, как однажды я сказал кому-то за обедом, что вижу на крыше кошку; Филипп Петрович придрался к слову и стал допытываться, почему я знаю, что это кошка, а не кот? Разговор перешел в спор, даже довольно сильный, и кончился ссорой. Живя на квартире у моей бабушки на правах учеников, он помещался в одной с ними комнате, причем очень часто с ними вздорил, особенно с Шишковым¹, человеком умным, который теперь находится в Технологическом институте уже, кажется, на третьем курсе. Оба вспыльчивые, упрямые и нервные, они в своих стычках доходили до смешного. Филипп Петрович любил также и приволокнуться... Я сам, будучи учеником, видел, как он гулял под ручку с дамами очень сомнительной репутации. Таков был Филипп Петрович Татлин — безвредная, бесполезная и бесцветная личность, не созданная быть педагогом.

К числу живых существ, оставивших во мне воспоминание чем-нибудь из первых лет школы, принадлежат сторож классической гимназии Виктор и хромая собака. Виктора я уже помню семидесятилетним стариком, еще бодрым и деятельным. Всем ученикам он по старой привычке говорил *ты* и даже также называл некоторых учителей, тем более что многие из них еще знали его, учась мальчишками в классической гимназии. Виктор хорошо помнил еще то время, когда учеников пороли розгами, и даже до сих пор указывает на некоторых учителей, которые некогда пере-

¹ *Шишков*, студент Технологического института.

бывали в его руках. Так, например, указывая на нашего инспектора Виноградова¹, старик обыкновенно говаривал: «Ведь сам порол его несколько раз; а теперь, смотри, как вырос, каким стал». Лет пять тому назад праздновался юбилей службы Виктора при классической гимназии, причем ему была поднесена серебряная табакерка. Новые порядки сильно не нравились старику, и его любимые рассказы и замечания всегда отзывали стариной и сожалением о невозвратном прошлом. Реалистов он не любил, преследовал, хотя порой и с ними пускался в разговоры.

На дворе классической гимназии при мне еще жила старая собака с переломанными ногой и ребрами. Когда государь император проезжал через Вильну, то, по преданию, собака эта попала под колеса его экипажа. Государь, жалея покалеченное животное, приказал его вылечить и ассигновал известную сумму (3 руб.), пенсию, за получением которой с книжкой ходил в казначейство один из сторожей классической гимназии. Старый пес, которого я застал живым, был общим любимцем учеников, и ему всегда попадались лакомые кусочки от завтраков и пирожных. Он обыкновенно так и ходил от одного ученика к другому, попрошайничая, как нищий.

Из более или менее выдающихся событий моей школьной жизни упомяну о двух публичных актах, на которых я читал стихи. Первый акт был для меня триумфом. Для акта у нас существовал особый зал, убираемый на это торжество тропическими растениями и заставленный стульями для родителей и начальства. На акте обыкновенно присутствовали генерал-губернатор, архиерей и весь генералитет; кроме того, много частных лиц обыкновенно наполняло залу. Сначала читался директорский отчет, затем декламировались учениками стихи и в конце концов раздавались награды и аттестаты. Задолго еще до акта начинались репетиции, обыкновенно тому, как надо выходить, кланяться, и тому подобным тонкостям. Так как я обладал хорошим произношением и читал *с толком, чувством и расстановкой*², то и был назначен во втором и третьем классе читать на акте. Стихотворение должен был я произнести: «Овсяный кисель»³. Помню, меня учили не смотреть на публику, декламируя, а смотреть на портрет наследника, висевший напротив, в

¹ Виноградов Николай Андреевич.

² Цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».

³ Стихотворение В. А. Жуковского.

конец залы. Я так и сделал. Чтение мое произвело фурор. Потапов¹ подозвал меня к себе, задал несколько вопросов, похвалил меня. Архиерей Иосиф² также расхвалил меня, дал мне *облобызать десницу свою*. Помню еще, как на этом же акте преосвященный Иосиф сказал речь, в которой, указывая на ласточек, летавших около открытых окон (дело было весною), заметил, что *и они, дети, радуются Вашею радостью*.

Через два года я снова говорил стихи. На этот раз со мной случился громадный скандал. Сначала мне было задано стихотворение «Песнь о Вещем Олеге», но так как ко дню акта подходило какое-то торжество в память заслуг Петра Великого, то накануне акта стихотворение было заменено другим, под заглавием: «Пир Петра Великого». Шолкович дал мне книжку, по которой бы я мог подготовиться. С этой книжкой я пошел в Ботанический сад, где встретился с одним знакомым офицером — Тертичниковым, который завел меня в буфет и по простоте сердечной угостил меня полкуфелем³ пива. Опьянев от пива, я пошел гулять, сел на скамью и, не помню как, но уснул. Проснулся я уже ночью, схватился за книгу, и вдруг оказывается, что у меня ее украли во время сна. Что тут делать? Достал я денег, побежал к Стракуну, купил книгу и кое-как подучил стихи. Чувствуя, что я их еще знал нетвердо и плохо произносил, я просил проэкзаменовать меня перед актом; но Шолкович отговорился неимением времени и тем, что *уверен, что я его не оскандалю*. Наступил день акта. Чувствуя за собою грешок, я уже шел на акт перетрусив. Прийдя же рано в заведение, я, не спавши ночь, ощущал в своей голове какой-то сумбур. Начальство приехало поздно, и ожидание его еще более измучило меня. Но вот акт пошел своим чередом... Подходит очередь говорить мне. Я слышу свою фамилию, выхожу, *шаркаю ножкой*, как нас учили, и начинаю довольно бойко откалывать свои бессмысленные вирши. Но, продекламировав один куплет, я нечаянно бросил взор в первый ряд кресел и увидел, что Потапов с какой-то гримасою рассматривает меня в *pinse-nez*. Это так меня смутило, что я смешался, пробормотал несколько слов и затем красноречиво замолчал... В зале

¹ *Потапов Александр Львович* (1818–1886) — государственный и военный деятель, генерал от кавалерии, губернатор Виленской, Ковенской и Гродненской губерний и главноуправляющий Третьим отделением в 1874–1876 гг.

² *Иосиф* (Дроздов; 1824–1881) — епископ Ковенский, викарий Литовский с 1868 по 1874 гг., затем епископ Смоленский и Дорогобужский.

³ Куфель — бокал для пива.

водворилось гробовое молчание... Я взглянул на Шолковича: он был красен как рак, и мне было больно, что он краснеет за меня. Между учениками заметно было тоже волнение и движение. Инспектор Лялин сверкал в ту сторону глазами. Скандал был ужасный! Но в эту минуту я услышал голос инспектора, который подсказывал мне продолжение стихов. Я снова начал говорить, но опять запнулся и замолк... Опять подсказки — и я наконец окончил стихи. Чувствуя, что осрамил и себя, и других, я, раскланявшись, пошел в сторону, но в это время добрый Иосиф, сжалившись надо мной, подозвал меня, обласкал и похвалил. Затем он предложил мне вопрос (не помню какой), на который я ответил невпопад, чуть не на всю залу. Скандал был полный!.. Начальство пожирало меня глазами. Только что кончился акт, меня потребовали к директору; но я бросился бежать и, решительно не отдавая себе отчета в своих действиях, прибежал домой... Со мной сделался нервный припадок, и я выхворал свой позор.

22 ноября

Вчера писал до трех часов ночи. Гробовое молчание царило кругом меня. Длусский спал. Давно не брал я перо, давно не беседовал я с собою... Сегодня перечитал я написанное — эти страницы, навеянные одиночеством. Они вылились невольно, под впечатлением минуты, и в них есть правда, хотя мало логики. Но в них есть и хорошие места... Не знаю, что бы делал я без этих занятий, без своих литературных попыток, без заметок! Целый день проходит для меня, как отвратительная микстура, и только ночь приносит мне светлые минуты, когда в ее тишине поднимаются в уме самобытные картины, могучие поэтические образы, фантастические желания и нескончаемая вереница минувших событий. Только ночь может увидеть меня таким, какой я есть; но и она не услышит моего голоса, не услышит моих признаний и жалоб! Мой голос умолк для людей, голос моего нравственного существа, моего я. Дни проходят, я говорю, смеюсь, шучу, ссорюсь; на меня смотрят, как на странное уродливое явление, я чувствую, что навожу скуку. О, если бы можно было им заглянуть в мою душу! Они бы ужаснулись и меня, и себя. И чего хотят они от меня, чего требуют? И может ли общество требовать того, чего оно мне не дало? Могут ли, смеют ли требовать, чтобы в пустых забавах, в пьянстве и глупом натира-

нии полов прошла и моя жизнь? Что дали вы мне, мои судьи, и кто дал вам право быть моими судьями? И без того двадцать лет жизни моей прошли бесцельно, и без того жаль мне потерянного времени, потерянных сил! Довольно глупить! Жизнь человеческая не праздник, не бал, а горькая чаша... Все, что составляет счастье массы, — гадко для меня, отвратительно; все, с чем живут и умирают люди моей среды, — ужасно, безумно... Прожить свой век, не высказав ни протеста, ни желания вырваться на свободу, убить силы на вечеринки, изощрить ум на наживе и в конце концов умереть, не оставив после себя здоровой мысли, не забросив в душу человеческую луча правды. Чувствовать, что с жизнью кончается нравственное существование, и не попытаться жить и после смерти в какой-нибудь...

7 часов вечера. Записки свои я прервал сегодня утром, потому что двое солдатиков нашей роты чуть не умерли от угара, и я даже боялся за их жизнь. Но кое-какие познания из медицины дали мне возможность поднять их на ноги.

Сегодня Длусский ушел на именины к следователю. Сам следователь Попов был у нас сегодня с целью лично пригласить на именины. Но я не пошел. К чему быть в тягость и себе, и другим? С местным обществом у меня нет ничего общего; местные барыни (я, правда, их мало и видел) мне отвратительны; скука и деревня царят во всех их разговорах! Не стану смущать их *веселья*. Лучше этот вечер посвящу своему другу — заметкам моим. Они для меня то общество, которого мне недостает и которого я лишен; с ними я веду разговор по душе, не стесняя других и не наводя ни на кого скуки.

Не знаю почему, но мне хочется сегодня побеседовать немного о детстве своем. В детстве я был очень болезнен и впечатлителен. Всякое событие производило впечатление не только на мой ум, но и на нервную систему. Печаль, скука, радость проявлялись у меня как-то лихорадочно, болезненно, ненормально шумно. Потом вдруг наступал период сосредоточенности, молчаливости. Такие крайности я объяснял только болезненным состоянием, так как все детство и часть юношества прошли для меня исполненные болезней. Я еще очень хорошо помню, как хворал я тифом, воспалением легких. Тифозная горячка едва не отправила меня в *Елисейские поля*... Лишенный сил, голоса и отчасти слуха, лежу я, бывало, в каком-то забытьи... Мозг работает вяло, но по временам в нем проносятся с ужасающей быстро-

той какие-то видения, лица, картины... Вот перед глазами появляется шар, сначала маленький, потом разрастающийся и медленно катящийся на меня... Мне страшно, ужас наполняет меня... я чувствую, что шар этот непременно должен раздавить меня... С мольбою, едва шевеля губами, обращаюсь я с просьбою спасти меня... мне душно... я разрываю рубашку, делаю усилие подняться и впадаю в беспамятство... Все вертится в глазах и уходит куда-то вверх, выше, выше, быстрее, быстрее... необъятное пространство открывается передо мною и давит своею громадностью и неизбежностью. И вот мне слышится неясный шум, делающийся постепенно более ясным и переходящий наконец в рев бушующего потока... Откуда-то вдруг надвигаются волны, с рокотом, пенистыми грядками, то поднимаясь вверх, то стремительно обрушиваясь вниз. Все стонет, все надвигается на меня... а я не могу пошевелить даже пальцем... Вот одна волна грозно отделяется и несется прямо на меня; ужасно, неумолимо и бурно ее стремление; пенистый гребень взвивается над моей головой и... рушится... Тысячи искр сыплются из моих глаз, в голове пролетают какие-то обрывки мыслей, и все скрывается из глаз, все превращается в бешеный рев, свист и шипенье... И во всех этих видениях я постоянно вижу дорогие черты лица моей матери... Самые ужасные видения заставляют меня всегда искать это лицо... и оно всегда является, всегда тут, возле, доброе и любящее... Знакомый голос, как шепот ангела, успокаивает бред воображения... тонкие пальцы знакомой руки поправляют подушку и отодвигают со лба спустившиеся и прилипшие волосы... «Мама, дорогая моя... — шепчу я, — унесите, спасите меня!! Мне страшно, не уходите от меня!.. дайте вашу руку!..» И часто засыпал я с этою доброю рукою в моих горячих и худых руках, часто снилось мне, что какой-то дух, дух мира и любви, возле меня, и я был счастлив, был вполне доволен...

Дорогие воспоминания, воспоминания, оставшиеся в моей памяти, всегда в связи с какими-нибудь недугами!.. Помню, когда я был маленьким мальчиком, мне иногда было приятно хворать... Уход и предупредительность окружающих, исполнение малейших желаний, тишина и покой моей комнаты, занавешенное окно, приятный отблеск пылающей печки, запах уксуса — вся эта обстановка больного как-то благотворно влияла на детскую душу... Но я во время болезни бывал всегда очень капризен, и об этом я уже, кажется, упоминал... Так, например, я не мог видеть без злобы моего отца и бабушки, и когда они подходили к

моей кровати, я закрывал глаза, притворялся спящим и не отвечал на их вопросы. Насколько я помню, это происходило оттого, что они обыкновенно надоедали мне расспросами о том, как я себя чувствую, чего хочу и т.п.; но все мои подобные выходки всегда огорчали как отца, так и бабушку. Мое отвращение к ним всегда служило верным симптомом приближающейся болезни.

Еще был один признак, который тоже всегда принимался как предвестник болезни: это была игра в куклы. Надо заметить, что в куклы я любил играть лет до двенадцати и даже, уезжая в реальное училище, оставил дома несколько кукол. Для кукол я сам кроил и шил платья, кофты, шубы, давал им названия, устраивал им балы. Заставить меня принять лекарство могли только подарком в виде куклы или материала на платье моим куклам. Балы производились со всеми тонкостями приличий, и музыкою служили мои собственные губы.

Все мои болезни всегда отзывались вредно на моей дорогой матери... Она обыкновенно болела моими болезнями, страдала моими страданиями. Она приносила в жертву мне все свои удобства, не раздеваясь, проводила бессонные ночи у моего изголовья, стараясь уловить на моем лице и лице доктора хотя слабую надежду на выздоровление. Святая, дорогая мама! Вам обязан я жизнью, тою самою жизнью, которая теперь порою так бесцельно кипит во мне! Не виню вас в том, что вы не дали мне умереть, что искру жизни вы часто раздували в целый костер, в целый пожар!.. Ни в чем не виню вас! Святая вера, святая любовь руководила вами и исцеляла через вас и меня... Никогда не забуду ваших забот, ваших страданий, моя дорогая чудная мамочка! Пока будет биться в груди сердце, пока мысль будет еще работать в мозгу, не забуду ваших жертв, ваших теплых и хороших слов; с вашим именем умру я, и, если только существует что-либо за пределами этого мира, я и туда унесу с собой вечную признательность, восторженную любовь к вам... Теперь целая бездна встала между нами; имея прежде все общее, будучи родственными и по душам нашим, мы теперь стали друг другу как бы чужими. В нас нет ничего общего. Наши пути разошлись, наши жизни все дальше и дальше спешат друг от друга... Но люблю вас все так же, как и прежде; все так же чту все то, что чтимо вами, и в присутствии вашего слово упрека, отрицания, проклятия и боли не сорвется с уст моих... Не услышите вы от меня желчной насмешки, едкой иронии, убивающей все, что было когда-то дорого, и дорого потому, что принадлежало

вам, было навеяно вами... Но с ужасом гляжу я на уносящую меня жизнь, на ту бездну, которая все больше и больше вырастает перед нами, все более и более отдаляет нас... Тихий мир, тихая вера, преданность судьбе и обязанностям окружают вас светлым сиянием добродетельной жизни; меня же увлек вихрь жизни, и несусь я, гонимый событиями, несусь, и навстречу вздымаются какие-то суровые лики, какой-то холод, холод предсмертной тоски, ужаса и мрака! Но не могу я, дорогая моя, идти с вами одним путем, жить вашей жизнью, и не я виноват в том! Не могу я отречься от того, что считаю истиной, поклоняться тому, что нахожу ложью... О, если бы могли вы заглянуть теперь в тот мир, который создал я себе и в котором теперь живу! Если бы могли вы измерить ту бездну, которая разделяет нас, каким ужасом наполнилось бы ваше чистое сердце! Но вы не оттолкнули бы меня, не бросили бы мне в лицо слово гнева, проклятия и упрека. Вы не отреклись бы от меня, моя дорогая мать. Верю в вас, люблю вас, понимаю вас! В вас одной вижу связь с прошлым, вы одна привязываете меня к жизни; для вас готов я переменить самую жизнь, свои привычки, свои удобства, все... кроме убеждений. И, клянусь вам, не я виноват, что выросла между нами роковая пропасть. Напрасно старался я сохранить хоть какую-нибудь связь в наших взглядах и убеждениях — неумолимый анализ уничтожил даже возможность этого соединения; напрасно пытался я уловить хоть отблеск вашей души в себе... — его не было... Все, чему учили вы меня, пошло прахом; все, что тщательно скрывали от меня, разрослось в глубокую веру... Вы говорили мне на многие вопросы, которые я задавал вам: «Поживешь и узнаешь!» — и я пожил и узнал! Вечно стоит перед глазами моими ваш многострадальный образ; и грустную загадку ваша судьба! Из прошлого поднимаются события, лица; и везде, во всей нити этих событий звучит грустная нота... Молодость, затраченные на семью силы, самоотвержение, высокий пример исполнения долга, всепрощающая любовь видны в этих событиях; а все звучит в них грустная нота... Как ни были вы высоки по своему уму, все же вы были русской женщиной, а потому и вас постигла судьба русской женщины. И вы стали рабой семьи, хозяйкой, и вас преждевременно состарили заботы. За любовь вам платили бранью, за внимание — желчной насмешкой, за труды — равнодушным молчанием. Глубокие морщины лица вашего, ваша впалая грудь говорят слишком красноречиво, какая жизнь кипела в вас и что

таилось в вас, какие глубокие и затаенные силы! Не щадила вас судьба, и этого факта достаточно для того, чтобы понять, что были вы за существо... И кого щадит судьба? Личности бесхарактерные, бесцветные, над которыми события пролетают, не оставив следа, не оставив осмысленного чувства... Не желаю и я пощады от жизни! Напротив, чем более придется мне выстрадать, тем более буду убеждаться я в том, что не подхожу под общий тип. Пощада от жизни есть признак дурной, оскорбительный, щадят обыкновенно побежденного врага, а я никогда не соглашусь с тем, что жизнь меня победит!

Однако я ужасно удаляюсь от нити рассказа. Начал детством, а окончил хвастовством.

Одним из сильных впечатлений была моя первая исповедь. К ней меня готовила мать еще задолго. Священник был заранее предупрежден матерью; а потому и самая исповедь произвела на меня потрясающее впечатление... Перед лицом Невидимого, наедине с совестью, мои детские помыслы раскрылись со всею храбростью невинности. Грехов было, конечно, мало; но трепет за них, но стыд и раскаяние были искренни! Торжественно звучали мне слова священника, слова Искупителя, полные святого чувства, всепрощения и любви, и я с такою верою, с такою правдою обещал не грешить более!

Вообще церковь производила на меня всегда в детстве какое-то умиротворяющее влияние... Пение, самый процесс службы, благовонный дым, клубившийся из открытых дверей алтаря под яркими лучами солнца, жизнь и шум, по временам врывающиеся в храм через отпираемые на улицу двери, самый процесс молитвы — все это давило меня, заставляло меня чего-то бояться, чего-то ждать. И какие чудные молитвы произносили мои детские уста! Какая чистота звучала в их теплых, не заученных на память словах! Я редко произносил в уме готовые молитвы, которым научился дома. Молитвы мои были простой импровизацией, поэтическими порывами, безыскусственными просьбами. Но зато сколько силы, сколько веры заключали в себе эти бесхитростные просьбы. За себя я просил мало; но за мать, за весь мир я просил всегда так горячо, так жарко; я просил Бога простить моим врагам их проступки против меня, как будто у меня и на самом деле были враги! О, как часто думаю я о молитвах прошлого! Как часто является какое-то бешеное желание молиться, — и нет сил, нет прежних слов: они исчезли безвозвратно, и я даже не знаю, где потерял их. Как часто, свире-

пый и отчаянный, с проклятием в душе и с тоской в сердце, чувствуешь потребность молитвы, жаждешь откровений, горячих слез... И нет их, этих откровений, этих слез, нет их! Холод смерти царит там, где закипала порой под сенью молитвы чудная, блаженная жизнь; вместо чистых слов уста научились произносить проклятья, ложь и осуждение; слезы иссыкли и не освежают более грудь; вера заменилась рассудком; тайна загробной жизни как бы отошла на второй план... О, если бы можно было по-прежнему упасть на колени, рыдая и произнося моления, изливая в слезах свои горести, свои нужды! За миг молитвы, за жаркую слезу раскаяния отдал бы я все, даже лучшие блага своей жизни, но:

Я сжег все, чему поклонялся;
Поклонился всему, что сжигал...

Остается молчать и с ужасом ждать грядущее!

28 ноября

Ночь... Гробовая тишина кругом меня. Я опять один; один с собою, со своими думами!.. Пошлые лица не мучают моего взгляда, я не слышу голоса глупцов... Блаженный час, час, в который могу вздохнуть полной грудью и трезво отнестись к окружающему! Что была бы моя жизнь без этих вечеров и ночей?! День за днем тянулись бы нескончаемой вереницей и однообразной нитью. Так мерно и плавно двигается маятник... Ужасная жизнь, жизнь заживо похороненного в 20 лет! Встать утром, идти в роту, под холодным и равнодушным терпением сковывать иногда болезненную злобу и природную вспыльчивость; учить дорогих мне солдат, но учить, придерживаясь системы, в которую не веришь и которая ни к черту не годна. Затем... денщик подает вечно однообразный обед — суп и котлеты; после обеда на столе шипит самовар. А там снова занятия, чай, ужин — и так без конца, без перерыва, без изменений! Вечера такие длинные, во время них столько впечатлений и дум осеняет голову, столько в них подзадоривающей к умственному труду тишины... И я пишу, работаю, думаю. Длинные вечера сокращаются, перо скользит целые часы, и несутся образы, мечты, воспоминания... Целый ряд видений проносится, наполняет

мертвящую тишину моей комнатки... Я живу с ними, говорю с ними, зову их, эти видения. Им обязан я тем, что не стал таким, как другие; они тревожат меня и будят постоянно все, что еще не убито во мне, что еще живет и бьется, и рвется на свободу...

Получил из дома письмо. Мать пишет, что отец (по разным пустым причинам) думает, что, вырвавшись на свободу и изпод его денежной опеки, я забуду семью, забуду все, что было сделано для меня! Отвечать на такие письма — унижать себя, даже если эти письма пишет любящая рука. Когда же наконец поймут меня? Когда наступит пора, что я явлюсь в семью таким, какой я есть на самом деле? В настоящее время бездна легла между мной и родным кровом, и бездну эту я вырыл сам. Но виноват ли я в том, что, вступив в жизнь, я от нее получил совсем иные верования, иные законы. Виноват ли я, что в жилах моих бьется молодая кровь, молодые силы ищут приложения к делу. Отец и мать живут прошедшим и настоящим, а я — настоящим и будущим. Отец и мать — люди старого поколения, я по времени явления в свет (оставим убеждения в стороне) — человек современный, человек нового поколения. В этих словах сказано все, и вот где лежит начало бездны. Теперь рождается другой вопрос: могу ли я быть откровенен с людьми, которых или люблю, или уважаю, не кривя душой и не боясь оскорбить их в самых дорогих для них взглядах? Нет! Честный человек должен щадить тех, кого любит, даже тогда, когда ничего не имеет с ними общего. И могут ли бесполезные словоизлияния между совершенно противоположными крайностями привести к согласию и миру?! От здравомыслящих (?) крайностей и ожидать этого нельзя. Итак, приходится щадить многое; а щадить многое — значит лгать; а лгать — значит заводить натянутые отношения. И эта натянутость с моей стороны уже замечена теми, от кого я скрывал ее!.. А выйти на хорошую дорогу нельзя: зачем отравлять честные души огнем желчной иронии и какого-то странного эгоизма?! Зачем отравлять существование людям, которые родились и жили при иных условиях?!

Читал в газете сегодня («Новое время») о забаллотировании нашего русского ученого Менделеева в нашей русской Академии наук. Влияние немцев у нас в России огромное. Думаешь, что живешь во времена Петра Великого, когда от немцев ожидалось и реформы, и просвещение, и законодательство! И куда только не прокралось это пагубное влияние немецкого духа! Если приглядеться кругом, то всюду видны немцы, а если

не немцы, то их обычаи, их влияние. Россия, с некоторых пор, стала обетованною землей для всех, ищущих барышей и спекуляций. Немцы изучили нас, русских, и дают нам часто чувствовать, что мы у себя в России не значим ничего, что мы те же варвары, что и при Петре Великом. Забаллотирование известного всему образованному миру русского ученого говорит ясно, что немцы чувствуют себя на русской почве, как у себя дома. Да и разве это первый случай, где немецкие ученые, убивая всякую возможность для русских деятелей вступить в Академию наук, проводят туда собратов-немцев, устраивая какую-то корпорацию, в которую имеют доступ только те, которые нахватались немецкого духа (если только такой дух на самом деле существует, что очень сомнительно). У нас в России шайка ученых немцев хозяйничает, да еще как безнаказанно! У кого в руках железная дорога в России? — у жидов и немцев. Кто ворочает делами на бирже? — жида и немцы. Кто забрал всю торговлю в руки, строит заводы и выделяет на них все с помощью русских же рабочих сил? — жида и немцы. Куда ни взглянете — везде жида и немцы. Русского офицера в драке избивают немцы; русского студента тоже избивают немцы. В Остзейском крае все немецкое, начиная с жителей и кончая мировыми учреждениями. В высших административных сферах, в войске, в мелком чиновничестве — все немцы и немцы. И вся эта масса торгашей сидит на наших хлебах, пьет нашу кровь, интригует, шпионит и еще над нами же издевается. На поверку выходит, что у нас нет ученых, что Россия воспитывает только посредственностей и что все наше самобытное — дрянь. Нет, господа немцы! Общий голос наконец поднялся отовсюду, отовсюду возмущенная русская интеллигенция ополчается на ваши корпорации! Скоро влияние ваше падет, а с этим падением поднимется самобытное русское здоровое племя ученых, философов, администраторов, дипломатов... Если спит масса, то единицы работают, и наступит время (а оно уже близко), когда русскому уму, русской изобретательности станут удивляться все, кому дорога истинная наука, добросовестный труд!

7 декабря 1880 г.

Более недели не писал своих заметок. Значит, не было потребности говорить с самим собою; значит, ум молчал, а душа

спала... Может быть, этот временный сон, как всякий сон, необходим организму?! Вчера переписал начисто одну статью, которую посылаю в редакцию журнала «Природа и охота». Поместят — хорошо; не поместят — все равно... Писал я ее от нечего делать, и пользы никому она не принесет.

Я и Длусский были вчера с визитом у местного священника; а от него отправились к следователю. У батюшки напрасно я старался свести разговор на какие-нибудь животрепещущие вопросы дня, как внутри нашего государства, так и за пределами его. Полная апатия, полнейший застой. И разве могут быть на болоте волны?! Впрочем, говорили немного о местной школе. В ней до 60 мальчиков разных верований, кроме еврейского. Батюшка на мой вопрос о том, как у него идет дело в школе с маленькими мужичками и сколько он получает за труды, отвечал, что сам с удовольствием еще заплатил бы деньги, чтобы только не иметь там уроков... Такое радение отца Александра изумило меня. Мне невольно пришла на мысль судьба несчастных детей, которых и от работы отрывают, и путному не учат. Учитель, как я сам недавно лично убедился, какой-то недоросль, ничего не знающий, ничем не интересующийся и заводящий шашни с учительницами соседних местечек. Опять-таки его зависимость от батюшки.

Прав поэт, который сказал: «Не весела ты, родная картина!»¹ Да, не весела!

В разговоре я спросил о католиках: «Кто же занимается с ними в школе Законом Божьим?» — «Кто желает, тот слушает меня». При этом батюшка чистосердечно ужасается тому нравственному невежеству, которое царит между крестьянами. Как же объяснить, что дети католики остаются беспросветными невеждами, и никто, ничей голос не выскажется против такой системы?! Грамота в том виде, в каком преподносится нашему солдату и простолюдину, по моему мнению, не приносит никакой пользы. Выучить мужика читать — еще не значит сделать его грамотным. Нет, выучить его читать и осмысленным чтением указать ему осмысленный путь к самообразованию — вот задача народного образования. Мужички дети пока сидят на скамье, учатся читать и писать, а затем вне школы забывают скоро все, чему их учили, так как во всем этом не видят и намека на связь с жизнью. Русский солдат, русский мужик — чело-

¹ Цитата из поэмы Н. А. Некрасова «Саша».

век дела; его теориями и обещаниями не заманишь. Ему результаты дай сейчас, а на все, что не превращается у него в руках в деньги и хлеб, ему *наплевать*. И тратятся русские деньги, отрывается молодежь от семьи, а в результате нуль... «Не веселы ты, родная картина».

Много поучительного вынесет посторонний, не причастный к делу наблюдатель из вопроса об урядниках... Живет себе здесь в Гольшанах урядник каким-то царьком, никого знать не хочет; доходы получает громадные, с ворами и мошенниками ведет тайные, подпольные сношения, и страдает опять тот же мужик крестьянин. Крадут у крестьянина лошадь. Он к уряднику, конечно, с пустыми руками, так как правда за ним; и вор к уряднику, но только с несколькими рублями в руках. В конце концов выигрывает вор, а крестьянин... «Отчего вы не жалуетесь!» — спрашиваю я одного местного жителя, мужика. «Э, паночку! У меня еще голова на плечах!.. Я пожалуюсь, пойдут спросы и расспросы, станут тягать в суд, требовать деньги за разные бумаги, а в конце концов вор *подсыт*, и я же еще проиграю. А потом, смотришь, и красного петуха подпустят». И идет обворованный мужичок к своему местному вору-конокраду, который обыкновенно всем известен и который, не скрывая своей профессии, гордится своим значением в народе. Поклонится мужичок в ноги такому Ринальдо-Ринальдини¹ и отдаст ему последнюю копейку только за то, чтобы тот указал, где найти кормилицу целой семьи, без которой существование невозможно... И конокрад указывает, где найдет мужик пропажу, и тот почти всегда ее находит. Да так и дешевле выходит, чем *тягаться по судам* и все-таки ничего не получить. А то обращается бедняк и к знахарям, которые обыкновенно составляют одну шайку с конокрадами: «Погадай мне, где мой конь или корова». Погадают — и находится искомое... Да, тяжело приходится трудовой копейке нашего мужичка! И кто только не душил его?! Все, начиная с жида-арендатора и кончая урядником; каждый старается вырвать из этой нищеты хоть клочок; и стонет мужик, стонет, да те, кому слышать о том надлежит, местная русская администрация, не слышит этого стона... Какое им дело до этого народа, похожего на *быдло*? Ведь нищета так отвратительна, а бедность так гадка! И страдает молча это *быдло*, с терпением неся на себе тяжелый крест, обливаясь потом и кровью,

¹ *Ринальдо-Ринальдини* — герой одноименного «разбойничьего» романа Вульпиуса.

с необыкновенною энергией и упрямством, умалчивая о своих нуждах и ранах.

Но пройдут года... Дорогой голос Царя-Освободителя вторично раздастся в бедной хижине литовца и жмудяка, и на израненное тело прольется целительный бальзам! Полно гоняться за Европой. Надо прежде стать ею; а далеко еще нам до этого идеала. Полно кричать о прогрессе, когда тысячи бедняков жаждут только хлеба! Полно гордиться своим русским народом, когда народ этот мрет от голодного тифа, от нищеты и разврата! И ни одного голоса в этом народе против ударов судьбы! Ни одного упрека! Умеет умирать русский человек, и не я первый говорю это!

Да, тяжела ты, родная картина! И страшно подумать, что в народе нет веры в правосудие, нет надежды отыскать для себя бескорыстного и неумолимого судью... Даны мировые учреждения... Но о них умолчу, так как это учреждение беспочвенное. Даны мировые посредники... Название дано хорошее, осмысленное — посредники между правительством и мужиком! Какая великая мысль, какое гуманное назначение! А между тем что вышло из этого учреждения? Сначала горячо у нас принялись за новую игрушку, как за новинку; явились у нас народные деятели, истинные посредники, каких хотело общество... Но это было только сначала. Игрушкой поиграли и бросили, т.е. не бросили, а просто надоело играть... Да и возможно ли долго говорить громкие фразы; ведь придется же приняться и за опыты! А опыты вышли более чем неудачные... Стали душить мужика, кроме еще прежних душителей, еще и мировые посредники! «Не весела ты, родная картина!»

Цены на продукты увеличиваются с каждым днем, наш рубль с каждым днем падает, и конца не предвидится, до чего дойдет это падение... а жалование служащим не увеличивают. Прежде можно было многим существовать, теперь же это является вопросом, на который надо как можно скорее дать определенный ответ. Служащие на железных дорогах подали просьбы об увеличении содержания, и просьбы исполнены. Отчего же спят другие ведомства?! Положим, нам, военным, нечего и думать просить о прибавках. Хотя рассудок спрашивает, почему мы должны молчать? Видите ли, это нарушение дисциплины! Смейтесь, господа военные, смейтесь сквозь слезы! Ваши семьи хотят есть, вам не на что пригласить доктора — смейтесь! Ведь все несчастья ваши, слухи о которых доходят из ваших уст

до начальства, есть прямое нарушение дисциплины! Раз надел военный мундир — молчи, страдай, кланяйся, и есть для тебя только одно утешение, что все это оправдывается дисциплиной! Дисциплина желудка, голода и нужды. О, если бы можно было выдумать дисциплину кармана и расходов!! Молчи, бедняк, не возвышай голоса, чтобы никто не услышал твоих рыданий, а то городской сбросит пинком ноги с тротуара твое изможденное тело, молчи! Молчи и жди... жди лучшей жизни, но только не на этой земле...

Существуют целые отрасли административных должностей, упразднение которых может быть произведено в пользу неимущих и страдающих... Увеличено содержание губернаторов и генерал-губернаторов... А о бедняке опять-таки забыли. Отжившие старики-генералы мирно дремлют на отживших местах... Спите сладко, милые старички, спите спокойно! До вас не долетит стон голодного; на глаза вам не бросится рубище и отмороженные члены бедняка... Спите, эти гадкие картины не заставят вас с ужасом отбросить даже всякую мечту о сне!! Но не виню я вас в этой бедности, в вашем сне. Виновата во всем судьба, а не баловни судьбы! Не виню я вас в том, что рядом с вопиющей нищетой вы можете упиваться роскошью жизни и чувство брезгливости не отнимает у вас аппетит грязными бытовыми сценами, совершающимися так близко от вас! Спите спокойно, и пусть спокоен и ровен будет ваш сон! Да, «не весела ты, родная картина!»

Немцы, немцы и немцы! Как кошмар душат нас немцы! Из списка учителей одной классической гимназии только половина русских, остальные — немцы. В воздухе пахнет колбасой и сигарой, когда еще недавно можно было дышать свободно и с гордостью говорить: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет». Как бы не задохнуться в этой зловонной атмосфере!

В окрестностях Гольшан существует много таких же монастырей, как и тот, в котором я живу теперь. Мне часто приходит на ум вопрос: отчего такие прекрасные здания обращены в казармы, а не в школы? Вот откуда удобно было бы помогать народу, давая ему возможность учиться в теплых и светлых комнатах. Под постоем безразлично могут быть и деревенские лачужки, а для солдатской школы можно всегда найти светлую комнату в деревне... Всякому в глаза бросается то явление, что в костел в Гольшанах всегда стекается больше народа, чем в церковь. Положим, что, как мне сказал Горбунев, у ксендза

здесь приход в 10000 человек, а в церкви не более 2000 только. Но все-таки в костеле иногда бывает до 2000 человек, а в церкви не более 100. Причина ясная: народ приходит в костел слушать проповедь, чего нет для него в церкви. Как себе хотите, а проповедь, как всякое живое слово, — великое дело! Все, что слышит человек с амвона, как-то хорошо влияет на его душу. Да вообще проповедь (конечно, проповедь толковая, прочувствованная) влияет на человеческое сердце сильно и глубоко. Чувство проповедника, его убеждение, проглядывающее в каждом слове, в каждой мысли, находят верный отголосок в испорченном сердце простолюдина. А между тем в Гольшанах в православной церкви мужик лишен этого живого слова, а почему — неизвестно. Невольно сравниваешь в Гольшанах нашего священника с ксендзом; невольно приходит на ум мысль о том, какая, в сущности, бездна лежит между ними. Образованный и даже всесторонне образованный ксендз — с одной стороны; а с другой — невежественный, грубый, хотя и добрый священник. К ксендзу стекается народ. Почему? Да очень просто: потому что он со всяким умеет поговорить, всякому даст совет. Будучи знаком довольно хорошо с медициной и нашими русскими законами, ксендз дает совет крестьянам и по этим специальным отраслям знания. И народ идет к нему, народ в нем видит друга и доброжелателя; а священник? Я говорил неоднократно с ним и вынес убеждение, что этот грубый полунучу ничего подобного не может дать народу. И как может он врачевать душу, когда сам так с наслаждением погряз в житейскую тину? Ксендз ближе подходит к идеалу духовного пастыря, чем наш православный священник; он образован почти так же, как немецкий пастор, и вот это-то всестороннее образование, которого недостает нашему духовенству, именно и возвышает ксендза в глазах народа. Любо посмотреть, какая вера влечет в приемную ксендза тружеников-мужиков! Он улаживает семейные распри, мирит поссорившихся, увещевает провинившихся. Не забывается при этом и то, что ксендзу надо принести и дань; и ее приносит безропотно всякий. С ксендзом вы можете смело толковать как о самых заурядных делах, так и о политике, о воспитании. Он много читал, много пережил и переиспытал; разговор его бойкий и веселый, блестит остроумием. Не то видим мы в батюшке, хотя горько в этом сознаться!

Читал статью в «Русской речи» о значении *московской литературы*; имя автора не помню. Статья написана очень хорошо, и

в ней доказывається, как необходима так называемая *московская литература*. Как известно, у нас два класса литературных изданий: *западников* и *культурных* своих. Западники, как, например, «Русский вестник», «Вестник Европы», «Голос» и другие, стремятся пересоздать Россию немедленно, и пересоздать ее на европейский образец. Как противовес им служит *московская литература*, литература славянофильская, которая стремится к тому, чтобы все западное привить к родной почве, изменив соответственно с местными условиями. Хотя этот род литературы (как, например, «Московские ведомости») и увлекается порой в излишнем превозношении России и ее природных качеств, но как противовес исключительному влиянию западников он является необходимым. Вот основная мысль, которая дельно разработана в поименованной статье. И я вполне согласен с автором. У нас слишком торопятся привить то, что еще не может быть воспринято нашим организмом (я подразумеваю общественный, бытовой организм). Рано еще нам стать Европой! В нашем стремлении стать ею может случиться эпизод, рассказанный в басне Крылова «Лягушка и вол!»! «Пора нам помнить, что мы русские, и говорить по-русски», — вот приблизительно те слова, которыми оканчивается статья. Да, стремясь подойти под общеевропейский тип, мы начинаем терять родной тип, а до общечеловеческого типа нам далеко! Только ограниченный ум может стремиться к тому, чтобы привить реформы чужих нам наций к нашей родине в том виде, в каком они существуют там. Ведь не хочет же какое-нибудь европейское государство приложить у себя те реформы, которые принадлежат по мысли и исполнению нам; и не хочет потому, что это немислимо!

Мы до сих пор сами выделяли себя от Европы, и Европа отделяет нас от себя. Обыкновенно говорят: Европа и Азия. А про Россию умалчивают. Следовательно, Россия является переходом от Азии к Европе. Едва ли это верно; но об этом поговорю в другой раз...

Студентам хотят дать общежития, дозволить сходки... Благое дело! Пора, пора! Если бы это было сделано раньше, то брожения умов, может быть, и не было бы. Я уверен, что все беспорядки в среде молодежи — результат прижима свыше. Говорят о свободе печати! Выработайте прежде свободу человеческой личности, а потом толкуйте и о свободе печати. У нас до сих пор нет свободы совести, свободы личности, свободы вероисповедания. Раскольники, например, преследуются... Печать —

это проявление сознания общества; может ли быть свободна личность, когда сознание общества сковано? Вот когда появится (а это будет скоро) свобода цензуры, тогда можно будет поговорить и о свободе печати; когда каждому можно будет смело высказывать то, что он думает, тогда и печать, как проявление мысли, станет свободна сама собою...

А ведь как себе хотите, а мнение народа, что во всем *немец гадит*, совершенно верно. Крепок русский человек задним умом, и нескоро выбьешь из его головы справедливую мысль, что везде — *немец гадит*. Да и как же не любит он этого немца!

20 декабря

Я снова один, совершенно один!.. Длусский уехал в Вильну. Мертвая тишина в моей квартире. Эта тишина радует меня; она всегда так красноречиво говорит со мной, когда остаюсь с нею наедине. Для других, говорят, одиночество — дурной советник; для меня, напротив, оно служит средством для самопознания, для серьезной работы над самим собою.

Московская студенческая история волнует все умы. Какое дело полиции вмешиваться в беспорядки студентов, не простирающиеся далее двора их университета?! Некоторые газеты злорадствуют, другие, напротив, заступаются за студентов. Печально убеждаться с каждым днем, что у нас полиция врывается в университет и забирает молодежь, как какую-нибудь толпу бродяг; и все это свершается якобы на законной почве! Ректор разрешает сходки под условием тайны; сходки начинаются, и ректор спешит замять их! Где тут правда, где смысл? Положим, что замечание одной газеты верно; она высказалась в том смысле, что молодежь не имеет права считать себя законодателями университета, так как университет служит не для одного какого-нибудь положения, а для целой России и только от нее может принимать реформы. Но отчего не выслушать требования молодежи? Нет ли в них правды? Трудно предположить, чтобы четыреста человек были безусловно-бесмысленным стадом баранов. Они хотели видеть ректора, и только. Выйди он к ним, и все могло бы успокоиться. Но он прямо удирает из дома и прибегает к защите полиции. И где же девались все те проекты университетских реформ, которыми еще недавно газеты прожужжали все уши? Отчего замолкли ревностные защитники молодежи? И до каких пор

эта молодежь, самый молодой элемент, на который должны возлагаться надежды России, будет зависеть от каждого жандарма или городского? Хороша процессия студентов через всю Москву, под конвоем жандармов и под насмешками и злорадными намеками черни!.. И что за необъяснимая трусость ректора, побоявшегося выйти к студентам? Вообще все дело московских студентов — темное дело... Надо удивляться тупоумию некоторых газет, которые смотрят на него, как на нечто антиправительственное. Толпа студентов, заступающаяся за своих товарищей, становится государственными преступниками!.. Какое значение придается всей этой истории, видно уже из того, что «Московские ведомости» напечатали у себя несколько студенческих писем. *Много шума из-за пустяков!* — Сходка происходила на открытом воздухе. Следовательно, мороз скоро сам охладил бы горячие головы, и толпа разошлась бы в конце концов, а полиции не пришлось бы играть ту жалкую, позорную роль, которую она на этот раз сыграла в глазах всей образованной России!

Не знаю, из каких источников, но между поляками распространилось известие, что русское правительство разрешит в Царстве Польском присутствие епископов. В газетах еще ничего не слышно. Поляки ожидают от этой реформы много хорошего. Можно ожидать, что с введением епископства будут невозможны назначения таких ксендзов, которые только унижают сан священника. Замечательно, что большинство католического духовенства — верх разврата и подлости, смешанных с внешним лоском и довольно разносторонним образованием. Я бы не поверил, если бы сам не мог недавно лично убедиться, что ксендз заглядывает в карты соседу, записывает лишнее и т.п. Пьянство, разврат, самый утонченный и нескрываемый, — вот атрибуты большинства. А между тем нельзя отказать им в умении ладить с народом и вселять к себе в его среде уважение. При епископе будет немислим выбор ксендзов в зависимости от светских властей; конечно, только если сам епископ не будет слепым орудием этой власти.

В одном месте своих записок я, сколько помнится, упомянул о своем товарище — Никольском. Я узнал на днях его дальнейшую судьбу: он поступил в военную службу, разрубил во фронте шашкой (он служил в драгунах) голову своему фельдфебелю и сослан на 12 лет в каторжные работы. Кончил карьеру!

Приносит ли пользу воинская общеобязательная повинность с сокращенными сроками службы России? Признаться,

по моему мнению, мало. 1) Сокращенный срок службы, отрывая человека от семьи, делает его потом ее бесполезным членом, не сделав из него хорошего солдата. 2) Состав унтер-офицеров не может быть хорош по причине краткости их службы. 3) В случае призыва запаса — явятся солдаты, совсем позабывшие свою службу, а потому и негодные. 4) При гуманной цели, положенной в основу всеобщности воинской повинности, она отягощает образованные классы и не облегчает низшие. 5) Прежде солдат оплакивался семьей как существо на всю жизнь закабаленное; теперь же семья оплакивает сына, оттого что знает, что через четыре года он вернется в нее, но только уже не работником и кормильцем, а лишним ртом... Исключения очень редки.

Народ относится враждебно к своей повинности; отчего? Да от того, что она забирает из его среды рабочие руки. Народ — позитивист; ему теория не значит ничего; он верит только фактам. Неужели нет средств вместо принципа всеобщности (в теории очень похвального) ввести принцип добровольного поступления на службу, в которую явились бы с охотой и которая не падала бы бременем на все население, обставив самую службу заманчивыми льготами для народа? Никто не станет отрицать, что всеобщая воинская повинность принесла и приносит пользу как пугало для маменькиных сынков и митрофанов, без нее, быть может, пролежавших бы всю свою жизнь на боку, не подумав об образовании. Но воинская идея в образе пугала едва ли хороша. Да и в самом ли деле теперешняя воинская повинность справедлива для всех без изъятия? Сомневаюсь. В деревнях делаются такие вещи, что и поверить трудно... То же зло, что и прежде существовало, осталось; взятки и протекция действуют в прежней силе... Да вообще военная служба в настоящем виде стремится к тому, чтобы убить личность в человеке. Но, впрочем, я ведь обещался не касаться в этих записках специально-военных вопросов.

Насколько здесь я ни собирал сведений об составе урядников, оказываются очень печальные результаты... Когда открылись эти новые должности, то их сейчас же заняли личности, которым некуда было деваться, как-то: выгнанные со службы за взятки, пьянство чиновники, волостные писаря и т.п. Одним словом, всякий, кто имел какую-нибудь протекцию у исправника или мирового посредника, мог смело быть урядником. На деле вышло, что на бедного мужика напустили голодную стаю

этих бродяг, которая по-своему запустила в его карман свои загребушие руки. Душили мужика становые, волостные писаря, старшины, а теперь еще стали душить и урядники. — *Трещит крестьянский пун.*

Урядники, назначенные для уничтожения конокрадства и грабежей, являются их ревностными покрывателями. Конокрад пойман, сдан уряднику, дает тому взятку и получает свободу. А в мужике нет веры в законную власть. Оттого-то в последнее время и стали являться ужасные случаи народного самосуда. Страшно подумать, что мужик не верит в помощь закона, а старается его обойти. Крадут у мужика лошадь. Он вместо того, чтобы жаловаться, кому следует, идет сам к конокраду, дает выкуп и в большинстве случаев получает обратно своего коня. «Отчего ты не жалуешься?» — спросил я у одного крестьянина на этих днях. «Э, паночку! Куда нам... Пойдут тягать в суд да взятки брать, да за бумагу, за расписку... А коня все-таки не получишь; потому он (подразумевается конокрад) даст, кому что следует, и будет прав... Лучше миром покончить». Страшны, повторяю я, такие речи в устах мужика. И конокрады пользуются даже почетом. Мужики знают их и боятся донести по начальству, зная, что оно таких молодцев выпустит из рук, а потом, смотришь, и хата сторела... Конокрады нахально требуют себе по деревням уважения и совершенно безнаказанно совершают самые возмутительные грабежи. Зато когда попадают они на месте преступления, то очень часто народный самосуд над ними бывает ужасен, а пытки напоминают средневековую инквизицию... И что же делают урядники? — Берут взятки, отпускают на свободу всяких мошенников, жмут народ!.. И долго ли еще продолжится это — покрыто мраком неизвестности. Не даром урядников зовут *Махов цвет* — от имени их изобретателя. Действительно, *цвет!*

22 декабря

В местечках Северо-Западного края вся торговля сосредоточена в руках еврея. Еврей является, таким образом, тем же, что и немец, т.е. пьет всю кровь из населения. Кабаков можно встретить несколько, пройди по любой улице. Если есть кабаки, — значит, на них существует и спрос. Последняя фраза навела меня на одну мысль. В росписи государственных доходов за ис-

текающий 1880 г. указано на увеличение доходов с питейного сбора. Однако такое увеличение наводит на грустные размышления. Если увеличиваются доходы казны по части питейного сбора, то тут радоваться еще нечему. Это увеличение указывает на то, что спрос увеличился на водку, следовательно, в народе увеличился нравственный упадок. Счастливо то государство (конечно, если только такое найдется), в котором цифра подобных доходов ничтожна; и нам незачем радоваться тому, что, в сущности, приносит убеждение в испорченности простого люда. Жид-шинкарь, как паразит, помещается всегда там, где его отрава будет иметь спрос. В Царстве Польском, стоит только обратить внимание, и наблюдатель заметит, что, где сплотились две-три хаты, да еще около людной дороги, там и жид-корчмарь расставляет свои сети. В местечках кабаки стоят как раз с таким расчетом, что мужику не объехать их стороною. Наглость жидов доходит до того, что они просили у ксендза разрешения открыть ворота костельного двора в Гольшанах, ведущие прямо к кабаку (в костельной ограде несколько ворот), так что весь народ из костела попадал бы в кабак.

*Гольшаны Виленской губ.,
26 декабря 1880 г.,
Рождество Христово*

Первый год в жизни провожу не со всею семьею этот праздник. Но так сложились обстоятельства, и приходится покориться необходимости. Встал с головной болью в 9 часов. В 12 часов денщик подал мне неизменный обед — суп и котлеты. Затем пил чай. О Боже, что за пошлая жизнь, что за ужасная тоска! Если бы не дорогие мои записки, я не знаю, что сделалось бы со мною! Хотел пойти в церковь; но странно ходить туда, если не молитвою наполнена душа. Масса впечатлений проносится у меня в голове, когда я, уставши ходить, прилег на кровать.

Мне почему-то припомнилось юнкерское училище¹, этот год нравственной сознательной ломки, год отчаянной борьбы за свою личность... Припомнился мне и семейный кружок: мать, брат, отец... Припомнились далекие годы детства моего. И от

¹ Виленское пехотное юнкерское училище было создано в 1864 г. одновременно с Московским пехотным юнкерским училищем; готовило в основном офицеров пехоты.

всех этих воспоминаний повеяло как-то хорошо. Сон смежил мне веки... И видел я чудный сон: снилось мне именье совсем незнакомое, густой сад, а вдали необозримый простор лугов, а там — горы, все выше и выше, все громаднее и громаднее, и синее чистое небо. Я шел по саду. Обдавало меня чудными неведомыми звуками. С поля неслись какие-то крики, и ветер доносил то запах молодых березовых листков, смоченных дождем, то медовый аромат клевера и полевых цветов... Жизнь так сладко манила меня, ее призыв был так чудно выразителен, так звучал хорошо-хорошо... В изнеможении я опустился на траву, глаза закрылись, я стал впадать в какую-то дремоту...

И вот новая картина. Ночь... Могучий ураган свирепствует в лесу. Стонут деревья, молния непрерывно сверкает, дождь хлещет мне в лицо, ветер рвет одежду. А я иду, иду наугад в темноте, ощупью. Сквозь ветви деревьев сверкает огонек. Я туда... а огонек все дальше, дальше... все манит, манит меня своим мерцающим светом. Но что это я придумал описывать свои сны? Разве можно придавать им значение?!

Сегодня целый час сидел у окна и наблюдал, как ловко еврейские козы производят ревизию в мужицких саях и телегах. У них существует целая система. Только что успеваешь мужик скрыться в дверях кабака, как тотчас же собираются козы со всех сторон и нахально принимают есть сено и солому, которые лежат под сиденьем. Но стоит только показаться в дверях мужику (и, заметьте, именно тому мужику, у которого они совершают грабёж), как вся компания живо рассыпается... И такую партизанскую войну набегами, похожую на войну азиатских народов, ведут они иногда целыми часами. Жиды в корчмах не кормят своих коз, так как знают, что они не затруднятся в приискании себе пищи. Козы здесь очень бойкие, умные, и их серьезные бородатые мордочки напоминают мордочки еврейчиков, озабоченных гешефтами.

Позавчера ходил гулять и зашел на гольшанское кладбище. Меня поразил обычай, которого я нигде до сих пор не встречал, — ставить на могилы, кроме крестов, еще деревянные гробы¹. Что это обозначает, не знаю; спрашивал разъяснений у местного ксендза, но и он ничего не знает на этот счет.

¹ Белорусы устанавливали на могилах прямоугольные деревянные сооружения. Такой «приклад» напоминал крышку гроба, он имел окошечки и покрывал весь пригорок целиком; нередко его называли «хаткой».

В тот же день был вечером у Горбунева, где и попал случайно на елку. Мне очень был приятен этот сюрприз, тем более что и дома, вероятно, тоже для сестренки была устроена елка. Эта мысль еще более увеличивала мое удовольствие. Встретился там с молоденькой девушкой (Лиза), дочерью Горбунева, свеженькой и хорошенькой. Дай Бог, чтобы у нас в России было побольше таких девиц! Меня удивила в ней любовь к математике и физике и жажда знаний. Громадный недостаток, который я в ней заметил, — отсутствие терпения, невыработанность характера. Но все это со временем может выработаться. А пока — впечатление очень отрадное.

Недавно мне рассказали курьезный случай, отлично характеризующий ошмянское чиновничество и его времяпрепровождения. Дело в том, что одна компания (фамилий мне не сказали), напившись до *еле можахом*, очень остроумно придумала подшутить над товарищем, который не хотел кутить и развратничать и ушел в свой номер (дело было в гостинице) спать. Милые шутники поймали на улице жидовскую козу, втащили ее на второй этаж по лестнице и стали стучаться к приятелю. Тот, желая сильно спать и думая от молчаться, не отпер дверей. Но это не помогло. Двери были выломаны, и вся компания с ревом и хохотом ввалилась в номер, волоча и козу. В довершение всего коза была поднята (один субъект поднимал за хвост, а другой — за рога) и положена на кровать к обезумевшему от страха и ярости чиновнику. Остальное надо дополнить воображением, так как мне ничего не сказали о том, что произошло после того, как несчастный почувствовал в своих объятиях... козу! Но факт очень интересен и достоин пера Щедрина... Но да не подумают, что все чиновники *здесьних стран* занимаются укладкой жидовских коз на кровати своих друзей! Нет, существуют и более мирные удовольствия — например, картишки.

И приписывали, и отписывали мелом

Так в ненастные дни, занимались делом!¹

Есть и такие личности, которые мошенничают в картах, и даже из числа тех, которые носят пастырскую одежду. Но о фамилиях умолчу... «Помилуйте, — негодовал недавно мой знако-

¹ Неточная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «А в ненастные дни»: «И выигрывали, // И отписывали // Мелом. Так в ненастные дни // Занимались они // Делом».

мый, — да с ним (подразумевается шулер в пастырской одежде) играть нельзя!.. Ведь за это бьют по физиономии!..» — «Ну!.. Полноте. Я вас научу, — ответил ему некто. — Как заметите, что он на вас написал... и вы тоже у себя на него напишите... Он 100 и вы 100; он 50 и вы 50». Совет очень оригинален; но едва ли мой знакомый ему последует. «Да как вы только можете надуть в карты?» — упрекает то же мошенничающее лицо *некто*. «Помилуйте, — слышится в ответ, — да разве я один так делаю: ведь и Г. и В. так делают!» Курьезное оправдание и еще от кого же? От лица в пасторском облачении! Остается только пожалеть его прихожан и... играющих с ним в карты.

На днях мне попало в руки завещание, написанное здешним каноником Волчавским. Читаешь и удивляешься: в своем ли уме был человек, когда писал подобную галиматью? И чего, чего только тут нет: и страшный суд, и дьявол, и гробы, и Бог, и жена... И это пишет кто же? Магистр! Я хотел даже списать для курьеза это курьезное завещание, за которое, надо заметить, взято 15 руб. с больного. Та же личность лечит народ гомеопатией и за лекарство, стоящее несколько копеек, берет два-три рубля. И мужики тащат к шарлатану свои трудовые гроши. Впрочем, в последнее время на эту удочку стали попадаться реже, так как в народе сложилось убеждение, что лекарство каноника *не помогло*. «Берет, каже, гроши, а толку нема!»

Я здесь перезнакомился со множеством местных жителей, изучаю нравы, так сказать, с документами в руках.

Против местного урядника собирается гроза, но он совершенно спокоен, так как им в г. Ошмяны послан в виде громоотвода к празднику солидных размеров кабан. Что только не творится в Гольшанах, каких только мерзостей не делается почти открыто! Существуют даже, как говорят, партии: клерикальная (стоящая за ксендза, и во главе сам ксендз) и либеральная (стоящая против ксендза, и во главе ее — выгнанный органист). Есть у нас здесь и консерваторы, и кого-кого только у нас нет! Копнешь грязь — и ужаснешься, какая поднимается вдруг вонь.

«Hier ist der Hund begraben!»¹ — как говорят немцы.

Разбойники (шайка того самого Киселя, которого мы ловили и не поймали) пошалили в Гольшанах. Перед Рождеством ограблены лавки; обкрадено несколько домов; у кого-то увели лошадь, украли *супоню*. Гольшанский *Ринальдо-Ринальдини* не на

¹ «Здесь зарыта собака!» (нем.).

шутку пошаливает... А власти спят, а у урядника «руки загребу-щие, очи завидующие», как говорит песня...

Дороги в окрестностях Гольшан — убийственные. Недавно капитан Труфанов заметил мне это с удивлением. «Нечему удивляться, — отвечаю я, — ведь сюда ни архиерей, ни губернатор, наверное, не заглядывали!»

Администрация выдумала обсаживать дороги березками. Мысль-то хорошая; но и тут, по обыкновению, начался ряд курьезов. Садят березки, выкопав их предварительно так, что корни все оборваны, — березки погибают. На другой год опять то же. И когда будет этому конец — Аллах ведаёт! Или еще другой способ: садят деревья в песок, для крепости привалив их у подножия камнями. А труда-то, труда! Становой, урядник мнут шею мужику; мужик идет в лес, вырубает (иначе я назвать не могу тот способ вырывания, который у нас практикуется) деревце, со злостью пихает его в яму, вырытую у самой дороги и в песке. И так будут продолжать долго-долго, и, я повторяю, конца этому не видно.

Мне удалось самому наблюдать *оригинальный* способ посадки деревьев. Видя обрубленные корни, я нарочно спросил мужика, зачем он это делает? «А, паночку, — отвечал он, — лишь бы посадить; а то дома мать хвора, трое детей; куда тут есть время возиться». И береза с обрубленными корнями была посажена. С наступлением лета по всем дорогам можно видеть сухие ветви, натыканные по сторонам; они печально глядят на путника, как бы с немим протестом! А ведь стоило бы только хоть один раз присмотреть кому-нибудь за посадкой деревьев, и дело было бы сделано раз навсегда. Нет! Ведь у нас почему то готовы делать что-либо по нескольку раз и, в сущности, ничего не делать, чем сразу приняться толково и как следует. Таково уж свойство нашей русской природы неизбежное, с многознаменательным и историческим *авось!*

Недавно недалеко от Гольшан был пойман с украденною лошадию конокрад и варварски замучен: ему всунули в задний проход кусок раскаленного железа, и он умер в ужасных муках. Да, ужасен народный самосуд, ужасен еще и потому, что он является как бы следствием недоверия к местной законной власти.

Еще недавно мне приходилось слышать уверения, что взяточничество уничтожилось. Не знаю, как в центре России, но что в Северо-Западном крае оно существует, в этом приходится убеждаться на каждом шагу. Взятка, наша старинная родная

взятка, служит здесь связующим звеном между обществом и властью. Разница со стариной только та, что теперь научились брать взятки так ловко и с таким достоинством, что и концов не найдешь. Взятка осталась в той же силе, в том же обаянии. Разбойники мирно (да простят мне эту невольную шутку!) грабят народ; их ловят... но взятка дана, и — правосудие *с носом*... Ксендз хочет получить место; а место очень выгодное... Минутное размышление, и — взятка; место получено... И много еще можно было бы написать на эту тему... даже поэту есть чем воодушевиться, так много подлости, горя и слез связано с представлением о русской взятке. Даже борьба вышеупомянутых партий — либеральной и клерикальной — основана на взятках.

*«Все мое», — сказало злато!*¹

У местных гольшанских воротил можно услышать такое выражение: «Ну, уж не пожалею я 100, 200 рублей, а уж его (подразумевается враг или жертва) тут не будет!» — и т.д. в том же духе...

«Куда же девался вор?» — спрашиваете вы, выслушав длинный рассказ о том, как ночью был ограблен крестьянин, как увели его лошадь. «Вор?! Да его отвезли к уряднику». — «Ну, а дальше что? Куда же дел его урядник!» — «А он дал уряднику 3 рубля; тот его и отпустил».

Куда ни повернись, везде слышны жалобы на урядника; а он? Он сидит себе спокойно и гордо взирает на своих врагов: ведь только на прошлой неделе к его высокоблагородию был послан упитанный кабан. Опять взятка!.. Взятки, взятки, взятки... Тому-то пришлют мешок овса — и у вас уже явится подозрение, не взятка ли? Кому-то подбросили младенца — со страху вам и тут мерещится взятка... Пожив в Гольшанах, приучишься чего доброго и пожатие начальнической руки считать за взятку... Даже страшно и подумать!

«У тебя, верно, снова катар желудка», — говорил я одному своему товарищу всякий раз, как на него нападала или апатия, или поползновение издеваться над ближним. И из моих наблюдений я вынес уверенность, что всякий приступ желчи являлся у него следствием несварения желудка. Хорош ли мой желудок? Уж что-то сегодня слишком разгулялась во мне желчь.

«Доктор, мне сегодня скучно, апатия напала, делать ничего не хочется...» — «Примите ложку касторки!» Вот фантастиче-

¹ Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Золото и булат».

ский разговор, долженствующий происходить между доктором и пациентом, жалующимся на расположение духа. О, касторка великое дело! Я знал даже одного доктора, который от всех болезней лечил касторкой, и говорят, что это средство помогало. Что бы стали делать у нас в России без касторки! Масленица, Пасха — это такие безумные периоды обжорства... и проходят довольно благополучно, единственно благодаря касторке. Не знаю, отчего никто не догадается предложить проект обязать подпискою некоторых редакторов некоторых газет перед писанием статей принимать известную дозу касторки?!. Польза была бы несомненная, и в результате — просвещение общества! Боже, волос становится дыбом, когда подумаешь, что просвещение нашего общества может быть поставлено в зависимость от дозы касторового масла! Скоро настанет время, когда излишнюю горячность русских газет станут умерять подобными радикальными средствами, и это, должно быть, будет очень скоро, так как газеты буквально все переругались и на их столбцах только и встречаешь одну чуть ли не площадную брань... Настанет время, когда хороший адвокат, честно относящийся к делу, будет отказываться от защиты, а прокурор от обвинения только лишь ввиду того, что ими не принята касторка в должном количестве. Настанет время, когда Дума (Петербургская, конечно) будет общим собранием искать патриотического пыла в касторке. Когда человека будут оправдывать присяжные только ввиду подтверждения того факта, что он страдал катаром желудка и не употреблял рицины. Настанет время... Но довольно мечтать! Касторка сама сделает свое дело! Qui vivra, verra!¹

Я перечитывал последние газеты. По-видимому, Австро-Венгрия избирается Европою как слепое орудие против России. Дело в том, что там поднят вопрос о восстановлении Польши, и вопрос этот является *как бы* просьбою народа к правительству... Смысл этого, по моему мнению, вполне ясен. Очевидно, Европа решила удалить Россию от решающего влияния на Восточный вопрос, возбудив против нее поляков. Давно Россия является перед Европою страшным врагом. В ней теперь только стали прививаться реформы; очевидно, что решили путем смутов задержать не только что мирный рост государства, но также и его влияние на судьбы Европы... Но едва ли удастся

¹ Поживем — увидим! (*фр.*)

этот хитрый план. Польша так смертельно ранена, что и не подумает снова приняться за фантастические прогулки *до лясу*. В какой-то австрийской газете подан совет — «перенести Восточный вопрос на Север...». Но, отвечает на это «Новое время», тогда все-таки уж это не будет Восточный вопрос, а уже будет вопрос Северный; а Восточный будет решаться своим чередом, и на Востоке... В России есть еще достаточно сил, чтобы сразу заняться решением двух вопросов; и не первый раз приходится ей разрубать гордиев узел.

Открытие нового пути через Северный Ледовитый океан даст для России новые источники богатства и могущества. Является возможность морским путем сбывать как сырые продукты северных губерний, так и меха Сибири на заграничные реки. Следовательно, открывается громадное поприще для предприимчивого русского человека.

Пошлина с предметов ввоза из Германии увеличена, если не ошибаюсь, на 10%. Немцы подняли гвалт. Все газеты забили тревогу указывая на те убытки, которые понесет их *Vaterland*¹. Они совершенно забывают, что сами же не очень-то давно наложили высокую пошлину на предметы ввоза из России. Вообще смешно видеть, как наши соседи наивно возмущаются тем, что наше правительство решилось возвысить русскую торговлю и промышленность в ущерб иностранной. Немцы привыкли считать русский карман своим собственным, русскую торговлю — своею... Как смели, видите ли, русские решиться на увеличение пошлины, не спросясь немцев?!. И когда наконец перестанут смотреть на нас, как на дойных коров!..

Бисмарк умолк — плохой знак: это верный признак, что Европа готовит сюрприз.

Греция решилась на войну и отказывается от третейского суда всей Европы. Турция тоже морщится. С обеих сторон идут деятельные приготовления к войне, закупаются орудия истребления. Фесалия и Эпир — слишком лакомые кусочки, чтобы их уступить за остров Крит. Германия закончила свои морские вооружения, и германский флот теперь находится в полном составе. В нем почти нет неповоротливых тяжелых мониторов; а броненосные суда — легкого типа, что делает флот более подвижным. Расчет и тут у немцев оказался верен: вместо большо-

¹ Родина (*нем.*).

го, но неповоротливого судна не лучше ли сделать два, так же хорошо защищенные, но зато быстро и легко управляемые? И они так и сделали.

В настоящее время у нас, в России, идет сбор на памятники Гоголю и Глинке¹. Целая масса памятников, являвшихся с каждым годом наряду с голодом, свирепствующим в некоторых губерниях, невольно наводит на грустные мысли. Или мы не доросли до значения возмужалого народа и, как дети, смотрим на свои раны, или мы упали так низко, что и жалеть нас не стоит. Как, когда тысячи нуждаются в насущном куске хлеба, когда нет одежды и приюта у многих тысяч, мы устраиваем обеды, делаем подписки на разные памятники, как будто мы уж так богаты, что владеем шальными деньгами! Иван Сергеевич Тургенев (уж кому бы, кажется, как не ему можно было бы знать тяжелое положение России) вздумал было открыть подписку между русскими на сооружение памятника какому-то второстепенному французскому писателю...² Все это факты грустные... Неужели же мы и взаправду дети, которые не могут обойтись без няньки?!

Цены на хлеб уменьшаются; а жалобы по-прежнему несутся со всех сторон, голод растет. Всею виною земство. В некоторых губерниях оно позволило местным кулакам скупить весь хлеб, тогда как ясно было, что предстоял голод. Скупи земство хлеб в свои руки и не позволяй вывести его, таким образом, из рук тех, кто его сжал, и голоду бы не было. Имел бы мужик себе счеты с земством; а земство вполне удовлетворяло бы своему назначению. И земство будто спало... А заметить приближающийся кризис было очень легко. Ведь в некоторых уездах крестьяне открыто силою противились вывозу хлеба, сознавая, вместе с его увозом являлся ужасный образ голода... А земство спало; правда, не повсюду, а все же спало... Экое, подумаешь, у нас сонное царство! Кому-кому, а земству стыдно спать... Правительство всеми силами старается помочь беде, а все его усилия разбиваются о полнейшую апатию ближайших к народу учреждений. И что же может сделать правительство — одно, не зная через свои органы о нуждах края (не зная, конечно, вóвремя)? Пришла беда; узнаёт правительство, что, положим,

¹ 1 августа 1880 г. в России открылась повсеместная подписка «на составление капитала» для сооружения памятника Н. В. Гоголю (памятник Андреева, открыт в 1909 г.).

² Речь идет о памятнике Густаву Флоберу.

голод в России. Надо помочь; но как? — Запрос земству. А земство и оказывается несостоятельным. Ни проекты не выработаны, ни мер не принято на всякий случай... А ведь кому же, как не земству, знать нужды своего уезда, своей губернии. Ведь представители земства — сами хозяева. Сами являются заинтересованными в общей беде, в общем деле. И разве это первый и последний раз наше земство делает промахи? О, еще много предстоит ему наделать оплошностей и, главное, наделать безнаказанно. Именно безнаказанно. Виноватый в общем бедствии уходит цел и невредим от Правосудия, и завтра же с поднятою головою войдет в то же общество, в котором вращался и до сего дня. Страдает тут только мужик, наш кормилец; а земство с сытым брюхом плохо сочувствует корчам чужого голодного брюха...

Тяжелым упреком земству являются и народные школы. Граф Толстой оставил вообще очень печальное наследство после себя... Каким-то уродливым явлением выделяются в русском народном быту народные школы. Ни системы определенной не выработано, ни выбор занятий, ни сами учителя никуда не годны... Недурно бы было взять пример хотя бы с Болгарии, в которой хотя и не совсем правильно, но, по крайней мере, с толком поставлено народное образование. В Болгарии все желающие воспитуются даром и воспитуются не как-нибудь, а сознательно, с желанием принести пользу. Во многих городах, разрушенных дотла турками, первым вновь построенным зданием была школа. Но о школе поговорю в другой раз. В Гольшанах тоже есть школа, и вот она-то больше всего навела меня на грустные мысли о судьбе наших крестьянских детей, об их воспитании...

Железные дороги нахально требуют субсидий от правительства. Правительство до сих пор не отказывало им. Куда же идут эти субсидии? Конечно, не на улучшение дорог — их состояние так же скверно, как и было, а на содержание разных ревизоров, инспекторов *et tutti quanti*¹, которые благодумствуют себе на дешевых хлебах. Ввиду голода хорошо было бы уменьшить все эти субсидии. По-моему, выдавать субсидии нужно только на постройку новых дорог, и то со строгим отчетом в каждом рубле. Давно является надобность в соединении некоторых промышленных центров сетью дорог, а этой сети до сих пор нет, а

¹ и все другое.

субсидии идут аккуратно. Масса железнодорожных деятелей пристроилась очень удобно и получает громадное жалование. Я знаю одного молодого инженера А., который, будучи инспектором одной железной дороги, получает более 6000 руб. в год. Хватит ли у правительства стольких лишних тысяч, чтобы содержать сотни ненужных должностных лиц?

В других государствах стараются как можно уменьшить количество учреждений, а у нас, наоборот, все газеты переполнены проектами новых и новых учреждений.

В Америке, например, учреждений очень мало. Ведь существует в мире такой закон: новое учреждение, как и всякая вообще новая мысль, своим появлением (конечно, если оно здраво и соответствует требованиям минуты) обуславливает падение старого учреждения. Одно исключает другое. У нас же, как это ни покажется странным, новое учреждение еще довольно долго живет со старым, так что только увеличивается общее число учреждений. У нас редко бывает капитальная ломка, и старое починяется, починяется до тех пор, пока и чинить уже больше будет нечего; тогда только его бросают, как ненужную вещь. Даже неверная идея, будь она поставлена на очередь, сейчас находит почитателей, и если никто не заметит ее фальши, то часто случается, что строится целое здание... Так, например, общеобязательная воинская повинность, по моему мнению, в принципе очень неверна; а между тем у нее есть масса поклонников, она разработана и разрабатывается, и когда в ней будет разработано все до тонкостей, тогда только решатся бросить ее, сдать *в архив*, т.е. когда явно обнаружится вся ложь основных положений. В других государствах подобные факты редки. Сколько бы ни было положено труда на разработку идеи, но если является сомнение и доказательство в ее несостоятельности, то дело бросается.

Для другого примера, как идут у нас разные вопросы, возьму более всего близкий всем вопрос реальных училищ. Если до сих пор еще не высказывается вслух, то все равно всеми чувствуется, что наши средне-учебные заведения построены на самых ложных основах; однако же у нас все еще бьются над невыполнимой задачей — переделать в том же направлении, но иначе то, что не имеет смысла и не выдерживает самой строгой критики.

Легко, кажется, понять, что чем меньше учреждений, чем меньше разных отдельных ведомств, тем легче правительству

управлять народом. В этом духе стремятся теперь наши передовые люди, вроде графа Лорис-Меликова, который выказал глубокий ум свой уничтожением III отделения. Соединение некоторых отраслей управления в одних и тех же руках (руках, конечно, опытных) принесет пользу и в том отношении, что тогда можно будет объединить все то, что для правительства является невозможным. Как в военной, так и в гражданской администрации существуют учреждения совершенно лишние. Стоит взять пример с Болгарии, где все войска делятся на два отдела (по несколько дружин в каждом) и оба начальника отдела подчинены прямо военному министру. Как просто и, однако, сколько уничтожено посредствующих инстанций! С новой потребностью в России является и новое учреждение, будто нельзя ввести его в состав одного из тех, которые уже существуют. Щедрин отлично подметил это, и вот у него являются на сцену *chefs de cuisine*, *chefs de water-closets*¹ и т.д. Ведь устроили же очень удобно с III отделением; оно перешло в ведение другого ведомства. Масса мест упразднилось, и жалованье, получаемое на этих местах, перешло, если не ошибаюсь, на губернаторов. Так, некоторые из них будут получать до 8000 руб. в год.

Меня удивляет главным образом одна вещь в народных школах — это отчего они попали в руки министерства народного просвещения. Не лучше ли бы было, чтобы они всецело принадлежали ведомству земства? Земству прямой интерес и возможность следить за ходом преподавания и за успехами крестьянских детей. Земство и должно содержать школы, безусловно и во всех отношениях, не отдавая отчета министерству народного просвещения. В руках земства должно быть сосредоточено все то, что прямо относится к благосостоянию мужика; и есть ли смысл отдать в руки министерства заведывание такой важной отраслью, как воспитание народа, который оно совершенно игнорирует. Отчет земство должно давать в деле школьного образования министерству; но далее этого власть последнего не простирается. Контроль, система воспитания, наем учителей, их материальное содержание, так же, как содержание школ, — все это должно быть, безусловно, в руках земства, которое, находясь ближе к народу, лучше может влиять на него и знать его нужды, чем люди, вечно сидящие по городам и из глу-

¹ шеф-повара, шеф-уборные (*фр.*).

бины своих кабинетов смотрящие в лорнетку на «се vilain de tougik!»¹

А при настоящем ходе дел земство совершенно устранено от всякого вмешательства в дело народного образования. На поверку и выходит, что школы наши из рук вон плохи. Недаром существует анекдот, в котором один господин спрашивает другого, что в России хуже всего, после русской телеги? «Народные школы графа Толстого», — отвечает тот.

В Северо-Западном крае, как вообще и во всей России, наблюдателя поражает громадное количество вырубленного леса. Впрочем, не у нас одних производится жестокая рубка леса, потому что не у нас одних, а и в целой Европе климат, видимо, изменился, и изменился к худшему. Причины перемены климата понятны. Леса задерживают влагу, а также и те холодные ветры, которые дуют с севера. С вырубкою лесов почва не содержит в себе столько влаги, высыхает; жирные частицы земли не разбавляются влагою, быстро всасываются и засыхают; плодородные нивы делаются жалкими пустынями. Вот результат рубки лесов. В Северо-Западном крае, как, например, в губерниях Виленской, Ковенской, потеря лесов еще не уничтожает всей влаги. Дело в том, что все поля этих губерний покрыты булыжником (остатки пород, занесенных из Финляндии еще в то время, когда страна, в которой мы живем, была дном моря); булыжник имеет свойство под собою задерживать сырость, хотя он в некоторых местностях так сплошно покрывает поля, что жатва бывает самая жалкая.

Кто же губит леса? Помещики. Они беспощадно производят рубку своих лесов и притом таким хищническим, барышническим способом, что приходится удивляться их полнейшему незнакомству с ведением правильного лесного хозяйства. Рубка производится в большинстве случаев сплошная, т.е. вырубается поголовно все и даже выжигаются пни, что хотя и удобряет почву, но губит чуть поднимающуюся поросль молодого леса. Правительство давно уже должно было бы вступить против такого варварского способа лесоистребления, и не только одно какое-либо правительство, но правительства государств всей Европы, так как рубка лесов, изменяющая во всей Европе климат, является злом, так сказать, общечеловеческим. Правительство имеет право вмешаться в это дело, хотя по учению Адама

¹ «на этого паршивого мужика!» (*фр.*).

Смита оно не должно изменять ход промышленности. (Но, кажется, Смит добавляет «в случае если не предвидится вреда» — наверное не помню). Обязательные правила рубки лесов стеснят только барышников-купцов и барышников-помещиков. Хорошие же хозяева, у которых лесное хозяйство идет правильно, не стеснятся этими общеобязательными мерами.

Отчего же теперь вдруг повсюду началась рубка лесов? Двигателем является спрос на топливо с введением железных дорог. Поэтому те леса, через которые проходит чугунка, опустошаются более, нежели те, которые лежат дальше от железной дороги и сплавных рек. В настоящее время у многих помещиков существует такая система: при покупке имения прежде всего имеется в виду лес, как самая доходная статья. Как только куплено имение, помещик спешит продать лес, чтобы сейчас же возратить себе часть денег, заплаченных за имение. (Так, например, около Ошмян, поступил один помещик, купивший имение у графа Чапского¹, известного мота, которого долги заставили продать за бесценок мызу. Продав купленный им лес, этот помещик сейчас же с него одного выручил более, чем та сумма, которую он дал за все имение.) Лес продается, обыкновенно, жиду-подрядчику, и судьба его всегда одна и та же — жид срубает все, что может гореть, не руководствуясь при этом, конечно, правилами политической экономии. Отчего не обязать помещиков теми же правилами, которые выработало министерство государственных имуществ для казенных лесов? Отчего не заставить их правильно вести свое лесное хозяйство, потому что тут уже затрагиваются не одни только частные интересы, но и интересы всего государства Русского? Да к тому же, ведь правильное лесное хозяйство если не принесет владельцам лесов сейчас же пользы, то, несомненно, принесет ее в будущем. Интересы частных лиц должны всегда отдаваться на жертву интересов государственных. Таков уж закон, выработанный прогрессом. Поголовной вырубкой лесов наживутся несколько тысяч человек, а между тем страдать будет ведь целая империя в несколько десятков миллионов жителей. Наши теперешние неурожаи, наши засухи являются очевидным и натуральным следствием хищнической рубки лесов. Сохранить то, что еще оста-

¹ В Памятной книжке Виленской губернии на 1879 г. значатся графы камер-юнкер фон Гуттен-Чапский Адам Карлович и фон Гуттен-Чапский Адам Адамович. (с. 8, 10, 24, 26, 31, 85).

лось нетронутым, заняться засеиванием новых лесосек — вот что сейчас же начать и начать безотлагательно. Среди земства (я опять-таки утверждаю, что и тут должен быть почин земства) есть собственники лесов, и если они люди честные, заботящиеся об общей пользе, то пусть подадут свой голос, пусть первые заговорят об обязательной необходимости прекращения того, что не имеет здравого смысла и даже законного основания. Ведь вводятся же в государстве общеобязательные полицейские меры, и все поневоле подчиняются им. А в данном случае упомянутая выше мера нужна как безусловно необходимая и полезная для всех граждан империи. Пройдет еще несколько лет, и результаты будут ужасны, и зло запустит такие глубокие корни, что и не вырвешь его. Земству принадлежит почин доброго дела, за которое скажут ему спасибо и русский мужик, и помещик. Пока земство молчит, пока его голоса не слышно, вопрос о лесоистреблении лежит открытым. Прежде, чем думать о чем-либо другом, надо поставить бесповоротно на очередь роковой вопрос. Я убежден и уверен, что и многие это думают, что здесь лежит одна из главных причин наших народных бедствий, и я надеюсь, что многие откликнутся на мой голос и что это не будет *глас вопиющего в пустыне. Имеющий уши слышати, да услышит!*

«Богатство народа состоит в земле и ее произведениях, а также зависит и от степени (качества) и количества труда», — вот мысль Адама Смита. Следовательно, качество земли прямо влияет на богатство народа, на его благосостояние. Отсюда довольно ясный вывод, что чем менее становится плодородная земля, тем народ все более беднеет. Уменьшение плодородности земли обратно пропорционально богатству народа. Истребление лесов, следовательно, влияя на почву, влияет и на богатство (благосостояние) народа.

Главный спрос на лес — на железных дорогах, где он употребляется на шпалы и на топливо. Вследствие уничтожения лесов являются жаркие лета (отсутствие влажности около полей) и холодные зимы (вследствие доступа холодным ветрам). От первых являются засухи, от вторых — вымораживание озимей.

Для поддержания хозяев, ведущих толково свои хозяйства, можно устроить премии, награды — так же, как это уже существует в других отраслях хозяйства. Правительство могло бы также стараться и скупать леса от частных владельцев; но это

едва ли удобно, так как все-таки будет существовать конкуренция между агентами казны и агентами лесопромышленников, которые в большинстве случаев будут иметь перевес на своей стороне.

28 декабря 1880 г.¹

11 января 1881 г.

Давно не брался за перо. К лучшему или к худшему? — Буду думать, что к лучшему! — Значит, не было потребности писать, значит, ум и душа спали... Долгий сон, и сон болезненный!

Ездил домой на три дня. Видел, кого хотел. Странно создан человек. Жажда поговорить с матерью и братом была у меня страшная; а увидел я их, и через два дня уже не хватало тем для разговоров... Так и уехал я, не сказав того, чего желал, и не задав тех вопросов, которые были на языке. Сухо встретился, сухо простился... Неужели я стал таким прозаиком, что ко всем явлениям в жизни отношусь с каким-то формализмом? Я сам себя не узнаю.

Гляжу на портрет матери. Дорогая моя, отчего у вас такое грустное лицо?! Такая грусть в этих дорогих глазах. Отчего печальною улыбкою искривлены ваши губы? Станный вопрос! Мне ли не знать, *отчего*...

Сегодня страшно болит голова; а, однако, явилось желание писать, но мысли не идут спокойною вереницей, а появляются какими-то отрывками... Брошу писать!..

3 марта 1881 г.

Сейчас только узнал о неслыханном злодеянии, перед которым бледнеют все, о которых сохранились предания: Русский Государь изменнически убит, и где же? — Посреди своего народа, которому дал столько великих реформ, которого так любил!! Обожаемый монарх, боготворимый народом, погибает от руки какого-нибудь жалкого подлеца! Что с нами делается, до чего

¹ Дата оставлена без записи.

мы достигли?! Кровь холодеет в жилах, ужас наполняет все существо... Я думал, что уже никогда в жизни не буду плакать; а сегодня, когда пришлось мне сообщить в ротной школе солдатам роковую весть, голос отказывался служить, а слезы душили: я думал, что разрыдаюсь... Страшные години переживает Россия, години, о которых еще не слыхивали наши предки! И за что, за что такие испытания, за что?! Гибнет великий человек, всю жизнь посвятивший служению своему государству, гибнет беззащитный старик, жизнь которого была и так уже надломлена многократными покушениями... Прогневался на нас Господь, и несем мы тяжкую кару за свои проступки, за свои дела. Ужасно чувствовать, что любовь, преданность, осторожность не могли спасти того, кто спас миллионы из рабства. А мы, верные слуги царя, и не подозревали, что ему угрожала ужасная опасность; мы, готовые каждую минуту пролить кровь за его семью, за его спокойствие, мы, быть может, в эту самую минуту были погружены в мелочные дразги будничной жизни! Великая жертва принесена! О, если бы можно было кроваво отомстить за эту жертву, за эту русскую дорогую кровь. Отчего не могу я умереть, заслоняя своим телом дорогое, бесценное и святое существо? Отчего не могу я ценою жизни купить дорогую жизнь?.. Ведь я, мы все, истинно русские, призваны проливать нашу кровь за нашего царя, за Отечество! Ужасно быть зрителем и сидеть сложа руки!

Писать больше не могу: мысли расстроены и слезы душат.

4 апреля 1881 г.

Много воды утекло с тех пор, как последний раз брался я за свои заметки, много событий, много явлений пришлось увидеть. После ужасного события 1 марта, кажется, Россия пережила в один месяц целую эпоху! Россия, омытая кровью страдальца, с ужасом отреклась от своего прошлого, и в этом отречении слились все партии, все разрозненные или спавшие до сих пор силы! — Конечно, исключение представляют русские анархисты... Но разве они партия, разве они сила? Сброд личностей, без веры, без убеждений, без отечества, утративших способность честно работать, честно жить, утративших даже и национальность! Вот они, подпольные деятели, воспитавшие и развившие в себе какие-то недостижимые идеалы, а в душе про-

сто мечтающие нагреть себе руки и зажечь на чужой счет! Это просто-напросто разбойники, подстерегающие безоружного человека и среди белого дня режущие его среди народа, на глазах у всех. Я убежден, что двигателем всех гнусных покушений есть глупое честолюбие, которое стремится обессмертить имена злодеев. Читая ход *процесса шести*¹, мне пришли на ум некоторые мысли... Справедливо ли, например, предавать гласности процесс над подобными негодяями? По моему мнению, это только даст им то, что они имели конечною целью, — гласность, шум и сомнительную славу в кругу их единомышленников. Их поведение, их ответы на суде, вся комедия, которую они ломали перед публикой, показывают ясно, что они из себя корчат каких-то героев, каких-то борцов за идею. Суд приговорил их к смертной казни... Но справедливо ли наказывать таким наказанием, к которому они сами себя присудили? Ведь Рысаков, идя на убийство, знал, что от взрыва снаряда и он сам должен неминуемо погибнуть! Следовательно, смерть, которой наказывает его правосудие, есть случайно отсроченная смерть при взрыве. Цареубийцы, идя на разбой, сами заранее обрекли себя смерти. Мне кажется, что место им не на виселице, а в сумасшедшем доме. Ведь признано же, что самоубийцы совершают насилие над собой в припадке умоисступления; а цареубийцы, обрекающие и себя на смерть, не те же ли сумасшедшие-самоубийцы?! Посадить человека в сумасшедший дом, лишить его прав, оставив ему возможность существовать, объявить всенародно его поступки сумасшествием — вот то ужасное наказание, которое вполне соответствует и роду преступления! Пусть призовут врачей экспертов, пусть они дадут заключение о состоянии нервной системы подсудимых. Сумасшествие не всегда бывает продолжительным, оно является часто периодически. И разве можно за убийство царя наказывать так же, как за убийство всякого из его подданных. Я, впрочем, не хочу сказать, чтобы с преступниками поступали незаконно. Нет, против беззакония орудием является только закон, против бесправия — право! Дать подсудимым возможность оправдаться (?),

¹ 26–29 марта 1881 г. особым присутствием Сената было рассмотрено дело об убийстве Александра II. Этот выдающийся по своему значению политический процесс закончился приговором к смертной казни всех шести обвиняемых, из которых пятеро, а именно: Желябов, Перовская, Кибальнич, Михайлов, Рысаков — были повешены. Казнь состоялась 3 апреля 1881 г. Шестая осужденная — Гельфман — умерла в тюремной больнице вскоре после родов.

дать им защиту, судить их по всем правилам судопроизводства — мы должны. Вешать их без суда, как невольно приходится на ум, и гадко, и непрактично. Судить надо, но наказание должно соответствовать преступлению. Перед лицом суда являются не обыкновенные убийцы, а шайка идеалистов-анархистов. Обыкновенного разбойника можно и повесить; но разбойника-цареубийцу, которого не пугает смерть, надо наказать, заживо закопав его еще при жизни, отняв вместе с тем у него надежду на эту жизнь, отняв и свободу. Исключительность преступления порождает и исключительность наказания. Если Закон, не предвидев возможности цареубийства на русской почве, не подыскал ему соответствующего наказания, то оно должно быть подыскано. Нынешнее положение, в котором поставлено русское законодательство, немыслимо, неестественно!

Россия до сих пор не может прийти в себя; я, конечно, говорю про честную, благородную Россию. Впечатление еще не остыло. Какова была любовь к покойному Государю, видно из того, сколько слез было пролито, сколько горячих, сердечных слез!! Я сам видел эти слезы. Я сам видел, как рыдали на панихиде женщины и мужчины, как выносили некоторых из церкви без чувств. Да, это были слезы горечи, слезы печали, слезы отчаяния! Если только анархисты видели эти слезы, слышали вопли негодования, неужели не шевельнулось в них сознание, что путем открытых убийств можно только разъярить русский народ, можно пробудить в нем кровожадные инстинкты, но переработать его в нигилиста нельзя. Жалкие борцы, жалкие сумасшедшие! И так-то понимают они народ, так-то сознают его нужды!.. Непрошенные воители счастья человечества! Человечество открещивается от них, все честное отворачивается от них!!

Газеты переполнены советами, иногда даже курьезными. Есть и такие, которые советуют оградить себя вполне от *гнилого Запада*, перенести резиденцию Государя в Москву и т.п. Конечно, такие детские проекты извиняются тем сумбуром, который воцарился в головах большинства. Оградить себя от *гнилого Запада*?! Разве это мыслимо? Мы связаны с ним такими неразрывными узами, что каждый шаг наш связан с шагами других государств. Если бы мы даже и захотели стать Азией, то уже не можем. Вовлеченные в общемировой поток, мы должны отдаться ему (я не говорю, без борьбы), должны подчиниться его течению. Прорубленное Петром Великим окно в Европу от времени развалилось и обрушило самую стену, в которую было вставле-

но. Нет материала, чтобы совсем заделать эту брешь, да и стоит ли создавать для этого проекты? Если бы можно было вернуться назад!.. Но в жизни нет отступлений: все в ней стремится вперед, и даже умершее, отжившее увлекает в бесконечную даль в общем течении общемирового прогресса. Надо перестать быть Россией, чтобы стать чем-либо другим. Дорогая добродушная Москва только и могла породить подобные мысли, и мысли эти испеклись так же быстро, как пекутся в Москве блины и калачи.

Так же детски необдуман и проект перенесения резиденции Государя... Нет, не такими мерами надо бороться со врагом. Разве от ветлянской чумы¹ помогли карантинные меры? Нет, тысячу раз нет! Полиция в борьбе с анархистами в большинстве случаев играет жалкую роль, и не полиции подавить то, что не может быть задавлено силою оружия, силою виселицы и каторжных работ.

Бороться надо совсем иначе, именно тем же оружием, которым вооружается враг. Он подрывает основы семьи, закон государства — надо возвысить эти права, дать возможность молодежи учиться и идти дальше по пути умственного развития, не тормозя его малочисленностью и непригодностью нынешних школ и высших учебных заведений. Дать права женщине, равные мужчине. Поднять значение Церкви, создав новых священников и отбросив из религии все, что может порождать только сомнения. Вывести Церковь из-под опеки светской власти и дать ей права. Уничтожить монастыри как учреждения, дурно влияющие на нравственность народа. Дать народу честных деятелей путем реформы школ. Приняться за уничтожение чиновничества в том типе, какой сложился у нас. Изгнать службу учителей только из-за куска хлеба в воспитательных заведениях (в заведениях, имеющих воспитательное значение). Во всем государстве допустить полнейшую веротерпимость. И много еще можно было бы сказать, многого можно было бы желать...

Все может быть выражено несколькими словами: улучшить быт народа, именно молодой его части, и поднять общую нравственность в государстве. Были бы у нас высшие заведения в достаточном количестве, были бы у нас уравнины права реалистов и классиков, изменены курсы их программ, и сколько бы молодежи, мирно развиваясь, не свихнулось бы с истинного

¹ Ветлянская чума — эпидемия чумы в казачьей станице Ветлянской Астраханской губернии в 1878–1879 гг.

пути и не пристало бы к недовольным. Молодежь хочет учиться — уважь это святое естественное желание, дай ей возможность учиться.

Справедливо ли уменьшать права реалистов? Нет, несправедливо. Им открыты дороги в Технологический институт, в министерство путей сообщения и другие заведения; ну а если реалист чувствует себя малоподготовленным к таким специальным отраслям знания, если он чувствует призвание быть учителем, законоведом, а доступу нет? Что же остается? Или учиться, сознавая свою непригодность и бесполезность изучаемого лично для себя, или совсем не идти дальше.

Классические языки, видите ли, не позволяют реалистам попадать в университет. Печальный приговор! И когда кончится это идолопоклонство классическим богам? В жертву этим богам принесена целая серия молодежи, а боги все еще не удовлетворены и требуют новых жертв! Борьба классицизма с реализмом превратилась в комедию, и, однако, граф Толстой, Сабуров и классические начала еще процветают на Руси. Сколько раз в печати и обществе поднимался вопрос о непригодности мертвых, отживших и неприменимых к жизни языков. Сколько потрачено бумаги, чернил и труда на громадные споры и по этому вопросу. А вопрос все еще *вопрос*, и ничего более!

Того же числа.

Послал месяц тому назад две статьи в «Голос»: «Одна из главных причин наших народных бедствий» и письмо об урядниках; но до сих пор редакция меня не извещает о судьбе, постигшей эти статьи.

5 апреля 1881 г.

Весна в полном разгаре. Невозможно долго усидеть дома: так и тянет на двор, в лес. Напрасно человек будет с гордостью отрицать, что в наш век чувству нет места в жизни! Когда становишься лицом к лицу с природой, когда чувствуешь дыхание этой природы, ее кипучую вечную жизнь со всем ее разнообразием, с ее борьбой, с ее драмами, то невольно закипает в груди желание жить, желание погрузиться в жизнь природы, уйти из

того мира тепличных идеалов и понятий, который искусственно создал человек для себя, единственно благодаря замкнутости, благодаря удалению от природы. Как ни назовите это желание жить, эту любовь к прекрасному, но что же она, как не чувство, и чувство чуждое животному побуждению. Можно ли на века порвать связь с идеальным миром, с миром фантазии, который порождается непостижимыми тайнами природы? Нет, нельзя! Надо перестать жить, перестать чувствовать, тогда только существо человеческое будет чуждо идеалов. Идеалы нужны в жизни. Ведь только благодаря разрушению идеалов возрождается и расширяется наука. Отнимите идеалы у человечества... из чего же создаст оно новые истины, новые откровения? Нет! Человек должен иметь идеалы, не как аксиомы его существования (нравственного), а как средство над их обломками создавать новые знания, а с ними и новые идеалы. Пока в голове человеческой может зарождаться идея, будут существовать и идеалы! Вне идеалов немислим прогресс, законы и условия общественной жизни и устройства. На идеалах мы воспитывались, с идеалами сжились и умрем с верою в идеалы. Все наши мнения, убеждения — те же идеалы. Пройдут года, и они отойдут в область прошлого, и они будут разбиты, так же безжалостно, как все, до чего касается неумолимый анализ, во имя святой правды доискивающийся истины. То, что мы теперь считаем неоспоримыми фактами (я говорю о фактах из мира идей и убеждений), за что готовы были бы принять мученический венец, все это будет казаться потомству заигрыванием с жизнью, увлечением, незрелостью. Человек умный должен верить в идеалы: ведь они — украшение жизни, без них жизнь — убийство, насилие сильного над слабым, вечная борьба желудка, вечное напряжение мозгов все для того же ненасытного желудка. Разрушайте идеалы, как кричат некоторые тупоголовые философы, и посмотрите, что станется с человечеством. Идеалы ведут нас к достижению самоусовершенствования, самообразования, самоуважения... Отнимите у человека честь, патриотизм, любовь к семье, любовь вообще в смысле нравственного удовлетворения, стремление принести пользу и т.п. идеалы, и что ему останется в жизни? Ползать на четвереньках, кусаться и драться за кусок хлеба, жить только для себя и жить той животною жизнью, как и все остальное, что движется *под луною*. Мне кажется, что исключительно животная жизнь зверей происходит от отсутствия в ней идеалов; *разбейте* в людях эти идеалы, и вот

появятся новые разновидности обезьян. Если стремление к лучшему, как в материальном, так и в воспитательном значении слова, — чепуха, то зачем и жить. Взять револьвер и убить себя. Если любовь к семье химера? Станем резать эту семью. Если государство — *союз сил сильного против слабого*, то остается только заняться убийством. И вот мы видим целый ряд убийств, покушений, целую серию краж, мошенничеств... Чем объяснить их? Искажением идеалов?.. Человек, совершенно лишенный идеалов, не стал бы совершать преступления во имя тех же идеалов. Значит, он исказил идеалы. И факты действительной жизни подтверждают это. Политические убийцы открыто кричат, что они совершают убийства и разбой во имя *социальных идеалов*. Юханцев¹ обворовывает банк тоже во имя идеалов... Ландсберг² тоже совершает убийство благодетеля и открыто проповедует свой идеал по части чужого кармана... Везде идеалы и идеалы. Что же, спросят меня, лучше ли было бы, чтобы совсем не существовали идеалы или чтобы существовали искаженные, изломанные? Не скажу, что желательно — лучше лишиться совсем идеалов. Это желание было бы абсурдом... Искаженные идеалы, как и всякая ненормальность, не могут долго существовать. Прогресс ищет и стремится к правде, и во имя этой правды должны пасть ложные идеалы. Они непременно принесут свою пользу, опять-таки в силу того вечного закона, что ничто в мире не появляется и не исчезает бесполезно. Самое зло, являющееся с человеческой точки зрения бесполезным, с точки зрения общемировой жизни — необходимо. Люди восстают против войн, убийств, анархистов, разбойников. Но они необходимы, потому что, не будь их, не были бы те законы, которые вызываются ими, не было бы того негодования, которое порождает их истребительные последствия. Убийство нашего Государя ужасно, невыносимо... Но оно сделало против тех же анархистов, которые совершили его, более, чем все те меры, которые против них предпринимались до сих пор: оно возбудило всю Европу, наполнило негодованием все то, что может в ней благородно негодовать, и дорогая наша жертва принесена, быть может, для спокойного будущего целого мира. Страшно выговорить, что подобная жертва могла быть необходима; но ведь для

¹ Юханцев Константин Николаевич — кассир Общества взаимного поземельного кредита (Спб.); за пять лет, с 1873 по 1878 г., похитил 2 миллиона 537 тыс. руб.

² Ландсберг Карл Христофорович (1853–1909); дело Ландсберга нашло отражение в творчестве Ф. М. Достоевского.

законов природы, для законов жизни Вселенной все равны — и царь, и его подданный, и его враг, и его убийца. Мы вынесли страшный урок; но он не пройдет для нас и для будущих поколений бесследно. Мы научились презирать то, что прямо противоречит здравому смыслу; мы научились ненавидеть так же сильно, как и любить!

Смерть царя разбила в нас многое и создала многое. И враги и друзья соединились вместе, повинувшись одному влечению к правде; накипевшая в нас грязь сразу спала; все еще оставшееся хорошее всплыло наружу. Многие не узнали себя. Вчера еще отрицался патриотизм, а после 1 марта он вдруг, к удивлению некоторых, у нас оказывается. Религия, которую сдали было в архив, снова появилась как знамя во главе народного движения. Все слилось, без различия убеждений и положений, в одну общую молитву, в одно общее желание. Замолкли, побледнели интересы дня, замолкли голоса и фразы, раздававшиеся на столбцах газет и журналов. Казалось, вся Россия благоговейно и молча склонилась перед роковой жертвой под силой ужасного удара. Все, что было разрознено, сплотилось. Вчера еще у нас не было общества — сегодня оно явилось; вчера еще каждый, как крот, зарывался в грязь и тину своих интересов, а после 1 марта все стало понимать иные цели и жить также и высшими интересами, одними благородными желаниями!..

Еще накануне Европа кидала в нас грязью, а теперь она же с удивлением смотрит, как поднимаются у нас народные массы в защиту своего царя, как все единодушно стремимся к одной цели, с одной мыслью, как у Престола собирается вся Россия и с верой ждет только одного слова нового царя, чтобы одним ударом покончить с крамоллой. Но царь не скажет этого слова! Он умеет прощать; он не хочет народного самосуда; а ему ведь стоит только сказать слово, и все, что может принести ему вред, исчезнет. 1881 год — повторение 1812 года. Затронут народ, его лучшие верования, его симпатии, и он ждет только знака, только намека. И горе чахлому социализму, горе шайкам непризнанных и непрошенных реформаторов, горе им! Одно могучее движение негодующей груди восьмидесятиллионного народа — и минуты их сочтены! Но царь решился путем мирных реформ задуть крамолу, путем пересоздания России, особенно ее молодой части. Государь прямо высказался в этом духе, и все ждут его дальнейшего слова, его реформ, как ждут исцеления заболевший и умирающий — от врача.

Выше я сказал, что у нас после 1 марта обнаружилось общество. Факт и радостный и печальный в одно и то же время. Факт этот ясно говорит, что для того, чтобы создать, пробудить русское общество, нужны сильные средства, так как организм его истощен и слишком привык к лекарствам. Общество уже теперь начинает понемногу расплзаться и снова разрушаться: толчок с его ощущениями прошел, и каждый торопится наверстать потерянное время... Я убежден, что через месяц в России снова исчезнет это вдруг появившееся общество, исчезнет до нового толчка. Но не дай Бог этих новых толчков! На время восстанавливают они угасающую жизнь больного... а там опять — забытье, бред, горячка... *Chacun pour soi et Dieu pour tous*¹ — вот девиз нашего общества. Ну, да Бог с ним!

— Вы к какой партии принадлежите? — спросил меня год назад один из студентов, встретившись в захолустье на вечере.

— Ни к какой, — отвечал я ему.

— То есть как же это?! Вы серьезно?!

— Совершенно серьезно!

У нас в России сейчас мерещатся партии, каждый присоединяет себя к партии, даже дамы имеют свои партии. На партии мода. Я же противник моды; не потому ли и изъят я из партии? Клерикалы, либералы, консерваторы, экономисты — задохнешься, а всех не перечесать. Подумаешь, что Россия — какая-то страна партий, разрывающих друг друга. Нет, у нас в большинстве случаев каждый русский — отдельная партия, я русский, следовательно, и я отдельная партия. Сомнительный силогизм; но в чем мы не сомневаемся.

До сих пор мне всегда удавалось стоять особняком от всех партий. Положение ненормальное; но ведь я уже давно привык смотреть на себя, как на какую-то ненормальность. Впрочем, я уверен, что таких ненормальностей, как я, в настоящую эпоху много. Иначе и быть не может.

Дружба ведь та же партия. А я и к этой партии никогда не принадлежал. Но и в отношении моего *положения особняком* тоже есть разница с людьми, равными мне в том же отношении. Те, если и не принадлежат к партии, то стремятся создать эту партию, хоть в воображении, а я — нет.

¹ Каждый за себя, один Бог за всех. (*фр.*)

Часто приходит мне на ум мысль: переменюсь ли я в будущем настолько, чтобы искать сближения? Ведь я до сих пор еще не любил, а только влюблялся. Не переделает ли меня любовь, как переделывает многих? Но всякая переделка для меня заключается в одном слове: опошлиться. Итак, опошлюсь ли я или нет? А если опошлюсь? Ну, туда мне и дорога... Значит, не стою я внимания, не стою сожаления. Но разве любить и пересоздать себя во имя любви — значит опошлиться? И *да*, и *нет*. Любовь законная, по правилам, освященным преданиями и заветом предков потомкам, — какая мерзость! На такую любовь я не способен... Она требует нравственной ломки, уменьшения свободы во имя животного чувства. А свободу жизни, свободу чувства я люблю и не соглашусь утратить. И в любви я требую свободы; мне не нужна раба: рабу я могу купить себе каждый день. Я хочу любить так, чтобы каждый вздох любви свободно вылетал из груди, чтобы угасшая любовь не влекла бы за собою необходимости тяготиться ею: я хочу свободной любви, которая пылает сегодня и угасает завтра, не требуя жертв, каких дать ей я не могу. Итак, пересоздаст ли меня такая любовь?! Нет, не пересоздаст!.. Что же пересоздаст меня?!

25 апреля. Гольшаны

Ирландский вопрос¹, судя по газетным известиям, приходит к концу. Существует проект ввести судебные учреждения как примиряющую почву между фермерами и лендлордами. Будет ли польза? Насколько я знаю из положения дел, почетные должности судей заняты и замещаются все тем же привилегированным сословием. Справедливо ли и логично ли право суда передавать в руки одной из заинтересованных сторон? Результаты можно угадать заранее. Ирландский вопрос есть вопрос о куске хлеба, есть вопрос жизни и смерти для ирландцев. Владельцы земель тянут из страны все соки и проживают в Англии, не поддерживая торговли Ирландии. Оценка участкам земли произвольная и увеличивалась с каждым годом произвольно. Фер-

¹ 2 марта 1881 г. английской Палатой общин был принят закон о введении в Ирландии военного положения в связи с развернувшейся в ней своеобразной крестьянской войной; для удовлетворения требований ирландского крестьянства правительство приняло земельный акт, сделав определенный шаг навстречу требованиям ирландского крестьянства установить законодательные гарантии аренды.

мер, не могущий платить своему хозяину произвольно требуемую сумму, становится нищим. Понятно раздражение народа, которому в самом худшем исходе борьбы все же предвидится улучшение, перемена положения.

Франция, как кажется, решила превратить Тунис в вассальную страну; так, по крайней мере, только и можно объяснить ее воинственную политику, которую она проповедует будто бы для усмирения крумиров¹. Подкладка видна ясно. Италия делает гримасы, но пока молчит, да едва ли вступится, так как у нее нет достаточно сил. Англия ждет, что будет. Только Германия начинает шевелиться и готовится заранее, чтобы быть в возможности быстро мобилизовать громадную армию. Очевидно, что Германия зорко наблюдает за соседкой.

Легко может случиться, что война Франции с Тунисом превратится в общеевропейскую потасовку.

Недавно умер в Англии лорд Бэконсфильд², глава воинствующей партии, которая вовлекла Англию в неудачные войны и в печальные политические осложнения.

1. Должна ли Церковь быть тесно связана с правительством? Нет. Чем самостоятельнее будет Церковь, тем польза, ею приносимая, будет больше. Правительство само по себе, и Церковь сама по себе. Действия их должны быть свободны от взаимного влияния, при общности цели — благе России.

2. Отчего в настоящее время чувствуется упадок Церкви? Оттого что нет церковнослужителей, которые умели бы поддерживать ее значение на надлежащей высоте. Разве может быть хорошо усмотрено стадо, когда нет хорошего пастыря?

3. Отчего нет хорошего духовенства? Оттого что нет хороших заведений, которые подготовили бы хороших и полезных деятелей.

Как можно исправить зло? Надо создать заведения, которые приготавливали бы истинных пастырей. Пока священниками будут те же, которые и теперь находятся, дело не подвинется вперед.

Современное духовенство — истинное зло, которое только распеваает народ. Монастыри — притоны лентяев, тунеядцев. Реформа в этой области положительно необходима.

¹ В 1881 г. Франция навязала Тунису свой протекторат.

² Бенджамен Дизраэли, граф Биконсфильд (1804–1881).

Имеют ли животные душу? Смотря по тому, признавать ли душу в человеке. Если признавать, то животные имеют ее; если же человек не одарен душою, то и животные не одарены ею.

Первые шаги нового царствования ознаменовались сокращениями государственных расходов. Так, отставные министры Маков¹, Ливен², Сабуров³ уже не будут получать в отставке министерское жалованье (26, 24 тысячи в год), а только по 10000, а Сабуров только 6000.

В обществе говорят о перемене формы (особенно в гвардии), об увеличении доходов с казенных земель, отдаваемых в аренду... Одним словом, Александр III решился прежде всего залечить нашу рану — безденежье, недостаток средств. С благодарностью в душе прочитал я эти мелькающие и неясные намеки в газетах. Даст Бог, будут средства, будет и возможность помочь народным голодухам, повальным болезням. Золотая гвардия — игрушка, прихоть — слишком дорого стоила государству.

Я слышал, что Государь сам живет очень просто, не любит сорить деньгами, что он — образцовый семьянин и хороший отец: одним словом, живой пример для двора и подданных. Государь теперь переехал в Гатчину, где прежде была резиденция Императора Павла. Говорят об отставке военного министра. Вместо Сабурова назначен барон Николаи⁴, который уже сказал одну бесцветную речь. Министром Государственных Имуществ назначен граф Игнатъев⁵, бывший посол.

Ахалтекинская экспедиция⁶ кончилась, так как главный вожак текинцев изъявил покорность генералу Скобелеву.

¹ *Маков Лев Саввич* (1830–1883) — министр внутренних дел России с 1878 г., министр почт и телеграфов с 1880 г.

² *Ливен Андрей Александрович* (1839–1913) — министр государственных имуществ с 1877 г. по февраль 1882 г.

³ *Сабуров Андрей Александрович* (1837–1916) — министр народного просвещения в 1880–1881 гг. На торжестве в Петербургском университете один студент дал министру пощечину, и тот ушел в отставку.

⁴ *Николаи Александр Павлович* (1821–1899) — товарищ министра народного просвещения с 1867 г., с марта 1881 г. — министр.

⁵ *Игнатъев Николай Павлович* (1832–1908) — министр внутренних дел в 1881–1882 гг.

⁶ Военная операция Русской армии по покорению племен текинцев, живших в Туркмении, проведенная в 1880–1881 гг.

Поляки здесь всё ждут каких-то реформ для себя; но узнать о их надеждах мне не удалось: они всё скрывают.

Местечко, в котором я живу, в прошлом месяце было удивительно событием: на местном кладбище разрыты две могилы, причем у одного ребенка отрезаны и унесены руки. Говорят, что в народе существует поверье, будто эти руки мертвеца помогают вору совершать разные взломы и т.д.: «Стоит шесть раз пройти кругом дома, и все будут спать *как убитые*». Но дело в том, что все это прошло бы втихомолку, по недостатку улик; да кто-то возьми и напечатай в «Голосе». Понятно, сейчас запрос властям, и поднялось уголовное дело. Кто написал заметку в «Голос», не знаю; но все здесь уверены, что это дело рук моих, так как почтмейстер подтвердил, что я отсылал какие-то статьи и вел переписку с редакцией «Голоса». Напрасно я открещиваюсь: мне в ответ только сомнительно ухмыляются. Гоголя бы сюда и его *смех!*

Сегодня является ко мне местный ксендз и просит написать статью в «Правительственный вестник» о каких-то притеснениях, которые ему приходится терпеть от властей. При этом тонкий намек на денежное вознаграждение. Конечно, я с отвращением отказался. Вот картинка местных нравов.

Итак, я слышу газетным сплетником! Печально. Только верна ли пословица «Голос народа, голос Божий»? Ведь уверены же все, что я писал в «Голос», и хоть кол на голове теши — не разуверишь! О, богоспасаемая провинция! Везде-то чудится тебе донос, начальство! Верно, рыльце-то в пушку.

Третьего дня (вмч. Георгия) приходит местный батюшка к ксендзу и просит, чтобы он в этот день не открывал костел. Батюшка мотивирует это тем, что праздник храмовый и народ все то, что понес бы в дар ему, батюшке, понесет в костел, к ксендзу. «Прошлые годы все ксендзы соглашались на это», — добавляет он. Ксендз, конечно, рад посмеяться над батюшкой и нахально отказывает ему, приправляя отказ разными едкими намеками... Неделю тому назад батюшка просил 600 руб. у ксендза на постройку дома; но и в том ему отказали. Грустно, гадко!

Разматривая газеты, я наткнулся на такой софизм: «По тесной, неразрывной связи между Церковью и Государством в России, все вредное Православной Церкви вредно и нашему православному государству, а все полезное первой, полезно и второму». Правда ли это? Выше я высказался по этому вопросу.

Ищу напрасно темы для статьи, для литературного труда. Я так еще мало жил, так мало сталкивался с людьми, так мало знаком с ними, что материалов нет, а лгать и выдумывать не хочу. Буду искать темы, когда приеду в Вильно. Буду бывать везде, где до сих пор не любил показываться, единственно с целью запастись материалом.

Мне часто кажется, что, будь у меня средства, я бы не был тем, чем теперь. Из меня могло бы выйти действительно нечто порядочное, самобытное. А самобытного во мне много! Нет только законченности образования... Съездить бы на несколько лет за границу и там присмотреться к жизни и к людям, а затем вернуться на родину и посвятить ей свои способности, труды и знания — вот моя заветная мечта. Нечего говорить, что ее исполню, эту мечту, рано или поздно, хотя бы даже для ее исполнения понадобились большие жертвы. До сих пор я добивался до всего, чего желал; правда, все это были ничтожные задачи... Сил своих на более трудных целях я еще не пробовал... Но в себе почему-то уверен.

Последние годы почти не помню себя в хорошем, нормальном расположении духа. Причина — постоянное расстройство здоровья. Бывают минуты, когда ужасно хочется быть здоровым, чтобы мозг работал хорошо, чтобы было больше физических сил, чтобы работа шла не какими-то лихорадочными прыжками, а так же спокойно и ровно, как складываются мысли в голове нормально здорового человека. Садись за работу... но мысль, как нарочно, бежит прочь, и вместо связного изложения — исписываешь листы бумаги совсем не тем, чем хотел. Отсюда, быть может, и то недовольство своими литературными попытками, которое во мне загорается каждый раз, когда надо поставить в работе последнюю точку. Я чувствую, что при теперешнем состоянии нервной системы моего организма, не внесу я своими трудами ничего нового в литературу! Но, что я призван сделать что-нибудь великое на земле, я убежден, не смотря на то, что в материальном отношении я в данную минуту — ничтожество. Это убеждение, наконец, это желание быть великим не покидает меня ни на миг.

К стыду должен сознаться, что не одно только желание быть полезным подвигает меня по избранному мною пути. Нет, скорее это честолюбие, самолюбие, жажда славы, все что хотите, но только не одни чистые желания. Мне стыдно в этом сознаться, но перед заметками — моим другом — не могу и не хочу лгать...

Один из главных пороков моих — *честолюбие*. Оно растет с годами. От кого перенял я этот порок, не знаю; но какая-то гордость наполняет порою мое нравственное существо. Я стараюсь это объяснить самоуважением. Ради любви к самому себе, к своей личности, я хочу поставить эту личность на такую высоту, чтобы она могла не только делать добро, но и быть неизмеримо выше толпы. Толпу я презираю, и стать выше ее путем личного труда, личных заслуг — вот что удовлетворило бы меня!

При моем взгляде на жизнь, на почести, на службу, которые я, кажется, уже приводил в моих записках, может показаться противоречием это стремление к тому, что презираемо. Но если в жизни можно добиться хорошего только путем уступок, отчего не сделать их? Чины, ордена, низкопоклонство, чиновничество я презираю; но употребление всего этого как средства для достижения своей цели — допускаю. *Цель оправдывает средства!* Это иезуитское правило поносится всеми; а между тем весь мир и живет, и будет жить, неизменно проводя это правило в жизни. Уступки нужны, но уступки, при которых нравственная сторона человека не страдала бы. Я могу добиваться чина без всякой подлости, не унижаясь, не прося. Я могу делать уступки, где надо, не приступая к сделкам со своей совестью. Все объяснит одно слово — необходимость. Военная служба как нельзя больше способствует такому образу действий. В ней можно избежать лакейщины и твердо отстаивать свою личность, не задевая сотни мелких честолюбив, зависти и пошлостей.

Для меня еще вся жизнь впереди, и мое слово еще не сказано в этой жизни, и сам я пока не знаю этого слова. Но что я его скажу, и скажу назло всем мнениям, всему окружающему, в этом клянусь!

— Почему у вас так плохи дороги? Мосты проваливаются, гатей нет, грязь по ступицу? — спрашивает меня посредник К.

— А потому, что у нас ни губернатор, ни архиерей не приезжают, — отвечаю я.

В последнее время у нас появилась мания ставить памятники. Началось с памятника Пушкину, хотят поставить такие же Гоголю, Глинке, Рубинштейну и др. И это когда же? Когда на-

род с голоду умирает и ест, как животные, древесную кору и мох? Ну, не дети ли мы!..

В бытность мою в последний раз в Вильне читал статью, за которую закрыты «С.-Петербургские ведомости»¹, а редактор привлечен к суду. Насколько помню, заглавие этой статьи «Впечатления и мысли русского офицера по поводу события 1 марта». Подписано: «Артиллерист». Статья написана, как видно, человеком простым и под впечатлением минуты. За что закрыты «С.-Петербургские ведомости» — не знаю; не за намеки ли в статье насчет свиты и высшего начальства? К стыду, приходится сознаться, что в статье этой, если откинуть ее экзальтацию, есть много правды. Бедный, бедный Государь!.. «Молва» закрыта. «Голосу», «Новому времени» и еще «Новостям» сделано предостережение по поводу якобы неосновательных и дерзких отзывов о высокопоставленных лицах (Ливен, Маков?).

В бытность мою в Вильне слышал о многих арестах. Говорили, что арестован один офицер Троицкого полка². Но никого из арестованных не знаю. Рассказывали, что граф Тотлебен³ посетил женскую гимназию, где присутствовал на уроке русского языка. Учитель объяснял о «Скупом рыцаре». Что мог он сказать на эту тему неподходящего — не знаю, только он сейчас же был уволен.

Преподавателю словесности в Виленском реальном училище Шолковичу приказано было собрать тетради по русскому языку старших классов; и тетради эти отосланы в Петербург. Очевидно, на молодежь и на то, чем набивают ей голову, обращено должное внимание. Пора! Преподаватель реального училища Чирьев⁴ выслан из Вильны административным

¹ Постановление гласило: «1881. 16 марта. На основании ст. 56 прил. к ст. 4 (примеч.) Уст. ценз., Свод. зак. т. XIV, по продолж. 1876 г., министр внутренних дел определил: за нарушение в передовой статье № 72, в передовой же и следующей за нею статье, озаглавленной “За неделю”, № 73 газеты “Молва” и в фельетоне № 72 газеты “С.-Петербургские ведомости” распоряжения, объявленного редакторам бесцензурных периодических изданий 4-го сего марта, — приостановить издания газет “Молва” и “С.-Петербургские ведомости” на один месяц».

² 107-й пехотный Троицкий полк — воинское подразделение Российской императорской армии в составе 27-й пехотной дивизии.

³ *Тотлебен Эдуард Иванович* (1818–1884) — 18 мая 1880 г. назначен генерал-губернатором в Северо-Западный край (виленским, ковенским и гродненским генерал-губернатором); командующий войсками Виленского округа. В этом качестве прослужил недолго. Уже в 1882 г. был вынужден выехать за границу для лечения.

⁴ *Чирьев Иван Иванович* — учитель математики; состоял в должности с 20 сентября 1879 г.

порядком. По поводу его высылки, как рассказывают, были даже беспорядки. Ученики его очень любили, многие даже плакали. Устроили шум в училище, требуя директора, и овацию на вокзале Чирьеву, несмотря на присутствие начальства. Что была за личность г. Чирьев, не знаю. Я его раза два встретил у одного знакомого, и он, по наружности, мне не понравился. За что он выслан, тоже не знаю. Бумага была получена директором во время классов, и Чирьеву даже не позволили идти на следующий урок и проститься с учениками. Во всем этом какая-то тайна; но г. Чирьев мне всегда казался ничтожеством, и способным к чему-нибудь особенному я его никогда не считал.

Прекрасно слово, сказанное в Вильне в соборе преосвященным Александром¹ по поводу злодейства 1 марта!.. Это образец духовного красноречия — как по форме, так и по чувству, которым проникнуто. Бывшие в церкви не могли вполне насладиться им, так как преосвященный не мог громко говорить от слез, но впоследствии оно появилось в «Виленском вестнике». На днях в этом же органе читал я проповедь одного ксендза, присланную им самим (!) в редакцию. Редактор приходит в умиление, а по моему мнению, проповедь крайне глупа, так как ксендз в ней старается объяснить мужикам (не горожанам, которые более подготовлены и развиты, а мужикам, да еще литовцам), что такое социализм. Есть и удачные места, но их мало. Мой сосед, ксендз, пришел в волнение, читая эту проповедь, и при этом сообщил несколько скандальных подробностей из далеко не безукоризненного прошлого автора. Замечательна способность католического духовенства окачивать грязью своих же собратьев по рясе. Я до сих пор не слышал от ксендзов ни одного более или менее приличного беспристрастного отзыва о своих же ксендзах. Вечно — сплетня, самая *помойная*, сама низкая. Или, может быть, это только мне поверяются тайны известного содержания, с известным *букетцем*? Но ведь я еще в начале нашего знакомства открыто заявил об отвращении к подобным сплетням.

Не знаю почему — вспомнилось мне пребывание в юнкерском училище. Набросаю, для памяти, несколько очерков, эскизов.

Чуть брезжит утро. Свет, прорываясь в окна, освещает ряды кроватей и на них неподвижные фигуры. Громадный дортуар

¹ Александр (Добрынин; 1820–1885), архиепископ Литовский и Виленский с 1879 г.

тонет во мраке. Кое-где раздаётся бред, бормотанье. Дневальный приготавливается к утру и снимает шинель.

Барабан. Повестка. При первых же звуках начинается движение на кроватях. Все будто воскресает. Из-под одеял высовываются носы, головы, открываются и закрываются глаза. Но через минуту или две, по пробитии повестки, все снова спит... Еще остается четверть часа до зари. Но вот и заря... У, как холодно, неприятно вставать из нагретой постели... А барабан бьет и рассыпается в трелях. Вот сейчас пробьет он последние такты. А все еще лежишь и нежишься. Усталые члены еще бы желали отдыха. Барабан замолк. «Господа, вставайте, вставайте!» — слышится взволнованный голос дежурного и дневального... Стаскиваются одеяла, вырываются подушки... В ответ на это несется с кровати брань, а иногда и сапог, пущенный наугад и попадающий в дремлющего товарища. Брань, шум. Многие одеваются... «Дежурный офицер!» — доносится с коридора испуганный шепот дневального. Вы поднимаетесь.

Умывальная... Два громадных водоема с десятками кранов. Около окон стоят скамьи; над ними жестяная кастрюлька с ваксой. Все сначала чистятся, а потом моются. Толкотня, давка: всякий хочет скорее добиться до кранов, а надо ждать очереди... Слышатся крики: «В затылок!» (Значит, я сейчас на очереди за таким-то — специальное юнкерское выражение, от которого пахнет казармой.) Счастливицы, раньше вставшие, полощутся, как утки. От работы щетками в воздухе раздаётся какой-то особый шорох... Весь воздух заражен табачным дымом.

Столовая. Столы расставлены вдоль стены; каждый стол для десяти человек, старший — одиннадцатый. Посреди — стол для дежурного офицера. Юнкера входят рядами и становятся у столов, против своих мест. 1-я рота — у правой стены. 2-я — у левой. Вводятся арестованные под конвоем дневального. Молитва поется всеми. Затем сигнал, и всё с шумом и ревом садится и принимается за обед, который обыкновенно состоит из щей (супа) и каши. По воскресеньям пироги со старой говядиной или рисом. За столами подается квас. Хлеба ест всякий столько, сколько пожелает; суп — тоже. После обеда роты тем же порядком уходят.

Встают в семь часов утра (зимою). Чай. В восемь часов по барабану в классы, на уроки. В одиннадцать с половиной часов перемена, после нее еще один урок (утром четыре урока каждый день). В час — строевые занятия, до трех. В три — обед. До пяти с половиной часов время свободно, если нет фехтова-

няя; в пять часов еще один урок до шести часов. В семь часов поверка. В одиннадцать все обязательно ложатся спать.

Вот и весь ход юнкерской жизни, и *таким манером* изо дня в день. Шесть с лишним месяцев выносил я эту жизнь, и выносил терпеливо; когда-нибудь расскажу о ней подробнее.

26 апреля

В последнее время — как в обществе, так и в литературе — снова поднят крестьянский вопрос.

Толкуют: 1) о недостаточности крестьянских наделов; 2) о том, что крестьянские общества должны сооружать банки для закупки у частных владельцев земли для крестьян; 3) хотят волостные правления обратить в учреждения, которые помогали бы подъему заработной платы мужика и т.п.; 4) на вопрос, откуда же взять землю для увеличения наделов, указывают на помещичьи и казенные земли; 5) наконец, предлагается переселить избыток населения одних губерний на свободные казенные земли других.

Русские нигилисты-революционеры воспользовались этим брожением и пустили в народе слух, что крестьянам будут даны дополнительные наделы. Правительство, конечно, поспешило успокоить брожение, выслав печатные удостоверения, что никаких дополнительных наделов дано не будет (такое объявление и по сю пору вывешено у дверей местной гольшанской церкви). Многие даже решаются вздыхать о крепостном праве. Вообще в головах радетелей о нуждах крестьянских воцарился сумбур.

Отчего же прежде крестьянин, в крепостном состоянии, мог управиться со своими податями и случаи недоимок были реже, чем теперь, после 19 февраля? 1) Крестьяне отдавали помещику прежде больше, чем платят теперь повинностей казне. 2) Доходов за заработки теперь более.

Если же крестьянину теперь трудно платить подать, то это потому, что ему неоткуда взять помощи в случае, если появится застой в хозяйстве или работе. Прежде крестьянин не был подвержен таким случайностям, как теперь. У него был помещик, который в своих личных выгодах входил в его положение.

Причины недоимок остались те же самые: 1) болезнь членов семьи: недостаток рук для обработки земли; 2) падеж скота: лошадей и коров и проч.

Не столько обессиливают крестьян падежи, как подобные случайные расстройтва в хозяйстве.

При крепостном праве помещик волей-неволей входил в быт мужика, понимая, что всякое насилие, внесенное в материальную сторону этого быта, больно отзовется на собственном кармане владельца: он только и пострадает. Следовательно, прямой выгодой было не допускать мужика до разорения.

Что же существует теперь у нас?

Падет ли лошадь у мужика, захворает ли член семьи, отняв нужные рабочие руки, — никому нет дела: плати подати как знаешь.

Подати у нас раскладываются миром, т.е. целым крестьянским обществом. Мысль хорошая потому, что при такой раскладке подати распределяются равномерно. Отчего же мир и не взыскивает этих податей сам? Вот где загадка. Взыскиваются подати чиновниками, и каким варварским образом!! Приказано, положили к известному сроку собрать подати. Сказано — сделано. Начинается сбор, а с ним и плачь, и вой по деревням. Сборщикам нет дела, что мужик не может уплатить подать просто по невозможности. Тащи его последнюю корову, лошадь, продавай его домашнюю рухлядь. Чем меньше недоимок будет к известному сроку, тем лучше. А недоимки, несмотря и на все эти сборы, существуют и будут существовать.

Отобрана и продана последняя надежда крестьянской семьи — лошадь — на уплату недоимок. Останься эта лошадь у мужика, с ее помощью он мог бы в следующие годы поправить свои дела; а отнята лошадь — отнята и надежда. Что же выходит? А вот что: на следующий год крестьянин опять не может заплатить подати, и к прошлогодним недоимкам прибавляются еще новые; и так дальше, без конца. Наступает для мужика период разорения. А было ли бы это так, если бы начальство снизошло до его нужд, справилось, по чьей вине они произошли, и если произошли они не по его вине, а в силу сложившихся обстоятельств, то дано было бы ему время оправиться, оставив средства к тому. Большинство недоимок было бы заплачено немного позже, но я уверен, аккуратно. Но чиновничество и тут заело нас, и тут страдает мужик... А что бы стоило завести в крестьянской же среде такие учреждения, которые при взимании податей вполне входили бы в быт мужика, разбирали бы причины его неудач и помогали бы ему при уплате недоимок, если невозможность внести подати зависела бы только от не-

счастливых случайностей, а не от личных пороков плательщиков — пьянства, лени и т.п.

Как помещику было выгодно в видах личных интересов входить в материальные интересы крестьян, так и всякому обществу, очевидно, полезно иметь в своей среде приносящих пользу, хороших членов, чем разоренных нищих, которые только увеличивают общий процент общественных *трутней* и экономические неурядицы, которые всецело падают на то же общество, которое позволило им так низко опуститься.

Если в каком-нибудь уезде недоимка с каждым сбором податей продолжает накапливаться, то не показывается ли это прямо как ненормальное явление? Мысль эта окажется верною, если сравнить сбор податей в соседних уездах, где все подати из года в год уплачиваются исправно; а между тем средства для уплаты податей даны крестьянину везде одинаковые... Разница же в результатах происходит от манеры (если можно так выразиться), от способа сбора недоимок и от тех лиц, которым это поручено.

Нельзя не указать и еще на некоторые печальные стороны сбора недоимок. Для этого существуют особые сборщики. Но что такое сборщик податей? Это обыкновенно безграмотный ленивый субъект, получающий мало вознаграждения за свой труд и который к тому же чужд сострадания к своему же собрату, и чужд потому, что действует по воле *высшего* начальства и его именем. Бывали случаи растраты сборщиками собранных с крестьян податей... Не далее как в позапрошлом году проник в печать слух о таком происшествии; но его поспешили замять. Чем же кончаются такие растраты? А просто тем, что сборщик, проливая кошачьи слезы, кланяется миру, просит прощения... А тут еще и поддержка предержавших властей. В конце концов, мужик платит вторые подати, и платит, как должное. Жаловаться? Но кому же и на кого? И платит мужик и разоряется.

Случается так, что начальство входит заранее в сделки со скупщиками хлеба, скота, которым поневоле продает мужик за бесценок свое хозяйство: и начальство довольно, и скупщики нажились... А мужик? Э, да он и еще может заплатить, не такие он виды видывал! Прижмите его, так еще найдутся трудовые гроши, да и руки висят еще, и силы еще есть... Ну, так и жми его, души его.

Расстраиывают правильные платежи податей и задержки в работах особенно в тех местностях, где главный доход крестьянин получает путем работы на стороне. Одной из причин

недоимок являются и неурожаи, увеличившиеся в последние годы в полосе нечерноземной. Климатические условия тоже влияют на процент недоимок.

Чем же можно помочь горю? Не помню где, но мне случилось встретить мнение, что дело может быть поправлено: 1) устройством крестьянских ссудосберегательных касс и 2) переселением.

Ссудосберегательные кассы нужны только в том отношении, чтобы они помогали народу (крестьянину) при взимании податей, только в самых его насущных хозяйственных нуждах. Деньги в этих кассах будут иметься из Государственного банка и от земства.

Выдача пособий (размер пособий и необходимость будет определяться особыми комиссиями, составленными из представителей бюрократии и земства) нуждающимся будет производиться при ручательстве сельских обществ, которые и отвечают за своевременную уплату долга и рациональное, разумное употребление занятых денег. Вводя между крестьянами подобные учреждения, можно надеяться, что случаи недоимок и грубое насилие, явно разоряющее народ, будут уже встречаться как исключение.

Теперь несколько слов о переселениях. Мера эта желательна. Дело в том, что населенность уездов и губерний не всегда одинакова. Следовательно, и распределение земли и доходов не всегда одинаково.

В редко населенных местностях некоторые участки земли совсем не обрабатываются, что дурно влияет на рядом лежащие обработанные полосы. Впрочем, в губерниях черноземной полосы земля вся обрабатывается, что объясняется ее качеством и ненужностью удобрения по свойствам самой почвы. Очевидно, если на имеющиеся вакантные участки переселить жителей густонаселенных местностей, которым трудно управляться с податями, именно вследствие этой густонаселенности, то результаты очевидны. Уменьшение же жителей в уезде увеличивает в нем количество земли. Кроме того, переселением из густонаселенных в малонаселенные участки уменьшается необходимость избытку населения искать себе работу на стороне. Чем реже население, тем цена участков земли меньше; и наоборот, чем гуще, тем земля дороже. Причина — спрос и необходимость, потому что крестьянин без земли пропал. Приобрести участок земли в густонаселенной местности, вследствие высокой цены, крестьянин не может (это мы видим в губерниях чер-

ноземных); но получаемое и из земли не окупает податей. В губерниях нечерноземных земли много, но есть участки, которые не могут приносить доход по негодности или по необходимости серьезной их обработки.

Из всего сказанного видно, что переселение желательно. Но не такое переселение, как в последние годы у нас практиковалось, когда крестьяне, без всяких сведений и на последние скудные средства, решались отправляться искать счастья. Результаты почти всегда были печальны.

Переселение должно совершаться на средства сельских обществ и со строгой осмотрительностью. Пособия для переезда и для первого обузаведения хозяйством должны быть выдаваемы из вышеупомянутых мною ссудосберегательных товариществ за поручительство сельских обществ, причем должны быть допущены и рассрочки уплаты долга.

Выше я упомянул о ссудосберегательных товариществах. Такие товарищества у нас существуют; но почему о них ни слуха ни духа — не знаю. Насколько мне известно, целью ссудосберегательных товариществ, которые существуют теперь, было дать крестьянам возможность занимать деньги для покупки участков земли. В этой цели и заключается приговор над этими учреждением. Зачем ограничивать так резко и необдуманно поле крестьянских нужд?

Говоря о налогах, нельзя умолчать о податной реформе. Еще недавно о ней кричали во всех газетах и журналах. Теперь же она перешла на почву государственную и серьезно разрабатывается. Насколько мне известно, эта реформа должна уничтожить подушную подать, т.е. плату по числу членов семьи. Когда осуществится эта реформа и осуществится ли — неизвестно.

В черноземных губерниях вырубка лесов увеличилась с проведением железных дорог. Вред от этой вырубки: 1) вырубленные места не зарастают вновь лесом, по причине пастьбы скота; 2) годные для земледелия вырубленные места не могут быть расчищены по недостатку средств у владельцев; 3) вырубки на возвышенностях с песчаным грунтом приносят вред тем, что вода, бегущая с таких возвышенностей, сносит песок и сор на участки с возделанной землею.

Вот некоторые характеристические следствия рубки лесов, кроме тех, о которых я как-то уже упоминал.

Оригинально сопоставление переселения у нас и в Ирландии в настоящее время: у нас народ жаждет переселения и не может переселиться; в Ирландии земледельцы хотят переселения, а народ сам не хочет его. Спрашиваю здешнего ксендза: «Почему вы не едете в Вильну в понедельник?» — «А понедельник — тяжелый день: поеду или в воскресенье, или во вторник». И тут суеверие, тьма, предрассудок! А ведь, кажется, умный и образованный человек!

Крестьяне несут в костел так называемые оферы — хлеб, булки, лен и т.п. Как я слышал, на первой неделе Пасхи все хлебы были с положенными внутри красными яйцами.

Ксендз хочет строить богадельню и для этого выпросил у окрестных помещиков дров, лесу. Жида подняли гвалт и уверяют, что он хочет строить (т.е. конкурировать с ними) кабак. Отчасти они правы, потому что к богадельне он хочет пристроить комнату, где бы собирался народ, сопровождающий свадьбы, для закусок. Мысль та, чтобы свадьбы не попадали бы из костела в кабак.

В настоящее время все общество заинтересовано процессом поручика Миллера, который был засажен совершенно здоровым в сумасшедший дом (кажется, на шесть месяцев) по распоряжению начальства. Миллер обещает на суде выяснить как придирки к нему начальства, так и мотивы, по которым, он, будучи в полном сознании, был лишен свободы.

Замечательна ненависть столичной черни к студентам. Каждый раз, когда проходят какие-нибудь беспорядки, в которые вмешивается полиция, толпа народа ждет выхода студентов, чтобы, как выразилась одна газета, *память им бока*. Вот что наделали наши литературные кликуши вроде Каткова. Будто студенты и их истории имеют какую-нибудь логическую связь с деятельностью анархистов.

Недавно видел в «Будильнике» карикатуру: если не ошибаюсь, нарисован портрет Каткова, выглядывающего из лесу, все тело которого с протянутыми кверху руками будто представляет древесный ствол. Внизу надпись: «Московский лесной царь».

Иван Сергеевич Тургенев молчал, молчал — да вдруг и поднес публике в мартовской книге «Слова» свои стихи (!) «Крокет

в Виндзоре». Содержание и достоинство стихов сомнительны. Не ожидал я от Тургенева, чтобы он на старости лет кончил тем, чем начинают многие сомнительные таланты, т.е. тенденциозными стихами. Это первый признак упадка таланта; видимо, Россия теряет еще одного учителя; но потеря тем ужаснее, что совершается приговор над ним еще при его жизни.

Читая последние произведения Тургенева «Новь» и др., я с грустью пришел к заключению, что Тургенев *выдохся*, что он сказал свое слово и нового слова от него нечего ждать.

Печально видеть, когда человек со старыми убеждениями, с ними поседевший, хочет подладиться под новые веяния, под желания и стремления молодежи. Базаров был цельным типом, который вышел удачным потому, что Тургенев хорошо изучил его. Герои же «Нови» — не типы, а карикатуры, и притом неудачные. Вот что значит писать о России, не живя в ней, а наблюдая течение ее жизни из Парижа, где автор успел уже составить себе и свои симпатии, и свою партию, где он *свил себе гнездо*. Тургенев забыл, что Россия за последние годы стала жить неизмеримо скорее, чем прежде. Если за всеми подробностями этой жизни нехотя уследить нам, русским, живущим в России, то может ли это сделать человек, начиненный европейскими воззрениями и смотрящий с «европейской точки зрения» на свою родину?!. Сомневаюсь... Нет, он спел свою песню, и как бы хорошо, если бы он вовремя сумел замолкнуть. Во всякой игре, а тем более в азартной, много зависит от умения вовремя забастовать. Нечего говорить, что Ивану Сергеевичу трудно сказать это роковое *баста!* — как трудно человеку сознаться, что жить ему дальше не стоит, что пора думать только о смерти и произнести над собою смертный приговор.

Понял ли Тургенев молодежь, когда приезжал в прошлом году в Россию? Едва ли. А между тем молодежь и его не поняла, как не поняла, как не понимала с тех пор, как он выступил автором «Отцов и детей». Молодежь видела в нем своего учителя, а он сам не подозревал, что на него взглянут с этой точки зрения. Молодежь Базарова считает идеалом современного, а Тургенев, очевидно, относится к этому типу с гадливостью аристократа и старается придать этому типу отвратительное содержание. А между тем в бытность свою в Петербурге он поневоле старался подладиться под симпатии молодежи, и это удавалось ему очень плохо. Бедный Тургенев! Тяжело играть в прятки на старости лет.

В литературе нашей нашлись такие господа, которые всеми силами старались придать пребыванию и речам Тургенева политическую подкладку; его даже открыто обвиняли в политической неблагонадежности. Но, конечно, все попытки в этом роде остались без последствий, потому что всем очевидно, что Тургенев — «милый, выживший из здравого смысла старикашка и больше ничего».

Островский тоже стал тратиться по мелочам... В мартовской книжке журнала «Отечественные записки» помещена его пьеса «Блажь», которая им написана в сообществе с каким-то Невежиным¹. Тот факт, что Островский стал работать в сотрудничестве с другими, сам по себе очень знаменателен и печален. Он ясно говорит об упадке таланта, о том, что материал иссяк, а творчества нет. Самое содержание, завязка пьесы вяла, бессодержательна; лица выдуманы, неинтересны, хотя и есть довольно удачное лицо Бондырева; но тип этот уже не нов.

Все меньше и меньше остается на литературном поприще деятелей старой школы. Деятелей же новой школы, способных заменить их, еще не появилось. Невольно приходят на ум разные предположения, с которыми как-то не хочется уживаться... Кто и что виновато?!

В местечке, где я живу, учреждается аптека, а доктор не предвидится. Ну, есть ли смысл? И какая аптека может снабжать лекарствами без рецепта доктора? Фельдшера, которыми изобилует местечко, лечат самым ужасным образом. Недавно одному больному фельдшер от легкой простуды, при которой насморк пал на грудь, закатил на затылок 12 пиявок, так что тот еле жив остался. Не дай Бог опасно захворать в Гольшанах!..

Масса народа в настоящее время умирает здесь преимущественно от недостатка советов врача; а между тем уездный врач существует, но только появляется при вскрытии трупов, и то, когда следователь его расшевелит. Я нарочно обратил внимание на увеличившееся число умерших, которых пронесли мимо меня на гольшанское кладбище в первую неделю Пасхи. Ксендз

¹ *Невежин Петр Михайлович* (1841–1919), драматург. Начал писать с 1880 г. Его первые поставленные пьесы — «Блажь» и «Старое по-новому» — были написаны в сотрудничестве с А. Н. Островским.

мне сказал, что в эту неделю он похоронил до тридцати человек, умерших от оспы и тифа, и все эти люди — умершие без всякой медицинской помощи. А сколько хоронят крестьяне сами, не будучи в силах уплатить за похороны духовенству! Смертность особенно велика между детьми. Я заметил, что это явление наблюдается каждый год весной и осенью; но преимущественно весной. Объясняется это сырой погодой и неосторожностью, с которой крестьянские дети вылезают на сырой воздух из душных и вонючих хат.

Крестьянский ребенок прежде, чем дойти до возраста, в котором он становится уже работником, выносит целый ряд невзгод. Его и бьют до того, что места живого на теле не остается; он по целым дням голодает, бегаёт без присмотра в жару и в холод, сваливается с печи и крыш... А между тем простой народ здоровее, чем горожане. Это понятно, если сообразить, что тот, кому удастся достигнуть двадцати лет, должен пройти через целый ряд мытарств, которые и могут быть вынесены только вполне здоровой, могучей, неиспорченной русской натурой! Разве можно сравнить наших тепличных, худеньких, бледных детей с замаранными крестьянскими ребятишками?! Кстати, о ребятишках. Не помню, от кого, я слышал рассказ.

У одной бедной женщины-вдовы, крестьянки, был сынок, лет двух, который едва умел лепетать. Уходя на работу, она его оставляла под надзором старшего брата (мальчика десяти лет), которому и оставляла кашку для брата. Старший брат обыкновенно съедал кашу, а с маленьким братом поступал так: опрокидывал его на спину и начинал колотить его по животу деревянной ложкой, отчего живот немного припухал. Когда приходила мать, то маленький брат старался пожаловаться матери, объясняя, как умел, что живот у него болит: «Мне кука!» Мать думала, что он объелся, и журила за недосмотр его брата. Насколько помню, рассказывал это сам потерпевший.

27 апреля

Поможет ли уничтожению (уменьшению) недоимок увеличение крестьянских наделов? По моему мнению, нет. Недоимки есть следствие чисто случайных обстоятельств. Причины их, как я уже указывал: 1) неурожаи; 2) падежи скота; 3) эпидемические болезни; 4) пьянство, уносящее рабочие руки, и 5) леность.

Очевидно, если крестьянин не платит исправно подати только потому, что не может обработать вследствие выше поименованных причин свой теперешний участок земли, то что будет с ним, если этот участок увеличится, а причины упадка и недостатка средств останутся теми же, что и были?

Странно кричать об увеличении надела (что было бы крайне непрактично), когда надо стараться помочь крестьянину в его хозяйстве, когда расстройство его происходит от причин, не зависящих от земледельца.

Выше я указал и на средства.

2 мая

Факт избиения евреев христианами, вновь повторившийся в Екатеринославле 17 апреля, не нов¹. Чем объяснить его? Ведь живут же у нас и немцы, и французы, и другие национальности, существуют немецкие колонии и т.п. По моему мнению, причина кроется в том, что евреи эксплуатируют народ как-то дружнее, чем эксплуатируют его другие национальности. Между евреями замечается поразительное единство при обирании мужика. Так, например, евреи соседних местечек иногда устанавливают известную таксу на хлеб, сено, дрова и другие продукты, так что мужик волею-неволею принужден подчиняться этому произволу. Никто не сумеет забрать крестьянина в свои лапы, как жид, кто бы он ни был по профессии: корчмарь, лавочник, шапочник и т.п. Особенно большим влиянием пользуются держатели питейных заведений; влияние это увеличилось с повсеместным увеличением пьянства в простом народе. Пьяница-мужик тащит жиду все, что при других обстоятельствах является необходимым подспорьем в домашнем быту. Лен, пенька, рожь, полотно — все променяется на водку. Но так как пьянице в конце концов уже будет нечего нести из хаты, то он и начинает забирать

¹ В Краткой еврейской энциклопедии (Т. 6, к. 562) дается справка по этому вопросу: «Погромы 1881–83 гг. впервые приобрели массовый характер, охватив большую территорию на юге и юго-востоке Украины. Погромы начались в ночь с 15 на 16 апреля 1881 г. в Елисаветграде (Кировоград) во время православной Пасхи. <...> Погром был подавлен 17 апреля войсками, стрелявшими в толпу. Вслед за Елисаветградом погромы произошли в ряде окрестных деревень и местечек, после чего перекинулись в Херсонскую губернию (Березовка, 25 апреля, Ананьев, 27 апреля). 26 апреля вспыхнул погром в Киеве <...> В конце апреля — начале мая 1881 г. погромы произошли в 50 местечках и селах Киевской губернии».

водку в долг; с этой-то минуты и начинается его порабощение, закрепощение жиду, которому он совершенно попадает в когти. Этого примера довольно. Можно было бы таких примеров привести сотни; но кто не наталкивался на них, присматриваясь к отношениям крестьян с евреями, особенно в захолустьях.

Отсюда понятна ненависть русского мужика к своему притеснителю жиду. Отсюда понятно, почему именно в дни Святой недели¹ русский мужик ломает ребра *обрусевшему* жиду-кровопийце. Факт этот указывает, с одной стороны, на грубость народной массы, а с другой — на бездействие местных властей, которые в большинстве случаев стараются ограничиться одними паллиативными мерами там, где необходима энергическая защита прав собственности граждан государства, без различия их вероисповедания, секты и состояния. Читая описание прискорбного события 17 апреля, невольно удивляешься и войскам, которые были посланы на место происшествия. Судя по ходу события, они были только зрителями бесправия.

Но событие 17 апреля имеет более важное значение, чем это кажется с первого взгляда. Оно поднимает вопрос, который давно уже стоит на очереди. Вопрос этот: экономический быт крестьянина, и именно его упадок. Вопрос этого пока решать не берусь, не имея данных; но я убежден, что в упадке экономического быта мужика лежит отдаленное начало порабощения его жидовскому игу, со всеми его ужасными последствиями и с теми сценами террора, которым мы только что были свидетелями.

Об этом вопросе я на днях имел случай говорить с подполковником Марковым. «Но ведь и *кулаки*, скупщики, конокрады эксплуатируют народ, — возражал он мне, — а между тем случаи народного самосуда редки». — «Согласен; но причина вполне ясна. За спиною каждого *кулака*, конокрада и т.п. артистов непременно стоит какая-нибудь поддержка вроде урядника, исправника, местного помещика, судьи и т.п. Тронуть таких господ — значит тронуть и тех, которые им покровительствуют. А на это мужик решается только тогда, когда притеснение над ним доведено до последней крайности. А за жидов, с редкими исключениями, кто стоит? Народная масса явно возбуждена против них, власти тоже недолюбливают; и вот отчего еврею приходится чаще, чем какому-нибудь другому *общественному*

¹ Святая неделя — Светлая седмица, неделя после Пасхи, приходилась в 1881 г. на 13–19 апреля. 17 апреля — пятница Светлой седмицы.

паразиту, расплачиваться за вытянутые гроши своими ребрами и пейсами».

Справедливы ли вообще нападки общества на жидов? Положа руку на сердце, нет. Их нельзя винить за то, что они забрали торговлю исключительно в свои руки. Их общественное положение исключительно, и именно эта исключительность и делает их преимущественно торгашами. Что евреи способны и к физическому труду, доказывают многие примеры. В Лидском уезде я встречал евреев, которым удалось приобрести куски земли, и земля эта была обработана не хуже крестьянской.

Самый факт, что везде, где появляется еврей, христианин почти всегда пасует, говорит только в пользу первого. Это показывает, что еврей предприимчивее, хитрее, энергичнее, если при всеобщем презрении и недоверии окружающих умеет достигнуть в конце концов того, чего добивался.

Еврея многие называют ленивым, тунеядцем, бродягой... Но это настолько же приложимо к еврею, как и к христианину.

Говорят, что еврей трусы... Но что может быть естественнее этого качества в народе, который давно утратил свое значение, из среды которого столетиями не было военных, не было защитников отечества, так как оно не существовало. Еврея надо скорее уважать, чем порицать.

Приверженность религии до последней обрядовой буквы Моисеева Закона, замечательное единство во всем, стремление к взаимной помощи... Да разве можно уже за одни эти качества не уважать народ, которого политическое существование давно кончилось и над которым веками тяготеет презрение всего мира, гонения и ненависть той среды, в которую он втиснут против воли. О единстве евреев много распространяться не стану. Приведу пример. Попробуйте тронуть еврея: на защиту его поднимутся все его соседи и прохожие. Пусть вас начнут грабить темною ночью на улице, и на ваш крик едва ли прибежит какой-нибудь христианин; напротив, все соседи еще плотнее укутаются в свои одеяла, предоставив вам самому выпутываться из затруднительных обстоятельств. Многие могли бы с пользою христиане позаимствовать у евреев.

Как приятно видеть ту помощь, которую оказывают они беднякам из своей среды. Вы встречаете бедные похороны, и по сторонам гроба идут жиды в лохмотьях, грязные, оборванные с кружками в руках, куда сыплется медные гроши в каждой лавке, в каждом доме, куда заглянет сборщик. Это собирают на се-

мью покойного. Нет примера, чтобы нищий жид обобрал кружку, которая ему поручена. Между евреями вы встретите мало нищих, а лачуги многих из них ужасны...

В этом отношении благотворительность, которая появляется без наития, а просто из чувства человеколюбия, — и поучительна, и высока.

Дай Бог, чтобы и между христианами появились начатки тех нравственных побуждений, которыми руководствуется *презренный* еврей в отношении себе подобных. Но с грустью приходится сознаться, что еврей гораздо более и ближе поступает по истинам *евангельским*, чем христианин, для которого изложены эти истины.

Я не хочу сказать, что мы должны стремиться в некоторых отношениях к *жидовству*. Нет, нам далеко до этого *жидовского идеала*. Я требую только человечности в отношении евреев, которые не виноваты, что эксплуатируют нас, благодаря нашим же порокам. За что презирать тех, которых можно уважать, заставив себя глядеть на них человечнее?

Меня всегда возмущала и возмущает та ненависть, то презрение, которое вкоренилось в наших образованных слоях общества. Это не более как старые предрассудки. Что мне, например, сделал еврей, за что бы я мог его ненавидеть?.. «Евреи нас надувают», — говорят многие. Но, господа, самый факт, что вы позволяете себя надувать, далеко не красив. Мужика надуть можно: он человек темный. Но надуть человека образованного и осмысленно относящегося к своим делам, мне кажется, трудно. А если бы это и случилось, то скорее виноват барин, позволивший себя обмануть, чем жид, который позволил себе воспользоваться глупостью и непрактичностью человека, гораздо более его развитого и интеллигентного.

Русский еврей иногда бывает более патриот, чем коренной русак. Он любит царя, он любит его настолько, насколько может его любить и всякий подданный. С удовольствием слушал я, как в гольшанской еврейской школе жиденята с чувством и прекрасно исполнили национальный гимн «Боже, Царя храни!». Но о евреях пока довольно. Все сказанное мною не ново.

Кто-то пожертвовал довольно большой капитал на покупку земли для крестьян. Выше я уже высказал свой взгляд на такую прикупку. Этот факт указывает, что не все согласны с моим взглядом.

ГЛАВА 4

Из семейной хроники

Н. Г. Жиркевич-Подлесских

Моя бабушка — Екатерина Константиновна Жиркевич

Каждый человек живет в своей эпохе, ограниченной временем, пространством, собственным воображением. Но иногда жизнь распоряжается так, что ты непосредственно сталкиваешься с ушедшим временем. И сколько бы ни читать о прошлом, ни размышлять о нем — представить это прошлое в полной мере невозможно, не пережив эмоциональную встречу с ним...

Почти тридцать лет я занимаюсь архивом своего деда, Александра Владимировича Жиркевича, военного юриста, литератора, коллекционера, общественного деятеля, человека неумной энергии, совершенно лишённого чувства лени, обладавшего феноменальной памятью. Он заполнял свою жизнь множеством больших и малых дел. Многие за его филантропическую тюремную деятельность, помощь раненым, вдовам, сиротам называли его последователем доктора Федора Петровича Гааза. В историю русской культуры он вошел как свидетель жизни многих выдающихся людей России, с которыми был знаком: И. Е. Репина, Л. Н. Толстого, А. Н. Апухтина, Я. П. Полонского, А. Ф. Кони, В. В. Верещагина, М. В. Нестерова и многих, многих других.

На страницах дневника А. В. Жиркевича сохранились картины жизни разных ведомств и учебных заведений России. Вместе с автором мы посещаем занятия в реальном училище Вильны, обстановка которого напоминает описание бурсы в очерках Помяловского, присутствуем на занятиях с будущими военными юристами Александровской военно-юридической академии, на судебных процессах военно-судебного ведомства Вильны; здесь же сцены тюремной и госпитальной жизни и истории маленьких бесправных людей, которым помогал Жиркевич, много страниц посвящено археологическим и архивным

изысканиям, находкам в заброшенных башнях, старых имениях, лавках старьевщиков. Все это затем передавалось Жиркевичем в музеи, книгохранилища, библиотеки России.

Несмотря на то что на страницах дневника запечатлено много эпизодов семейной жизни Жиркевича, присутствуют его трогательные записи о жене и детях, долгие годы моя бабушка Екатерина Константиновна Жиркевич находилась для меня в тени своего замечательного мужа.

С детских лет я знала, что она, в отличие от деда, была из состоятельного дворянского рода, получила блестящее домашнее воспитание и, выйдя замуж, стала преданной женой и матерью шестерых детей.

Я всматриваюсь в ее портрет: одухотворенное лицо, умные внимательные глаза, четкий абрис лица выдает определенность и устойчивость внутреннего мира... Глубокая вера в Бога всегда помогала ей в трудные минуты.

Тридцать три года прожили они вместе с Александром Владимировичем. В письмах Екатерины Константиновны к мужу встает удивительный по красоте образ. Сколько в этих письмах такта, сдержанности, милого кокетства, умения умно и красиво дать совет, скрытности чувства, которое все же иногда прорывается с горячностью влюбленной девушки.

Память о Екатерине Константиновне хранят засушенные цветы между страницами ее домашних альбомов, рисунки детей, акварель симбирского художника Д. И. Архангельского, зарисовавшего ее могилку.

Несомненно, Александр Владимирович сумел реализовать в жизни свои принципы и интересы благодаря поддержке «любимой Каташи». Когда бабушка умерла, дед записал в дневнике: «Уже одно то, что меня любила и уважала такая женщина, заставляет радостно биться мое сердце! Значит, было же что-либо в моей жизни и личности такого, что встречало ее любовь и сочувствие! Значит, и я прожил на свете не даром...»

«Прощать, уступать, — вспоминает дед, — покоряться, смиряться, отодвигать на задний план свои личные интересы, желанья, потребности и надежды — были основные девизы Мамочкиной¹ семейной (да и внесемейной) жизни... Не я один не знал

¹ Так в воспоминаниях «Потревоженные тени» Александр Владимирович называет свою умершую жену. См.: Александр Жиркевич «Потревоженные тени. Симбирский дневник». М., изд. «Этерна». 2007.

в ней недостатков. Немало было недоброжелателей, завидовавших ее средствам, положению, семейному счастью... Но и их она побеждала «любовью прощающей», как выразился в одном из своих стихотворений поэт. Неудивительно, что у Мамочки никогда не было врагов...»

«Во всю свою жизнь не встречал такой христианки, как Катя», — писал Александр Владимирович. Действительно, она была исключительной по нравственным качествам женщиной, в которой сочеталось христианское смирение и любящее сердце преданной жены и матери. Как не изумиться деликатности, читая строки письма молодой жены, мамы маленького сына, когда она узнает о предстоящем переводе мужа в другой город:

«7 июня. 1890 г. Вильна. Дорогой мой Сашечка! Письмо твое и обрадовало меня и заставило призадуматься. Дай Бог, чтобы известие о твоем назначении было верно, но кто знает, куда тебя зашлют?! Мне везде будет хорошо с тобой, и за тебя и себя лично я была бы рада, если бы ты был назначен в новый город, но за моих, за Тетю¹ и Андрюшу², мне было бы грустно покинуть Вильну. В особенности бедная Тетя, из-за нас с Андрюшей переселившаяся в Вильну, мне кажется, очень бы тосковала по ней и своим близким знакомым. Совестно мне, дружок, просить тебя устроить нашу жизнь не по своему желанию, а принимая в соображения выгоды и удобства моих близких. Ты, дружок, умеешь себя ломать, часто уступаешь там, где уступок твоих и не замечают. Если возможно, друг мой, постарайся, чтобы нам не пришлось выселяться из Вильны теперь».

* * *

«Детство Мамочки, — вспоминал Александр Владимирович, — было безрадостно благодаря болезни ее матери (чахотка), которая обратила дом не то в монастырь, не то в лазарет. Мамочка, по обычаю своему — не жаловаться, а все сглаживать, смягчать, извинять, — и тут не любила жаловаться на судьбу, стараясь обходить молчанием скорбные страницы своего раннего прошлого... Зная Мамочкину натуру, я хорошо себе

¹ *Тетя* — Варвара Ивановна Пельская (ум. 1902), воспитательница и опекунша Кати и Андрея Снитко.

² *Снитко Андрей Константинович* (1866–1920), брат-близнец Кати Снитко. Вошел в историю белорусской культуры как археолог, этнограф, краевед, музеевед. Один из организаторов Минского историко-археологического комитета. Создатель Минского церковно-археологического музея в 1908 г.

представлял, как тайно, глубоко она страдала, видя угасание любимой матери».

Близнецы Катя и Андрей Снитко родились в 1866 году. Отец их, одно время предводитель дворянства в городке Вилейка, человек широкой, но расточительной души, умер в их раннем детстве. Когда детям исполнилось 13 лет, умерла от чахотки и мать, Мария Алексеевна (рожд. Пузыревская). Перед смертью мать просила свою близкую подругу по институту Варвару Ивановну Пельскую стать опекушкой и воспитательницей ее детей. Варвара Ивановна переехала из Москвы в Вильно, где жили дети, и посвятила свою жизнь Кате и Андрюше.

Сама Варвара Ивановна была любопытнейшей личностью, в биографии которой много загадок и тайн. Внебрачная дочь московского князя И. Д. Трубецкого, она жила и воспитывалась в семье князя, получив блестящее воспитание¹. По семейной легенде, незадолго до своей смерти отец открыл ей тайну ее рождения и, так как она не имела прав на наследство отца как незаконнорожденная, предложил выйти замуж за его друга, генерала Владимира Петровича Пельского, приняв его покровительство; а форму брака предоставлялось выбрать Варваре Ивановне... Как будто бы Варвара Ивановна согласилась, но лишь при условии фиктивности отношений. Но сохранилась запись в ее воспоминаниях, названных ею «Мои сенсации», — уже после смерти мужа, где говорится о безоблачном восемнадцатилетнем счастье с Владимиром Петровичем... После смерти мужа Варвара Ивановна совершила путешествие ко Гробу Господню вместе с семьей историка М. П. Погодина, увлекательно описав не только местные нравы, но и саму поездку по каменистой пустыне на осликах (известно, что езда на осликах всегда сопровождается мелкой тряской) к иерусалимским святыням... Варвара Ивановна была глубоко религиозным человеком. Сохранился ее рукописный молитвенник, куда она каллиграфическим почерком вписывала молитвы и общеизвестные, и совершенно забытые и нам неизвестные, как, например, молитва во время эпидемии чумы. Между страницами — засохшие цветы или подаренные детьми рисунки 70-х годов XIX столетия на евангельские темы. Рассматривая молитвенник, прикасаешься к живой истории своего рода...

¹ Как дочь И. Д. Трубецкого В. И. Пельская приходится двоюродной сестрой М. Н. Волконской, матери Л. Н. Толстого.

Катя и Андрюша обожали Варвару Ивановну, называя ее Тетей (иногда Бакой). Сохранилось 200 писем моей бабушки к Тете. Пожелтевшая бумага, выцветшие чернила, аккуратный почерк тринадцатилетней девочки, а затем — жены, матери, зрелой женщины, главная забота которой дети, семья. И так до самой смерти Варвары Ивановны в 1902 году. Похоронена она на кладбище бывшей усадьбы Карльсберг, теперь это местечко называется Радошковичи, в нескольких десятках километров от Минска. Интересная подробность: бабушка моя всегда считала себя русской, а дядя Андрюша — белорусом. Его имя, как крупного культурного деятеля Беларуси, теперь внесено в Белорусскую энциклопедию. Тепло отзывается о В. И. Пельской и Александр Владимирович, несмотря на довольно непростые отношения, которые впоследствии сложились между ними.

Впервые молодой офицер увидел Катю на танцевальных вечерах у Любви Петровны Марк, сестры известного генерал-адъютанта К. П. Кауфмана¹, в доме которой устраивались домашние спектакли, а после танцы под рояль. Александр Владимирович не танцевал как не умеющий и издали любовался грациозной фигуркой Кати Снитко.

«Мамочка никогда не была красива, — вспоминал мой дед. — Но у нее были в молодости изящная фигурка, чудные, почти до колен густые волосы и ясные чистые красивые глаза при свежем ярком румянце лица. При скромности костюмов и манер, она в обществе поражала всех тактом и сдержанностью, так что казалась старше своих лет и выделялась между подругами, с которыми в Вильне *выезжала в свет*. Неудивительно, следя за нею в моей молодости, я в нее скоро влюбился... Только почувствовав окончательно, что я влюблен, решил я завоевать право на семейной счастье высшим образованием, почему и стал готовиться в Академию».

Вероятно, и Катя не осталась равнодушной к молодому офицеру. Когда Александр Владимирович поступил в Военно-юридическую академию в Петербурге, возникла переписка. Молодые люди тщательно скрывали свои чувства, в письмах делились впечатлениями от прочитанных книг, других событий культурной жизни. Так продолжалось три года. На последнем

¹ *Кауфман Константин Петрович* (1818–1882), известный русский военный и государственный деятель. В 1865–1867 гг. — генерал-губернатор Северо-Западного края; с 1867 г. — генерал-губернатор Туркестана.

курсе Александр Владимирович заболел брюшным тифом, и ему не разрешили перенести экзамены. Под угрозой оказалось окончание Академии. В отчаянии он написал Кате письмо, где, нарушив свое молчание, сделал ей предложение... Катя приняла его, проявив волю и решительность, так как П. И. Лего, другой ее опекун, был против этого брака. Ведь дед был из обедневшего дворянского рода, хотя и знаменитого своими воинскими заслугами, а Лего, по всей видимости, боялся материального неравенства в этом браке. Он наговорил деду в письме много оскорбительных слов, которые дед так и не простил ему... Поддерживала Катю Варвара Ивановна, которая давно, видимо, поняла возникшую симпатию между молодыми людьми и всячески способствовала сближению...

Венчание состоялось в сентябре 1888 года, и молодые тут же уехали в Петербург.

«Свадьба была отпразднована парадно. Обряд бракосочетания был совершен в Пречистенском соборе протоиреем Котовичем при хоре архиерейских певчих и при массе публики (гостей и посторонних), собравшейся взглянуть на богатую невесту. Карет было множество. На Мамочке было дорогое венчалное платье из белого муар-антика, с парадной пуховой накидкой на плечах. Из церкви все поехали на нашу новую квартиру, в доме Зайончика, роскошно декорированную тропическими растениями и цветами. Шампанское лилось рекою... Прямо с квартиры после разъезда гостей я и Мамочка поехали в Петербург в свадебное путешествие — знакомиться с моими родными, там жившими. В Петербурге мы пробыли около месяца, делая визиты родне, участвуя в устраиваемых для нас фамильных обедах, бывая в театрах (главным образом в опере и балете). Жили мы в одной из лучших гостиниц города, занимая номер в две комнаты, где и устраивали завтраки для моих литературных друзей (Фофанова, Величко, Лемана и др.). Я познакомил Мамочку с другом моим, художником И. Е. Репиным, который для Мамочки написал с меня портрет черной масляной краской (он сейчас находится в Ульяновском художественном музее)».

Подробнее об этом эпизоде дед запишет в Дневнике: «Репин пригласил меня с женой к себе на вечер, куда мы с ней вчера и отправились... Репин был рыцарски любезен с Катей, и, видимо, лицо ее ему нравилось, так как он в нее вглядывался задумчиво и пристально, что, как я заметил, он делает всегда, когда старается уловить выражение обратившего на себя его внима-

ние... Репин удивляется, что мы женаты всего несколько дней, а кажется, что уже давно...

Когда я женился, мне пришлось познакомиться с рядом бедных стариков и старушек, которых пригревали, опекали и материально поддерживали и Мамочка и Тетя... Неудивительно, что по воскресным дням в нашу квартиру собиралась вся эта беднота, вносящая к нам, в нашу молодую светлую довольную жизнь свои жалобы на судьбу, нужды, недуги. Все это обожало Мамочку, так как она всегда любила утешать чем могла именно таких — обездоленных, нуждающихся, *труждающихся и обремененных*. Сходились обыкновенно к обеду, оставаясь до позднего вечера, когда подавался чай с холодными закусками. Надо заметить, что у нашей Мамочки наблюдалось замечательное умение разгадывать нужды, потребности, привычки ближних, с тем чтобы их деликатно, любовно удовлетворять. Тут у нее проявлялись удивительное внимание, настойчивость, самопожертвование и изобретательность. Я бывал в ее доме, когда она была еще подрастающей девушкой. Меня всегда умиляло то умение, та деликатность, то внимание, с которыми она ухаживала за престарелым полуслепым, плохо уже слышавшим *дедушкой* П. В. Кукольниковом¹, иногда по целым часам с помощью слуховой трубы развлекая его интересным для него чтением книг и газет. При этом ей приходилось усиливать голос, надирать грудь повторением того, что старик недослышал... То же иногда происходило и у нас в доме, — продолжает рассказ дед, — с разными немощными старичками и старушками, которых по вечерам Мамочка развлекала чтением и беседой (в чем, надо признаться, помогала ей и Тетя, тоже любившая и опекавшая подобных посетителей). Изучив вкусы некоторых старичков и старушек, Мамочка в желанье угодить убогим гостям, чем-либо порадовать их заказывала к обеду особые лакомые для них блюда...

Накануне праздников Св. Пасхи, Рождества, Нового года, именин и дней рождений наших обычных воскресных гостей Мамочка на меня возлагала обязанность разносить и развозить по городу гостинцы, деньги и праздничную провизию; причем

¹ *Кукольник Павел Васильевич* (1795–1884), литератор, историк, цензор, профессор Виленского университета, брат поэта Нестора Кукольника. В последние годы своей жизни П. В. Кукольник ослеп, и Катя, его внучатая племянница, записывала под диктовку последние произведения Павла Васильевича: «Дедушкино видение» (1879), «Стих Богородицы» (1879), «Последние звуки» (1881).

только тут я узнавал иногда впервые о новых бедняках, которым Мамочка помогала, не требуя благодарностей. (Скажу тебе, кстати, что незадолго до смерти, чувствуя ее приближение, Мамочка, уже не имея сил вставать с кровати, пересмотрела всю уцелевшую свою переписку и уничтожила те письма и документы, которые свидетельствовали об ее широкой благотворительности, в чем сама мне, улыбаясь, созналась.)

Я чрезвычайно сам любил воскресные вечера, когда наша парадно обставленная, полная предметов старины и искусства квартира наполнялась бедняками, жаждавшими и пожить по-праздничному, и отдохнуть, порадоваться нашему семейному счастью.

Особенно любила бывать у нас бабушка моя Мария Иосифовна Астафьева, обожавшая меня с детства, влюбленная и в Мамочку, и в нашего первенца Гулешу. Старушка, приходя к нам, переобувалась, надевала парадную накидку на голову, вообще приводила себя в праздничный вид и только после этого входила в гостиную, где могла встретиться с лицами из высшего общества, у нас по праздникам бывавшими. Ей не хотелось уронить свое достоинство и поставить меня и Мамочку в неловкое положение перед чужими своим бедным костюмом. Для бабушки, зная ее вкусы, Мамочка к обеду готовила рыбное блюдо, а к чаю подавала любимые ее закуски и сласти.

Те же старички и старушки на Рождество сходились у нас на детских елках. Таких елок Мамочка устраивала обыкновенно две: одну для детей наших знакомых, другую — для детей бедняков, живших у нас на дворе или в соседских домах. Устраивалось это не в целях разделять детей по их положению и достатку их родителей, а для того, чтобы дети бедняков чувствовали себя свободно, непринужденно. Конечно, на елках, кроме музыки, танцев, игр и угощений, раздавались подарочки, соответствовавшие нуждам и вкусам детворы. В отношении подарков Мамочка не забывала и тех старичков и старушек, которые присутствовали на елках, любясь детской радостью: и для каждого из них на елке висел (или лежал у подножья праздничного дерева) особый подарок с чем-либо нужным в домашней жизни (а иногда и с деньгами). Не забывалась и наша прислуга, всегда щедро одаривавшаяся Мамочкою к дням больших праздников...

Наконец у нас пошли дети. Первым родился здоровый, полновесный мальчик Гулеша (Сергей — Сережа — Сергуля — Гуля — как мы его все звали). Родился он в той же квартире в

доме Зайончика по Мостовой улице г. Вильны, где мы праздновали свадьбу и жили первый год с лишком.

Не забуду всех тех волнений и ожиданий, которые предшествовали появлению на свет Божий нашего первенца. Мамочка всегда была глубоко религиозна не только в узко православном, церковном духе (чему способствовала ее семейная обстановка и влияние дяди Павла Васильевича Кукольника, матери Марии Алексеевны и *Тети* Варвары Ивановны Пельской), но и как настоящая христианка, свято убежденно проводившая в жизнь свою и ближних евангельские заветы о любви, милосердии, помощи страждущим, прощении врагов и т.д. В жизни моей я не видел другой такой же истинно христианской женщины, какой была она.

Все это я говорю для того, чтобы объяснить, с какой верой в Бога, с какими практическими приготовлениями Мамочка готовилась к первым родам. Приглашенный акушер откомендовал опытную акушерку, которая, посещая Мамочку время от времени в период ее беременности, и явилась по моему зову, когда начались первые родовые боли (схватки). Я видел, как, ложась на кровать, которая могла обратиться в смертное ложе, Мамочка усердно молилась, приложившись к любимым ее иконам. Не желая, чтобы я видел ее страдания (т.е. сам страдал), Мамочка настояла, чтобы я при родах не присутствовал, а ждал окончания их в соседней комнате, что я исполнил. Проходили часы, а в Мамочкиной комнате царило безмолвие. Изредка выходила ко мне Тетя, чтобы по поручению страдальцы успокоить меня заявлением, что все идет нормально. Сколько прошло времени в томительном ожидании — не знаю... Наконец-то раздался голос, совсем мне незнакомый, так странно и дерзновенно прозвучавший из той комнаты, в которой до того царила зловещая, пугавшая так меня тишина, голос моего сына, о благополучном появлении которого на свет Божий объявила мне вышедшая ко мне с радостным, хотя и измученным лицом Тетя. Мы обнимались с нею, целовались, плакали. Минут через десять, когда все в спальне было приведено в порядок, меня наконец туда впустили, и я увидел Мамочку, слабую, но сияющую внутренним светом, мне улыбающуюся счастливой улыбкой матери, а возле нее маленькое краснолицее сопящее существо — Гулешу, завернутого в пеленки и одеяло... Надо ли много говорить о том, что мы переживали с Мамочкой в эти минуты...

Если и ранее Мамочка не любила света, выездов, балов, туалетов, драгоценных украшений, вообще всего того, что Пушкин так удачно назвал в «Евгении Онегине» «ветошью маскарада», то с появлением Гули она вся ушла в интересы детской, представлявшей всегда образец порядка, чистоты, гигиенической обстановки... Лучшей комнатой в наших квартирах всегда считалась детская, так образцово обставленная Мамочкой, что все удивлялись ее порядкам. Мамочка, забывавшая о своих интересах, никогда не имела особых комнат, будуаров, гостиных, приемных и т.д., а помещалась вместе с вами, детьми, терпя все неудобства, связанные с подобной обстановкой.

С раннего детства она — ревностная православная христианка — приучала и вас к молитвам, посещению храмов, исполнению обрядов и т.п. В эту сторону жизни я не вмешивался, предоставив Мамочке делать, что ей было угодно, тем более что сам я, к ее великому огорчению, вскоре после появления Гули и Варюши стал охладевать к Православию, обрядовой его стороне, оставаясь лишь (на всю жизнь) верным поклонником красоты православного богослужения и церковных песнопений.

На этой почве — разницы во взглядах на религиозные вопросы — у меня с Мамочкой сначала происходили недоразумения и пререкания, вносявшие некоторый разлад в нашу мирную, счастливую, полную довольства семейную жизнь. Но и тут Мамочка наша осталась верна себе: она оставила меня в покое (перестала упрашивать говеть, исповедоваться, причащаться), молясь Богу, чтобы Он привел меня на тот путь, по которому так убежденно шла она к Царствию Небесному. Во время постов для меня устраивался особый скоромный стол. И тут она умела поступаться своими убеждениями, прощать чужие слабости и недостатки. Недаром же еще при жизни Мамочки я глядел на нее, как на святую, как на подвижницу, никогда не жившую для себя, а всегда во всем соблюдавшую интересы ближних, особенно *страждущих и обремененных*... Такой и сейчас она живет, светит и греет в моей душе... Как счастливый сон пролетела моя семейная жизнь».

И все же были в этой жизни и очень тяжелые дни, прежде всего смерти детей. Первое несчастье случилось с маленьким мальчиком Борей. Он прожил всего месяц и скончался в страшных мучениях. И. Е. Репин написал тогда рисунок «Христос, благословляющий детей» и подарил его Екатерине Константи-

новне в утешение. Чистотой и трогательностью веет от этого рисунка. Сейчас он находится в Ульяновском музее.

В 1903 году умерла талантливая и удивительная по своим нравственным качествам девочка. Ей было всего 11 лет. От нее остался дневник и маленькая самодельная книжечка. В нее девочка клеивала вырезанные из дешевых календарей цитаты из Пушкина, Жуковского, Крылова, Карамзина, а также одаренно исполненные юмористические рисунки на темы басен.

В 1912 году скоростижно скончался первенец семьи Сережа — двадцати двух лет, только что окончивший Морской кадетский корпус. Александр Владимирович тогда записал в дневнике: «Самым счастливым днем моей жизни было рождение сына, и самым черным днем — его смерть». Ему он посвятил свой большой труд в защиту военных арестантов «Пасынки военной службы» (1912). Художник П. Ф. Яковлев написал по фотографии посмертный портрет Сережи (находится в частной коллекции). От него остались многочисленные детские письма, талантливо и профессионально исполненные рисунки, Евангелие, в котором есть пометы, сделанные рукой юноши в местах особо ему близких.

Три дочери прожили трудную, но достойную своих родителей жизнь.

Мария (1899–1983) стала геологом (в последние годы своей жизни заведовала кафедрой аспирантуры Института нефти и газа им. Губкина); Екатерина (1902–1974) — педиатр, пережила с детьми блокаду Ленинграда, работала в прифронтовых госпиталях, и Тамара (1904–1983), талантливый музыкант, из послевоенного кружка которой выросла Фрязинская музыкальная школа. Она же первая начала работу с архивом своего отца, завещав мне продолжить эту работу.

Письма Кати и Андрея Снитко к Варваре Ивановне Пельской

1

Воскресенье
27 октября <1880–1881>
Вильна

Дорогая тетя!

Сегодня мы с тетей Лего¹ были в церкви, и я молила Бога, чтобы Он сопутствовал вам и облегчал страдания Александры Николаевны²; надеюсь, что Он услышит мою молитву. Когда будете иметь свободное время, напишите, как вы доехали, а также о состоянии здоровья Александры Николаевны. О нас же не беспокойтесь; все мы здоровы, и Андрюше несколько не повредил поздний выход на двор после бани.

Порученье ваше исполнено, и письмо к Лизавете Павловне написано и уже отослано.

Книгу «О подражании Пресвятой Деве Марии» я не читала еще, но завтра непременно примусь за нее.

Квартира как-то пуста без вас, и я начинаю уже скучать о вашем отсутствии.

Домброся кланяется вам, Каролина и Евелина³ целуют ручки. Надеюсь, что, когда вы возвратитесь к нам, я буду «quite english». Good by, my dear mother, God bless you and your friends.

Дорогая тетя, мне прежде это в голову <не приходило>, но теперь я записала в нашем поминании болящую рабу Божью Александру.

Остаюсь любящая и душой преданная вам Като, или «your little daughter Katy». Обнимаю вас от всей души и целую ваши ручки, а вы «kiss your daughter».

¹ Лего Софья Тимофеевна — жена Петра Ивановича Лего, опекуна Андрея и Екатерины Снитко.

² Александра Николаевна — подруга В. И. Пельской в Москве.

³ Домброся (Домбровская), Каролина, Евелина — прислуга в доме Снитко.

Дедушка, должно быть, написал бы вам несколько строк, но он теперь заснул, и я не хочу его беспокоить.

Кланяйтесь от <нас>, пожалуйста, Александре Николаевне, Софье Ивановне¹, Прасковье Матвеевне и всем знающим нас.

Не забудьте каждое утро, а также каждый вечер благословить нас заочно.

Еще раз прощайте, дорогая тетенька, и еще раз обнимаю вас. Извините за маранье, но уже одиннадцать часов, а раньше я не могла вам написать; глаза клеются, и я иду спать.

Good by, dear mother!

Спокойной ночи нельзя вам желать; вы целую ночь будете, должно быть, при Александре Николаевне.

2

11 июля

Дорогая тетя!

Вчера я первый раз купалась в Немане; я не нахожу, чтобы вода была так холодна. А сегодня тетя взяла меня опять, чтобы выкупаться. Сегодня сойка спала около моей кровати. Я ее уложила на салфеточке в мешочек и прикрыла покрывалом; она немного пищала, но зато хлопала крыльями; я поймала вчера и сегодня несколько мух и дала ей кусочек огурца, которые она с жадностью съела; иногда она делает довольно отдаленные экскурсии. Однажды я пришла покормить ее, но не нашла ее на окне; я начала искать по целой комнате и наконец нашла в комнате у дедушки, а когда мы пришли с прогулки, то нашли ее у Андрюши под кроватью. Вчера мы гуляли около Родничанки и, осматривая купальни, спросили, до скольких градусов доходит температура воды? Человек отвечал, что бывает и двадцать градусов. Вчера утром шел дождь, но после обеда была прекрасная погода; из этого тетя заключила, что природа плачет о вашем отъезде.

Целую ваши ручки, любящая вас Катя.

P. S. Деда² вам кланяется, а m-me Домбровская желает здоровья и всего лучшего.

¹ *Погодина Софья Ивановна* (1826–1887) — вторая жена академика М. П. Погодина, подруга В. И. Пельской.

² *Кукольник Павел Васильевич* — профессор, историк; двоюродный дед Андрея и Екатерины Снитко.

Дорогая Тетя!

Вчера Софья Тимофеевна пошла с нами на качели, мы вдоволь качались, и я стараюсь наверстать все забытые гимнастические упражнения

Катя поставила Сою в воду и обливала ее.

Вчера, пока тетя с Кицей купалась, я смотрел, как человек ловил рыбу, и хотел сегодня так же ловить рыбу, пока тетя с Катей будут купаться, но, как я начал рассказывать дедушке Третью Персидскую войну и русскую историю, тетя ушла в купальню, деда мне рассказывал много интересного до прихода тети. Я начал читать по-французски «Le neveu de l'oncle Placide».

Сойка уже начинает немного подлетывать.

Тетя купила огурцов, и их будут солить.

Остаюсь любящий вас Андрюша Снитко.

Поздравьте от меня вашу именинницу. Я буду писать Оле Костогоровой. Всем бы было здесь очень хорошо, если бы только вы были между нами, моя дорогая Варвара Ивановна. Дети и Павел Васильевич, благодаря Бога, здоровы. Погода вчера была великолепная, зато всю ночь лил дождь; но, несмотря на это, мы с Катей уже два раза купались, и она, кажется, очень счастлива. Вода очень приятная и не холодная. Надеюсь, что вы доехали благополучно и нашли здоровыми всех ваших друзей. Вчера вам принесли два письма.

Sophie Lego.

Дети целуют ваши ручки.

3

13, пятница

Добрейшая тетя!

Соя уже раз улетела в сад дачи Сивицкого, но мы попросили тамошнюю служанку, которая поймала и отдала ее нам. После того мы приняли всевозможные усилия чтобы воспрепятствовать ей улететь.

Вчера Каролина, ходя по лесу, нашла какую-то маленькую птичку, которая, вероятно, вывалилась из гнезда; она подняла ее и принесла нам. Она была такая живая и хорошенькая, но сегодня она сдохла. Мы ее закармлили, видно, у нее зобик так распух. Евелина положила ее в наш палисадник.

Мы учим Сою летать, она делает огромные успехи в летании, мы ее обучаем летать на балконе.

Погода теперь очень неприятная, сегодня почти целый день идет дождь. Вчера на ферме был дядя, Михаил меня подносил несколько раз на гигантских шагах, я тогда летал не хуже сойки.

Целую ваши ручки.

Андрюша Снитко.

Р. С. Напишите, дорогая тетя, когда вы приедете. К вам пришло много писем. Мы готовим для вас коробку с тянульками, но не такую, какую вы думаете, в особенном роде.

Дорогая Тетя!

Вчера мы кончили «Золотые песчинки»¹, но, когда вы приедете, я с удовольствием прочитаю вам то, что вы пожелаете сами. А сегодня мы почти целый день читали «Крестьянскую школу», так как природа сегодня опять расплакалась. Она меня очень занимает. Вчера мы читали страшное происшествие, а сегодня очень забавное, а именно: сегодня мы читали про Масленицу и начало Великого поста.

Поклонитесь от меня маленькой Оле и поблагодарите ее за желание прислать мне куклу, но пусть лучше она ее себе оставит, так как куклы меня более не занимают, к тому же у меня осталась еще в Вильне кукла, которую я хочу оставить, потому что ее шила сама мама.

Когда мы были в Поречье, я видела чучела многих птиц, но чучела сойки я не заметила. А нашу сойку Андрюша подарил мне.

Человек, о котором говорится в афише, присланной вами, действительно феномен, но я тоже не думаю, чтобы было занимательно видеть его.

Квартира Чагина уже за нами. Очень сожалею, что мы не даем вам спать; я же очень хорошо сплю, и Пицца Сойковна насколько мне не мешает. Тетя, деда, Домбровская, Каролина — все вам кланяются, Евелина также кланяется и желает здоровья и весело провести время.

Ваша Катя.

¹ Золотые песчинки. Краткие размышления для любителей нравственного чтения. С.-Пб. 1879.

Дорогая Тетя!

Письмо распечатал Андрюша, потому что Дедушка сказал, что если заметят, что в конверте есть другое запечатанное письмо, то придется заплатить штраф; но мы письма этого не читали. Будьте здоровы, дорогая Тетя. Остаюсь любящая вас Катя.

How do you do? And how does Александра Николаевна? We are quite well. Good by, my dear mother.

Your daughter Katy.

God bless you. I kiss your hands, and you kiss your daughter.

Кланяйтесь от меня всем вашим. Напишите, как вы нашли А. Н.; она, должно быть, очень обрадовалась вашему приезду.

Дорогая Тетя! При удобном случае кланяюсь, Мусе целую ручки; писать сегодня нечего, потому что день будний и проходит как обыкновенно. Добрейшая тетя Лего велит нам раньше ложиться спать, чтобы вы нас застали здоровыми, полными и румяными, как надлежит быть. Кланяйтесь Александре Николаевне, Софье Ивановне, Прасковье Матфеевне и т.д. Деда снова вам не пишет, потому что все разбрелись по конурам.

Любящий и вечно уважающий Мусю

А. Снитко.

Несравненная и незаменимая Варвара Ивановна!

И я, запоздалый гость на земле, хотя чужими руками, но по суждению собственного сердца, решаюсь препроводить к вам это ничтожное свидетельство моего глубочайшего к вам почтения и беспредельной преданности.

Нечего к вам писать о том, что мы крепко без вас скучаем, но утешаемся мыслью, что как проходит благоприятное, так пройдет и горе, до того времени, пока настанет неизменяемое, в котором не будет ни прошедшего, ни будущего, а одно только настоящее. Просим усердно Бога, чтобы оно было, как для нас, так и для вас, всех не на горе, а на радость. Впрочем, надеемся на Его истинно Божеское милосердие, в твердой уверенности,

что Он послал нас на свет не для мученья, а для вечного блаженства; иной цели не могла иметь бесконечная премудрость и любовь.

Прошу покорнейше засвидетельствовать мое почтение всем, кто только удостоит вспомнить старого горемыку, который навсегда останется вашим неизменным и преданнейшим слугой.

Смиренный грешник
Павел схимник¹.

Дорогая Тетя!

Так теперь нашлось место, то я пишу вам еще несколько строчек.

Я не писала вам, дорогая Тетя, что я учу теперь новую пьесу; она мне очень нравится, но немного длинна, и я не успею выучить ее до вашего приезда; она заключается на девяти страницах, хотя есть и повторение.

Домброся мне не сказала, что вы желали, чтобы я спала вместе с ней, и я несколько ночей провела одна. Завтра, пока Маша Подольская будет переписывать или заниматься с Андрюшей, я буду писать “english translation”.

Кланяйтесь от меня Софье Ивановне, Александре Николаевне и Прасковье Матвеевне.

Обнимаю вас, дорогая Тетя, остаюсь горячо вас любящая
Катя.

God bless you, my dear mother; how do you do and Александра Николаевна!

It is already late and we go to sleep. My brother is first in the class, he learns very good.

Your daughter Katy.

6

Суббота

С удовольствием исполняю ваше желание, многоуважаемая Варвара Ивановна, чтобы известить вас обо всем, что делается у наших дорогих племянников, но, кроме хорошего, ничего не могу вам сообщить, дети, по обыкновению, ведут себя очень хо-

¹ Страница письма, продиктованная П. В. Кукольником.

рошо, а про их уроки и говорить нечего, занимаются, как и всегда, очень прилежно. Катя, кроме того, очень усердно занимается хозяйством и все экономит, чтобы не выходило больше денег, как было при вас, а Андрюля все получает пятерки в Гимназии, благодаря Бога, они оба здоровы и веселы, равно и Павел Васильевич, seulement il a été très mécontent lorsque les enfants lui ont dit, que Vous le priez a ne pas leur raconter des anecdotes, стараюсь его занимать писанием его новых стихов и чтением о политических преступниках, дело, которое теперь печатают в газетах, чтобы он только не препятствовал детям заниматься уроками.

Ждем всякий день с нетерпением ваших писем, чтобы узнать, что ваша бедная страдальца и как долго вы думаете пробыть в Москве. В хорошую погоду мы с Катей гуляем, а завтра собираемся к Свидзинским. Петр Иванович целует ваши ручки, а также прошу вас передать как от меня, так и Петра наш сердечный привет Прасковье Матвеевне. Остаюсь истинно вас уважающая

С. Лего.

Дорогая Мумця!

Пишу и сегодня, хотя ничего не случилось достойное примечания. Тетя Лего сидела у нас сегодня долго. Дядя также был. Тетя со мной читала по-французски и нашла, что я довольно хорошо читал. Мне что-то довольно скучно сделалось; Катя играла какую-то грустную вещь, и я пришел к тому заключению, что Муся обо мне думает, потому-то говорят, если кто думает об этой личности, то ей становится грустно. <...>

Искренно Мумцю любящий и уважающий
Андрей Снитко.

Дорогая Тетя!

На днях к вам пришла повестка на один рубль; деда Лего взял ее с собой, чтобы послать за посылкой на почту. Сегодня принесли от Лямбека две книги, которые вы выписали и за которые потребовали два рубля. Так как m-me Росоловская не пришла, то Тетя заставила Андрюшу читать по-французски, и он читал гораздо лучше, нежели когда-нибудь. Как ваше здоровье, дорогая Тетя. Долго ли вы думаете остаться в Москве. Завтра поедем в церковь, где я, разумеется, разумеется, помолюсь и за вас и за А. Н.

Целую ваши ручки, любящая вас Катя.

Дорогая Тетя!

Мы очень скучаем без вас: я надеялась, что в воскресенье вы будете уже здесь, но вышло иначе. Если вы будете еще писать нам, то назначьте нам день своего приезда, и если будет хорошая погода, то с тетей Лего постараемся вас встретить <...>. Росоловская также скучает без вас: часто спрашивает нас об вас и о вашем приезде и, узнав сегодня, что мы будем вам писать, поручила непременно вам кланяться и засвидетельствовать свое почтение. Третьего дня приходил Монюшко¹, чтобы осведомиться, не приехали ли вы.

Вы спрашиваете, дотянули ли мы с деньгами до первого числа? До первого числа дотянули, но так как Дедушка поехал в Казначейство только пятого числа, то мне пришлось попросить у Тети три рубля. Теперь мы все здоровы, но несколько дней тому назад я совсем расклеилась: у меня был жар и горло болело, но Тетя послала за Юндзвиллом, и он прописал какую-то микстуру; кроме того я выполоскала всю бертолетовую соль, которая у вас была, и теперь опять совершенно здорова.

По вечерам мы редко читаем; предметом же для нашего чтения служат хрестоматии.

I have not understand what you said me from Lavitsky. When will you arrived? I am sorry I cannot to see you. God bless you, my dear mother. I kiss you and your hands. Your daughter Katy. Катя.

Дорогая Муся!

Я очень, очень смеялся, когда прочитал ваше письмо, вы, верно, очень испугались, когда прочитали, что я был у Шумана (в ресторане) и в театре, а как и с кем — не знаете.

Вот что случилось, вы, верно, не разобрали слов «дядя был у нас и советовал мне написать, что я был у Шумана ...». А это случилось вот так: Дядя Петр Иванович пришел к нам и когда узнал, что я хочу вам писать, то советовал, конечно, шутя, чтобы я вам написал это (что был у Шумана). Успокойтесь, Муся, я и не нюхал театра.

Деда у Гомолицких, но я за него «падал до ног».

¹ *Монюшко* — брат композитора Станислава Монюшко и друг В. И. Пельской.

Дядя и Тетя Лего вам кланяются, а также Прасковье Матфеевне. Равно и мы кланяемся Прасковье Матфеевне, супругу ее, Софье Ивановне и всем прочим другим.

Я очень рад, что фигура ему удалась. Приезжайте поскорей. Я купил Кате маленькую довольно хорошенькую вещицу, да и еще накуплю других.

Остаюсь вечно любящий и преданный вам, дрянной сынишка Андрей Снитко.

8

б/г

Дорогая Тетя!

Мы были уже в Никольской церкви и заказали там сорокоуст за упокой души Александры Николаевны; но причетник сказал нам, что у них не каждый день совершается обедня, а только по воскресеньям и праздничным дням, а также по средам, пятницам и субботам, а потому они будут поминать вашу покойницу не до сорокового дня, а целый год. Монюшко был на днях у нас, и я передала ему письмо, присланное Вами; он велел Вам сказать, что сам уже написал Зесселю о Вашем отъезде; он же известил нас о смерти Савицкого, которого я с тех пор каждый день поминую вместе с именем Александры Николаевны и моих покойников. Александра Николаевна и Савицкий записаны у нас в поминании. Где теперь будет жить Лизавета Павловна? Тетя Лего и Домброся думают, что она переедет в Вильно, так как у нее здесь есть кухня и вы, которые ей все равно что родственницы. Я каждый день читаю с удовольствием «Подражание Пресвятой Деве Марии» и вспоминаю Вас; надеюсь, что через несколько дней мы будем читать эту книгу вместе.

Дорогая Тетя, ежели Вы думаете, что я не сочувствую Вашему горю, то Вы сильно ошибаетесь. Я не могу не сочувствовать Вам, зная, как Вы любили Александру Николаевну и как она любила Вас, а также и потому, что слышала от Вас о ее прекрасной душе: если я Вам до сих пор не высказала своих мыслей, то это потому, что писала Вам письма вечером, когда меня клонило ко сну. Я глубоко сочувствую Вашей потере и часто молю Бога, чтобы Он утешил и подкрепил Вас в этом тяжелом испытании; когда же Вы будете опять при нас, то я буду всеми сила-

ми стараться, насколько возможно, утешать Вас и заставить Вас хоть на время забывать о Вашем горе. Я уверена, что благословение и молитвы Вашей dear mother не останутся для нас без пользы. Поблагодарите, пожалуйста, m-me Fewson за ее внимание ко мне, а также и Софью Ивановну за красавиц, рисованных Вами. Вас же, дорогая Тетя, все забываю поблагодарить за рубль, который Вы нам подарили: он, разумеется, нам пригодился. Благодарю Вас еще и за пюпитр, который Вы желаете перевести сюда для меня, и за добрые Ваши желания закупить нам гостинцев; но, прошу Вас, не издерживайте деньги Ваши для нас теперь, когда их у Вас мало: желанье Ваше дороже нам, нежели все подарки.

С нетерпением и радостью ожидаю Вашего приезда.

Обнимаю Вас, дорогая Тетя, и прошу поклониться всем знающим.

Искренно любящая Вас Като.

J am very glad to see Mrs. Caspari. God bless you.

9

5 июля, <1883>

Дорогая Варвара Ивановна, как же вы доехали до места? Возвратившись домой, мы часто вспоминали, где то вы теперь, и рассчитывали, когда будете в Москве? Дождались наконец вторника, чтобы написать, что мы делали и вообще как провели эти дни: вчера (т.е. в понедельник) Катюша первая предложила мне, если я буду писать вам, вложить письмо в один конверт, меня это обрадовало — за вас. Сегодня утром в 9 часов получает Катя письмо от Андрюши; он пишет, что будет сегодня в пять часов пополудни здесь, про дядю ни слова; книг не достал — очень жаль, постараюсь как-нибудь достать из гимназии. Начну же вам описывать все подробно, милая Варвара Ивановна, с минуты вашего отъезда. Простившись с вами, мы хотели подождать немного, пока перейдет дождь, но потеряли всякую надежду. Молния сверкала все более, гром гремел, и дождь не переставал. Добрый Аркадий Осипович посадил нас в крытый экипаж Богдановича, и мы целы и невредимы доехали до дому; первый раз в жизни я испытала, что значит ехать в такое страшное время, переборола себя, и страх весь исчез. Дедушка и Домброся беспокоились за нас. Напившись чаю, мы

послушали дедушкины стихотворения и в 11 ½ часа ушли спать (как никому не хотелось спать). На другой день после чаю почитали, а после кофею пошли купаться, и затем — в сад; там встретили целое общество — семейство Сольца¹, ксендза и американца, которого нам представили. Впечатление, которое он произвел на меня, скорее приятное, хотя сам он некрасив и очень даже, очень любезный, разговорчивый; рассказал нам о цели своей поездки, т.е. что вы слышали от Сольца. Мы оставались в саду недолго, ушли обедать, и тут Сольц спросил позволения придти вечером с гостями к нам; г. Штейнберг рассказывал нам много по-русски довольно порядочно, хотя уверял, что говорит плохо. Оказалось, что он был в Панаме во время землетрясения, которое продолжалось 92 секунды с 3 часов утра, говорил, что будто бы постель его подбрасывало, представил, как он нес на руках свою маленькую жену. Потом рассказывал нам, что ученье там обходится дороже, чем у нас; у них устроены наподобие наших гимназий народные училища, высших учебных заведений нет, кто хочет совершенствоваться — едет в Париж. Сели мы пить чай, он выпил только стакан, от другого отказался. Мне кажется, что ему не по вкусу вообще чаепитие, так как там пьют кофе, сливок у них нет, а привозят консервы. Так как местность песчаная, — то нет садов, ему очень понравилось наше местечко под каштанами; жаловался, что температура здесь слишком низка для него, так что, если не было бы совестно, надел бы шубу. Сегодня, вероятно, увидим опять нашего *voageur*. Хотел зайти прощаться. Знаете, Варвара Ивановна, мне очень понравился ксендз добряк, может быть, не все написала вам о нем. Но это все, что я слышала. Катюша напишет вам все подробнее.

Простите, голубушка, за мои каракули и что пишу в таком беспорядке, могла бы взять другой лист бумаги, но боюсь, чтобы не был тяжел пакет. Желаю вам, чтобы всех нашли здоровыми, добрейшая моя Варвара Ивановна; пишите нам, без вас заметно пусто.

Будьте здоровы. Остаюсь любящая и уважающая вас
М. Пруссак².

¹ *Сольц* — управляющий именьями Снитко.

² *Пруссак Мария Игнатьевна* (в замужестве Строгая) — дочь сестры Никиты Алексеевича Власова, класная дама Киевской гимназии, родственница детей Снитко, остававшаяся с ними, когда В. И. Пельская уезжала в Москву.

5 июля, <1883>
Карльсберг

Дорогая моя Муся!

Сегодня я получила письмо от Андриюши, из которого я узнала, что вы благополучно доехали до Минска, мы тоже добрались счастливо до Карльсберга в коляске Богдановича, и хотя молния и блестела во все время нашего путешествия и дождь лил как из ведра, но грозы не было: громовых ударов не было слышно.

Вчера мы в саду познакомились с американцем: вечером он, все Сольцы и радошковский ксендз были у нас. Он говорит очень порядочно по-русски и по-немецки, французский мешает вместе с английским; по его словам, он бразильский уроженец; воспитывался же он в Лондоне. Он рассказывал нам много интересного про свои путешествия, про Панаму и про землетрясение, бывшее там в прошлом году и превратившее в песок кафедральную церковь, стоящую свыше ста лет. Анна Сольц по просьбе ксендза сыграла что-то Гуммеля¹, сыграла гораздо лучше, чем первый раз; потом заставили меня петь «Оседлаю коня» и другие романсы. Американец наговорил мне кучу комплиментов и закончил уверением, что я *одарена*. Ксендз был гораздо умереннее в своих похвалах. Американец намерен посетить Радошковичи в будущем году вместе с женой своей. Россию он давно знает: он был в Петербурге, Москве, Харькове, Курске и других городах и хвалит их, но Радошковичи не нравятся ему. Американец был очень мил с Дедушкой, говорил, что считает себя счастливым, что может говорить со старым человеком, поцеловал даже руку у Дедушки и рассказывал мне про реку Амазонку. Вчера мы были еще на крестьянской свадьбе, все были подпивши; молодые кланялись каждому в ноги; музыкант, пиликавший на скрипке, работал преусердно головой и преглупо улыбался. Сегодня, кажется, должен приехать Андриюша с Богданом Михайловичем²; он написал мне письмо по-немецки, по обыкновению очень не разборчиво. Когда вы думаете выехать из Москвы? Как вы доехали и когда приехали в Москву? Клянйтесь от меня, пожалуйста, Анне Ильиничне, Софье Иванов-

¹ Гуммель Иоган (Ян) Непомук (1778–1837) — австрийский композитор и пианист-виртуоз.

² Снитко Богдан Михайлович — дядя Кати и Андриюши Снитко.

не; Прасковью Матфеевну поцелуйте покрепче, а Мусю-Пусю еще крепче.

Вчера был у нас Леша Власов и рассказывал, что m-те Клу-гель больна: у нее сделался прилив крови к голове. Сегодня уезжают Сольцы: вероятно, сейчас придут прощаться. Мы хотели провожать их до Сыцевич, но так как приезжает Андриюша, то мы, верно, поедem встречать его и дядю. Андриюша должен привезти мне фунт конфет и один букет.

Деда велел Мусе кланяться и сказать, что ничего нет у него интересного, что все так же плохо. Хотя, в сущности, совсем не так плохо, он и теперь бреет бороду перед зеркалом.

Обнимаю вас, милая Мусенька, и остаюся всем сердцем любящая вас

Катя.

Целую Мусю в щечку, в другую и в обе глазки.

Домброся кланяется очень Мусе.

Зозо просит поцеловать у Муси ручку.

11

9 июля 1883 г.

Милая и дорогая моя Муся!

Вчера мы получили ваше письмо по дороге в Москву, оно нас с Марьей Игнатъевной очень обрадовало: мы не надеялись так скоро получить от вас весточку; зато Андриюше придется долго ждать от вас письма, так как он на другой же день после возвращения из Минска отправился с Дядей в Леонковичи. Андриюша, Дядя и все Сольцы выехали из Карльсберга 6 июля, так что письмо ваше его уже не застало здесь. Вероятно, вы получили наши послания тоже в пятницу, так как мы писали вам тоже пятого числа; Андриюша, кажется, писал вам из Минска. Андриюша и Дядя вместе с Сольцами поехали на Рагозин; там они переночевали, а на другой день отправились дальше (эти известия привез нам Аркадий Осипович, который вчера приехал из Рагозина).

11 июля

Приезд Лили и Лешы Власовых прервал мое письмо: они у нас оставались до самого вечера, а на другой день после обеда

мы привезли с собой Лилию в Карльсберг, где она и ночевала, так что я могу продолжать письмо только теперь, то есть 11 числа, перед обедней, потому что мы хотим отвезти его на почту. Сегодня сороковой день со смерти Манички¹: в Радощковичах будет обедня и панихида. Елена Адамовна, говорят, несколько спокойнее, но все-таки бывают бессонницы, недавно она весилась, оказалось против прошлого года весит двенадцатью <фунтами> меньше. Прошлую ночь была сильнейшая гроза, и было несколько ударов одновременно с молнией. Марья Игнатьевна, Лиля, Домброся и Деда были чрезвычайно испуганы. Домброся была бледна, как полотно, Каролина плакала, а бедный Деда пришел и стал стучаться в нашу комнату, хотел, чтобы мы оделись и пришли к нему, говоря, что нельзя спать в такую грозу. Говорят, что молния ударила в березу, стоящую близ креста, за садом, и содрала с нее всю кору: я сегодня непременно пойду посмотреть на неё. Сольцу, вероятно, принесла эта гроза большой убыток, так как у него накоплено очень много сена. Я совсем не боялась; только раз, когда я подошла к окну, молния осветила так сильно сад и небо, что у меня потом несколько секунд было темно в глазах, и я думала, что она меня ослепила, тогда я сильно испугалась.

Марья Игнатьевна торопит меня кончить письмо, так как лошади уже готовы: поэтому я не могу написать Прасковье Матфеевне сегодня, но непременно напишу ей при следующем моем письме к вам. На днях получили письмо от Софьи Тимофеевны, что Петр Иванович выезжает из Мариенбада 16 числа.

Обнимаю вас, моя дорогая Муся: целуйте меня сами.

Любящая вас Катя.

12

20 июля 1883 г.

Карльсберг

Дорогая Варвара Ивановна, давно хотела вам написать, но все мешало то то, то другое. На днях были Власовы. Лилия гостила даже два денька, погода чудная, так и хотелось погулять.

¹ *Мария Власова* — дочь Никиты Алексеевича и Елены Адамовны Власовых, умершая в 17-летнем возрасте от чахотки. За ней ухаживал Андрей Снитко, женившийся впоследствии на ее сестре Лиле.

Недавно был Богдан Михайлович, уехал только в прошлую субботу (16 июля); Андрюша 15 получил письмо от Лего, который наказывает, чтобы он приехал сейчас же в Вильну, а оттуда поедет с ним в Ковенскую губернию осматривать имение. Андрюша очень неохотно уехал, так ему хотелось посидеть дома. Мадам Лего очень любезно шлет мне поклоны, она не придет сюда, так что мне придется пожить здесь до 8 августа, чему я очень и очень рада, я так хорошо чувствую себя здесь. Катенька такая милая, предупредительная, признательная ко мне, что я чувствую себя так хорошо; расположение духа у меня совсем иное <...>, конечно, отчасти оттого что обстановка не напоминает так о Манечке. Голубушка, Варвара Ивановна, Вы не беспокойтесь о нас, мы постоянно развлекаемся чем-нибудь, читаем, гуляем, катаемся очень часто; были несколько раз в Глушанах, в Веремейках, Миговке; или принимаем гостей. Сольц присылает как-то спросить, может ли Сердюков придти, сделать нам визит (а раньше Сольц говорил нам, что monsieur желает познакомиться). Мы согласились принять его, собрались (как и хотели раньше) вместе в Миговку. Потом вскоре после того приехал за Дедушкой ксендз ехать к Кулаковским и привез своего племянника (оставив с нами), очень милый молодой человек, студент, был три года в Технологическом, а потом перешел в Университет на юридический факультет. Он поет премило, пела с ним дуэты Катя, и я подпевала. Очень часто и я упражняюсь в пении или аккомпанирую Катюше. Время идет очень скоро, уже три недели, как я здесь. Голубушка Варвара Ивановна, ношу ваше серое платье, простите меня. Тетя целует вас; она, я думаю, разрешится в конце июня или в начале августа; хотя бы все прошло благополучно. Домброся целует вашу ручку и желает всего хорошего <...>

Милая Варвара Ивановна, не взывайте за мои несвязные строки, но вы такая *святая женщина*, что не осудите меня... Дедушка здоров, целует ваши ручки, сочинил мне стихи на именины!!!! Сольц, удивляюсь даже, так любезен, балует нас часто лакомствами, иногда устраиваем вместе катанье на лодке (на нашем пруду). Кланяется вам и желает насладиться вполне жизнью в кругу ваших друзей. Мне совестно, голубушка моя, назначить вам, что привезти из Москвы; решаюсь только разве на память иметь от вас что-нибудь. Привезите какую-нибудь безделушку вроде того, как бумажное *саше* для платков; совестно только!

Целую, голубушка Варвара Ивановна, вас крепко и остаюсь любящая вас Маруся. Еще раз прошу прощенья за давно прошедшее, помните, вы действовали искренно... Я горячилась... Разорвите мои письма, умоляю, не хочу, чтобы кто их читал когда-нибудь. Приедете — многое расскажу вам.

13

<1883>
Карльсберг

Дорогая моя Муся!

Мы с Марией Игнатьевной остались опять одни-одинешеньки: Андрюша приехал с дядей из Леонкович 14 июля, а 15 получил письмо от Петра Ивановича, в котором ему предписывалось ехать в Вильно, чтобы оттуда отправиться в Лабардзи с Петром Ивановичем. Андрюше ужасно не хотелось ехать, и он отложил свою поездку на несколько дней; наконец, в ночь на 18 число, он решился ехать в Вильно, но опоздал на ночной пассажирский, а потом на товарный поезд, так что принужден был ехать днем 18 числа.

Богдан Михайлович обещал в течение лета еще раз приехать к нам. Марья Игнатьевна ему очень понравилась; он несколько раз задавал ей вопрос, так, например: сколько она людей свела с ума. И когда Марья Игнатьевна отвечала, что ни одного, он возразил, что знает сам таких четыре, а именно: Дедушка, Сольц, Андрюша и он сам.

На днях должен приехать в Радошковичи губернатор Жемчужников, по этому случаю дороги от Уши в Радошковичи и от Радошкович в Петришки починены, и ездить теперь чрезвычайно удобно. В американце Марья Игнатьевна и Сольц немного разочаровались, благодаря слишком баснословным рассказам. Дедушка же вознегодовал на него за то, что он оказался масоном: он пожал Дедушке руку так, как жмут ее масоны, и потом в день своего отъезда сам признался Сольцу, что он масон. Он простился с нами, сказав, что через восемь месяцев надеется опять увидеться с нами и познакомить нас со своей женой. Строгий Лука Кириллович недавно писал Марье Игнатьевне, что он радуется за нее, что она может отдохнуть в Карльсберге, и что он мысленно благословляет вас, хотя вы к нему и не расположены, за то, что вы пригласили Марью Игнатьевну в

Карльсберг. Дедушка сочинил стихотворение к именинам Марьи Игнатьевны, но не вытерпел и прочитал его ей за три дня до именин. “Violette” мы получили и очень Мусе благодарны за нее, но читать еще не начали ее: мы кончаем интересные записки де-Санглена из «Русской старины»¹. Марье Игнатьевне прислали из Вильны еще три книги «Русской старины» и много нот: мы разучили с ней, между прочим, два дуэта: «Не шуми ты, рожь, спелым колосом» и «Что так задумчива», оба хорошенькие.

Целую вас, милая Муся, и остаюсь искренно любящей вас
К. Снитко.

Власовы, Юлия Петровна и Сольц кланяются вам. Вчера Деда прочитал у Власовых стихотворение «Путешествие после смерти»; бедная Елена Адамовна ужасно плакала при этом. Домброся, Зоза и все другие тоже кланяются вам. Вы спрашивали, есть ли у меня «Стучит» Тургенева; нет, и очень была бы Мусе благодарна за него. Из Минска Андриюша привез мне не только фунт конфет, но даже апельсин. А Мусю прошу не привозить мне ничего, за исключением «Стучит», понеже у Муси финансы коротки.

Из Богданова Андриюша привез мне от нашего арендатора два сыра в знак *вассальной* преданности.

14

24 июля 1883 г.

Карльсберг

Милая и дорогая Муся!

Я очень удивилась, узнав из вашего письма, что вы не получили моего письма: это произошло, верно, потому, что я адресовала мое письмо от 11 июля в Москву, а вы именно в этот день выехали в деревню, кроме того, мы с Марьей Игнатьевной писали вам 20 числа уже в деревню. Вероятно, теперь вы уже получили оба наши запоздавшие письма.

У нас все обстоит благополучно: встаем не очень рано и не очень поздно — в половине восьмого, в семь, как случится. Гуляем и катаемся много: один раз пешком сходили в Рогаву (где

¹ «Записки Якова Ивановича де-Санглена. 1776–1831 гг.» печатались в журнале «Русская старина» в 1882 г. (Т. 36. № 12. С. 443–498.).

живет Марья Кирилловна) и оттуда назад опять пехтурой. Марья Игнатьевна часто повторяет, что она никогда еще не проводила в деревне лето так весело, как в этом году, и по платьям находит, что очень пополнила. Деда, кажется, чувствует себя так же, хотя и говорит, что час от часу хуже; несколько дней тому назад он был в дурном расположении духа; кажется, по причине расстроенного желудка¹. По-прежнему бранит «Русскую старину» и удивляется, что мы находим удовольствие в чтении ее. Недавно в «Старом доме» Соловьева² было кое-что сказано об Екатерине Филипповне Татариновой³; она выставилась там как жадная женщина, желающая завлечь в свое общество поболее богатых людей; рассказывалось, как она клала белую бумажку на киот и как потом на другой день на ней было написано откровение. Деда очень горячился и утверждал, что это все ложь.

Хозяйство у нас идет хорошо, и финансовая часть теперь еще в довольно хорошем состоянии.

15 июля в Карльсберге был съезд помещиков, но только тех, которые должны были ремонтировать радошковские церковные постройки; относящиеся же к Рагавскому и Красненскому округу составили, кажется, другой съезд. Должны были приехать Ковалевский, Свентаружский, Игнатий Богданович и Блусь, сын оригиналки m-me Блусь, которой, помните, вы поклонились так любезно, думая, что это Домброся. Приехали все, за исключением Игнатия Богдановича. Сольц думает, что он поступил так, потому что был сердит на нас за то, что мы не подошли к его жене и дочери, когда видели их на вокзале, провожая вас.

Съезд начался часов в пять после обеда и происходил у Сольца; на нем присутствовал Андрюша и Богдан Михайлович, который, к счастью, был тогда в Карльсберге. Чем они кончили, я хорошенько не знаю. Никто из них не надеялся, кажется, быть у нас, потому что приехали в больших сапогах и грязных пиджачках. Сольц советовал Андрюше пригласить их чай пить; они долго на это не соглашались, говоря, что в таком костюме и таких грязных сапогах не могут явиться

¹ От англ. stomach — желудок.

² Соловьев В. С. (1849–1903) — русский романист, старший сын историка С. М. Соловьева; его роман «Старый дом» печатался в журнале «Нива» в 1883 г.

³ Татаринова Екатерина Филипповна (рожд. Буксгевден; 1783–1856) — религиозный деятель XIX в., основательница секты.

пред мои и Марьи Игнатъевны *светлые очи*. Вышло как нельзя лучше, невзначай, а потому не казенно; мы все шли гулять, как вдруг прибежал Сольц и сказал, что Андриюшу и Богдана Михайловича просят пожаловать на конференцию, после сей последней — у нас чай, а после — состязание у Сольца за зелеными столами.

Ковалевский, узнав, что Марья Игнатъевна классная дама, заговорил с ней об гимназии и просил совета, куда ему отдать свою дочь. Потом затронул польский вопрос и остался очень доволен всеми ответами Марьи Игнатъевны. Потом он говорил Сольцу «же та бардзо дзельна дивчина». Желая иметь еще одного партнера, Сольц послал за ксендзом, который тоже зашел к нам и объявил, что это лето здесь гостят Кулаковские, наши старые знакомые, с которыми поддерживали знакомство и после смерти папы. Сам Круковский, бывший ученик Дедушки по университету, приезжал не раз к нему, будучи в Вильне, а когда у него была повреждена нога, он, как осматривал ее, присылал Деде своего пластыря. Ксендз предложил Дедушке ехать к Кулаковскому, на что Деда охотно согласился. Там у Кулаковских было прежде несколько современных идеалов Дедушки: теперь все они повыходили замуж и переженились; теперь все они в деревне, и Деда говорит, что провел время очень приятно, окруженный дамами, и читал свои стихотворения. Ксендз познакомил нас с своим племянником, студентом петербургского университета, который поет премило романсы Шопена. Теперь только вспомнила, что в прошлом письме я тоже об нем писала. Вы, пожалуй, подумаете, что он мне совсем голову вскружил.

Сольц купил лодку и катает нас по Карльсбергскому и Верейковскому прудам: это очень весело. Даже Марья Игнатъевна и Лиля Власова, обе трусихи, решаются кататься.

У Власовых все по-прежнему; на будущей неделе Леша Власов едет в Вильно, чтобы держать экзамен. На прошлой неделе пришло разрешение от министра перенести Надю Власову на новое место, но при этом должен присутствовать городской врач. Марья Адамовна хочет непременно, чтобы открыли гроб!

Милая Муся, прошу вас не болеть. Се нехорошо; мне очень жаль, что я причинила вам беспокойство, но письмо, верно, залежалось на почте. Марья Игнатъевна может засвидетельствовать, что я аккуратно веду переписку.

Душечку Прасковью Матфеевну целую. Видите, милая Муся, какую я вам длинную цедулю написала.

Целую вас от всей души.

Любящая вас К. Снитко.

¹Милая Варвара Ивановна, благодарю вас за память. Я здесь не скучаю несколько, да и некогда скучать: время летит. Уже в среду четыре недели, как я здесь, — подумайте! Что же это вы прихворнули, голубушка Варвара Ивановна? Вы пишете, что у вас жары; мы здесь этого не ощущаем; нельзя сказать, чтобы лето теплое было. Проводим мы время хорошо. Не знаю, как Катечка; не думаю, чтобы она скрывала от меня; она кажется весела, такая приятная, хорошая, милая, все что хотите. Она сегодня смеялась за обедом: «Что тетя подумает обо мне, я второй раз пишу про племянника ксендза, совсем забыла, что писала раньше!» Она вас часто вспоминает, любит; все заботится о том, чтобы вам угодить. У нас одно время почти каждый день гости (дня три подряд). Катя говорит: «Что это, право, точно обрадовались, что тети нет, неловко даже!» Такая славная!

Много расскажу вам хорошего про наше житье-бытье. А пока до свиданья, дорогая моя. Письма к вам отправляются аккуратно.

Целую вас — признательная вам Мария.

15

4 августа <1883>

Карльсберг

Милая и дорогая моя Муся!

Хотела писать вам вместе с Марьей Игнатьевной, но Петр Иванович², который гостит теперь у нас, стал приводить в порядок нашу карльсбергскую библиотеку, и мне пришлось помогать ему: эта работа заняла у нас все время, начиная от утреннего чаю и до самого обеда, и то не сделали, кажется, даже половины. Обедали мы в тот день, то есть 3 августа, все у Солнца, после обеда устроили *parti de plaisir* в Глушанье, где оставались до самого вечера: пили чай и шампанское, <играли> в винт и лежали на свежескошенном сене.

¹ Приписка М. И. Пруссак (Строгой).

² Лего Петр Иванович.

Петр Иванович чувствует себя вполне хорошо: Мариенбад принес ему большую пользу; Софья Тимофеевна же, напротив, страдает невралгией в ногах и, кажется, не приедет в этом году в Карльсберг. Погода у нас совсем испортилась; с приездом дяди, то есть с 30 июля, было всего два хороших денька, все же остальные дождь льет как из ведра. Сегодня по причине дождя на полях опять не работают, но зато молотят рожь в овине. Мы с Марьей Игнатьевной намериваемся побывать сегодня там. В будущей понедельник, 8 августа, Марья Игнатьевна уезжает в Вильно: она говорит, что никогда еще не проводила лето в деревне так приятно, как в нынешнем году, и что всегда будет с удовольствием вспоминать о нем. Марья Игнатьевна предложила мне снабжать меня зимою книгами из гимназической библиотеке, между прочим предложила и «Русской стариной», которая мне так нравится. Очень вам благодарна, милая Муся, за книги, которые вы нам хотите привезти, а также и за “Violette”, которую мы с Марьей Игнатьевной с удовольствием читаем. Я, кажется, еще не писала вам, что Сольц купил лодку и катает нас по Карльсбергскому и Верейковскому прудам. Сегодня приехали Анна, Дебора и Веньямин, теперь они идут к нам: говорят, что у нас будет облава на волков, и собственно на эту облаву они и приехали. Марье Игнатьевне тоже очень хочется быть на ней, и теперь, убедившись, что нет никакой опасности, она порешила непременно присутствовать на ней. Я, с своей стороны, очень рада, что представляется случай быть на облавах.

Наши припасы покамест еще недурны; у меня оставалось еще 64 рубля, а Петр Иванович дал мне сегодня еще пятьдесят.

Прасковью Матфеевну обнимаю от души; скажите ей, что я часто вспоминаю об ней и очень бы желала видеть ее у нас в Карльсберге.

Муссю-Пуссю обнимаю от души и остаюсь искренно любящая

К. Снитко.

P. S. Известите нас наверное, когда приедете к нам, а я, в свою очередь, извещу об этом Богдана Михайловича, который непременно хочет вас встретить.

Какая Муся бля-бля, летом хворает! Понеже Муся беречь себя не умеет, то прошу Прасковью Матфеевну взять ее под свое покровительство.

Милая и дорогая моя Муся!

Не думайте, пожалуйста, что я сама пожелала остаться. Хотя мне здесь весело и Ораны мне очень нравятся, но я, право, хотела бы поскорее назад в Вильно. Петр Иванович непременно должен ехать сегодня обратно, а Яков Михайлович¹ и все прочие стали уговаривать и меня, и его не увозить меня сегодня, что Петр Иванович нашел очень возможным, так что мне неловко было долго упираться, чтобы не дать им повода думать, что я у них соскучилась. Не скучайте, милая моя Муся, я постараюсь выбраться отсюда поскорее и сейчас переговорю об этом с Петром Ивановичем, который в настоящую минуту говорит со своим хорошим знакомым Шарским.

Не беспокойтесь обо мне, Муся, и о том, как я совершу обратный путь: я сяду в дамское купе и отлично доеду до Вильны. В день нашего приезда в пятницу погода была не очень хороша: ветер был ужасный, но благодаря вашему оренбургскому платку мне было тепло. Тем не менее мы осматривали Ораны, гуляя пешком, а вчера вечером, когда утих ветер, катались по окрестностям. Здесь местность несколько напоминает Друскеники, хотя нет такой реки, как Неман, но зато четыре озера и хорошенькая речка Оранка. Я видела только два озера: остальные довольно далеко, но те, которые мне пришлось видеть, очень велики. Осматривали церковь, она очень хорошенькая, хотя очень невелика; каждая бригада пожертвовала туда по образу, а одна — и диски; также показывали мне большой красивый ковер, пожертвованный великим князем Михаилом Николаевичем. Мы с Олей читали подробную биографию Никитина, поэта, но едва ли удастся кончить ее. Была у Красноперовых, т.к. старик велел мне передать, что его Лёля больна и в претензии, что я к ней не зашла до сих пор. Я ее застала уже на ногах, и сегодня, кажется, она будет в клубе.

Спешу, так как меня ждет Оля и маленький Коля, чтобы играть в гобанг, японскую игру.

My dear Муся, I have you know what, but I have with me my handkerchief.

¹ *Снитко Яков Михайлович* — дядя Андрея и Екатерины Снитко.

Целую Мусю крепко-крепко, Андрюшу и Зину тоже.
Ваша Катя.
Домбросю целую, Каролине и пр. поклон.

*Суббота
1 июля*

Хотят меня удержать до четверга! Я говорила Устинье Васильевне¹, что Муся соскучится без меня, а они мотивируют тем, что у вас Зинка. Петр Иванович при них сам говорит, что ничто не может мне помешать остаться здесь до четверга! Мне даже досадно, что я здесь буду так долго делать? Ольга хотя меня и удерживает, но не думаю, что это так же искренно, как со стороны Якова Михайловича. Все вам очень кланяются.

17

<1884—5> г.

Милая и дорогая Мусинька!

Письмо Ваше меня вполне успокоило, а то я опасалась, что вы будете недовольны моим долгим пребыванием в Оранах. Здесь все так добры и ласковы со мной, что теперь, как я знаю, вы не против этого, чтобы я здесь погостила, я вполне всем наслаждаюсь. В субботу мы все были в клубе и очень веселились (я много танцевала, так как Яков Михайлович сам представил мне кучу кавалеров). Вечера эти очень милы; на них бывают дамы и в легких бальных туалетах, и в простеньких летних платьях. Вечер продолжался довольно долго, до половины пятого, кажется, но мы уехали в половине четвертого, когда уже было совсем светло. Кроме Блуса и Красноперова у меня не было никаких знакомых, но Яков Михайлович мне так усердно подставлял всех, что их оказалось изобилие. Из дамского персонала у меня на вечере оказалось несколько знакомых: m-lle Кокорева (судя по внешности, очень милая барышня).

Яков Михайлович меня представил некоторым своим знакомым барыням, между прочим, виленской m-me Евреиновой, которая мне очень понравилась тем, что держит себя очень просто и приехала на вечер в простом черном кашемировом платье без

¹ *Снитко Устинья Васильевна* — жена Якова Михайловича Снитко.

цветов и трена. Вообще она, кажется, не задает тонов и простотой своего туалета показывает пример оранским дамам, хотя было чем похвастать, т.к. они, говорят, очень состоятельные люди, а муж ее — первое лицо в Оранах. Яков Михайлович пожелал, чтобы я с Олей сделала визиты некоторым рижским артиллерийским дамам: m-me Безобразовой, которую он очень уважает и с мужем которой они старые знакомые и друзья; кажется, и другой, m-me Остен-Сакен, очень доброй немке, глухой и плохо говорящей по-русски. Ольга говорит, что она из доброты всех хвалит и ни про кого дурного слова не скажет; она сама стала меня приглашать к себе, а вчера после нашего визита позвала нас чай пить. Досадно, что выходят иные с ней пресмешные недоразумения, благодаря ее глухоте. M-me Безобразова тоже приняла нас очень любезно и в тот же день отдала мне визит, чего я никак не ожидала, и предложила своих лошадей и коляску, чтобы покататься. Об этой прогулке подробности после.

В леске, который здесь заменяет парк, играет раза два в неделю военная музыка. Сегодня тоже играла, но недолго, т.к. лошади, везшие воду, испугались трубных гласов и понесли: одна из них порвала постромки и убежала, а другая перекувырнулась с бочкой и запуталась. Музыканты бросились выпрягать ее и, пользуясь, вероятно, суматохой, скоро удалились.

Здесь, кроме полковой музыки, которую часто слышишь, когда идут на ученье и домой разные бригады, есть еще своеобразная музыка — это пальба из пушек, начинающаяся с утра, кажется, с 8 часов, и до вечерней ракеты в 9 часов, которая вместе с следующим за ней холостым выстрелом служит сигналом к молитве, начинают трубить в разных бригадах и поют потом молитвы, хотя не очень складно, но все-таки хорошо.

Все уже легли, а я еще дописываю письмо, чтобы сказать милой моей Мусе, что, пользуясь ее позволением “*Remain as long as you please*”, я на просьбы Якова Михайловича и Оли, желавших, чтобы я осталась до 11 числа, согласилась пробыть до субботы. 9 числа, в воскресенье, я хочу быть в Вильне, т.е. это день смерти мамы. О пожарах Савицких я слышала от некоторых офицеров, ездивших в Гродно, но где они сами, не знаю.

Здесь в пятницу в клубе должен быть концерт любителей, а мне так хочется быть на нем. Надеюсь, что мой Муся не будет на меня в претензии. Итак, в субботу вечером буду в Вильне.

Ваша собственная Катя.

Андрюше не пишу, некогда. Всех целую.

Милая и дорогая моя Муся!

Вот я и в Риге и доехала вполне благополучно. До Динабурга ехать было очень удобно: кроме тех пассажиров, что сели в вагон со мной, в Вильне более никого не было, но с Динабурга ехать было довольно тесно. Тем не менее я все-таки немного спала, и хотя днем не отдыхала, но чувствую себя довольно бодрой. Но вообразите мое изумление, когда, не доезжая пяти станций до Риги, в 9 утра в дамское купе, в котором я ехала, стучится один молодой человек и спрашивает, нет ли здесь барышни из Вильны. И вдруг моим взорам предстал Андрюша, приехавший навстречу ко мне. В Риге нас с Андрюшей встретила Оля, чрезвычайно располневшая; Яков Михайлович и Устинья Васильевна ждали меня дома. Яков Михайлович очень похудел, и вообще все это время ему нездоровится: он простудился, встречая военного министра¹ недели две или три тому назад, и до сих пор жалуется на боль в ногах.

Сегодня ездили с Устиньей Васильевной и Олей по городу, который мне понравился, но шум на улице здесь такой, что я с трудом различаю, что мне говорит Оля. Завтра иду с Устиньей Васильевной в собор к обедне, а после зайду к Сивовым или Миле Падерик. Хотят завтра же сходить в театр; идет какая-то комедия, а здесь теперь между актерами есть, говорят, замечательный комик.

Видела замечательное изделие из кокоса и при сем тоже вспомнила Мусю, рассказывавшую мне о нем. Здесь все очень жалеют, что Муся не приехала: Яков Михайлович думает, что причиной этого была боязнь со стороны Муси стеснить их, и негодует, кажется, что Муся церемонится; но я стараюсь его убедить, что причиной этого стала простуда и много других обстоятельств.

Я часто-часто вспоминаю об моей собственной Мусе; думаю, что то теперь делает она? А завтра в соборе помолюсь за Мусю, где года два тому назад Муся, верно, молилась за Катю. Крепко целую Мусю и остаюсь

Ваш собственный Като.

Все Мусе просят поклониться.

Кланяюсь Домбросе, Леле, Каролине и т.д.

¹ Пост военного министра России в 1885 г. занимал генерал Петр Семенович Ванновский (1822–1904).

24 декабря
 <Карльсберг>
 <1885>г.

Милая и дорогая моя Муся, вчера получила ваше письмо и очень ему обрадовалась. Вы тоже, верно, уже получили мое повествование о путешествии. Сегодня же расскажу Мусе о моем времяпрепровождении в Риге.

Я здесь кучу, мой милый Муся. Во вторник были мы в театре, давали «Die Goldprobe»¹; я просто в восторге, как от пьесы, так и от прекрасного исполнения. Все в здешнем театре хорошо — и декорации, и костюмы, и артисты, вообще весь ensemble. Оркестр тоже очень хорош. Пьеса со смыслом и очень интересна, есть весьма драматические места. Содержание пьесы я расскажу Мусе, когда мы вместе будем сидеть в нашем кабинетике. В переводе ее можно озаглавить «Пробный камень». В ней выводится молодой музыкант, которого испортили внезапно привалившиеся деньги. Собираемся еще побывать в театре на этой неделе.

Вчера мы были в концерте Туа и Бенуа (пианистки). Туа, сверх ожидания, мне очень понравилась и Бенуа тоже. Концерт этот был в здании <...> Ремесленного общества. Зала очень большая и красивая с мраморными статуями, поддерживающими хоры, но говорят, что она не выдерживает сравнения с залой «Улья» (Русского клуба). Программу концерта я сохранила для Муси. Яков Михайлович сам взял для меня билеты на Туа и не хотел принять от меня денег за билеты.

25 октября

Вчера не успела закончить письма по случаю прихода m-lle Миркович, которая обедала вчера у Костогоровых и провела у них вечер. Вечером были приглашены еще три барышни; мы занимались спиритизмом и магнетизмом. Первые опыты были вполне неудачны, а вечером, наоборот, весьма удачны!

Завтра собираемся идти осматривать <...> картинную галерею. Собора я до сих пор не видела, так как после 22 октября,

¹ «Die Goldprobe» («Проба золота») — немецкий перевод названия «La pierre de touche», комедии в 5 актах популярного французского драматурга Эмиля Ожье, написанной в соавторстве с Жюлем Сандо.

когда мы собирались туда, была очень дурная погода. Будем там в воскресенье.

Я теперь читаю очень интересную статью в «Нови»: «Университет не в европейском смысле». В этой статье рассказывается про учреждение одного американца, доктора Винсента, с целью поднятия народного образования; или, верите, с целью помогать самообразованию лиц, лишенных в младенчестве возможности получить правильное образование. Я с удовольствием перечитаю эту статью еще раз, чтобы лучше себе ее усвоить, и потому хочу просить m-me Lego одолжить мне этот номер «Нови». Я думаю, что Мусе эта статья понравится. Сегодня мы с Олей приглашены к m-lle Миркович: она очень милая барышня, и хотя была на Бестужевских курсах, но совершенно не похожа на обыкновенных студенток.

Я познакомилась с Мишей Костогоровым: на вид он не кажется таким ограниченным и нахальным; напротив, дичится всех барышень. У него, кажется, есть большое дарование к живописи: я видела его рисунки первые карандашом, мелом и тушью; и все очень недурно; в <нем> есть много юмора.

I bless you every night and think very much at my dear, own aunty.

Крепко целую дорогую мою Мусю.

Мусин собственный Като.

20

28 октября, 85 г.

Рига

Вы не поверите, милая и дорогая моя Муся, как я всегда рада, получая ваши письма, и с каким удовольствием читаю их и перечитываю. Очень и очень благодарна милой Зине Лакиер за то, что она так мило старается развлекать мою дорогую, собственную Мусю. Мусю же не хвалю за то, что все продолжает хворать. Като бы хотела, возвратившись, найти Мусю не похудевшей и не истомленной бессонницами. Все поручения, полученные в Вильне, я исполнила: была и у Миши, и у Сивовых. У Миши я не успела побывать во вторник, так как в этот день мы с Ольгой делали визиты моим оранским знакомым, которых Оля тоже еще не видела по возвращении из Тамбовской губернии. Были у Остен-Сакен и сестры Шарского, который помогал Ан-

дрюше в найме квартиры. Безобразовы были тогда еще в Петербурге и возвратились оттуда 24 октября. К Миле я не пошла 22, потому что у них этот праздник не празднуется¹. Отправилась к ней в среду, но ее не видела, а оставила ей посылку с письмом m-me Podernia и свою визитную карточку. Сказали, что я могу ее застать свободной завтра в 2 часа дня. Я зашла на следующий день, но мало ее видела — только минут пять, не больше. Она просила меня придти в воскресенье, но это оказалось вполне невозможным, так как Яков Михайлович сказал, что сегодня нам будут отдавать визиты и что мы должны ждать. M-lle Шарская, действительно, приехала, а m-me Остен-Сакен прислала своего мужа извиниться, что она не могла быть до сих пор, потому что ее девочка заболела. Так у нас все утро пропало, к немалой досаде Андриюши, который хотел сводить нас в галерею <...> В этот же день обедали Безобразовы, по приглашению Якова Михайловича. Обед был очень вкусный: пирог с капустой, бульон, ветчина с горошком, рябчики, сливочное мороженое и фрукты. У Сивовых я тоже была два раза и ни разу не могла застать ее, но она сама заходила ко мне в пятницу и была очень любезна. Мусю благодарит, но недовольна, что Франц Антонович не прислал ей *водки*. Просила зайти еще когда-нибудь.

В субботу были мы в театре и в этот раз на опере; давали «Трубадура». Опера шла вообще не очень хорошо, но некоторые сцены были проведены очень хорошо. В особенности хорошо играла Цыганка, если Муся помнит содержание этой оперы. У нее очень приятный голос с чрезвычайно мягкими трелями и чудным пианиссимо. Лицо у нее чисто цыганское, и игры в нем очень много.

Не знаете ли, милая Муся, уехала ли Туманова? Я до сих пор не получала от нее экспресса, которого она хотела прислать, как только приедет сюда. Боюсь, что если мне придется ехать назад одной, то меня станут удерживать, говоря, что нет причины спешить!

Домбросе и людям поклон. Также Лакиер, m-me Тейнер и cousin.

Крепко целую Мусю.

Ваша преданная Като.

¹ 22 октября (ст. ст.) Русская Православная Церковь установила празднование Казанской иконы Божией Матери (в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 г.).

Из переписки
Екатерины Константиновны Снитко
и Александра Владимировича Жиркевича

1.
Е. К. Снитко — А. В. Жиркевичу

Вильно, 20 декабря 1885 г.

Многоуважаемый Александр Владимирович!

Вы напрасно думаете, что я на вас сержусь за то, что вы обратились за справками о Дедушке к Тете, а не ко мне: мне и в голову не пришло обидеться этим, напротив, я вам от души благодарна, что вы захотели восстановить память о Дедушке, и жду случая, чтобы лично поблагодарить вас.

Думаю, что ваша заметка будет удачнее, чем биография Шверубовича¹, который непременно хотел сделать или, вернее, выставить Дедушку политическим деятелем, вожаком партии, что, сколько мне известно, совершенно неверно: Дедушка никогда не играл этой роли, да и не имел всех качеств, нужных для нее. Шверубович в своей биографии привязался только к случаю, чтобы написать хронику последних событий в здешнем крае, а о Дедушке говорит очень мало, хотя в некоторых местах он говорит о Дедушке довольно тепло. Во всяком случае, думаю, что вы лучше поняли всю глубину честной души Дедушки и не будете измерять пользу, принесенную им, только в той мере, в какой он был человеком современным.

Затем позвольте еще раз поблагодарить вас за то, что вы потрудились в память Дедушки, и пожелать вам счастливого исхода экзаменов.

Уважающая вас Е. Снитко.

P. S. Тетя и брат мой, который с неделю как приехал из Риги, благополучно сдал экзамены, просят передать вам поклон. Кле-

¹ Шверубович А. И. Братья Кукольники. Вильна, 1885.

опатра Александровна все хворает, хотя припадки болезни сердца обнаруживаются гораздо реже.

¹Ждем вас с нетерпением, добрейший Александр Владимирович. Помогите вам Бог покончить благополучно и приехать к нам веселым и здоровым. Надеюсь, что к тому времени и наша М-me Feiner будет здорова. Сейчас иду навестить ее.

Душевно уважающая В. Пельская.

2.

Е. К. Снитко — А. В. Жиркевичу

Москва, январь, 1887 г.

Многоуважаемый Александр Владимирович!

Вам, вероятно, писала Клеопатра Александровна о нашем внезапном отъезде в Москву по случаю смертельной болезни друга Тети М-me Погодиной, так что Тетя имела утешение по-видаться со своим другом и представить меня ей, чего Тетя давно желала. Свидание с умирающей произвело на меня сильное впечатление; таких всеми любимых и уважаемых людей, как М-me Погодина, приходится видеть немного, и я очень счастлива, что получила ее благословение и удостоилась увидеть ее: она сама потребовала меня к себе. Но разнообразные впечатления, испытываемые здесь, не мешают нам вспоминать о наших добрых знакомых и друзьях, и Тетю немало беспокоит неизвестность, в которой мы находимся о вас. Если бы вы нам написали в Вильно, ваше письмо переслали бы нам сюда, так как я отправила нашим людям наш московский адрес.

Успокойте нас, добрейший Александр Владимирович, и напишите нам сюда: мы остаемся здесь, кажется, до 8 февраля. Теперь, когда кончилась вся печальная церемония похорон, Тетя показывает мне достопримечательности Москвы, которая очень мне нравится. На прошлой неделе ездили мы в Троицко-Сергиевскую Лавру, где у мощей св. Сергия Радонежского молилась за вас. Конечно свое письмо, прося вас еще раз написать нам в Москву. <...>

Уважающая вас Е. Снитко.

¹ Приписка В. И. Пельской.

3.
Е. К. Снитко — А. В. Жиркевичу

Вильно, 23 марта 87 г.

Многоуважаемый Александр Владимирович!

Сердечно благодарю вас за присылку ваших грациозных элегий, которые мы несколько раз читали и перечитывали всё с новым удовольствием. Скажу вам, так как вы желаете знать от нас некомпетентное мнение о ваших произведениях, что я всегда вас считала идеалистом, но не думала, чтобы в вас было так много такой поэзии и так много сочувствия к красотам природы. Это по содержанию, по форме же изложения, на меня по крайней мере, ваши произведения делают впечатление чего-то вырвавшегося на бумагу по вдохновению, а не плодом трудолюбивых, но бездарных гениев последнего времени. Как приятно, я думаю, обладать даром так легко и изящно высказывать свои мысли. Мне же только раз в жизни удалось и то с большим трудом написать четверостишие дедушке на именины. Позвольте мне спросить вас: кто из литераторов читал ваши произведения? Как вы счастливы, ежели знаете Кутузова!¹ Мне его стихотворения чрезвычайно нравятся, и, говорят, он такой приятный человек в обществе. Впрочем, вы теперь, вероятно, ужасно заняты, и я совсем не претендую, чтобы вы отвечали мне теперь на мой, может быть, не деликатный вопрос. — В конце этой недели мы ждем брата, который благополучно сдал теперь еще один экзамен. Очень бы мне хотелось показать ему ваши стихотворения, но желание исполнить буквально вашу просьбу показать их теперь *только одной Клеопатре Александровне*² удерживает меня, хотя, я надеюсь, вы думали не об Андрюше, когда писали это. — Письмо ваше, адресованное в д. Айзенштадта, попало к нам в дом Шейнюка, а за стихотворение, посланное Екатерине Владимировне, благодарит вас Екатерина Константиновна.

Желаю вам от всего сердца успеха в вашем экзамене и на литературном поприще.

Уважающая вас

Е. Снитко.

¹ *Арсений Аркадьевич Голенищев-Кутузов* (1848–1911), поэт.

² Речь идет о Клеопатре Александровне Тейнер, друге семьи Снитко, а затем и Жиркевичей. Была когда-то первой учительницей композитора Манюшко. Александр Владимирович всю дальнейшую жизнь опекал К. А. Тейнер.

Р. S. Надеюсь, что со временем вы познакомите нас и с прочими вашими произведениями.

Моя Катя так хорошо высказала и свои и мои мысли, что мне нечего больше прибавить ко всему сказанному, уважаемый Александр Владимирович. Когда пожелаете утешить нас письмом, напишите между прочим: можно ли будет надеяться видеть вас этот год у нас в деревне, в этот маленький промежуток вашего отдыха?! Или я уже слишком много от вас требую, жду и надеюсь...

Душевно уважающая вас

В. Пельская.

4.

А. В. Жиркевич — Е. К. Снитко

Вильна. 6 июня 87 г.

Многоуважаемая Екатерина Константиновна!

Пишу на бивуаках, а потому за чернила и бумагу не взыщите, не могу никак добыть и то, и другое хорошего качества! Очень рад, что посылкой моей угодил вам, хотя мне кажется, что перчатки на четыре пуговицы вместо трех вам не годятся?! Клеопатра Александровна получила от вас мои стихи и наговорила мне кучу комплиментов по их адресу; но в «Прощании с Карльсбергом» я нашел две неточности и смею предположить с вашей стороны пропуск при переписке и моем неразборчивом почерке. В одном месте надо читать <...> «трепет». В другом: «горит в нем светочем...», а не просто: «горит светочем...». Клеопатра Александровна списывает мне оба эти стихотворения, и мне самому было приятно их перечитать — как будто и не я их писал! Что касается до разрешения читать мои скромные стихи вашим друзьям, то этим, кроме удовольствия, вы мне ничего иного не доставите!.. Я перестал скрываться и таить свой талант от людей и повторяю теперь то, что уже раз говорил вам лично: «Буду счастлив, если достигну моей цели, чтобы стихи мои хоть на миг развлекли кого-нибудь, заставили отвлечься от окружающей ежедневной прозы и ее невзгод!» Вполне уверен, что стихи мои будут вами читаться тем лицам, которым и сам бы я их прочел, да, кроме того, мне еще прият-

нее доверить вам мою музу в знак того, как я ценю вашу любовь ко всему честному, изящному и хорошему. Итак, раз навсегда вверяю вам «подругу дней моих суровых»! Помогите мне достичь заветной цели, чтобы хорошие сердца в моих стихах находили хоть крупицу священного огня поэзии, которой в наш век один способен примирить человека с жизнью, Богом и самим собою!.. Кончаю мою философию (скверная привычка на письме высказывать свои мысли и чувства!). Перейду к действительности. Я решил не ехать на Юг к родным в этом году, а приехать еще раз, перед отъездом в Карльсберг, чтобы набраться в нем и сил, и песен на скучный предстоящий год петербургского прозябания. Родные по крови — хорошая вещь в жизни; родные по сердцу еще лучше, и последних я всегда предпочитаю первым... Моих родных по крови я буду видеть целый год в столице, а с вашей семьей не увижусь до окончания Академии — вот мотивы, которые убедили меня ехать к вам, где мне так хорошо жилось и мечталось. Приеду в четверг на этой неделе с тем же поездом, как и прежде, но умоляю Андрея Константиновича не конфузить меня и не выезжать на встречу; я его обниму так же тепло в Карльсберге, как на вокзале!.. Итак, обстоятельства желают, чтобы я написал не «прощание» с Карльсбергом, а новые стихи под заглавием «до свиданья» с ним! Еще раз благодарю за ваше письмо и прошу кланяться вашему брату!

Преданный вам, уважающий

Александр Жиркевич.

5.

А. В. Жиркевич — Е. К. Снитко

*С. Петербург,
1 августа 1887 г.*

Многоуважаемая Екатерина Константиновна!

Только что получил ваше письмо и Варвары Ивановны. Меня тронуло то, что вы не забыли меня и так мило напомнили своей весточкой о днях моего счастливого пребывания в Карльсберге, когда я вполне отдыхал и телом, и душою. Правда, уже и теперь занятия отняли у меня ясность духа и мысли; но все же сил еще довольно, хватит, и этим я обязан и карльсбергскому

благодатному воздуху и вниманию вашей семьи!.. Если бы не моя болезнь, такая непрошенная и неожиданная, я мог бы сказать, что жизнь в Карльсберге мелькнула безоблачно. Я, конечно, и не думал обидеться вашей приписке <...>. В ней вы невольно оказались сами поэтом, в чем я вас подозревал, хотя вы тщательно скрываете и свои хорошие стороны и недостатки! Ваше прелестное описание восхода солнца тронуло меня, как поэта, до глубины души, и если минута вдохновенья найдет, то я, может быть, и пришлю вам перевод на стихи вашей поэтической прозы. Теперь я понимаю, отчего вас так трогает все прекрасное, и больше всего поэзия, этот дар Неба, данный человеку, чтобы в часы невзгод и сомнений отрешаться на миг от земного в мир чистых идеалов, где — вечный свет, вечная правда, вечный Бог! Не знаю, что было бы со мной, если бы не минуты творчества и не способность уноситься на несколько минут в день туда от сутолоки!.. Как прекрасно охарактеризовал поэзию Жуковский:

«Поэзия есть Бог в святых мечтах Земли!..»

Надо же кого или что-нибудь любить в жизни!.. Любите поэзию, и в награду за эту любовь она вам даст такие минуты наслажденья, какие ни люди, ни блага земные дать не могут! Поэзию от того еще стоит любить, что и религия, и Евангелие — та же чистая поэзия, та же вечная область идеалов, тот же неотразимый призыв от преходящего к вечному, неизмеримому, доступному только вере! Скажу вам откровенно, что ежели я не утратил веры, то обязан опять-таки поэзии, не позволявшей житейской грязи засосать меня в свои тиски. <...> Но простите мои фантазии: рука расходилась, а сердце диктует и диктует!! Как важно в жизни уметь сказать вовремя: «довольно!» Итак, довольно на сегодня! (Помните Тургеневский эскиз на эту тему?!) Прошу вас передать мой поклон Варваре Ивановне и Андрею Константиновичу. Писать Варваре Ивановне буду немного погодя, — пусть простит меня за это, а рисунок домика, какой он есть, умоляю выслать в холодный неприютный Питер: мне дороги воспоминанья, связанные с рисунком, а не его детали. Закончу письмо вопросом: согласны ли вы с моей параллелью — религии и поэзии, или нет? Кстати, что теперь читаете, и когда собираетесь ехать в Вильну? Хочу писать Екатерине Антоновне Плотниковой, я уехал, с нею <не> простившись. От Клеопатры Александровны получил письмо, как будто и веселое. Но по себе знаю, что не всег-

да содержание писем бывает отражением всей души. На бумаге всего не передать, что высказал бы на словах. Не забывайте же меня, бедного поэта, которого жизнь пригвоздила к скучным книгам!..

Преданный и уважающий вас

Ал. Жиркевич.

6.

А. В. Жиркевич — Е. К. Снитко

С.-Петербург,
2 сентября 1887 г.

Многоуважаемая Екатерина Константиновна!

Вы, конечно, позволите мне говорить с вами откровенно, а потому не сердитесь, если я немного не соглашусь с вашим последним письмом!.. Я опять-таки повторяю, что ваше письмо было поэтической страницей, хотя там описания восхода и не было; но ведь произведения человеческого ума (в том числе и письма) могут быть поэтическими по духу своему, без наличности описаний, картин и т.п.!! Мне показалось поэтическим ваше воспоминание о первых христианах, приветствовавших восход и т.п. Во всяком случае, я надеюсь, вы не обиделись на меня, что я в вас подметил ту черту, которая так дорога для меня, — поэтическую?! Любить природу, все прекрасное, понимать все прекрасное и искать его в жизни — разве это не признаки поэтической души? А в вас все это есть, без сомнения!.. Как же понять ваше выражение, что я «вообразил» вас поэтом?! В свою очередь оговорюсь относительно своего письма, что никогда (насколько помню) не объявлял себя врагом науки, а если в письмах к вам жаловался на «скучные книги», то только потому, что всегда делал большую разницу между «наукой» и «книгами». Книги служат <для науки>, для развития человека и цивилизации, но не все книги. Наукой, в тесном смысле, я называю не все то, что дает нашему уму пищу, материал, а все то, что *способствует нашему развитию, умственному прогрессу*. Существуют науки,двигающие человечество вперед самостоятельно, и существуют науки, дающие *только* материал для работы специалистов, посвятивших свою жизнь на известную отрасль знания и закрывших глаза на

остальной мир. К последним наукам принадлежат такие сухие, как статистика, наука права (уголовного, гражданского и т.п.). Для изучения этих наук надо посвятить на них всю жизнь и иметь к ним призвание, так как такие ученые — не более как чернорабочие, сортирующие материал и сдающие его людям, способным к обобщениям, к идейному творчеству, которые и пользуются этим материалом для своих целей, т.е. для науки и ее прогресса. Наша Академия, если только ограничиться курсом и не развивать себя самостоятельно, создана для изучения наук, которые я назвал только материалами для ученых, обобщающих и творящих, а следовательно, двигающих науку... нас готовят быть сухими специалистами, и чем менее мы будем рассуждать и чем более слепо держаться законов и их мертвой букве, тем начальство нас будет более любить и ценить. Но, как я сказал, на эти науки надо положить целую жизнь, а главное, надо быть к ним способным, любить их. Поступая в Академию, я не спрашивал себя, с каким курсом наук я встречу, а имел и имею более высокую цель — выйдя из Академии, быть полезным обществу и, главное, солдатам, которых люблю и уважаю. В этом отношении я совершенно расхожусь во взглядах с моим начальством: я прежде всего хочу быть на судейском стуле человеком, а потом уже ученым специалистом; начальство же хочет обратного!.. Из меня хотят сделать поклонника статей закона в их безжизненной книжной форме, а я хочу сохранить в себе способность всегда в подсудимом видеть человека, которого надо жалеть, лечить, снисходя к его слабостям и обстоятельствам жизни и применяя к нему закон не буквально, а сообразно с обстановкой его преступлений. В наших военных судах нет присяжных, а потому у нас, более чем где-либо, судьи-люди, так как я не понимаю, отчего наши солдаты обращены в людей, которых надо судить особо от прочих граждан?! Теперь вы согласитесь, что разлада в моем будущем с моим настоящим не будет, — цель моя ясна, и к ней я буду стремиться всеми силами, а Академия мне дорога потому, что она даст мне право попасть на поприще служения человечеству, о чем я только и мечтаю. Конечно, и в Академии есть предметы, меня интересующие; но их мало, вот почему так тяжело мне одолевать курс, сознавая, что я не создан для зубренья, копанья и казуистики, и что весь этот хлам, изменяющийся ежедневно, можно, не заучивая, найти в наших законах и быть хорошим судьей, не разбивая здоровья и губя сил,

как это делаю теперь я! Да, труды мои — это жертва, которую я приношу сознательно Отечеству, и этим я горжусь! Под «книгами» я и понимаю этот сухой материал цифр, выводов, правил, которые забываются так же скоро, как скоро заучиваются, нисколько не развивая!! Поэтому не удивляйтесь и не считите меня за врага науки, если я с живой, впечатлительной душой не могу сделаться ходячим сборником правил и законов, а хочу сохранить эту душу в ее неприкосновенности и чистоте!! Повторяю, смело можно быть хорошим судьей, не изучив и десятой части того, что изучаю я теперь, и это сознание ненужности для меня изучаемого и служит источником нравственных пыток.

Не знаю, ясно ли я выразил свои мысли в этом письме? Слишком много надо бы было сказать на эту тему, и жаль, что мы лично не побеседовали в Карльсберге о моем будущем и моих планах!

Но перейду от теорий к жизни. Вчера я сдал очень хорошо мой экзамен и рад этому потому, что теперь могу отдохнуть и заняться хоть эти две недели своим саморазвитием. Устал я ужасно, и, как всегда, явилась мысль: «дотяну ли я?» Но сил еще довольно, энергии тоже, а цель моя так высока, что окрыляет меня, и остающийся год надеюсь одолеть благополучно, так как большая половина сделана!..

Сегодня вспомнил приятный Карльсберг и подумал, как было бы хорошо теперь мне подышать у вас чистым воздухом полей, лесов, не думать о назойливых вопросах дня, не встречаться с массой скверных ненавистных людей.

Не примите мое письмо за лекцию. Я просто хотел побеседовать с вами, не вызывая на откровенность с вашей стороны, если вы, как выразились, «не желаете и не умеете открывать многое». Последнее, конечно, очень грустно, так как вы не поверите, как приятно хорошему человеку открывать свою душу!.. Простите за помарки в письме: у меня привычка их делать, конечно, неверная!

Так как Андрей Константинович уехал, то передайте мой поклон Варваре Ивановне. Буду ждать от вас хоть парочку слов и прошу задавать вопросы, я постараюсь ответить честно, откровенно и дружелюбно, как всегда! Желаю вам всего хорошего.

Преданный и уважающий вас

Александр Жиркевич.

7.

А. В. Жиркевич — Е. К. Снитко

С.-Петербург,
<12> окт. 87.

Многоуважаемая Екатерина Константиновна!

Отвечаю на ваше письмо довольно скоро; но ответил бы еще скорее, если бы не масса литературной работы и новых литературных знакомств, отнимающих у меня много времени.

Очень рад, что пребывание ваше в Риге было для вас приятно, и благодарю, что, вернувшись из приятного путешествия, не забыли меня, столь далекого теперь от Вильны и ее интересов!! Прилагаю некоторые последние стихотворения, более оконченные, и желал бы знать ваше мнение, мнение беспристрастного судьи — читателя, а здешним собратьям-поэтам я не верю.

Из новых поэтов, с которыми я познакомился, назову знаменитого Фофанова¹, который теперь обращает своим талантом общее внимание, и вполне заслуженное. Вчера я провел у него вечер в обществе нескольких юных поэтов и своим стихотворением «глыбой», вам известным, произвел фурор. В эту субботу Фофанов будет у меня. Это — личность замечательная, как человек и как поэт, и им занят теперь весь литературный Петербург, а мне очень приятно, что с первых же шагов мы с ним сошлись. Не знаю, буду ли в этом году что-либо печатать, так как нет времени работать усидчиво, а выпускать в свет неоконченные вещи не стоит! Но меня уговаривают сильно отдать что-либо напечатать, и вот теперь я колеблюсь, не зная, слушать ли себя или тех, с которыми приходится встречаться.

От Марк я получил любезное приглашение на свадьбу их дочери и, конечно, поблагодарил за внимание письмом. Меня тронуло, что и в этой семье я не забыт!! Какова была свадьба и что за личность г. Скачков?

На днях был у Саши Лунского. Он говорит, что Володя строит церковь на кладбище; разве в ней принято венчаться? Подозревали мы с ним, что Володя и тут прихвастнул, так что вы напрасно его похвалили!..

Ожидаю с нетерпением начало картинных выставок, где всегда много прекрасных вещей. Были на «Фаусте» с знамени-

¹ Константин Михайлович Фофанов (1862–1911), поэт

тым Фигнером¹ в роли самого Фауста, недели две тому назад, и действительно восхищался его голосом и приличными манерами на сцене.

О себе ничего сообщить не могу, кроме того, что живу в мире идеалов, форм и звуков, куда неприятным диссонансом врываются вопросы дня, неинтересная работа и разные житейские сюрпризы. Но все это — неотвратимо, а потому и примиряешься с обстановкой!! Надеюсь, что время от времени дадите о себе весточку хоть парой слов; а пока желаю вам всего хорошего, а главное беречь себя и не простуживать горло.

Неизменно преданный вам

Александр Жиркевич.

8.

А. В. Жиркевич — Е. К. Снитко

11 ноября 1887 г.

С.-Петербург

Многоуважаемая Екатерина Константиновна!

С большим удовольствием посылаю вам стихи, посвященные мною Тимановой, хотя мне почему-то кажется, что вам они не понравятся. Но прочтите их и скажите свое мнение. Я теперь погружен в литературу и приобрел много новых литературных знакомств, кроме знакомств с разными художниками. Между прочим, знаменитый художник Сверчков посвятил мне одну картину не масляными красками, а пером, где изображена тройка, в ответ на мое стихотворение, где я аллегорически изобразил его несущимся на русской тройке к Храму Славы. Жаль, что стихотворение слишком велико, а времени у меня мало, а то я бы вам его прислал, так как оно теперь здесь в ходу, и недавно у Сверчкова был ужин, где присутствовали Зичи², Каразин³ и другие художники. Каразин прочел мое стихотворение с энтузиазмом, и при последних словах все чокнулись за здоровье «русского художника», которого я и изобразил в стихах. Веро-

¹ Николай Николаевич Фигнер, выдающийся оперный певец.

² Зичи Михаил Александрович (Михай Зичи; 1827–1906) — венгерский живописец, много работавший в России.

³ Каразин Николай Николаевич (1842–1908/1909) — художник-баталист и писатель.

ятно, скоро появятся мои произведения в «Живописном обозрении» и в «Наблюдателе», тогда сообщу вам. Недавно я получил мой первый гонорар и употребил его на доброе дело, чтобы память о первом заработке на поприще словесности осталась по-дольше в душе. Но довольно о своей жизни, где я теперь мало принадлежу себе и живу целыми днями.

Очень рад, что Володя Лунской сказал правду; вот что значит лгать так долго: теперь все невольно думаешь — не врети? Получила ли Варвара Ивановна мои письма? Я не нахожу слов благодарности за ее ласку и внимание ко мне. Как здоровье Клеопатры Александровны? Жива ли она? Всё какие-то предчувствия тревожат меня!

В Вильне все женятся и выходят замуж. Что ж, так и следует! Для девушки настоящая жизнь и свобода только и начинаются с минуты вступления в брак, конечно, если выбор ее упадет на порядочного, образованного человека! Тип старой девы, озлобленной на всех, черствой и подозрительной, мне крайне несимпатичен, так как у меня в родне есть один такой экземпляр, и я его изучил достаточно; да и прежде встречался неоднократно с такими же изломанными особами. Но, однако, пора и честь знать, т.е. закончить мою философию и наблюдения опыта!

Желаю вам всего хорошего, а главное веселиться и беречь свое здоровье.

Варваре Ивановне целую ручки.

Всегда готовый к услугам, уважающий вас Ал. Жиркевич.

9.

А. В. Жиркевич — Е. К. Снитко

21 ноября 1887 г.

С.-Петербург

Многоуважаемая Екатерина Константиновна!

Спешу поздравить вас с днем вашего Ангела и пожелать вам всевозможного счастья и благополучия в жизни. На этих днях буду писать вам, Варваре Ивановне и Клеопатре Александровне, а пока прошу вас передать им мой сердечный привет. Работы масса, и академической, и литературной, так что и скучать некогда. Итак, до скорого свиданья в следующем письме, где, быть может, приложу что-либо из новых своих произведений.

Неожиданная помощь изменила к лучшему мою обстановку, и материально я вздохнул легче, а это не могло не отразиться и на душевном состоянии. Я, кажется, писал вам уже, что от знаменитого художника Сверчкова получил в подарок (за стихи) картину «Тройка», с посвящением ее мне. Как жаль, что не могу показать ее вам, чтобы и вы полюбовались этой талантливой вещью!

Примите уверение в неизменном уважении и преданности.

Ал. Жиркевич.

10.

А. В. Жиркевич — Е. К. Снитко

12 декабря 1887 г.

С.-Петербург

Многоуважаемая Екатерина Константиновна!

Ваше последнее письмо так живо заинтересовало меня, что я решил лучше отложить немного ответ на него и ответить подробнее, как я смотрю на вещи!.. Ну что ж, будем спорить!

1) Начну с того, что меня удивило, отчего вам показалось, что затерявшееся письмо ваше должно нас было «немного поссорить»?! Я всегда уважал чужие мнения, в вас я заметил то же; что ж могло нас поссорить, если бы мы решились обменяться честными и открытыми мнениями? Кроме того, разве секрет только то, что неприятно выслушивать, и разве вы не предполагаете во мне столько гражданского мужества, чтобы смело взглянуть судьбе в глаза и собственноручно отказаться от несбыточных надежд, даже если бы от них зависело счастье моей жизни. Ради Бога, не со мной с одним, а со всеми поступайте прямо, открыто и не шадите чужого сердца; поверьте, если оно благородно, то пощада только возмутит его, а честный удар заставит, правда, облиться кровью, но от таких ударов люди редко умирают!..

2) Не читайте никому моих стихов: я их переписывал для вас, видя в вас чувствующее и мыслящее существо; слава поэта меня не манит, а толпа и масса, в которой всегда большая половина ходячих кукол, пугала меня и заставляла уходить в себя! Если несколько человек забудутся хоть минутку над моими стихотворениями, то это — высшая для меня награда, а таких минут я уже испытал довольно в жизни, поэзию не брошу и считаю, что поэ-

зия всегда «современна» <...> Да и что такое значит «современно»?! Кто определит это слово, и, право, лучше писать стихи, но писать искренно, как Бог на душу положит, чем говорить обо всем слегка, ничего основательно не зная, жить интересами минуты и лгать, с сознанием, что «лжешь», — а таких господ, считающих себя современными, теперь на Руси масса, и здесь, в столице, я их довольно встречаю в разных слоях общества. Не верьте этим фарисеям и лжепророкам, поступайте так, чтобы не являлась тут же мысль: «А ведь я солгал. Зачем я это сделал?!»

Говорю это к тому, что нет занятия, труда, таланта «несовременного»: все современно, так как все от Бога. Только та и разница, что одна современность пуста и лжива, а другая — великая и святая, так как идет от чистого сердца, из честной души, а в них Бог, который не ошибается, но дает «счастье, радость, жизнь»! Моя же Муза принадлежит к последней категории, так как в ней нет лжи и ее можно обвинить разве в бесцветности, в безыдейности. Я вам буду, если хотите, посылать свои стихи, но никому не показывайте их, особенно тем людям, которые находят писание стихов пустым времяпрепровождением, утопией; поверьте, многие из них и Христово учение назовут утопией. Так как поэзия и Евангельские истины имеют один источник — душу человеческую, как частицу души Божией. И, ради Бога, не слушайте этих людей, а то не заметите, как окаменеет ваше хорошее, отзывчивое на все прекрасное сердце и к Богу, в день Суда вы принесете не чистое, неуловимое и вечное существо души, а камень, бесчувственный и мертвый, неспособный слиться с Божеством как с своим прообразом! Я много думал об этом и всегда боролся с этими врагами человечества, которые, разрушая идеалы, религию, чувство прекрасного, делают нас неспособными на истинное счастье, заключающееся в том, чтобы быть в состоянии посредством молитв, поэзии, музыки уноситься от дряг земли в область идеала, где вечный Бог!!

3) Повторяю сказанное в первом письме: «Для девушки настоящая жизнь и свобода только и начинаются со дня вступления в брак». Жизнь и свобода, конечно, не одно и то же. Но пользоваться свободой, не живя вполне, немислимо. Объяснюсь. Девушка, как бы ни обставлена была ее жизнь (книгами, обществом, музыкой и т.п.), не знает жизни и не может знать ее: тысячи препятствий восстают перед ней, как только она захочет переступить за границы, установленные «светом» для ее сверстниц. Она хочет пойти в театр — нельзя, так как дается такая-то

«неподходящая пьеса»; она хочет поехать кататься — одной нельзя; ей захотелось бы познакомиться с таким-то или такой-то, но ей ведь бывает нельзя, да и общество девиц не всегда удовлетворяет, в кружках же литературных, политических салонах девицы не бывают; ей хотелось бы прочесть интересную книгу — девицам ее читать не следует, и приходится покориться. Ни поехать куда-либо, ни сказать многого, что волнует душу и просится на язык, современная девушка не может, так как это не принято, неприлично для нее. Следовательно, и жить приходится как-то вполнину. Не участвуя вполне в жизни, разве можно быть вполне полезной обществу?! Нет, нельзя, так как, чтобы приносить пользу, надо знать жизнь во всех ее проявлениях, видеть ее вблизи, как можно чаще испытывать ее уколы, удары, обдумать ее задачи. А разве это доступно девушке, живущей под крылышком у родных, опекунов, из любви к ней старающихся об ее счастье и об удалении всего, что может грозить ей опасностью, а следовательно, сблизить с жизнью?! Сама жизнь кажется девушке совсем в ином свете, так как этими элементами жизни являются и чувство матери, и чувство супруги, а эти чувства девушке недоступны! Сам Бог создал все живущее так мудро, что в мире животных, растений, рыб — все любит, все стремится к семье, все думает об устройстве семейной жизни, об ее задачах. Отчего же это так? Отчего, хотя многие и боятся чувства любви, — все любят на свете, и сколько света, тепла и задач вносит это чувство!! Нет, девушка не знает и не может знать вполне жизни, следовательно, не может быть вполне счастлива, не может быть вполне свободна. Брак, конечно, как и все на свете, рискованная вещь, но, говоря, что девушка, выходя замуж, становится свободной, я предполагал не всякий брак и не со всяким человеком, а с таким, который сам любит свою личность и свою свободу, а потому, как порядочное существо, будет уважать их в той, которая разделит с ним жизнь его! С таким человеком жизнь раскрывается вполне для счастья; в нем соединяются муж, брат, друг, защитник. Сковывавшие условия замкнутой девичьей жизни падают, и жизнь — общественная, благотворительная, умственная — раскрывается перед замужней женщиной так, как никогда перед девушкой! Здесь, в браке, нет рабства, и нельзя верить холостякам, говорящим фразы вроде того, что они, женившись, «теряют свободу», так как и они, как девушки, не знают семейной жизни и не могут правильно судить о ней. Взгляните вокруг себя: кругом процветает брак, наши родители, друзья,

родные, лучшие люди общества — все были женаты, замужем, а ведь это самые дорогие, уважаемые для нас лица!.. Свобода без жизни, в полном ее смысле, — немыслима. Разве жили наши боярышни старых времен в теремах за замками, и разве были они свободны? Нет, тысячу раз нет! Я уверен, что большинство барышень наших боится брака <...> Умирают близкие, родные, теряются средства, и как часто девушка остается одна в мире, без друга, без совета, а годы прошли, и на брак рассчитывать нельзя. Конечно, есть «старые девы», умеющие сохранить свою душу от сухости и холода и отдаваться интересам братьев, хозяйству; но ведь это все — частные интересы, а человек создан приносить пользу обществу, идет в общество, помогает там не только своим близким, но всем страждущим <...> и нуждающимся, а это счастье помощи ближнему вполне только доступно женщине, а не девушке! Вот мои взгляды! В письме все не изложишь, но, в общем, хоть и бессвязно, я высказал, что хотел. Я, как только кончу Академию, сам постараюсь жениться, так как чувствую, что «годы проходят, все лучшие годы», а у меня нет друга, с которым я мог бы говорить обо всем, не опасаясь, зная, что встречу сочувствие и не буду покинут в трудные минуты. Даже по характерам женщина дополняет мужчину и наоборот, и полная гармония человеческих душ только и возможна в браке. Она налагает известные обязанности <...>, но дает то, что выше всего в мире, — полноту счастья, дружбу, душевный мир!

Однако пора и окончить это письмо, написанное между двумя занятиями приготовлений к экзамену. Варваре Ивановне пишу отдельно. Будьте здоровы, и если не согласны с моими взглядами, то пишите откровенно и не щадите меня, не лишайте себя наслаждения говорить правду, не боясь обидеть.

Примите уверение в совершенном почтении.

А. Жиркевич.

11.

А. В. Жиркевич — Е. К. Снитко

4 января 1888 г.

Многоуважаемая Екатерина Константиновна!

Получили ли вы мое последнее письмо, недели две тому назад посланное? Из письма Варвары Ивановны вижу, что вас за-

интересовало письмо гр. Толстого, и хотя она просит меня не удовлетворять ваше и ее любопытство теперь, а после моих экзаменов, но я решил совершить подвиг, списать копию с письма ко мне Толстого, боясь послать подлинник в простом письме, чтобы эта драгоценность, которая со временем будет напечатана, не затерялась. Чтобы вам ясно было письмо, замечу, что в письме к Толстому я сомневался в двух вещах: 1) Не бесполезно ли устраивать общество, когда борьба с пьянством была ведена всегда отдельными лицами и так всегда будет продолжаться? На мой взгляд, самыми верными членами будут такие же непьющие, как я, которому ничего не значит дать такой обет. 2) Возможно ли существование общества, построенного на одной нравственной почве, и чем обязательным будут связаны члены, чтобы не изменять обещанию данному: «не пить и не угощать у себя в доме других пьяными напитками» (такова основная мысль Толстого, его пророка). Между прочим, я видел список, в котором Толстой записал своих маленьких дочерей, и написал ему, что считаю странным такое насилие над детьми, к тому же, на мой взгляд, бесполезное, так как какие же они сознательные члены и распространители учения?! Писал я еще кое о чем, да жаль, что не осталось копий с моего письма, а здесь писать больше некогда. Заметьте, что Толстой называет общество «согласием» в ответ на мое письмо, так как всякие общества в России запрещаются без разрешения правительства, а кроме того, название это, когда прочтете письмо, станет вам ясным. Так как Толстой вызывает меня на ответ, то я послал уже ему громадный ответ; не знаю, получу ли и на него что-либо.

Варвара Ивановна нехорошо поняла мое письмо: цели общества я сочувствую, оттого и записался в него, но никак не Толстому, не понимая (да и теперь не убежденный), возможно ли создать на одной нравственной формуле что-либо серьезное. Он пишет, что «да», а я написал опять против, и еще несколько возражений. Не пишу Варваре Ивановне, так как каждая минута дорога. Копия с письма ко мне Толстого ходит по рукам в Питере и составляет событие дня.

Будьте здоровы, и желаю веселиться. Андрею Константиновичу поклон, а у Варвары Ивановны целую ручки.

Преданный и уважающий вас

Ал. Жиркевич.

Когда прочтете копию, то не могли бы вы ее вернуть обратно? У меня постоянно спрашивают подлинник, а мне его жалко

давать, так как пачкается! <...> Письму все удивляются, так как много надо заинтересовать Толстого, чтобы он ответил, да таким огромным письмом. Не скрою, что мне лестно было его получить и иметь право на него ответить.

12.

Е. К. Снитко — А. В. Жиркевичу

*Вильно, 16 января
1888 г.*

Многоуважаемый Александр Владимирович.

Простите, что только теперь собралась поблагодарить вас за присланную копию с письма графа Толстого и ответить на ваши два последние письма.

Письмо графа Толстого очень заинтересовало нас, но нам не все ясно в нем: по-моему, общество трезвости должно иметь задачу борьбу с пьянством, а не с теми лицами, которые позволяют себе иногда выпить, не впадая в излишество. Я понимаю еще, что можно отказаться от вина самим, но не угощать гостей и Андриюше и мне кажется в некоторых случаях совершенно невозможным. Из письма же Толстого мне не ясно, могут ли лица, которые не согласны вполне с ним, вступить в его согласие? Потом, я не понимаю, отчего бы Толстому не предоставить свой устав на утверждение Правительства. У него, вероятно, есть связи, и ему, я думаю, не трудно будет добиться этого. Цели общества я от всей души сочувствую, но я сомневаюсь, чтобы оно привело к каким-нибудь результатам, а самой записываться в него мне не хочется, тем более, что я не вижу, чем я могла бы быть полезна в нем.

Но устав общества мне хотелось бы знать, и я была бы вам очень благодарна, если бы вы прислали нам его, когда он будет выработан.

В Вильно я от многих слышала мнение, что граф Толстой делает и пишет, все это имеет целью порисоваться. Это мнение, кажется, еще более вкоренилось с тех пор, как он затеял согласие против пьянства. Особенно его упрекали за то, что после своего имени немедленно он поместил имена своих лакеев с обозначением их должностей. Но мне не хочется верить, что все это неискренне, по прочтении присланного вами письма. Я

еще меньше, чем прежде способна поверить возводимым на него подозрениям.

Праздники прошли для нас очень тихо, но вместе с тем очень приятно. Так как у Андриюши почти все время болели ноги, то мы только раз с ним танцевали, затем были два раза в театре и раз в концерте (певицы Белохи и виолончелиста Портена). Но вообще в нынешнюю зиму я довольно много танцую: были мы, между прочим, два раза в Дворянском клубе, где я прежде не бывала. Первый мой выезд в Дворянский клуб был очень веселый, а второй вечер был очень немногочисленный, и сначала вечер шел очень вяло, зато мазурка все исправила, и все оставшиеся оживились. Думаю и еще когда-нибудь поехать туда. Мои занятия пением и английским языком подвигаются не много. Соловьева, моя учительница пения, думает устроить в феврале нечто вроде публичного экзамена или концерта своих учениц и учеников. Я этого немного побаиваюсь, но, кажется, мне этого не избежать. Не знаю наверное, что мы будем петь хором, а solo, мне кажется, придется петь «Ave Maria» Шуберта. Ужасно страшно! Это довольно трудная вещь.

В понедельник у вас экзамен: от души желаю вам успеха и, не желая дольше удерживать вас от ваших занятий, кончаю это письмо. Тетя познакомилась с вашей Матан, которая сказала, что ваше зрение очень ослабело: неужели, в самом деле, вы не можете поменьше утруждать его. Желаю вам всего хорошего.

Уважающая вас Е. Снитко.

13.

А. В. Жиркевич — Е. К. Снитко

30 января 1888 г.

С.-Петербург

Многоуважаемая Екатерина Константиновна!

Если я становлюсь невежей и неаккуратно отвечаю теперь на письма, то это, как вам известно, от меня не зависит! Остается три месяца работы, и от них все зависит, т.е. итог каторжного труда за целых три года! Но я все же не лишаю себя наслаждения — вести переписку с людьми, мне сочувствующими, и не поверите, как приятно, уловив свободную минутку — прочесть задушевное письмо и ответить на него! Не сердитесь же на мою неаккурат-

ность и не лишайте меня хоть время от времени удовольствия — получать ваши письма, чем вы исполните своего рода христианский долг поддержки ближнего в трудные минуты его жизни!

Вчера начались у нас практические занятия, состоящие в речах, я был защитником и сказал такую горячую и дельную речь (это не мое, а общее мнение), что заслужил и похвалы начальства и лестные отзывы товарищей. Но речь эта меня очень измучила нравственно, так как приходилось первый раз долго говорить перед большой аудиторией и говорить самостоятельно, построив по личному убеждению всю свою защиту. Мне невольно приходит на ум, что ежели и в будущем, на практике, каждая защита так дорого будет мне обходиться, то надолго ли меня хватит?! А я принадлежу к числу лиц, которые способны «положить душу за други своя». Теперь мне и в Академии придется еще несколько раз говорить речи, и так протянется до половины марта, а там — последние экзамены, и я скажу: «ныне отпускаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром...». Устал я, сильно устал, и, если судьба не готовит мне сюрпризов, хотел бы тот год, что проживу в Вильне, отдохнуть, отдавшись литературе! Вас пугает ослабление моего зрения; но я в этом деле, может быть, сам слишком осторожен и берегу глаза, которые вообще мало повреждены, но вечером чтения не выносят. Боюсь потерять зрение и стать преждевременным калекой, который все будет в тягость, не говоря уже о себе самом.

Теперь здесь гостят мои хорошие знакомые Максимовы, и о виленских удовольствиях и жизни я имею подробные сведения, даже знаю, кто из интересующих меня osób и как был одет на вечерах. Видите ли, какой я стал сплетник?!

Здесь теперь восторгаются последними произведениями Гончарова и много говорят о Толстом. Читали ли вы новые сочинения первого из них и как их находите?

Хотелось бы еще писать, да раскрытые книги смотрят на меня с укором, намекая на необходимость беседовать с ними. Неужели всю жизнь придется всегда откладывать приятное во имя насущного, необходимого?

На днях ночью я написал удачное стихотворение — значит, Муза меня не покидает. Желая вам всего хорошего. Дорогой Варваре Ивановне пишу отдельно; прошу вас и Клеопатре Александровне передать мой поклон

Глубоко уважающий вас, преданный

Ал. Жиркевич.

Поговаривают о войне. Чем она будет, пожалуй, и мне придется идти в жертву чужим и непонятым для меня интересам. К чему ж потерянного 20 лет труда?

14.

А. В. Жиркевич — Е. К. Снитко

*7 февраля 88 г.
С.-Петербург*

Многоуважаемая Екатерина Константиновна!

Как вы себя мало бережете, что простуживаетесь и схватываете катары! Ведь с этим шутить нельзя, тем более, что еще так недавно вы еще были так больны! Буду ждать с нетерпением известий об окончательном вашем выздоровлении.

Вас интересуют примерные наши суды? Они устраиваются в аудитории, причем роли председателя, членов суда, секретаря, прокурора и защитника распределяются между офицерами по очереди, причем каждый из нас должен хоть один раз исполнить каждую из этих должностей. Дела нам дают старые, уже решенные, но приходится самому много работать, разбирая и составляя конспект речи. Тут же сидят — начальник Академии и профессора, которые, по окончании дела, высказывают свои взгляды, иногда очень не благоприятные и не стеснясь. Вообще ораторов между офицерами на нашем курсе мало. Очень жаль, что вы попали на дело, где обвинял Бек: человек он хороший, но как офицер — поразительная бездарность!

Вы пишете, что мне, быть может, удастся избежать смерти в случае войны, сидя в тылу армии и только приговаривая к наказаниям других. Позволю себе по этому случаю высказаться откровенно. Недавно у нас один из профессоров, после лекции, разговаривая с нами на ту же тему, нарисовал ту блаженную картину, которую представляли последнюю войну в тылу действующей армии наши военно-судебные офицеры. Этот господин рассказывал, что юристы ничего не делали, жили себе удобно, уютно, и в то время, когда их братья — умирали и гибли от ран и тифа, эти господа резались в карты и пьянствовали. Нарисованная картина, очевидно, очень была по душе профессору и пришлось по вкусам большинству офицеров; но мне тогда же стало гадко и как-то совестно. Нет, подумал я, надо очень низко

пасть нравственно, чтобы желать такого прозябания. Лучше смерть, чем это удобство, комфорт!! И я мысленно дал себе слово, в случае войны, если действительно судебное ведомство будет играть только роль каких-то паразитов армии, — уйти в строй, туда, где люди борются за жизнь, за родину, за семью! Конечно, при оборонительной войне я буду сознательным бойцом, но чувствую, как бессмысленна будет моя смерть, если лягу в войне наступательной, против врага, к которому вражды не питаю, за интересы, о которых мне даже не объявят! Но, нечего говорить, что и такая смерть — бессмысленна, но честна, и я ее предпочитаю прозябанию в тылу армии. Не удивляйтесь этим строчкам: во мне течет кровь целых поколений, отдавших себя на службу родине и не раз за нее кровь «во брани» проливавших, стыдно было бы мне, их прямому наследнику — отвернуться от русского солдата, который пойдет, как и шел всегда, безропотно на смерть и лишения. Верьте мне, что я говорю не фразы, и, если меня не станет, вспомните эти слова хоть изредка! Давно какие-то предчувствия волнуют меня! Я не обманываю себя, война, если не вспыхнет в этом году, вспыхнет очень скоро, и мне придется доказать на деле, что я всю жизнь без фраз умел жертвовать собою, когда это находил нужным, по убеждению! Но довольно заглядывать в будущее, которое зависит только от Бога!

Вы желали бы иметь мои последние стихи, которые вызвали здесь в моих собратях по перу очень благоприятное впечатление? Исполняю вашу просьбу с удовольствием. Сообщаю вам, что на днях я встретился с Плещеевым, даже говорил с ним о поэзии, и на днях, по его приглашению, пойду к нему побеседовать. Я при нем читал эти стихи, и они ему понравились.

Все эти дни я чувствую какую-то тяжесть в голове и небольшой жар; но это не мешает мне заниматься усердно, следить за литературой — поддерживать интересные знакомства в литературном мире.

Я очень виноват перед Варварой Ивановной, так долго не отвечая ей, но постараюсь загладить свой грех скорым ответом. Как здоровье Клеопатры Александровны? Я ей тоже пишу. К 1 марта мне надо представить письменную работу в Академии, а я к ней еще не приступал. Желаю вам скорого и полного выздоровления и всего хорошего. У Варвары Ивановны целую ее добрые ручки.

Примите уверение в совершенном почтении и преданности.

Ал. Жиркевич.

15.

А. В. Жиркевич — Е. К. Снитко

27 февраля 88 г.

Лазарет Л. Гв. Конного полка
Многоуважаемая Екатерина Константиновна!

Вы правы и не правы, распекая меня за мое длинное послание: правы — потому, что мне действительно вредно писать, не правы — потому, что и так моя жизнь не красна и было бы жаль лишать себя последнего удовольствия — переписки с друзьями (к которым, надеюсь, вы разрешите мне причислить себя и Варвару Ивановну?!). Я так много выстрадал за эту болезнь, что едва ли суждено мне когда-либо страдать более. Вот уже четыре недели, как я болен: более двух недель лежу здесь, неделю лежал и в квартире, да неделю ходил в тифе на лекции, благо не терял сознания. Как благодарен я Богу, что даже и в болезни я не терял способность думать, чувствовать, надеяться, хотя порой и лежал в полузабытьи. Эта болезнь окончательно убедила меня в том, что характера, силы воли у меня довольно, а терпением — могу даже похвастаться. (Хоть хвастаться и не красиво!) Третьего дня первый раз разрешено мне было $\frac{1}{2}$ часа посидеть в кресле для больных, но это так утомило меня, что я поспешил опять лечь. Сажу на самой строгой диете, так как доктора объявили, что если во время выздоровления съесть хоть кусок лишнего, то будет возвратный тиф и я, вероятно, отправлюсь в места, где «нет ни болезни, ни воздыхания...». А я хочу жить, и эта жажда жизни никогда не была так сильна, как теперь, когда опасность прошла и я чувствую брожение восстанавливающихся сил. Надо жить, чтобы что-нибудь сделать, чтобы принести пользу, чтобы не краснеть за себя! Простите за это письмо: оно вновь, пожалуй, нагонит на вас хандру, а я не хотел бы, чтобы облачко, проносящееся над нивой моей жизни, бросало свою тень на вашу счастливую ясную весну! Храни вас Бог от философий, хандры и болезней: оставим все это для более солидных годов, а теперь будем брать у жизни то, что она дает! Надеюсь получить от вас еще письмецо! Когда разрешено мне будет встать, заниматься и выходить, — не знаю, но я решил держать экзамены весной, а они начинаются в конце марта, о чем и объявил докторам, хотя они — качают в ответ головой. Из ваших писем я так мало могу узнать о вашей жизни! А ведь вы живете же умственной, свет-

ской жизнью? Отчего же не доверяете мне и пишете так мало и так сдержанно-скупо? Этим вопросом и кончаю мое послание! Видите ли, какая у меня твердая рука!.. Будьте здоровы. Кланяйтесь Варваре Ивановне и Клеопатре Александровне.

Преданный и уважающий вас

Ал. Жиркевич.

16.

А. В. Жиркевич — Е. К. Снитко

18 марта 1888 г.

Лазарет Л. Гв. Конного полка
Многоуважаемая Екатерина Константиновна!

В последнем письме вашем вы пишете мне, что я вполне могу рассчитывать на вашу дружбу... Очень рад случаю, дающему мне возможность сказать вам прямо и честно, что вашей дружбы для меня мало: я уже более четырех лет люблю вас и теперь первый раз решаюсь это вам высказать. Еще задолго до поступления в Академию вы интересовали меня, но в чувствах своих я еще не мог разобраться, и только за год до Академии я понял, что люблю вас и никогда разлюбить не буду в состоянии. Скажу вам теперь, что и в Академию, главным образом, я поехал ради вас, чтобы получить более определенное положение и обеспечить себя материальными средствами; все, что перенес я здесь в эти три года каторжного труда и лишений, я переносил безропотно и с радостью, говоря себе, что этот подвиг я делаю для вас, которую тайно и безнадежно люблю! Согласитесь сами, что я держал эти четыре года себя как порядочный человек и ни одним словом не выдал вам себя, скрывая даже от близких мне лиц свои чувства?! Между нами завязалась переписка, с моей стороны — полная вопросов и симпатий к вам. С вашей — довольно холодная и сдержанная. Но любящим сердцем я и там ловил признаки симпатий ко мне и во имя их решаюсь теперь высказаться перед вами, не зная даже, что вы ответите мне, и не имея даже права и основания на что-нибудь надеяться. Итак, согласны ли вы разделить мою судьбу с моею жизнью, верить свое счастье моей охране и попечениям?! Помните, что ведь дело идет здесь о всей вашей жизни, а потому не торопитесь с ответом, взвесьте в мои слова, загляните в будущее, а

главное, загляните в свою чистую, святую душу и спросите себя, можете ли твердо и уверенно сказать мне «да!» и повторить это «да» перед алтарем Всевидящего Бога?! Я очень сожалею, что вынужден делать свое предложение теперь, когда я болел и вы невольно жалуете меня; а это чувство жалости может помешать вам хладнокровно обсудить это письмо. Но ввиду окончания через два месяца Академии я решил не молчать более, а если суждено, то громко всему миру заявить о своих чувствах. (Ради Бога, забудьте про мою болезнь, которая скоро оставит меня, и постарайтесь быть беспристрастной и даже строгой к моей личности. На этом бы следовало окончить письмо; но совесть моя этого не позволяет.) Я старше вас годами, опытнее вас в жизни и считаю нужным сказать о себе несколько слов. Не сделайте неосторожного шага, если захотите верить свое счастье именно мне! Не забывайте, что я — человек без средств и еще года два-три буду жить одним скудным жалованьем... Конечно, я добьюсь этих средств, но кто поручится за будущее? Пойду далее: у меня здесь много знатной и богатой родни, но от нее я всегда держался далеко и скорее на правах хорошего знакомого, чем равного, так как никогда ни в чем родне не обзывался и ничего у нее не просил. У меня, как говорят, есть литературный талант, и я завел здесь литературные связи, но литературное поприще не для всякого благоприятно и выгодно, а я слишком горд, чтобы ходить на поклон к литературным знаменитостям. Без этого литературная карьера не обеспечена. Следовательно, и здесь я не могу ручаться за будущее. Сказанного, считаю, довольно! Я хотел напомнить вам, что, решаясь дать мне тот или иной ответ, вы постарайтесь видеть во мне самого заурядного человека, хотя и не без хороших качеств, но я ничем не выделяющаяся личность из массы других заурядных людей. Если такому человеку вы можете искренно и твердо ответить «да», то это будет залогом, что едва ли вы ошибетесь в своих чувствах и выборе. Зная ваш характер и силу воли, я уверен, что вы сами, не прибегая к советам, разрешите эту задачу, которую предлагает вам, в лице моем, сама жизнь! Не бойтесь отказать мне: я — мужчина, обладаю твердым характером и много уже перенес в жизни, а потому и этот ответ перенес бы безропотно и твердо. Чувствую, как много и, вместе с тем, как мало сказал я в этом письме из того, что наполняет в данную минуту мою душу! Ожидая от вас того или другого ответа, я, как честный человек, сказал вам о себе всю правду и могу

обещать только одно: если мечты и сбудутся, свято и честно охранять вас от всех житейских бурь, быть вам и другом, и покровителем, и постараться, чтобы вы во мне как в человеке никогда не ошиблись. Остальное — все в руках Божьих и грешно было бы смело заглядывать в будущее и придавать большое значение своей скромной личности! Долгом своим считаю уведомить вас, что пишу о сделанном предложении и вашему брату, и П. И. Лего. Призываю Божие благословение на вас, чтобы Он поддержал вас в эту минуту и не дал бы вам сделать опрометчивого шага в жизни.

Уважающий вас, преданный Ал. Жиркевич.

17.

А. В. Жиркевич — Е. К. Снитко

*С.-Петербург,
23 марта 88 г.*

Дорогая Екатерина Константиновна!

Сегодняшний день делается, благодаря вашему письму, счастливейшим днем моей жизни. Правда, письмо Петра Ивановича, полученное мной одновременно с вашим, дорогим и незабвенным, письмом, немного затуманило тот светлый горизонт, который сразу передо мною открылся. Но теперь, когда я услышал от вас заветное «люблю», целый мир не страшен мне, с целым миром я готов бороться, чтобы только вы были счастливы, чтобы дожидаться той минуты, когда между нами никого кроме Бога не будет. Письмо Петра Ивановича звучит даже враждебно, и это, конечно, устраняет всякие мои письменные с ним объяснения. Грустно, тяжело мне, желающему любить всех тех, кого вы любите, встречать с первого же шага эту непонятную враждебность!! Но даю вам слово, что всегда буду уважать Петра Ивановича и помнить, что и он вас любит, и он желает вам счастья, но только по-своему. Кто из нас прав — решит время. После вашего письма у меня сразу выросли какие-то мощные крылья, прибавилось сил и бодрости, так что даже окружающие меня в Лазарете офицеры заметили во мне перемену: я объявил им о своем счастье, конечно, не назвав вашу фамилию. Вообще, до приезда моего в Вильну, с вашего разрешения, я хочу объявить об этом событии в моей жизни только самым

близким мне лицам, т.е. отцу, матери, брату и сестре. Но не поручусь, что не разболтаю это и другим: у счастья язык очень болтлив, да и зачем молчать?! Я и без того с лишком 4 года молчал, таился, даже лгал, как будто, любя вас честно и глубоко, совершал преступление! В июне, когда, даст Бог, окончу Академию и приеду в Вильну, мы обо всем переговорим, все окончательно выясним и, быть может, рассеем и те немногие тучки, которые собрались над нами!

Здоровье мое поправляется, и я уже выезжаю в теплые дни гулять, а теперь я уверен, что пойду быстрыми шагами к выздоровлению. Доктора советуют отложить экзамен хоть до осени, но я и не могу, и не хочу: это значило бы заставить меня еще мучиться, еще ждать, еще вас не видеть!!

Вы упоминаете о холодности ваших писем?.. Прежде она волновала меня, теперь же я сумею найти там и теплые строчки, поверьте.

Получил ли хороший, благородный Андрей Константинович мое письмо? Как хочу я сойтись с ним и приобрести его любовь и доверие! Кончаю письмо, по обыкновению не написал всего, что хотел. Благодарю же еще раз за уверенность во мне, за ту твердость, с которой идете ко мне навстречу! Нет, я не ошибся в вас, я вас не идеализирую, я знал, с кем соединяю свою судьбу с этого знаменательного дня!

Вся жизнь моя теперь будет направлена на то, чтобы вы никогда не раскаялись в своем шаге! Будьте счастливы.

Уважающий и любящий вас

Ал. Жиркевич.

Дорогой нашей Варваре Ивановне свой привет, так же как и другу моему Клеопатре Александровне. Пишите, если можно, хоть раз в неделю и хоть парочку слов. Боже, как я счастлив и как я даже поглупел от счастья, от новизны положения!!

18.

Е. К. Снитко — А. В. Жиркевичу

26 марта 1888 г.

Дорогой мой Александр Владимирович!

Получив письмо ваше с уведомлением, что вы посвятили вашу мать и прочих членов вашей семьи в нашу тайну, я реши-

ла написать вашей маме от себя по этому поводу; сегодня же узнаю от Клеопатры Александровны, что вы собирались просить вашу маму написать мне; но я сторела бы от стыда, если бы она, а не я, сделала первый шаг, чтобы завязать добрые отношения. Итак, напишу ей первая — и посылаю вам свое письмо для прочтения, припишите адрес и отошлите его по назначению. Жаль мне бедной вашей сестренки: вот кому будет тоже немного грустно первое время после вашего сообщения о нашем взаимном соглашении. Вы мне говорили когда-то, что она мечтает о том, как она будет у вас хозяйкою по окончании института. Да оно и понятно: я тоже ревновала бы немного Андрюшу, если бы он женился прежде, чем я бы вышла замуж. Надеюсь, впрочем, что мне не придется столкнуться на первых же шагах с таким холодным приемом в вашей семье, каким встретил вас Петр Иванович. Мне было бы еще тяжелее, чем вам, потому что не вы, собственно, входите в мою семью, а я в вашу.

Бедный вы мой, я ведь знаю, какое письмо написал вам Дядя! Я читала его, но, конечно, не могла ничего сделать, чтобы оно было изменено, — добилась лишь того, чтобы оно не было послано прежде моего ответа на ваше предложение. Петр Иванович сказал Андрюше, что он решил более не говорить со мной по этому поводу, а я поняла это как предупреждение, чтобы не начинать этого разговора. Но все же мне надо будет задать этот вопрос не раз еще: его не обойдешь. Ужасно горько было бы мне, если бы Дядя отказался быть моим посаженным отцом, это было бы жестоко с его стороны! Он мне сказал, что во всяком случае мои с ним отношения не изменяются и что я в его расположении сомневаться не могу; что ежели бы у него была дочь, он не любил бы ее более меня. Не может быть, чтоб после брака он отказал моей просьбе!

Вы спрашиваете, получил ли Андрюша ваше письмо? До отъезда из Риги — нет, но, вернувшись туда (он уехал вчера), вероятно, нашел его у себя. Очень буду рада, если вы благополучно кончите Академию до лета, но боюсь, чтобы брак не повлиял дурно на ваше здоровье, и опасуюсь, что после вашей болезни вы не в состоянии выдержать экзамены так хорошо, как бы следовало. Помоги вам Бог во всем! Затем у меня есть еще одна просьба к вам, исполнением которой вы бы меня очень порадовали. Что бы вам теперь приобшиться Святых Таин. Я верю, что после этого физические и душевные силы ваши окрепнут. Когда мы говели на первой неделе, я не раз говорила

себе, что мне радостно было бы знать, что я приобщалась в один день, может быть, в одну минуту с вами; но тогда не имела права просить вас сделать что-нибудь для меня; теперь же прошу вас, не откажите мне! Вы были больны; вам и без говенья, без стояния в церкви можно приобщиться. Хотела бы тоже просить вас принять от меня образок, который ношу уже десятый год: я его очень люблю, но для вас мне не жаль с ним расстаться. Ежели вы обещаете мне носить его, то я пришлю его, но, пожалуйста, не вздумайте меня теперь отговаривать. Ведь у меня есть уже один ваш подарок — «Последние произведения графа Толстого». Мне ужасно совестно было хранить эту книгу у себя, но теперь это неловкое ощущение устранилось. Напишите, когда ваши экзамены начнутся? Вы не сказали мне ничего о вашем сочинении. Буду писать вам как можно чаще.

Любящая вас Е. Снитко.

P. S. Я сегодня говорила Тете, что мне все кажется, что никогда между женихом и невестой не существовало таких особенно хороших отношений, как между нами, хотя ту же вспоминаются мне слова княгини-матери к Кити в «Анне Карениной»: «А ты думаешь, что вы с Костей выдумали что-то новое?»

19.

А. В. Жиркевич — Е. К. Снитко

8 апреля 1888 г.

Дорогая моя Екатерина Константиновна!

Я только что отправил к вам мое последнее письмо, как получил и ваше заказное письмо и посылку. Увидя ваш почерк на конверте, я успокоился о вашем здоровье, а то Бог знает, что уже бродило в моей голове. Спасибо и за заветный образок и за прекрасную карточку: образок я уже ношу, благословясь, а портрет лежит возле моей кровати, так как рамки для него я еще не успел купить. И вы, и Тетя вышли на карточке очень хорошо, особенно вы, так что, обвиняя фотографа в несходстве, вы немного против него согрешили... Не бойтесь, ради Бога, о моем здоровье: опасности для него больше нет, а по вечерам я совсем не занимаюсь, чем и сохраняю свое зрение. Но память действительно изменяет мне, хотя все доктора говорят, что это лишь временно, а потом я опять стану как все смертные. Заниматься

мне, конечно, трудно; да что же давалось мне в жизни без труда, без борьбы? К этому я привык и умею всегда усладить труд надеждой, а теперь эта райская птичка часто своими песнями услаждает тоску моей лазаретной тюремной жизни.

Вы задали мне несколько вопросов: спешу на них хоть вкратце ответить. С Петром Ивановичем я еще сам не знаю, как сойдусь и познакомлюсь ближе. Во всяком случае, даю вам слово, что ради вашего спокойствия и счастья принесу все жертвы, сделаю все, чтобы он узнал меня ближе, и если не достигну его любви, то, быть может, заслужу уважения. Моя глупая конфузливая натура принесла уже мне много страданий, и мне бывает тяжело, когда встречаюсь с человеком, меня не любящим. Но и тут я решил сделать все уступки, все, что вы мне посоветуете, как знающий ближе Петра Ивановича, чтобы размолвка наша с ним не приняла серьезных размеров. Избегать же его, сердиться на него я не буду, считая такую борьбу в данном случае нечестной и мне не свойственной. Вот все, что пока могу сказать по этому вопросу: дальнейшее будет продиктовано временем и нашим с вами личным свиданием.

Едва ли мне придется командовать ротой, если окончу Академию. Спасибо вам за готовность делить со мной и радости, и горе: я в вас давно уже заметил задатки человека, с которым могу и говорить, и поступать откровенно и без боязни испугать, заставить колебаться. Я твердо хочу жить для вас, для вашего благополучия и постараюсь избавить вас от нужды и от той заурядной обстановки, которая окружает армейских офицеров. Ну а если судьба станет и тут делать сюрпризы, что же, вы, я уверен, настолько мужественны и любите меня, что взглянете ей смело в глаза и не упрекнете меня в недостатке к вам жалости.

Весной приеду в Вильну и хоть первые годы хотел бы жить в Вильне, и в этом наши желания сходятся!

Могли ли вы сомневаться, что я ни одной минуты не вообразил нашего семейного очага без Варвары Ивановны, которая не погрелась бы у него на старости жизни и в свою очередь не пригрела бы нас своим горячим, любящим сердцем?! Рисуя картины нашей семейной жизни, я всюду вижу и дорожую Тетю, которую люблю как сын и друг. Итак, этот вопрос мы с вами решили окончательно. О подробностях нашей свадьбы поговорим лично, но венчаться будем там, где вы желаете. Кстати, генерал Максимов, который давно уже предназначен в посаженные отцы с моей стороны, узнав через моего брата о моей женитьбе, про-

сит меня спросить вас, разрешите ли вы сделать ему теперь визит? Уведомьте меня на сей предмет откровенно, и если найдете это неприятным или неудачным для себя, то я вежливо отклоню желание Максимова.

Дописался до конца, и благоразумие приказывает положить перо. Спасибо же за присланные дорогие моему сердцу подарки! Храни вас Бог.

Любящий вас А. Ж.

Клеопатру Александровну по обыкновению я забыл поздравить! Душевно об этом сожалею. Буду писать и вам, и ей, и Тете после 12-го. Тогда же напишу и вам громадное письмо. В минуты отдыха думаю о вас. Все офицеры лазарета удивляются перемене, которая во мне произошла.

Помолитесь за меня 12 числа. Прошу о том же Тетю.

20.

Е. К. Снитко — А. В. Жиркевичу

10 апреля 1888 г.

Дорогой мой Александр Владимирович!

Какой счастливый день был для меня вчерашний! Как часто со мной бывает, когда что-нибудь особенно хорошее должно днем случиться, мне с самого утра было так светло и радостно на душе. Вернувшись домой с английского урока, я нашла письмо от вашей дорогой Мама — такое доброе, теплое, хорошее письмо, что меня так и потянуло к ней, и я просто жажду узнать ее! Затем, после обеда пришло ваше письмо от 8 апреля. Радостно мне и вместе с тем совестно, что я как бы вызываю вас на письма отвечать перед самым экзаменом. Когда вы получите это письмо, этот страшный день будет уже прожит и, Бог даст, благополучно прожит. Не хочу более останавливаться на вопросе об экзамене, перейду лучше к другим.

Ваша добрая Мама просит меня прислать мою карточку: не знаю, заказать ли такую, как я вам теперь послала, или сниматься еще раз в маленьком формате? Больших карточек мы сделали только шесть. Ваша Мама высказывает также желание вступить со мной в постоянную переписку, что для меня, конечно, будет большой радостью. Я навсегда сохраню ее письма и, когда вы приедете, покажу вам это дорогое незабвенное письмо,

которое я вчера от нее получила. Я читаю его и перечитываю, и каждый раз оно меня приводит в восторг. У нас завяжется переписка, и вот будем по косточкам разбирать вас, мой хороший, и бранить наперерыв.

Очень буду рада познакомиться с вашим братом; боюсь только, что для него будет немного трудно пересилить себя и идти к нам: он, кажется, такой нелюдим. Я очень хочу его узнать, как и всю семью вашу, и каждый неизвестный мне офицер Оренбургского полка представляется мне вашим братом, и я стараюсь отыскать в нем какое-нибудь сходство с вами, но до сих пор напрасно. Что же касается генерала Максимова, признаюсь вам, мне бы приятнее было, если бы он был у нас с визитом при вас, если бы вы его к нам привели; но так как он в данном случае поступает очень любезно и деликатно и, вообще, считает себя вашим другом, я думаю, неловко будет отклонить делаемую им для вас любезность, тем более, что до осени откладывать этот визит будет слишком долго, а весной мы, может быть, увидимся лишь в деревне. Итак, мы будем ждать Максимова. Он, вероятно, будет у нас один: напишите, должна ли я в ответ на эту любезность быть с Тетей к Madame Максимова? Благодарю вас от всего сердца за вашу любовь к Тете и за то, что вы не разлучаете меня с ней! Вы меня так обрадовали и успокоили решением этого вопроса! О моих взглядах на отношения, которые должны установиться между вами и П. И., напишу в следующий раз.

Ваша всем сердцем Е. С.

Я не совсем рада, что вы оставляете уже лазарет, кто за вами дома присмотрит? После тифов, говорят, нужно соблюдать осторожность в течение целого года.

Как здоровье вашей сестры?

21.

А. В. Жиркевич — Е. К. Снитко

*13 апреля 1888 г.,
Петербург*

Дорогая моя Екатерина Константиновна!

Пишу вам еще совсем разбитым и нравственно, и физически выдержанным вчера экзаменом. Он прошел удачно, хотя и не

блестящим образом, как я привык сдавать обыкновенно экзамены по главным предметам; но грешно было бы требовать от Господа чудес, а блестящий ответ при моем теперешнем состоянии был бы чудом! Я рад, что $\frac{1}{4}$ часть экзаменов свалилась с плеч, и хотя осталось три экзамена и письменная работа, да я надеюсь все преодолеть и, как средневековый рыцарь, принести к вашим ногам академический значок и, быть может, обеспеченную будущность. Мне поставили 10 баллов, более чего и не требуется по I-му разряду. Признаюсь вам, что занятия вновь разбили мои силы, и одно время я лелеял мысль отложить хотя три экзамена до осени, бросить все и приехать к вам — отдыхать и лечиться. Обо мне было сделано представление, где при прекрасной аттестации Академия просила не лишать меня чина, если буду держать экзамены осенью (что бывает по одному из драконовских законов Академии), но высшее начальство решило, что мне полезно рисковать здоровьем, то есть, иными словами, отказало в такой серьезной просьбе. Бог с ними и с этой канцелярщиной, вечно преграждающей с начальническим сердцем доступ вопросов жизни и правды! Не пугайтесь этих строк и примите их как знак моего полного к вам доверия: я и матери не писал бы так откровенно о своем здоровье, как пишу вам, зная, что с вами нечего секретничать, — вы человек с характером и силой воли!

Боюсь за свои силы, но надеюсь остановиться вовремя, когда почувствую, что это требует благоразумие. Тогда отложу остальные экзамены на осень и откажусь от чина. Конечно, последнее, то есть чин, для меня важен; но, отложив экзамены на осень, я не лишусь I-го разряда. Вот какой сумбур и неопределенность в моей бедной головушке!

Я тревожился тем, что вы уже долго не получаете от моей мамы письма. Желал бы, чтобы вы ее пока узнали хоть по письмам и оценили ее золотое сердце. Если жизнь меня не очень жалует теперь, зато подарила мне такую мать и дарит мне вас: с такими друзьями щелчки жизни не страшны!.. У вас начинается с мамой переписка? В добрый час!.. Только не верьте всему хорошему, что будет писать вам обо мне мама, и не составьте с ее слов мнение обо мне! Я всегда был маменькиным любимцем, а потому говорить обо мне беспристрастно она не может и всегда ставит меня на пьедестал, не желая верить, что я — простой смертный, которому не пристало мечтать о пьедесталах. Кроме того, довольно долго я живу вдали от матери, наши жизни, а

следовательно взгляды, разошлись, и мы понимаем друг друга лишь сердцем.

Мама в восторге от вашего письма и отец мой тоже. Мама собирается вести с вами деятельную переписку, и это меня радует. Брат мой теперь в деревне и, как вернется, будет у вас. Он — прекрасный, честный и умный человек, но действительно нелюдим и нигде не бывает, так что вы на него и не претендуйте, если кроме двух-трех раз вы его не увидите в это время. С братом я очень дружен и люблю, но хотя вижу в нем большие недочеты, которые другой назвал бы оригинальностью. Замкнутый характер брата мешает нам сойтись близко, а дружба наша принадлежит к числу тех, когда взаимная помощь делается естественно, сама собой, не говорится лишних слов и все понимается во взаимных отношениях с полуслова. Брат вам должен понравиться: все, кто с ним первый раз встречался, выносят это впечатление.

Из ваших писем я вижу, что вы в июне уезжаете в Карльсберг. Не можете ли вы сообщить хоть приблизительно, в каких числах это будет? Мне хотелось бы хоть на три дня приехать в Вильну перед выпуском (между экзаменами и представлением Государю будет промежуток недели в две). Получив от вас сведения, я соображу, как все это устроить. Во всяком случае, окончив Академию, я имею право взять отпуск на более продолжительное время. Тогда прямо приеду к вам, чтобы восстановить в деревне свои силы.

С вашего позволения я пишу Максиму (его зовут Иван Иванович), что вы разрешили ему сделать визит. Полагаю, что до визита самой Максимовой к вам, вам и Тете не следует делать первый шаг, то есть познакомиться с М-ме Максимовой, а за вас отдам визит или я, когда приеду, или Андрюша, когда приедет. Впрочем, вы сами хорошо знаете все светские приличия, а говорить и советовать заранее — значит наверняка ошибиться. Максимов, как вы верно выразились, «считает» меня своим другом, и я к нему расположен, так как пользуюсь его неизменной симпатией уже шесть лет; характерами же и взглядами на жизнь мы с ним совершенно расходимся.

Сегодня первый день, когда я не сижу за книгами и могу думать о вас без головных болей, без тревожных взглядов на раскрытые книги. Меня все тревожит мысль: достаточно ли хорошо свидетельствуют мои письма о тех чувствах, которые питаю я к вам в моей душе?! Вот уже два месяца, как я живу в каком-то невообразимом хаосе, выбитый из обычной колеи, окруженный

неразрешимыми и разрешимыми вопросами, опасениями, сомнениями, неприятностями!! Ваша любовь ко мне озаряет эту тьму, но, как узник, отвыкший от света и изнуренный борьбой и лишениями, я могу только молча благодарить существо, пролившее этот свет в мою душевную темницу, оставляя все выражения моей благодарности до полного освобождения! Итак, не истолкуйте дурно мои нескладные, нечастые и грустные письма: занятия и болезнь отнимают у меня радости жизни, и бывают минуты, когда перо валится из рук. Чтобы не утомлять себя, я почти прекратил переписку и даже не читаю газет; к вам же не могу не писать — это значило бы лишиться себя той нравственной бодрости, которая не покидает меня!

Сестре моей лучше, я к ней еду сегодня в Институт и хочу подарить букетик живых цветов, которые она так любит. Пишу и Тете, и Клеопатре Александровне. Я дал себе два дня отдыха, а там опять сажусь...

Любящий вас А. Ж.

22.

Е. К. Снитко — А. В. Жиркевичу

24 апреля 1888 г.

Сегодня получила я письмо ваше, дорогой мой и хороший Александр Владимирович, и положительно не знаю, что мне делать. Умолять ли вас, как в последнем письме, вами еще, кажется, не полученном, отложить все до осени, или положиться на благоразумие ваше?

В последнем письме вы пишете: «На что больному даже генеральский чин?», а сегодня говорите: «Неужели остановлюсь в нескольких шагах от цели из-за возможности какой-либо беды с моим здоровьем?» Боюсь страшно, чтобы труд ваш не убил в вас здоровье навсегда! Ваш значок был бы куплен тогда слишком дорогой ценою и, кроме омерзения и отвращения, ничего бы не внушал мне. Подумайте над этим хорошенько и не заставляйте меня упрекать себя всю жизнь в том, что не настояла на вашем прежнем решении. Что мы будем делать без здоровья?! Итак, взвесьте хорошенько силы ваши, но ежели их довольно, то, конечно, приятнее покончить весной экзаменные тревожнения, и да будет Милость Божия с вами! Простите, дорогой мой,

что письмо это не поспело к праздникам: масса писем в ответ на полученные поздравления, приготовления к Пасхе, службы Страстной недели, все это мешало написать вам, да к тому же я все ждала от вас разъяснения недоразумения насчет ваших экзаменов. Иван Владимирович (с которым мы уже познакомились и о знакомстве с которым сейчас вам расскажу) заподозрил, что вы написали мне о вашем решении отложить экзамены до осени, только чтобы не беспокоить меня, не заставлять волноваться. Это меня несколько огорчило после ваших уверений, что пишете мне вполне откровенно, откровеннее, чем маме. Вчера же, до заутрени, стала писать вам, но так устала от всей предпраздничной суеты, что улеглась спать и в церковь отправилась еще сонная. Вам нечего было просить меня молиться за вас и думать о вас при первых возгласах «Христос воскрес!» Я и так была бы мыслью с вами и с моим бедным Андрюшей! Существует поверье, что желание, которое выскажешь, когда в первый раз услышишь в церкви «Христос воскрес!», непременно сбудется. Я вообще не суеверна, но мне хочется верить в эту приметку, и я молилась о благословении для нас с вами и всех тех, кого мы любим.

А теперь скажу вам про вашего брата, что он мне действительно понравился, как вы предполагали, и мне кажется, что мы уже с ним познакомились. Он был у нас на следующий день после визита Максимова и был так мил, что пришел затем к нам вечером и принес по моей просьбе три карточки вашей сестры. На одной из них она очень похожа на Леню Вирпотину. Иван Владимирович обещал, что будет заходить к нам вечером запросто, и мы, конечно, употребим все усилия, чтобы посещения эти не были для него тягостны. С отцом вашим и сестрой мне не пришлось встретиться: они приехали сюда в Страстной четверг, и Иван Владимирович, предполагая, что мы поздно вернемся из церкви, отговорил их быть у нас. Отец ваш, говорят, будет здесь в этом месяце или будущем, но сестру вашу мне так и не удастся видеть. Это мне очень, очень прискорбно: я очень желала с ней познакомиться.

Во вторник уезжаем в Гродно, где пробудем до воскресенья. Не смею ждать от вас письма на этой неделе перед экзаменом, но, если бы вам нужно было написать мне, пишите по следующему адресу: Гродно, Дом благотворительного общества, ее превосходительству Елизавете Павловне Савицкой. С передачей Е. К. Снитко.

Так как я ждала вас до окончания экзаменов, думая, что вы не будете держать теперь, то перестала скрывать нашу помолвку, и Тетя объявила теперь всем об этом. Думаю, что ничего против этого не имеете. Об этом знают уже и ваши знакомые Чагины. Не бойтесь поставить меня в неловкое положение вашим приездом в Карльсберг: Петр Иванович и Софья Тимофеевна никогда не приезжают на более продолжительный срок, как четыре-пять дней, много если приедут на неделю. Что Петр Иванович с вами объясняться не будет — за это я готова ручаться. Мне кажется, он боится объяснений, которые могут поставить его в необходимость мотивировать чем-нибудь свое непонятное поведение, а он не простит тому, кто поставит его в глупое положение. Почему сын генерала Костогорова пользовался четырехмесячным отпуском, когда кончил Артиллерийскую Академию? Я думала, что это законом установленный срок.

Напишу вам из Гродно. Не бойтесь, чтобы кто-нибудь меня вырвал у вас: я сама не дамся. Не бойтесь также, чтобы кто-нибудь мог поселить недомолвки между нами.

Не забывайте любящую вас Е. Снитко.

На этом письме мы сделаем остановку. До венчания Екатерины Константиновны и Александра Владимировича будет еще немало писем. Да и те, которые представлены читателю, составляют лишь небольшую часть их переписки; писали часто и помногу, но и в этих письмах чувствуется атмосфера общения, интересов молодых людей, счастье первого признания...

Г Л А В А 5

«И милость к падшим призывал...»

Из судебной практики А. В. Жиркевича

Страницы дневника А. В. Жиркевича

Подготовлено Н. Г. Жиркевич-Подлесских

«Служа в военном ведомстве, во многом с ним не согласен, и иногда моя защита сводится к нулю, благодаря постановке закона. И только в редких случаях удается мне выручить несчастного подсудимого, и вот ради этих редких случаев я и не бросаю службу в военном ведомстве. Предложи мне миллион, я не бросил бы эту службу, т.к. в ней вижу возможность быть христианином не на словах, а на деле. Облегчить участь, вернуть доброе имя обвиняемому и т.п. Человек прежде всего, на всех должностях военно-судебного ведомства. И я буду служить до тех пор, пока смогу приносить пользу».

Дневник А. В. Жиркевича. 1890 г.

1888

Вильна

Первая моя работа в Вильне была защита часового, которому грозила каторга. Этот солдат стал передо мной на колени и просил: «Защищайте меня». Мне удалось доказать, что часовой не виновен, и его из зала суда освободили. Я счастлив, что удалось спасти человека. А он пал на колени и благодарил меня.

...С председателем суда Гариным¹ возникает спор о роли защитника. «Меньше защищайте, — говорит он, — в военном суде все заранее решено». Но я с ним не согласен. С Гариным отношения всё обостряются... Гарин подал жалобу на меня барону Остен-Сакену², но тот не дает ход жалобе. Из-за сплетен

¹ *Гарин Василий Васильевич* — военный судья, генерал-майор, в должности с 30 авг. 1871 г.

² *Остен-Сакен Рудольф Эрнестович* (1846–1911), барон. В 1880-х гг. (с октября 1883 г. по февраль 1892 г.) военный прокурор военного ведомства в Вильне. В 1908–1911 гг. главный военный прокурор России и начальник Главного военно-судного управления России.

Гарина все судьи настроены против меня и не хотят ехать со мной в командировки. Прошу барона Остен-Сакена прибавить из-за этого мне работы здесь, в Прокуратуре, но он отказывает.

1889

Вильна

История с Гариним кончилась моей победой. Приговор Гарина по кассационной жалобе, составленной мною, отменен. После этого снова стали мне давать защиту. И другая моя жалоба признана законной... Борюсь как защитник за каждого темного беднягу, но закон дает мало возможностей для защиты.

Я защищал дело солдата, который поднял руку на офицера. Солдата осудили на 12 лет каторги. Я пишу о помиловании на имя Государя... У меня много дел по защите. Радость, когда удастся иногда оправдать.

...Имел разговор с бароном Остен-Сакеном, который спрашивал о наших командировках и отменяются ли обвинительные акты. Он считал, что обвинительный акт должен лежать в основе суда. Можно было раньше разбираться, а раз уж дело дошло до суда — он не любит, когда обвинительный акт находят несправедливым. Я — наоборот, считаю, что очень хорошо, если выясняется на суде несправедливость обвинения, ведь тут и свидетели участвуют, и легче дознаться до истины.

...В Минске слушалось большое дело по обвинению нижних чинов в преднамеренном убийстве. Дело возмутительное, так как в нем замешаны невинные люди. Я так переживал чужое горе, что, возвращаясь в номер, плакал. Дело кончилось пустяками, как говорят, благодаря мне, моей защите. Никогда не забуду этого дела. Я был счастлив, что смог помочь людям.

...Посетил дисциплинарный батальон с Беком¹ и Никифоровым². Успенский буквально бегом вбежал к нам, расшаркиваясь, сладко улыбался. Гадкая тварь. Пришло на ум, что Иуда Искариотский не был, как его изображают, мрачным, суровым, замкнутым, а, как Успенский, — вкрадчивым, смиренным, добродушным и болтливым.

¹ *Бек Максимилиан Гаральдович* — помощник военного прокурора, подполковник, в должности с февраля 1884 г.

² *Никифоров Петр Дмитриевич* — военный судья, полковник, в должности с 22 окт. 1884 г.

Общий вид солдат в дисциплинарном батальоне ужасен. Унылые темные лица, пугливые взоры, торопливые движения. Как клетка со зверями. В числе солдат есть и видные люди. Например, князь Максун и семнадцатилетний семинарист (очень симпатичный). Карцер ужасен. Воздух там отвратителен. Каждого вновь прибывшего сажали для усмирения в карцер. Бек возмущен. Смотрели так называемый *светлый карцер*, но там темно.

Меня поразило, что я больше возмущался, когда обо всем слышал, чем когда увидел воочию. Это меня смущает. Неужели я люблю добро и ненавижу зло только издали, как это было с одним из братьев Карамазовых. «Вас ненадолго хватит, — сказал Бек, — если все так принимать близко к сердцу».

1890

Слушали дело Неймана, уклонившегося от военной службы по случаю нервной тряски головы. Его обвинили в симуляции. Я был возмущен бессердечным отношением к подсудимому только потому, что он еврей. Я сказал речь, которая звучала, как оплеуха этим двум врачам: я говорил — как людям от человека. Нейман был оправдан.

...Сегодня полчаса беседовал в тюремном замке с тремя убийцами. Дорого бы дал, чтобы узнать, как было дело. Один из них мне в глаза не смотрит, но что-то говорит мне, что он менее виноват, чем другой, который держит себя развязно. А третий все время плачет. Если б защитник в каждом деле знал правду, сколько людей мог бы он спасти. 17 мая вынесли обвинительный приговор всем троим в преднамеренном убийстве и сослали на каторгу. А я уверен, что они просто хотели поколотить ефрейтора Домова и поколотили так, что он умер. А все водка, водка!

1891

Я назначен помощником прокурора и оставлен в Вильне. А между тем невольная грусть наполняет сердце. Жаль расставаться с ролью, хоть и скромного, защитника. Принесет ли мне моя новая должность столько светлых минут? Предчувствую,

что на «Курульном» кресле я буду не раз впадать в роль защитника, что теперь мне не к лицу. Мое назначение вызвало полное сочувствие и в суде, и в прокурорском надзоре. И содержание, и положение мое сразу улучшились. А все же мне грустно, словно я расстаюсь с юностью, с ее увлечениями, с ее горячим отношением к окружающему. И Катюше моей тоже взгрустнулось за меня. Она знает, как я всегда радовался, если мне удавалось как защитнику если не отвести карающую руку закона, то хотя бы ослабить удар...

7 мая

Я в первый раз обвиняю в суде! Никто не поверит, сколько мук душевных стоит мне переход от защиты к обвинению. Одна Катя видит мою борьбу, но и ей не говорю всей правды. Я убил бы ее, если б сознался, что приношу себя в жертву моим родным, которым должен помогать.

...На днях будет слушаться дело об оскорблении действием офицера — нижним чином; защитник Тыртов¹. В беседе с генералом Голубом², который будет председателем, Тыртов сказал о подсудимом: «Это мерзавец, упеките-ка его подальше». (Вообще он считает всех солдат *скотами*.) Я возмутился, зачем же он берется за роль защитника, когда не чувствует к этому призвания? — «А как же я тогда дойду до должности прокурора?» — говорит он. С этого дня он мне гадок и жалок — этот барчук-крепостник с ласковой улыбочкой, аккуратным пробором и камнем за пазухой против нищей братии.

...По двум делам я уже отказался от обвинения. Вчера обвинял двух разбойников. Главный разбойник Попов растравил мне душу. Он сидел, не поднимая глаз, с поникшей головой. А когда вошел мальчик, которого они с товарищем не дорезали, он с ужасом посмотрел на него. Мне кажется, это не окончательно падший человек. Я надеюсь, что он поймет свое преступление и может искренне раскаяться. Когда я стал говорить в его пользу, в его глазах было дикое изумление. А мне больно за него. Господи, помоги ему выйти на путь правды и добра! При-

¹ *Тыртов Владимир Алексеевич* — штабс-капитан, с мая 1890 г. «прикомандированный к военно-прокурорскому надзору для практических занятий».

² *Голуб Александр Александрович* — военный судья, генерал-майор, в должности с 1 дек. 1886 г.

судили обоих к каторге, но не так тяжело, как можно было ожидать. Я чувствую, что много таких дел и меня не хватит. Что со мной творилось! Я весь дрожал, и мне хотелось плакать. Мне ужасно жаль Попова.

...В суде паника. Навроцкий¹ засадил под арест на гауптвахту своего секретаря Эльяшевича², человека лет пятидесяти, недавно женившегося. Жаль старика, но давно пора дать ему трепку. Эльяшевич боится сказать об этом своей жене, приходил объясняться с Навроцким, но тот непреклонен. Судьи и помощники потрясены до столбняка и говорят шепотом. Подобная встряска в нашей жизни не помешает.

1892

Вильно

Навроцкий уволен в отставку. На прощание он собрал нас, своих бывших подчиненных, и сказал прекрасную речь, где коснулся тяжелого положения военного судьи и помощника прокурора, желающих работать честно и справедливо. Наши законы подчас слишком суровы. На этой работе можно совершенно растратить свое здоровье. Что с ним и произошло. Что должен испытывать, выходя из зала суда и встречая умоляющие взоры матери, отца подсудимого?

Навроцкий, ранее отказывавшийся принять от нас подарок — икону Божьей Матери, — теперь согласился на этот подарок. Со слезами на глазах, с дрожащими губами и страшно взволнованный, закончил он свою речь пожеланиями всем нам успехов и здоровья и словами: «Прощайте!» Я давно не слышал такой чудной речи. У всех на глазах были слезы, и все с чувством перецеловались с этим почтенным человеком...

Был в гостях у Навроцкого. Раньше двери, упорно закрытые для сослуживцев, теперь гостеприимно открылись мне. Главной темой нашего разговора были сомнения после посещения

¹ *Навроцкий Александр Александрович* (1839–1914), в должности председателя Виленского военного суда с 23 ноября 1889 г. по март 1892 г.; драматург, поэт, публицист, издатель. Псевдоним «Н.А. Вроцкий». С 1879 по 1882 гг. издавал журнал «Русская речь», в котором поместил ряд исторических драм, в том числе «Крещение Литвы», «Иезуиты в Литве». Автор стихотворения «Есть на Волге утес» (1870).

² *Эльяшевич (Елиашевич) Осип Самойлович* — секретарь Виленского окружного суда, статский советник, в должности с 29 авг. 1881 г.

Толстого¹. Мы говорили о моих обязанностях помощника прокурора. Навроцкий согласен со мной, что иногда ради семьи надо жертвовать собой, но оба мы осуждаем карьеризм, когда на суде прокурор, чтобы выделиться, сгущает краски и старается *закатать* подалеже подсудимого. Навроцкий для общества пропал, и как мне грустно за общество, из которого бегут такие великие умы и сердца.

Ясная Поляна. 13 сентября²

Спорить с Толстым невозможно; он не признает никаких авторитетов, кроме себя. Я составил программу вопросов. Но он сбивает с ног, беря инициативу разговора и задавая часто ироническим тоном вопросы так, что сразу оказываешься в неловком положении. Я перестал спорить. Если такие имена, как Кони³, Навроцкий, употребляются мимоходом, как нечто малозначительное, то что же представляю я в глазах великого сектанта? А я, отстаивая взгляды на свою работу, хотел опереться на эти имена. При такой постановке спора скоро приходишь до полного изнеможения, полной растерянности. Недаром при одном споре я дошел до такого состояния, что стал дрожать всем телом. Толстой это заметил сейчас же: «Однако какой Вы нервный, что с Вами?» Пребывание в Ясной Поляне, как я это испытал на себе, полезно: тут все время говорит в тебе совесть и не удаются попытки обмануть себя софизмами, компромиссами. «Какое счастье, что я знал Л. Н. Толстого!» — мог я воскликнуть.

...Я так одинок в нашем суде! Какое тягостное состояние сиротства души среди множества других хороших душ!

1893

Вильно

Несмотря на болезнь, должен обвинять корнета Зуева в нанесении увечья крестьянину. Генерал Житухин перед началом

¹ 21 октября 1878 г. А. А. Навроцкий приезжал в Ясную Поляну к Л. Н. Толстому, чтобы просить у Толстого статью для готовящегося к изданию журнала «Русская речь».

² Второе посещение А. В. Жиркевичем Ясной Поляны 12–16 сентября 1892 г.

³ *Кони Анатолий Федорович* (1844–1927), выдающийся юрист и литератор, член Государственного Совета.

дела мне сказал: «Вы должны отказаться от обвинения». — «Не могу отказаться», — ответил я. Я поддержал обвинение, но в легкой форме, и Зуева засадили на три месяца на гауптвахту. Но как измучило меня это дело.

Минск. 6 сентября

Перед отъездом из Минска я затеял целую историю во имя справедливости, обнаружив, что в местной тюрьме нижние чины, состоявшие под военно-окружными судами, содержатся вместе с арестантами (Хороша нравственная школа; воображаю, что они вынесут из тюрьмы!), а также содержатся на общем довольствии (6 коп.), тогда как им полагается солдатский паек (10 коп.).

Вильно

От уставов императора Александра II остались в военном ведомстве жалкие остатки благодаря решениям Главного Военного суда. Скоро и эти остатки исчезнут при произволе судей, при молчании прокурорского надзора. Нет! Надо начинать борьбу, хотя бы и единолично, хотя бы меня и съест «Голуб и К^о»! Ведь все развращаются; и мы, помощники прокурора, тоже.

...Ад противоречий моей совести с моими обязанностями прокурора продолжается. Если б не сознание, что все же приносишь известную пользу обвиняемым и в то же время содержишь маму, Машу и бабушку, — не стоило бы жить! Протекция мне положительно отвратительна. Знаю, что скажи я слово Герардам¹, Гедеонову² и другим, мне бы нашли более подходя-

¹ *Герарды*: Герард Николай Николаевич (1838–1929), российский государственный деятель, член Государственного Совета, в 1905–1908 гг. финляндский генерал-губернатор; Герард Владимир Николаевич (1839–1903), присяжный поверенный и председатель совета присяжных поверенных округа Санкт-Петербургской судебной палаты, основатель и многолетний руководитель общества защиты детей от жестокого обращения, надворный советник.

² *Гедеонов Иван Михайлович* (1816–1907), российский военный и государственный деятель, генерал от инфантерии, сенатор, член Совета министра государственного имущества, действительный член Императорского Человеколюбивого общества, член Комитета для рассмотрения представлений к Высочайшим наградам. Дальний родственник А. В. Жиркевича.

щее место, но нет сил сказать это слово, и я не уверен, скажу ли его когда-нибудь.

1896

14 марта

Надо уходить из нашего ведомства! Честному человеку скоро невозможно будет приносить пользу там, где личный произвол ставится выше закона. Сердце разобьешь о камни неправды, незнания, заведомой лжи, произвола. Каждый день ухожу из суда с сознанием, что вот-вот выйдет столкновение и я брошу всем этим господам правду в физиономию. Вспоминаю боязнь Кати и смиряю себя. Как неузнаваем я стал. Господи, дай силы для борьбы! Не всели в меня привычку к чужому страданию! Разбей мое сердце в тот миг, когда умрет в нем сострадание к судимому ближнему!..

...Видел вчера талантливейшего и лучшего из людей современной России сенатора А. Ф. Кони. В назначенный день был у него. Говорили о многом... «Как вы должны скучать в вашем ведомстве, вы — горячее, любящее сердце которого я познал уже до знакомства с вами по вашим книжкам». Я ответил, что служу, так как стыдно уходить порядочному человеку, давая дорогу мерзавцам из-за желания покоя.

...Ко мне на ревизию попало дело солдата Егорова¹, отказавшегося принять присягу из-за религиозных убеждений. Свой поступок он обосновал текстами из Евангелия. Его засудили на три года, как за неповиновение начальству. Попробую облегчить его участь в дисциплинарном батальоне. Мне ужасно жаль этого солдата.

¹ Будучи в Ясной Поляне (1903 г.), Жиркевич узнал, что Толстой принимал участие в этом солдате-толстовце. Запись в дневнике Жиркевича: «Егоров — тот самый молодой солдат-толстовец, в судьбу которого я вмешался... У меня в бумагах сохранились документы об этом Егорове, равно как и о том, как я старался спасти его в Бобруйском батальоне от розог зверя полковника Успенского, а затем, когда его послали в глушь Сибири, на крайний ее север, старался поддержать материально... Тут недавно во время переписки моей с Л. Н. Толстым оказалось, что и он занят судьбою Егорова. Тогда я стал помогать Егорову через Толстого. Об этом есть следы в письмах ко мне Л. Н., где Егоров скрыт от читающих переписку жандармов под буквой *Е*. По словам Попова, это тот самый арестант, который изображен у художника Касаткина в его картине “В коридоре окружного суда”».

Никогда еще так много и сложно не работал, как в эти дни, по Красному Кресту¹, по своей должности следователя, по частным делам — своим и чужим. По своей следственной работе нахожу вопиющие безобразия. Например, нашел арестанта, который не гулял месяц, не менял белье и не мылся. Я тотчас поднял шум. Чувствую, что могу принести много пользы в этом *темном царстве*, где люди забыты, заброшены, содержатся, как звери в клетке.

25 мая

Вернулся из Ораненского лагеря, где производил следствие о фельдфебеле Шелаеве, истязавшем солдат и мордобойце. Быть может, с точки зрения учения Христа, это нехорошее чувство, но порой «приятно скрутить мерзавца, спасти от него беззащитных солдатиков и дать ему почувствовать, что не всякий произвол и насилие остаются безнаказанными, что есть на свете закон и справедливость, с которыми приходится считаться».

...Я решился вступить за заключенных в камере № 14 нижних чинов (каторжане, покушавшиеся на побег). Господи, помоги мне! Я еще сам не знаю, что сделаю. Всюду меня стесняет форма, мундир. Даже как-то жутко становится! Жутко сказать правду... Но скажу ее! И пусть на меня все обрушится, лишь бы была совесть чиста.

3 июля

Ура! Оказывается, что постановление мое двинуло дело об устройстве по-человечески арестантов в № 14.

¹ В это время А. В. Жиркевич исполнял обязанности делопроизводителя Виленского управления Российского общества Красного Креста.

23 сентября

Порадовали меня вчера солдатики-арестанты № 14. Я был на гауптвахте на следствии и зашел в № 14. Они очень обрадовались и просили книг для чтения. При мне были только брошюры, и солдаты громко, доверчиво выражали мне по этому поводу сожаление. Некоторые просили себе азбук. Я раздал, советуя безграмотным учиться у грамотных чтению.

...Как сложна моя жизнь! В один и тот же день я бываю: у Троцкого¹, в школе², камере № 14, в сумасшедшем доме³, в разных управлениях. Стрдание бьет ключом. Иногда чувствую — изнемогаю. И вдруг новый прилив сил! Точно Господь стоит возле меня и поддерживает.

1899

В первый раз повез Гулю в № 14 к военным арестантам. Знал, что их забудут и что им нечем разговеться. Я повез им куличи, яйца. Они меня ждали. Гуля первый раз входил в каземат к каторжанам, закованным в кандалы... Дай Бог, чтобы это посещение оставило глубокий след в его детской душе и отразилось на его будущем отношении к людям...

...Вчера я написал коменданту Шипину⁴ письмо, в котором просил сделать мне Пасхальный подарок — выпустить из одиночной камеры в общую каторжника Темнова, обезумевшего от одиночного заключения (притом незаконного). Шипин торгуется со мной, но я уверен, что будет сделано по-моему.

3 апреля

Рядовой Темнов переведен из одиночки в общую камеру.

¹ *Троцкий Виталий Николаевич* (1835–1901). С 1895 г. — командующий войсками Виленского военного округа, с 6 декабря 1897 г. генерал-адъютант и до кончины — виленский, ковенский и гродненский генерал-губернатор.

² Вероятно, по делам опеки детей С. В. Шолковича, своего умершего педагога по Виленскому Реальному училищу.

³ В сумасшедшем доме находилась близкий друг семьи Жиркевичей Клеопатра Александровна Тейнер, первая учительница польского композитора Станислава Моношко.

⁴ *Шипин Леонид Анемподистович* — и.д. коменданта г. Вильны, полковник.

1901

Вернулся из Гродно, где производил следствие о капитане Игнатовиче, пробившем барабанную перепонку подчиненному и сделавшему все, чтобы этого подчиненного упечь под суд за умышленную порчу уха. Я доказал, что солдат невиновен и привлек к следствию офицера. Начальство попробовало все сделать, чтобы замять офицерское дело, но я направил его так основательно, что осталось лишь покориться и привлечь мерзавца.

22 ноября

Благодарю Тебя, Господи, за то, что среди неправды, борьбы и страданий ты всегда посылаешь мне луч счастья. Моя Каташа принесла мне, со слов полковника Домбровского¹, известие, что, благодаря моему донесению Куропаткину² о безобразном содержании арестантов в Витебске, уже получен запрос. В запросе сделана ссылка на мою фамилию. Уже самый факт запроса заставит обратить внимание на наши клоповники и их мучителей. Со слезами благодарю Тебя, Господи! Вот уж и жизнь моя получила хороший ясный смысл.

1902

Петербург. 30 мая

Сегодня один из лучших, счастливых дней моей жизни — военный министр Куропаткин вызывает меня, вследствие моей переписки, по поводу поставленных мною вопросов в С.-Петербурге, чтобы я высказался о том, что можно сделать без особых расходов для военных арестантов.

15 июня

Сегодня читал в Главном Штабе поднятое дело об улучшении быта военных арестантов, начинающееся моим письмом к

¹ *Домбровский Леонид Андреевич* — помощник военного прокурора военно-прокурорского надзора Виленского военно-окружного суда, полковник.

² *Куропаткин Алексей Николаевич* (1848–1925) — генерал, впоследствии военный министр, член Государственного совета.

Лузанову¹ и памятной запиской Куропаткину. Читал много меткого о моей записке со стороны командующего войсками и командиров корпусов. Что-то будет дальше?

...Дело об арестантах не подвигается в Главном Штабе. Кого — нет налицо, кто — уезжает, кто — *халиф на час*; а кто откровенно говорит, что не слышал о поднятом мною вопросе.

...Ездил представляться генерал-лейтенанту Уссаковскому², помощнику Начальника Главного Штаба. Заговорили о том, что Главный Штаб ждет от меня указаний насчет того, что можно сделать сейчас же по реформе гауптвахт, и что они ничего не имеют против, чтобы я на две недели уехал из Питера, а потом привез бы мой проект; но чтобы не мечтал о крупных затратах, а дал указание на ряд дешевых и умеренных реформ...

...Давно не ощущал такого подъема духа, как в эти дни, во время работ по составлению новой памятной записки об улучшении материальных и нравственных сторон быта арестантов.

4 июля

Еду сейчас в Петербург на страдания и борьбу...

В казначействе сегодня столкнулся я с известным изувером и кровопивцем генералом Успенским, бывшим начальником дисциплинарного батальона в Бобруйске. Мы не виделись много лет, и он узнал меня, злобно оскалился и заговорил на тему о том, что m-те Бурза, урожд. Гонецкая, ему передавала, что по поводу арестанта Егорова я писал о нем, Успенском, *остроумные вещи*. А я его ругал *мерзавцем, изувером, извращенным человеком* и просил Бурза спасти от его когтей бедного Егорова. Видно, она ему все рассказала, и мне было приятно видеть, как эта тварь вся коробилась от одного моего присутствия! Успенский заговорил о желании его со мною объясниться. Я ответил, что буду к его услугам, когда вернусь в Вильну. Нарочно пойду, чтобы высказать этому зверю всю правду.

¹ Лузанов Петр Фомич — помощник начальника Главного военно-судного управления (СПб.), генерал-лейтенант.

² Уссаковский Евгений Евгеньевич (1851–1935) — генерал-лейтенант; в 1901–1902 гг. — член общего присутствия комиссии по устройству казарм.

9 июля

До сих пор в Главном Штабе не заглянули даже в мою записку! Воображаю, какая злоба кипит там в сердцах тех, кому предстоит распутаться с поднятым мною вопросом! Навроцкий советует *мудрость змия и кротость голубя*. Но выдержу ли я с моим нравом?

...Еще и еще дни ничегонеделания! Пойду в Главный Штаб выяснять мое положение. Ведь явно надо мной там глумятся.

11 июля

Наконец-то мне удалось немного подвинуть мое дело в Главном Штабе. Хотя с неудовольствием, мою памятную записку прочел Подгурский¹. Ее доложат начальнику Главного Штаба, а затем, до приезда Куропаткина, меня отпустят в Вильно.

14 июля

Был на приеме у Куропаткина. Куропаткин пожал мне руку и благодарил меня за то, что я напомнил ему об арестантах в общих гауптвахтах, что он мне обязан за поданную ему памятную записку. Затем он заговорил о реформах дисциплинарных батальонов, что для изучения вопроса за границу командируются три офицера, в том числе — один военно-судебного ведомства. «Я указал на вас», «помогите нам» и «хотел бы, чтобы время, проведенное заключенными в дисциплинарном батальоне, проходило для них и для общества с пользой. Необходимо заставить их работать. Думаю прикупить земли для устройства огородов и т.п. Пусть это будет труд тяжелый, чтобы арестант его чувствовал. Помогите создать какое-либо учреждение, хотя бы из тех, что были уже, ну, хоть вроде Аракеевских поселений (тут Куропаткин улыбнулся глазами). Еще раз благодарю вас». В этом роде была наша публичная беседа. Все больше говорил сам Куропаткин. Откланявшись министру, я вышел.

¹ Подгурский Федор Александрович — начальник 1-го отделения Генерального Штаба, полковник.

Вильно. 26 августа

Получил из С.-Петербурга письмо. Главный Штаб еще 1 августа препроводил мою записку в Главное Судебное Управление, а мерзавцы из Главного Штаба на мое письмо даже не ответили.

27 ноября

Целый месяц я не принадлежал себе, погруженный в тайны и разоблачения подробностей возмутительного убийства жандарма Николаева в Виленском военном госпитале. Здорового человека посадили в сумасшедший дом, и его убили служители. Пришлось вырывать и вторично вскрывать труп погибшего. И какой мирок военно-врачебных душонок я открыл! Что за типы, что за бессердечие и подлость! Какую приходится вести борьбу за правду с патентованными, украшенными значками мерзавцами! Конечно, не все такие Я так увлекся борьбой за несчастного Николаева, что неизвестный мне покойник стал мне чем-то дорогим, родным!.. Враги мои множатся...

13 декабря

Делается все, чтобы спасти мерзавцев врачей и прикрыть беспорядки по делу жандарма Николаева! Против меня сплотились: военный прокурор Дорошевский¹, по слухам — штаб округа, госпиталь, окружное медицинское управление.

23 декабря

Возмущенный подлостями, которые делаются в Вильне, чтобы замаять историю со смертью жандарма Николаева и спасти мерзавцев врачей, я написал открыто военному министру² и Н. В. Сперанскому³.

¹ *Дорошевский Николай Федотович*, генерал-майор.

² *Куропаткин А. Н.*

³ *Сперанский Николай Васильевич* (1840–1924) — главный военно-медицинский инспектор.

25 декабря

С восторгом вижу, что встряска, данная мною в госпитале, послужила на благо больным: все приняло должный, законный вид... Надолго ли?

...Письмо мое к Куропаткину возымело все-таки действие; спасти мерзавцев докторов не удалось, делу о них дан ход. Но зато я приобрел в лице генерала Гриппенберга¹ злейшего врага.

1903

17 февраля

Давно волны людской ненависти не плескались так, с такой яростью, в мою жизненную ладью, как теперь, благодаря делу жандарма Николаева... Как все это характеризует уровень нравственности и справедливости Виленского общества!

1 марта

Каждый день хожу в застенок, называемый следственной комиссией по делу о беспорядках в Виленском военном госпитале. Генерал Митрофанов² верно определял значение комиссии: «Она — суд над полковником Жиркевичем». В состав комиссии вошли генерал Мухин³ и полковник барон Нолькен⁴, предубежденные против меня; и все усилия употребляются для того, чтобы доказать, что я раздул дело... И я один, один борюсь, вот уже месяц, за каждый клочок правды... Право, не знаю, откуда у меня берутся силы!

¹ *Гриппенберг Оскар Фердинанд Казимирович* (1838–1916) — генерал-адъютант, с 7 (20) декабря 1901 г. по 10 (23) ноября 1902 г. занимал должность помощника командующего войсками Виленского округа, а затем с 10 (23) ноября 1902 г. по 11 (24) сентября 1904 г. командующего.

² *Митрофанов Валериан Сергеевич* — председатель Виленского военно-окружного суда, генерал-лейтенант.

³ *Мухин Петр Петрович* — военный судья Виленского военно-окружного суда, генерал-майор.

⁴ *Нолькен фон — Иван Станиславович* — барон, помощник военного прокурора, подполковник.

3 апреля

Следственная комиссия окончила свою позорную деятельность... Пришлось-таки привлечь в качестве обвиняемых трех врачей. И то благодаря мне, заносившему правду в протоколы заседаний.

21 апреля

Благодаря госпитальному делу, захватившему меня с головой, я сразу оторвался от виленского общества и не чувствую никакой потребности в общении с ним. Быть может, я и пострадаю по службе или буду вынужден искать другую службу, но не буду молчать, а стану говорить правду о смерти несчастного жандарма Николаева и о порядках Виленского военного госпиталя... В городе уже говорят о суде надо мною, распускают разные неблагоприятные слухи.

25 апреля

Дело, правда которого теперь всецело зависит от усмотрения ученого комитета, где сидят военные врачи, не желающие выдать своих!.. Давно я так не был одинок в борьбе, давно столько туч не сгущалось надо мною, и давно уже совесть моя не была так спокойна, а воля непоколебима...

7 мая

Правда, я удостоился, чтобы на моей надгробной плите была сделана надпись: «А. В. Жиркевич 6 месяцев боролся за правду — один против сотен влиятельных врагов — по делу жандарма Николаева».

5 июня

Я получил письмо... в котором мне сообщалось, что Куропаткин высказался за перевод меня из Вильны, так как, благода-

ря делу жандарма Николаева, создалась в Виленском военном округе неудобная для меня служебная обстановка. Конечно, это подлая интрига Гиппенберга.

5 июля

Сердце мое болезненно сжимается при мысли, что надо покинуть Вильну, где тридцать лет я жил, учился, любил и боролся, где каждый камень, так сказать, красноречиво напоминает о прошлом, о пережитом и пережитом. Из людей, которых я здесь любил, так мало осталось в живых. Да мне не столько жаль здесь людей, как самого города и окрестностей. Мерзавцы, которые разлучили меня с городом, наносят моему сердцу жестокую рану, но Бог видит, на чьей стороне правда. Но хотя бы меня сослали в Якутск, я буду говорить, что дело жандарма Николаева — грязное, возмутительное дело, за которое можно переносить всяческие муки!

21 июля

У меня два выхода: 1) плюнуть на все и уйти в отставку и перейти в гражданское судебное ведомство и 2) принять предложение и остаться в нашем печальном ведомстве и уехать в Москву. Я чуть было не написал о выходе в отставку. Но тогда я рву связь с поднятым мною вопросом о состоянии гауптвахт, о реформах в военно-тюремном ведомстве. А ведь в этот вопрос я вложил уже изрядный клочок моей жизни! Вот сижу и колеблюсь.

22 сентября

Снова возобновил борьбу по делу жандарма Николаева. Благодарю Бога за то, что мое личное горе¹ не убило во мне энергии на борьбу за правду...

¹ В 1903 г. скончалась Варя — 11-летняя талантливая дочь Жиркевичей. От нее остались незаурядные рисунки, дневник, который она вела на протяжении последних двух лет своей жизни, и самодельная тетрадка «Стихи», куда вклеивала из дешового календаря цитаты из стихов Пушкина, Кольцова, Мережковского, Карамзина и др.

5 ноября

Доживаю последние дни в Вильне... Да, надо много верить в правое дело, чтобы жертвовать этому делу самым дорогим на свете — семейным счастьем!.. Прощай, Вильна, дорогая мне до боли, до слез, до страдания по воспоминаниям, живым людям и могилам! Прощай и не поминай меня лихом! А я тебя не забуду.

1904

Смоленск. 24 января

Корпусный командир разрешил устроить для арестантов Смоленской гауптвахты библиотеку. Это радостное событие в моей жизни. Выписываю книги. Явилась еще одна разумная цель жизни моей в Смоленске.

1 марта

Ввиду отказа Вестенрика¹ допустить для военных арестантов книги, кроме уставов и религиозных, я выхлопотал у Ребиндера² разрешение. Вчера говорю это Вестенрику, а он с упрямством немца уверяет, что не может допустить — по уставу. Напрасно доказывал я ему, что уставы и религиозные книжки, при условиях жизни военных арестантов, не будут читаться последними, а в крайности обратят их в идиотов, не говоря о том, что религиозные книжки не для татар и евреев.

Удивительное противодействие встречал я много лет подряд при желании просветить несчастных военных арестантов. Вот где *темное царство*, ждущее своего Островского!

11 августа

Я дождался счастливой минуты, прочел радостную весть об отмене телесных наказаний в России... Я не верил собственным

¹ *Вестенрик Константин Иванович*, смоленский уездный воинский начальник, подполковник.

² *Ребиндер Александр Максимович*, генерал от кавалерии, начальник Смоленского гарнизона, командир 13-го армейского корпуса.

глазам, мне хотелось броситься кому-либо на шею и заплакать от радости... Я знаю, еще не скоро изживутся на деле телесные наказания... Но нет позорного закона, дававшего право пороть и унижать ближних! Вот в чем сила!

1906

5 мая

Посетив как-то казематы Капорского полка, я нашел двух забытых заключенных-рядовых. Дела их, за которые они подлежали наказанию самому ничтожному, затеряны начальством. О них шла бесконечная переписка. А пока они сидели зря по восемь месяцев — не зная, за что сидят и когда их освободят. Фамилии несчастных: Алексеев и Васильев.

Перед отъездом Плева¹ из Смоленска я просил его сделать мне на прощание подарок — освободить этих заключенных. Сегодня приходил ко мне Алексеев с вестью, что и его товарища выпустили из-под ареста.

21 июня

Единственная деятельность, на которой чувствую себя сносно в нашем ведомстве, — должность военного следователя... Из Москвы подали в отставку трое генералов. Да и я одной ногой в отставке... Коли я приму звание судьи, то для того, чтобы показать, что для меня закон — все, а инструкции и предписания — ничто.

31 июля

Какой-то вихрь, ураган смерти уносит в России все энергичное, отважное сильное духом — с обеих враждующих сторон: со стороны правительства и революционеров. Ведь нельзя отрицать это — в рядах «красных» есть герои, любящие Родину!.. Если бы направить эти гибнущие силы в иную сторону, какая бы энергия была сохранена Родине!

¹ Плева фон Вячеслав Константинович (1846–1904) — государственный деятель.

Не сочувствуя революционерам, я плачу о том, что уносят они с собою в могилы... Еще год — и в России останутся одни дряблые космополитические ничтожества.

12 сентября

Дело жандарма Николаева убило во мне веру в законность, в правду, в торжество справедливости...

30 октября

Генерал Павлов, по ходатайству моему, оставил меня еще на год военным следователем в Смоленске. Слава Богу, что на время миновали меня малиновые лампасы, почет и 4000 руб. содержания!

Какое счастье, что я не военный судья! Можно ли так глубоко уронить это высокое звание, как оно уронено!..

Суд на службе у военного начальства! Бедный Д. А. Милютин¹, если он видит и сознает, что сделали с его детищем, о котором с такой любовью он мне писал!

Военные смотрят на полевые суды как на законную меру. А это, в сущности, не суды, а произвол и палачество.

25 ноября

Никогда еще не была так на сердце во мне решимость уйти из нашего мрачного ведомства, спасаясь от звания судьи, хорошего оклада жалованья, малиновых лампас, как теперь...

1907

28 апреля

Вчера был один из счастливейших дней моей жизни: комитет по образованию войск прислал мне копию доклада своего

¹ Милютин Дмитрий Алексеевич (1816–1912) — русский военный историк и теоретик, военный министр.

военному министру — по вопросу, возбужденному мной об улучшении быта военных арестантов. Почти все мои меры приняты. Военный министр дал согласие на реформы!

16 мая

На днях должен я решить мою судьбу — уйти ли в отставку или идти в судьи... Думаю, что пойду на эту Голгофу, чтобы потом не говорить себе, что я бежал от призрака, т.е. уклонился от должности, не вкусив ее терний.

19 мая

Тяжелые чувства выношу я из заседаний... Но как ни странно, а мне все более стыдно бежать от креста военного судьи!.. Никогда не поведу я близкого на виселицу, но зато сколько можно принести пользы ближнему, впавшему в преступление!.. Если уйду с должности военного судьи, — то тогда лишь, когда увижу, что честно, по-христиански служить нельзя.

29 мая

Слава Богу, на время должность военного судьи меня миновала. Получил из Главного управления письмо, в котором уважена моя просьба — иметь в виду для меня вакансию в Вильне. А ее пока нет!

Ужасы рассказывают про военного судью генерала Арбузова¹. Для этой твари в мундире нашего убогого ведомства нет большего удовольствия, как приговорить к смертной казни, повесить *политического*. Чтобы доставить себе удовольствие, *тварь* просит себе дел, где предвидится смертный приговор, и с восторгом рассказывает о том, когда, и за что, и сколько он повесил. *Тварь* получала за свои подвиги даже повышение.

¹ *Арбузов Василий Алексеевич*, военный судья Петербургского военного округа (14.11.1902–2.07.1908), военный прокурор Виленского военно-окружного суда (2.07.1908–33.05.1909).

20 ноября

Получил вчера раздирающее душу письмо от каторжника Павперкова. Бедняга еще рассчитывает на меня, а я бессилен ему помочь! Начала его письма: «Здравия желаю, ваше высокоблагородие!» — прозвучало для меня приветствием Цезарю гладиаторов: «Мертвые тебя, Цезарь, приветствуют». Боже, сколько горя, страданий, слез!

1 декабря

Написал отцу Иоанну Восторгову¹, умоляя просить Гершельмана² остановить казнь осужденных военным судом и дать ход в Главном Военном Суде кассационной жалобе защитников. Ужас! Ужас! Гершельман может не дать хода жалобе.

11 декабря

Вчера временный суд приговорил снова к смертной казни крестьянина Конова (18 лет) и Марченко (19 лет). Почти дети, малоразвитые и зараженные эпохой нашей подлой революции, они, напившись, подстерегли почту и выстрелами убили ящика и ранили почтальона, ничего не успев взять, и затем во всем созналась. Один из них — Конов на суде все время дрожал, так что я в десяти шагах это видел, и плакал. Даже сам кровожадный Фишер, присудив к повешению детей, составил постановление о замене смертной казни каторгой.

1908

5 января

В ночь на 3 января повесили осужденного временным судом Марченко. Гершельман, несмотря на ходатайство суда, велел

¹ *Восторгов Иван (Иоанн) Иванович* (1864–1918), протоиерей, проповедник, церковный писатель.

² *Гершельман Сергей Константинович*, московский генерал-губернатор; 17 марта 1909 г. назначен командующим войсками Виленского военного округа. 17 ноября 1910 г. произведен в генералы от инфантерии. Скоропостижно умер в тот же день в Вильно.

вздернуть этого хорошего, кроткого, симпатичного ребенка, заменив его соучастнику Конову смерть каторгой. Недавно еще говорил о Марченко. Теперь это дитя не страдает. Но Бог видит правду... От Гершельмана требовалось лишь милосердие и рас-судок.

17 января

Хочу написать протест Столыпину¹ по поводу убийства Марченко. Знаю, что теперь такие заявления более, чем когда-либо, опасны. Но тень ребенка меня преследует... Пусть гонят со службы! Мой покой отравлен... Быть может, мое заявление остановит казнь в другом месте!

Я совсем расхворался физически, но ум не меркнет, а сердце по-прежнему бьется тревожно на всякую неправду!

1 марта

Свершилось! Как телеграфирует П. А. Плеве², я военный судья Виленского военного округа. Едва ли кто из нашего ведомства с таким горем принимал это повышение, как я!

Вильна. 1—8 мая

Я снова в родной Вильне! Но какая здесь во всем перемена! Город стал красивее. Извозчики на резиновых шинах, всюду польские надписи, русская мысль робко бьется в медвежьих углах города. Репрессии администрации; притаившаяся, выжидающая революция.

Наши военно-окружные суды вешают и вешают... Судейскую присягу мне пришлось принять в заседании по делу об убийстве генерала Шковского, когда всех обвиняемых, в том числе женщин, приговаривали к повешению.

¹ *Столыпин Петр Аркадьевич* (1862–1911) — министр внутренних дел.

² *Плеве Павел Адамович* (1850–1916) — генерал от кавалерии.

27 мая

Слышал разговор Черневского¹ с бароном Остен-Сакеном² о политических делах, где является сомнение и где поэтому приходится оправдывать, идя на уступки. А Остен-Сакен возражал — в том смысле, что не надо сомневаться, т.к. большинство дел таких, с сомнением. Итак, нечего сомневаться — будем вешать, угождать начальству! Бог там отделит правых от виноватых. А я не уйду еще, так как с 1 июня мои судейские каникулы.

4 июня. Имение Замечик

Хорошо в Замечике, а душа полна предчувствием грядущих осложнений по службе.

11 июня

Получил чудесное письмо от А. Ф. Кони — по поводу моих судейских сомнений³.

19 июня

Кончается месяц моих судейских каникул. Опять от симпатичных рукописей я приду к действительности, к ужасу ожидания момента, когда совесть моя и чужая смерть столкнутся в моей душе. Кони советует терпеть до нравственной крайности, не уходя, а принося пользу. Где истина?

1 ноября

Вчерашним числом подал, наконец, в отставку. Слава Господу, давшему мне силы разрубить этот гордиев узел. Барон

¹ Черневский Василий Иванович — военный судья по Виленскому военно-окружному суду (ВВОС), генерал-майор.

² Остен-Сакен фон дер Алексей Михайлович — военный судья ВВОС, генерал-майор.

³ Из письма А. Ф. Кони от 15 июня 1908 г.: «Ваша мысль об отставке очень печальна. Вы — живой человек с отзывчивой душой и, конечно, можете многое “человеческое” внести в вашу деятельность».

Остен-Сакен зовет мой поступок *бегством с поля сражения*. Пусть будет так! Пусть торжествуют Никифоров, Форов, Дубле...¹ и прочая сволочь, выносящая заведомо подлые смертные приговоры! Я не хочу быть более в их рядах...

История еще произнесет свой суд над этой мрачной эпохой в жизни любимых детищ Д. А. Милютина. И мне не хочется, чтобы мое имя фигурировало на скамье подсудимых. Я сегодня так счастлив, так рад, так уважаю сам себя... Тяжело нам будет с Катей в первый год моей отставки в материальном отношении, при нищенской пенсии. Но и тут Бог нас не оставит!

6 ноября

Хожу еще в суд ввиду недостатка наличных судей. Все более и более у меня радостно на душе при сознании, что я разорвал связь с этим миром беззакония, жестокости, низкопоклонства, карьеризма за счет ближних.

1909

9 января

На днях барон Остен-Сакен сказал, что мой уход из военного ведомства — упрек тем, кто остался служить. Вечером меня порадовали посещением: он, Бернацкий² и М. Мне дорого, что удалось уйти, не обидев этих порядочных сослуживцев, но не скрывая правды.

18 января

Только что получил от Скугаревского³ письмо о том, что военный министр Редигер⁴ ввиду моего заявления, ему сделанного, изменил свой взгляд на чтения, прогулки арестованных: будут допущены все книги, которые читаются находящимися на свобо-

¹ Дубле Яков Евгеньевич — военный судья ВВОС, генерал-майор.

² Бернацкий Николай Николаевич — военный судья ВВОС, полковник.

³ Скугаревский Аркадий Платонович — Генерального штаба генерал от инфантерии.

⁴ Редегер Александр Федорович — генерал, военный министр с 1905 г., подготовил и начал проводить реформы в армии после поражения в русско-японской войне.

де чинами, будут гулять не одни следственные, но и другие арестованные. Все это вводится в новый устав гарнизонной службы. Я счастлив, счастлив! Но многие ли поймут эту радость?!

1910

С.-Петербург. 3 мая

Сухомлинов¹ встретил меня полуупреком, из которого я понял, что *около* он считал до 12-ти часов. Принял он меня удивительно любезно, сердечно, просто. Благодарил меня за поднятое мною дело о военных арестантах, заявил, что по получении моего письма он сейчас же командировал в Вильну подполковника Плотникова к генералу Мартсону².

Вильно. 9 сентября

Мне удалось: 1) выхлопотать у коменданта полковника Темникова³, чтобы арестованных водили в баню непременно два раза в месяц; 2) разрешение получать газету «Виленский военный листок». Но солдаты сделали мне новые заявления: 1) просят дать машинку для стрижки волос; 2) увеличить порции мыла, отпускаемые от казны на мытье, чтобы иметь возможность помыть и белье.

14 сентября

Газеты раздаются арестованным. Машинку я купил и пожертвовал в комендантское управление.

14 ноября

Как я и ожидал, так и случилось! Вчера принесли мне бумагу из штаба Виленского военного округа, в которой сказано, что

¹ *Сухомлинов Владимир Александрович* — генерал, военный министр с 1909 г.

² *Мартсон Федор Владимирович* — командующий войсками ВВО (23 ноября 1910 г. — 17 января 1913 г.), генерал от инфантерии.

³ *Темников Виктор Леонтьевич* — виленский комендант, полковник.

ввиду того, что я вышел в отставку, Гершельман отменил данное мне его предшественником разрешение на посещение обшей гауптвахты. Бедные мои узники!

19 декабря

Вот скоро и праздник Рождества, Нового года, когда я ходил на гауптвахту поздравлять арестованных, носил им улучшенную пищу, книги. Теперь по произволу грубой силы я был оторван от узников, лишенных последней праздничной радости — видеть сочувствующего их страданиям человека.

1911

1 января

Прислали мне на Новый год телеграммы: Дорнин (из Смоленска) и князь Длуцкий (из Двинска) — два лица, в судьбе которых как осужденных я принимал участие. Это как бы вознаградило меня за невозможность посетить на праздниках моих заключенных гауптвахты.

20 января

За мною, кажется, устанавливается репутация скандалиста: у меня всё истории да истории... Но не могу же я молчать, когда вокруг хамы и хамство?! Мы гибнем от недостатка гражданского мужества, от боязни говорить громко. В громадном большинстве мы — трусливые, приниженные рабы, ждущие подачек и одобрения и гнущие спину перед апломбом и наглостью.

12 марта

Имел счастье получить вчера из Главного Штаба (в ответ на мое письмо к Сухомлинову) извещение, что дело с реформами на общих гауптвахтах снова двинулось вперед.

16 октября

Был у меня Л. М. Солоневич¹ и сделал мне упрек, что я отвлекаюсь частными случаями, трачу напрасно силы в такой борьбе, тогда как мог бы принести пользу более основательными трудами на благо Северо-Западного края. Я ответил, что признаю некоторую справедливость его упрека. И тут же рассказал о встрече со старцем Зосимой². «Мог ли я пройти мимо его страданий, не попытаться спасти его архив, чтобы осветить правду его жизни? То же и с Орловским³, — продолжал я, — он был моим другом, и никто за него, покойного, не вступился. Вправе ли я молчать и увлекаться работами общего характера?» — «Но вы один». — «Так что же? И один в поле воин... Надо бороться с неправдою и одному против легиона».

¹ *Солоневич Лукьян Михайлович* (1866–1938) — историк и журналист, деятель западноруссизма.

² *Архимандрит Зосима* (в миру Дмитрий Рашин; 1840–1912). Жиркевич принял участие в его судьбе, познакомился с ним в 1911 г. в виленской тюрьме, куда о. Зосима по этапу был прислан. После поездки Жиркевича в Пермь, где затребовал судебное дело старца, он совершенно убедился в его невиновности. После смерти последнего написал две книги в его защиту. В настоящее время мощи старца перевезены из Сурдегского монастыря (Литва) в Сарсы Вторые, близ города Красноуфимска.

³ *Орловский Иван Иванович* (1869–1909) — смоленский краевед, историк, педагог. Биографический очерк А. В. Жиркевича о нем был издан отдельной брошюрой в 1904 г.

Из следственных документов полковника А. В. Жиркевича

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № X

1898 года, июня 5 дня в городе Вильне военный следователь Виленского военно-окружного суда 2-го Виленского участка полковник Жиркевич при производстве следствия по делу о покушении на побег нескольких арестованных нижних чинов из камеры «не осужденных» № 14 бывшей Виленской цитадели посредством подкопа (из той же камеры ранее было сделано уже сравнительно недавно арестованными одно покушение на побег посредством взлома гнилого окна), нашел следующее:

I. В камере «не осужденных» при осмотре ее военным следователем 27 мая помещалось 15 человек. Камера эта представляет из себя комнату 11 шагов длины, 8 ½ шагов ширины (считая от стены до стены), при высоте около 5 аршин, с двумя окнами, с решетками и одной дверью (с окошечком в ней), приходящейся почти в углу, образуемом двумя стенами. Значительную часть камеры занимают железная печь и деревянные нары (шириною в 3 аршина). Того же 27 мая, по показанию комендантского адъютанта поручика Ковтуновича, в соседней камере «осужденных» помещалось 18 человек заключенных, хотя камера эта, по его же заявлению, значительно менее камеры «не осужденных». Как видно из показаний свидетелей, цифра заключенных в камере для «не осужденных» доходила иногда в эту зиму до 20 человек.

Таким образом, величина камер по кубическому содержанию в них воздуха далеко не соответствует количеству находящихся в них заключенных.

II. По объяснению смотрителя здания № 14 отставного полковника Гера, последний капитальный ремонт здания № 14 (в том числе и камеры «не осужденных») был сделан военно-инженерным ведомством в июне или июле прошлого года, причем ремонт этот заключался, по словам г. Гера, в «замазывании» старых трещин ветхого здания, побелке стен и починке

печей. Самое же здание давно не соответствует своему назначению как старое и тесное, в котором, кроме военных, содержатся еще и политические арестанты.

27 мая при осмотре (протокол дела № XXI) камера «не осужденных», где был обнаружен подкоп, имела такой вид: стены и потолок ее крайне грязные, на стенах надписи, рисунки, следы сожженных во многих местах арестованными паразитов и гнезда живых клопов, в одной из стен — след сквозной дыры, проверченной арестованными в соседнюю камеру и ныне заделанной, но указывающей на общую ветхость здания, асфальтовый пол — грязный, с подтеками, особенно в том месте у дверей, где на ночь ставится параша, нары, на которых и спят, и едят арестованные, — грязные, местами сильно засалены. Единственный на всю камеру вентилятор железной печи не действует (по заявлению каптенармуса № 14 унтер-офицера Левкевича и свидетелей, он испорчен более 6 месяцев). Печь испорчена. Подушек (вопреки § 19 приложения 10 к § 173 Устава гарнизонной службы) у арестантов нет. Плевательницы нет. Арестованные в грязном белье, оборваны, многие не стрижены.

III. По показаниям на следствии арестованных из камеры «не осужденных», их преследуют во множестве вши и клопы, параша, которые ставятся на ночь, текут, так что испражнения вытекают на пол камер, всю ночь так остаются, а утром, выметая пол, сторож размазывает их метлою по полу. Тюфяки никогда не проветриваются, кишат паразитами. В параша раствора карболки никогда не вливается. За семь месяцев тюфяки мыли всего один раз, солому не освежали всю, а к старой, гнилой, подбавляли новую — в три месяца один раз. За неимением плевательниц, они, арестованные, плюют на пол. Больные и здоровые едят из одной и той же посуды, одними и теми же ложками, спят на одних и тех же тюфяках. Зимой проветривание камер делается лишь чрез маленькую форточку, и воздух в камерах вонючий, невозможный. Кое у кого из них были свои подушки, но и те теперь отобраны. Арестованные за последние 9 месяцев ни разу не видели в своей камере врача. (В № 14 существует инструкция коменданта старшему унтер-офицеру № 14, приложенная к делу, в которой предписывается, между прочим, иметь в камерах плевательницы, вливать раствор карболки в параша, поддерживать чистоту в камерах, не допускать марания стен и т.п.)

IV. Несмотря на надпись над входом в камеру «Камера для не осужденных нижних чинов», саму по себе указывающую на не-

обходимость отделения «не осужденных» от «осужденных», 27 мая в этой камере в числе 15 заключенных найдено 8 уже осужденных (из них трое за убийство своего начальника в каторжные работы). Благодаря тому, вместе с безнадежно погибшими в нравственном отношении рядовыми Дубовым, Мацкевичем, Мальчиком и др. содержатся в течение многих месяцев в одном и том же тесном помещении те, кого еще не судили и кто, следовательно, может быть еще и оправдан по суду, наконец, те, совершенные которыми деяния не указывают еще на их окончательную порчу. Свидетельскими показаниями установлено, что в той же камере «не осужденных» содержатся иногда и нижние чины, части войск которых расположены вне Вильны, за маловажные проступки состоящие под полковым судом — впредь до их суждения, и даже наказанные в дисциплинарном порядке. Следовательно, многие попадают в испорченную среду «настоящих арестантов» и несомненно гибнут от их влияния, что видно уже в настоящем деле, где пришлось привлечь в качестве соучастников за недонесение видимо порядочных унтер-офицеров и где несколько «арестантов» держали всю камеру в страхе и подчинении.

V. Задолго до 5 мая (день обнаружения подкопа) имели свободный доступ в камеру «не осужденных» каптенармус при № 14 унтер-офицер Левкевич и служитель по уборке камеры рядовой Ледзинский, назначенные туда и.д. коменданта города Вильны и непосредственно подчиненные смотрителю здания № 14 полковнику Геру.

Об унтер-офицере Левкевиче месяца два тому назад полковник Гер подал рапорт и.д. коменданта города Вильны, прося сместить его с должности как совершенно не соответствующего последней, но на рапорт свой ответа не получил, и Левкевич до сих пор исполняет обязанности каптенармуса, имея свободный доступ в камеры.

Что же касается до рядового Ледзинского, то задолго до 5 мая он был привлечен к следствию и предан военно-окружному суду за кражу, а затем, после 5 мая, осужден на заключение в тюрьму с ограничением прав. Между тем не только до осуждения, но и после него Ледзинский убирал с помощью арестантов их помещения, имел к ним свободный доступ и удален из № 14 сравнительно недавно (после начала настоящего следствия недели через 1 ½).

VI. В § 29 приложении 10 к § 173 Устава гарнизонной службы сказано: «Для врачебного осмотра арестованных приглаша-

ется врач по распоряжению коменданта, не менее двух раз в месяц».

При Виленском комендантском управлении для осмотра нижних чинов имеется врач, военный лекарь Палечек и фельдшер Тихомиров, а во время месячного отсутствия доктора Палечека его обязанности исполнял военный лекарь Шрейбер. Но за последние 9 месяцев ни означенные врачи, ни фельдшер Тихомиров общего периодического осмотра всех арестованных не произвели ни разу, хотя такой осмотр обязателен по смыслу § 29. То же установлено и показаниями других свидетелей.

По заявлению врачей Палечека и Шрейбера, комендантское управление никогда не поручало ни словесно, ни письменно делать периодические осмотры всех вообще арестованных, а их, врачей, вызывали в № 14 лишь к отдельным больным, причем в общие камеры они никогда не заходили, а требовали одиночных больных, к которым их звали, в комнату караульного офицера. По показанию врача Палечека, за все 9 месяцев он был в № 14 у отдельных больных всего 5–6 раз, врач Шрейбер был только один раз и то с врачом Палечеком, до его отпуска. В числе одиночных больных «преобладали глазные и сифилитики» (показание врача Палечека).

VII. Неисполнение в точности § 29, указанном в предыдущем пункте настоящего постановления, объясняет то обстоятельство, что при осмотре камеры «не осужденных» 27 мая участвовавшие в осмотре обратили внимание на двух глазных больных (рядовых Потикалиса и Долбежкина), не отделенных от прочих и о которых и.д. комендантского адъютанта поручик Ковтунович, опрошенный 28 мая военным следователем, отозвался полным неведением (больной глазами Долбежкин и до сего дня, 5 июня, сидит в камере «не осужденных» без врачебной помощи, хотя, по показанию свидетелей, к нему и приходил несколько дней тому назад фельдшер).

Отсутствием того же, положенного по уставу, периодического осмотра всех арестованных — больных и здоровых — доктором объясняется и тот более крупный факт, что многие месяцы среди здоровых арестантов камеры «не осужденных» содержались больные сифилисом рядовые Дубов и Мацкевич.

О болезни Мацкевича сифилисом на следствии заявили некоторые арестованные, каптенармус унтер-офицер Левкевич и фельдшер Тихомиров, но ни врачи Палечек и Шрейбер, ни и.д. комендантского адъютанта поручик Ковтунович о ней до сих

пор ничего не знали (узнали лишь на следствии от военного следователя). О больном же рядовом Дубове знали и.д. коменданта полковник Шипин, доктор Палечек, фельдшер Тихомиров, поучик Ковтунович, унтер-офицер Левкевич, арестованные нижние чины.

По заявлению врача Палечека, у Дубова все время, пока он несколько раз видел его в № 14, будучи туда к нему вызываем, был сифилис в третичной, самой опасной для окружающих, форме, гнойные раны на губах, в горле, на теле (когда зараза передается даже простым прикосновением, слюною, платьем и т.п.). Об опасном состоянии Дубова для прочих арестованных общей камеры и о необходимости отделения его в особую камеру с принятием разных мер врач Палечек (по показанию его) в январе текущего года даже писал официально и.д. комендантского адъютанта поручику Ковтуновичу, но, переведенный на время в отдельную камеру, Дубов вновь попал в общую камеру «не осужденных» и сидел со всеми в день 5 мая, когда обнаружился подкоп, будучи «душой» последнего; в общих же камерах «осужденных» и «не осужденных», как установлено следствием, Дубов сидел, больной сифилисом, несколько раз и подолгу, ранее января месяца.

Из показаний свидетелей (в том числе унтер-офицера Левкевича и рядового Ледзинского) видно: 1) что, находясь в общей камере, рядовой Дубов ел и пил из общей со всеми посуды, ел одними и теми же ложками, спал на общих со всеми нарах; 2) что тюфяк его, на котором он спал, не имевший на себе никакой особой отметки, утром сваливался в особой комнате, непроветренный, в общую кучу с тюфяками других арестованных и вместе с тюфяком другого больного сифилисом Мацкевича попадал вечером для употребления не Дубову и Мацкевичу, а совершенно здоровым нижним чинам; 3) что хотя Дубов и помещался по временам в отдельную камеру, но после него в ту же камеру помещали других здоровых нижних чинов, не приняв предварительно дезинфекционных мер; 4) что врач и фельдшер только тогда вызывались к рядовому Дубову, когда последний сам заявлял об ухудшении своей болезни. В другое время они его не видели и о том, где он содержится, в общей или отдельной камере, не знали.

VIII. При осмотре помещения караульного начальника караула при № 14 бывшей Виленской цитадели 11 мая (протокол дела № IX) оказалось, что в этом помещении в день осмотра имелись

одновременно две табели постам, выданные из Виленского комендантского управления, — одна на 5, а другая на 4 поста, друг друга исключают, и не имелось плана постов (который установлен § 2 приложения 4 § 21 Устава гарнизонной службы).

Из дела видно, что части войск, руководствуясь разосланною им из Виленского комендантского управления табелью постов, постоянно ставили при № 14 5 постов (такое же количество постов было и 5 мая, при обнаружении подкопа), причем в постовых ведомостях, отправлявшихся в комендантское управление для проверки (часть которых приложена к настоящему делу), везде указаны 5 постов.

Виленское же комендантское управление препроводило к военному следователю табель постов на 4 поста, сообщив, что этой табелью войска должны были все время в точности руководствоваться и что, если они ставили 5 постов, то делали это неправильно, произвольно.

Но даже в квартире его высокопревосходительства командующего войсками округа, в приемной комнате до сих пор висит общая табель постам, в которой при № 14 указано не 4, а 5 постов, и на днях к ней присоединена вторая табель, по которой тот же караул должен выставлять 4 поста.

IX. Из § 159 и приложения 5 к § 50 Устава гарнизонной службы видно, что у арестованных должны быть обязательно два поста — один у входных дверей камеры арестованных, другой — под окнами арестантской камеры. (На первом часовой стоит, на втором может ходить вдоль поста, благодаря чему для каждого поста выработаны уставом особые обязанности часового.)

В № 14 бывшей Виленской цитадели у арестованных «не осужденных» и «осужденных» (две отдельные, рядом помещенные камеры, выходящие окнами на один двор) стоит теперь всего один часовой, снаружи — по табели постам, рассчитанной на 4 поста и присланной военному следователю Виленским комендантским управлением. Часовой этот ходит и на следующий, второй двор, куда выходят окна других камер — политических и арестованных дисциплинарно. Таким образом, у арестованных есть лишь один часовой — у окон, а часового у дверей их камеры нет, и поэтому постоянного, по уставу, наблюдения за арестованными со стороны дверей тоже нет. В табели постов, составленной Виленским комендантским управлением для наружного часового (ходящего на двух дворах), соединены обязанности, изложенные в Уставе гарнизонной службы для

двух совершенно различных часовых — стоящего на одном месте и ходящего вдоль поста. Кроме того, часовой, движущийся по обоим дворам здания № 14 (нужно около 5 минут, чтобы ему вернуться к прежнему месту), по самому устройству окон камер и расположению дворов ничего не видит из того, что делается в камерах «осужденных» и «не осужденных». Окошечко же в двери камеры «не осужденных» сделано так, что из него видна самая маленькая часть камеры, а остальная камера совершенно не видна. Благодаря всему этому арестованные камеры остаются все время почти без всякого надзора со стороны караула (что доказывается фактом вторичного их покушения на побег из одной и той же камеры «не осужденных», обнаруженного в настоящем случае не чинами караула, а только по доносу одного из них же).

Х. Из дела видно, что на и.д. комендантского адъютанта поручика Ковтуновича в силу § 32 Устава гарнизонной службы возложен и.д. коменданта города Вильны надзор за исправным содержанием арестантов и состоянием их здоровья, за тюфяками, чистотой камер, за табелями постов, постовыми ведомостями и т.п. Отставной полковник Гер, по его заявлению, наблюдает за ремонтом камер военных арестантов и за чистотой в камерах, для чего в его распоряжении имелись каптенармус унтер-офицер Левкевич и служитель рядовой Ледзинский, назначенный и.д. коменданта города Вильны. Самый же ремонт производится Виленской инженерной дистанцией. По отношению к военным арестованным и полковник Гер, и поручик Ковтунович подчинены во всех отношениях и.д. коменданта города Вильны, обязанности которого указаны в § 18 и последующих Устава гарнизонной службы.

Ввиду всего изложенного, ст. 348 военно-судебного Устава и ст. 142 и 4 п. 144 XXII кн. Свода военных постановлений военный следователь постановил:

1. Обо всем обнаруженном занести в настоящее постановление, каковое через штаб Виленского военного округа в копии представить на благоусмотрение его высокопревосходительства командующего войсками Виленского военного округа.

2. Вторую копию с сего постановления представить военному прокурору Виленского военно-окружного суда.

Подлинное подписал и с подлинным верно: военный следователь 2-го Виленского участка полковник Жиркевич.

О необходимости изменить нравственную и материальную стороны быта военных арестантов

Памятная записка¹

В предписании г-на военного министра от 18 мая сего года за № 27930 на имя командующих войсками военных округов², которое прочлось с искренним восторгом всеми, кому дорого нравственно-религиозное воспитание нашего солдата, забыто (или пропущено) значительное количество военнослужащих, главным образом и нуждающихся в благотворном на него воздействии. Я говорю про нижних чинов, содержащихся на об-щих, так называемых главных военных гауптвахтах: так как в предписании говорится о частях (единицах, имеющих определенную организацию), то военные арестанты, как не составляющие военно-административную единицу, под эту категорию не подойдут, почему они по-прежнему останутся вне благотворного течения, возникшего в силу высочайшего повеления. А между тем быт военных арестантов на большинстве таких гауптвахт — поистине ужасен. Удостоверяю это тем смелее, что лично я прекрасно изучил этот быт, интересуясь им и многие годы постоянно посещая арестантов сперва в качестве строевого офицера в караулах и помощника военного прокурора, а теперь как военный следователь.

Позволяю себе привести яркую, поучительную иллюстрацию к сказанному мною, чтобы не быть голословным.

В 1898 году участились случаи побегов, покушений на побеги и беспорядков на главной гауптвахте гор. Вильны (№ 14 бывшей Виленской цитадели), входящей в район вверенного мне 2-го Виленского военно-следственного участка. При производ-

¹ Примечание А. В. Жиркевича: В таком виде Записка моя с отзывом протоиерея Желобовского была препровождена на заключение всех командующих войсками и корпусных командиров России. Памятная записка, представленная мною через генерала Лузанова военному министру из-за границы при письме от 2 августа 1901 г. А. Жиркевич.

² «О религиозно-нравственном воспитании войск».

стве следствий, часто бывая на гауптвахте, я начал невольно вникать в причины такого упорного настроения арестантов, которые, казалось, нарочно совершали иные преступления. Результатом моих исследований было глубокое возмущение за человеческую личность, грубо и безнаказанно насилуемую, что — в свою очередь — вылилось в постановление моем на имя командующего войсками, которое при сем в копии прилагаю. Постановление это основано только на голых фактах и на протоколах осмотров, подписанных теми, кому непосредственно была вверена судьба арестантов. В него не попали, конечно, личные мои впечатления и общий из них вывод. Оборванные, грязные, покрытые паразитами, нестриженные, с серо-зеленым цветом осунувшегося лица, озлобленно смотрящие на всякого офицера, входящего в камеру, и видящие в нем врага люди, людей, которых никогда не посещали священник и врач, которые кроме брани чинов караула никогда не слышали разумного, сочувственного, ободряющего слова, в душных и грязных помещениях, асфальтовый пол которых был покрыт испаряющимися, размазанными по щелям испражнениями, вытекшими за ночь из попорченных параш, — арестанты № 14 произвели на меня удручающее впечатление и похожи были на зверей, запертых в клетке бродячего зверинца. Мне понятна стала жажда их — спастись из этого ужаса!..

То обстоятельство, что постановление мое, вызвав неприятности в моей жизни на личной почве, не повлекло, однако, для меня серьезных служебных последствий и не вызвало опровержений со стороны военного начальства, в связи с тем, что благодаря моему энергичному вмешательству по возможности были устранены указанные в постановлении беспорядки, говорит за то, что я был вполне прав и что постановление мое явилось более чем своевременным и законным. Помещение арестантов было заново отделано, увеличено, впервые за много лет у них периодически стал появляться врач; паразиты уничтожились; больные были удалены от здоровых, каторжники от арестованных «впредь до особого распоряжения». Но насколько в военной среде в течение многих лет укоренились странные взгляды на военных арестантов, сидящих на общих гауптвахтах, видно из того, что, прежде чем писать мое постановление и утруждать им высшее начальство округа, я лично говорил о возмутительном противозаконном содержании арестантов с караульными офицерами (которые обязаны же, по уставу, доводить до сведения комендантского управления о замеченных

беспорядках), наконец с самим комендантом (ныне умершим) полковником Шипиным. Ни этот в сущности добрый, гуманный старик, ни офицеры, между которыми были несомненно люди вполне порядочные, видимо, не понимали моих заявлений, вероятно, находили, что я сентиментальничаю, преувеличиваю, и даже громко заявляли, что такие «мерзавцы», «негодяи» не стоят лучшего обращения и обстановки. А один из них высказал предположение, что если улучшить быт военных арестантов на моих началах, то многие нарочно будут делать преступления, чтобы из строя попасть в хорошую обстановку гауптвахты и ничего там не делать. Напрасно я толковал об уставе гарнизонной службы, в котором ясно указан законный порядок содержания арестантов, говорил о таких азбучных истинах, как человеколюбие, милосердие к заблудшему меньшому брату; напоминал о том, что между безвозвратно погибшими есть гибнущие, которых можно еще спасти; что лишение свободы уже само по себе — тяжкое наказание, а ради нескольких негодяев, желающих попасть за решетку, чтобы ничего не делать, нельзя же губить массу рвущихся на свободу, в строй...

Меня слушали с прежним недоверием, с сомнением — и безобразия в № 14 упорно продолжались. Тогда-то, по долгу службы и совести, вынужден был я составить прилагаемое постановление, какого, смею думать, со времени учреждения в Вильне военно-окружного суда по отношению к содержанию военных арестантов не бывало никогда.

Но, улучшив быт несчастных заключенных в материальном отношении, я хорошо понимал, что сделал далеко не все то, что подсказывало мне христианское отношение к ближнему. Надо было подумать и о духовной пище заключенных, т.е. о том, без чего все реформы, введенные благодаря моему постановлению, теряли свой смысл и значение. Кроме того — сознаюсь в том — мне хотелось, посещая гауптвахту вне службы, иметь возможность видеть, приводятся ли в исполнение намеченные перемены или они остаются лишь на словах и бумаге. Отсюда естественно возникла у меня мысль об устройстве хотя бы небольшой библиотеки для арестантов, нижних чинов, а также чтений — с целью их просвещения. В 1898 году, после немалой борьбы, получено было мною разрешение — устное от покойного генерал-адъютанта В. Н. Троцкого и письменно от коменданта полковника Шипина на право раздавать арестантам для чтения книги, дарить им Евангелия и молитвенники; устраи-

вать с ними собеседования. Программы для собеседований от меня не требовалось, что указывает на легкость взгляда на этот предмет и что, в свою очередь, во избежание недоразумений, заставило меня отказаться от собеседований.

Так как на покупку книг я не мог добиться субсидий, то я написал книги, солдатский журнал и устроил шкаф на свой собственный счет и начал выдачу книг арестованным. При первом же посещении камер заключенных я даже не нашел икон, которые с разрешения комендантского начальства купил сам и повесил, что можно видеть из дел комендантского управления. Каждую неделю — один или два раза — имея на то допуск коменданта, я входил беспрепятственно в камеры заключенных, давал им для чтения книги, раздавал Евангелия и молитвенники, стараясь объяснить им значение полезной книги. Кроме того, мною выдавались в камеры дешевые азбуки, по которым по моему приказанию грамотные обучали неграмотных товарищей по заключению. За все время трех лет никто не помог мне в этом деле, кроме генерала Богдановича, приславшего один раз 30 экземпляров брошюр о царе-миротворце для раздачи нижним чинам, но затем переставшего отвечать на мои просительные письма.

Скоро я мог убедиться в том, что потерял время и деньги недаром: интерес к книге с каждым днем рос у моих заключенных. И, бывало, только что узнавали они, что я пришел в № 14, как начинались усиленные звонки — вызов караульного унтер-офицера с умильной просьбой доложить мне, что арестанты, мол, просят «книжечек для чтения», и с выражением боязни, что я пришел на следствие и не зайду в камеры. Приходя, я проверял успешность обучения грамоте: некоторые, особенно долго сидящие под стражей, быстро и хорошо научились читать (обстановка камер не давала возможности заниматься и писанием).

«Ваше высокоблагородие, подарите молитвенничек!», «Ваше высокоблагородие, нельзя ли дать побольше книжек!» — раздавались радостные голоса арестантов, едва я входил в камеру. При этом ни разу во время моих посещений порядок нарушен не был, тем более что я взял за правило не принимать никаких жалоб и заявлений, не относящихся непосредственно к моей скромной роли библиотекаря и раздатчика Евангелий и молитвенников.

Боже мой! Какие это были радостные минуты для меня — видеть, как книжка вносит свет, мир и порядок (да, порядок — так как книги я доверял какому-либо одному солдату и он обязан был потом собрать их для меня обратно от товарищей) в эту

мрачную и забытую людьми среду несчастных и сбившихся с пути. Да простят мне эти и последующие подробности! Но я не могу умолчать о них: настолько они мне кажутся дорогими и важными для поднимаемого мною вопроса.

Не скрою, что была, как всегда, и обратная сторона медали: много книжек пропало при высылке арестантов, страницы некоторых из них в первое время рвались «на цыгарки», на книгах делались надписи. Но с этим можно было бороться, и угрозы, что я перестану давать книги при их дальнейшей порче, было вполне достаточно для того, чтобы прекратить безобразия. Кстати заметить, что та же угроза заставляла многих, считавшихся безнадежно буйными и строптивыми, держать себя безукоризненно. Между арестантами были такие, которые давали мне слово держать себя хорошо и держали его поразительно твердо: арестанты вообще дорожат доверием начальства и ни разу меня не обманули.

Труднее была, к сожалению, борьба с непониманием в среде караульных офицеров, отрицательное усердие которых доходило до того, что не раз находил я даже Евангелия и молитвенники отобранными от солдатиков. Приходилось бороться и с гг. офицерами. То же враждебное отношение к моему нововведению — библиотеке — привело к тому, что я вынужден был поставить шкаф с книгами, запертый на ключ, в караульное помещение нижних чинов, но требуя, чтобы он переходил караулу под сдачу и тем стеснял бы обязанности офицеров. Результатом было то, что в этом году, придя после долгого отсутствия в № 14, я нашел шкаф мой отпертым, замок из него вырезанным, а книги раскраденными (и ранее я замечал, что кто-то ходил в шкаф с подобранным ключом и брал книги для чтения). Вероятно, это совершили чины караула, пользуясь ночным временем и сном. Я не поднимал дела, зная, что при постоянной смене караулов невозможно найти виновного, и видя, что тут причиной та же темнота и невежество, с которыми нельзя бороться одними лишь строгими внешними мерами. Но, признаться, огорчила меня потеря моего дорогого детища — библиотеки, три года благополучно существовавшей, а главным образом тот факт, что солдаты, находящиеся на воле, обидели своего же брата — арестанта.

Не имея средств заводить новую библиотеку, написал я графу С. Д. Шереметеву, прося прислать мне для библиотеки книги от Общества ревнителей русского исторического просвещения в память императора Александра III. По этому поводу завязалась

переписка, и недавно мне предложено было Обществом взять на себя устройство библиотеки для арестантов имени Общества в № 14 (главной Виленской гауптвахте), что я с радостью и принял и на что последовало, насколько я знаю, разрешение военно-окружного начальства. Библиотеку эту я поставлю, конечно, на иных началах, оградив ее от описанной выше случайности.

Все это я изложил не для восхваления своих поступков, которые — по чистой совести — не считаю из ряда вон выходящими и которые с лихвой были награждены уже полученными мною результатами, а для того, чтобы показать, что возможно же нравственное воздействие на военных арестантов путем полезной, интересной книги, даже при единичной работе и общем несочувствии.

Этому нравственному воздействию в связи с улучшением материального быта в № 14 я приписываю то обстоятельство, что два года побеги арестантов не возобновлялись и поведение их, за редкими исключениями, было безукоризненным. Недавно обнаружилось приготовление к побегу, указывающее, значит, на то, что жизнь арестантов № 14 снова обставлена ненормально.

Но до чего забывают военных арестантов, указывает тот факт, что если бы не я, приносивший арестованным в день Пасхи куличи, яйца, сыр и христосовавший с христианами, то в течение ряда лет они оставались бы без разговен даже в такой великий день.

Я не хочу сказать, что начальствующие, соприкасающиеся с арестантами, — бессердечные, скверные люди. Нет! А объясняется это тем, что части войск относительно призрения арестантов надеются на комендантское управление; комендантское управление — на части войск; караульные офицеры — люди, находящиеся на гауптвахте лишь временно, сменяющиеся; а комендантское управление (оно же часто и управление уездного воинского начальника) завалено письменной работой. При таком, если позволено будет мне выразиться, «междуначалии» подчас совершенно забываются арестанты, лишенные возможности жаловаться, протестовать. Грустная обстановка, о которой много мог бы я рассказать поучительного! И не забуду, как, придя в этом году к арестантам в первый день Св. Пасхи, я услышал от караульного офицера: «А они с утра вас уже ждут. Спрашивали о вас». Бедняки твердо были уверены, что, забытые всеми, они не будут забыты мною! После христосования и раздачи принесенного многие обращались ко мне с просьбами: «А книжке-

чек, ваше высокоблагородие! Почитать бы! Нельзя ли молитвенник!» — Увы! От моей библиотеки к тому дню остались лишь жалкие останки! Исчезли и мои Евангелия и молитвенники.

Описанное мною в отношении содержания военных арестантов на главных гауптвахтах найдется с различными вариациями всюду, кроме разве столиц, если, конечно, не делать шаблонного официального смотра с предупреждением о ревизии, а явиться неожиданно. О нравственном же состоянии арестантов положительно никто не думает. Смело можно сказать, что едва ли в России найдется такая гауптвахта, которую посещал бы с целями собеседования и проповеди священник, из которой арестанты водились бы в церковь — на воскресные богослужения, для исповеди и причастия, в которой подумали бы о том, чтобы заронить в их души луч знания, слово любви и совета. А ведь это все — страшно подумать! — зеленая молодежь, из которой половина попала на гауптвахту из-за незначительных нарушений воинской дисциплины, совершенных в пьяном виде, из-за проступков, объясняющихся единственно молодостью, невежеством, непониманием требований военной службы. А такой молодежи ежегодно гибнет на общих гауптвахтах губернских и уездных городов России, в физическом и нравственном отношении, тысячи, если не десятки тысяч! Без разумной книги, без доброго, ободряющего слова, оторванный от своей родной семьи, солдат-юноша или солдат-ребенок (а большинство наших солдатиков, в сравнении с лицами образованных классов того же возраста, в сущности — наивные и хорошие дети) за маловажный иногда проступок, значения которого он не понимает, попадает из строя прямо за решетку, на ключ, в общую камеру, где уже сидят убийцы, воры, сознательные нарушители воинской дисциплины, люди, иногда нравственно извращенные, безвозвратно погибшие. Пока производят дознание, следствие, пока окончится суд, проходят иногда месяцы в томительном бездействии, в зараженных стенах общей камеры, среди различных дурных влияний. Многие, долго просидев на гауптвахте, возвращаются в части и продолжают службу. Но разве могут они принести туда что-нибудь хорошее со современной гауптвахты?! Да, много надо силы воли, чтобы спастись, выйти из этой темницы с чистой душой, с незагрязненным воображением, с верой в Бога и с отсутствием ненависти к начальству, бедному юноше-солдату! Самое разделение арестантов на гауптвахтах по категориям, согласно устава о гарнизонной службе, на «осужденных» и «не осужденных» не выдерживает

критики — если применить его не на словах, а на деле: между «не осужденными» и «осужденными» есть, конечно, и негодяи, потерявшие совесть, но есть и чистые личности; находятся убийцы, воры, насильователи, а рядом с ними — попавшие под суд за проступки, в сущности невинные, как я убедился в том, часто посещая арестантов. Давно надо изменить это деление, приняв во внимание и основание не случайный, чисто канцелярский признак «осуждения» или «не осуждения», а личность обвиняемого и сущность его преступления. Но кто входит на гауптвахтах в психологию личности военного арестанта? Кто при указанном выше «междуначалии» и отсутствии распоряжения свыше займется вопреки устава гарнизонной службы классификацией несчастных забытых арестантов на иных началах?! Вот тут-то на помощь и могли бы прийти — говорю это по опыту — разумная книга, доброе, сердечное слово, посещение офицерами военных гауптвахт с целью раздачи книг и собеседования. Теперь караульный офицер входит в камеры раза два, при экстренной надобности, на несколько минут и спешит оттуда выйти поскорее. Но иное было бы отношение к жизни арестантов на гауптвахте, если бы офицеру пришлось там бывать чаще, на долгое время и дышать ужасным воздухом общих камер. Наверное поднялись бы вопросы об улучшении быта, если бы господам офицерам пришлось уносить на себе из камер паразитов, как уносил их я, или если бы им сделалось дурно от удушающего смрада «одинок», как это было однажды со мною.

Сводя в одно сказанное мною, я позволяю себе думать:

1) Что быт военных арестантов главных гауптвахт, как имеющий непосредственную связь не только с бытом нашей армии, но и всего отечества (в том отношении, что многие арестанты возвращаются в части, а затем увольняются на родину), необходимо изменить в его основаниях, подвергнув его в то же время большему контролю и расширив, переделав в этом смысле параграфы устава гарнизонной службы.

2) Необходимо при каждой главной гауптвахте, самой незначительной, устроить библиотеку, снабдив ее не только уставами и книгами религиозного содержания, как это указано в уставе гарнизонной службы, но вообще книгами для чтения, рекомендуемыми Главным Штабом для всех солдатских библиотек. Самые библиотеки следует отдать под контроль начальников гарнизонов.

3) Необходимо обязать военных священников посещать арестантов с целью собеседований, раздачи Евангелий, молит-

венников, а также водить арестантов в церковь на богослужения и для говенья.

4) Необходимо устраивать для арестованных чтения по особым выработанным программам.

5) Необходимо на гауптвахтах ввести обучение грамотности (чтению и письму).

Расходы по устройству и поддержке арестантских библиотек легко окупятся отчислением небольших сумм из средств тех частей, из которых присылаются на гауптвахты арестованные. А между офицерами — я знаю это — всегда найдутся порядочные, добрые люди, которые с охотой отдадут часть своих досугов на духовные нужды арестованных нижних чинов, лишь бы были почин и призыв свыше.

Если дезинфицируют помещение, то не оставляют неочищенным ни одного угла, ни одной вещи: иначе дезинфекция теряет всякий смысл и помещение по-прежнему останется зараженным и опасным для тех, кто будет с ним соприкасаться. Поднятый по высочайшему повелению в предписании военного министра № 27930 вопрос о религиозно-нравственном воспитании войск смело можно сравнить с дезинфекцией, назвав «нравственной дезинфекцией» нашей армии. Но мера эта, позволяющая себе заявить, не приведет к полным результатам, если главные гауптвахты, это больное место войск, останутся вне благотворного влияния и будут по-прежнему возвращать в армию людей или с надорванным от антисанитарного состояния гауптвахт здоровьем, или, что еще хуже, навсегда развращенных, пришибленных безнравственной атмосферой, там царящей.

И терять времени нельзя: пока я пишу эти строки, в душевных казематах среди самых вредных условий и влияний гибнут тысячи хороших честных русских граждан, которых еще можно было бы спасти и сделать полезной государственной силой!!

Все, что сказано мною в настоящей памятной записке о состоянии гауптвахт, еще раз повторяю, не относится исключительно к одному только Виленскому округу, но вообще к большинству гауптвахт России: много странствуя по отечеству и нарочно посещая военных арестантов, я видел везде приблизительно одно и то же, за редкими исключениями (по части материального благосостояния). Самая же записка моя имеет единственной целью — обратить внимание на одну из сторон военного быта, которая, не имея своей литературы, до сих пор осталась в тени лишь потому, что с нею мало еще знакомы.

Отзыв протопресвитера военного и морского духовенства

Протопресвитер Военного
и морского духовенства.
12 сентября 1901 г. № 11009.
С.-Петербург, Воскресенский пр., № 18

Его высокопревосходительству
г. Военному министру

Вашему высокопревосходительству угодно было препроводить мне на рассмотрение и заключение памятную записку военного следователя Виленского военного округа полковника Жиркевича «О необходимости изменить нравственную и материальную сторону быта военных арестантов».

Ознакомленный частью личными наблюдениями, а главным образом сообщением подведомых мне священников с бытом военных арестантов, имею честь вашему высокопревосходительству представить по означенному весьма важному вопросу следующее:

Памятная записка военного следователя Виленского военного округа полковника Жиркевича по справедливости может считаться живой и яркой иллюстрацией быта арестованных. Все, написанное в ней, дышит правдою, знанием быта арестованных, их среды и обстановки. Нельзя не выразить г. Жиркевичу глубокой благодарности за его христианскую любовь к ближнему и благородное стремление пролить свет на темную среду людей заключенных и улучшить их печальную жизнь и обстановку. Указанные г. Жиркевичем печальные явления из быта арестованных в Виленской гауптвахте, усугубляющие тяжесть наказания, несомненно, имеют место и в других гауптвахтах. Необходимо, однако, в видах справедливости, присовокупить, что г. Жиркевич несколько обобщает констатируемые им факты и явления случайным придает постоянный характер.

Военные гауптвахты, как полковые, так и главные (в городах, где расположено несколько воинских частей), в большинстве случаев устраиваются по одному общему плану. Они состоят из двух общих камер — «для осужденных» — с нарами, нескольких

отделений для помещения в них арестуемых так называемым усиленным арестом. Помещения для этого рода арестованных бывают холодные, темные, не более двух аршин в квадрате. Свет проникает в них только через небольшое отверстие, сделанное в дверях для наблюдения за арестованными со стороны часового. В главной гауптвахте содержатся: воинские чины, состоящие под судом и следствием, осужденные впредь до отправления в места заключения, отбывающие наказание за неимением места в военных тюрьмах, арестованные офицерами и полицией для прекращения беспорядков, а также воинские чины разных команд, не имеющих своих карцеров, как например: инженерной, интендантской и других. В полковых гауптвахтах арестовываются нижние чины за разные мелкие обыденные поступки, совершаемые в своих частях. Лица, арестованные простым арестом, согласно параграфу 19 Устава внутренней службы, спят на выдаваемых им тюфяках и подушках, арестованные же арестом строгим и усиленным — на голых нарах. На ночь в помещение арестованных (параграф 21) ставится параша. Число арестованных в главных гауптвахтах находится в прямой зависимости от числа расположенных в этом пункте воинских частей. По отзывам знающих лиц в больших городах, как например: Петербург, Москва, Варшава, Одесса, Киев, Вильно, на главной гауптвахте содержится ежедневно средним числом до 20 человек, в остальных городах, где имеются главные гауптвахты, число арестованных в среднем не превышает 2–4 человек в день. В полковых гауптвахтах содержится средним числом ежедневно 2–5 человек.

Условия содержания арестованных в большинстве случаев бывают более благоприятными для арестованных в полковых гауптвахтах. Находясь под непосредственным наблюдением командира части, они содержатся более опрятно: арестованные здесь каждую неделю получают белье и два раза в месяц водятся в баню. Что же касается до условий содержания арестованных в главных гауптвахтах, то таковые бывают менее благоприятны для арестованных по многим причинам. Главной из этих причин является самая категория арестованных. Отбывая здесь наказание или находясь под судом и следствием за более или менее серьезные проступки, арестованные на главных гауптвахтах обыкновенно не водятся в баню из опасения побегов и за отдаленностью заключения, менее аккуратно получают белье и необходимую одежду из своих частей. Самое помещение главных гауптвахт, вследствие указанных в записке Жиркевича «междунача-

лия» и «многочаалия», содержатся менее опрятно. К этим неблагоприятствующим для арестованного условиям нужно прибавить еще явления чисто случайного характера. На главную гауптвахту обыкновенно отправляются арестованные полицией военные дезертиры и разные пьяницы из нижних воинских чинов, пропившие и растратившие казенную одежду и вещи, ввиду чего снабжение их необходимой одеждой и бельем часто представляется крайне затруднительным. Иногда оказывается, что часть, где служит арестованный, находится далеко от места ареста или арестованный получил свою следуемую по положению одежду и белье. В такого рода случаях арестованный долгое время, пока идет о нем переписка, носит одну и ту же рубаху, не имея возможности ее вымыть или переменить, вследствие чего в помещениях гауптвахты развивается масса всевозможных паразитов, борьба с которыми представляет большую трудность. Один из священников дисциплинарного батальона мне сообщает, что в дисциплинарном батальоне, где условия содержания заключенных значительно лучше, чем на гауптвахте, ему приходилось быть свидетелем той почти неодолимой борьбы, которую вели работающие в швальне портные с паразитами, находящимися в присланных в швальню для исправления шароварах и мундирах.

Параши, состоящие из ведра или ушата, часто протекающих, делают воздух в камере для свежего человека невыносимым. Все эти условия, без сомнения, делали бы положение арестованных на главных гауптвахтах весьма тяжелыми, если бы облегчающим обстоятельством не являлась малочисленность арестованных и случайность пребывания в них людей нечистоплотных или не имеющих необходимой перемены платья. Малочисленность арестованных представляет им возможность соблюдать некоторую чистоту в помещении и наблюдать за собою.

Обрисованное таким образом положение арестованных на главных гауптвахтах дает полную возможность видеть, что меры, указанные г. Жиркевичем, насколько желательны, настолько и необходимы.

Для устранения этих недостатков, по моему убеждению, является необходимым:

а) Устройство при главных гауптвахтах библиотек из книг религиозно-нравственного содержания и других. При существовании хорошо составленной и приспособленной к развитию и положению арестованных библиотеки и время ареста не проходило бы так бесполезно и томительно для арестованного, как

проходит в настоящее время; грамотные читали бы книги неграмотным, возбуждая у них и у себя лучшие мысли и чувства.

б) Посещение священниками арестованных в главных полковых гауптвахтах для назидания и увещания не менее одного раза в неделю, по преимуществу в воскресные и праздничные дни, а в главных гауптвахтах больших городов или при большой численности арестованных — ведение духовных бесед, религиозно-нравственных чтений и совершение богослужений (всенощной и обедни) в воскресные и праздничные дни, а также молебнов в дни высокотожественные.

в) Обязательная выдача каждому арестованному христианину Евангелия и молитвенника.

г) Обязательное посещение священниками гауптвахт в дни Рождества Христова и Св. Пасхи с крестом, а в день Крещения Господня с святою водою.

В интересах дела весьма желательно, чтобы заведывание библиотеками, выбор книг для них и выдача их арестованным были возложены на военных священников, коих больше всего касается религиозно-нравственная сторона воинских чинов и по преимуществу состоящих в непосредственном ведении Командантских управлений, коим подведомы главные гауптвахты. Арестованным же в полковых гауптвахтах могут быть выдаваемы книги из имеющихся при полковых церквах библиотек, назначаемые для чтения нижним чинам.

Означенные меры, оказывая воздействие на арестованных в смысле их исправления и облегчения их положения, несомненно, повели бы к улучшению помещений и быта арестованных и возбудили бы более внимательное отношение к ним подлежащего военного начальства.

Бросающимся в глаза упущением является отсутствие в помещениях гауптвахт святых икон. Что касается до обучения арестованных грамоте, то кратковременность заключения, доходящая только в самых исключительных случаях до двух месяцев, малочисленность арестованных и несоответственность их обстановки условиям обучения — являются существенными препятствиями к установлению этого весьма желательного нововведения.

«Забытые», по словам г. Жиркевича, военные арестанты не будут забыты вашим высокопревосходительством, попечительным отцом о всех своих подчиненных. О сем почтительно просит ваше высокопревосходительство усердный богомолец и слуга

Протопресвитер Александр Желобовский.

Военная служба трех поколений

Подготовлено Е. В. Антоновой

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА ЖИРКЕВИЧА (1838 г.)¹

Генерал-майор Иван Степанович Жиркевич.
Из дворян Смоленской губернии.

Подпоручиком из кадет 1 Кадетского корпуса в Лейб-гвардии артиллерийский батальон —
1805 сентября 4.

Поручиком —
1809 августа 4.

Штабс-капитаном —
1813 января 13.

Капитаном —
1816 марта 4.

Переведен Лейб-гвардии артиллерийской бригады в Батарейную 858 роту —
1816 марта 9.

Подполковником —
1819 июля 1.

Переведен в 15-ю Артиллерийскую бригаду —
1820 мая 20.

Назначен управляющим 1-м отделением Артиллерийского департамента —
1824 ноября 11.

Назначен состоять по артиллерии —
1826 февраля 27.

Утвержден начальником 1-го отделения —
1826 марта 18.

¹ РГВИА. Ф. 395. Оп. 34. 1 отд. 3 ст. (1843). Д. 356. Л. 3–6, 10.

Назначен членом Московского Артиллерийского депо —
1826 апреля 8.

Назначен для особых поручений к директору Артиллерийского департамента —
1826 декабря 1831.

Полковником с оставлением при прежней должности —
1828 января 28.

Переведен помощником командира Тульского оружейного завода, по хозяйственной части —
1829 марта 4.

По прошению уволен по домашним обстоятельствам от службы генерал-майором, с мундиром и пенсионом 2/3 жалования по 1666 руб. в год —
1833 декабря 9.

Причислен к Министру внутренних дел —
1834 ноября 25.

Определен в должность Симбирского гражданского губернатора —
1835 марта 5.

Назначен Витебским гражданским губернатором —
1836 июня 27.

Переименован из действительных статских советников в генерал-майоры, с состоянием по Армии и назначением военным губернатором г. Витебска с оставлением и Витебским гражданским губернатором —
1836 сентября 19.

Уволен от службы с мундиром и пенсионом 2/3 оклада, определенным уставом 6 декабря 1827 г., —
1838 октября 25.

В феврале 1838 г. был уволен в отпуск на 14 дней.
Всего в службе и офицерских чинах с походами, за вычетом времени нахождения в отпуску, состоял 32 года 11 месяцев.
Был в походах и сражениях в 1805, 1807, 1812, 1813 и 1814 годах противу французов.
За отличие в сражении награжден орденами: Св. Анны 2 степени, Св. Владимира 4 степени с бантом и золотой шпагой с надписью «За храбрость», имеет Св. Георгия 4 класса за выслугу в офицерских чинах 25-и лет и удостоен неоднократно в числе прочих высочайших благоволений.
В штрафах и под судом не бывал.
К повышению аттестовался достойным.

СПРАВКА. В сентябре 1838 года Министр внутренних дел ходатайствовал об увольнении его от службы по случаю расстройства домашних дел и ослабевшего зрения, — с мундиром и пенсионом. Вслед за тем бывший Витебским, Могилевским и Смоленским генерал-губернатором генерал-адъютант Дьяков¹ сообщил: «Что причины, лишаящие генерал-майора Жиркевича возможности продолжать службу, изысканные; существенная же происходит от неограниченного желания действовать по званию губернатора без подчинения всяких действий своих исправлению или противоречению со стороны главного в губернии начальника, как бы ни были недостаточны таковые его действия». И что г. Жиркевич основывал на претензиях своих нежелание служить и два раза подавал уже прошения об отставке, но, убедясь в поспешности и, быть может, в необдуманности, просил о возвращении ему просьб, что было исполнено. К сему генерал-адъютант Дьяков присовокупил, что «нельзя сказать, чтобы генерал-майор Жиркевич не был усерден к службе; но строптивость его характера преобладает им; лично чрезмерно строг и взыскателен над подчиненными, напротив сам всегда уклончив от подчиненности и неограничен в желаниях, касательно уважения его представлений, как бы ни были оныя неосновательны, следовательно с такими правилами едва ли может он где-либо безукоризненно нести службу и быть вполне полезным для оной»².

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ШТАБС-КАПИТАНА ЖИРКЕВИЧА (1869 г.)³

Штабс-капитан Владимир Иванович Жиркевич.
Состоит по Армейской пехоте и в штате С.-Петербургской полиции, в Полицейском резерве.
Родился в 1834 г.

¹ Дьяков Петр Николаевич (1788–1860), с 1836 г. исполнял должность генерал-губернатора, а затем генерал-губернатор смоленский, витебский и могилевский.

² Несмотря на подобный отзыв в 1843 г., в связи с прошением И. С. Жиркевича о «вступлении вновь в службу», ему было предложено место члена Строительной комиссии при Кавказских водах, однако дело не получило завершения.

³ РГВИА. Ф. 400. Оп. 9. Д. 5657. Л. 3–7. Высочайшим приказом от 18 ноября 1869 г. уволен по собственному прошению от военной службы «для определения к статскому делу» с награждением чином титулярного советника.

Из дворян Смоленской губернии.
Исповедания православного.
Воспитывался в Полоцком кадетском корпусе.
Имеет бронзовую медаль в память войны 1853–1856 годов
на Андреевской ленте.

Получаемое на службе содержание:
Жалованья 700 р.
Столовых 300 р.

ПРОХОЖДЕНИЕ службы

В службу вступил из воспитанников Полоцкого кадетского корпуса прапорщиком в 6-ю Полевую артиллерийскую бригаду —
1854 июня 17.

Отправлен —
1854 июля 7.

Прибыл —
1854 июля 20.

По воле начальства переведен в Резервную № 3 батарею 2-й Артиллерийской дивизии —
1854 июля 25.

Батарея переименована из № 3 во 2-й 1-й Резервной бригады оной дивизии —
1855 октября 2.

Батарея переименована в Резервную легкую № 2 батарею 4-й Резервной артиллерийской бригады —
1855 декабря 28.

По воле начальства прикомандирован к Батарейной № 1 батарее той же бригады —
1856 января 16.

Подпоручиком —
1856 сентября 23.

По воле начальства прикомандирован к Батарейной № 2 батарее 10-й Артиллерийской бригады и отправился к оной —
1856 октября 1.

Прибыл —
1857 февраля 24.

По воле начальства прикомандирован к Батарейной № 1 батарее 2-й сводной Резервной артиллерийской бригады —
1857 июня 27.

Отправлен —
1857 июня 30.

Прибыл —
1857 июля 17.

По воле начальства переведен во 2-ю сводную Резервную артиллерийскую бригаду —
1858 января 2.

Назначен в Батарейную № 1 батарею той же бригады —
1858 января 9.

Поручиком —
1858 августа 26.

Бригадным квартирмейстером —
1859 сентября 26.

По воле начальства прикомандирован к Бендерской крепостной артиллерии —
1862 июня 30.

Смещен с должности бригадного квартирмейстера и отчислен от Бендерской крепостной артиллерии с переводом в 1-ю Батарейную батарею 24-й Артиллерийской бригады —
1864 марта 21.

Отправился к оной и прибыл —
1864 мая 12.

По воле начальства переведен в 25-ю Артиллерийскую бригаду —
1864 июня 1.

Назначен в Батарейную батарею оной же бригады —
1864 июня 9.

Отправлен —
1864 июня 22.

Прибыл —
1864 июня 30.

Штабс-капитаном с зачислением по армейской пехоте и с назначением помощником Сокольского уездного исправника —
1864 сентября 23.

Отправился —
1864 октября 18.

Предписанием Гродненского губернского правления № 3382, переведен на такую же должность в Кобринский уезд —
1866 мая 3.

Предписанием того же Правления за № 4570 уволен от сей должности по прошению —
1868 июня 5.

С согласия Главного штаба прикомандирован к штату С.-Петербургской полиции впредь до перевода в оную —

1868 октября 1.

Прикомандирован к 3 участку Спасской части —

1868 октября 5.

Высочайшим приказом переведен в штат С.-Петербургской полиции с оставлением по армейской пехоте —

1868 октября 18.

Назначен в полицейский резерв —

1869 апреля 20.

В отпусках был:

на 6 месяцев *с 1857 июня 27 по декабрь 27;*

на 14 дней *с 1858 октября 3 по 1858 октября 17;*

на 14 дней *с 1859 февраля 24 по марта 6;*

на 28 дней *с 1864 сентября 7 по октября 15.*

Женат на дочери майора Астафьева Варваре Александровой, у них дети, сыновья: Александр, родившийся 1857 г. ноября 17, и Иван, родившийся 1859 г. мая 12.

Жена и дети православного исповедания.

В походах и делах против неприятеля не был.

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ПОЛКОВНИКА ЖИРКЕВИЧА (1900 г.)¹

Полковник Александр Владимирович Жиркевич.

Военный следователь Виленского Военного округа.

Родился 17 ноября 1857 г.

Из дворян Смоленской губернии.

Православный.

Окончил курс в Виленском реальном училище и в Военно-юридической академии (ныне Александровская военно-юридическая академия).

Ордена и знаки отличия: Св. Станислава 3 степени и имеет серебряную медаль в память царствования императора Александра III и знак за окончание курса наук в Военно-юридической академии.

¹ РГВИА. Ф. 409. ПС 82–108/13. Л. 113 об.-119.

Получаемое на службе содержание:
Жалованья 900 руб.
Столовых 900 руб.
Квартирных 450 руб.
Итого 2250 руб.

ПРОХОЖДЕНИЕ службы

В службу вступил в 108 пехотный Саратовский полк рядовым на правах вольноопределяющегося второго разряда —
1879 августа 21.

Командирован в Виленское пехотное юнкерское училище, куда прибыл и зачислен в старший класс —
1879 сентября 1.

Произведен в унтер-офицеры —
1880 января 31.

Окончил курс училища по первому разряду —
1880 июня 20.

Переименован в портупей-юнкера с откомандированием в полк, куда и прибыл —
1880 июня 26.

Высочайшим приказом произведен в прапорщики —
1880 октября 27.

Произведен в подпоручики —
1882 апреля 26.

Назначен и.д. полкового адъютанта, с назначением заведующим музыкантскою командою на правах ротного командира как в административном, так и в хозяйственном отношениях —
1882 октября 31.

Приказом по 27-й пехотной дивизии утвержден полковым адъютантом —
1883 декабря 24.

Вследствие заявленного желания держать в 1885 году экзамен на право поступления в Военно-юридическую академию сдал музыкантскую команду и должность полкового адъютанта —
1885 марта 1.

Командирован в Военно-юридическую академию для держания вступительного экзамена —
1885 августа 17.

Выдержал экзамен и зачислен в штат обучающихся Военно-юридической академии
1885 сентября 20.

Произведен на вакансию в поручики со старшинством с —
1886 апреля 26.

По успешном окончании полного академического курса по первому разряду отчислен из Академии в распоряжение Главного Военно-судного управления —
1888 мая 30.

Причислен к Главному военно-судному управлению и затем <...> для предварительного ознакомления на практике с военно-судебной частью прикомандирован к прокурорскому надзору Виленского военно-окружного суда —
1888 мая 30.

За отличные успехи в науках в Военно-юридической академии Высочайшим приказом произведен в штабс-капитаны —
1888 июня 11.

Прибыл из разрешенного отпуска в прикомандирование в военно-прокурорский надзор Виленского военно-окружного суда —
1888 июля 2.

Высочайшим приказом по военному ведомству от 1 июня 1889 года назначен кандидатом на военно-судебные должности при военном прокуроре Виленского военно-окружного суда с переводом в военно-судебное ведомство —
1889 июня 1.

Высочайшим приказом последовавшим в 30 день августа 1890 года произведен за выслугу лет в капитаны —
1890 августа 30.

Высочайшим приказом по военному ведомству последовавшим в 10 день апреля 1891 года назначен помощником военного прокурора Виленского военно-окружного суда —
1891 апреля 10.

Высочайшим приказом по военному ведомству 1893 года августа 30 произведен за выслугу лет в чин подполковника —
1893 августа 30.

Высочайшим приказом по военному ведомству последовавшим в 6 день декабря 1894 года всемиловейше пожалован орденом Св. Станислава 3 степени —
1894 декабря 6.

Высочайшим приказом по военному ведомству 1897 года апреля 13 дня произведен за выслугу лет в чин полковника <...> —
1897 апреля 13.

Высочайшим приказом по военному ведомству последовавшим в 6 день августа 1897 года назначен военным следователем Виленского военного округа —

1897 августа 6.

Отбыл к месту нового служения —

1897 августа 21.

Прибыл —

1897 августа 21.

БЫТНОСТЬ вне службы

Находился в отпусках:

в 14-дневном —

с 1880 июля 1 по 14;

с 1882 января 12 по 26.

В 20-дневном —

с 1884 октября 15 по ноября 4;

с 1885 декабря 20 по 1886 января 6.

В 28-дневном с сохранением содержания, проездом к месту назначения —

с 1888 июня 4;

явился на срок

1888 июля 2.

В 28-дневном отпуску —

с 1888 сентября 23 по октября 21.

В 28-дневном отпуску —

с 1890 июля 6 по августа 2.

В 3-месячном отпуску с Высочайшего разрешения, с сохранением в течение первых двух месяцев всего содержания, а за последний одного жалованья —

с 1890 сентября 22 по декабря 22.

В 3-недельном отпуску —

с 1891 декабря 4 по декабря 24.

В 9-дневном отпуску —

с 1892 сентября 11 по 20.

В 2-месячном отпуску с сохранением содержания —

с 1893 мая 31 по июля 31.

В 11-дневном отпуску —

с 1894 июня 1 по 12.

В 21-дневном отпуску —

с 1894 ноября 19 по декабря 9;

с 1896 февраля 21 по марта 13.
В 8-дневном отпуску с сохранением содержания —
с 1897 октября 28 по ноября 7.
В 2-месячном отпуску с сохранением содержания —
с 1899 августа 10 по октября 9.

Женат первым браком на дочери статского советника девице Екатерине Константиновне Снитко.

Имеет сына Сергея, родившегося 1 августа 1889 года, и дочь Варвару, родившуюся 20 февраля 1892 года.

В службе его не было обстоятельств, лишающих права на награждение знаком беспорочной службы или отдаляющих срок к выслуге такового.

ГЛАВА 6

«Личные воспоминания там,
где безмолвствуют
архивы...»

Дневник
Александра Владимировича Жиркевича.
Июнь — октябрь 1888 гг.

6 июня 88 г.

Сегодня был с прощальным визитом¹ у поэта Апухтина². Алексей Николаевич принял меня с обычным радушием, все в том же халате и в той же обстановке, в которой я раньше его видел неоднократно. Поцеловав меня крепко, Апухтин начал с извинений, что не посетил меня в лазарете. «Когда я узнал, что вы больны, у меня было горячее желание повидать собрата-поэта. Но, узнав, что лазарет высоко, я побоялся лестницы и решил написать письмо. Получили ли вы его?» Я ответил утвердительно. «Отчего же не были у меня с Ясинским?»³ Ведь он желал же со мной познакомиться, да и я от этого не прочь; о чем он писал вам? Некоторые вещицы его мне нравятся. Это, очевидно, талантливый человек, хотя талант его и не из выдающихся». Я объяснил, что мои отношения к Ясинскому изменились вследствие моего откровенного письма, написанного к нему, и что с Ясинским я лично более не виделся с моей болезни, но знаю, что он все-таки собирался с ним, Апухтиным, познакомиться. Разговор перешел на инцидент с Фофановым, «Таинством любви»⁴, и Апухтин подтвердил, что знает из первых рук, что сначала был проект отлучить Фофанова от Церкви и предать анафеме, но что потом отцы Церкви решили ограничиться одним церковным покаянием. «Итак, — шутил Алексей Николаевич, — вашему приятелю чуть было не пришлось очутиться в

¹ По окончании Петербургской Военно-юридической академии А. В. Жиркевич вернулся в Вильну.

² *Апухтин Алексей Николаевич* (1840–1893).

³ *Ясинский Иероним Иеронимович* (1850–1930) — писатель, журналист, литературный критик, мемуарист, издатель.

⁴ *Фофанов Константин Михайлович* (1862–1911) — поэт. Стихотворение «Таинство любви» (1885) напечатал в 1888 г. журнал «Наблюдатель», вызвав гнев К. П. Победоносцева и разбирательство в Св. Синоде.

компании Мазепы и Гришки Отрепьева!.. Что ж, лица замечательные, исторические! Разве один Отрепьев подгулял... Ну, что же, создали бы Костыку Фофана! Но отцы Церкви вовремя одумались и хотят для наставления Фофанова отдать его под опеку какого-нибудь священника. Это для него не страшно, а популярность и его, и “Наблюдателя” выросла. Прошлый раз в Английском клубе все спрашивали, даже те, которые и не слышали до тех пор, что есть на свете “Наблюдатель”».

От Фофанова мы перешли к юбилею Майкова¹. Апухтин зло смеялся над письмом Майкова и надо всей «юбилейной комедией», как он находит все торжество! Апухтин тоже был приглашен, но не поехал, так как, по его выражению, он «ненавидит все юбилеи; нигде так много не говорится глупостей, как на юбилеях».

Заговорили о стихотворении Фофанова «Кончается». Апухтин находит в общем стихотворение это прекрасным, но что будто бы повторение слова *кончается* портит ансамбль. «“Одуванчик”, помещенный там же, мне еще более понравился: в нем настоящая, живая и кипучая поэзия».

Апухтин спросил меня, что я ему принес новенького из моих стихотворений? Я ответил, что ничего, так как тиф разбил мой организм (притушив память и воображение). Но так как Апухтин настаивал, то я прочел ему маленькое стихотворение, посвященное моей дорогой невесте. «Прелестно, просто и прочувствованно, — сказал Апухтин. — Работайте, Бога ради, и не гонитесь за темами: пишите, что придет в голову, не думая о публике и о печати. Лучшие мои стихотворения, поверьте мне, принадлежат той эпохе, когда я писал для себя, не думая печатать написанное. А с той минуты, как стал писать для печати, я чувствую, что постепенно теряю творчество: публика, как призрак, стоит передо мной, и много задуманного я уничтожил ради этой проклятой публики. Не гонитесь за славой, за известностью! Если у вас есть талант, а он у вас несомненный, то все это будет к вашим услугам. Но пока пишется, пишите для себя, не выбирая из жизни тем, а наталкиваясь на них в своих поэтических блужданиях и исканиях красоты. Писать на заданную тему доводит Бог знает до чего. Вот, например,

¹ Майков Аполлон Николаевич (1821–1897) — русский поэт. Журнал «Исторический вестник» откликнулся на событие публикацией «Юбилей А. Н. Майкова (Адрес к пятидесятилетию)» (1888. Т. 32. № 6. С. 688–696).

известный вам поэт князь Ухтомский¹ на юбилей Майкова написал стихи, где в одном месте есть “венчанный муж в порфире”. Это Майков-то!»

Я спросил Апухтина, не написал ли он чего-либо новенького?

— Нет, я давно бросил стихи и ничего почти не пишу. Да и к чему? Меня все забыли, и я никому не нужен.

Я, конечно, стал возражать ему, что ведь он, в конце концов, писал для общества, если печатал свои стихи, а общество его читает и ценит его талант.

— Если в литературе, — сказал я, — ваша книжка вызвала лишь беглые заметки и прошла как бы бесследно, то в обществе заметили и раскупают. Вы сами виноваты, ведя такую уединенную, почти затворническую жизнь, что вас публика редко видит. Вы представляете для нее загадку, и в обществе, особенно в литературных кружках, узнав, что я вас знаю, мне часто задавали о вас, вашей жизни массу вопросов, часто наивных, вроде того, что здесь ли вы живете, сколько вам лет и проч. Рассказы о вас слушаются с удовольствием и любопытством, и про вас уже ходят целые легенды.

— Грязного, циничного свойства, — перебил меня Апухтин. — Знаю, знаю! Мне приписывают Бог знает какие поступки и Бог знает какие стихотворения...

— Но вы, Алексей Николаевич, ведь действительно автор многих неизданных стихов довольно игрового содержания, ходящих по рукам в рукописях?

— Не говорите этого никогда! — вспыхнул Апухтин. — Я никогда не писал тех грязных эротических стихотворений, которые мне приписываются! Шутливые стихи я писал в молодости, но цинизмом не марал своего пера!.. Знаете ли вы, что мне приписывают авторство известной пародии на «Горе от ума», полной грубого и пошлого цинизма?! Но, повторяю, я не виноват в таких вещах, и на меня лгут. И кто же лжет? Своя же пишущая братия! А вы упрекаете меня в том, что я чуждаюсь ее, избегаю и никуда не показываюсь?! Вы думаете, мне легко жить в этой квартире, отказавшись от общества, театров, музыки, которую я так люблю? Нет, мне тяжело это лишение. Но куда же я покажусь с моей наружностью, над которой все смеются и на которую, не церемонясь, указывают пальцами? Быть

¹ Ухтомский Эспер Эсперович (1861–1921) — русский дипломат, ориенталист, поэт и переводчик.

посмешищем толпы и предметом грязных сплетен пишущей братии — не завидно! Я сегодня еду, сейчас, к графу Адлербергу, на музыкальное утро, и то только потому, что знаю, что теперь все разъехались, будет лишь интимный кружок знакомых и я не буду предметом пустого и преднамеренного любопытства! Кроме всего этого, я не показываюсь потому, что болен, меня преследует одышка, я не сплю по ночам, а днем, с моей толщиной, никуда не могу выбраться.

Я не стал доказывать ему, что к литературному миру он слишком строг и что там много есть порядочных людей (я назвал тут некоторых), но, конечно, есть много и дряни, как и везде. Его никто осмеивать из порядочных не будет, а на дрянность внимания обращать не следует.

— Кроме этого, мне кажется, что вы, Алексей Николаевич, попадаете в обломовщину, сами опускаетесь и не имеете характера стряхнуть с себя сонливость и сесть за серьезную работу.

— Кто же из нас — не Обломов?! — возразил Апухтин. — Вглядитесь в себя, и в себе вы найдете обломовщину. Каждый русский в основании Обломов — один больше, другой бессознательно. Работать?! Да, я хотел бы работать, но для этого нужен душевный покой, а у меня его нет: болезненная тучность, денежные дела и много других причин мешают мне заняться серьезно.

Тут Апухтин оживился и сказал: «Знаете ли, я задумал роман в прозе из эпохи 50–60-х годов, без всякой политической тенденции, а просто бытовой. План уже готов, материала масса; нужно лишь сесть за бумагу... А это-то мне и не суждено. Хорошо бы уехать в деревню, подышать свежим воздухом и писать, писать. Меня приглашают к себе в Ковенскую губернию в имение графа Крейца, и я серьезно думаю воспользоваться приглашением».

— Мне кажется, Алексей Николаевич, что долгие паузы в вашей литературной деятельности вам вредят, заставляют забывать и вас... А между тем теперь «ползлы из щелей мошки да букашки», русло родной литературы мельчает. Что бы раздаться вашему голосу?! Научите нас, молодежь, как надо писать и творить! Ведь вы и сами еще молоды и не могли еще остыть сердцем, не могли еще заглушить в себе интереса к жизни.

— Мне 45 лет, но я пожил, много пожил! И неужели мой голос в литературе что-либо значит?! Я в этом часто сомневаюсь,

когда вижу себя забытым и литературой, и литературной братией! Знаете ли, ваши посещения всегда действуют на меня благотворно. Я не могу вам не верить, а потому с приходом вашим оживаю, чувствую приток свежего воздуха, чувствую, что я, быть может, еще и не лишний на свете! Ваш голос говорит мне, что меня читают, что меня любят как поэта, хотя это до меня и не доходит другими путями. Благодарю, благодарю вас за вашу любовь к моей поэзии и за ваше искреннее ко мне расположение!.. Что же касается до длинных промежутков в моей литературной деятельности, то что же мне делать, если у меня стихотворения не каждый день выходят из-под пера?!

— А куда же вы дели вашу прекрасную «Старость»?

— А, право, не знаю! Рукопись у меня кто-то выпросил, а самые стихи я наполовину забыл. Утин¹ просил их у меня для «Вестника Европы», но тут вышло некоторое недоразумение, и у меня этих стихов не спрашивали более. Да и нечего их жалеть!

Заговорили о том, что в «Северном вестнике» не было рецензий Плещеева² на его книгу. «А между тем там еще недавно выпрашивали у меня стихотворения, а потом тоже замолчали. Да я и не нуждаюсь в известности!»

Я между прочим сказал Апухтину, что в одном обществе заявил, что он пишет и печатает из-за денег.

— Это неправда! Зачем вы так сказали?! Я не писал из-за денег, но печатал из-за денег! С изданием я мало выиграл, так как меня обманули и во многих местах появился мой сборник на более простой бумаге и дешевле. Впрочем, это меня и радует отчасти: значит, публика читает меня, интересуется.

Тут я заметил ему, что этот факт только подтверждает сказанное мною выше о том, что он слишком предубежден против общества и что оно его и не думало позабывать.

— Чтобы показать вам, какими приемами меня отучали от печатания стихов, расскажу вам следующее. Лет двадцать тому назад Вольф³ явился ко мне с предложением заплатить сколько угодно за мои стихи, лишь бы я ему их дал. Я передал ему три, и одно — «Разбитую вазу», под заглавием которой было напи-

¹ Утин Евгений Исаакович (1843–1894) — адвокат, публицист.

² Плещеев Алексей Николаевич (1825–1893) — поэт, переводчик, литературный критик.

³ Вольф Маврикий Осипович (1825–1883) — русский издатель, книгопродавец, просветитель.

сано, что мотив взят из Сюлли-Прюдом¹. Это добавление было пропущено, как объяснял Вольф, по недосмотру наборщиков, а между тем, кажется, в «Петербургской газете» была помещена грязная заметка, где меня обвинили ни более ни менее, как в умышленном присвоении, в краже чужого произведения и в выдаче его за свое!

— Но нельзя же после того и жить на свете, если обращать внимание на мелочи! Из отзыва ничтожной газетки еще не следует, что все подозревали вас в низости. Я не ожидал, что вы, Алексей Николаевич, так способны закапываться в мелочи жизни!

— Вот вы хвалите ваши литературные кружки, — продолжал Апухтин. — А разве хорошо поступил с вами Ясинский, прервав отношения после первого же откровенно и честно высказанного мнения? А Ясинский, по вашим же словам, хороший человек! И нигде, как в этих литературных кружках, не производится столько гадости, подкапываний, бичеваний, унижения и лжи, нигде! Нет, лучше подальше от этого мира, который не знает меня и который я хорошо угадываю. Позор для нашего времени эта литература-пасквиль, теперь процветающая. Бывший еще вчера вашим интимным другом, завтра же пишет повесть, где вы фигурируете, часто в карикатурном виде. Все друг за другом подсматривают, подслушивают и пишут друг с друга карикатуры, воображая, что пишут *с натуры*. У нас в России своя школа *натуралистов*, и эта школа — позор для нас. Нет, лучше подальше от этой грязи, от этих общественно-литературных прозелитов!

Я не мог не согласиться с последней характеристикой эпохи, вспомнив Лемана² и Бибикова³, этих коршунов, чующих мертвое мясо. Люди эти бывают в обществе с целью подслушивать, подсматривать и потом облекать свои наблюдения в форму повестей, мемуаров и т.п. Один объявляет себя другом Всеволода Гаршина⁴, другой приятелем Надсона⁵. И оба, я уверен, врут на покойников, не могущих запечатать их лживые уста.

¹ *Сюлли-Прюдом* (Рене Франсуа Арман Прюдом; 1839–1907) — французский поэт, член группы «Парнас», лауреат Нобелевской премии по литературе (1901).

² *Леман Анатолий Иванович* (1859–1913) — прозаик.

³ *Бибиков Виктор Иванович* (1863–1892) — прозаик, литературный критик.

⁴ *Гаршин Всеволод Михайлович* (1855–1888) — писатель, поэт, художественный критик. Упоминание в связи с недавней смертью 24 марта (5 апреля) в С.-Петербурге.

⁵ *Надсон Семен Яковлевич* (1862–1887) — поэт.

Заговорили о Майкове, который не нравится Апухтину. Из всех его стихотворений он выделяет «Три смерти» и еще несколько, находя остальное деланным и ходульным.

Я попросил у Апухтина на память его портрет, но он заявил, что у него теперь нет, и рассказал историю того портрета, который был приложен к «Нови». Редактор приходил к нему и просил разрешения приложить портрет к журналу. Апухтин не согласился; тогда тот заявил, что мог бы сделать это и без согласия Апухтина, но если спрашивает его, то лишь из любезности. Несмотря на протест Апухтина и запрещение, портрет был помещен в «Нови». Апухтин обещал мне дать свой портрет, изъявив надежду, что, уехав из Петербурга, я не порву с ним отношения.

— Вам надо непременно переехать служить сюда. Здесь все возбуждает молодую душу, и даже чувства негодования и омерзения вызывают к вдохновенным порывам. Но до приезда сюда прошу вас изредка дарить меня вашими произведениями, а я вам буду отвечать на них с обычной, быть может и грубой, моей откровенностью, которая так многим молодым поэтам не нравится! Но я убежден, что ничего так не губит таланты, как лесть. Есть здесь старик по фамилии Плещеев¹, который своими отзывами много принес зла молодежи! Дурной, выживший из ума старик!! На частые ответы вы не рассчитывайте: я не любитель до писем, да и тяжело бывает порою писать! Вы женитесь?! Поздравляю вас: этот шаг важнее ваших будущих литературных успехов!

Тут Апухтин много расспрашивал о моей невесте, дне свадьбы и т.д.

— Я очень желал бы быть представленным вашей будущей супруге! Если вы приедете сюда, то, надеюсь, заглянете ко мне или сообщите свой адрес, чтобы я мог быть у нее с визитом. Но любит ли она, как вы, поэзию, сочувствует ли вашим литературным планам?

Немного погодя Апухтин стал уверять меня, что любовь на время гасит творчество мысли, но что оно потом непременно вернется.

— Медовый месяц всегда убивает вдохновение. Любовь физическая слишком реальна и не дает места иллюзиям.

¹ *Плещеев Алексей Николаевич* (1825–1893) — поэт, переводчик, литературный и театральный критик.

Апухтин был необыкновенно сердечен со мной в это посещение, и я давно его не видал таким веселым и любезным.

— Я так рад, что вы зашли и не забыли меня! А я так часто вас вспоминал и бранил себя, что не посетил вас в лазарете. Вы не поверите, что за ад моя жизнь! Почти целый день прозябать на этом диване, одиноко, далеко от живых, не исковерканных людей!! Этот диван надоел мне, хотя к квартире я привык, живя в ней более пятнадцати лет. Но и ее меняю, уезжая еще дальше от умственного центра столицы, от того, что когда-то так занимало меня.

Я хотел было уйти, услышав, как лакей докладывал ему, что карета готова для поездки на музыкальное утро.

— Нет, еще посидим немного, — просил Алексей Николаевич. Он много расспрашивал меня о моей болезни, Академии и будущей службе. Узнав, что я буду в Вильне, где прокурор — Остен-Сакен¹, он просил передать поклон баронессе², называя ее своей большой приятельницей. «М-ме Остен-Сакен очень умна, интересна, а главное, она сама пишет прелестные стихи, и вы с ней должны сойтись как поэты! Она слишком бойка и подвижна, но собеседница очень интересная!»

Апухтин рассказал мне один эпизод из своей грустной жизни за границей. Однажды он сидел на скамейке. Вдруг слышит шум, крики и видит, как преследуют бешеную собаку. Собака эта бросается прямо к Апухтину, а он, благодаря толщине, даже не может спастись, вскочить на скамейку. Собаку убили у самого Апухтина. «Я заплакал, когда опасность прошла», — добавил Алексей Николаевич.

Мне показалось, что, несмотря на свой обычный унылый тон, Апухтин начинает как бы оживать. Мы долго говорили с ним о задуманном им романе, и, очевидно, он твердо намерен опять приняться за писанье. Не знаю, как ему повезет в прозе? И неужели на нем тоже оправдается чье-то меткое замечание, что русские поэты начинают с лирической поэзии и кончают прозой? Мне показалось, что в то время, когда Апухтин дурно отзывался о литературной братии и школе нарождающихся *натуралистов*, на его лице было написано какое-то сомнение в своих собственных словах. Мои защиты литературных кружков

¹ *Остен-Сакен Эрнст Рудольфович* (1846–1911), барон, в должности военного прокурора Виленского военно-окружного суда был с 1 дек. 1883 г. по 6 фев. 1892 г.

² *Остен-Сакен Екатерина Кирилловна* (урожд. Зыбина), баронесса

ему нравились, а уверения, что его не забыли и не забудут, вызвали его симпатичную улыбку. Я долго убеждал его работать и работать, как он это делал до сих пор, т.е. для себя, не думая о публике и грошах.

Я шутя заметил ему, что «к несчастью нет никого, кто бы время от времени тормозил его и понуждал к работе». «Да, — со вздохом грустно сказал Апухтин, — никого, ровно никого!»

Зашла речь о Михаиле Ивановиче Семевском¹.

— А вы разве знаете его?

Я рассказал о судьбе записок моего деда.

— Как же, я читал эти записки, и они меня очень заинтересовали. В «Русской Старине» печатается так много дребедени, что на каких-нибудь порядочных отдыхаешь, как в оазисе пустыни. Записки вашего деда очень честно и интересно написаны.

Далее Апухтин возмущался тем, что Семевский издал книгу «Наши знакомые» с неприличными примечаниями.

— Я только раз встретил этого господина у княгини Трубецкой, и он делал мне намеки о том, чтобы я разрешил ему прислать ко мне книгу «Наши знакомые» на квартиру для занесения моего автографа. Я очень резко и сухо отказал ему в этом, и он меня оставил в покое.

Апухтин, несмотря на его кажущееся равнодушие к литературе, следит за нею, и сегодня я видел на его столике несколько свежих разрезанных книг беллетристического содержания.

Расстались мы очень тепло с Алексеем Николаевичем, он трижды меня обнял и поцеловал и еще раз просил не забывать его своими письмами и дружбою, что я и обещал. Вообще сегодняшнее свидание произвело на меня хотя и грустное впечатление, но вместе с тем оно вселило во мне веру в то, что талант Апухтина еще не угас и он подарит русской публике что-либо такое, что сразу обратит на него снова внимание даже и той части общества, которая про него забыла.

О чем еще говорили мы сегодня? Тем было так много, что их и не упомнишь, а разговор тянулся два часа. Говорили о газетных и журнальных дрызгах, о грязной ссоре «Нового времени» и «Новостей», о современных молодых поэтах, а особенно о Мережковском, так «глупо поспешившем», по выражению

¹ *Семевский Михаил Иванович* (1837–1892) — русский историк, журналист, общественный деятель, издатель (с 1870 г. до конца жизни) исторического журнала «Русская старина».

Апухтина, издать свою книжку; о значении музыки и о русской музыке в особенности; о влиянии женщин и детей на смягчение нравов: о Льве Толстом и его последователях и т.п. Многое в суждениях Апухтина мне показалось, как и раньше, не новым, многое — темным; но в наблюдательности ему отказать нельзя. Тронуло же меня до глубины души то приветливое и искреннее обращение со мной, которое тянулось во все время разговора.

Я сегодня много горячился, спорил с Апухтиным и даже говорил ему в лицо о нем самом же довольно резко, обещая «надоедать ему, выбивать из колеи диванного сиденья и заставлять работать и изучать жизнь, что без сношения с людьми немислимо».

— Кружок ваших интимных знакомых не заменит общества, и русская аристократия живет тепличной жизнью, а нормальная жизнь — в среднем и низшем классе. Как вы будете писать роман, будучи так сильно озлоблены на общество?

Апухтин возражал, что роман он нарочно берет из жизни прошлого, которому он сочувствует до сих пор всей душою. «Я и не взялся бы писать ничего о настоящем», — добавил он откровенно.

— Если вы будете бегать от общества, — сказал я, — то с вами повторится история с Тургеневым, который под конец стал писать карикатуры, а не живые лица, только потому, что пытался писать о России, отдалив себя от общества.

Когда я уже уходил, Апухтин еще раз благодарил меня за дружбу и сказал, что теряет во мне на время честного, искреннего человека, изредка отвлекавшего его от нравственной спячки, в которую погружает его жизнь. Мне показалось, что в глазах бедного Алексея Николаевича были слезинки. Бедный! Увиди ли я его еще хоть раз, когда и в какой обстановке?

Вильна. 26 июля 1888 г.

Я уже более трех недель здесь, будучи прикомандирован к военно-окружному суду. Новые товарищи приняли меня очень радушно, и я тронут их готовностью помочь мне, еще неопытному в практической деятельности юриста. Барон Остен-Сакен произвел на меня самое приятное впечатление, которое за все это время усиливается. Это — вполне джентльмен, человек умный, с большим тактом и с большим уважением к чужому

мнению. Я имел случай побеседовать с ним по случаю четырех заключений, которые я ему докладывал, и убедился, что с ним можно говорить все откровенно, в уверенности, что всякое, даже незрелое мнение будет им выслушано с полным вниманием. Говорят об его баронском упрямстве, но я не имел случая еще проверить этот слух.

Начались мои защитительные речи. Мне уже пришлось говорить перед судом четыре раза, и я уже не чувствую того страха услышать свой собственный голос, как это было в первый раз, когда я должен был сказать лишь десяток слов.

Вчера я оправдал одного солдатика, канонира 25-й артиллерийской бригады Осокина, обвинявшегося в покушении на кражу. Бедняга перед началом дела умолял меня *защитить его*, и я чувствовал, что он невиновен. Допрос свидетелей доказал мое предположение. Прокурор отказался от обвинения, и мне пришлось сказать пару слов. Когда Осокину вынесли оправдательный приговор и объявили, что он свободен, то он, как говорил мне дежурный офицер Кульбицкий, выйдя из здания суда, встал на колени и начал креститься. Встретившись же со мной, упал на колени и стал благодарить меня; я поднял его и объяснил, что моя роль в этом деле была скромна и что он должен благодарить суд, а не меня.

Дело это и защита Осокина взволновали меня так, что я не спал накануне целую ночь и дрожал, когда допрашивал свидетелей. Ненадолго меня хватит, если и в будущем я также горячо буду принимать чужое горе к сердцу! Впрочем, лучше скоротить жизнь наполовину, чтобы остающуюся половину всецело посвятить страдающему ближнему! Нет выше любви, *аще кто душу свою положит за своего ближнего!* Благодарю Бога за ту чистую радость, которую чувствовал я вчера, когда помог человеку смыть с себя позорное пятно и дал ему возможность с поднятой головой гордо сказать обществу: я — честный человек! Ужасно подумать, что немногих улик, набрасывающих тень, было бы довольно, чтобы сослать Осокина в Сибирь: военный суд неумолим, и жертва порой нужна для поддержания дисциплины! На всех делах, в которых я защищал, председательствовал полковник Никифоров, личность мне не симпатичная. После одного дела он сказал мне много комплиментов и, между прочим, следующее: «Предсказываю вам, что вы пойдете далеко, если и потом будете так же относиться к делу и говорить такие речи, как теперь!»

Гораздо приятнее этого мнения мне было услышать отзывы временных членов суда, заявивших мне про одну мою речь и про допрос свидетелей, что я вел дело *замечательно честно и справедливо*. Похвалы эти для меня, как новичка, очень важны, так как я еще учусь и не всегда знаю и уверен, поступаю ли хорошо или дурно.

22 июня, в день именин М. Ив. Максимовой, я был приглашен на вечер, дававшийся Дризену¹, Бунакову², Масловым и другим особам от лица всей колонии Максимовых, Вукотичей и Самохваловых.

Я был в кителе, что меня смущало. Меня заставили танцевать, но в общем мне скучно не было, так как общество веселилось непринужденно. Генерал-адъютант Дризен не мешал никому и большую часть вечера просидел за картами, а остальную — торжественно промолчал. Не знаю, узнал ли он меня, но был очень со мной внимателен. Василий Александрович Бунаков отпуская за ужином довольно плоские шуточки по адресу М-те Самохваловой. Из новых лиц, которых я прежде не знал, я познакомился с бывшим адъютантом Пажеского корпуса Олуховым и четой Жилинских. Был там и вечно молодящийся, но разбитый товарищ прокурора Берг, и много девиц, из которых m-lle Никитина, дочь бывшего командира Троицкого полка, отличалась милостью и благовоспитанностью. В 2 часа разошлись, и я ушел с сознанием глупо убитого времени.

Липкин подарил мне книгу своих стихотворений; я на нее ответил экспромтом, который ему очень понравится. В книжке его есть прелестные вещицы, например «Тополи», но они утопают в море трескучих рифм, напускной тоски и общих идей. Все поэты — судьбы. Множество ноющих стихотворений придает всей книжке унылый, безнадежный тон. А между тем я несколько раз виделся с Липкиным; но, приехав сюда, я убедился, что он все тот же жуир-сердечник и «добрый малый». Я ему высказал упрек за то, что он поторопился издавать свой сборник, так как через несколько лет будет жалеть, что многое из него не выбросил. К чему эта поспешность и неизбежное затем разочарование и отчаяние? Талант у Липкина есть, но ум его неглу-

¹ Дризен Александр Федорович (1824–1892) — русский генерал от кавалерии.

² Бунаков Василий Александрович (1839–1897) — генерал-лейтенант (1886), начальник штаба Виленского военного округа (1891–1891).

бок, а жизнь он понимает очень поверхностно, скользя по ней поэтическим чутьем. Недостаток образования в разговорах с ним сказывается на каждом шагу. Оригинальности в нем нет никакой! Впрочем, Липкин еще юн, не перебесился, кровь в нем бродит, и перед ним еще вся жизнь впереди! Может быть, из него в будущем еще и выйдет толк!

С Карльсбергом у меня деятельная переписка, и я счастлив, счастлив, боясь верить своему счастью! Я так привык к тому, что лучшие минуты моей жизни были отравлены разными сюрпризами судьбы. Пусть же судьба на этот раз пощадит если не меня, то ту, которая отдает мне на сохранение свою будущность! Душа моя опять оживает и жаждет духовной пищи. Тиф не взял всех моих сил, и возвращение здоровья знаменуется у меня возвращением к моим любимым занятиям — поэзии и изучению человеческой души. Я никогда еще не был исполнен такими благородными, самоотверженными желаниями, как теперь! Ближний для меня теперь более чем когда-либо — брат и друг! Любовь личная не вытеснила у меня из сердца любви христианской! Обе эти любви, как родные сестры, уживаются в душе моей и облагораживают ее своим чистым прикосновением. Я духовно счастлив и чувствую, как какие-то незримые крылья вновь мощно расправляются за моими плечами и готовы унести меня за пределы повседневных мелочей жизни!

За это время я получил много интересных писем от интересных лиц. Вера Викторовна Тиманова¹ написала мне милое письмо, с ее обычным умом и тактом. От поэта Апухтина тоже характерное письмо, в котором он просит написать ему правду о тех грязных слухах, которые ходят о нем в обществе. Помня Евангельское изречение *просящему — дай*, я написал ему всю правду, указав, что в обществе убеждены, что он принадлежит к числу целой компании лиц, довольно странно удовлетворяющих свои половые влечения... При этом я присовокупил, что не верю этим слухам, но что если бы они и оправдались, то я не разлюбил бы его, Апухтина, а жалел бы его, так как на такую извращенность чувств смотрю как на болезнь, которую надо лечить. Ответа от Апухтина я не получаю, неужели еще одного близкого человека я потеряю за то, что, по привычке, сказал в глаза правду, когда ее настойчиво просили?! Впрочем, письмо мое не вызывало ответа.

¹ Тиманова Вера Викторовна (1855–1942) — пианистка.

Фофанов пишет мне изредка милые письма о своей поэме «Кошечей»¹ и обещал прислать всю поэму. Что-то у него выйдет из нее? Боюсь, чтоб он не вдался в тенденцию!

1 августа

Вчера в суде был дежурным офицером нашего полка, кажется, Федоров (я его лично ранее не знал). Разговорились мы о донкихотстве, и этот юноша стал свысока говорить о тех, которые начинают борьбу во имя справедливости и человеколюбия, даже сознавая, что борьба не по силам и что они должны быть раздавлены, уничтожены. Я очень удивил его, когда под конец долгой речи, в которой я развил ему истинное значение донкихотства, сказал: «Желал бы очень, чтобы на моей могиле было написано: “Он был Дон-Кихотом в лучшем значении этого имени”». Как люди склонны придавать главное значение анекдотической стороне жизни, не пытаясь заглянуть глубже под шутовское одеяние! Таких, как Федоров, я встречал сотни, и все они забывают или не умеют понять, что в Дон-Кихоте преобладает одна великая благородная черта — любовь к ближнему и борьба с неправдой.

Был у Ан. Александр. Плаксиной, в которой нашел большую перемену, как бы к лучшему. Конечно, такую натуру, какая у нее, не поправишь на старости лет даже такими потерями, какие она понесла; но все же у нее явилось сознание бесполезности прожитой жизни, житейских ошибок и того зла, которое она принесла своим детям, балуя их и приучая смотреть на жизнь, как на праздник, где <...> живет хорошо. У нее уже были два нервных удара, и дни ее сочтены, что она и сознает, хотя, тем не менее, прикладывается к рюмочке по старой привычке. Ужасно так оканчивать свою жизнь никому не нужной старухой, от которой все отшатнулись.

5 августа

Не знаю отчего, но все эти дни меня беспокоят какие-то предчувствия как будто близкой смерти! Маленькая пустая ли-

¹ Драматическая сказка К. М. Фофанова «Смерть Кошечей» была завершена в августе 1888 г.

хорадка напугала меня как что-то серьезное, и я даже пошел с нею к врачу. Спасибо! Быть может, под влиянием этого предчувствия я принялся приводить в порядок мои бумаги: многое уничтожил, но кое-что оставшееся привел в порядок. Если придет смерть, то никому не придется долго и бесполезно копаться в моих бумагах, так теперь там все рассортировано и имеет свое определенное место! Самый мой архив писем и записок получает теперь для меня иное значение: если умру, пусть он перейдет к моей дорогой невесте и хоть немного развлечет ее своей пестротой. Писал я дневники для себя; вот почему в них все — правда, и если есть неточности, ошибки, то не по моей вине! Дневники мои — моя исповедь, которую по привычке я тянул целый ряд годов и собирался несколько раз уничтожить à la Апухтин. Но теперь есть кому дарить их: пусть берет их чистое и любящее существо и, прочтя, да не осудит меня!! С этого времени дневник мой, не теряя своей грубой правдивости, получает иное назначение и становится для меня вдвое дороже!!

6 августа

Что за симпатичная, образованная личность барон Остен-Сакен. Вчера на деле убийцы Иванова он подошел ко мне поговорить по случаю назначения моего на должность следователя на время отъезда капитана Слицкого. Я высказал ему свои опасения на тот счет, что я, как неопытный, могу приносить скорее вред, чем пользу, если в моем участке случится какое-либо из ряда выходящее дело, в котором понадобится весь опыт старого, поседевшего на криминалистике следователя. «Не смущайтесь, — ответил с ласковой улыбкой Эрнест Рудольфович, — если у вас встретятся сомнения в чем-либо, то приходите ко мне: днем и ночью я к вашим услугам! Не стесняйтесь только беспокоить меня!» И я уверен, что это была сказана не фраза, так как знаю, как любезен барон, насколько знает наше дело и как не жалеет ни времени, ни трудов, когда этого требуют служба и интересы подсудимого. Остен-Сакена хвалят в судейском мире все, даже такие несимпатичные, ленивые и себе на уме личности, как полковник Никифоров. Действительно трудно встретить в одном и том же лице такое сочетание ума, добропорядочности, воспитанности, образования и такта! По наружности это холодный светский человек, довольно упрямый, как не-

мец, с аристократическим взглядом на жизнь и человечество, но стоит несколько раз столкнуться с бароном на почве служебных отношений, чтобы убедиться в том, какая хорошая душа скрывается за этой видимой холодностью. Недаром его голубые умные глаза глядят порою так тепло, остроумно, сочувственно!

Я очень счастлив тем, что во мне глубоко засело убеждение, что, пока веришь в людей, веришь и в жизнь, а сама жизнь никогда тебе не надоест! Я всегда и везде находил если не идеально-хороших людей, то прекрасные идеально-чистые черты характера во многих из них, и довольствовался этой находкой, чтобы не извериться в людях. Дружбы для меня не существовало никогда, так как дружба — рабство; а я, любя людей, всегда дорожил своей свободой! Требуя от себя, чтобы полюбить их, весьма немного, я и от них, в свою очередь, требовал бездельки: не стеснять моей свободы в сфере нравственной.

Чтобы быть счастливым, нужно:

1) Приучить себя находить в каждом человеке хорошее и смотреть на дурное как на наносную, неизбежную в жизни прибавку.

2) Жить от цели до цели, задаваясь всегда лишь возможным и посильным и имея вдали одну лишь общую грандиозную цель — жить по правде и с пользой для ближних.

3) Жить так, чтобы другие возможно меньше чувствовали близость твоего существования.

4) Никогда не уступать злу, неправде, как бы ни была непосильна борьба с ним, и даже если будешь знать, что погибнешь.

5) Озаботиться образованием твердых основ своего характера, так как только с твердым характером, даже при всех случайностях жизни, возможно быть одинаковым, а потому и христиански-справедливым.

6) Не разрушать ни в ком веры, так как горе тому, кто ни во что не верует! Пусть каждый верует по-своему. У всех народов один Бог, а все они веруют по-своему; так и у людей одного и того же народа.

7) Любить Отчизну и склонять и не любящих ее отщепенцев любить ее, так как Родина — великое связующее звено между мною и всеми теми, которые жили и умерли для нее. А так как в жизни ничто не создается единичной силой, то любовь к Родине укрепляет в нас веру в силу общества, в общий труд, в исторические цели существования наций, в их неумирающую

духовную жизнь на арене человечества. Сознание же, что ты с пользою участвуешь в жизни общества, одно уже может сделать тебя счастливым. Любить Отчизну можно, лишь познав близко, полюбив родной народ, найдя в многомиллионной душе его задатки правды, благородства, христианской любви и покорности исторической судьбе. Не любят родину те, кто не постиг величия народного духа и называет темнотой в русском народе то, что дает ему крепость и хранит в себе залог его будущей славы. Полюби русского человека — полюбишь родину и будешь счастлив в ней и тогда, когда придется тебе в ней пострадать за правду и невинно!

8) Верить в силу Истории и в то, что ничто не создается сразу, а все создается постепенно, и что ты — скромный звук в целом ряде таких же скромных звуков, нужных Божественному Разуму для какого-то мощного сверхъестественного аккорда. Познавать жизнь можно лишь тогда, когда убедишься из истории народов, как ничтожен человек и его силенка в общей гармонии мира. Сознав свое ничтожество, познаешь и величие Бога, и грациозность мироздания, и сквозящие в нем неведомые задачи.

9) Жить с природой и в природе, одухотворяя ее любовью ко всему, что живет, а потому любить, чувствовать, страдать, будет ли это человек или чуть видная козявка. Человек призван в жизни не разрушать и не созидать, а служить целям Божества, и одна из этих целей, открытых человеку, — право жизни.

10) Непременно надо кого-нибудь любить, понимая любовь не в смысле физического влечения, а как потребность делать кого-либо счастливым. Будет ли это любовь к женщине, к родным, к детям, к угнетенному и страдающему ближнему — безразлично. Такая, как указанная, любовь и согревает, и освещает жизнь, и в то же время делает ее осмысленной.

11) Выше я сказал, что не надо разрушать ни в ком веры, даже если, по нашему личному мнению, она вылилась в грубую, ложную и некрасивую форму. То же надо иметь в виду и с политическими убеждениями. В политике История играет огромную роль, и надо верить, что историческая правда всегда восторжествует, не спросив у людей, насколько они способны ее ясно усвоить и как они о ней думают. Политика — тоже религия, и основана на вере, и доказать лживость религии и политики нельзя. Предоставим доказать это Истории и жизни. Нет той ложной формы правления, которая где-нибудь не была бы справедливой, и существующий в данный момент в данном пункте порядок —

исторически справедлив, так как иначе его не существовало бы. “Laissez faire, laissez passer”¹ — нигде не должно быть так применимо, как в политике; да оно и понятно, известная форма обещания живет, пока не наступит эпоха, когда она устарела, раз же эта эпоха наступила — старый порядок немислим! Больно это сознавать при любви к известной форме строя, но жизнь говорит всегда правду, не справляясь, больно ли это или нет людям, над которыми она проделывает свои задачи!

5-го вечером

Сегодня окончилось в Виленском окружном суде дело кучера генерала Бельгардта Иванова. Несмотря на подавляющие улики, он все отпирался, стараясь держаться храбро, находчиво и спокойно, что при его богатырской силе вполне удавалось. Я не понимаю этого запырательства! Случись то же со мной, и я счастлив бы был очистить, облегчить душу сознанием пострадать за пролитую кровь и этим облегчить нравственную пытку! И Иванов очевидно страдал: в два дня, что я его видел на суде, он страшно осунулся, позеленел, во рту у него постоянно пересыхало, и он вытирал с лица крупные капли пота. Но что за умный мужик, и с каким железным характером. Сколько бы понаделал чудес с такою богатырскою силою воли!

Только что ушел от меня поэт Липкин, просидевший часа три и заморивший меня чтением и рассказами о своих драмах, комедиях и т.п. Я внимательно прислушивался к нему и заметил, что во всех этих его произведениях нет ни идеи, ни новизны, ни поэзии: все шаблонно в них, случайно, неинтересно, а люди, в них выведенные, — или жеребцоподобные Дон-Жуаны, или кокотнообразные чиновницы среднего круга. Слушаешь всю эту гиль и думаешь: зачем все это написано, кому это может быть интересно, где же идея, что же здесь поучительного или бытового? Липкин страшно ограничен и необразован! Прозный раз он мне читал какую-то поэму, написанную некрасовскими стихами «Дедушки»²; в этой вопиющей ерунде есть такие места, что взглядываешь на автора в изумлении и спраши-

¹ «Будь что будет» — французская поговорка, происходящая от лозунга фритредеров в Англии и Франции XVIII–XIX вв.; требование невмешательства государства в экономическую жизнь.

² Поэма Н. А. Некрасова «Дедушка» (1870).

ваешь себя: да в здравом ли уме автор и где он жил в России, что не знает ни быта крестьян, ни их отношения к жизни?! А ведь поэма претендует на бытовую поэму, и Липкин читал мне ее как одну из лучших своих вещей! Вчера мне было жалко Липкина, когда он передал о том, как его изругали в «Северном вестнике»; по его словам, он издавал свою книжку *с розовыми надеждами*. Я ему вчера доказал, что надежды эти были неосновательны и что он сделал ошибку, выступив с книжкой, которую вполне можно охарактеризовать: *ложка меда в бочке дегтя!* Липкин просил меня познакомить его с Фофановым. Он много рассказывал о том, как Александр Константинович Михайлов (Шеллер)¹, с которым он на *ты*, наобещал ему горы разных благ за его стихи, а между тем не только перестал их печатать в своем журнале, но даже не выслал следуемый за них гонорар. Липкин послал Шеллеру один экземпляр своих стихотворений, и тот ему даже не отвечает на письмо. Липкин в ярости на Шеллера; но мне почему-то кажется, что он пойдет к нему же обитать у него пороги и искать протекции для помещения стихов. Вчера я, по настоятельной просьбе Липкина, прочел ему много своих стихотворений; он заявил, что, познакомившись ближе с моею Музой, он сознает, что сделал дурно, выпустив сборник; что мне приличнее было бы это сделать; что он меня ставит выше себя неизмеримо и т.п. Признаюсь, я слушал его равнодушно, как человека, мнение которого утратило для меня свой смысл и советами которого я никогда пользоваться не буду.

В разговоре с Липкиным я часто вспоминал Шеллера. Я виделся с ним несколько раз в прежние дни в редакции «Живописного обозрения», когда его окружала толпа литературной братии, чающей вытянуть что-либо из скупой редакции журнала. Помню, как, придя в первый раз в редакцию узнать, какая судьба постигла мои стихотворения, туда посланные, и не застав никого в передней, я заглянул в следующую комнату, откуда доносились оживленные голоса. Вижу: на диванчике в уголке, как-то съездившись и прижав ручки к животу, сидит длиннорылый, бледнолицый и косоглазый господин, а кругом его человек пять штатских длинноволосых, косматых и несимпатичных. Господин на диванчике был так известный романист Шеллер. Увидя меня, он встал, прошел навстречу два шага. Я

¹ *Шеллер Александр Константинович* (псевд. А. Михайлов; 1838–1900) — русский писатель.

спросил <...> о моих стихотворениях и назвал себя. Тогда Шеллер заявил мне, что они приняты, но что редакция не имеет времени отвечать всем корреспондентам и даже не знает, напечатает ли то, что я ей прислал. Затем, сказав несколько комплиментов по моему адресу, он попросил меня сесть, даже не познакомив с нечесаными господами, сидевшими тут же. Разговор возобновился о литературных злобах дня, и я поневоле был в него втянут, так как скоро речь зашла о поэзии. Шеллер говорил очень умно, зло, и в наблюдательности ему отказать нельзя. Но вся речь его была пересыпана циничными сравнениями, сплетнями, насмешками по адресу довольно известных лиц литературного мира. Всякую женщину, о которой заходила речь, он как-то раздевал, забираясь в ее спальню, следя за ее похождениями с усердием старикашки-развратника. Любовь у него очень проста: известный физический акт, без примеси нравственного элемента, который он считает ненужной добавкою. О грязных, сальных вещах Шеллер говорил, как-то захлебываясь слюной, задыхаясь от восторга, вращая своим косым глазом и подсакивая всей своей геморроидальной фигуркой на диванчике. По его словам, он всегда имел успех у порядочных женщин... Не понимаю, что это были за порядочные женщины, которые подпустили к себе этого грязного циничного сатира! Вообще более антипатичной личности, как Шеллер, трудно себе представить! На всё и всех озлобленный и считающий это озлобление какой-то заслугой, он в своих разговорах не щадил ни святыни чужого ему семейного очага, ни чести женщины, ни репутации собрата-писателя: все это он валил в одну общую навозную кучу, усердно поливая своей желчью и бешеной слюной, усердно затаптывая хорошее и чистое, что выбивается наружу! Я удивляюсь, как ему сходят такие разговоры: он, не стесняясь, называет фамилии, а когда однажды я ему заметил, что следовало бы говорить про одну барыню осторожней, он резко ответил мне: «Зачем это? Я и в глаза ей скажу то же, что и вам, поверьте!..» Жизнь русского общества Шеллер подметил очень верно своим наблюдательным умом, но и тут окрасил все в одну и ту же краску и все подмазал под один неприглядный серый цвет. Вот в ком, я уверен, совмещается и Мадонна, и помыслы о Содоме, как метко сказал Достоевский. Я так и уехал из Петербурга, не составив себе точного понятия, что такое Шеллер. Психопат ли он новейшей формации, или просто нравственный урод от рождения, или больной физически? Сначала я слушал его с

интересом и принимал его брань за убеждения опытного и много страдавшего человека. Но потом его злоба ко всему чистому, непорочному, возвышенному, злоба бешеная, как бы завистливая, сразу оттолкнула меня от него. Я у него перестал бывать, и хотя потом часто встречал у Ясинского, но уже не разговаривал, а один раз встал и ушел — так что Шеллер это заметил и вспыхнул. Зашел разговор о Надсоне, и Шеллер стал цинично говорить о его прелестном стихотворении «Цветы». Господину Шеллеру показалось абсурдом и ложью, что, придя к «молодой девке», как выразился Александр Константинович, поэт «не облапил ее» только потому, что контраст между уличной слякотью и спокойным довольством тропических растений за стеклом оранжереи навел его на грустные мысли о праве на наслаждение, на женскую ласку и т.п. Шеллер от общих соображений перешел скоро, как это делает всегда, на личную почву и стал говорить, что не в развратной натуре Надсона было такое идеальничанье. Тут же он стал рассказывать прошлое покойного, грубо, цинично, святотатственно, пересчитывать все его любовные связи, цитировать свои с ним разговоры на клубничные темы: от личности Надсона как поэта не осталось ничего, и Шеллер поднял из гроба какого-то развратного, пошлого, изломанного нравственно авантюриста!! Все молчали и слушали, кто потупившись, а кто улыбаясь. У Ясинского тогда было человек тридцать литераторов, из которых многие лично знали Надсона. Тогда я грубо встал и отошел подальше от Шеллера, а Ясинскому потом высказал, насколько возмутительно такое издевательство над трупом не могущего защищаться поэта! Шеллера всегда окружает толпа Бердяевых, Червинских и других мелких поэтов, желающих выпросить у него местечко для своих произведений. Шеллер с ними либеральничает, отпускает по их адресу шуточки, говорит с ними покровительственно, свысока, а они все это выносят и подлаживаются под его тон; гадко, мерзко!! Шеллер любит либеральничать, и его либерализм совсем иного пошиба, чем у О. Ф. Миллера¹. Впрочем, мне только один раз случилось слышать его мнение, в котором была и правда, но также и злоба, беспардонная, глупая, подавленная!!

Удивляюсь той дружбе между Шеллером и Липкиным, которая будто бы существует, по словам последнего. Что между ними общего? Впрочем, и Липкин начинает переставать верить

¹ Миллер Орест Федорович (1833–1889) — профессор истории русской литературы.

в эту дружбу и боится, что Шеллер от него отвернется, увидев, как все журналы забросали грязью или обошли молчанием его книжку. Мне кажется, что Шеллер способен и на такую перемену фронта.

Здесь теперь опять уже несколько дней свирепствует полковник, приехавший для каких-то ревизий. Я с ним один раз встретался в Петербурге. Более нахального, грубого, заносчивого и ограниченного господина трудно себе представить. Но говорят, что специальность свою он знает прекрасно, что, однако, не делает его для меня более симпатичным. Прошлое его очень незавидно: он выслужился из солдат, а отец его был, кажется, простой литовский мужик. Теперь же Боронок¹ — любимец Ванновского² и бич разных воинских начальников, управления которых ревизует. Многие из-за него потеряли свои места, и нельзя сказать, чтобы безвинно. Но ревизии Боронок так и наполнены легендами об его грубости, высокомерии и придирках к мелочам. Он как будто мстит за свое прошлое! Вообще, не очень-то рекомендует Ванновского тот факт, что он распустил так этого мужика в полковничьих эполетах: ведь о господине часто судят по его слугам!

Между прочим, генерал Максимов, ругающий Боронок, сам первый поехал узнавать у него о ревизии госпиталя, и когда получил выписку из этой ревизии, то носился с нею и всем ее показывал. И можно же так унижаться перед неизвестным выскочкой?!

11 августа

9 августа вечером приехала моя дорогая невеста с Варварой Ивановной: я их встретил на вокзале и пил у них вечером чай. Я опять волнуюсь, дрожу и задыхаюсь, как двадцатилетний влюбленный юноша. Это первая моя, чистая и всеобъемлющая любовь, открывающая мне рой новых ощущений, надежд и опасений. Каждый вечер теперь мы проводим вдвоем в задумшевой оживленной беседе... Если бы всю жизнь жить в этом волшебном царстве страсти и мечты, не оскверняя его

¹ *Боронок Алексей Никитич* (1852–1892) — русский генерал; с 1 янв. 1884 г. состоял чиновником для особых поручений V класса при Военном министре.

² *Ванновский Петр Семенович* (1822–1904) — русский генерал, в 1881–1898 гг. военный министр.

непорочности эгоистическими прикосновениями земной любви! Милая, дорогая Катюша! Воображаю, как нов и прекрасен для нее этот мир любви, в который я ввожу ее и в который мы окончательно войдем лишь в конце сентября! Все для нее загадка, сладкая и недосказанная, и она должна чувствовать сильнее меня, которому уже отчасти известно будущее нашей любви и ее тайны! Варвара Ивановна не мешает нашим tête-à-tête'ам и счастлива нашим счастьем. Дорогая, святая старушка!! Но, как и прежде, нашу радость отравляет Лего. Этот господин настолько наивен и считает себя выше всех стоящим, что вообразил себе, что ежели он согласится быть на нашей свадьбе посаженным отцом, то этим самым уже обязывает меня забыть его грубое оскорбительное письмо и сделать первый шаг к сближению. Вчера Софья Тимофеевна передала это Катюше, и та стала упрашивать меня пойти с нею с визитом к Петру Ивановичу, который будто бы примет нас любезно и т.п.! Это предложение расстроило меня, а поведение г. Лего возмутило меня. За кого принимают меня эти люди, воображая, что я соглашусь на такое примирение! Я никогда не был заносчив, но всегда дорожил своей гордостью и добрым именем. Я должен был заявить бедной Катюше, что удивляюсь, как она не видит в предложении Лего прямого оскорбления, вновь наносимого мне; что я первый не пойду к Петру Ивановичу, пока он не пришлет мне извинительного письма, уничтожающего его первое послание; что, наконец, во имя любви я готов на все жертвы, кроме этой, которую считаю безумием и унижением. Бедная Катюша была очень огорчена моим резким и горячим ответом; она как ребенок смотрит на эти вещи, и мне было грустно отказывать ей. Но что же делать?! Если не теперь, то потом она оценит и поймет меня и мои отношения к ее опекуну. Оказывается, что Петр Иванович наводил обо мне справки, которые оказались в мою пользу, и вот он позволяет мне прийти к нему и забыть незаслуженное оскорбление!! Вся кровь приливает мне к голове, когда подумаю, сколько приходится молчать и терпеть во имя любви!.. И как, должно быть, нехорош и черств человек, если, будучи кругом виноват и оскорбив незаслуженно жениха близкой ему особы, не хочет исправить своего безумного поступка, а ждет нового унижения со стороны обиженного, воображая, что во имя любви возможно требовать всех жертв! Нет, Петр Иванович! Тешить ваше самодурство я не буду — я слишком горд и честен для

этого, и ничто не заставит меня сойти с того прямого и безукоризненного пути, по которому сознательно я иду так долго и который заслуживает мне уважение со стороны всех порядочных людей!!

Вчера получил прекрасное, теплое и содержательное письмо от Ильи Ефимовича Репина, в котором так и сквозит любовь ко мне, дружба, уважение. Такие письма возвышают душу, придают веры в свои силы, заставляют светло глядеть в будущее! Я знаю, что Илья Ефимович любит очень немногих и много надо данных, чтобы заслужить его горячую симпатию! Я счастлив, что этот гениальный по уму и таланту человек признает во мне хорошего, честного борца за правду и что даже шесть месяцев разлуки не изгладили мой скромный образ из его памяти! Письмо вызывает меня на переписку, и я с восторгом хватаюсь за это средство продолжить наши долгие петербургские беседы хоть на бумаге.

Образ Репина, его убеждения, его поступки еще живы в моей памяти, и я попытаюсь набросать портрет Ильи Ефимовича настолько полно и ярко, насколько позволяют мне наши дружеские отношения, общность и сходство наших симпатий и антипатий и те бесконечные горячие споры об искусстве, жизни и людях, которые каждый раз врываются в мою усталую душу, как врывается сноп горячих победоносных солнечных лучей в сонное царство спокойного, затягиваемого тиной пруда! Да, была эпоха из моей петербургской жизни, когда я стал было отдаваться течению... Жизнь показалась так проста и несложна: окончить академию, а там — служба, чины, ордена, вожделенные генеральские лампасы, обеспеченный пенсион, связи... Чего же желать больше усталому тридцатилетнему путнику. В душе был хаос, бессмысленный, позорный, с материалистическими целями, с желанием сна, покоя, довольства. Самая простота, в которую облекалось для меня грядущее, была признаком падения, гибели, нравственной обломовщины, нравственной смерти. Одна любовь, как дух, носилась над этой бездной, над этим хаосом; но любовь эта была личная, и при всей ее возвышенности и чистоте она только подталкивала к заманчивым перспективам личного, чиновничьего счастья, она дразнила дурные инстинкты, говорила о том, что можно быть счастливым, отрезав себя от всего мира, уйдя в семью и не задаваясь жгучими вопросами жизни. Любовь эта делала мое будущее ясным, понятным, желанным; но ее было мало

для того, чтобы создать счастье такого человека, как я! Живя всю жизнь для других, не разбирая, кто эти другие, я перешел на любовь и жизнь для одного только существа, т.е. упрощал задачу и цель человеческой жизни, а жизнь мыслящего человека для ее правильного развития требует расширения горизонтов, а не сужения их в одну точку! Итак, едва ли одна любовь удовлетворила бы меня в будущем, а потому потом явилось бы разочарование, тоска и отчаяние, если бы сознание неправоты своего самодовольного прозябания озарило бы ужасом и тоскою мою душу. Я не создан для одних личных целей, и жизнь для ближних, понимая под ближними всех страждущих людей, с которыми сталкивает меня судьба, всегда будет моей конечной целью. Но, отдавшись течению, отдавшись карьере, я плыл бы спокойно вперед к генеральскому чину, тупо глядя на жизнь и сознавая порой, что живу не *по-божески*, что не смею так жить, что жить так — позор, разложение и мучительная смерть! А сил бы уже не было для борьбы, а душа уже утратила бы свою живую эластичность и покорно поддавалась бы нажимам судьбы, а кругом кипело бы безграничное море самодовольных существований, насыщенных appetитов, плотоядных целей... Тина засасывала меня своими хлябями, и, отдайся я ей, — погиб бы бесследно. Велика сила любви, но и любовь получила бы узко-эгоистичный колорит, и едва ли умная, развитая девушка увлеклась бы мною, если бы не озярял мою душу иной, более могучий и победный, озяряющий далекие горизонты светоч любви, любви к правде, к ближнему, ко Христу и к Его заветам! Едва ли бы решилась умная и энергичная девушка, какую теперь дал мне Бог, связать свою судьбу с заурядным и шаблонным чиновником, торгующим душою для получения земных благ и в земном находящим все свое счастье! Да, смерть, забвение, горе стерегло меня, если бы я отдался течению, если бы отрекся от всего своего прошлого. Но тут явился Репин.

С первых же наших встреч я уверовал в него, и его высоко даровитая личность, благородство и возвышенность его поступков, вся труженическая и примерная жизнь его, широкий, смелый и глубокий ум, житейский опыт и понимание людей, глубокая бескорыстная любовь ко всему, что страдает и рвется к свету, к правде, неумолимая вражда к кумирам толпы — весь этот чистый и светлый мир великой души его ворвался в мое прозябание живым упреком, ударил в умолкнувшие было стру-

ны моего сердца, смахнул пыль светской жизни и академической рутины, и от хаоса самодовольства и прозябания не осталось ничего, кроме жгучего, неумолимого стыда за это нравственное падение, кроме священного ужаса перед вновь открывающейся жизнью, полную подвигов и света, света... Словно небо открылось мне. Все, что таилось во мне хорошего, вся юность моя, полная надежд и благородных стремлений, как Лазарь от великого и простого слова Христа, стала [нрзб], шатающаяся, ослепленная победным светом живого слова, но живая, воскресающая, несущая в себе и радостное сознание жизни и священный трепет перед широко раскинувшимися в лучах любви горизонтами. Стыд, страх, надежды, мгновенная борьба добра и зла, света и тьмы — в душе — и я вдруг понял, что для меня нет одного личного счастья, что не в карьере цель жизни, что Академия — ступень не для служебного поприща, а для службы ближнему, что моя любовь к Екатерине Константиновне тоже лишь ступень, ведущая к этому храму — жизни для ближних! Я понял, что правда, любовь, борьба — не фразы, а факты, пока перед глазами есть живые люди, идущие твердо по пути этих трех добродетелей... Одним словом, узнав Репина, я воскрес, и жизнь для меня теперь снова подвиг, снова самоотречение, снова гигантская мастерская, в которой я буду работать теперь не один, а с дорогой энергичной подругой, работать не как заживший самодовольный распорядитель, покрикивающий на кишачий муравейник рабочих, а как простой скромный чернорабочий, сознающий, что ворочают жизнь не эти самодовольные распорядители, а скромные труженики, в которых не угасла вера в свои силы, в Христа и в сознание правоты своих целей. Да! Никогда я не забуду того значения, какое имеет в моей жизни Репин! Да благословит его Бог за все, что пролил он в мою душу, смущенную, колеблющуюся, но полную желаний и надежд!

17 августа

13-го числа наша дивизия праздновала 25-летний юбилей своего существования. Ужасно радостное событие! 25 лет мирного прозябания на одном месте и усердного натирания полов на вечерах в собрании. Не знаю, какие речи говорились и какие произносились тосты, но едва ли хоть одна доблесть была от-

крыта в дивизии ко дню ее юбилея! А 25 лет прозябания на одном месте не могли не отразиться на быте офицерства. Многие переженились, и теперь половина офицеров живут скорее интересами семьи, чем службы, и плодят таких же нищих, как они сами.

Познакомился вчера у Варвары Ивановы с бывшим здешним вице-губернатором Погодиным¹ и его супругой. Сам Погодин — тип московского купчины, мне очень нравится и кажется порядочным и неглупым человеком. Но зато М-те Погодина — дама с претензиями на шик и аристократизм и обладающая способностью трещать без умолку и перескакивать с головоломной быстротой с одного предмета на другой, — мне не нравится. Был там вчера Илья Ильич Пузыревский, неглупый, остроумный, но фатоватый субъект, который в сущности, должно быть, недурной человек. Я его еще не раскусил вполне, хотя многое в нем убеждает меня, что едва ли мы с ним сойдемся близко!

Все вечера провожу, конечно, у своей милой невесты; целый рай открывается мне в будущем, но уже и то, что я испытываю теперь, — тоже особый рай, и я думаю даже, что истинное счастье и наслаждение живут не в брачных отношениях, а в этом мире недосказанного, сладких неудовлетворенных порывов и мечтаний, который окружает жениха и невесту. Брак низводит любовь на степень физического акта, только освящая ее взаимным уважением, дружбой и т.п. *Жениханье* же заставляет влюбленную парочку забывать земное и жить постоянно в каком-то сладком забытии, как бы под влиянием опиума... Варвара Ивановна не мешает нашему счастью и нашим бесконечным разговорам. Мы выбрали себе особый диванчик, который с этой поры делается для нас исторической вещью. В дорогой Катюше я открываю все новые душевные прелести и чувствую, как благ Господь, осветивший мой жизненный путь такую девственной и прекрасной душою!

Дурные отношения с Петром Ивановичем Лего продолжаются. Но я твердо стою на законной почве справедливости и уступок делать не буду, в надежде, что когда-нибудь в будущем Катюша сознает, что я был прав и иначе поступить не мог.

¹ *Погодин Петр Григорьевич* (1849–1904) — на посту вице-губернатора Виленской губернии был с 1886 по 1888 гг., после чего назначен губернатором Минской губернии.

У меня был интересный разговор с Максимовым. Третьего дня получил от него записку, в которой он просит меня приехать к нему поговорить о новых неприятностях, с ним случившихся. Вчера я был у него утром и застал его в большом волнении по делу о побеге каторжника Иванова. Я его успокоил. Но другое дело очень для него неблагоприятное. Недавно он представил подполковника Иоссу к должности воинского начальника 1-го разряда и дал ему хорошую аттестацию. На другой день у него вышла ссора с Иоссой, и тот ему сказал, что давно замечал, что Максимов к нему придирается. «А! Когда так, — сказал Максимов, — я верну аттестацию, которую вам дал!» При этом на объяснения Иоссы в присутствии постороннего лица он кричал несколько раз: «Молчать!» Затем Максимов поехал к генералу Бунакову и, несмотря на протест последнего, взяв свой рапорт обратно, заменил его другим, где нет ни слова об аттестации Иоссы, а просто сообщается, что на его назначение нет препятствий. Между тем Иосса, зная, что Максимов способен устроить ему такую гадость, ездил к нему извиняться, но, не застав дома, оставил извинительную записку, в которой указывает, что сознает, что поступил сгоряча не дисциплинарно. Когда же он узнал, что, несмотря на эту записку, Максимов все-таки взял аттестацию его назад, Иосса, ненавидящий и презирующий Ивана Ивановича, подал рапорт о том, что отказывается от всех разрядов <...> А так как по распоряжению Гонецкого на его место назначен капитан Головин, то Иосса остается без места, а потому, вероятно, и возбудил дело против Максимова. Рассказав мне все эти подробности, Иван Иванович заявил, что считает себя совершенно правым. На это я ему ответил, что, наоборот, я нахожу, что он кругом виноват.

— Как так?! — вскричал он.

— А очень просто. Почему вы выдали Иоссе аттестацию, если он ее не был достоин, а потом отняли ее?

— Потому что я на него рассердился, когда он мне сказал, что я к нему придираюсь!

— Так неужели эта фраза могла так изменить ваш взгляд на Иоссу, что вы лишили его аттестации? Ведь и раньше вы мне рассказывали не один раз, что Иосса говорит вам буквально ту же фразу; отчего же вы тогда на нее не обратили внимания и не потребовали объяснения?!

— Да! Но я считаю, что, давая аттестацию Иоссе для получения лучшего места, я делал ему благодеяние. А когда он вздумал со мной говорить резко, то я отнял у него это благодеяние!..

Тут я даже вспыхнул, когда услышал такой взгляд на аттестацию подчиненного, и в очень горячих выражениях заметил Максимову, что, к счастью нашей армии, у нас мало таких лиц, которые хорошую служебную аттестацию подчиненного считают каким-то благодеянием.

— Что это была бы за служба, если бы офицер, служа честно и усердно, был бы в вечном страхе, что начальник при первом же столкновении может напортить ему, лишив его заслуженной аттестации?! Дать хорошую аттестацию подчиненному — обязанность начальника, а не его милость, не его личный каприз!..

Я долго говорил в том же духе, невольно вспомнив мои прежние споры с Максимовым об аттестациях, которые я вел с ним, будучи полковым адъютантом. Бывало, другой раз с бою отстоишь хорошую аттестацию офицера, а Максимов часто при этом готов был замарать службу офицера только потому, что тот или другой лично ему был несимпатичен. Делал это Максимов, конечно, без всяких гадких целей; а просто потому, что в его человеческих отношениях вообще всегда было много беспристрастия к правильной оценке, а жил и живет он впечатлениями минуты, меняющимися чуть не каждый день. Это человек, сегодня обнимающий вас, а завтра совершенно бессознательно, в минуту вспышки, делающий вам пакость, а потом послезавтра он опять будет обнимать вас и превозносить до небес. Если бы не честность Максимова, то личность его была бы антипатичной, карикатурной, ходульной. Он очень честен, а все его некрасивые поступки — результат незнания службы, вспыльчивости, сомнения, привычки жить трудами чужих рук, полного отсутствия инициативы и панического страха ответственности.

Вчера я его все-таки убедил в том, что он дал аттестацию неправильно, если считал Иоссу непорядочным человеком. Но он остался при том, что находит свой поступок (возвращение обратно своей же бумаги) правильным. Я не скрыл от него, что при желании Иоссы дело может дойти до суда и кончиться не в пользу Ивана Ивановича. Он был очень печален и взволнован, а Елена Константиновна, любящая его до безумия, плакала. Мне было самому и грустно, и гадко! Есть же на свете еще такие

нравственные тряпки, <...> которые сразу падают духом при первой неудаче!

Сегодня третий день, как я на деле штабс-капитана Окушко, наделавшем много шума. Он обвиняется в бездействии власти, последствием которого была смерть нижнего чина, впавшего в бешенство во время припадка падучей болезни. Дело это возмутительно, так как всякий офицер, если только он порядочный человек и хороший служака, едва ли обвинит Окушко, поставив себя на его место! Хорошо рассуждать, сидя на судейском кресле, но не так-то легко точно исполнять обязанности при той трагической обстановке, при которой был убит сбесившийся солдат. Защищает талантливый Гаврилов, и он мне говорил вчера, что у него опускаются руки, когда он подумает о том, что «у суда не хватит гражданского мужества оправдать подсудимого». Председательствует генерал Гарин (личность, почти всегда с затаенным предубеждением подходящая к подсудимому). Интересны результаты!

25 августа

Все эти дни прошли для меня незаметно, благодаря хлопотам и приезду сюда матери и отца. С отцом, как всегда, я был очень далек, а мама постоянно беспокоила меня своими вечными опасениями, подозрениями и резкостями, для меня непонятными. Ее, например, тревожили дикие вопросы, вроде того, что позову ли я ее на свадьбу? и т.п. Все это очень возмущало меня, хотя умнее создавать себе пытки из какого-либо пустяка — старая привычка мамы.

Дорогая моя невеста все более очаровывает меня своим тактом и воспитанностью. А Тетя все время, пока мама была здесь, старалась всеми силами занять маму, хотя, признаюсь, меня мучила мысль, что мамины рассказы о хозяйстве едва ли были интересны дорогой старушке! Как бы то ни было, никаких инцидентов не было и, кажется, мама сошлась с Катюшей и Тетей.

Встретился на днях с Ливчаком¹ и долго с ним беседовал. Он все тот же идеалист и философ, каким я его знал раньше. У него

¹ *Ливчак Иосиф Николаевич* (1839–1914) — русский изобретатель в области полиграфии, военного дела и транспорта. В 1870-х гг. преподавал математику в Виленском реальном училище.

есть общая черта с Александром Михайловичем Белозерским: оба они, будучи крайними идеалистами, тратят свои силы на разные проекты грубо-реального содержания, из-за приобретения денег, хотя, как мне известно, оба они — честные, бескорыстные люди! Мне кажется, что это новый тип, следующий непосредственно за рудинским: люди много говорящие, и хотя делающие, но совсем не то, к чему они всегда стремятся в мечтах. Их идеалы остаются при них как изящное украшение, ничего общего не имеющие с их общественной деятельностью. Ливчак, например, весь отдан служению человечеству с гуманной точки зрения, т.е. прогрессу человечества, а между тем он создает прицельные станки, снаряды, мосты для переправ и т.п. — одним словом, содействует разрушению основ мира и порядка.

Белозерский — идеально хороший, честный и образованный человек, а весь ушел теперь во всевозможные спекуляции <...> и подписывает свое безупречное имя, быть может, наряду с разными сомнительными спекулянтами. Судьба этих обоих лиц — умереть, не доведя ничего до конца и не нажив ничего из всех своих хлопот и трудов. К тому же разряду принадлежал и Польш, с тою только разницей, что он стоял ниже в нравственном и умственном отношении и имел кой-какие средства, дававшие ему возможность жить безбедно и отдаваться разным изобретениям. Я давно задумал вывести в литературу этот новый тип, имеющий общемировое значение, так как мне кажется, что XIX век имеет за собой все данные, чтобы создавать подобные типы.

От Фофанова получил несколько писем. Я рад за то, что его «Кошей» принес ему кой-какие доходы. В последнем письме он пишет о том, что Репин написал ему любезное и лестное письмо по случаю стихотворения «Сон». Дорогой Илья Ефимович! Так и слышится мне его добрый, ободряющий молодое дарование голос, так и чудится дружеская твердая рука его, всегда готовая на посильную помощь! Не забуду никогда, с каким благородным мужеством Репин выставил для публики портрет Фофанова, мало или почти не известного нашему высшему обществу. В ту эпоху, когда писался портрет, я бывал часто и у Фофанова, и у Репина; а потому знаю, сколько надо было гражданского мужества со стороны художника, чтобы своей гениальной кистью заставить общество говорить о скромном нищем поэте, про которого в обществе ходили гряз-

ные легенды и сплетни! Фофанов и я, мы много ожидали от этого портрета для славы первого, и искренний Константин Михайлович с детской радостью рассказывал мне о каждом новом штрихе, обессмертившем его на полотне. Он все хотел, чтобы я сходил к Репину и взглянул сам на портрет. Наконец мне удалось увидеть это произведение! Помню, как поразила меня и поза, и бледность лица Фофанова, которые делают портрет так поражающе похожим. Да! Я видел не раз Константина Михайловича с таким лицом и в такой позе! Фофанов-мистик, Фофанов-дикарь, Фофанов-самородок и Фофанов — нищий труженик так и взглянул мне в душу, шевеля в ней и жалость, и восторг. Все прошлое Фофанова было в этом великом произведении: его темная юность, развратная молодость, голодные дни, чередовавшиеся с ночами разгула, его недалекий ум и грандиозно развитое нравственное и поэтическое чутье, наконец, его стремление к возвышенному и честному, проходящее через всю его жизнь как победный, яркий и теплый луч, при котором забываешь все безобразное и грязь той обстановки, которую этот Божественный луч освещает! И что же? Публика не поняла, не уловила того, что скрывалось за красками портрета, и излила поток грязи и насмешек на Репина и Фофанова! Помню, как возмущался и скорбел душою Фофанов при каждой новой насмешке, которая появлялась и в газетах, и в сатирических листках, и как гордо спокоен был Репин. Как бы то ни было, о Фофанове заговорили, заговорили грубо и нахально, как о каком-то жалком, ничтожном поэте из среды мещанства, вздумавшем поэтическими звуками пробудить озверевшее, чуждое высоких идеалов общество. Но самый факт того, что Репин решился написать портрет Фофанова, говорит ясно о том, как смотрит на этого бедного поэта наш гениальный художник. Являлось сомнение: да уж не замечательный ли человек этот Фофанов, на которого обратил такое явное внимание талантливый Репин? Одним словом, в обществе судили, смеялись, издевались, но были люди, которые взглянули на этот портрет глазами человека, перед которым предстал ближний, нуждающийся, изможденный, но великий жаждой истины и неиссякаемым родником творчества! Я утешал Фофанова, когда уколы, направляемые на его портрет, попадали слишком грубо в него; я говорил ему об историческом значении и для него, и для общества этого портрета, я раскрывал ему все то, что для него самого еще не было ему понятно из его внутреннего мира,

с которого Репин так смело приподнял завесу. Я объяснял ему, что в этой злобе и насмешках аристократической и литературной черни заключается весь смысл и все значение таких художественных работ; что чернь эта не любит ничего до дерзости оригинального, но что за этой чернью идет умственная и нравственная аристократия, люди, незаметные в обществе по положению или молодости, но несущие в себе гордость и будущее России; эти люди поймут и оценят и подвиг Репина, и воспитательное значение этого портрета. Одним словом, у нас с Фофановым шли нескончаемые разговоры на эту тему, и мне порой казалось, что он не вполне понимает меня. Он как ребенок задавал себе вопросы, подарит ли Репин свою работу или нет, и когда тот оставил портрет у себя, то Фофанов как бы этим опечалился... Бывая по пятницам у Ильи Ефимовича, мы с Константином Михайловичем вместе разглядывали портрет и следили за тем, как с каждым сеансом сходство и идея выливались все полнее и полнее. Не знаю, отчего Третьяков, которого я один раз в ту эпоху встретил у Репина, отказался купить портрет для своей галереи? Вопрос этот долго интересовал меня, как вообще интересовало меня отношение этого мецената к русскому искусству. Мне приятно было узнать из письма Фофанова, что Репин по-прежнему дружит с ним, а зная это, я могу быть спокоен, что в случае нужды у моего друга будет и советчик, и покровитель, и благотворитель!

27 августа

Что делается с бедной головкой моей дорогой невесты?! Головка эта задалась непосильными целями: разрешить путем умозаключений тот вопрос любви, который остается для невесты до брака сплошною загадкой, и где рои ощущений, новых и непонятных, непереводимых на обыкновенный язык словами. Как заставить ее не думать бесполезно, как разрушить эту новую тоску от неизвестности? Ко всему этому примешались сплетни, которым верят Петр Иванович Лего и его супруга и которые задевают его как опекуна. Бедная Кипцинька моя даже похудела за эти дни, часто плачет, по своему обыкновению скрывая от всех свое горе. А у меня на душе растет негодование и презрение к этим низким людям, отравляющим, будто бы во имя любви, счастье любимого мною существа.

Приехал Андрюша, но и он против меня и на стороне Лего. Одна Варвара Ивановна оказывает мне нравственную поддержку, и если бы не было ее, то как было бы мне трудно бороться с четою Лего, этих гадких и неблагородных людей, этих ходульных гордецов, которые смотрят на меня, как на школьника, которого можно то оскорблять, то прощать, не трудясь перед ним извиниться. Обидеть меня эти люди не могут, но я им не могу простить того горя, которое они по капле вливают в чашу счастья, из которой пьет моя дорогая невеста!!

Репин в своем письме много говорит мне о браке и его значении. Между строками его письма я прочел кое-что из его собственной неудавшейся жизни. О семье своей при мне он почти никогда не вспоминал. Только один раз в интимной беседе он сказал мне, что был несчастлив в супружестве, выбрав женщину, которая совсем не разделяла его вкусов и взглядов. «Я не мог ужиться с ней, — сказал мне Репин, — кгда все, что было дорого мне, возбуждало в ней презрение, начиная с любви моей к хорошей обстановке и кончая тем бедным обществом молодых художников, которое ко мне иногда собиралось!» Вот единственная фраза, которая вырвалась у Репина о жене за все наше знакомство с ним! Я вообще заметил, что все бывавшие у Репина старые его знакомые никогда не заикались об его семье. А между тем я знал, что с ним живут двое его детей, мальчик и девочка лет 11–13, которые никогда не показывались к гостям, а по пятницам, в которые собирался к Репину кружок художников и литераторов, дети незаметно куда-то уходили, и весь вечер их не было слышно. Однажды я пришел к нему в одну из пятниц очень рано, часов в 8, и в прихожей меня встретили дети Репина, очень миленькие и благовоспитанные, побежавшие сейчас к отцу сказать о моем приходе, но с которыми он меня не познакомил даже и при этом случае.

30 августа (день моих именин)

Не знаю, отчего вдруг вчера вечером, когда я сидел у дорогой Кийценьки моей, припомнилось мне детство, и именно те дни его, которые предшествовали именинам и дням рождения: моим и Ваниным. У нас в семье был заведен обычаем дарить в таких случаях что-нибудь виновнику торжества. И вот задолго еще до дня именин начинались мечты (где-нибудь в уголку ди-

вана, с поджатыми под себя ногами) на интересную тему: что подарят отец, мать, бабушка, брат? Строились целые волшебные замки, и эти воздушные здания заставляли замирать детское сердце. Обыкновенно мы не могли скрыть своих мечтаний и проговаривались о том, что желательно было бы получить в подарок. Иногда такие мечты вслух производились и без умысла, чтобы «имеющие уши» слышали о них. В самый же день торжества, бывало, только откроешь глазенки, а уже ищешь вокруг себя, на кровати, нет ли каких-либо интересных сверточков, пакетиков, коробок!.. А вот что-то белеет из-под подушки — длинная коробочка, завернутая в чистую блестящую бумагу, очевидно, еще вчера только взятую в магазине для обертки и перевитую розовой ленточкой... А вот еще что-то блестит?! Вскочишь босиком в одной рубашонке, усядешься на кровать и начинаешь рассматривать свои новые сокровища с пылающим лицом и глазами. А тут начинают все приходиться с поздравлениями: сначала семья, а потом и прислуга. Пытливо заглядываешь в руки, нет ли еще чего-либо интересного в дополнение к найденному уже на кровати. Бывали случаи, что подарки возбуждали во мне какое-то чувство жгучей, ноющей обиды: это случалось, когда мечты мои не осуществлялись и слишком резко расходились с действительностью. Теперь смешно это вспоминать, а прежде это чувство обиды порядком-таки сосало мое сердце и отравляло мне всю прелесть таких торжественных дней. В дни эти меня и брата особенно тщательно умывали, причесывала и одевала мать, и мы шли в церковь, чисто, нарядно одетые, с чувством какого-то торжества, какой-то радости, которые продолжались еще долго по окончании службы. Но проходил день именин, игрушки надоедали, и мы с братом начинали жить, иногда за полгода, новыми мечтами, новыми планами. Надо заметить, что подарки от нас тщательно скрывались до минуты подношения их, и, как мы ни старались проникнуть за таинственную завесу, которая скрывала их покупку, мы не могли. Зато всякий симптом, указывавший на то, что мама или бабушка ходили в город в лавку и вернулись с саквояжем, соблазнительно как бы увеличившимся в своем объеме, наполнял нас сладким трепетом предвкушения блаженства. Подарки мне и брату делались лет до 14, а потом заменились рублями, на которые мы обыкновенно покупали себе сласти и всякой бумажной дряни, вроде тетрадей в раззолоченных обертках и т.п. Но прежних сладких ощущений уже не было:

они ушли туда же, куда ушло и самое детство, святое, чистое, невинное, невозвратное! Будучи детьми, мы обязательно делали подарки в дни именин и рождений друг другу, отцу, матери, бабушке. Для этого нам давались деньги, по несколько копеек, и мы покупали что-нибудь пригодное в домашнем обиходе: гребенку, мыло, щеточки и т.п. Своим подаркам мы придавали большое значение; нам казалось, что мы дарим такие драгоценности, о которых никогда не забудет тот, которому мы их подносили. Взгляд этот станет понятен, если вспомнить, что у нас на руках почти никогда не было денег и 20 копеек были для нас целый капитал. Иногда с нами выходили смешные истории по поводу той цены, которую мы придавали своим подаркам. Месяца через три-четыре после подарка у меня или у брата происходила какая-нибудь ссора, чаще всего с бабушкой. И вот, положим, брат, заливаясь слезами, всхлипывая, кричит: «Не люблю тебя!! Отдай мой гребень, что я тебе подарил на именины!..» Случались такие же курьезные заявления и с моей стороны. И все это сейчас же сменялось потом извинениями, поцелуями и просьбами не возвращать подарка. Как быстро в детском сердце сменяется радость и горе, и как победно все согревает там, живет и хранит непорочная бессознательно святая любовь!!

31 августа

Вчера вечером в местном театре я долго разговаривал с моим старым знакомым, полковником Пневским¹. Когда я воспитывался в Виленском пехотном юнкерском училище, то он преподавал топографию и, кажется, тактику. Юнкера его боялись, так как, не отличаясь постоянством характера, Пневский был вспыльчив, мстителен и у него были свои любимцы и не любимцы. Бойкий и даже заученный или не осмысленный ответ у него всегда пользовался поощрением; вялое, хотя и дельное изложение никогда не оплачивалось полным баллом. Вчера он долго говорил со мной об Академии, о моем будущем. Коснулись мы и юнкерского училища, той его эпохи, во время которой я там воспитывался. Пневский меня спросил:

¹ *Пневский Вячеслав Иванович* (1848 — после 1920) — генерал от инфантерии. В Виленском пехотном юнкерском училище в 1875–1886 гг. преподавал администрацию, топографию, математику и тактику.

- Ну что, жал я вас?
- Да, таки пожимали!
- Задавал я страху?
- Да, задавал! Но зато теперь мне приятно думать, что таких задаваний и пожиманий уже более не будет: роли наши немало сравнялись!

С Пневским я был хорошо знаком, когда он был начальником штаба 27-й дивизии и когда я как полковой адъютант имел с ним сношения. Ко мне он всегда благоволил и от него я зла не видел, но в дивизии он считался тяжелым человеком, его боялись, не любили, избегали. Как начальник юнкерского училища он едва ли на своем месте. Из него никогда не выйдет хороший воспитатель, а только энергичный и самодеятельный дрессировщик.

Я на днях разобрал целый архив моих писем, заметок, статей, стихов, принадлежащий к эпохе 74–84 годов. Полузабытое прошлое так и мелькнуло мне в глаза из этих порой полуграмотных записок! Как изменился я за эти 15 лет! Интересно самому убедиться в том, как сурово ломает жизнь наши взгляды, вкусы, привычки. Под некоторыми страницами я и теперь подписался бы охотно; но зато сколько есть фраз, взятых на веру или с чужих слов убеждений, какие ужасные стихи и какое глупое закапывание в политику! Но и в прошлом я узнаю себя, с моим вечным порыванием за истиной, с моей страстной способностью любить ближнего, жить для него и видеть с тем моим презрением к этому ближнему, раз я вижу в нем сознательную неправду, сознательную привычку к пороку!.. Эта нетерпимость, эта открытая борьба с тем, что я считал нечестным, — конечно, порок, так как одна сторона характера в человеке еще не может заставить забыть все остальное, что в нем есть хорошего. Нет подлеца и негодяя, у которого не найдешь *искры Божией*. А я не всегда относился к людям совсем справедливо, особенно если сталкивался с ними мимоходом и не приходилось путем долгих отношений более полно делать о них выводы. К толпе и случайно встречавшимся мне людям я, быть может, относился в жизни слишком сурово и осуждал в них то, что простил бы при более близком знакомстве. Одним словом, я еще недостаточно христианин, и, перечтя теперь мои заметки, я вижу, что порок нетерпимости в эти 10–15 лет даже развился во мне, к моему горькому сознанию и стыду!!

1 сентября 1888 г.

До свадьбы остаются лишь три недели. Наконец-то самые смелые мои желания и мечты осуществляются!! Стараюсь возможно полнее раскрыть мой характер перед Екатериной Константиновной, чтобы потом ей ничто во мне не было сюрпризом. Жаль мне очень, что мои религиозные воззрения ее пугают и огорчают! Мне даже досадно, что я поддался на ее просьбы и открыл ей в этом отношении много лишнего. Дай Бог, чтобы она навсегда осталась такою же верующей и такою же христианкой, как теперь!.. Постараюсь, чтобы мой недуг сомнения-неверия не коснулся чистых родников ее души. У любящих душ так много точек соприкосновения, что и помимо религии им возможно найти у себя много общего. Конечно, религия — великая вещь! Но я знал в жизни случаи, где были счастливы и глубоко любили друг друга верующая и атеист. А я до атеизма еще не дошел! На днях я сказал дорогой Катюше: «Нельзя назвать настоящею, пылкою и беззаветною любовью ту любовь, у которой уже есть прошлое!» Мне это мнение и в настоящую минуту кажется верным.

Недавно Екатерина Константиновна просила меня похлопотать об определении одного бедного мальчика в мастерскую школу «Доброхотной копейки» бесплатно. Я мало знал генерала Смыслова, от которого это зависит, и обратился к Максиму, объяснив ему, кто просил меня за мальчика. Максимов написал Смыслову, и дело уладилось. Вчера я шел с Екатериной Константиновной по улице и встретился с Иваном Ивановичем. Он вдруг говорит моей невесте о том, что помог пристроить мальчика, так чтобы та поблагодарила его. Меня это страшно возмутило!! Не говоря о том, что сказанное было бестактно, Максимов как бы обязывал своей услугой мою невесту, тогда как в сущности он сделал все для меня, и я уже успел с лихвой вознаградить его за его хлопоты, как это всегда бывало в таких случаях и ранее. У Максимова есть эта черта — делать добро, кричать о нем и всех им обязывать. Я попросил мою невесту в будущее время в таких случаях, как этот, никогда не благодарить Ивана Ивановича и тем отучить его раз навсегда от системы всех обязывать. Недавно он точно так же поступил и с другим письмом, которое он писал по моей просьбе и о котором разболтал совсем посторонним людям. У меня с ним постоянный обмен услуг, и через него я многим помог; но зато мало

кому известно, как эксплуатирует моим трудом и временем Максимов, когда еще приходится составить какую-нибудь ответственную бумагу или письмо!

Отношения мои к Петру Ивановичу Лего все те же: он ждет от меня покорности и униженности, а я, конечно, не чувствуя за собой ничего дурного, унижаться не желаю! Андрюша молчит и не объясняется со мною: странный юноша! Катюша как-то примирилась с мыслью о полном разрыве с Лего, хотя, видимо, еще надеется на хороший исход! Тетя возмущена отношением ко мне этого господина. Между прочим, от нее я узнал, что Андрюша, узнав, что Катя просила меня идти к Лего во имя любви ее ко мне, а я ей в том отказал, заметил, что я, очевидно, мало люблю его сестру, если не сделал того, что она просила! Странные люди! Им мало доказательств моей любви, им нужна с моей стороны жертва безумному их идолу Петру Ивановичу! Как будто, окончив Академию и рискуя жизнью во время занятий моих в тифе, я мало доказал того, насколько люблю мою дорогую Екатерину Константиновну. Но безумие и ошибки лучше всего обличаются временем, этим неумолимым и холодным судьбою! Надо терпеть и ждать, не изменяя долгу совести и истине!

14 сент. 88

Давно не писал заметок: все мешали хлопоты о свадьбе, служба да мелкие житейские дразги, от которых даже в область поэтического творчества не спасешься.

Послал Фофанову несколько своих новых произведений для отдачи их в «Русское богатство». От него — частые письма, доставляющие мне много отрады: что за хорошая, незаурядная и талантливая личность, что за восприимчивая, чуткая, нервная натура.

От М-те Сверчковой получил письмо, где она пишет о письме ее мужа ко мне, очевидно затерявшемся, где Николай Егорович¹ в порыве откровенности мне как другу написал что-то вроде исповеди. Я очень огорчен этой пропажей, тем более что прошлое Сверчкова, о котором он писал в этом письме, для

¹ *Сверчков Николай Егорович* (1817–1898) — русский живописец.

меня и для многих — тайна. Я задумал литературный этюд, где хочу вывести тип художника, списав его со Сверчкова. Но для этого надо данные из его прошлого, а он о них обыкновенно молчит <...>

Случайно познакомился с генералом Рейтлингером¹, у которого два раза был по случаю распродажи мебели и который оба раза был со мной очень любезен, разговаривая о посторонних вещах и, как офицеру, сделал уступку в цене. Оба раза он был в странном костюме: китель, а из-под него вытягиваются поджарые ноги, обтянутые каким-то шерстяным серым трико и обутые в башмаки... Издали кажется, что на нем ничего, кроме кителя, нет. В таком костюме он принимает и дам, приходящих смотреть вещи.

За эти два месяца я сошелся с Михаилом Ивановичем Вукотичем, местным воинским начальником! По роду он серб; служил прежде в кирасирах и по причине болезни глаз оттуда вышел. Ума он небольшого. Но в нем две прекрасные черты: трудолюбие и порядочность. Есть и недостатки, вроде любви к канцеляршине, которую изучил до совершенства. Это один из тех людей, которых к чему ни приставь — везде они будут ревностными исполнителями, везущими на своих плечах дело и не рассуждающими о том, какого рода работа им дана. В строю они образцовые строевики, в канцелярии — образцовые чиновники. Но сказать что-либо новое в своей работе, двинуть ее на новый путь они не могут. Нравится мне в Вукотиче и мягкость его характера, и большой такт, с которым он держится в своей семье при капризной, взбалмошной и злой супруге его Наталье Дмитриевне, не стесняющейся при гостях делать сцены мужу.

Вчера защищал одно дело, на котором председательствовал генерал Гельмерсен, почему-то очень ко мне благоволящий. Так, вчера перед началом суда он подошел ко мне и, узнав, что я буду защищать, заявил мне, что ему это очень приятно. Василий Павлович очень странный господин, и так как вообще странных, оригинальных людей не любят, то и его недолюбливают в суде. Про него даже ходят анекдоты, и за ним подмечены уже некоторые смешные стороны, которые я и сам, проверяя, нашел в нем. Так, например, все статьи закона, на которые

¹ *Рейтлингер Александр Иванович* (1820–1891) — военный деятель Российской империи, более полувека прослуживший в армии. До увольнения в 1888 г. с производством в генерал-инженеры занимал должность начальника 2-й саперной бригады г. Вильно.

он как представитель ссылается, или решения Главного Военного суда Гельмерсен читает не иначе, как сняв на это время свои синие очки, как бы желая тем показать, что все он знает наизусть; по окончании чтения очки надвигаются! Мне случилось уже несколько раз беседовать с Гельмерсеном и узнать его довольно хорошо. По манерам это совершенный джентльмен, и когда он председательствует, то относится с замечательной вежливостью ко всякому, находящемуся в суде. Нравится мне и то, что к подсудимому он относится всегда сочувственно, с сожалением, не позволяя себе никаких резких выходок по его адресу, как это делают Гарин, Никифоров и другие. Трудолюбив Гельмерсен замечательно, несмотря на его болезненность. Но любит тянуть дело, размазывая его без нужды, за что, вероятно, его не любят в суде. По его словам, он следит за ходом развития права; но мне кажется, что он застыл на известных материалах, собранных им для сведений раз навсегда, и далее этого не пойдет. Гельмерсен очень любит рассказывать о своих подвигах. Так, например, прошлый раз целый час я должен был выслушивать его повествование о том, как он укрощал неукротимых лошадей в молодости... Посмотришь на жиденькую конфетную фигуру генерала и невольно в душу западает сомнение: было ли это? Хвастливым показался мне и рассказ его о пребывании в Академии Генерального штаба. Как бы то ни было, но у Гельмерсена дорогой клад — доброе, любящее ближнего сердце; а это в наше время находка, которую не встретишь каждый день.

Узнал от капитана Книпера, что барон Остен-Сакен, уезжая в отпуск, в присутствии нескольких помощников прокурора очень лестно отзывался обо мне и о тех заключениях, которые я ему представлял за время прикомандирования к прокурорскому надзору.

Вчера получил письмо от М-ме Плаксиной, урожденной Величко, с предложением купить у нее портреты ее и ее сестер, работы нашего знаменитого художника Брюллова¹. Затем она стала предлагать мне их в подарок; но так как из письма ее я вижу, что ей есть нечего, то я и купил картину, конечно, дешево, хотя, будь у меня средства, я дал бы за нее хорошие деньги. У меня ранее этого была тоже работа Брюллова — портрет бра-

¹ *Брюллов Карл Павлович* (1799–1852) — русский художник-академист, живописец, монументалист.

та Плаксиной в детстве, которым так восхищались Трутнев¹ и Грязнов². И эту картинку я купил у Анастасии Александровны почти за бесценок. Грустно видеть, как распродают такие фамильные драгоценности! Но я рад, что картины эти попали ко мне и не пропадут, а будут сохранены. Попади же они в руки жидов, и стали бы их таскать по выставкам, выставляя напоказ толпы... Несмотря на время, картины еще прекрасно сохранились и написаны, по отзывам знатоков, мастерски.

Не раз от Плаксиной я слышал интересные рассказы о Брюлове по дружбе отца Плаксиной, тайного советника Величко, с этим знаменитым художником, обессмертившим семью Величко на картинах, часть которых теперь у меня.

15 сентября

Мне в тысячный раз, вероятно, приходится убеждаться и говорить себе, что для меня не существует полного, беззаветного счастья: только что проглянет солнце, глядишь — уже ползут со всех сторон злые холодные неумолимые тучи. Так и теперь хотелось бы вдохнуть счастье полною грудью, а тут разные Лего ползут из щелей и своим дыханьем отравляют атмосферу моей первой серьезной и честной любви! Вчера Петр Иванович окончательно заявил, что посаженным отцом на свадьбе не будет, так как не считает, что обидел меня своим письмом, а, напротив, Катя его обидела тем, что не сказала ему ранее моего предложения о том, что любит меня. Он будто бы очень сожалеет и берет назад свое извинение, которое сделал передо мной через Катю, так как теперь видит, что письмо его ко мне могло быть «только неприятно, но ничуть не обидно...». Одним словом, это бессердечное ходульное и эгоистическое существо желает как бы наказать Катю за ее скрытность! И после этого Андриуша и Катя уверены, что их Петр Иванович любит? Для меня тут все непонятно в этой любви к существу, беспричинно меня оскорбившему, меня, которого полюбила девушка, для которой он считался как бы отцом, к существу, теперь отравляющему счастье и покой дорогой моей невесты! Подлый, гадкий, небла-

¹ Трутнев Иван Петрович (1827–1912) — живописец, педагог, основатель и руководитель Виленской Рисовальной школы.

² Грязнов Василий Васильевич (ок. 1840–1909) — художник, педагог, краевед.

городный поступок!.. С первых же шагов моего сватовства я почувствовал себя как бы в неприятельском лагере. С одной стороны, Лего прямо заявил мне, что он мой враг; с другой стороны, я чувствовал тайную вражду ко мне со стороны Андрюши, которая сквозила в письме его ко мне в ответ на мое, где я извещал его о сделанном мною его сестре предложении. Что имеют против меня эти два человека, я не знаю, да и они сами, вероятно, не знают. Но только на каждом шагу я чувствую кругом врагов, наблюдающих за мною и ждущих случая, чтобы выставить меня в неблагоприятном свете перед невестой. Конечно, Андрюша еще мальчик, неопытный, бесхарактерный и избалованный судьбою, и на него я не обижаюсь нисколько; но моя Катя привыкла во всем советоваться с ним и с Лего и поддерживать мир в семье, а теперь этот мир порушен и семья как бы расплывается; на меня же смотрят в ней, как на нарушителя этого мира. Только одна святая Варвара Ивановна нравственно поддерживает меня; но на нее смотрят и Катя, и Андрюша, особенно последний, как-то странно, не то как на родную, не то как на существо, с которым надо советоваться лишь из приличий! Не далее как вчера Андрюша (конечно, за глаза) забросал меня в глазах сестры грязью за то, что я купил картины Брюллова у Плаксиной так дешево, находя этот поступок мой неблагоприятным. Так мне передавала Варвара Ивановна, но Катя, по обычаю, скрыла от меня этот разговор, показывающий, как осторожно мне надо держаться с ее братцем. Когда Катя сказала ему сначала, что Плаксина хочет подарить мне картину, то он стал кричать, что я бесчестю себя, принимая подарки от такой женщины, как Плаксина, что Катя должна сейчас же послать 500 рублей Плаксиной и т.п. чушь, в которой он, очевидно, сам не давал себе отчета!! Андрюша меня не любит и ищет предлога, как и Лего, бросить в меня грязью. Замечательно то, что оба эти человека никогда лично со мною ни о чем объясняться не желают, как бы боятся меня, и от Андрюши я не слышал ни одного осуждающего слова, тогда как мне известно, что он во мне разыскивает тщательно и недостатки, и ошибки... Если бы не любовь и не вера в меня Кати, как бы я был несчастлив в этом лагере недоброжелателей с моей обидчивой и чувствительною душою! Впрочем, я дал себе слово бороться с моими недоброжелателями и показать им, что у меня есть настолько характера и силы воли, чтобы устроить мой семейный очаг, не спрашиваясь ничьих советов и не думая о том, что о моей жизни скажут

даже близкие моей невесте люди (кроме Варвары Ивановны, конечно). Я никогда не боялся борьбы и считаю более честным не шадить себя, чем покупать мир путем унижения, глупых уступок и молчания.

18 сентября

Жизнь кипит вокруг меня, как какой-нибудь морской водоворот. Люди, встречи с ними, события, впечатления меняются, как в калейдоскопе. Едва успеваешь разобраться и дать себе отчет в дне, когда доберешься до своей квартиры, а тут думы отгоняют сон, и вот лежишь во мраке и думаешь, думаешь...

Милая невеста моя измучена не менее меня, если не более. С Лего опять вышел инцидент: он прислал Кате образ в подарок, но без благословения. С замечательным тактом и спокойствием этот холодный человек мстит моей невесте за то, что она, полюбив меня, без согласия Лего, не сказала ему об этой любви; когда он ее спрашивал обо мне, противилась в том. Скорее бы свадьба, а там я получаю права, во имя которых начну борьбу за счастье и спокойствие моей бедной милушки.

Андрюша так и не объяснился со мной о картинах, которые я купил у Плаксиной, так его возмутивших. А я бы желал жить с ним в мире; но, видно, это не суждено, если он уходит в себя от меня, как улитка в свою скорлупу. Досадно, что он обвиняет меня в неблагоприятном поступке. Предложи мне Плаксина купить картины за большие деньги, а я предложи ей за них небольшую сумму, и дело было бы гадко с моей стороны. А то мне сами предлагают купить вещь, назначают цену и умоляют взять вещь, чтобы она не толкалась по Эрмитажам. Нет, тут нет ничего гадкого, а тем более низкого! Жаль, что Андрюша предубежден против меня и что своим молчанием он сам роет между нами пропасть: дорогая Катюша, видимо, мечтает соединить меня с ним узами дружбы!

Хлопоты о свадьбе сблизили меня вновь с очень интересной личностью, бывшей моим законоучителем в реальном училище, священником Иоанном Антоновичем Котовичем¹. Он будет

¹ *Котович Иоанн Антонович* (1839–1911) — церковно-общественный деятель, литератор, исследователь древностей; состоял членом Виленской археографической комиссии.

венчать меня, и я у него просидел довольно долго, беседуя о разных вещах, преимущественно же о деле Православия в здешнем крае и о тех русских деятелях, которые жили и трудились на пользу Родины среди враждебно настроенного ко всему русскому населению. Много интересного рассказал мне о Котович о Батюшкове¹, Муравьеве². Между прочим разговор коснулся статьи генерала Бобровского, печатающейся теперь в «Русской старине», о деде его священнике Бобровском, много сделавшем в этом крае делу Православия в эпоху присоединения униатов. Зная хорошо лично покойного Бобровского, Котович, не отнимая от него заслуги по присоединению к унии, тем не менее нашел, что начальник Академии слишком уж раздувает значение своего деда, умаляя тем заслуги <...> Иосифа Семашко³. Котович отозвался о священнике Бобровском как о человеке мало или почти совсем не веровавшем, как об атеисте, который, и умирая даже от холеры, с неверием отнесся к предложенной ему исповеди и причастию, как рассказывал о том Котовичу генерал Красноперов, оттиравший Бобровского, когда тому сделалось дурно от припадка холеры. Котович полагает, что только истинно, безусловно верующий и убежденный православный может принести пользу делу Православия, с чем я с ним в душе не согласился. Когда я спросил у Котовича, отчего не возражает он на статью г. Бобровского, он сказал: «Зачем обливаться холодной водою? Все-таки все эти господа, хоть и заблуждаются часто и искажают факты, но все же они копаются, добывают материалы, обращают внимание общества на животрепещущий вопрос религии и таким образом если не прямо, так косвенно служат делу Православной Церкви!» В разговоре Котович высказал свой взгляд на то, что теперь в обществе видят опять поворот к религии и что ему в Пречистенском соборе часто приходится видеть офицеров, кладущих земные поклоны и усердно крестящихся. На мое возражение, что ведь и фарисей кланялся и молился, и что ведь нет признаков, отличающих в толпе истинно кающегося мытаря от фарисея, Котович сказал,

¹ *Батюшков Помпей Николаевич* (1811–1892) — действительный тайный советник, историк; младший брат поэта К. Н. Батюшкова; с 1850 г. — ковенский вице-губернатор, служил помощником попечителя Виленского учебного округа.

² *Муравьев Михаил Николаевич* (граф Муравьев-Виленский; 1796–1866) — видный государственный, военный и общественный деятель; в 1863–1865 гг. — гродненский, минский и виленский генерал-губернатор.

³ *Митрополит Иосиф* (в миру Иосиф Иосифович Семашко; 1798–1868).

что ему приятно видеть и одни наружные знаки благоговения и молитвы.

Заговорили о Шолковиче¹ и той утрате, которую мы понесли в лице его. Котович очень тепло отозвался о покойном, его трудах и его жизни. Вообще личность Котовича показалась мне интересной. Его маленькие глазки, пронизательные и острые, так, кажется, и заглядывают в вашу душу, чтобы снять с нее допрос, а хитрая полуулыбочка очень ловко маскирует чувства. Не люблю я этих глаз, в которых ничего не прочтешь определенного, но которые совершают безнаказанно экскурсии в область вашей души! Котович, очевидно, умный, начитанный и хитрый поп; но все-таки он поп, и как попу ему присущи и жадность к деньгам, и узкое понимание религии и ее значения в жизни человека. Хотел бы я знать наверно, какое составил себе обо мне мнение Котович, зондировавший меня тонко и незаметно по части моих личных убеждений и верований? С некоторым недоверием слушал я некоторые его взгляды. Так, например, он уверяет, что поляки его ненавидят, но что он всегда относился к ним с терпимостью. Но разве можно называть терпимостью подпольную систематическую и основанную на праве сильного борьбу с полонизмом, о которой в разговоре Котовича проскользнуло немало намеков? Котович, очевидно, служит делу Православия по-иезуитски, исподтишка и находит, что это вяжется с его саном... Едва ли! Если теперь у нас спрос на иезуитство, то едва ли честному человеку следует служить при этом живым примером...

Во все время разговора я чувствовал инстинктивно, что с Котовичем надо быть осторожным на словах и что ему далеко нельзя все высказывать откровенно, даже невинное в сущности, но не вяжущееся с убеждениями упрямого пожилого и хитроумного попа. Принял он меня очень любезно, и мы даже целовались. Вспоминали и о реальном училище, и Котович с похвалой отозвался о том, с каким усердием я всегда изучал Закон Божий и как хорошо знал его. «Область религии, — сказал он, — такая область, что человек, не изучавший ее, не может быть назван образованным, и подобный пробел в его знаниях непременно отразится на всей его жизни... Область духа становится ясной, понятной и осмысленной лишь тогда, когда ее освещают теплые, любящие

¹ *Шолкович Семен Вуколович* (1840–1886) — заслуженный преподаватель Виленского реального училища, член виленской археологической комиссии, автор монографий.

и яркие лучи христианской религии!.. Человек без веры — зверь; человек верующий — брат Христа, полный надеждами и смело глядящий в глаза грядущему!..» С этими доводами и я согласен!.. Только, слушая Котовича, я с грустью вспомнил, сколько времени убил я в юности на зубрение текстов в Катехизисе и как мало освящали эти места мою душу, сомневающуюся, пытливую, жаждущую света, правды, любви и примирения с жизнью!.. Котович, очевидно, не понимает назначения преподавания Закона Божия в светских заведениях, если считал курс наш, в котором был я, образцовым по знанию и пониманию Закона Божия. Я хорошо помню, что все мы зубрили тексты и таинство, зная, что за незнания их получим дурной балл, а вызубрить их — тогда все остальное сойдет, лишь бы не молчать. На более пытливые вопросы меньшинства Котович отвечал сначала с охотой, пока дело обходилось текстами и общими рассуждениями, но, как только теории переводились на жизнь, он сердился и часто обрывал наши вопросы, из-за чего у меня с ним постоянно выходили столкновения. Обстановка квартиры Котовича очень уютная; но хорошие рисунки его узко поповские и выражают ретроградный взгляд на религию и жизнь, портреты таких лиц, как Толстого и других, перемешаны с портретами действительно преданных русскому делу и правильно понимающих его, как Батюшков, Корнилов и т.п.

*С.Петербург.
27-го сентября 1888 г.*

23-го числа в Вильне в Пречистенском соборе состоялось мое бракосочетание с дорогой Катей. Венчал нас Котович, и самый обряд был обставлен очень парадно, чего я желал, зная, этого хотела и дорогая Катя. Народу, кроме приглашенных, было очень много, так что громадный храм казался полным. Катюша моя была очень интересна под венцом и вообще в этот день, умением держать себя еще раз убедила меня в том, насколько у нее много такта. Посаженым отцом у нее вместо Лего был старый друг их семьи доктор Юндзилл, а образ ее нес маленький Илюша Кропоткин.

Из церкви все поехали к нам на новую квартиру, которую я убрал тропическими растениями и освежил, так что обнаженных стен почти не было заметно. В общем квартирка наша была очень эффектна и произвела на всех, а в том числе и на Катю,

хорошее впечатление. Из гостей на квартире у нас были: княгиня Кропоткина в роскошном наряде и с фрейлинским шифром, Плотниковы, Максимовы, Жуковы, М-ме Тейнер, полковник Погорелов, Гиренковы, Гельмерсен, Гарин, Никифоров, Дорошевский, Котович и еще много судейских и кое-кто из полковых — всего более 50-ти человек. Было нескучно и не натянуто, как это бывает обыкновенно на свадьбах, а некоторые из судейских, забравшись в отдельную комнату, изрядно напились шампанским, и Пузыревский говорил, что они остались в восторге от угощения и приема, что и требовалось в данном случае. Много нам с Катюшей пришлось услышать добрых пожеланий, и нам обоим было приятно видеть к себе общее расположение. Дружеское же отношение ко мне судейских, так мало еще меня знающих, тронуло меня до глубины души.

Часов после 9-ти гости разъехались, а в 11 ¹/₂ часов поезд умчал меня с моей женой в Питер, причем мы оба были так измучены всем пережитым и перечувствованным в последние дни, что о нежностях нам очень мало приходило в голову. Папа и мама приехали нарочно к дню моей свадьбы и благословили меня; Ваня был шафером; а Максимов с мамой были моими посаженными отцом и матерью. Очень мила и любезна была княгиня Кропоткина, сама первая пожелавшая познакомиться с моею матерью и предложившая нам своего Илюшу для несения образа. Бедная Тетя была совсем измучена, и мне показалось, что она грустила, расставаясь с милой Катюшей! Как бы то ни было, день этот сошел отлично и благополучно, и в жизни моей открылась новая страница, в которую жизнь успела уже написать за эти три дня супружеской жизни много нового и интересного. Гляжу с надеждой в будущее и молю Бога дать мне сил и уменья настолько, чтобы сделать счастливой эту молодую душу, так беззаветно мне отдавшуюся и так глубоко в меня верующую!! Никогда не забуду той любви и теплоты сердечной, с какой все бывшие на нашей свадьбе отнеслись ко мне и к Катюше!

29 сентября

Все эти дни мы осматривали с Катей Эрмитаж и ездили в театры. Были у Маши¹ в Павловском Институте и заходили к ди-

¹ Жиркевич Мария Владимировна, младшая сестра А. В. Жиркевича.

ректрисе, баронессе Розен, которой я представил Катюшу. Она приняла нас очень ласково и внимательно, расцеловала Катю и пожелала ей счастья и всякого благополучия. Мы просили ее отпустить к нам на сутки Машу; но оказалось, что это невозможно, хотя я не вполне поверил отказу баронессы, зная, что у нее часто на одной неделе семь пятниц.

Баронесса расспрашивала меня о Гревеницах и была со мной, как и прежде, очень внимательна и добра. Бедную Машу огорчил отказ баронессы... Я вызвал на совещание двух классных ее дам, М-лles Кобьюк и Шендернейк, и надеюсь, что с их помощью удастся взять Машу хоть на прогулку в экипаже по городу. Вчера вечером у Исакова подошел ко мне Мережковский¹, перекинулся несколькими словами и звал, между прочим, к себе в гости. Он все такой же восторженно сладенький, и глазки у него горят по-прежнему каким-то блуждающим огоньком и подернуты маслянистой влагою. Там же встретил бывшего товарища по реальному училищу Александра Обручева, личность очень оригинальную и которого я, несмотря на пятнадцатилетнее знакомство, почти не узнал, и не уверен — идиот ли это с мошеническим талантом или гениальный чудак. Манеры его, костюм, физиономия и вся фигура просятся на карикатуру. Он обещался зайти.

30 сентября

Вчера был очень интересный день в моей жизни. Утром я встретил на Невском Ивана Михайловича Гедеонова² и говорил с ним несколько минут. Узнав меня, он очень смешно спросил: «Какой это Жиркевич женился? Я не был уверен, что это вы, и не послал поздравления!» (Я посылаю ему пригласительный билет на свадьбу.) После этих слов я представил ему мою жену. Иван Михайлович просиял, был с нею очень любезен и сказал ей: «Хотя я и плохо вижу, но чувствую, что вы молоды. Желаю вам полного счастья!» Пригласив меня побывать у него и поблагодарив за желание мое познакомить мою Катю с его женою, Иван Михайлович очень живо и бодро уселся в карету и

¹ *Мережковский Дмитрий Сергеевич* (1865–1941) — писатель, поэт, литературный критик, религиозный философ.

² *Гедеонов Иван Михайлович* (1816–1907) — генерал от инфантерии, член Генерального штаба и профессор Академии при нем.

уехал. Он мне показался на этот раз особенно свежим, веселым и остроумным: милый, дорогой старик!

Часов в 12 вечера я поехал к Репину. Узнав, что у него сеанс, я послал с человеком свою визитную карточку, прося доложить, что ежели он очень занят, то пусть не принимает, а я зайду в другой раз. Только что ушел лакей, как слышу быстрые шаги по лестнице, ведущей в студию художника, и через миг передо мной появился сияющий, приветливый и грациозный Репин со словами: «Здравствуйте, мой дорогой, хороший, милый Александр Владимирович!» Мы раз десять принимались с ним целоваться, и я чувствовал, что на глазах у меня были слезы.

Репин наскоро объяснил мне, что у него сидит какой-то моряк, дорожащий каждой минутой, и что он сошел ко мне хоть на минутку лишь потому, что очень обрадовался, узнав о моем приезде. Мы наскоро перекинулись с Ильей Ефимовичем несколькими словами. Я хотел уже уходить, как вдруг он мне говорит:

— У меня есть к вам просьба: я задумал написать целую серию портретов лиц мне дорогих, моих друзей. Не согласитесь ли и вы дать мне хоть два вечерних сеанса? Я очень желал бы иметь и вас в коллекции дорогих мне лиц!

Я, конечно, поблагодарил его за этот новый знак его ко мне дружбы.

— Если будет возможность, то я набросаю один портрет и для вас...

Тут я прервал его, говоря, что не могу делать ему заказа, который дорого стоит и для которого у меня нет средств.

— Полно же, какие тут средства... Мы это все устроим... Итак, вы согласны позировать?

Затем Репин пригласил меня с женою к себе на вечер, куда мы с нею вчера и отправились. Застали у него за чайным столом Виктора Ивановича Бибикова и Фофанова. Репин попенял, что я опоздал немного, и заявил, что у него сегодня лишь кружок близких знакомых.

У Репина мы просидели до часу, причем время пролетело незаметно в очень интересных и оживленных разговорах, в которых Фофанов почти не принимал участия. Репин был рыцарски любезен с Катей, и, видимо, лицо ее ему нравилось, так как он в нее все глядывался вдумчиво и пристально, что, как я заметил, он делает всегда, когда старается уловить выражение лица, обратившего на себя его внимание. Узнав, что мы лишь

несколько дней как сделались супругами, Репин удивился. «Вы держите себя, как будто бы уже давно была ваша свадьба! Впрочем, Александр Владимирович четыре года готовился к этому шагу, и переход от холостой жизни к семейной для него не был резок».

Заговорили об Эрмитаже. Репин сказал, что у нас в Эрмитаже собраны сокровища, которым и цены нет, например, некоторые произведения Мурильо, Корреджио и других художников Испанской и Итальянской школ.

— Со временем в наш Эрмитаж будут приезжать туристы со всех концов света, чтобы учиться и наслаждаться. Правда, у нас есть много хламу, но я побывал в заграничных картинных галереях и могу удостоверить, что там гораздо более хлама, чем у нас в Эрмитаже. Досадно, что есть вещи положительно никуда не годные, но за которые заплачены баснословные деньги, вроде картинки Рафаэля, за которую покойный Государь дал 200 тыс. руб. лишь потому, что она нравится Императрице, тогда как вся-то цена этому образку 25 руб., много 100.

Репин отозвался резко о Сомове¹, ничего не понимающем, тупоголовом и невежде, который развешивает по-своему картины в Эрмитаже, так, что многие из них совсем теряют свой эффект (тут я вспомнил действительно безобразно повешенные «Хаос» и «Потоп» Айвазовского, на которых, за высотой, ничего разобрать невозможно).

Стали говорить об Италии, и Катя с Репиным вспоминали те места, которые они оба посетили. Репин был не далее года тому назад в Италии и об Италии и итальянцах говорит с заметным воодушевлением. По его словам, объединение Италии играет громадную роль в развитии искусства.

— Вот что значит объединить нацию, случайно разбитую на части историческими событиями, но таящую в себе еще жизнь, силы, таланты. Последняя выставка художественных произведений в Италии доказала всему миру, что в Италии вновь возрождается искусство, как будто бы на время павшее. Подвинутый вновь на тот путь, на котором развивался и ранее, итальянский народ почувал могучие свои силы, и вот, за последние четыре года в особенности, Италия обогатилась такими великими произведениями искусства, которые составляют эпоху

¹ *Сомов Андрей Иванович* (1830–1909) — русский искусствовед и музейный деятель; с 1886 г. старший хранитель Эрмитажа.

в его развитии. Я изъездил многие художественные центры в Италии и везде чувствовал эту вновь забывшуюся жилку искусства. Сколько в Италии за последнее время появилось великих творений, авторы которых даже не известны и не пользуются славой, которую вновь заслужили. Стоит пойти на кладбища в Риме, Флоренции, чтобы поразиться тем совершенством, до которого дошло ваяние. Надгробные памятники часто совсем неизвестных художников полны оригинальности, идей, даже гения. Целые сцены, в которых мрамор одухотворен по воле художника, сцены из частной и общественной жизни заставляют восторженно биться сердце всякого любящего и понимающего искусство. Нет! Италия еще не сказала своего последнего слова в деле искусства!

Долго и хорошо говорил Репин на эту тему, описывая остальные произведения и озаряя их то глубоким пониманием таящейся в них идеи, то впечатлениями, вынесенными от непосредственного с ними знакомства. Особенно трогательно и хорошо описал он один надгробный памятник, изображающий трех молодых женщин, которых ангел смерти уводит за руки в могильный склеп.

От Италии мы перешли к России. Заговорили о Крамском¹. Репин восстал против статей Буренина², обвиняющих его в неблагодарности относительно Крамского.

— Я всегда любил и уважал Крамского, — сказал он, — но никогда не был ослеплен им до того, чтобы раболепно видеть в нем только одни хорошие стороны. Когда я набросал жизнь Крамского в своих записках, разбив ее на два периода, мною руководила лишь правда, а не злоба или зависть. Да, Крамской был слишком умный человек, чтобы не понять тех сфер, в которых он вращался, и не сделать всего, чтобы воспользоваться этими сферами для своих личных выгод. Крамской был политик очень тонкий и наблюдательный и хорошо сознавал, что обстановка и манера держать себя у нас в России значит очень много. Для того чтобы разные Гинзбурги, Валуевы, Имеретинские не смотрели на него свысока, как на бедного выскочку, он и создал себе обстановку, подобную той, которая окружает этих господ, и принял их внешность, их манеры, тон их разговоров... Крамской

¹ *Крамской Иван Николаевич* (1837–1887) — живописец, портретист и рисовальщик, художественный критик.

² *Буренин Виктор Петрович* (1841–1926) — театральный и литературный критик; речь идет о его публикациях в газете «Новое время» (1888, 6 и 13 мая).

ради семьи убил свой талант, задавшись целью обогатить эту семью, оставить ей обеспечение. Это был замечательно способный человек, но портреты, за которые он брал до 5000 руб., сгубили его, не давая возможности творить что-либо самостоятельное. Я слишком хорошо знал Крамского, чтобы не видеть в последних годах его жизни политического расчета, лично для меня не симпатичного и на который я не способен! Да, я не лгал, когда изобразил Крамского в последние годы его жизни важным бароном, пресыщенным сибаритом. Он стал таким, быть может, сознавая весь позор такого положения и не имея уже сил бороться с засасывавшей его тиной! А что мог бы он дать еще русскому обществу! Какие силы погибли с ним для русского искусства! Какие замыслы таились в нем и умерли, едва обозначенные в данных уже обществу картинах! Крамской был политик! Читали вы его переписку с Третьяковым по поводу предложения его, сделанного Третьякову, чтобы тот купил его за 12.000 на один год и тем дал бы ему возможность закончить картину «Христос перед Пилатом»! Я лично говорил об этих письмах с Третьяковым, и, на мой взгляд, эта часть переписки — пятно на памяти Крамского. Предлагая себя продать за 12.000 руб., он жестоко и явно лгал, рисуясь перед обществом и желая объяснить нуждой то, что не создавал ничего выдающегося. А между тем, говоря это Третьякову, он лгал. И что значили для Крамского эти 12.000? Когда он писал о них, то он уже был богат, а масса заказов на портреты давала ему возможность в какой-нибудь месяц получить эту сумму! Ведь брал он 2-3 тысячи за портрет: значит, четыре портрета — и желаемое имелось бы, чтобы бросить все и жить целый год для одной только картины. У нас привыкли уж если хвалить, так хвалить сплеча, даже порой подтасовывая факты. Я же привык говорить всегда правду и не жалею, что сказал ее. И неужели сказать о человеке, что в нем были и дурные, и хорошие стороны, значит быть неблагодарным?!

Затем Репин много рассказывал о той безумной роскоши, в которой жил Крамской и его семья.

— Бывало я, будучи юношей, ходил в театр в раек, так как отец не мог мне дать денег на лучшее место; а дети Крамского постоянно сидели в восьмом, не ниже, ряду. Сколько стоило трудов и хлопот Крамскому, чтобы определить лишь одного из сыновей в Корпус! Для этого пришлось ему беспокоить даже высочайших особ — и для чего все это? Для тщеславия, для того чтобы выделиться и выделить семью!

Далее Репин рассказал, насколько возмущали его за последнее время в Крамском это тщеславие и заискивание перед высшими лицами.

— Крамской умел всегда обставлять получение писем от разных высочеств и сиятельств торжественной обстановкой, так что все присутствовавшие у него при этом должны были видеть, какое он важное лицо и с какими людьми поддерживает отношения.

В таких случаях Крамской доходил до комизма, до жалости. По словам Репина, Крамской оставил большое состояние семье, притом что о сумме денег в обществе никто определенно не знает. Посмертная продажа картин тоже дала изрядную сумму, хотя из них еще не все проданы до сих пор, так как за них просят баснословные цены.

Когда зашел разговор об отношениях Суворина и Крамского, то Репин заявил, что знает из первых рук, что Крамской просто диктовал Суворину его художественно-критические статьи, а Суворин только под ними подписывался. Крамской же продиктовал Суворину и хвалебный отзыв о картине Репина «Иоанн Грозный», помещенный в «Новом времени», под которым Суворин и подписался на изумление и ярость некоторых недоброжелателей Репина, каков, например, Буренин. Между прочим, Репин рассказал следующее:

— Работая усердно над картиной и будучи страшно разбит нервами, приказав никого не принимать, я сделался невидимкой для петербургского общества. А между тем слухи о моей картине уже проникли туда и многие желали ее видеть; я же принял меры, чтобы ранее времени праздные зеваки не могли удовлетворить своего любопытства и мешать мне работать. Вдруг получаю очень любезное письмо от Суворина, в котором он просит разрешить ему приехать посмотреть картину и назначить ему час. Я ответил очень сухо, официально, что картину он может видеть до 12 часов ежедневно, но что я прошу его ни слова не писать о ней в печати, пока она не будет выставлена для публики. Суворин не приехал и мне передавали, что он был взбешен моим сухим ответом, так как привык уже считать себя как какого-то художественного оракула и известного публициста. Когда я выставил свою картину, то заранее ожидал, что и «Новое время» выльет на нее поток грязи. Вдруг читаю восторженный отзыв Суворина, который, как оказалось впоследствии, был продиктован ему Крамским. Отзыв этот очень окон-

фузил меня. Я тогда еще не вполне был уверен в том, какую роль играет в жизни Суворина Крамской, и думал, что Суворин высказал про мою картину свое личное убеждение. Хотя с Сувориным я лично тогда еще не был знаком, но сейчас же поехал к нему с визитом. Войдя к нему, я заявил, что мне стыдно смотреть ему в глаза после всего, что произошло между нами! В заключение мы расцеловались! Только потом я узнал, что Суворин писал мне хвалебный гимн со слов Крамского, чего Буренин не мог и не может ему простить до сего времени.

Репин рассказывал о той горячке, с которой он писал эту картину, не дававшую ему покоя ни днем, ни ночью, пока не удалось воплотить выношенные душой образы. Рассказывал он и о том шуме и переполохе в художественных кружках, какие наделала его картина, и о том, что ей придано было какое-то политическое значение.

В Академии художеств профессор анатомии прочел даже лекцию студентам, доказывая, что картина написана вся лживо, неправильно, без знакомства с анатомией, что фигура Иоанна будто вросла в пол и т.п. Перед слушателями была воспроизведена самая картина с грубыми подчеркиваниями тех мест, которые предполагались в ней неправильными. Одним словом, Репин, по его собственным словам, был признан Академией чуть не безбожником в искусстве.

Заговорили мы об известных картинах Верещагина¹ на Евангельские сюжеты. Репин, признавая талант в Верещагине, отозвался обо всех этих вещах, как о не стоящих особенного внимания. Он описал нам содержание главнейших картин Верещагина, доказывая, что все они написаны, по Репину, с целью осветить более резким светом некоторые места из жизни Христа, так сказать, внести в его житие более общечеловеческих подробностей. Репин, как всегда, описывал картины мастерски, так что в воображении слушателей вполне выступала картина, хотя и без определенных красок, но зато со всеми ее недостатками и хорошими качествами. Особенно хорошо описал он эту картину, где Христос одиноко идет по тропинке между горами; нескольких слов было достаточно, чтобы набросать эту простую и полную глубокого смысла картину и придать ей трогательный теплый колорит. Репин называет большинство этих

¹ *Верещагин Василий Васильевич* (1842–1904) — художник-баталист, живописец и литератор.

картин «слабыми и не стоящими внимания». В описаниях его было немало комизма. Рассказав содержание картины «Воскресение Христово», Репин добавил следующее: «Вся картина очень несимпатична и смешна. Христос представлен высунувшим голову из пещеры к воинам, от страха разбежавшимся. Голова его повязана по восточному обычаю, имеет глупое выражение и открытый рот. Так и кажется, что Христос высунулся, дохнул на воинов, как делают, чтобы испугать детей: “Ху!” — и те разбежались».

Говоря об Эрмитаже, я коснулся статуй Антокольского¹ и заметил, что при всем моем желании не нахожу в них ничего выдающегося. Репин вступился за Антокольского, восторгаясь его «Сократом».

— Знаете ли, — сказал он, — что, придя в Эрмитаж, я не узнал статуи Христа! Ранее я ее видел еще до отливки, и она производила на меня сильное впечатление! Теперь же Христос похож на какого-то разбойника, загубившего двадцать душ, и которого связали покрепче. Что за узкий, бессмысленный лоб, что за идиотское выражение глаз! Я не могу объяснить себе теперь, отчего прежде у Антокольского я восторгался этой же самой статуей?!

Репин очень высоко ставит талант Антокольского. Заговорили мы о статуе Гудона² «Вольтер», перенесенной из Императорской Публичной библиотеки в Эрмитаж. Репин возмущался, что эту великолепную вещь, в которой мрамор дышит, поставили рядом с графией Дюбарри, со статуями нимф и т.п. По его мнению, эта статуя Вольтера производила большее впечатление, когда с нею встречались в огромной зале библиотеки, посреди книг, когда-то принадлежавших этому философу. О том, какие мытарства испытала у нас как эта статуя, так и статуя ребенка на дельфине работы Рафаэля, Репин рассказывал мне новые подробности, очень интересные и характеризующие отношения русских ко многому выдающемуся.

Когда разговор коснулся отзывов журналистики о Репине, и Бибиков со свойственной ему развязностью стал передавать Репину те гадости, которые говорят еще до сих пор по его адресу за портрет Фофанова, то Репин заявил, как я и ранее это от него

¹ Антокольский Марк Матвеевич (1840–1902) — скульптор-реалист, академик Петербургской академии наук (1871), профессор скульптуры (1880).

² Гудон Жан-Антуан (1741–1828) — французский скульптор.

слышал, что его радует брань литературной братии, доказывающая, что он еще что-нибудь может создать новое и выдающееся.

— За что на вас ополчился Буренин? — спросил его я.

— А за то, за что люди его пошиба ополчаются против всего не подходящего под установленные, искусственные рамки, ими изобретенные!

Тут Бибиков рассказал, как недавно он говорил с Бурениным о Репине, защищая последнего.

— Ах, вы ничего не понимаете, — сказал Буренин, — за Репиным тянется Стасов, а за Стасовым — жида. Репин — талант, но он играет в руку жидов!

Репин при этом отозвался очень похвально о Буренине как критике, имеющем вес и значение в журналистике, нередко очень хлестко и метко бичующем разную мелкоту и дрянь, заполняющую область литературы:

— Все, что говорит Буренин, оригинально. С ним можно не соглашаться, но все, что он ни говорит, — его глубокое убеждение, за которое он стоит горой и ради которого не пощадит и друга! Он не виноват, если эпоха, переживаемая нами, такова, что рутина победно душит и гнет все самобытное, оригинальное!

Бибиков рассказывал о том, насколько завален Буренин разными письмами, стихами, прозой, просьбами советов и т.п., которые стекаются к нему отовсюду! По его словам, Буренин привык смотреть на себя, как на оракула, и Репин подтвердил это мнение Бибикова.

Когда разговор коснулся покойного Гаршина, Бибиков рассказал о той энергии, с которой жена покойного перенесла тело мужа на другое место. Бибиков получил будто бы от нее уведомление об этом перенесении останков ее мужа. Тут завязался спор между Репиным и Бибиковым о причинах смерти Гаршина: оба хорошо его знали и знали его обстановку. Репин уверял, что его убили родные, а Бибиков — что жена, которую он будто бы не любил. Когда я заметил им, что Гаршин был психически расстроен, и рассказал им о моей последней с ним встрече, то оба они заявили, что я ошибался, и что ежели Гаршин держал себя странно и далеко от литературных кружков, то лишь потому, что будучи стеснен цензурой, он осаждался назойливыми вопросами о том, не пишет ли он чего-нибудь новенького, каковы его литературные планы и т.п. По словам Бибикова, Гаршин задумал целый новый труд и ехал на Кавказ в надежде работать, но это ему было не суждено. Репин чуть не накануне покуше-

ния Гаршина на самоубийство говорил с ним и уверяет, что тот был вполне психически здоровый человек, но со страшно разбитыми нервами.

Репин был вчера весел и мил, каким я давно его не видел. По просьбе Кати он показал ей и нам свои картины, причем, несмотря на мои просьбы, «Запорожцев»¹ своих не показал, а лишь первоначальный их этюд. Картина его «Николай Чудотворец, останавливающий казнь»², которую он готовит к предстоящей выставке, значительно изменена сравнительно с тем, что я видел на ней ранее...

Я заметил между прочим Репину, что не понимаю выражения лица градоправителя, подбегающего к Николаю. Но фигуры Николая, палача, казнимого и прочих осужденных — до того живы, что дух захватывает от драмы, начинающей разыгрываться! Особенно чудесен угодник, лицо которого полно такой духовной силы и сознания правоты и нравственного превосходства, что от него оторваться трудно! Нечего говорить, что выписка деталей и лепка фигур ничего не оставляет желать большего. Мне показалось, что замечание мое задело Репина, а из дальнейшего разговора я вывел, что ему самому как будто не нравится лицо градоправителя. Показывал Репин и начатую им серию портретов его друзей. Между ними уже есть почти оконченный карандашный портрет Лемана, портрет какого-то врача (о котором Репин мне сказал, что он «не из знаменитостей») и неоконченный портрет Введенского, в котором уже уловлена характерная улыбочка оригинала. Показывал Репин и прочие свои картины и портреты, делая к ним объяснения, между прочим и прекрасно начатый портрет баронессы Икскуль³ во весь рост.

Репин весь вечер шутил, смеялся, делая меткие характеристики, рассказывал о своих встречах и впечатлениях. Между прочим, он рассказал, что существует целая переписка между Сувориным и Крамским о портрете первого из них, так художественно правдивом. Семья Суворина нашла портрет слишком резко написанным, причем художник подчеркнул в портрете

¹ Работа И. Е. Репина над картиной «Запорожцы» («Запорожцы пишут письмо турецкому султану») была начата в 1880 г. и завершена в 1891 г.

² Картина И. Е. Репина «Николай Мирликийский избавляет от смерти трех невинно осужденных» (1888).

³ *Икскуль фон Гильденбандт Леонтия Владимировна* (1854–1913) — дочь генерал-лейтенанта русской армии В. Набеле, жена русского государственного деятеля барона Ю. А. Икскуль фон Гильденбандт.

душевные недостатки оригинала, заметные в лице его. Суворин просил Крамского переделать портрет, но тот отказался. В другом случае Крамской был менее тверд! Он рисовал портрет известного богача Мальцева. Когда Репин пришел к нему и увидел первоначальный набросок, то пришел в восторг: так, по выражению его, умело и метко схватил Крамской выражение тупоумия в лице оригинала. Но пришли сестрицы Мальцева и упрости Крамского переделать портрет, уверяя его, что братец их схвачен художником в неудачный момент и что у него совсем иной вид, когда он занят делами. Крамской переделал портрет и испортил его безвозвратно, чем Репин глубоко возмущался до сих пор.

— Как можно переделывать портрет, я не понимаю! Ведь пока пишешь его, то влюбляешься в оригинал и стараешься передать на холст все то, что выражено в оригинале! Если же станешь переделывать, то возьмешься за неблагородный и унижительный труд, так как станешь выдумывать и лгать! Не берись тогда писать портрет, если тебе предъявляют известные требования, с которыми ты, как художник, ищущий правды и правды, не можешь согласиться! А раз взялся за работу, то доводи ее до конца, не соглашаясь на сделки. Я никогда на соглашался на такие переделки и даже не понимаю, как возможно их делать!

Я заметил Репину, что по портретам Крамского можно судить о том, кто из оригиналов, с которых они писаны, был ему лично симпатичен, а кто нет.

— Нет, этот вывод ваш неправилен, — возразил Репин. — О симпатиях и антипатиях здесь не может быть и речи. Художник в каждом лице может и должен найти основные черты и передать их с правдой. Про меня ходят слухи, что я умею уловить дурные черты характера и выразить их в портрете и что будто бы тот, кто дает мне возможность рисовать с него портрет, рискует перейти в потомства с печатью его пороков! Было бы напрасно мне утверждать, что я не ищу этих дурных черт, а ищу правды и не виноват, если дурное преобладает в оригинале настолько, что затемняет хорошее! Еще недавно Микешин¹ говорил мне об этом мнении, и я от души над ним посмеялся: какой же порядочный человек-художник пишет карикатуры?! Вы говорите, что все генералы, например, у Крамского шаблонны. Нет, это неверно! В каждом из них вы прочтете основные черты

¹ *Микешин Михаил Осипович* (1835–1896) — художник и скульптор.

их характера или бесхарактерности, причем там найдется и много хорошего, самокритичного.

Много спорили мы о литературе, об искусстве; восторгались силою кисти и карандаша Шишкина¹ («Бурелом» которого, набросанный карандашом, украшает мастерскую Репина), говорили о значении передвижников и Академии художеств, о настоящем русского искусства и т.п. Когда Фофанов и Бибиков стали уходить, Илья Ефимович задержал нас и заговорил опять о моем портрете. В будущий четверг он скажет мне, когда к нему зайти, причем обещал окончить портрет в два сеанса. Он просил и Катю придти на эти вечерние сеансы и прочесть что-нибудь нам вслух, пока он будет работать. Катя между прочим сказала ему, что он меня «обессмертит» своим портретом. Репину это выражение, видимо, пришлось не по душе (я забыл предупредить Катю о том, как скромн Репин и как не любит он, когда его ставят на пьедестал).

Мы расстались с ним самым дружеским образом; он проводил нас на лестницу и взял слово, что мы будем бывать на его четвергах, пока будем жить в Петербурге. Я ушел от него, как всегда полный новыми мыслями, чувствами, мечтами, с желанием трудиться и любить ближнего. Между прочим Репин спросил меня, не забросил ли я поэзию, в чем, конечно, я поспешил его успокоить, заявив, что, напротив того, я только и мечтаю отдаться литературе, а главным образом поэзии.

В Бибикове я нашел перемену к лучшему: он стал приличнее и сдержаннее, хотя двуличен и самомнителен, как и прежде. Мы встретились с ним на этот раз теплее, чем это было в прошлом году, и он предложил мне прислать книжку его произведений в подарок.

1 октября 1888 г.

Вчера с Катей мы были с визитом у Фофановых, где нас встретили с обычною дружбой и приветливостью. Квартирка Константина Михайловича на шестом этаже, но очень уютная и миленькая. Сам он как-то обрюзг и опустил, но лицо его приняло более осмысленное, хотя и угрюмое выражение. Нечего

¹ *Шишкин Иван Иванович* (1832–1898) — художник-пейзажист, академик, профессор, руководитель пейзажной мастерской Академии художеств.

говорить о том, что я заставил его перечесть мне его новые стихотворения, которых я еще не знал. Его «Сон» движет такой поэтической грустью и проникнут таким горячим чувством, что за одно это стихотворение Константин Михайлович достоин лаврового венка! Читал он нам и отрывки из своего «Кошечья»! Что за прелесть и свежий язык, что за звучный стих, что за чудные картины в природе! Я сразу унесся в какой-то сказочный, чудный мир, созданный по воле поэта. Как давно я не наслаждался поэзией так сильно, как вчера! Лицо мое горело, дыхание захватывалось, мне становилось то холодно, то жарко! Хотелось броситься на шею дорогому Константину Михайловичу, а язык чувствовал свое бессилие в выражениях того, что творилось в душе. Талант Фофанова, видимо, крепнет и вступает в тот период, когда личность Фофанова как поэта окончательно определяется! Я рад за дорогого друга и желаю ему всевозможных успехов. Милый Константин Михайлович по-прежнему любит читать мне свои стихи, зная, насколько струны его лиры находят созвучия в моей душе и насколько я люблю и ценю поэзию вообще, а его произведения в особенности. Он все такой же странный, страстный, фантастичный, непонятный, но с прекрасным добрым сердцем и целым морем звуков, образов и картин, наполняющих его душу и заставляющих его быть непрактичным в жизни. Его трудно узнать и еще труднее снискать его доверие и любовь. Но раз он полюбил тебя — то все сокровища его души к твоим услугам!! Но что за мощь его фантазии! Всю окружающую его жизнь он озаряет горячими и пытливыми лучами своей поэтической фантазии и в самой прозе жизни находит прекрасное, возвышенное, достойное быть воспетым. Фофанов — удивительное явление: вышедший из самой изменчивой, искусственной, грязной среды, он, однако, создан для блага родных порывов, для понимания всего прекрасного, для поклонения всему чистому! Я знаю его братьев — это просто необразованные невежды, тупоголовые, материалистичные, неразвитые... И из среды их выделяется только один Константин Михайлович, как Иосиф¹ посреди равных ему по крови, но чуждых по духу братьев! Прошлое Фофанова ужасно, но из этого Вавилона он вынес свою душу чистой и непорочной и принес ее на алтарь поэзии как рожденную «для звуков сладких и мо-

¹ *Иосиф* — сын библейского праотца Иакова от Рахили, ненавистный старшим братьям.

литв». Мне даже кажется, что, не будь этого прошлого, из Фофанова не вышел бы такой оригинал и такой поэт, каким является теперь он! Сознание того, что нельзя так жить теперь, как он жил еще так недавно среди подонков общества, переходя от оргии к оргии, должно служить путеводной звездой для Константина Михайловича!

Мы вчера много и долго говорили с ним об его вновь задуманных произведениях — драме его «Дмитрий Самозванец», об характеристиках его знакомых, которые он набрасывает в виде целого ряда портретов, наконец, об его «Кошеч», который, по моему мнению, доставит вполне заслуженную славу его автору.

Константин Михайлович рассказывал мне, что еще на днях был у Буренина и тот ему сказал: «Вы знакомы с Репиным? Передайте ему от меня, что у него очевидный литературный талант. Пусть бы он попробовал себя на повестях или рассказах. В его “Воспоминаниях” о Крамском есть прекрасные места, прекрасно и мастерски набросанные типы. Если я отнесся к этому произведению недружелюбно, то вовсе не потому, чтобы отрицать гениальность Репина или сомневаться в его порядочности, а лишь потому, что считал и считаю неуместным с его стороны поступком отзываться нехорошо о человеке, так много для него сделавшем, над его трупом, еще не вполне остывшим».

По словам Фофанова, Буренин теперь задумал новую драму «Федора», но отнявшаяся правая рука мешает ему работать. Буренин очень огорчен этой болезнью и как бы видит в ней конец своей литературной деятельности. Диктовать он не привык, а левой рукою писать не умеет. К Фофанову он по-прежнему внимателен и восхищается его «Кошечем», который, вероятно, появится в «Новом времени» в ноябре.

Константин Михайлович собирается в эту зиму съездить в Москву к Льву Толстому, чтобы с ним познакомиться. Едва ли они сойдутся: Фофанов смотрит на жизнь слишком поэтически, а Толстой слишком философски; философия же Фофанова, в которую он часто любит вдаваться, не более как экскурсия в область духа со светильником поэзии.

У Фофанова есть одна прекрасная черта: он не заискивает у современных корифеев литературы, как это, например, делает Бибиков, и не бегаёт по их лакейским со своими стихами. Я знаю, как отнесся он ко многим приглашениям познакомиться ближе таких господ, как Майков, Полонский и др. Пожелай он,

и у него накопилось бы много писем, посвящений, рукописей разных знаменитостей, а между тем он избегает их вечеров и в этом отношении доходит порой до невежливости. Фофанов сознает, что он — сила, могущая идти своим путем, без проекций!

Моего крестника Борю я нашел вполне здоровым; это замечательно крепкий и умный мальчик, несмотря на свои пять месяцев, храбро и осмысленно разглядывающий всех своими синими глазками и что-то с улыбочкой бормочущий своим беззубым ротиком.

Лидия Константиновна похудела и постарела. Два часа, что я провел у них, пролетели незаметно и приятно. Дай Бог почаще таких дружеских встреч, согретых к тому же истинным поэтическим огоньком! Константин Михайлович расспрашивал меня о моих работах и очень хвалил то, что я прислал ему для помещения в «Русском богатстве». Он говорил, как волновался Репин, оттого что я опоздал к нему на вечер. Он постоянно меня вспоминал и сетовал на то, что не обиделся ли я на его короткий утренний прием. Репин горячо отзывался ему обо мне как о человеке, друге и поэте!

Фофанов собирается издать 2-й том своих произведений и советовался со мной о помещении некоторых из них; причем мы с ним забраковали их несколько. Я вообще советовал ему на этот раз ограничиться выбором наиболее удачных, оставив все сомнительные в портфеле.

Рассказывал мне Фофанов, как он на вечере у баронессы Иксуль читал своего «Кошечья» и как Минский¹ с важностью знатока посоветовал ему не печатать этого произведения, а похоронить его в своем портфеле, тогда как Репин восторгался им. Бибииков писал письмо Минскому, в котором возмущался таким отзывом, и Минский будто бы объяснил свой отзыв тем, что «не вслушался» в произведение Фофанова и, прочтя его в другой раз, изменил о нем свое мнение.

От Фофанова я узнал, что Розенблюм² попал в фавор к Плещееву³ и что старик так обворожен им, что даже плачет над некоторыми его стихами, которые мне цитировались

¹ *Минский Николай Максимович* (1855–1937) — поэт, писатель-мистик, адвокат.

² *Розенблюм Витольд-Константин Николаевич* (псевд. Константин Льдов, В. Розов, Р. Снежков; 1862–1937) — писатель, поэт.

³ *Плещеев Алексей Николаевич* (1825–1893) — писатель, поэт, переводчик, литературный и театральный критик.

и в которых ничего, кроме холодной выдуманности и дутых сравнений, я не нахожу. Грустно, если Розенблюмы так успешно станут заполнять нашу литературу!

2 октября

Вчера мы с Катей провели часть дня и вечера у ее близких родных Пузыревских.

Я там вчера в первый раз встретил сына Ильи Алексеевича, Павла¹ — художника, которого картины-пейзажи мне всегда очень нравились. Мне всегда казались они лирическими, так как в большинстве их угадывается грустное, меланхолическое настроение. Между русскими пейзажистами, как я лично убедился, есть много, так сказать, лирических художников. Я вчера высказал Пузыревскому мой взгляд на основную черту его таланта, и эту подмеченную мною черту его таланта он и сам в себе, по его словам, признает.

Меня очень интересовало знакомство с этим человеком, в котором я ожидал найти собрата по душе, т.е. лирика. К удивлению моему, он оказался человеком далеко не поэтическим, а скорее материалистичным, не задающимся очень широкими жизненными задачами, а берущий у жизни то, что она дает. В нем есть и ум, и хитрость, и наблюдательность, и дар слова, но есть одна черта, столь для меня противная в человеке, — умение применяться к обстановке, «держат нос по ветру», служить сразу Богу и Мамоне.

Мы довольно долго говорили об искусстве вообще и о русской школе в особенности, и Пузыревский отделялся все общими местами, давно уже мною от других художников слышанными, и не высказал ни одной оригинальной мысли. Мне даже казалось, что он лгал, когда поддакивал мне насчет «лиризма» его картин, и что даже это слово в применении к живописи ему непонятно. Вообще он как-то мало внушает мне доверия и неискренен, хотя был со мною очень любезен, а Кате подарил картину — осенний пейзаж, которую мы видели на выставке картин на Большой Морской. Не знаю, насколько прав он, говоря, что и у «передвижников» уже выработалась своя рутина, своя нетерпимость и что за последние годы меж-

¹ Пузыревский Павел Ильич (1860–1922) — художник и педагог.

ду выставкой Академии художеств и передвижной уже не заметно той разницы, какая была в первые годы раскола между ними. Я горячо отстаивал передвижников, от выставок которых на меня всегда веет правдой, жизнью, оригинальностью, русскими темами... Не понравилось мне в Пузыревском и видимое изменение мнений в зависимости от обстоятельств. В начале разговора он не знал о дружбе моей с Репиным и отзывался о нем недоброжелательно и рассказывал, что тот бросил свою картину «Дон-Жуан» лишь потому, что его коллеги по передвижной выставке нашли картину его по идее не подходящей к тому направлению, которого передвижники придерживаются. В этом Пузыревский видит влияние кружка, рутину и нетерпимость. Постараюсь проверить этот рассказ про Репина. Он как-то говорил мне, что забросил своего «Дон-Жуана», но что у него часто картины лежат неоконченными по несколько лет, а потом он их заканчивает, когда наступит вновь подходящее настроение. Узнав, что я знаком с такими знаменитостями из художников, как Репин, Сверчков и др., Пузыревский стал еще осторожнее в отзывах о собратях по кисти, и разговор стал настолько банальным, что мне тяжело было его поддерживать далее.

Другой брат Пузыревского, Алексей¹ — музыкант-теоретик, показался мне менее интересен на этот раз, но как-то был менее напыщен, <...> банален, чем в прошлый раз.

Сам же Илья Алексеевич Пузыревский мне просто отвратителен. Это какая-то механическая смесь цинизма, грубости, эгоистичности, низкопоклонства, тупости, невоспитанности с довольно большой начитанностью. Говорят, что он добрый человек: не знаю! Знаю только, что он жаден к деньгам и ради них способен даже на низость.

Вчера мы с ним долго рылись в дневниках и бумагах Нестора Кукольника, и Пузыревский подарил мне автограф стихотворения покойного со своими комментариями.

Вера Тимофеевна произвела на меня по-прежнему хорошее впечатление, а Маруся — неопределенное, хотя более склоняющееся к приятному. Был там еще один родственник Кати, поручик гвардейской артиллерии Костогоров, сын известного мне генерала, очень милый, но какой-то мешковатый и тяжелый господин, с которым мы довольно долго беседовали о призыве за-

¹ *Пузыревский Алексей Ильич* (1855–1917) — теоретик и историк музыки.

пасных для занятий и о том впечатлении, которое получается из знакомства с ними.

Пузыревские были с нами очень любезны, но искреннее всех мне казалась Вера Тимофеевна.

3 октября 1888 г.

Познакомил Катю с семьей Тимяновых и Кудрявцевых. В среду будем на вечере Веры Виктороны, и она обещала нам дать домашний концерт. Дружба моя с нею, с ее семьей и с семьей Кудрявцевых все так же прочна, как и прежде. <...>

Все эти дни мы с Катей бродили по Питеру, осматривая его, и я с удовольствием отдался осмотру достопримечательностей, особенно по части близкого моему сердцу искусства. В Эрмитаже мы уже были несколько раз и собираемся туда еще перед отъездом. Я очень доволен, что могу быть для Кати довольно опытным чичероне¹.

Узнал от Фофанова, что Ясинский отдаст мое стихотворение «Зимнее утро» в сборник, посвященный памяти Всеволода Гаршина, как я его об этом просил. Вообще, по словам Фофанова, Ясинский любит и уважает меня по-прежнему. Как же объяснить его молчание на мои письма! Станный человек.

Когда я уезжал из Питера в Вильну, то Апухтин обязал меня уведомить его о моем приезде с женою, чтобы сделать ей визит, что я, конечно, и исполнил. Хотелось мне избежать до времени личного свидания с ним еще и потому, что я не знал, как принял Алексей Николаевич мое слишком резкое письмо, в котором я, по его же просьбе, высказал откровенно то, что о нем говорят в обществе и что обыкновенно боятся высказать в глаза.

Вчера, вернувшись из города, мы нашли у себя визитные карточки Апухтина, что доказало мне еще раз его расположение ко мне и устранило мои опасения о результатах моего письма. Тронуло меня и то, что Апухтин не побоялся подниматься на третий этаж, что при его полноте подвиг.

¹ Чичероне — проводник туристов.

Илья Ефимович Репин

По страницам архива А. В. Жиркевича

Подготовлено Н. Г. Жиркевич-Подлесских

С Ильей Ефимовичем Репиным близкие дружеские отношения связывали А. В. Жиркевича почти 19 лет. Много раз оставался Жиркевич в доме Репина в Петербурге, присутствовал на его сеансах и вечерах, в 1892 г. посетил Репина в его усадьбе Здравнёво на берегу Западной Двины. Вместе они совершили в 1899 г. путешествие по Военно-Грузинской дороге.

Известно, что Репин создал несколько портретов Жиркевича. Портрет маслом 1888 г. находится в Ульяновской областной художественной галерее (УОХМ), наиболее известный рисунок 1891 г. — в Государственном Русском музее (ГРМ), местонахождение рисунков 1890 и 1895 гг. неизвестно. По материалам следствия, с которыми познакомил его Жиркевич, Илья Ефимович создал картину «Дуэль» (вариант 1896 г.).

Рисунок «Благословение детей» (1897, УОХМ) Репин подарил Екатерине Константиновне Жиркевич в утешение, как предполагаемый эскиз памятника, когда в семье умер маленький сын Боря. «Целое событие в моей жизни, — записал Жиркевич в дневнике 22 октября 1897 г., — дорогой Илья Ефимович Репин прислал мне и Кате свой рисунок “Христос, благословляющий детей”. Без слез нельзя смотреть на Христа и окружающих его деток! Опять я, погрязший в дневные заботы, прикоснулся к таинству искусства: точно камень отвалился от сердца, благодаря любящему взору Христа... Пусть слезы радости и веры в Христа, в торжество Его любви будут наградой Илье Ефимовичу за то, что он в минуту нашего семейного горя пришел к нам со своим подарком; напомнил нам вдохновенно о Том, у кого теперь хорошо и радостно нашему Боряшке». В 1922 г. в составе всей художественной коллекции рисунок был передан в Ульяновский музей.

В архиве Жиркевича сохранилось 120 писем к нему Репина. До сих пор считалось, что большая часть их (96) опубликована

в полном объеме в книге «И. Е. Репин. Письма к писателям и литературным деятелям» (М, 1950). Но при сравнении с подлинниками выяснилось, что они напечатаны с огромными купюрами. Письма 1902–1903 годов опущены совсем, письма 1904–1905 гг. даны с большими сокращениями. Кроме того, изъят ряд кратких метких замечаний по разным поводам. Сокращения касались упоминаний или рассказов о царской семье и членах великокняжеских семей, религиозных размышлений художника и его взглядов на роль искусства в связи с продолжающейся на страницах его писем к Жиркевичу заочной полемикой с Толстым, мыслей художника о русском характере и русской истории. При таком избирательном подходе к эпистолярному наследию личность художника была представлена читателю в усеченном виде.

Последнее письмо Репина (1906) послужило причиной разрыва отношений с Жиркевичем. Художник близко к сердцу принял политические перемены в стране, надеясь, что «Россия из презренных, вероломных грабителей чужого добра становится народом правовым, благородным»¹. Речь шла о Первой Государственной Думе, предполагаемое открытие которой Репин восторженно приветствовал.

Жиркевич без доверия относился к политическим переменам в стране, считая интерес творческих людей к политике недостойным делом. Следуя этому принципу, он не придал значения платформе издаваемого в Кишиневе праворадикальным публицистом П. А. Крушеваном журнала «Друг» и опубликовал в 1906 г. в приложении к № 1 свои воспоминания об И. К. Айвазовском, стихотворение «У памятника Глинке» и рассказ «Вампир. Из записок военного следователя». Это вызвало ярость Репина, и он написал Жиркевичу резкое и оскорбительное письмо. В дальнейшем Жиркевич разорвал отношения с Крушеваном и журналом, не приемля его черносотенную направленность.

В публикации последнего письма Репина содержалась купюра, что усиливало его резкую тональность. Как результат, имя Жиркевича приобрело нарицательный смысл и было противопоставлено политически зрелому Репину. Из дневниковых записей Жиркевича 1915 г. известно, что он не смолчал и резко ответил на письмо. Отношения были разорваны, о чем Жиркевич в дальнейшем горько сожалел.

¹ Письмо И. Е. Репина к А. В. Жиркевичу от 6 августа 1905 г.

Но время все расставило по своим местам... Передача этого письма в составе других писем художника в Толстовский музей говорит о честности и высокой нравственности Жиркевича, считавшего, что все, что касается выдающегося художника, должно принадлежать истории...

Сегодня назрела необходимость пересмотра и новой публикации всех материалов об Илье Ефимовиче Репине по архиву Жиркевича. И тогда они действительно станут серьезным источником знаний о художнике. Лучше всех о Жиркевиче и ценности его дневниковых записей сказал Игорь Грабарь во вступительном слове к воспоминаниям Жиркевича:

«Чтение дневника убеждает читателя в бесспорной правдивости, искренности и скромности автора, не выдвигающего себя самого не подчеркивающего своей близости к великому человеку. Все это превращает Жиркевича в гётевского Эккермана при Репине, но еще более честного, корректного и умного. Многое в искусстве Репина, бывшее до сих пор непонятым и спорным, этим дневником разъясняется; немало дат и целых вех жизни исправляется и освещается по-новому, восстанавливается творческий процесс и этапы создания знаменитых произведений <...> Ни один биограф Репина не сможет отныне обойти молчанием этого дневника, носящего характер почти репинской автобиографии»¹.

В русскую культуру А. В. Жиркевич вошел отраженным светом тех выдающихся людей, с которыми был знаком и о которых оставил ценные свидетельства. Но это лишь часть правды. Чем дальше уходит время, тем яснее становится, что А. В. Жиркевич, выстроивший свою жизнь по высоким нравственным меркам, не изменивший своей позиции, несмотря на трагический итог жизни, становится самодостаточной и яркой фигурой своего времени. Мечтая создать выдающееся литературное произведение, Александр Владимирович не подозревал, что таким произведением станет его дневник.

«Дневник Александра Владимировича это не просто интереснейший событийный материал переломной эпохи нашей истории — это произведение высокой художественной силы, поражающее огромным кругозором автора, политическим чутьем, глубиной анализа происходящих событий. Вместе с тем это исторический труд, исследование не эпохи, а природы человеческой, сильной и слабой, жестокой и милосердной одновре-

¹ Репин. В 2-х т. Т. 2 Художественное наследство. М.-Л., 1949. С. 119.

менно. Самые тяжелые, подчас жуткие события, происходящие с автором, его семьей, друзьями, пронизаны необыкновенным человеколюбием, верой и надеждой»¹.

Письма И. Е. Репина к А. В. Жиркевичу

1

9 января 1891
Петербург

Простите, дорогой Александр Владимирович, мне хотелось ответить Вам пообстоятельнее, а времени не было, вот я и затянул свой ответ.

Но, ради Бога, что это вы всё извиняетесь и как будто намерены секретничать! Ведь мы говорим о Толстом, все, что он говорит вам, все это он прямо говорит мне; и он не станет кривить душой, как, я думаю, не кривит ею никогда.

Следовательно, вы, ради Создателя, без всяких галантерейностей и опасений, говорите всю правду, без всякой мысли о какой-то сплетне и т.п. Разве мы не можем рассуждать объективно о таком важном предмете, как искусство?!

Я, так же, как и вы, не согласен с ним во многом. И что это за обязательство для художника иметь непременно прогрессивное влияние на публику? А если он не мыслитель? Он может быть человеком не высокого образования и т.д. Нет, художникам, я бы скорее сказал им, как Христос по поводу детей — мудрецам: аще не смиритесь, не войдете в Царство Божие. И что дуться лягушке в вола, если Бог не дал грандиозных размеров! Лучше же просто, искренно, не мудрствуя лукаво передавать луч солнца на людей, если любишь его, если он тебя греет, — он согреет немножко и другого.

Право, столько резонерства, столько ходульных самолюбий, сухих, циничных в глубине души, и все это пускает в глаза пыль прогресса, чтобы ослепить своим превосходством простые добрые сердца!.. Я соглашусь с вами совершенно. Прекрасное

¹ Белозерова Л. Подвиг самоотвержения и любви. По симбирским дневникам генерала А. В. Жиркевича // Федеральная власть. 2007. № 4. С. 52–53.

есть великая вещь сама по себе. Как все явления природы существуют более сами по себе, и вести их в рабство перед одной идеей жестоко и несправедливо.

Я забыл, так ли был разговор у нас с Л. Н. по поводу моих картин, кажется, в этом роде; конечно, всякий человек воспринимает субъективно чужую мысль, а когда высказывает ее в споре, то иногда для выразительности своей идеи незаметно изменяет значительно. Ну да ведь это не беда, худого я не вижу. Я готов был бы в защиту своих произведений исписать целую десть бумаги, доказывая значительность тех идей, которые представлялись мне в них, но это было бы и глупо, и не тактично. Я уверен, что человек доброжелательный к моему воззрению найдет и сам мои идеи. А наше дело — образ. Надо дать образ тот, который рисуется у меня, который я понимаю и люблю по-своему, и пусть потом считают меня идиотом, не достойным доброго слова, — мне все равно. Я знаю, что образы эти переживут все премудрые измышления прогрессистов... Ах, некогда писать, да и отвык совсем...

Константин Михайлович¹ недавно читал мне статью о ваших «Картинках детства»², которую он намерен поместить в «Дне», очень тепло и хорошо написана.

Поклонитесь супруге вашей. Очень извиняюсь, что за ваше щедрое письмо и интересное для меня, я ответил скомканным и далеко не полным, как бы хотелось, ответом, — все некогда. Вот и сейчас еду в комиссию³ к 9 часам.

Посидим до половины первого.

Ваш И. Репин.

2

30 октября 1894

Да, дорогой Александр Владимирович, помимо всех благ, которые Государь сделал для нас, художников, и для меня в частности, я, еще раньше, просто обожал этого Монарха. Еще в

¹ *Фофанов Константин Михайлович.*

² Поэма А. В. Жиркевича (псевд. А. Нивин) «Картинки детства» (СПб., 1890). Позднее была переиздана с изменениями и дополнениями.

³ Комиссии по выработке нового Устава Академии художеств.

1883 году я писал одному приятелю в Чугуев: если бы Россия должна была выбирать себе царя из всех живущих ныне самых известных и выдающихся людей, она сделала бы самый лучший выбор, остановившись на Александре III. «У Саши душа чистая, как кристалл», — сказал про него его предшественник, покойный Наследник Николай Александрович. Боголюбов¹ тоже с юности знал эту правдивую, светлую душу, русскую, широкую, народную душу...

Сообщу вам несколько фактов из последних дней Государя; может быть, вы уже их знаете — земля слухом полнится.

Когда он узнал, что болезнь его неизлечима и дни его сочтены, он просил не беспокоить его докторами, лекарствами и диетой. От докторов запирался. И вопреки настоянию Захарьина² не выходить на балкон, сказал ему, что он останется на балконе по *Высочайшему повелению*. Заказывал любимые пирожки против предписания докторов и выливал чернила в мочу, чтобы избавиться ее от медицинского исследования. Как истинно русский человек, он искренне и горячо молился последние дни. Он был уже слаб, когда приехал отец Иван³ — не вставал с кресла. И все пришли в ужас, когда подсмотрели его, уединившегося для молитвы с о. Иваном, — Государь стоял на коленях и горячо молился с живым праведником. Как он стал на колени!! Невероятно!

Государь очень успокоился, когда увидел теперь Алису⁴, уже вполне взрослой; она ему чрезвычайно понравилась. «Ну, это будет хорошо», — сказал он и с Наследника взял слово, чтобы тот перевернулся на 3-й день после его похорон.

Он уже спокойно и просто готовился к смерти (как готовится благочестивый русский мужик). Потребовал сочинения манифестов на свою смерть и вычеркивал слова, относящиеся к восхвалению его личности. О всех делах выражал уже свою последнюю волю...

Петербург в трауре; но мне не нравится наш траур — много белого, коротенькие флажки, даже на конках, придают го-

¹ *Боголюбов Алексей Петрович* (1824–1896) — художник, учил рисованию будущего императора Александра III.

² *Захарьин Григорий Антонович* (1829–1897) — известный врач-терапевт.

³ *Иоанн Кронштадтский* (Иван Ильич Сергиев; 1829–1909), святой праведный — митрофорный протоиерей, настоятель Андреевского собора в Кронштадте, канонизирован Русской Православной Церковью в 1990 г.

⁴ *Виктория Алиса Елена Луиза Беатриса Гессен-Дармштадтская* (1872–1918) — будущая императрица Александра Федоровна, супруга императора Николая II.

роду какой-то шутливый тон. Куда грандиозней и впечатлительней был иллюминирован трауром Краков по случаю смерти Матейко!¹ Там развевались черные флаги массивной шерстяной материи. С полновесными кистями, на разных солидных древках и величиною во всю высоту трехэтажных домов. А наш траур какой-то куцый, с Апраксина рынка. Это большею частью белый коленкор с черными коленкоровыми же каймами, и куцый, куцый, так и трещит на ветерке, лоснясь изломами узкой штуки. «И дешево и сердито». Апраксинец бойко торгует.

Будьте здоровы.

Ваш И. Репин.

Мы будем смотреть похоронную процессию из окон Академии художеств. Повежут через Николаевский мост.

Патриотизма² Л. Толстого я не читал; зато вчера читал в сборнике «Путь-дорога» его повесть из времен первых христиан³, очень интересно; и особенно отрицательная сторона языческой доблести — неумолимо выражена. Христианская бледнеет.

И. Е. Репин в Вильне

Из дневника А. В. Жиркевича

22 октября 1893 г.
Вильна

19-го числа, сидя в судебной палате, я узнал от Катюши о телеграмме, в которой И. Е. Репин извещал меня о приезде ко мне. В 8 часов вечера я уже встречал его на вокзале, затем отвез его с Юрой⁴ к себе. Репин ночевал в моем кабинете и 20-го в 7 часов вечера выехал через Варшаву за границу.

¹ *Матейко Ян Алоизий* (1838–1893) — известный польский художник; Репин приехал в Краков на следующий день после его смерти.

² Статья Л. Н. Толстого «Христианство и Патриотизм».

³ «Ходите в свете, пока есть свет». Повесть из времен древних христиан. Сб. «Путь-дорога». СПб., изд. К. М. Сибирякова, 1893.

⁴ *Репин Юрий Ильич* (1877–1954) — сын И. Е. Репина от первого брака, впоследствии художник.

Незабвенная встреча с милым, простым и любящим меня Репиным встряхнула меня. Еще накануне я был болен, а тут ожил, помолодел душой, развеселился. И о чем только мы не разговаривали!! Литература, живопись были, по обычаю, главным предметом бесед. Репин сообщил удивительные новости о реформе в Академии художеств. *Мудрый* Государь внял советам графа Толстого¹ и наших лучших передовых художников. Репин назначается профессором, Шишкин, Маковский и др. из более молодых и свежих по таланту — тоже. Стариков, рутинеров — вон! Лето более пропадать не будет, как пропало теперь: предполагаются экскурсии художественными группами, работы на воздухе и солнце под руководством профессоров. Слушая Репина, у меня даже дух захватывало. Противодействие старой Академии было упорное, энергичное. Но все падает по воле Государя. Репин говорил мне со слов гр. Толстого, что неделю тому назад Государь на докладе о том, что реформы надо начинать с нового года, заметил <...>: «К чему медлить?! Начать сейчас же!» Ему доложили о неудобствах прерывать начатый курс и других препятствиях — и он согласился. Боже! Какое благодеяние, даруемое царем России в лице новой Академии... И как счастлив я, что Репин будет создавать свою школу!

Много говорили с Репиным об общих знакомых. Фофанов время от времени запивает. Как-то ночью он явился в квартиру Ильи Ефимовича ночевать и, когда новый швейцар не пустил его, затеял с ним драку. Плещеева уморило прежде времени богатство. По словам Ильи Ефимовича, покой старика был нарушен требованиями со всех сторон денег родней и знакомыми. По доброте он не умел отказывать, и вот его рвали на части, осыпали просьбами и упреками (богатая тема для нравоописательного рассказа во вкусе Л. Толстого).

Утром 20-го повел я Репина осматривать Вильну. Были мы с ним у Острых Ворот², где попали на богослужение, в Духовом и Троицком монастырях, в Кафедральном и Св. Янском костеле. Особенное впечатление оставила на него часовня Остра Брама и Св. Янский костел (первая — по молитвенному настроению толпы, вторая — по красоте и величию). Мы с Репиным возмущались распоряжениями местной администрации, обратившей ко-

¹ Толстой Иван Иванович (1858–1916), граф — государственный деятель, министр народного просвещения в 1905–1906 гг.

² Острые Ворота (Остра Брама) — сохранившиеся ворота городской стены и часовня с чудотворным образом Матери Божией Остробрамской.

стел в аукционные камеры, архивы, офицерские собрания. По желанию Ильи Ефимовича я свел его в аукционную камеру: там шел аукцион, зал был полон жидов, а со стен взидало на все скульптурное изображение Божьего ока, окруженное херувимами.

Позавтракав дома, мы наняли экипаж и с Катей и Юрочкой поехали по городу. Были на Антоколе, на Замковой Горе, смотрели «красный костел». Вид, открывающийся с Замковой горы на окрестности и самый город, привел Репина в такой восторг, что, по неоднократному его признанию, он не мог оторвать от него глаз. День был довольно пасмурный, осенний, даль закутывалась серо-прозрачными тонами. Куда ни взглянешь — всюду здания, горы, покрытые лесами, дачи, рощи... На Горе мы пробыли около $\frac{1}{2}$ часа, лазали в башню, где Репин поинтересовался заглянуть в книжку, которую читал солдат, караулящий пушку. Вообще Вильна по живописности своей произвела на Илью Ефимовича самое отрадное впечатление. Восторг его при зрелище с Замковой Горы был искренен. Он говорил о картине, которую можно было бы написать оттуда, и сам сознавал всю трудность ее исполнения.

Вернувшись домой к обеду, я читал, как накануне, Илье Ефимовичу отрывки из моей повести. Затем после чаю мы с Катей проводили на вокзал его, где расстались самым сердечным образом.

Будучи у нас, Репин восхищался брюлловским портретом¹ и рисунком Брюллова сепией. К портрету Брюллова он подходил раз десять, находил, что многие портреты Брюллова, хотя и написаны хорошо, не дают верного изображения тела человеческого, а в портрете, находящемся у нас, Брюллов достиг «тельности». Из прочих картин и рисунков, украшающих нашу квартиру, Репин одобрил вполне имеющийся у меня рисунок карандашом Ковалевского², найдя его «лучше многих его картин».

Нет возможности записать все беседы с Репиным об искусстве, да и незачем. Между прочим, он рассказал чудеса про фотографические снимки красками с его картин. Работы эти производятся в Экспедиции заготовления государственных бумаг. Рисунок Репина «Король Лир» из альбома Самойлова, бывший у В. Н. Герарда и о котором Репин узнал от меня, по словам Ильи Ефимовича, воспроизведен прекрасно. Подгуляла только, и то немного, синяя краска.

¹ Портрет Павла Васильевича Кукольника.

² *Ковалевский Павел Осипович* (1843–1903) — художник-баталист.

Вариант «Запорожцев» еще не кончен. Поразивший меня когда-то «Христос в пустыне», как «замазанный», по словам Илья Ефимовича, им брошен.

В своем Здравнёве будущим летом Илья Ефимович думает устроить съезд знакомых художников для совместной работы.

Говорили о Толстых, о портрете, который Илья Ефимович делал по заказу графини С. А. Толстой с Татьяны Львовны Толстой, о ста червонцах, поднесенных ему в корзинке Толстой. Репин считает ее «лгуньей». В мнения Л. Толстого о литературе Илья Ефимович не верит: он полагает, что Толстой не такой уж враг изящной литературы, каким хочет себя выставить.

В Духовом монастыре Репину понравилось *по работе* изображение святых над входом в пещеру, и он спрашивал, чья это работа, но я не мог ответить. Перед входом в пещеру я предупредил его, что у нас в Вильне принято целовать мощи трех мучеников. «Это не обязательно», — ответил Репин и, долго ходя вокруг раки, к мощам не приложился, хотя, выходя из пещеры, положил что-то в кружку у раки и перекрестился. Ему не понравился обычай снимать шапку под Острыми Воротами.

Я хотел завести Репина в рисовальную школу к Трутневу, зная, что это было бы событием для школы. Сначала он согласился, но потом подумал и не поехал. Он обещал привезти для этой школы этюд из Италии.

Я спрашивал Репина о цели путешествия в Италию. «Еду, чтобы рассеяться, освежиться», — ответил он.

Работы Резанова¹, которые у меня в квартире, Репин раскритиковал неумолимо. Про большую картину «Ай-Петри при восходе солнца» он сказал: «Мы с вами были в Крыму. Я зарисовал у себя Ай-Петри. Разве он такой? Все выдумка, сочинено!»

Из церквей по наружному виду ему понравились Никольская и Пятницкая, особенно последняя, в которой он заметил строгое соблюдение византийского стиля.

Про моего Гулю Репин сказал: «Какая у него славная голова!» Но, видимо, маленькие дети его интересуют мало!..

Про имеющуюся у меня фотографию с «Запорожцев» с наброском пером некоторых лиц Репин сказал, что — единственный экземпляр. Он впервые видел фотографию «Запорожцев» в рамке и интересовался поэтому ее видом.

¹ Резанов Виктор Михайлович (1829–1906) — художник-пейзажист.

Поездка А. В. Жиркевича в 1892 г. в усадьбу Здравнёво¹

25 августа 1892 г. Вильна

Провел несколько чудных деньков у Репина, в пятнадцати верстах от Витебска в его имении Здравнёво. Дом помещается в нескольких саженях от Западной Двины. Окрестности — одна другой красивее, поэтичнее. Мы много гуляли, разговаривая и споря, по окрестностям, починяли вдвоем дорогу, переправлялись на ту сторону Двины. Дочери Ильи Ефимовича часто нам сопутствовали (в отношении их к нему я с каждым годом вижу улучшение).

У Репина я застал его двоюродную сестру — монахиню Николаевского женского монастыря (что у Харькова) Олимпиаду Васильевну и познакомился, таким образом, с оригиналом той монахини, которая фигурировала на одной из (картинных) выставок². Мы жились за эти несколько дней совместного пребывания в Здравнёве. Она рассказывала, что Илья Ефимович пожертвовал в их монастырь третий экземпляр своего «Николая Чудотворца», что картина повешена в темноте и в ней мало кто понимает толк. Я заметил ей, что будет время, когда в монастырь станут заезжать только для того, чтобы взглянуть на картину Репина.

Илья Ефимович рассказывал мне, что купил Здравнёво за 12 тысяч, прельстившись красивой местностью³. На укрепление берега, размываемого Двиной, им уже затрачено около 1000

¹ Страницы дневника А. В. Жиркевича о поездке в Здравнёво восстановлены в полном объеме без купюр Н. Г. Жиркевич-Подлеских. В подготовке текста приняла участие сотрудница Центральной фрязинской библиотеки Ю. Чугунова.

² *Олимпиада Васильевна Борисова*. Ее портрет написан в 1887 г. и куплен Терещенко на Передвижной выставке 1888 года, которая проходила в Москва и Петербурге. Хранился в коллекции Терещенко. После национализации коллекции находится в Киевском музее Русского искусства (сведения сообщены Г. С. Чурак).

³ Репин купил Здравнёво на деньги, вырученные от продажи картины «Запорожцы». Картина была приобретена в 1892 г. императором Александром III за 35 тыс. руб.

рублей. Вообще он целый день водил меня по своему хозяйству, и я присутствовал при том, как веяли и сеяли рожь, скородили¹ ее, как просушивали ее в гумне. Репин весь ушел в хозяйство, и мне грустно было видеть, что за лето он всего только начал два портрета дочерей². Я заметил ему это, и Илья Ефимович заявил, что на будущее время станет посвящать лето занятиям живописью, наняв для хозяйственных работ управляющего. При нервном, порывистом и впечатлительном характере Репина его раздражает всякий пустяк, а в таком настроении никакая работа не пойдет на ум. Репин между прочим объяснил мне, что так утомлен был работой в Петербурге, что рад погрузиться в хозяйство — в виде отдыха. Он стоит за то, чтобы писать картины каждый день определенное число часов, независимо от того или другого настроения. На будущий год он мечтает посетить Италию, куда его неудержимо тянет³.

Незадолго до моего приезда Репин упал из брички, ушиб левую руку и разбил ноги до ран. Несмотря на общие просьбы, он не соглашается позвать доктора, а раны (я их видел) имеют ужасный вид.

У Репина живет теперь в деревне его отец-старик⁴, по замечанию Ильи Ефимовича, впавший в детство. Он его оставляет на зиму в деревне. Старик бродит по имению; при встрече со мной он раскланялся, хотя Илья Ефимович уверяет, что он ничего не понимает.

Репин задумал написать в будущем много типов из местных жителей Здравнёва. Между прочим, еврей, арендующий у него коров, предназначен им для этюда «Иуды».

У Ильи Ефимовича возросло недоверие к рассказам о современных знаменитостях. Он буквально ничему не верит и даже раздражается, когда начинают рассказывать про несомненные факты. «Враки! Ерунда! Неправда!» — так и сыплется из его уст. Для меня непонятна эта упрямая нетерпимость к рассказам о частной жизни известностей. Я дал слово не затрагивать этой

¹ Скородить — боронить.

² «Осенний букет» (портрет В. И. Репиной) и «Охотник» (портрет Н. И. Репиной). Оба портрета написаны в 1892 г. и были выставлены на XXI Передвижной выставке 1893 г.

³ Намерение посетить Италию Репин осуществил в конце следующего, 1893 г. По дороге в Италию, куда Репин отправился вместе с сыном Юрой, на одни сутки (19 и 20 октября 1893 г.) он останавливался в Вильне у Жиркевича.

⁴ Репин Ефим Васильевич (1804–1894).

жизни в разговорах с Репиным. Не пострадал ли уж он сам от этих рассказов о его собственной жизни?!

Репин все время был очень дружелюбен и откровенен со мной. Он много рассказал мне интересного о Толстом и его семье. (Сам ведь любит рассказывать про жизнь Толстого, а не верит чужим сообщениям о том же Толстом!)

В отношении Репина к доктринам Толстого я вижу большую перемену. После поездки к Толстому в места голодовок¹ Репин совсем иначе отзывается об учении Толстого, говоря, что Лев Николаевич высказывает мысли, отличающиеся незрелостью и детской восторженностью. Еще зимой, при мне споря с Фофановым об учении Толстого, он защищал это учение. Репин теперь бранит толстовскую философию и бранит не без оснований. Очевидно, Репин прошел в отношении Толстого те же периоды душевных переживаний, что и я. Он был сначала очарован личностью Толстого при первых свиданиях, а затем стряхнул с себя это обаяние Толстого и взглянул на его проповедь критически.

По словам Репина, Толстой глубоко и искренно верит в то, что учение его произведет нравственный переворот в людях. Толстой не любит, когда с ним спорят на эту тему и возражают. Репин попробовал было заметить, что он, Лев Николаевич, ничего не добьется своим учением. Тогда Толстой страшно рассердился, покраснел и заявил, что такой взгляд вытекает у Репина из недостатка веры. Вообще, как мы заметили, Толстой не любит споров. Репин уверяет, что в Толстом нет театральности и что он глубоко искренен.

Графиня Софья Андреевна Толстая жаловалась Репину на неряшливость, с которой стал одеваться Лев Николаевич. Она с грустью вспоминала то время, когда муж ее любил одеваться щегольски, капризничал в выборе портного (только известных), любил только известные духи, ездил в изысканных экипажах и тому подобное.

Графиня говорила, что у нее переписаны набело все письма к ней мужа, начиная с первого, где он объясняется ей в любви, и кончая письмами из газет с мест голодовок (подлинники же хранятся в Румянцевском музее), — так что издать эти письма очень легко.

Толстой до сих пор, хотя и с перерывами, ведет свой дневник.

¹ В феврале 1892 г. в Данковский уезд, Рязанской губ.

Будучи у Толстого в один из последних разов, Репин был свидетелем особой впечатлительности Льва Николаевича. Скульптор Гинцбург, лепивший тогда бюст Толстого и известный умением комично рассказывать, привел Толстого в такое искреннее восхищение, что он хохотал, как ребенок. Мало того, Толстой настолько следил за рассказом, что делал разные смешные гримасы, соответствовавшие содержанию рассказа¹.

Теперь у Толстых происходит раздел²: Лев Николаевич и Мария Львовна³ отказываются от имущества. Практичная графиня Софья Андреевна берет к себе под опеку часть дочери — на случай, если та «одумается». Ясная Поляна остается за графиней, которая будет жить там с меньшим сыном⁴. Ввиду раздела, Льву Николаевичу приходится подписывать разные бумаги, то есть невольно нарушать свои взгляды...

Лев Толстой рассказал Репину интересный эпизод из своего детства. Детство его прошло в Ясной Поляне в интеллигентной среде, где в 30–40-х годах много было разговоров о славянах, об объединении их всех и т.п. Дети прислушивались к этим горячим беседам и сами мечтали совершить что-то.

Толстому было лет десять, когда, во главе с братом его Николаем⁵, он и прочие малолетние члены семьи тщательно закопали в одном лесистом овраге около имения «зеленую палочку».

Дети верили, что, когда эта палочка будет отыскана, славяне соединятся, на земле наступит мир, любовь, согласие и т.п. Толстой показал это место Репину, и тот снял с него этюд, а также нарисовал Толстого (во весь рост, босиком, портрет не выставлялся) около этого оврага, в лесу⁶. Лев Николаевич сознавался Репину, что каждый раз, когда проходит по оврагу, вспоминает

¹ Об этом писал в своих воспоминаниях и скульптор И. Я. Гинцбург: «Я вижу, как он (Л. Н. Толстой) глазами и ртом повторяет мою мимику. Это меня смешит, но придает мне больше смелости, и я показываю весь свой репертуар» (И. Я. Гинцбург. Из прошлого. Воспоминания. Л., 1924. С. 104).

² 7 июля 1892 г. Л. Н. Толстым был официально подписан отдельный акт, по которому вся недвижимая собственность перешла от него к жене и детям.

³ *Толстая Мария Львовна* (1871–1906) — дочь Толстого, в замужестве княгиня Оболенская. Из всех старших детей была наиболее духовно близка отцу.

⁴ *Толстой Иван Львович* (1888–1895) — младший сын Толстых «Ваничка»; по общему мнению, это был необычайно одаренный и отзывчивый мальчик.

⁵ *Толстой Николай Николаевич* (1823–1860).

⁶ Точное место, где была зарыта «зеленая палочка», неизвестно, но на склоне этого оврага в Старом Заказе, по завещанию Толстого, в 1910 г. он был похоронен.

и брата Николая, и детство свое, и эту детскую игру в «зеленую палочку».

Миша Стахович¹ рассказывал Репину о своем путешествии с Толстым пешком из Москвы в Ясную Поляну. Стахович надевал простые мужицкие сапоги, которые скоро растравили ему до того ноги, что он не мог идти дальше, и как ни пытался скрыть боль ног от Льва Николаевича, но в конце концов вынужден был заявить с мукою это. Какой-то мужик окрутил ему ноги онучами и снабдил его лаптями, а Толстой до сих пор отзывается о Стаховиче с презрением, как об изнеженном барчонке².

Будучи теперь у Репина, я прочел «Первую ступень» Толстого³. Описание бойни поразило меня своей потрясающей правдой. Казалось бы, ограничься Толстой одним этим описанием, и заметка произвела бы более ужасающее, неизгладимое впечатление, чем производит теперь. Эту мысль мою я сообщил Репину. Оказалось, что и он то же самое сказал Толстому, но Лев Николаевич находит, что вся сила заметки — в рассуждениях, а не в картине бойни. Что поделаешь с ним?!

В разговорах со мной Репин сообщал и кое-что о себе (вообще же он не любит касаться своих работ и прошлого). Детство его прошло на берегах Донца. Купаясь однажды с мальчишками в этой реке, он чуть не утонул. Именно, нырнув глубоко и уже подымаясь вверх, он вдруг почувствовал, что что-то мешает ему подняться и придерживает в реке. Оказалось, что это был затонувший плетень, который едва не погубил Илью Ефимовича.

Будучи недавно в Москве, Репин зашел в гостиницу «Славянский базар», в концертной зале которой висит картина Ильи Ефимовича (без надписи) — портреты русских знаменитостей⁴. Рассматривая картину, Репин спросил лакея:

¹ *Стахович Михаил Александрович* (1861–1923) — помещик, государственный и общественный деятель, близкий знакомый Толстого

² Толстой ходил пешком из Москвы в Ясную Поляну вместе с М. А. Стаховичем и Н. Н. Ге (сыном художника) в апреле 1886 г.

³ Статья «Первая ступень» в защиту вегетарианского образа жизни и воздержания впервые напечатана в 1892 г. в журнале «Вопросы философии и психологии». Отказ от мяса, по мнению Толстого, первая ступень на пути духовного возрождения человека.

⁴ Картина «Славянские композиторы» — групповой портрет русских, польских и чешских композиторов была написана Репиным в 1871–72 гг. по заказу А. А. Пороховщикова.

— Кто писал картину?

— Иностраный художник, — ответил тот без запинки.

Репин не продал своего второго экземпляра «Крестного хода». На вопрос мой о причине не сбыта картины он ответил: «Картина эта писалась мною долго. Двенадцать лет тому назад она имела бы огромный интерес, а теперь уже несовременна».

Репин любит ходить по картинным галереям и выставкам один, чтобы никто не нарушал его созерцания предметов искусства. (Я вполне разделяю этот взгляд.)

Какой увлекающийся человек Илья Ефимович! При мне он одолел новый роман Дедлова¹ «Сашенька», который по его просьбе был прочитан и мной. Прочтя первые главы, Репин пришел в восторг и уверял, что Дедлов вывел тип равный Облому. Последние же главы и конец романа разочаровали, и Репин не может простить Дедлову такого бестолкового заключения работы, начатой с несомненным талантом.

Репин скрывает от детей, за сколько проданы им государю «Запорожцы». Он, между прочим, негодует на то, что когда государь захотел во дворце посмотреть на эту картину, то ему ее показали без рамы при дурном освещении, тогда как Репин просил в таком случае пригласить предварительно его для надлежащей установки картины.

Сестра Репина — монахиня — сообщила мне, что находит большую перемену в брате за последние пять-шесть лет. (Он стал менее откровенен, более вспылчив.) Она рассказывала мне о том, как он выписал ее в первый раз, сейчас же после разрыва с женою...²

Репин говорил мне, что перезнакомился со всеми знаменитостями Питера. Его тащил к Достоевскому один, как выражается Илья Ефимович, «паршивец» — почему он и отказался от знакомства при таком посредстве.

Репин стал употреблять одно выражение: «Размягчить бы ему темя шомполом».

Лицо Николая Чудотворца было написано Репиным с поэта Майкова.

¹ *Кигн-Дедлов Владимир Людвигович* (1856–1908) — прозаик, публицист, критик; литературный псевдоним выбрал по названию белорусского села Дедлово, где находилось его родовое поместье.

² Разрыв с женой Верой Алексеевной Репиной, с которой у него было три дочери и сын, произошел в 1887 г.

После меня¹ в «Запорожцах» фигурировал художник Ционглинский², но Репин и им не удовлетворился, выкинув из картины.

Относительно «Запорожцев» и портрета Т. Шевченко Репин пользовался указаниями В. М. Белозерского³, по его замечанию, «очень ценными». Белозерский нашел, что Репин сделал Тараса с лицом слишком нежным, белым⁴.

По замечанию Репина, Толстой, записав себя в вегетарианцы, по целым дням что-нибудь жует — и это вошло у него в привычку.

В Здравнёве Илья Ефимович встает в 4–5–6 часов и хлопочет по хозяйству. В 7 часов — чай. В час — завтрак. В 3 часа опять чай. Обед в 7 часов вечера. В 9 все ложатся спать.

Читает Илья Ефимович, как всегда, много. При мне он рисовал портреты дочерей, и я был снова свидетелем того, как создает Репин свои чудные портреты.

Он намерен написать портреты Владимира Герарда⁵ и Утина (у последнего он находит сходство с Мефистофелем)⁶.

Он рассказывал даже, в какой позе изобразит Владимира Николаевича Герарда.

Мы сидели с Репиным на берегу Двины и наблюдали за работами по укреплению набережной. Проходили бурлаки, тянувшие баржу. Я заметил Репину, отчего бы ему не написать новую картину «Бурлаки». Он сознался, что и ему приходила эта мысль в голову: «Не повторить ли в самом деле “Бурлаков”», — заметил он. Я всячески уговаривал его написать новую картину, тем более что, по его наблюдению, первая картина уже пожухла, выцвела. Кажется, он решил на будущий год заняться этой вещью. В альбомы он заносит кое-что относящееся до бурлаков. Картина тянувших по жаре двенадцати бурлаков была очень красноречива и эффектна.

¹ Одно время Репин начал писать с Жиркевича молодого поляка, но потом отказался, посчитав облик Жиркевича слишком «благородным».

² *Ционглинский Ян Францевич* (1858–1912) — художник, впоследствии академик живописи.

³ *Белозерский Василий Михайлович* (1823–1899) — литератор, лично знал Шевченко.

⁴ Портрет Шевченко написан был Репиным для домика на могиле поэта, на Днепре: демонстрировался на персональной выставке 1891 г.

⁵ *Герард Владимир Николаевич* (1839–1903), известный русский адвокат, отличавшийся редким красноречием.

⁶ Портрет Евгения Исааковича Утина (1843–1894), адвоката и публициста, написан не был.

Вообще жилось мне у дорогого Ильи Ефимовича прекрасно. На вокзал он отвез меня в собственной бричке и на своих лошадях, сам ими правя. По дороге мы много говорили о природе, об искусстве, о красоте в природе и в жизни, о ересея Толстого по этой части. Время пролетело незаметно; жара и пыль как бы для него не существовали. Репин разбивал в прах теории Толстого об искусстве. Я давно не видел его таким пыльным, красноречивым, сияющим, духовно прекрасным. По глубокому убеждению Ильи Ефимовича, все попытки Толстого свернуть русскую жизнь в сторону — «бесполезны и глупы». Красота, которую отрицает Толстой, была, есть и будет и никогда не перестанет играть роль в жизни человечества и отдельных людей. Указывая на синее небо, на поле ячменя, переплетенного васильками, мимо которого мы проезжали, Репин воскликнул: «Ведь существует же вся эта красота для чего-нибудь! Ведь знал же Бог, что делал, создавая и это небо, и этот ячмень с васильками».

Много мы говорили о литературе, о ее значении. Я высказал мысль, что теории Толстого исказили в наши дни много прекрасных произведений и исказят их еще большее число; что я, как только берусь за перо, чувствую подавляющее влияние Толстого, хотя и борюсь с ним. Репин согласился с моим взглядом. Репин ждет от моего таланта многого. Исполню ли я хоть часть того, что ждет от меня?!

Мы тепло расстались с дорогим Ильей Ефимовичем. Он несколько раз поцеловал своего «старого приятеля», как он зовет меня, и отправился в город с мужиком — покупать сбрую для лошадей и разные вещи для хозяйства.

26 августа 1892 г. Вильна

Вспоминаю разговор с Репиным о Толстом, который в разговоре со мной высказал тот взгляд, что картины без идейного содержания — этюды и пейзажи — ни к чему не годны. Репин с этим не согласен. По его словам, пейзаж дорог не потому только, что изображает верно природу, а потому, что в нем отражается впечатление художника, его субъективное отношение к природе, понимание ее красот. Этюды имеют значение для изучения быта, нравов и т.п. Какая-нибудь старинная картина, находящаяся теперь, проливает подчас свет на жизнь прошлого вре-

мени. Типы, костюмы, обычаи меняются, забываются, являются пробелы в истории культуры, а живопись часто пополняет их, эти пробелы.

7 сентября 1892 г. Вильна

Вспомнил, как Репин рассказывал мне, что, увлекшись проповедью Толстого о вегетарианстве и его примером, он сам попробовал не есть мяса (у меня есть и письмо, где он пишет о том же). Недели через три он стал чувствовать боли в спинном хребте и пояснице, которые с каждым днем усиливались. Только съев бифштекс, Репин вылечил себя, и теперь он против вегетарианства.

В Репине еще много грубого под приличной внешностью. Он бывает невозможен, когда вспылит, — а это с ним случается часто. В Здравнёве при мне он обругал старшую дочь «дурой». А сколько раз я видел его говорящим, себя не помня.

Еду в Ясную Поляну!!

А. В. Жиркевич и Д. А. Милютин Переписка

Подготовлено М. И. Щербаковой

1.

А. В. Жиркевич — Д. А. Милютину

*Ялта. 9 октября 1890
На Ливадском шоссе, дача Кикина,
бывшая Всеволожской.*

Ваше сиятельство!

Простите меня за то, что, будучи только скромным капитаном военно-судебного ведомства, я решаюсь утруждать вас своим приношением! — Дело в том, что, давно уже занимаясь литературой, я недавно выпустил в свет мою поэму «Картинки детства», скрыв свое настоящее имя под псевдонимом *Нивина* — так как, будучи военным, я не мог печатать ее без разрешения начальства в ином виде. — Поэма моя обратила уже на себя внимание многих органов печати и вызвала очень сочувственные отзывы со стороны лучших представителей нашей литературы (Гончарова, Апухтина, Полонского и др.) — все это придает скромному труду моему известную цену... Вот почему я и решаюсь просить ваше сиятельство не отказать мне, автору поэмы, в чести и удовольствии принять почтительнейше прилагаемый при сем один экземпляр ее.

Хотя я, конечно, не имею счастья знать лично ваше сиятельство, и даже никогда не удостоился вас видеть, кроме как на портретах, но с личностью вашей с детства связано для меня много заветного! — Будучи на школьной скамье, а затем на военной службе, я благоговел перед вами как перед участником в великих реформах прошлого царствования. Поступив в военно-юридическую академию, президентом которой вы состоите, и постоянно слыша ваше имя во время прохождения курса, я еще

более полюбил вас и чту вас: любовь эту и это почитание я, как семейный человек, завещаю моим детям!..

С каким трепетом я ждал случая увидеть ваше сиятельство в тот приезд ваш в академию, когда, года четыре назад, вы, посетив начальника академии, не зашли в аудитории... Горе слушателей, в том числе и мое, не поддается описанию!..

Теперь, приехав лечиться в Ялту, я привез один экземпляр моей поэмы для вас. Примите же его в знак моей горячей заочной любви к вашему сиятельству! — Пусть этот дар послужит вам вместе с тем и знаком моего глубокого к вам доверия: другому высокопоставленному лицу — не вашему сиятельству — я, как военный, побоялся бы сделать такой подарок и писать подобное письмо, чтобы не навлечь на себя разные неприятности за этот поступок, который могли бы счесть дерзостью!..

Но вы, ваше сиятельство, поймете то чистое чувство, которое руководит мною. Вы не сочтете неуместным шагом мою смелость.

Письмо это не ждет ответа. — Я уже счастлив одною мыслью, что книга моя, где я описываю свое детство, будет у вас в руках.

Примите, ваше сиятельство, уверение в безграничной любви к вам и уважении покорнейшего слуги вашего

Александра Жиркевича.

ОР РГБ. Ф. 169. Оп. 63. Ед. хр. 61. Л. 1–2 об.

2.

А. В. Жиркевич — Д. А. Милютину

*Г. Вильна
5 марта 1899*

Ваше сиятельство граф Дмитрий Алексеевич!

Несколько лет тому назад, в бытность мою в Крыму, вы удостоили принять от меня мою поэму «Картинки детства» (А. Нивина) и ответили мне милостивым письмом, которое я сохраняю, как святыню, для детей моих.

На днях издал я новый томик моих стихотворений, где есть несколько вещиц, посвященных Крыму, в котором вы живете.

Позвольте мне, военному юристу — одному из сотен таких же военных юристов, получивших образование в созданной вашим сиятельством военно-юридической академии и благоговейно вас чтущих, — поднести вам почтительно один томик упомянутого сборника «Друзьям» в надежде, что вы примете его так же благосклонно, как и поэму мою «Картинки детства».

Решаюсь просить вас об одном: пришлите мне вашу фотографическую карточку с вашей подписью: я сохраню ее навсегда среди самых заветных сувениров, служащих для меня утешением в минуты скорби!..

Уже одна смелость, с которою еще раз решаюсь беспокоить вас и моим скромным подношением, и просьбою, да послужит вашему сиятельству удостоверением тех высоких чувств любви, доверия и уважения, с какими ношу в сердце моем ваш образ.

Вашего высокопревосходительства покорнейший слуга

А. Жиркевич.

Мой адрес: в г. Вильну, военно-окружной суд. Полковнику Александру Владимировичу Жиркевичу.

ОР РГБ. Ф. 169. Оп. 63. Ед. хр. 61. Л. 3–4.

3.

А. В. Жиркевич — Д. А. Милютину

Г. Вильна. 23 июня 1899

Ваше сиятельство!

Вы изволили принять благосклонно две книги моих стихотворений и удостоить меня ответом. Позволяю себе поэтому поднести вам и третью книгу, только что вышедшую, в которой снова несколько стихотворений посвящено Крыму.

Прощу вас принять этот скромный дар как слабый знак того высокого уважения и любви, с каким я, военный юрист, окружаю имя ваше!

Для меня было бы величайшим счастьем, если бы ваше сиятельство подарили бы мне ваш портрет с вашим автографом. Я сохранил бы его до конца жизни, как святыню, и завещал бы детям моим хранить в семье — в качестве фамильной драгоценности.

Прошу извинить меня за мою просьбу, которую другой принял бы за дерзость. Но я знаю душу и сердце ваше и стучусь туда бестрепетно.

Вашего сиятельства покорнейший слуга

А. Жиркевич.

Мой адрес: г. Вильна. Военно-окружной суд. Полковнику Александру Владимировичу Жиркевичу.

ОР РГБ. Ф. 169. Оп. 63. Ед. хр. 61. Л. 5–5 об.

4.

А. В. Жиркевич — Д. А. Милютину

Г. Вильна

12 июля 1899

Ваше сиятельство!

Приношу вам мою почтительную благодарность за благосклонное принятие двух частей моих стихотворений «Друзьям» и за фотографию, столь любезно мне подаренную. Передам и моим детям, чтобы, глядя на черты ваши, они знали, что отец их имел счастье пользоваться вниманием одного из величайших людей великого царствования Александра II.

Вашего сиятельства покорнейший слуга

А. Жиркевич.

ОР РГБ. Ф. 169. Оп. 63. Ед. хр. 61. Л. 7.

5.

А. В. Жиркевич — Д. А. Милютину

Г. Вильна.

18 октября 1899

Ваше сиятельство!

Вы изволили до сих пор так благосклонно относиться ко мне и принимать в дар мои произведения, что я не могу отказать

себе в удовольствии поднести вам только что вышедший том моих «Рассказов». Примите его в знак моего беспредельного почтения и любви!..

Недавно гражданское судебное ведомство удостоилось высочайшего рескрипта, которым отмечено его честное многолетнее служение делу отечественного правосудия... А мы, военные юристы, столько же лет послужившие тому же делу правосудия, только в войсках, не услышали ободряющего слова. Но неужели же мы его никогда не услышим?! Едва ли я преувеличу, сказав, что выносить судебную реформу на своих плечах нам пришлось при гораздо более тяжелых условиях. Всегда военное начальство смотрело на нас косо, а военные нас не любили как лиц, порой непрошено заглядывающих в темные уголки военной жизни... Но сколько преступлений выплыло на свет Божий благодаря военным юристам, сколько преступлений не совершено из боязни нашего нелюбимого суда, какую законную, правильную окраску давали мы многим сторонам военного быта!! Тем не менее до сих пор есть враги, которые молчат о наших мирных подвигах и стараются умалить значение наших скромных заслуг... Я не буду называть их: вашему сиятельству имена врагов этих хорошо известны...

И вот теперь, когда судебное гражданское ведомство удостоилось царского слова, мы, военные юристы, находились в положении лиц, если и не служивших плохо, то будто бы недостойных поощрения... А как такое поощрение подняло бы наш дух, укрепило бы наше положение в войсках!! Наконец, разве не было бы поощрение нашей деятельности простым актом справедливости?!

За все эти дни, когда гражданское судебное ведомство торжествует и свысока смотрит на нас, многое наболело в моем сердце... Ваше сиятельство! Года два тому назад я имел возможность уйти из нашего военно-судебного ведомства — на более выгодное место. Но я остался лишь потому, что уважаю мой мундир, хочу служить в той среде, которая творит подвиги, ни от кого не получая поощрений и наград вне обычных рамок. Часто в эти дни я вспоминал и ваше сиятельство, призвавшего ведомство наше к жизни и вдохнувшего эту жизнь настолько прочно, что десятки лет вражды к нам, недоброжелательства и замалчивания не могут сбить нас с пути закона, правды и чести, нам вами указанному...

Ваше сиятельство! Не сочтите только это за дерзость, за грубое посягательство на ваш покой!! Все эти дни не один я, верно, вспоминал о вас, будучи убежден, что слово ваше в защиту нашу и теперь имело бы силу. Скажите, ваше сиятельство, слово это, дайте нам возможность получить — как законную, заслуженную милость — удостоверение, что и мы, военные юристы, служили многие годы Царю и Отечеству по долгу присяги, по чувству совести. Если бы вы напомнили о нас обожаемому государю, то я уверен, что о нас не забыли бы во дни, когда торжествует гражданский суд!

Пишу к вам с полным доверием, как сын к многолюбивому отцу, как человек, твердо верующий в идеалы, которые вы же вложили в основу нашего ведомства. Письмо мое, конечно, не подлежит огласке — не из страха наказания за то, что я позволяю себе беспокоить ваше сиятельство, а потому что к голосу моему, как к голосу военного юриста, отнесутся с сомнением.

Вашего сиятельства покорнейший слуга, чтущий и любящий вас

А. Жиркевич.

Мой адрес: Вильна. Военно-окружной суд.
Полковнику Александру Владимировичу Жиркевичу.

ОР РГБ. Ф. 169. Оп. 63. Ед. хр. 61. Л. 9–10 об.

6.

Д. А. Милютин — А. В. Жиркевичу

30¹ октября 1899

Милостивый государь Александр Владимирович!

Получив при письме вашем от 18 сего октября экземпляра нового труда вашего под заглавием «Рассказы», приношу снова искреннюю благодарность за ваше любезное внимание.

¹ Было: 29.

Мне было истинно приятно найти в письме вашем теплые выражения привязанности и любви к той специальной службе, которой вы себя посвятили. Вы не ошибаетесь в своем убеждении, что и мне близко к сердцу военно-судное ведомство, которое своею честною, безукоризненною деятельностью в течение более тридцати лет вполне оправдало благие надежды¹, возлагавшиеся на реформу 1867 года. Поэтому вы, конечно, не сомневаетесь в том, что мне было бы столько же прискорбно, как и вам, если б этой почтенной² службе, действительно, не отдавалась должная справедливость в общественном мнении, если б и в самом деле на нее смотрели враждебно. Но позвольте в этом случае не согласиться с вашим мнением. Сколько мне известно, нынешнее устройство у нас военно-судной части не только заслужило общее одобрение и доверие, но даже ставится в образец западным государствам, особенно ныне, после недавних печальных фактов и скандалов во Франции. Поэтому едва ли существует необходимость какого-либо всенародного громкого одобрительного заявления свыше нашему военно-судному ведомству, как бы в виде оправдания его, по примеру последовавшего недавно такого заявления гражданскому суду. Быто может, это заявление и было вызвано каким-либо особым, случайным поводом; но подобного повода в военно-судном ведомстве, как мне кажется, не представляется. При этом замечу, что это последнее учреждение, составляя нераздельную часть ведомства военного, может приравнивать себя никак не к гражданскому суду, а к другим отделам военного управления, которые в свою очередь могли бы сопоставлять себя с военно-судовым отделом. Более того: тогда только военно-судебная часть может оправдывать свое существование и пользоваться сочувствием в военном ведомстве, когда оно тесно объединено с последним и с самою армией.

Надеюсь, что вы, как истинный судья, не посетуете на меня за то, что высказываю откровенно мнение, несогласное с вашим, и прошу вас верить истинным чувствам моего к вам уважения и преданности.

ОР РГБ. Ф. 169. Оп. 52. Ед. хр. 55. Л. 1–2 об.

¹ *Было*: высокие надежды.

² *Было*: почет<ной>.

7.
А. В. Жиркевич — Д. А. Милютину

Г. Вильна.
28 февраля 1900

Ваше сиятельство!

Почтенное и любезное письмо ваше, относящееся к нашему военно-судебному ведомству, я давно имел счастье получить. Вы любите правду, и я не смею лгать перед вами... Поэтому я позволю себе доложить, что многое изменилось в нашем ведомстве с тех пор, как вы удалились от дел, и ведомство наше уже не пользуется тем уважением, которым пользовалось когда-то. Врагов у нас более, чем друзей; в другие ведомства перевод нам почти невозможен; отсутствие предельного возраста делает наше положение крайне тяжелым и безрадостным; содержание, достаточное в низших чинах, сравнительно с окладами в других ведомствах (например, для военных судей), прямо жалкое... На днях я еще имел лично возможность убедиться, как на нас смотрят в строевых частях и как строевое начальство радо было бы уничтожить военно-окружные суды и вернуться к прежним аудиториатам.

Вы изволили писать, что выделить каким-либо рескриптом или благодарностью наше ведомство значило бы обидеть другие отделы военного министерства... Но вот мы дожили до юбилея интендантского ведомства, которое удостоилось рескрипта. Больно отозвалась эта милость в моем сердце! Припомнились дела об интендантах, действия некоторых интендантов в последнюю кампанию, взгляд общества и народа. Нет, мы не дождемся такого юбилея — хотя наше ведомство, если покопаться в исторических материалах, помоложе интендантского, а уж безупречнее его, чище в прошлом — это на верное! Но интендантство поставлено в другие условия, в другие отношения к строю, чем мы. Нам суждено вечно касаться больных мест военной службы, иметь дело с ее порочными элементами, тревожить интимную сторону военного быта. Как деликатно ни являйся в часть в качестве следователя, как ни старайся не затрагивать того, что выходит из рамок дела, — строевое начальство, само же пригласившее вас на следствие, упрямо видит в вас врага... И если вы заговорите о законе, о правосудии, о гуманности — то вам укажут, что все

это несовместимо порой с условиями военного быта... Порой бывает невозможно идти на компромисс, исполняя закон. И вот — вы уже в рядах врагов строя! Поверьте, что это так. Я не лгу и не преувеличиваю... Тяжело все это описывать! И простите, ваше сиятельство, за смелость, с которой пишу вам, вызванной вашим последним письмом и милостивым разрешением излить перед вами мою душу. Я люблю мое ведомство и, служа в нем, страдаю ежедневно, не видя исхода, ни на кого не надеясь.

Позволяю себе поднести вашему сиятельству только что изданную вновь поэму мою «Картинки детства». Один экземпляр я представил в Академию наук — на соискание Пушкинской премии. Я уже не первую книгу подношу вам, удовлетворяя тем потребность выразить вам хоть в этих слабых знаках чувство беспредельного почитания и любви, которыми переполнено в отношении вас мое сердце уже многие годы.

Желая напомнить обществу о нашем ведомстве и о первых его шагах — после создания нашей военно-юридической академии, — я задумал труд, в котором хотел бы изложить историю возникновения нашей академии и ту жизнь, которая кипела в ней в первые годы, когда вы руководили ее деятелями в качестве военного министра. Мне хотелось бы выразить возможно полнее личное ваше отношение к академии, к ее профессорам, слушателям... Я стал собирать материалы, необходимые для этого труда, и нашел весьма немного. Быть может, у вашего сиятельства хранятся письма или документы, относящиеся к деятельности академии, характеризующие и деятелей этих, и эпоху первых лет существования академии, — например, К. Д. Кавелина¹ и других светлых личностей? Был бы счастлив, если бы вы доверили мне этот материал для снятия копий. Я его отослал бы в полной сохранности. Если бы, по мнению вашему, такая статья была бы несвоевременна, то я, написав ее, сохранил бы ее до того времени, когда оглашенные материалы никого бы не задели.

Я слышал, будто бы ваше сиятельство написали ваши воспоминания. Быть может, там есть страницы, касающиеся и нашего ведомства?

¹ *Кавелин Константин Дмитриевич* (1818–1885) — русский правовед, историк, публицист.

Не сочтите за дерзость мою просьбу! Но и последнее письмо ваше дышит уважением к нам, военным юристам, уважением к нашему тяжелому и неблагодарному труду. Вам не может не быть дорога мысль о задуманном мною сочинении! Помогите мне выполнить мою задачу возможно полнее и правильнее!

Вашего сиятельства покорнейший слуга, чтущий и любящий вас

Ал. Жиркевич.

Мой адрес: Вильна. Военно-окружной суд.
Полковнику Александру Владимировичу Жиркевичу.

ОР РГБ. Ф. 169. Оп. 63. Ед. хр. 61. Л. 11–12 об.

8.

Д. А. Милютин — А. В. Жиркевичу

9 марта 1900

Милостивый государь Александр Владимирович!

Примите искреннюю мою благодарность за присланный при письме от 28 прошлого февраля экземпляр нового издания ваших стихотворений.

С удовольствием узнал о намерении вашем предпринять историческую работу относительно учреждения военно-юридической академии. Очень было бы желательно появление такого же труда и вообще относительно всей нашей военно-судебной реформы, о которой до сих пор, сколько мне известно, не сохранилось никаких следов. Курьезно, что о ней нигде не упоминается, даже в таком специальном издании, как Энциклопедия военных и морских наук.

Очень охотно исполнил бы я ваше желание получить от меня кое-какие данные, могущие послужить материалом для предполагаемого вами труда. К сожалению, решительно ничего не нашел в моих бумагах и <письмах>.

Прошу принять выражение истинного моего уважения и преданности.

ОР РГБ. Ф. 169. Оп. 52. Ед. хр. 55. Л. 3–3 об.

9.
А. В. Жиркевич — Д. А. Милютину

Г. Вильна.
27 марта 1900

Ваше сиятельство!

Чувствую всю дерзость, с которой позволяю себе еще раз, последний, беспокоить вас моей почтительнейшей просьбой! Исполните ее, если возможно!..

Я имел счастье получить ласковое, ободряющее письмо ваше, в котором вы пишете, что в бумагах ваших не нашлось материалов для истории создания нашей военно-юридической академии. Но гораздо важнее для меня различных документов узнать, как создалась наша академия — по единому ли почину вашего сиятельства или так, как создаются в России подобные учреждения, т.е. путем комиссий, разработки проектов и т.п.? Несмотря на все мои старания, я не нашел в архивах указаний по этому вопросу. Смею думать поэтому, что академия наша создалась вдруг; но не имею для такого вывода положительных данных. Между тем это вопрос для меня как составляющего историю возникновения академии крайне важный. Если не было подготовительных работ, то, значит, мне не за чем тратить на поиски этого материала золотого времени.

Ради Бога, ваше сиятельство, помогите мне в моем труде советом и указанием!.. Смею надеяться, что вы, вдохнувший в академию жизнь и интересующийся задуманным мною очерком, не оставите меня без руководства. Где искать материалы, и живы ли лица, у которых я мог бы почерпнуть сведения? Кто эти лица? Не можете ли сообщить, как создалась академия и влияли ли на ее возникновение другие лица, кроме вашего сиятельства? Были ли враги академии, не желавшие ее возникновения?

За каждую строчку вашу, в которой будет изложено ваше личное воспоминание, наше ведомство, поверьте, скажет вам великое *спасибо*. Я храню письма ваши, как святыню, и уже один тот факт, что вы достаиваете ответами меня, скромного военного юриста, крайне знаменателен для всего нашего военно-судебного ведомства.

К сожалению, ведомство наше, видимо, не собирало материалов для своей истории по скромности и, быть может, чувствуя, что оно не удостоится чести иметь свою историю. Но вы смо-

трите на этот вопрос иначе. Укажите же мне источники материалов, помогите личными воспоминаниями там, где безмолвствуют наши архивы.

Вашего сиятельства покорнейший слуга, чтущий вас и любящий

А. Жиркевич.

Адрес мой: Г. Вильна. Военно-окружной суд.
Полковнику Александру Владимировичу Жиркевичу.

ОР РГБ. Ф. 169. Оп. 63. Ед. хр. 61. Л. 13–14 об.

10.

Д. А. Милютин — А. В. Жиркевичу

25 апреля 1900

Милостивый государь Александр Владимирович!

Запоздалый мой ответ на ваше письмо от 27 прошлого марта объясняется и оправдывается тем, что мне хотелось еще раз порыться в своих старых бумагах и письмах, чтобы дать вам хоть несколько определительный ответ на поставленный вами вопрос. К сожалению, должен повторить уже сказанное — что решительно ничего не оказалось, что помогло бы моей старческой памяти, на которую не могу положиться.

Сколько мне помнится, первая мысль об учреждении военно-юридической академии возникла без какого-либо комитета или совещания; она вылилась сама собой из общего хода обстоятельств как естественное последствие готовившегося преобразования военно-судной части. Пока проект нового военного судопроизводства и судоустройства разрабатывался бы в Комиссии, сперва под председательством генерал-адъютанта Крыжановского¹, а потом великого князя Константина Николаевича, мы с Владимиром Дмитриевичем Филосо-

¹ *Крыжановский Николай Андреевич* (1818–1888) — русский генерал от артиллерии; звание получил в 1862 г. Тогда же назначен председателем комиссии по выработке положений основного документа военной реформы, а также реформы военно-морского судопроизводства и судоустройства.

фовым¹ не могли не предвидеть, что для предполагаемых новых судов необходимо подготовить соответствующий личный состав, который несколько ознакомлен с юридическими основами будущего военного судопроизводства. Простейшим к тому средством на первый раз было собрать предназначавшиеся на новые должности штабс- и обер-офицеров (даже некоторых генералов) при аудиторском департаменте и открыть для них курсы в помещении аудиторского училища. В следующем же, 1867 году по окончании работ комиссии великого князя Константина Николаевича и утверждении составленного его нового устава военного судопроизводства и судоустройства и предстоявшем последовательном открытии новых судов, сперва в Петербурге и Москве, а потом и в прочих округах, очевидно необходимым <стало> открытые временно офицерские курсы обратить в постоянное учреждение и дать ему надлежащую организацию; такое учреждение естественно было приравнять к существовавшим уже военным академиям, а выработка проекта новой академии была исполнена под непосредственным руководством Владимира Дмитриевича Философова, который и был почти исключительным и непосредственным помощником моим по всему делу преобразования военно-судебной части. Кроме него, сколько могу припомнить, советовался я иногда с почтенным Александром Ивановичем Проворовым², который и был назначен на должность единственного не военного члена вновь открытого Главного военного суда, заменившего прежний — генерал-аудиторство.

Все сказанное, вероятно, вы проверите просмотром документальных материалов, какие найдете в архивах Главного военного судебного управления и самой академии. Полагаю, что вы сами увидите при разборе этих материалов, как несправедливо постановляют вопрос авторы некоторых изданных по сию пору книг, статей и юбилейных речей, которые признают существование военно-юридической академии только с 1878 года, когда утвержден был новый устав академии, позже опять подвергшийся некоторым изменениям в 1891 году. Все эти последовательные изменения в уставе обозначают лишь стадии постепенного развития

¹ *Философов Владимир Дмитриевич* (1820–1894) — военный прокурор России, герольдмейстер, являлся членом многих Комитетов по реформированию военного судопроизводства.

² *Проворов Александр Иванович* (†1901) — русский государственный деятель, действительный тайный советник.

учреждения, которому прочное основание положено в 1867 году. Сущность дела заключалась в том, чтобы прежних аудиторов, на которых лежала вся работа прежних военных судов, заменить в составе новых судов военными офицерами, достаточно подготовленными к их спиральным¹ обязанностям; а начало нового учреждения, очевидно, надобно считать с 1867 года, хотя прежнее аудиторское училище и было окончательно закрыто несколько позже, с последним выпуском состоявших в ней еще в 1867 году учеников.

Замечательно, что о начале военно-юридической академии, да и самого нового военного суда не найдете не только в энциклопедическом словаре, но даже в таком специальном издании, как *Энциклопедия военных и морских наук*.

За тем, пожелав вам искренно успеха в предстоящей вам непростой работе, прошу принять выражение истинного уважения и преданности.

ОР РГБ. Ф. 169. Оп. 52. Ед. хр. 55. Л. 4–7 об.

11.

А. В. Жиркевич — Д. А. Милютину

*Г. Вильна.
4 октября 1902*

Ваше сиятельство!

Вы изволили так благосклонно принять мои произведения, вам ранее присланные, что я не могу удержаться от высокого счастья поднести вам только что вышедшие в свет мои брошюры: 1) о Муравьевском музее в Вильне (оттиск статьи моей из сентябрьской книжки «Исторического вестника») и 2) об Антокольском.

Не откажите принять их столь же милостиво, как и ранее представленные произведения. Лыщу себя надеждою, что, быть может, в свободную минуту вы пробежите брошюрки и тем окажете их автору.

Вы, вероятно, изволили лично знать гр. М. Н. Муравьева?² Едва ли он был симпатичным человеком. Но мне хотелось в

¹ От гл. спираться — отстаивать свое мнение и волю.

² *Муравьев-Виленский Михаил Николаевич* (1796–1866) — граф, генерал от инфантерии, губернатор Северо-Западного края, министр государственных имуществ.

статье моей указать на его заслуги России, которые не надо смешивать с его личными душевными качествами.

Начатый мною труд о нашем военно-судебном ведомстве я принужден был временно покинуть, не встречая сочувствия и боясь касаться отрицательных сторон ведомства, столь молодого и нелюбимого строевой средой. Авось в будущем кто-либо будет и смелей, и счастливее меня!

Простите, ваше сиятельство, за смелость, с которой утруждаю вас этим письмом. Но какое великое счастье для меня, члена ведомства, созданного вами, мечтать о том, что некоторые строки мои обратят на себя внимание ваше.

Да хранит вас Господь на многие еще годы!

Вашего сиятельства преданнейший и благодарный слуга, любящий и чтущий вас

Александр Жиркевич.

Адрес: Вильна. Военно-окружной суд.

Полковнику Александру Владимировичу Жиркевичу.

ОР РГБ. Ф. 169. Оп. 63. Ед. хр. 61. Л. 15–16.

12.

А. В. Жиркевич — Д. А. Милютину

Г. Вильна

13 декабря 1909

Ваше сиятельство!

В разное время вы благосклонно изволили принимать от меня литературные мои труды, устаивая меня ответами. Вы же дали мне ценные заметки по созданию военно-судебного ведомства, в котором я служил военным судьей.

Теперь, выйдя в отставку по болезни, я отдался еще более литературе. На днях вышла в свет книга моя о безвременно скончавшемся провинциальном деятеле Иване Ивановиче Орловском.

Не могу отказать себе в счастье поднести вашему сиятельству почтительно один экземпляр, прося принять его благосклонно.

Мой добрый знакомый генерал Скугаревский¹, бывший у вас недавно в Крыму, пишет мне, что вы находите время для чтения.

Быть может, и труд мой удостоится вашего внимания?

Я — человек отсталый, принадлежу душой к эпохе великих реформ Императора Александра II, и моя книга не создана для тех, кто отворачивается от этого славного прошлого. Я ее посвятил памяти деятеля, тоже отставшего.

Извините меня за то, что утруждаю вас моим скромным даром!

Но вы для меня и для многих в России последний луч великого царствования, особенно дорогой в сумеречные дни нашей современной действительности.

Дай Бог, чтобы луч этот долго, долго не погасал бы и служил для любящих и чтущих вас путеводной звездой!

Позволяю себе просить ваше сиятельство (если это вас не затруднит) подарить мне вашу последнюю фотографию, написав ее.

Я буду хранить ее, как святыню, и передам в наследство моему сыну, гардемарину морского корпуса. Еще раз извините меня за это письмо, за выраженные чувства, за беспокойство! Отнеситесь ко мне снисходительно!

Вашего сиятельства усерднейший слуга, чтущий вас и любящий

Ал. Жиркевич.

Мой адрес: Вильна. Набережная, дом № 12, генерал-майору Александру Владимировичу Жиркевичу.

ОР РГБ. Ф. 169. Оп. 63. Ед. хр. 61. Л. 17–18 об.

13.

Д. А. Милютин — А. В. Жиркевичу

20 декабря 1909

Милостивый государь Александр Владимирович!

Приношу вашему превосходительству искреннюю признательность за оказанное мне внимание присылкою при любез-

¹ *Скугаревский Аркадий Платонович* (род. 1847) — генерал от инфантерии, военный писатель.

ном письме от 13 сего декабря экземпляра составленной вами биографии покойного И. И. Орловского¹.

С особенным удовольствием исполнил бы желание ваше получить мою фотографическую карточку, если б имел в запасе такие фотографии, но вот уж много лет я никуда не выезжаю из своего захолустья и лишен возможности вновь сниматься. Еще когда удастся получить копию прежних фотографий, то не замедлю доставить вам, ваше превосходительство, и вторично принести вам мою благодарность за добрую память.

Искренно преданный.

ОР РГБ. Ф. 169. Оп. 52. Ед. хр. 55. Л. 8–8 об.

¹ *Орловский Иван Иванович* (1869–1909) — видный смоленский историк, краевед и географ.

ГЛАВА 7

«Буду хранить, как святыню,
и передам в наследство...»

А. В. Жиркевич

«Свежо предание, а верится с трудом!»¹

Более тридцати лет живя, служа и работая на самых разнообразных поприщах в Северо-Западном крае, приехав сюда сейчас вслед за подавлением восстания 1863–1865 гг., на каждом шагу сталкивался я и сталкиваюсь до сих пор со следами удивительной деятельности приснопамятного русского человека, гр. М. Н. Муравьева. В государственную жизнь края граф Муравьев мощной, убежденной рукой вбил навеки такой прочный клин, что все попытки врагов его системы, начиная с Потапова, выбить этот клин не привели ни к чему... Напротив... даже в наши дни, за какое бы мирное начинание ни принимались в крае, неизбежно приходят к роковому вопросу: «А что сделал в этом направлении граф Муравьев?» — и, ознакомившись со взглядами графа, отдают должную справедливость их глубине, ясности, прозорливости и практичности, поучаются и вдохновляются... Смело можно сказать, что нет той сферы, в которую бы за короткий промежуток трех лет не проник своевременно острый государственный ум Муравьева, куда не забросил бы он своего орлиного молниеносного взора... И куда ни падал этот взор, всюду устанавливался законный порядок, закипала здоровая, бодрая жизнь, униженные поднимали головы, крамола бледнела и гасла, справедливость торжествовала... Были, конечно, единичные жертвы... Зато спасались миллионы!.. И русская история, в лице гр. М. Н. Муравьева, имеет яркий пример упорного убежденного колоссального труда одного человека на пользу общую... Политика, администрация, искусство, быт простого народа и войска, служба в канцеляриях, общественные удовольствия, благоустройство городов и деревень, частная

¹ Первая публикация очерка состоялась в 1902 г. в журнале «Исторический вестник». Тогда же отдельный оттиск был отпечатан в С.-Петербурге в типографии А. С. Суворина.

жизнь, вопросы Церкви Православной и римско-католической — все одухотворялось верою этого нравственного и умственного титана в исторические задачи России, горячей любовью к отечеству, жаждой честно, по мере понимания и сил, послужить своему государю... И гр. М. Н. Муравьев точно торопился в своих замыслах и предназначениях, как бы предвидя, что его могут остановить на полпути или что старческие силы его не вынесут в конце концов подобной работы...

Изучая прошлое Северо-Западного края, постоянно встречал я лиц, беззаветно поклонявшихся памяти великого покойника, и наряду с ними особ, от одного упоминания имени его бледневших и раздражавшихся бурными, страстными филиппиками... Между теми и другими находились и русские, и поляки, люди «чистые сердцем» и политические безумцы; лица, нагретые себе руки, пользуясь смутами, и ушедшие из края с незама-ранными репутациями... Трудно было подчас разобраться среди этих противоречивых мнений, иногда вызванных болью не заживших еще ран, уязвленных самолюбий, неудовлетворенных appetитов... Но, во всяком случае, крупная, мощная, грозная фигура «диктатора Литвы» вставала во весь рост еще рельефнее каждый раз, когда касались ее любовь или ненависть человеческие... И как мелки, ничтожны и пристрастны казались мне порой многие пигмеи современности, умысленно или в неведении того, что творят, старающиеся, иногда даже в наши дни, расшатать тот культурно-исторический клин, который вбит был в жизнь Северо-Западного края гр. Муравьевым и о котором я уже упомянул выше.

Часто проходя мимо разрушающегося, запущенного виленского генерал-губернаторского дворца, в котором жил, думал и работал гр. М. Н. Муравьев, вникал я в судьбу этого железного деятеля. И всегда чудилось мне много глубокого трагизма в положении Муравьева, призванного, вопреки желанию его, к делу умиротворения края, — человека, которому досталось на долю, с болью в сердце, с отвращением в душе, казнить, усмирять, искоренять и преследовать, но которого грубо оторвали от дела не дремавшие враги его в тот самый момент, когда ему оставалось только прощать, миловать, направлять миллионы вверенных ему высочайшей властью жизней на путь мирного развития и благоденствия по программе, строго основанной на исторических началах. Много передумал я и на тему о той непримиримой, беспощадной ненависти, которая зорко пресле-

дует скорбную тень его даже за гробом... И вот, по мере того, как изучал я по сказаниям очевидцев, по бесспорным подлинникам, частью неопубликованным, по фактам и воспоминаниям историю последнего восстания, все то, что относилось к личности Муравьева, — великая искренняя жалость к судьбе его чаще и чаще прокрадывалась в мое сердце, — та жалость, которая обыкновенно служит источником безграничной, преданной любви... Материала же было достаточно, и материала самого разнородного, идущего из различных лагерей, даже от врагов Муравьева...

В Вильне пережил я позор, ужасы «потаповщины» и видел, как русские же руки старались стереть в потомстве самую память о Муравьеве... Преследовались лица ему близкие; уничтожались дела, свидетельствовавшие о его доброте и гуманности; запрещалось громко говорить правду о его мирных, культурных подвигах; считалось преступным писать и даже думать о Муравьеве... То были дни тяжелых испытаний для нашего многострадального края. Все робко притаилось и ждало наступления лучшего времени, веруя и молясь... Сколько пострадало в эту грустную эпоху ревностных, честных сотрудников графа, недавно еще считавших, что они служили верой и правдою царю и родине, получивших за эту службу награды, и которых выслали теперь, гнали, зашляли за ту же бывшую деятельность!.. Их преждевременные могилы рассыпаны по всей Руси великой и украшают Виленское православное кладбище... Сердца их, надорванные неправдой и преследованиями, перестали биться, но идеалы их живы, бессмертны... Тружеников этих не забудет тот, кто станет писать о графе Муравьеве. А историк последнего восстания и времени, за ним непосредственно следовавшего, уже теперь бережно собирает имена этих жертв недоразумения в свои исследования и мартирологи... Но сколько таких борцов за правду осталось неизвестными миру!.. Ты же, Господи, видел их труды, Ты читал в сердцах их и помыслах!.. Ты простил им уже их невольные прегрешения во имя того, что они беззаветно любили свою родину и служили ей по мере сил и разума!..

Настали наконец снова в Вильне светлые, давно желанные дни — дни спокойной, беспристрастной оценки заслуг графа М. Н. Муравьева. По высочайшей воле и почину, пожертвованиями русских людей вырос здесь, рядом с генерал-губернаторским дворцом, внушительный памятник крутому,

суровому генералу, не любившему много разговаривать, колебаться и шутить. Вслед за ним возник и музей имени покойного графа, куда быстро стали стекаться документы, красноречиво говорящие истину о прошлом... И вот из хаоса лжи, клевет, злобных нападок все чаще и чаще стала просвечивать добрая, отзывчивая на все честное, благородная личность Муравьева, раздавившего отдельные личности — русские и польские, по большей части глубоко преступные, чтобы ценою этих жертв спасти миллионы невинных, готовившихся очертя голову броситься в безумие последнего мятежа... Недаром же благополучно здравствующий ныне сотрудник графа Муравьева, высокие сердечные качества которого известны всей России, сенатор Иван Михайлович Геденов в эпоху возникновения Муравьевского музея писал мне о доброте и сердечности покойного «диктатора Литвы», опровергая тем сплетни о его кровожадности и жестокости. Письмо это в подлиннике пожертвовано мною в Муравьевский музей вместе с другими документами, характеризующими личность графа Муравьева. Много хорошего сообщал мне о графе Муравьеве как человеке другой его сотрудник — почтенный старец Иван Петрович Корнилов, а равно лица, бывшие свидетелями благородных, великодушных его поступков. Постановка памятника графу М. Н. Муравьеву, учреждение в Вильне музея его имени — события, быстро следовавшие одно за другим, подняли сданные уже в архив исторические вопросы... Старые раны снова раскрылись; могилы заговорили. Оказалось, что, пережив в крае эпохи различных колебаний, индифферентизма, перемен, мы все-таки роковым путем очутились у прежнего источника, т.е. у основ государственной политики гр. Муравьева. Это был сюрприз для многих... «Кликуши» же местного общества громко уверяли, что они всегда жили и действовали «по Муравьеву»... Явились, как водится, очевидцы, будто бы знавшие лично графа Муравьева и по рассказам которых выходило, что Россия и сам граф погибли бы, если бы не они, его сотрудники, «делающие с ним историю». Общество слушало, улыбалось и не возражало «кликушам»... Вильна пережила, наконец, и трогательные, незабвенные торжества открытий памятника и музея...¹ Увы! не много съехалось тогда из бывших верных соратников гр. Муравьева. Можно было кстати припом-

¹ Речь идет о событиях 1898 г.

нить слова поэта: «Одних уж нет, а те далече...» Но зато достаточно было произнесено теплых, убежденных речей; со всех концов России слетелись в Вильну приветствия, венки, телеграммы, адреса... Не припомню, чтобы русское самосознание в крае проявилось за последние годы в такой силе!.. Мы, русские, с замиранием сердца ожидали еще одного венка... венка от «благодарных польских матерей», конечно, не от тех несчастных, убитых горем матерей, дети которых погибли во время мятежа, а от тех, сыновей которых некогда удержала железная рука графа Муравьева от непосредственного участия в мятежнических шайках, а следовательно, и от гибели. Такого венка не дождалась молчаливая, угрюмая статуя графа... Зато ко дню и в самый день открытия памятника Вильна была засыпана прокламациями, пытавшимися запугать русское общество и затормозить проявление истинных его чувств. (Несколько таких прокламаций мне удалось официально получить для Муравьевского музея из Виленского губернского жандармского управления. Я передал их в музей как характеристику настроения известной части общества.) Один местный писатель, дерзнувший прочесть публично стихотворение, посвященное памяти Муравьева, получил угрожающее анонимное двустихие; к дверям его квартиры подкинули изображение виселицы. Неведомые миру безумцы, очевидно, предполагали, что и в наши дни они способны поставить между графом Муравьевым и его политическим потомством преграду в форме жалких подпольных листов, в которых было много бессильной, беззубой ненависти и клеветы, а правда умышленно искажалась или обходилась молчанием. Но русское общество бесстрашно, презрев угрозы, в составе лучших своих представителей пришло поклониться тому, кто некогда работал и страдал в Вильне, — работал, предвидя спокойствие, которым ныне наслаждается наш Северо-Западный край... Не забуду той минуты, когда покойный генерал-адъютант В. Н. Троцкий, встав во главе войск Виленского гарнизона, проходил церемониальным маршем мимо памятника знаменитого своего предшественника, салютуя ему и восторженно вглядываясь в его бронзовые черты, — проходил перед блестящей группой родственников графа, бывших его сотрудников, православного духовенства, высших представителей духовной и гражданской власти... Помню, как земля дрогнула под бесчисленными орудиями, под лошадиными копытами и ша-

гами стройно проходившего многочисленного войска. Дрогнули и русские сердца... С исторической Замковой Горы раздался установленный пушечный салют. Музыка гремела. Знамена развевались. Солнце сияло... Все слилось в одном общем ликовании, но в ликовании мирном, в котором не было и тени желанья обидеть бывших противников, грубо прикоснуться к не зажившим еще их ранам. Забвение, забвение прошлому и вечная память честным бойцам, павшим за правду! Казалось, только одна фигура грозного графа бесстрастно относилась к этому суду потомства, или принимая его как должное, или скорбно вдумываясь в пережитое, а быть может, и прозревая будущее...

Не обошлось, как водится, без комического элемента — без «мирной демонстрации»: в окнах дома, находящегося против памятника, были умышленно приспущены шторы, и в то же время из-под стор этих, в промежутке между нижним краем их и подоконниками, украдкой на торжество и собравшуюся публику глядело несколько пар глаз и даже сверкали бинокли... Мы, русские, все это видели и от души смеялись. А я лично пожалел, что не было под рукой фотографа, который снял бы эту сцену, чтобы пожертвовать потом снимок в Муравьевский музей в дополнение к прокламациям...

На торжестве открытия памятника Муравьеву был — зачем скрывать это? — и элемент крайне грустный, нежелательный. Вероятно, в суете и заботах о съехавшихся высокопоставленных гостях забыли тех, кого так любил, уважал и отличал виновник торжества граф М. Н. Муравьев: провинциальное православное духовенство Северо-Западного края, этих скромных, незаметных, но великих пионеров русских начал в крае. Ко дню открытия памятника сельских батюшек съехалось в Вильну видимо-невидимо. Были между ними почтенные седовласые старцы, хорошо помнящие последний мятеж и, быть может, только благодаря случаю благополучно избежавшие повстанской виселицы, позора и пыток... Много о чем могли бы они вспомнить, рассказать нам, современникам, поучительное о том, каково жилось до графа Муравьева в крае православному священнику, честно исполнявшему свой пастырский долг... Батюшки эти участвовали и в духовной процессии к памятнику. Но... их не угостили не только обедом, даже стаканом чая: их попросту забыли!.. И могу удостоверить как говоривший лично со многими из них, что увезли они из совре-

менной Вильны далеко не светлое, благодарное воспоминание, еще теплей помянув «приснопамятного боярина Михаила»... Зато мы, немногие избранные, хорошо покушали в военном собрании во время торжественного официального обеда, где говорились официальные речи, а потом вечером в дворянском клубе — на частном ужине по подписке... На ужине, кроме речей, были даже поросята, специально выписанные из Москвы от Тестова... И какие это были поросята, белые, нежные, таявшие во рту! Уничтожая мою порцию, невольно вспоминал я сельских батюшек, разъезжавшихся в тот миг из Вильны, как говорится, «не солоно хлебавши»... В. В. Комаров, которому, по не зависевшим от него обстоятельствам, не удалось произнести речь за официальным обедом, обманул ожидание и надежды распорядителей, просивших не говорить речей, и произнес-таки за ужином бурно-пламенное слово, всех наэлектризовавшее...

В период съезда гостей в Вильну у одного из местных деятелей был пир, на котором представитель администрации края, недавно приехавший сюда со стороны и мало еще край знавший, произнес спич, бросив присутствовавшим, а значит, и тем из них, кто на плечах своих с честью вынесли все ужасы и недоразумения последнего мятежа, обвинение в «недостатке культурыности», пояснив, что мнение это окрепло в нем под влиянием... чтения подлинных дел его канцелярии, относящихся к прошлому времени... Некоторые из нас, не разобрав сразу всей соли этой фразы, даже чокнулись с оратором и в замешательстве благодарно пожали ему руку... Зато и ругались же они после, когда поспокойней разобрались в минувших впечатлениях!.. Многие хотели тут же возразить ему, заявив, что он слишком мало живет в крае, чтобы делать подобные выводы, напомнив ему, кстати, завет графа М. Н. Муравьева — изучать людей отнюдь не по канцелярской переписке, а на деле, сходясь с ними, совместно работая... Но основательного возражения не последовало... Воображаю, однако, какое мнение о виленских деятелях унесли сидевшие за столом и слышавшие эту речь приезжие со стороны?!

Были еще курьезы, недоразумения и типичные сценки... Но, право, они достойны особого повествования и ждут еще своего писателя... Многие из них несомненно свидетельствовали о том, что по-прежнему далеки мы еще от идеалов Муравьева, от сознательного проведения этих идеалов в нашу жизнь...

«А скольких нет уже в живых»¹ из тех, которые в стенах древней Вильны сошлись и съехались в этот день, чтобы восстановить историческую правду! Умерли и В. Н. Троицкий, и Т. И. Филиппов, и министр иностранных дел граф Муравьев: как сейчас, вижу их всех в различные моменты церемонии. Умолк и голос честного, благородного, неутомимо-верного, много выстрадавшего сотрудника графа М. Н. Муравьева — Ивана Петровича Корнилова, не могшего явиться лично по болезни, но зато горячо откликнувшегося издалека ко дню всеобщего торжества... Нет уже и многих, многих из менее крупных, менее видных деятелей, которые радовались со всеми нами и переживали былое...

Врезалась мне в память еще одна характерная бытовая картинка... Через несколько дней после открытия памятника, когда именитые гости и делегации разъехались, а наша Вильна приняла обычный сонный вид, проходил я рано утром по Муравьевской площади мимо памятника. На площади, как мне показалось в первую минуту, никого не было, кроме очередного городского... Вдруг замечаю коленопреклоненную фигуру: у памятника стоит и усердно молится, творя крестное знамение, старый, увешанный орденами отставной солдат. Нечего говорить, что молился он о графе Муравьеве. И не могу себе простить, что недосуг помешал мне подойти и расспросить набожного служивого о его прошлом. Про случай этот, как очень характерный, передал я тогда же многим... Он тронул меня до глубины души, тем более что молящийся в такой ранний час на пустынной площади не мог подозревать даже, что поведение его будет замечено посторонним, случайным прохожим... Эта тайная молитва неизвестного русского солдатика, вероятно, бывшего подчиненного графа М. Н. Муравьева, по мнению моему, была лучшим, бессмертным венком среди дорогих, пышных венков, которые украшали в те дни подножие Муравьевской статуи... Невольно вспомнились мне слова поэта: «К нему не зарастет народная тропа». Дай-то Бог, чтобы не заросла!..

Если подробно остановился я на личности гр. М. Н. Муравьева, на его эпохе, коснувшись попутно событий открытия в

¹ Искаж. слова песни «Вечерний звон»: «И скольких нет теперь в живых, // Тогда веселых, молодых!»

Вильне памятника и музея его имени, то для того чтобы объяснить, почему столь горячо, за много лет до устройства музея, стал собирать я документы, относившиеся до так называемого «Муравьевского времени» в нашем крае, спасая то, что еще можно было спасти. В комиссию по устройству музея попал я тоже при исключительных обстоятельствах, о которых упомяну ниже.

Мысль о Муравьевском музее в Вильне принадлежит всецело мне, и впервые в печати была высказана она мною в «Виленском вестнике» 16 сентября 1897 г. (№ 205), во время закладки памятника гр. Муравьеву. Заметка эта произвела должное впечатление на местное общество и подготовила почву в умах и сердцах для осуществления проекта о музее. Но задолго до этой заметки говорил я и писал о необходимости такого музея именно в Вильне. Говорил не раз я на ту же тему и с покойным генерал-адъютантом В. Н. Троцким. Номер «Виленского вестника» с моей заметкой при письме представил я тогда же генералу Троцкому, был вызван последним для личных объяснений, и мне было поручено выработать подробную памятную записку по этому вопросу. Составленная мною записка вызвала резолюцию, в смысле необходимости более подробного указания на средства, нужные для открытия музея, и на место, где было бы возможно его устроить. (Имеющиеся у меня документы по вопросу о возникновении Муравьевского музея, его развитии и росте со временем я пожертвую в музей.)

Болезнь, недосуг, частые отлучки из Вильны мешали мне, однако, переделать мою записку. Наконец она была готова и переписана, когда случайно узнал я, что другое лицо представило генералу Троцкому по тому же вопросу об устройстве музея памятную записку, которой и дается законный ход... Нечего говорить, с какими чувствами принял я это неожиданное известие!.. И вот, пользуясь первым же свиданием с генералом Троцким, я со свойственной мне откровенностью высказал ему мое удивление по поводу того, что он очевидно оставил без внимания все, что говорилось мною и писалось ранее об учреждении в Вильне Муравьевского музея, а дает ход проекту другого лица. Благодарный, прямой Виталий Николаевич искренно смеялся над моим негодованием, сообщив мне в шутовом тоне имя лица, подавшего ему новый проект, а на мое замечание, что ведь я первый высказал печатно мысль о

музее, а теперь мысль мою осуществляет другой, несколько сухо заметил:

— Да не все ли равно для истории, кто это сделал первый?

— Конечно, — ответил я, — для истории это безразлично! Я и не претендую делать историю. А вот для чувства справедливости это далеко не все равно...

— Ну, тогда, для чувства справедливости, я и назначу вас в будущую комиссию по устройству Муравьевского музея, — снова переходя на шуточный тон, заметил мне Виталий Николаевич.

Таким образом неожиданно для меня самого состоялось назначение мое членом комиссии, и из инициаторов музея попал я в число его заурядных работников... Конечно, это несколько не ослабило моей энергии, и несколько фактов, приводимых ниже, покажут, что я все-таки сделал кое-что для памяти гр. М. Н. Муравьева, оставаясь даже простым любителем-археологом и членом комиссии...

Извиняясь за эти невольные отступления, необходимые, однако, для уяснения фактов, служащих содержанием настоящей статьи, попытаюсь хотя бы в беглых очерках изложить грустные и комические приключения некоторых предметов и документов, при моем непосредственном участии попавших наконец в Муравьевский музей.

Проездом в имение жены моей Лабардзи, Ковенской губернии, узнав от знакомого, что в городе Россиенах, в уездном полицейском управлении, пропадают тысячи пудов старой бумаги, я пошел к россиенскому исправнику (теперь уже переведенному из Россиен и, кажется, умершему). Между мною и официальным блюстителем уездной нравственности произошел следующий характерный диалог.

— Можно заглянуть мне в ваш полицейский архив? — говорю я после некоторого предисловия.

— А вам это зачем?

— Да вот хотел бы посмотреть... нет ли чего там интересного...

— Что же вас собственно интересует?

— Да так... Например, исторические документы...

— Какие же в уездном архиве могут быть исторические документы?

— У вас, говорят, они навалены тысячами пудов! Поговаривают даже, что когда-то видели там бумаги, относящиеся к великому Суворову...

— Мало ли что говорят! Вы осторожнее верьте рассказам...

Представитель полиции тем не менее задумался и, насторожившись, подозрительно обыскивал меня взорами, точно стараясь нырнуть в мою душу и выведать все сокровенные ее тайны и помыслы...

— Так можно заглянуть в архив? — настаивал я, прервав неловкое молчание.

— Нет, уж извините! Без разрешения высшего начальства никак не могу дозволить этого.

— Но ведь документы, как утверждают, гниют и растаскиваются.

— Кто это вам сказал?.. Для меня это новость. Они в сохранности-с. Во всяком случае без приказа свыше я не могу...

— Даже позволить заглянуть?

— Даже и заглянуть...

Пришлось ретироваться ни с чем и ждать лучшего времени.

В следующем году снова проезжаю через Россиены. Тот же знакомый, который сообщал ранее о безобразном состоянии архива, говорит мне вдруг, что прежнего исправника уже нет, а весь архив официально продан с торгов на пуды россиенским лавочникам-евреям; что он уже перевезен ими в особый склад, где и покоится в ожидании распродажи по частям. Иду к евреям, нахожу и покупателей, и архив, наполняющий собою сверху донизу огромный сарай. Как теперь помню, моросил дождик, дул пронизывающий насквозь ветер... Возле — никакого подходящего помещения для работы. Тем не менее для опыта вытаскиваю наугад клочок бумаги: попался документ конца XVIII столетия, несомненно, интересная бумага. Так и тянет приобрести у жидов право на разбор кучи, на отобрание всего, что может оказаться в ней замечательного, исторического... А времени нет, и обстановка для работы прямо немыслимая... Евреи уже тревожно перешептываются по поводу моего осмотра; «в отдалении реют», как писал Щедрин¹, россиенские городовые, подозрительно за мной присматривающие... Действительно,

¹ Ср.: «В отдалении, на почтенном расстоянии, реют квартальные», цитата из рассказа «Она еще едва умеет лепетать» (цикл «Помпадуры и помпадуриши»).

для города Россиен — более чем странное зрелище полковника, тревожно, зло задумавшегося у груды ненужной, проданной по распоряжению начальства бумаги, среди толпы недоумевающих евреев... Утешаю, наконец, себя мыслью, что не распродадут же еврейчики всего сейчас: на это нужно время. А пока, думаю, надо сообщить в Вильне «власть имущим» о готовящейся позорной гибели архива, о возможности еще спасти документы, отобрав у жидов все более или менее ценное для истории края. По приезде в Вильну немедленно нахожу и особу, «власть имущую», говорю с ней, излагаю возможно красноречивее мои опасения и соображения, по-видимому, даже увлекаю моим рассказом. Особа сочувственно, с благодарностью жмет мне руку и спрашивает, могу ли я поставить все сказанное на официальную, бумажную почву, заявив по начальству письменно о факте продажи россиенского архива. «Отчего же нет?! — отвечаю я. — Только, Бога ради, поспешите со спасением бумаг! Время не терпит, и жида спать не будут». Неприятная перспектива сделаться официальным обличителем не пугает меня: в глазах так и стоят еще эти груды гибнущей исторической бумаги... Да, наконец, архив ведь продан с разрешения начальства, значит с соблюдением известных формальностей, и тайны в подобной продаже, конечно, нет. Пишу поэтому преспокойно официальное заявление «особе» и успокоиваюсь на мысли, что зло, без сомнения, будет пресечено, притом немедленно. К чему же напоминать, надоедать, раз все поставлено мною на такую прочную почву?... И при встречах нарочно я молчу, не бережу раны...

Проходят еще несколько месяцев... Новая поездка моя в Россиены. Случайно вспоминаю про уездный архив и, спокойный за его участь, не без злорадства, спрашиваю все того же моего знакомого: «А где же бумаги уездного полицейского управления? Их, вероятно, взяли уже в Ковну?» — «Ну, батюшка, опоздали! Никто с вашего отъезда о них и не заикнулся. Бумаги давным-давно разобраны жидами и проданы на пуды, по мелочам... Уже месяца четыре получаю я в них продукты из молочных лавок». — «Да что вы?» — «Уверяю вас, что это так... хотя недавно видел я одного лавочника видел я целые, неразорванные дела... Поищите!.. Быть может, еще что-либо спасете...»

Помянув недобрым словом «особу, власть имущую», бросился я наводить справки. Действительно, оказалось, что бо́льшая часть документов пошла уже на удовлетворение насущных

нужд россиенских обывателей, меньшая же уехала из Россиен по местечкам и в город Ковну. Осталось немного по амбарам, складам, чердакам и отхожим местам россиенских евреев... Нечего делать! Принялся я спасать хотя то, что можно еще было найти и выкупить из позорного пленения... Два дня тяжелой спешной работы с утра до вечера, в вонючем, зараженном воздухе, в пыли, холоде, дали мне все-таки возможность выручить десятки пудов исторического материала, в том числе и ряд крайне интересных подлинных дел муравьевской эпохи... Но то были лишь, увы, жалкие остатки, грустно, хотя красноречиво говорившие о других сокровищах, вероятно, заключавшихся в погибших бумагах... Во всяком случае, раскопки были важны для меня уже в том отношении, что они представили мне неопровержимые доказательства нахождения в уездных полицейских архивах подлинных дел бывших во время мятежа «военных начальников»: когда военные начальники были упразднены, переписка их, очевидно, попала в соответствующие (по уездам) полицейские управления. Открытие это было для меня неожиданностью, тем более что один из старых виленских чиновников, знаток по архивной части, к которому обратился я за указанием и советом по вопросу о местонахождении бумаг тех же военных начальников, сообщил письменно мне, что бумаги эти по окончании восстания были рассортированы и, вероятно, лежат по архивам различных присутственных мест края... В присутственных же местах, несмотря на долгие настойчивые поиски, я до того времени не находил ничего подходящего для Муравьевского музея.

Надо было видеть эффект, произведенный моими странствиями, поисками и раскопками по сараям, чердакам и подвалам на россиенских евреев!.. Бедняжки нюхом чувствовали возможность сделать хороший «гешефт», хороший «гандель» и никак не могли додуматься, догадаться, что именно нужно мне в грязных, вонючих бумагах: все попытки их выведать у меня тайну оставались бесплодными... Местная полиция, видя меня целые дни, а иногда и ночью, копающимся в неподходящей к чину моему обстановке, по-прежнему недоумевала и ходила за мной мрачная, сосредоточенная, подозревая с моей стороны какой-то подвох. А я покупал и покупал на пуды, по фунтам, по связкам, спасая то целые дела, то обрывки дел, даже отдельные листки, если они имели значение. Деньги мои быстро истощались... Бойкие сыны Израиля удесятерили цену; один

же из них додумался даже до того, что за право посмотреть груду дел, лежавшую в его сарае, потребовал с меня три рубля. Заплатил я эти три рубля, но зато нашел в куче крайне ценные документы и нравственно был вознагражден сторицею. Скупив все, что было возможно, в Россиенах и узнав о том, в какие именно пункты отправлены остальные, по слухам, еще уцелевшие бумаги, поехал я немедленно по местечкам, а затем в города Шавли и Ковну... Увы! Там все уже погибло безвозвратно! Приезжаю, например, в город Ковну; нахожу еврея, который скупил 300 пудов россиенской бумаги... Оказывается, человек почтенный, даже с высшим образованием. Спешу к нему, как на радостное свидание. Спрашиваю: «У вас бумаги россиенского архива?» — «Были... И какие замечательные!.. Особенно из времени восстания 1863 года. Я многое успел перечесать из них и, по правде сказать, удивлялся, как только могли продать подобные документы из полиции». — «Но где же, где они, эти документы? У вас? Отобраны?! Могут ли их видеть?!» — спрашиваю я с понятным волнением и не без надежды. «К сожалению... я торговый человек... Месяц тому назад вы бы нашли их еще у меня». — «А теперь?..» — «Теперь все давно уже распродано, пошло на обертку...» Напрасно, пользуясь указаниями купца, искал я затем по Ковне исторических документов, о которых он говорил: в лавочках и складах не уцелело ни одного клочка бумаги!..

Так погиб замечательный тысячепудовый исторический архив. Продажа этого архива была обставлена настолько безобразно, что в числе разного хлама, выбранного мною «на всякий случай», для того чтобы просмотреть на досуге, попалось подлинное секретное дело 1892–1893 гг. о закрытии знаменитого Крожского костела, — дело, конечно, не подлежащее огласке и заключающее в себе весьма ценный материал¹. Когда потом показал я это дело одному очень высокопоставленному лицу в Вильне, то этот господин с молчаливым ужасом взялся за голову...

Получив по личной инициативе, при посредстве комиссии по устройству музея, разрешение генерал-губернатора генерал-адъютанта В. Н. Троцкого объехать все архивы присутственных мест Северо-Западного края, имея на глазах грустную судьбу

¹ *Примечание А. В. Жиркевича:* Дело это недавно представлено мною господину министру внутренних дел.

россиенского архива, энергично принялся я за раскопки и работу в уездах. В довольно короткий промежуток времени я посетил двадцать городов края, производя розыски и раскопки.

Надо сказать, что в судьбе уездных архивов, как это ни странно, сыграл несомненно роковую роль циркуляр 1899 года виленского, ковенского и гродненского генерал-губернатора, разосланный по присутственным местам края, вследствие ходатайства комиссии по устройству Муравьевского музея, — циркуляр, которым поручено было самой местной полиции при разборах архивов выделять все, относящееся к мятежу 1863—1865 гг. Будучи членом комиссии, я ничего не знал о циркуляре, пока не поехал по архивам. На самом деле не было ничего неудачнее мысли — поручить дело упорядочения архивов и сортировки их дел той же полиции, которая в большинстве случаев привела эти архивы к позорному состоянию... До циркуляра некоторые архивы покоились еще по разным неподходящим местам. У полиции не было ни средств, ни досуга, ни желания, ни свободных рук, а главное, не было охоты, чтобы копаться в безобразных, вонючих, пыльных грудях... И вдруг — грозный, настойчивый циркуляр, напоминающий о том, что за подобное отношение к деловым бумагам может еще достаться... Выбирай какие-то «муравьевские» бумаги!.. До них ли тут! Приедут, обревизуют, увидят недочеты по этой части и пропишут должное возмездие. Ведь «на Муравьева снова пошла мода», как выразился при мне один мой знакомый. В уездах зашевелились... Конечно, самый простой способ был окончательно уничтожить старую бумагу, под видом ненужного хлама, донеся о том, что о муравьевских документах и не слыхивали... Удобный случай скрыть старые грехи таким образом представился... И вот по захолустным городкам нашего обширного края началась энергичная работа по приведению в исполнение злополучного циркуляра, т.е. по «упорядочению» местных архивов... Говорю это со слов многих чиновников, искренно каявшихся мне в помыслах своих и архивных реформах... Не забуду, как набросился на меня один такой чиновник, человек с положением, когда узнал о моем приезде за «муравьевскими бумагами»... Он вообразил, что я как член комиссии по устройству Муравьевского музея был автором знаменитого циркуляра... В негодовании потрясал он при мне клочками старой бумаги, вырванными наугад из архивной груды, перед нами лежавшей, проклиная тех, кто «выдумывает циркуляры и заставляет приводить в порядок всякую

дрянь, скопившуюся в архивах»; говорил на тему о теоретиках, там, в Вильне, строчащих бумаги и на самом деле не знающих положения служащих по уездам; спрашивал меня о том, кто вернет ему здоровье, если он «глупо» отдаст его на «подобный труд» и т.п. Это был искренний вопль наболевшего чиновничьего сердца, вырвавшийся в минуту отчаяния... И когда я заявил, что циркуляр был издан без моего участия и в нем я, следовательно, неповинен, то представитель местной администрации несколько смягчился и поведал мне свои тайные замыслы относительно «упрощения» работы по вопросу о систематизации дел архива, — замыслы, повергнувшие меня в ужас, заставившие забраться немедленно в архив и лично приняться за его разработку. И сколько таких же исповедей, признаний и соображений пришлось мне выслушать при первых же моих поездках в уезды на архивные раскопки!.. Кляли циркуляр, его авторов и под шумок приводили в порядок, т.е. попросту уничтожали и то, что еще валялось неприбранное, неупорядоченное в архивах... Тогда-то подал я официальное заявление в комиссию по устройству Муравьевского музея, прося остановить действие циркуляра... Но заявление мое, как и многие другие, было гласом вопиющего в пустыне... И мне ничего не оставалось, как торопиться спасти то, что еще возможно было спасти от неминуемой гибели, объезжая уезды лично, так как переписка, предварительные справки, не вели ни к чему: на письма мои чаще всего даже не отвечали, а если и отвечали, то уклончиво, неохотно...

За исключением двух-трех архивов, ни в одном полицейском управлении и не подозревали о документальных сокровищах, покоящихся там, по части усмирения польского мятежа. В большинстве таких управлений обыкновенно сразу же объявляли мне, что в архиве ничего интересного не имеется, что старый архив давным-давно продан на пуды; что о «муравьевских бумагах» никогда и не слыхивали; что если они существовали, то их давно постигла общая участь и т.п. Затем делались попытки отклонить личное посещение мною архива, и только после настоячивых требований и ссылки на генерал-губернаторское разрешение меня туда впускали с видимым неудовольствием, как чудака, который разыгрывает роль Фомы неверного, тая в душе своей какие-то тайные помыслы... В официальных описях, мне представлявшихся, не находил я почти нигде желаемого. Расспросы архивариусов, в большинстве случаев людей не-

давно служащих и незнакомых с архивным прошлым, не приводили ни к чему... Приходилось фактически самому приступать к раскопкам, подавая собою пример другим... Душные, пыльные, вонючие склады полуистлевшей, зараженной всякими нечистотами бумаги скоро превращались мною в оживленную научную лабораторию; появлялись столы, стулья; отворялись окна и двери, чтобы хотя немного впустить в помещение свежего воздуха; назначались в распоряжение мое чиновники и полицейские служители... Между праздничными и будничными днями разницы не делалось, и не раз рядом со мною усаживался за работу уездный франт, с напомаженным коком и в белом галстуке, вырванный с какой-нибудь вечеринки и не успевший переодеться и проветриться... В пыли, поднявшейся от передвижаемых пачек дел, на сквозняках, часто зимою, в трескучий холод, в неотопленном помещении, иногда летом в удушающую жару, днем и ночью (при свете фонарей и ламп), приходилось мне рыться, указывать, руководить целыми часами подряд, забывая об обедах, завтраках и чаях... Ни одна бумага не откладывалась в ту или иную сторону, не побывав предварительно в моих руках, так как я убедился, что без этого толку не будет. Обыкновенно, если до моего приезда архив не успели еще привести в должный порядок «по циркуляру», я, пользуясь указаниями россиенского архива, скоро наткнулся на след документов муравьевской эпохи. При первой же такой находке обращался я с упреками к полицейским властям, еще недавно уверявшим меня и даже клявшимся, что ничего нет, что все давно продано, сторело, растащено и т.п. Конфузу, объяснениям, извинениям конца не было... Клим начинал украдкой или явно кивать на Петра, а Петр — на Клима... Впрочем, надо отдать справедливость, везде оказывалось мне деятельное, энергичное, любезное содействие, тем более что я откровенно заявлял о своем намерении отобрать только все нужное для Муравьевского музея, не касаясь архивных порядков, или, вернее, беспорядков, до которых мне не было дела. Увидев в лице моем не «око» высшей власти края, присланное для того, чтобы высмотреть, донести, а просто мирного любителя старины, предложившего властям свои услуги, — со мною становились доверчивее, откровеннее, предупредительнее... Каких «архивных» признаний я только не выслушал!.. Были тут целые исповеди... Но, щадя чувства истинных археологов и храня тайну говоривших, я умолчу о них...

Покончив с так называемым официальным архивом, начал я настойчиво просить сказать мне откровенно, нет ли еще где-нибудь бумаг, предназначенных за полную их негодностью к продаже на пуды, нет ли еще чердака, подвала, где бумаги эти на время свалены... После некоторых колебаний, отговорок, заминки меня очень часто вели именно в подобные места, на чердаки и в подвалы, показывая груды зараженной бумаги, обреченной на уничтожение и продажу. Нечего говорить, что тут-то и закипала настоящая работа... Чаще всего в числе хлама и находил я драгоценные дела, относящиеся к эпохе муравьевского управления краем, — дела выброшенные, как лишние, негодные, обреченные на продажу или уничтожение. Не забуду одну гигантскую грудку на чердаке, — грудку, в которую через разбитые стекла слухового окна много лет свободно бил дождь, обращая бумагу в какую-то жидкую серую вонючую массу... В груди этой, однако, отыскал я целое сокровище... И едва ли юноша прижимал к груди своей с такую страстью и жаром первый предмет любви, как прижимал я эту пыльную, грязную пачку старой, полуистлевшей бумаги, говорившую о мученической смерти одного безвестного русского героя, пострадавшего за верность родине и присяге...

Нечего распространяться о том, что мне случайно удавалось находить некоторые дела военных начальников в строгом порядке, красовавшиеся на полках, в папках и при описях, но на обложках которых стояли, увы, крупные роковые пометки «продать», «уничтожить» и т.п. С этими надписями я и просил полицейские власти препроводить папки в Муравьевский музей в назидание потомству. Опоздай я приехать на несколько недель, и постигла бы их печальная судьба россиянского сокровища. В иных архивах бумаги военных начальников смешивали с бумагами воинских начальников, не придавая им поэтому никакой цены и считая их излишним балластом, заполняющим полки напрасно, по какому-то недоразумению. Попадались архивы в видимом наружном порядке, но с папками, надписи которых не соответствовали их содержанию. И вот, напевая мысленно романс «Уж я не верю увереньям», приходилось мне проверять весь такой архив от первой до последней бумаги. А их были тысячи, десятки тысяч — и в каком виде!! Не забуду, как при хохоте чиновников нашел я в старинной папке с надписью «Важные исторические документы», крайне меня заинтриговавшей, дела... о прелюбодейных по-

хождениях местных обывателей, причем в одном из них в качестве неопровержимого вещественного доказательства красовалась припечатанная казенной печатью изрядная доля чьей-то рыжей, вырванной с корнями, обывательской бороды... Зато в пачках с надписями «О происшествиях» находил я важные исторические документы... Архив же этот по наружному виду представлял собою идеал приличия, даже щегольства... Его, по уверениям исправника, недавно лишь привели в «должный порядок»... и вдруг разоблачил я этот порядок!.. Надо было видеть лица, сцены... Воображаю, что происходило потом, когда я уехал, между начальством, так слепо доверившимся своим подчиненным, и подчиненными. А сколько рассказывалось забавного, занесенного мною в мою записную книжку, про «былое» уездных архивов!.. Особенно интересно было повествование про какого-то архивариуса, который, уходя домой, преспокойно уносил с собою каждый раз казенные бумаги в мешке и спускал их затем в мелочные лавочки на обертку продуктов... Не без гордости и хвастовства вводили меня иногда в архив, приведенный уже в наружно приличный вид. Чистые полки, чистые обложки, четкие, красивые надписи, исправные описи... Детище представлено в блестящем параде, словно к празднику... А у меня при созерцании такой щегольской экипировки вдруг начинает, бывало, щемить под ложечкою, сосет, замирает сердце и пробегает по спине «археологические» мурашки ужаса: «Значит, все уже спустили жидам!» — думаю я в тайном негодовании... Действительно, оказывается, что давно уже по распоряжению свыше кое-что ненужное, «разный, знаете ли, хлам», продали на пуды... «Вот Иван Иванович сам вам расскажет, сколько было ему возни и трудов по приведению нашего архива в порядок!.. Ему же мы обязаны тем, что теперь легко наводить справки» и т.п. Иван Иванович не без удовольствия подробно описывает мне свои мирные подвиги... «А не попадались ли вам случайно во время работы муравьевские бумаги?» — спрашиваю я осторожно. «Помилуйте-с, — заявляет даже несколько обиженно, с достоинством Иван Иванович, — сколько лет заведу я уже архивом, сам своими руками все перебрал... каждую бумагу... Какие же могут быть тут муравьевские бумаги?..» Прихожу в уныние... Однако по предыдущему опыту еще не теряю надежды... Сажусь посреди архива и начинаю его детально рассматривать... Случайно замечаю за первым рядом пачек дел одной

полки второй такой же ряд. «А это, — спрашиваю, — что у вас там такое, сзади?» — «Это чужие, не наши бумаги... Они не попали в опись, так как помечены к продаже...» Оживаю, требую дать мне хоть одну пачку... И вдруг: «Дела военного начальника»!! Более двадцати огромных прекрасно сохранившихся тюков... Выражение лиц присутствующих быстро меняется. Иван Иванович сконфуженно молчит, и счастье его, конечно, что человеческие взоры, особенно взоры начальства, не имеют свойства убивать на месте... «Давайте-ка, — говорю я недавно столь самонадеянному господину, — лучше переберем еще раз весь архив!»

И закипает работа, во время которой франтоватый Иван Иванович превращается скоро в движущийся комок грязи, пыли, соломы, паутин и клочков старой бумаги, чихает и кашляет...

Не забуду, в какой исключительной обстановке пришлось работать мне в одном из правительственных, сравнительно благоустроенных по наружному виду, архивов города Ковны... В архиве почему-то стояли (а быть может, и до сих пор стоят) вещественные доказательства судебного следователя — ряд банок с опущенными в спирт человеческими внутренностями... Вероятно, укупорка банок была произведена небрежно или от времени испортилась, так как воздух архива буквально насытился трупным запахом настолько, что во время работы мне делалось несколько раз дурно, а бывшие со мной служители, подававшие мне дела для просмотра, только молча, хотя энергично, отплеывались...

Попутно при раскопках натыкался я в уездных архивах и на интересные документы не одной муравьевской эпохи... Но, к сожалению, я не имел права откладывать их и не имел времени подробнее с ними знакомиться. Оставалось только просить уездные власти приберечь, не уничтожить их. Так, в одном архиве случайно и вопреки упрямому уверению полицейских властей о том, что ничего интересного нет, нашел я несколько подробностей, относящихся к фельдмаршалу Суворову. Надо заметить, что незадолго до меня в тот же архив приезжали со специальной целью — отыскать все, что могло относиться к бессмертному полководцу, офицеры и, успокоенные уверениями представителей местной администрации, уехали с пустыми руками. Я же лично полез на полки и открыл довольно ценный клад. (Копии с этих документов, снятые мною, я представил генералу Пузыревскому для напечатания в Варшавском военном

журнале.) На возвратном пути нарочно отыскал я молодых, неопытных археологов, показал им мою находку и дал практический совет, как и где нужно искать документы при будущих экскурсиях, не веря никому на слово.

Интересен тот факт, что в Гродненской губернии о муравьевских бумагах, валявшихся по уездам, вспомнили вновь, когда пришлось составлять историю губернии по поводу столетнего юбилея существования последней. Зная, что я спас сотни пудов муравьевских документов, обращались, конечно, за справками ко мне, а я направлял за документами в Муравьевский музей... Не без удовольствия передавал я посланцам подробности моих архивных скитаний, справедливо замечая, что не сохрани своевременно я взятого мною из архивов, многое ко дню юбилея Гродненской губернии пошло бы в жидовские мелочные лавочки... А теперь... теперь оно, слава Богу, покоится в Муравьевском музее...

Мои поездки по уездам Северо-Западного края не обошлись, конечно, без курьезов и приключений, то грустных, то комичных. В одном городке, где пришлось работать глухою ночью, при фонарях, мой приезд, таинственное ночное шествие в сопровождении полицейских и самые работы в архиве на другой же день вызвали Бог весть какие толки о внезапной секретной ревизии... Особенно волновались местные жидки, от любопытства которых ускользала истина... В другом городе, приехав рано утром, я послал к исправнику доложить, что явился такой-то, по распоряжению генерал-губернатора, разыскивать муравьевские бумаги в архиве. На беду в уезде оказалась Муравьевская волость, а на пальто моем были белые погоны... И вот посланный мною полицейский все перепутал, а я вырос в жандармского полковника, приехавшего внезапно на ревизию по приказанию высшего начальства и требующего немедленно представления списка крестьян Муравьевской волости. Появилась и другая вариация, не менее остроумная... Надо было видеть изумление, а отчасти и досаду милейшего исправника, оказавшегося притом моим старым знакомым, когда, зайдя ко мне в гостиницу, куда я ушел, он вместо грозного секретного ревизора встретил простого любителя-археолога, добывающегося по разрешению свыше возможности без всяких формальностей порыться в полицейском архиве...

Восстание 1863–1865 гг., по мнению моему, не дало для историка крупных событий и в сущности все состояло из мел-

ких отдельных эпизодов. Но, только изучив эти отдельные эпизоды, разбросанные по делам всего Северо-Западного края, уясняешь себе, насколько сильно и опасно было брожение и как трудно было бороться с хитрым, настойчивым и острожным врагом. Те же эпизоды прекрасно рисуют критическое положение мелких русских властей, а также православного духовенства и одиночных русских людей, закинутых судьбой в захолустья, посреди враждебного, сплоченного, нафанатизированного ксендзами населения. И вдруг картина меняется: именно со времени прибытия в край гр. М. Н. Муравьева русские люди поднимают голову, закипает деятельность местных властей, войск и постепенно наступает полное умиротворение... А сколько мученических, потрясающих страниц из жизни «незаметных героев» хранят в себе дела уездных полицейских управлений! Будущий летописец усмирения мятежа скажет не раз еще мне спасибо именно за спасение дел этих управлений. Без изучения их в подлинниках всякое описание мятежа 1863–1865 гг. будет односторонним, бледным и неполным... А изучив дела, поймешь гр. М. Н. Муравьева, его систему и те крутые меры, к которым он должен был скрепя сердце прибегнуть...

Насколько помню, в 1899 году, вызвав меня к себе, покойный В. Н. Троицкий передал мне присланную ему для Муравьевского музея палку графа М. Н. Муравьева с зеленой нефритовой ручкой и резиновым наконечником. При этом он поручил мне сдать палку в музей, добавив, что дня три ходил с нею гулять по саду и что она очень удобна.

Взяв палку, пошел я с нею в город, так как было еще рано и в музее никого не могло находиться. Встречаю на улице одного знакомого поляка. Палка в руках у военного, конечно, обращает на себя сейчас же внимание. Начинаются расспросы.

— Угадайте! — говорю. — Чья у меня палка?.. Заранее предупреждаю, что она принадлежала одному знаменитому литовскому деятелю, жившему в Вильне...

Начинаются отгадки. Дело доходит до Адама Мицкевича, Одынца, Сырокомли.

— Нет, — говорю, — деятеля не литературного, а политического, государственного... Времен последнего польского восстания...

Собеседник робко, полушепотом, называет ряд польских деятелей восстания, но я отрицательно качаю головой.

— Это... палка...

— ?!

— Это — палка приснопамятного графа Михаила Николаевича Муравьева, — разгадываю я наконец загадку.

Надо было видеть выражение лица моего собеседника!.. С этой поры мы с ним — лишь на сухих официальных поклонах, а палку в тот же день передал я по принадлежности в Муравьевский музей.

О том, что должны существовать где-то мемуары бывшего во время мятежа правителем канцелярии графа Муравьева Ивана Акакиевича Никотина, давно доходили до меня неясные слухи. Когда же стала осуществляться на деле мысль моя об учреждении в Вильне Муравьевского музея, начал я искать эти записки и в конце концов обратился письменно за справками к дочерям покойного Никотина, прося их, в случае если мемуары находятся у кого-либо на руках, дать мне доверенность на право розысков их и передачи в музей имени графа Муравьева. Скоро получил я самый любезный ответ, из которого было видно, что мемуары действительно существовали и должны еще существовать; что у покойной вдовы Никотина взял их прочесть на время государственный контролер Т. Ив. Филиппов; что записки эти так и остались у г. Филиппова, а на позднейший запрос о них Третий Иванович отвечал полнейшим неведением или запамятованием, так что в дело обратного получения рукописей от него был вмешан, хотя и бесплодно, тоже покойный ныне министр иностранных дел граф Муравьев.

Все это давало некоторую надежду на получение мемуаров, и я энергично принялся за их розыски, дважды написал Т. Ив. Филиппову со ссылкой на данную мне доверенность, но не получив никакого ответа. Вскоре Т. Ив. Филиппов скончался, и с той же просьбой обратился я письменно к сыну его. Прошло довольно долго времени, и я не получал ответа, так что совершенно потерял надежду на отыскание мемуаров, когда однажды явился ко мне в Вильну посланный от С. Т. Филиппова и в простом незашитом мешке, без описи и письма, привез несколько объемистых рукописей Никотина.

Вопрос сводился теперь к условиям передачи мемуаров в Муравьевский музей и напечатания той части их, которая отно-

сится к эпохам, предшествовавшей восстанию и самого восстания. Но тут вышло одно небольшое недоразумение, поставившее меня временно в неловкое положение перед комиссией по устройству Муравьевского музея, куда передал я записки Никотина: от наследников покойного получил я заявление, что хотя рукопись передается ими в музей, но только рукопись, без права ее печатания. Спасши, быть может, от гибели мемуары Никотина, ведя о них неприятную переписку и переговоры, я, конечно, имел в виду прежде всего интересы Муравьевского музея и истории, а потом уже интересы наследников Никотина. На эту тему по поручению комиссии и началась у меня с наследниками Никотина оживленная переписка, приведшая в конце концов к полному соглашению. Благодаря любезности этих лиц, музей получил не только самую рукопись, но и право издания ее на известных условиях. Мемуары стали уже печататься в «Русской старине». Особенно интересна та часть их, которая рисует жизнь Вильны, доверчивый сон местной администрации и мягкосердого, благородного, верившего на слово В. И. Назимова накануне восстания. Части же записок, не относящиеся к восстанию, возвращены наследникам.

Летом 1899 года, в 10 часов утра, через жандарма вызвал меня к себе покойный генерал-адъютант В. Н. Троцкий. Вызов без записки, через нижнего чина указывал всегда на неотложность и важность предстоящего свидания: я отправился к генералу немедленно, застав его не в духе, ходящего большими шагами по кабинету. На письменном его столе лежала изрядная куча бумаги.

— Вы чем-то там состоите в комиссии по устройству Муравьевского музея?.. — начал после первых приветствий генерал Троцкий.

— То есть как состою?.. Я назначен вашим высокопревосходительством членом этой комиссии...

— Ах да!.. Я и забыл... Вот в чем дело. Министр внутренних дел прислал мне из министерства замечательные документы, найденные у графа М. Н. Муравьева после его смерти... Здесь есть и переписка его с государем императором Александром II, в копиях, и памятные записки графа, и конфискованные предметы, и многое другое... Большинство присланного не подлежит еще, конечно, оглашению. Была и опись. Но она с одним

документом осталась у В. Т. Судейкина... Не забудьте взять их у него!.. А пока...

Генерал на минуту замолчал, но затем добавил:

— А пока... За отсутствием председателя комиссии А. В. Белецкого не угодно ли вам взять все присланное к себе на квартиру на хранение, а потом передать в музей... Но смотрите, будьте осторожны... чтобы чего-либо не пропало...

— Ваше высокопревосходительство! — с ужасом взмолился я. — Как же могу я взять к себе такие важные государственные бумаги без описи?!

— А вот так и возьмете... У себя я не могу их держать в квартире: у меня производится ремонт, я должен уехать... как раз стащат...

— Да и у меня в квартире ремонт... Семьи нет. Стережет имущество она глупая баба. Я тоже выезжаю в командировки. У вас же жандармы, ординарцы...

— Ну, уж это ваше дело, — сказал генерал, видимо, недовольный моими возражениями. Затем он позвонил лакею, простился со мной и велел слуге снести за мною вниз кучу бумаги, присланную министром.

Аудиенция кончилась. Рассуждать более не приходилось, и я спустился в приемную, сопровождаемый лакеем, который положил на стол документы и удалился. В приемной застал я генералов П. и А. Вероятно, на лице моем были написаны ярко недоумение и растерянность, так как последовали расспросы, и когда я передал о том затруднении, в которое поставлен щекотливым поручением В. Н. Троцкого, то генерал А. любезно предложил мне сдать бумаги на хранение во вверенное ему управление, занимающее помещение со специально устроенною несгораемою кладовою. Конечно, как утопающий, с восторгом ухватился я за подобную комбинацию, оставил бумаги в квартире генерал-губернатора на руках у жандарма, съездил домой за моей печатью, опечатал ею тюк, а затем свез и сдал его на хранение в указанное место. В то время я даже побоялся заглянуть в содержимое тюка и познакомился с ним уже позднее.

По приезде А. В. Белецкого долго не мог я передать ему полученные от генерала Троцкого бумаги, так как не находилась опись. Наконец решено было принять от меня документы комиссией. В назначенный день я, А. В. Белецкий и еще один член комиссии отправились в управление генерала А. Принесли бумаги, осмотрели целостность печатей, вскрыли тюк и переписали

сали в нем содержавшееся. Тут случился инцидент, о котором я и теперь не могу вспомнить без улыбки. Мне принесли официальную книгу, в которую были занесены документы, с просьбой расписаться в обратном их получении. Едва заглянул я туда, как разразился неудержимым хохотом: зная со слов моих, что бумаги очень важные, секретные, не подлежащие оглашению, чиновники, без ведома генерала А., не нашли ничего удобнее с целью замаскировать содержимое тюка, как занести в книгу, что мною по приказанию генерал-адъютанта В. Н. Троицкого такого-то числа сданы на хранение бумаги... «поэта А. С. Пушкина».

Необходимо заметить, что в те дни в обществе и печати было много толков об А. С. Пушкине по поводу столетия дня его рождения. И вот муравьевские бумаги обратились по воле хитроумных чиновников в «пушкинские». Я взял перо и со словами: «Не менее почтенный русский деятель», собственноручно зачеркнул: «поэта А. С. Пушкина», и надписал: «граф М. Н. Муравьева». В таком виде, с моей пометкой, книга хранится в управлении и по сие время.

Но представьте себе, что я просмотрел бы, не заметил редакцию журнальной записи и расписался бы в обратном получении моего вклада. Прошло бы несколько лет. И я, и другие, участвовавшие в приемке муравьевских бумаг из управления, сошли бы постепенно с житейской сцены... И вот какой-нибудь любитель-археолог или просто любознательный чиновник, просматривая случайно старый журнал, натолкнулся бы на запись. Воображаю, какое волнение охватило бы русское общество, когда оно узнало бы, что по приказанию генерал-губернатора секретно хранились в таком-то ведомстве, не имеющем никакого отношения к литературе, бумаги знаменитого поэта, сданные писателем полковником Жиркевичем, а затем взятые им же обратно под расписку и... безвестно пропавшие!.. Да о подобном факте создалась бы не одна легенда.

Впоследствии были препровождены В. Т. Судейкиным в Муравьевский музей и опись, и взятый им для прочтения документ.

Если я так долго остановился на рассказанном, то лишь для того, чтобы показать, каким случайностям и приключениям подвергаются иногда у нас, на Руси, исторические документы даже тогда, когда они пересылаются министром

генерал-губернатору... Разве не могли они затеряться при переходе из рук в руки?!.. получить нежелательную огласку прежде времени?..

Известный виленский деятель, археолог и писатель Иван Яковлевич Спрогис, сердечно болеющий, как и я, о грустной судьбе многих местных архивов и потому энергично поддерживающий меня в моих архивных приключениях, давно говорил мне о том, что следовало бы «основательно порыться» в архиве Виленского городского полицейского управления, в котором, по словам его, он был и где лежат кучи старой бумаги. Как-то, с разрешения полицейских властей, пошел и я взглянуть на архив, о котором так увлекательно рассказывал мне почтенный Иван Яковлевич. Действительно, нашел я огромное помещение, заваленное старинными документами всевозможных годов, между которыми попадались дела конца XVIII столетия. Ветер и дождь беспрепятственно врываются в комнаты вместе с голубями, оставившими на бумагах следы своих посещений...

Всюду — обычные картины наших заброшенных архивов: хаос, пыль, грязь, зловоние. Пол устлан делами, из которых многие под влиянием сырости давно уже превратились в вонючую кашу. Я невольно отступил перед этим бумажным хламом, сознавая, что тут один человек едва ли что-либо сделает, даже при самых пламенных желаниях. В соседней комнате, как теперь помню, были навалены ящики и сундуки, вероятно, с конфискованными документами, валялись цепи, какая-то надгробная плита, различный лом. Помещения были заперты на замки: это указывало на то, что все-таки принимались меры к охране старой бумаги. И я ушел полный соображениями о том, как бы поближе познакомиться с архивом. Передо мною уже рисовались заманчивые картины тех будущих дней, когда мы с Иваном Яковлевичем Спрогисом по уполномочию начальства, подбрав себе ревностных сотрудников, примемся за разборку бумаг и спасение всего, что имеет значение для истории края. А пока я, занятый службою и своими делами, мечтал таким образом, прошло немало месяцев.

В 1900 году виленские евреи приносят мне однажды на просмотр несколько бумаг, несомненно, из того же архива Виленского городского полицейского управления. Узнаю от них,

что самый архив продан на пуды с аукциона полицией, по столько-то копеек за пуд; что пришедшие ко мне купили всю бумагу и недавно спустили одному господину много дел, взяв с него изрядный куш. Отправляюсь к новым владельцам правительственного архива, работаю и в их квартире, и в их складе, на дворе у отхожего места, при ужасной обстановке; выбираю, покупаю массу исторических документов, относящихся к далекому прошлому Вильны, торгуюсь и отвожу домой спасенные сокровища. Но кто же этот таинственный незнакомец, до меня успевший приобрести большую часть архивных дел на выбор? Евреи не сообщают его фамилии и адреса, а я сгораю понятным любопытством. Несомненно, однако, ко мне в руки попали лишь остатки. Но какие остатки!! Они красноречиво говорят о заслугах покойного архива. Десятки дел, относящихся к быту римско-католического духовенства, к бывшему Виленскому университету, к эпохе пребывания в Вильне французов, к масонам, тайным обществам, по еврейскому вопросу и т.п. Вот, наконец, и муравьевские бумаги, которые главным образом я и искал, помня прежде всего, как и ранее, нужды Муравьевского музея. Большинства купленного мною у евреев уже нет теперь в моем распоряжении, так как я пожертвовал документы в различные учреждения. Достаточно будет сказать, что одних неизданных материалов, относящихся ко времени пребывания французов в Вильне, передал я в учрежденный при Виленском военном собрании Военно-исторический музей тринадцать огромных переплетенных томов. Недавно туда же пожертвовал я 28 объемистых томов дел, рисующих жизнь былой Вильны.

По мере того, как скупал я бумаги по частям, хитрые евреи, конечно, набавляли цену. Однажды приносят они мне сравнительно небольшую пачку каких-то старых документов, предлагают купить ее, назначая большую цену, с условием, что я возьму все «не смотря, а на счастье». Поторговавшись, купил я пачку, положил ее на шкаф и забыл про нее. Как-то попадает она мне на глаза. С неохотой начинаю разбирать бумаги, заранее убежденный, что мне всунули негодное, и замираю от восторга: вот подлинный рескрипт императрицы Екатерины, данный одному генералу за участие в делах по разделу Польши; вот автограф Потемкина, рескрипты Александра Благословенного, грамоты польских королей. Видимо, это были документы или конфискованные, или утерянные и потому хра-

нившиеся в полиции. Надо заметить, что большинство их дошло до меня в удивительной сохранности. В настоящее время я тоже пожертвовал их в музей при Виленском военном собрании. Но предварительно объяснил я евреям, думавшим сделать «гешефт» на счет моего кармана, о том, какова настоящая стоимость на антикварном рынке мною приобретенного. Отчаянию их не было границ!.. Желая поправить свой промах и наверстать безнадежно потерянное, стали они таскать мне обрывки дел, уверяя, что «тут, может, есть одна такая бумага, которая стоит сотню рублей». Но более таких бумаг не находилось, или, вернее, они были, да погибли в неумелых руках барышников, быстро разорвавших дела на отдельные листы различного формата и пустивших все в оборот. Быть может, в какой-либо лавчонке завернули селедку в другой автограф Великой Екатерины!.. Помню хорошо, как Ив. Я. Спрогис уверял меня в том, что видел сам при посещении полицейского архива целые переплетенные дела с подписями известных лиц. Но до меня дошло всего одно такое дело в четырех томах, которое евреи стали уже разрывать на отдельные листы. Где же остальные? Попадались мне и обрывки старинных документов, видимо, остатки конфискованных. А где же другие части документов? Попали ли они к тому таинственному лицу, которое до меня хозяйничало в архиве, выбрав, очевидно, лучшее, или в них преспокойно обертываются продукты виленских мелких торговцев? Не поехали ли они из Вильны за границу? Дай только Бог, чтобы они попали в руки настоящего ученого или понимающего любителя, будет ли то русский или человек иной национальности!..

Я упомянул выше, что архив Виленского полицейского управления был продан официально, с разрешения начальства, следовательно, при соблюдении всех формальностей... Какой грустной иронией должна звучать эта фраза в сердцах истинных ценителей отечественной старины! Где были в то время виленские ученые? Знали ли они о такой продаже? Однажды зашел ко мне с визитом главный виновник подобной неосторожной, скажу даже, преступной продажи исторического материала. Бумаги, купленные у евреев, были уже рассортированы мною, подклеены, переплетены, заполнив собою огромный шкаф; я тогда еще не раздавал их по музеям. Подвожу «особу» к этому шкафу, рассказываю подробности приобретения документов у виленских евреев, про их продажу...

— Ну, уже наверное это было не при мне! — отвечает с уверенностью «особа».

— Увы! при вас... Сам видел резолюцию, решившую вопрос о продаже архива, — отвечаю я. И тут же, в шутовском тоне, благодарю за предоставление мне возможности пополнить, обогатить мои коллекции интересными документами и автографами...

Быть может, это место настоящей заметки попадетсЯ случайно тому незнакомцу, который был счастливее меня и первый рылся у евреев в приобретенном ими полицейском архиве... Пусть он, в благородном рдении о спасении обрывков нашей отечественной истории, гибнущих в частных руках, поступит подобно мне, то есть пожертвует все купленное в архивы правительственных учреждений хотя бы той же Вильны, от которой документы оторваны по недоразумению: «Отторженное возвратих!»¹...

— Не знаете ли про какие-либо исторические документы, валяющиеся в частных руках? — спрашиваю я однажды, сидя в вагоне, молодого знакомого армейского офицера. У меня, надо заметить, вошло в привычку наводить разговор на тему о старине, и, благодаря этому, часто совершенно неожиданно натыкался я на очень интересные бумаги и вещи. Советую и другим любителям-археологам делать то же: из сотни случаев наверное получится несколько ценных указаний.

— А вам нужны бумаги какого времени? — спрашивает в свою очередь собеседник.

— Ну, хотя бы муравьевской эпохи в крае.

— Пойдите, — говорит офицер, — после моего отца остались какие-то бумаги... даже как раз относящиеся к восстанию. Помню подписи графа Муравьева, епископа Красинского...

Нечего говорить, как заинтересовала меня подобная находка... Пристаю к офицеру, стараюсь навести его на мысль о том, где валяются у него документы. Но собеседник не уверен даже, сохранились ли они. Лежали они не то в старых, ненужных вещах, не то в белье, быть может, в Вильне, а то и в другом месте.

¹ «Отторженная возвратих» — девиз времен российской императрицы Екатерины II, связанный с разделами Речи Посполитой и присоединением западнорусских земель к Российской империи.

Могли их давно уже «утилизировать» на домашние надобности хотя бы денщики... Ободряю собеседника на немедленные энергичные розыски. Вижу, что расшевелил его равнодушие, вдохновил и пристыдил...

И вот через несколько дней у меня в руках 120 листов интересной исторической переписки, относящейся к казням политических преступников, с многочисленными автографами графа М. Н. Муравьева и других замечательных лиц той эпохи. Оказалось, что во время восстания отец офицера служил в одном из правительственных учреждений города Вильны, и документы, оставшись у него на руках, очевидно, по недоразумению, достались сыну и... попали в кучу ненужного хлама... В них не хватало многих страниц. Было ясно, что ко мне перешло не все. Но и сохранившегося уже достаточно для освещения самых грустных, трагических страниц последнего восстания.

Документы офицер подарил мне, как ему «ненужные», а я, конечно, передал их в Муравьевский музей, где они и хранятся, ожидая будущего историка.

В одну из других моих поездок, тоже заведя в вагоне разговор на тему о старине вообще и о документах, относящихся к восстанию 1863–1865 гг., в частности, узнал я, что в одном имении Т-го уезда, на чердаке, валяются бумаги бывшего люстратора К. Г., ныне покойного, в которых попадаются автографы Муравьева. Подобного известия было достаточно, чтобы заставить меня свернуть с дороги и поехать нарочно знакомиться с владельцами имения и самыми документами. Любезная хозяйка имения, перед которой извинился я за мой странный, неожиданный визит и откровенно высказал про цель моего посещения, действительно показала мне переплетенную тетрадь с подписью графа М. Н. Муравьева; в тетради был крайне важный свод люстрационных работ. По словам г. К. Г., на чердаке лежало много таких же бумаг, но пустить меня туда она не соглашается, так как чердак — грязный, лестница — крутая, опасная, бумаги — в пыли, в беспорядке; часть их уже пошла на хозяйственные нужды по имению, а оставшееся (кроме тетради) она все собирается продать или уничтожить... Несмотря на все мои убеждения и просьбы, меня усердно угощали, но уговаривали не рисковать сломать себе шею, взбираясь на неу-

строенный чердак... Надо было действовать энергично, не теряя времени... И вот, едва хозяйка вышла для каких-то распоряжений, я, расспросив прислугу о дороге на запертый чердак, скоро очутился перед ящиком, наполненным официальными бумагами; в углу валялись груды такой же бумаги. Даже беглого осмотра было достаточно, чтобы составить себе понятие о том, какое громадное значение имеют эти документы для истории крестьянской реформы в крае, для характеристики отношения к ней графа М. Н. Муравьева как министра государственных имуществ. В переписке заключались ценные автографы графа Муравьева, графа Валуева и других деятелей крестьянской реформы. Помню, как из ящика, едва я его коснулся, бросились на меня крысы... Вернувшись вниз и извинившись перед хозяйкой за мой энергичный, быть может, не совсем деликатный для первого визита поход на ее чердаки, я без труда получил в свое распоряжение архивное наследство, оставшееся после известного деятеля К. Г., уложил подаренное мне в два огромных мешка и привез их немедленно в Вильну. Нечего говорить, что все было пожертвовано мною впоследствии в Муравьевский музей — около 2500 листов официальной и частной переписки и более 5 пудов приложений. Но история с люстрационными бумагами этим не кончилась: у г. К. Г. осталась тетрадь, о которой я упомянул выше, — с общим сводом по люстрационным работам. Прежде чем передать мне эту тетрадь, хозяйка именина, по словам ее, хотела посоветоваться с каким-то господином, фамилию которого я слышал в первый раз. Наконец получил я известие, что тетрадь взята этим господином для вручения ее мне. Но напрасно писал я ему, напоминая о передаче мне подарка, пытался добиться личного свидания: на письма мои не было ответа, а господина никогда не находилось дома. Так протянулось несколько месяцев. Выведенный, наконец, из терпения и узнав, где хранится тетрадь, я пошел в указанную квартиру, где действительно была мне предъявлена тетрадь, но без хозяина мне не согласились ее выдать... Я просил напомнить еще раз господину о желании моем получить то, что принадлежит мне как давно подаренное, однако ответа не последовало. Тогда вторично пошел я на квартиру, попросил еще раз показать мне тетрадь, преспокойно, несмотря на протесты, спрятав ее в мой портфель и унес с собой, оставив расписку, удостоверяющую, что такого-то числа я взял мне принадлежащее. Протеста не последовало, а тетрадь я тоже приобщил к сокровищам Му-

равьевского музея. Таким образом закончилась комедия с подарком, который почему-то долго не мог попасть ко мне по назначению...

Осенью 1897 г. в залах виленского генерал-губернаторского дворца устроена была японско-абиссинская выставка в пользу местного отделения общества Белого Креста. В выставке этой принимал я деятельное участие в качестве делопроизводителя виленского отделения общества. И вот, бродя по комнатам дворца, старался я найти хотя что-либо, относящееся к графу М. Н. Муравьеву, но, к сожалению, натолкнулся на весьма немногое: точно чья-то недобрая, мстительная, сознательно действовавшая рука вымела из дворца все, что так или иначе напоминало бы потомству о замечательном русском человеке... С трудом, при помощи слуг, можно было установить, где находились спальня и кабинет покойного графа... Расспрашивал я, конечно, и дворцовую администрацию о вещах, бумагах эпохи графа Муравьева, которые могли где-либо завалиться в складах, тем более что мне известен уже был тогда факт продажи с аукциона из состава дворцового имущества за три рубля, например, такой исторической драгоценности, как модели Александровской колонны в С.-Петербурге, поднесенной М. Н. Муравьеву, насколько помню, даже с посвящением ему¹. Но я получал однообразные ответы: «Ничего нет, а что было, то давно уже продано, уничтожено, выброшено...» И неудивительно: ведь в том же дворце жил, думал и действовал А. Л. Потапов... Этим все сказано...

Однако во время упомянутой выставки мне неожиданно повезло: как-то раз увидел я, что лакей растапливает самовар старинной бумагой. Взяв ее, я убедился, что на ней подпись генерал-адъютанта Бибикова. Конечно, я поспешил узнать, как подобный документ мог попасть в лакейские руки и в самовар... Простодушный слуга откровенно сообщил мне, что над конюшнями генерал-губернаторского дворца валяются «горы» подобной же старой бумаги, что бумагой этой уже много лет топятся печи дворцовой прислугой; что ее растаскивает всякий,

¹ *Примечание А. В. Жиркевича:* Модель эта до сих пор стоит в квартире у купившей ее лица. Место ее, конечно, в Муравьевском музее, как вещи, принадлежавшей Муравьеву и попавшей в частные руки по недоразумению.

кто хочет... Попросив лакея немедленно же провести меня к этим «горам», я очутился над дворцовыми конюшнями, во втором этаже отдельного флигеля, выходящего некоторыми окнами на дворцовый двор. Внизу флигеля еще при генерале Оржевском помещались конюшни; вверху — несколько комнат, часть которых была занята жильцами. В первой из них, самой большой, увидел я следующую картину: в углу лежала огромная, выше роста человеческого, в несколько сажен окружностью, груда старых бумаг и дел, на самом верху которой мирно спали чьи-то куры. Дела были в хаотическом беспорядке, в большинстве разорванные, разбитые, загаженные, без обложек и надписей... Но попадали и целые папки. Я взял одну из них: оказалась переписка о расквартировании войск в Вильне, кажется, в 1840–1850 годах, с ценными автографами. При дальнейшей раскопке попались не менее интересные документы начала прошлого столетия и наконец то, чего я главным образом искал, — бумага с собственноручной подписью графа М. Н. Муравьева. Не было более сомнения в том, что случайно я набрел на часть документов из времени приснопамятного пребывания в Вильне Муравьева. Впоследствии, как мне объяснили, найденная груда бумаги оказалась остатками особой канцелярии генерал-губернаторов... Не знаю, впрочем, верно ли это...

Дальнейший осмотр помещения показал мне, что в комнатах, соседних с той, где лежала груда, жили какие-то люди; мимо меня шмыгали ребятишки, проходили женщины. Около кучи и даже в самой куче валялись свежие окурки папирос. Наружная дверь, благодаря тому, что в помещении находились жильцы, не запиралась на замок; самое строение хотя было каменное, но с деревянной лестницей, скрипевшей под ногами, с гнилым полом. Нахождение его над конюшнями, где от пьяных кучеров мог всегда возникнуть пожар, невольно навело на тревожные мысли, тем более что мне рассказали о пожаре, который будто бы уже начинался во флигеле и только случайно вовремя был замечен и прекращен...

Визит мой изумил дворцовую челядь; она с улыбкой обступила меня и стала откровенно передавать возмущающие душу подробности о бумагах... Оказывалось, что архив, если верить свидетелям (а почему же и не верить им?), находился в этом здании давно и был прежде в сравнительном порядке. В здании всегда жила прислуга дворца. Стоял себе архив, помещаясь на полках и в шкафах, тоже никем не охраняемый, но все-таки сто-

ял до той поры, когда во времена пребывания в Вильне генерал-губернатора графа Тотлебена кому-то понадобился шкаф: тут бумаги без церемонии вывалили на пол... С этой-то минуты, по словам рассказчиков, началась топка печей дворцовой прислуги архивными бумагами. Впрочем, нашелся один голос, утверждавший, что топили архивом печи еще ранее — при генерале Потапове. Топили, по заявлению лакея, не жалея «дряни», особенно облюбовав целые, не разбитые еще пачки. «Как положишь такую пачку с песком и пылью в огонь, — уверял меня с самодовольной улыбкой словоохотливый лакей, — так она горит долго, не хуже дров».

Много в тот день рассказано было мне у архивной груды вполне правдиво прямо невероятного... Но в числе собравшейся прислуги заметил я и таких, которые видимо осуждали товарищей за болтливое разоблачение дворцовых тайн, указывавшее на недавние беспорядки... Впоследствии на деле мог я убедиться в том, что языки оказались сильно прикушенными, откровенничали менее охотно, с опаскою, хотя факта топки печей бумагами и растаскивания их всяким, кто хотел, не отрицали и впоследствии... А тогда, в первое мое посещение передавалось мне, например, о том, что в архиве, даже во времена генерала Оржевского было много еще старинных рисунков, гравюр, карикатур на Наполеона и Александра Благословенного, портретов, фотографических изображений графа Муравьева, конфискованных предметов и книг; что жил тут же, возле архива, во флигеле, разный люд, устраивавший ночные кутежи и приглашавший на них к себе темных личностей. Особенно много рассказывали про какого-то лакея, заводившего здесь, на архивной куче, пьяные оргии и амурные свидания, у которого постоянно бывали сомнительные знакомые — русские и поляки... «Как все это сто раз не сгорело!» — резонировал рассказчик. Более подробный осмотр убедил меня в том, что в груды бумаг находились дела Доброхотной Копейки и Красного Креста за прошлые годы, книги и брошюры, представляющие теперь библиографическую редкость, какие-то цветные фонари, остатки бывшей иллюминации и другой хлам.

Я слушал поучительную повесть гибели генерал-губернаторского архива, а на меня с высоты безобразной груды его глядели не менее, чем дворцовая челядь, удивленные вниманием моим к этому позорищу куры, вероятно, считая меня если не совсем выжившим из ума, то во всяком случае чудачком, ненор-

мальным субъектом... Человеческие, собачьи испражнения, птичий помет, паутина, пыль, грязь — все это, высохшее от времени, — в изобилии пересыпали древние листы: нельзя было взять в руку бумаги, чтобы прибавления эти в изобилии не сыпались на пол... От кучи, едва тронули ее, понеслись ароматы неблагоустроенного отхожего места...

А я все стоял, стоял и думал грустную думу: было и стыдно, и больно, и досадно!.. Наконец я ушел с твердым намерением еще раз поближе познакомиться с архивом, а затем обратить на него внимание кого следует.

Прихожу через несколько дней: на входных дверях флигеля — замок; в самом флигеле — мертвая тишина, указывающая на то, что все жильцы из него выселены...Что такое, думаю, случилось? Узнаю, что один из дворников донес дворцовой администрации о внезапном визите моем в архив, вероятно, и о негодующих восклицаниях, невольно у меня вырывавшихся, и вот в короткий срок насильственно выселили жильцов, а двери накрепко заперли, приставив к ним в виде наблюдающего «цербера» дворника-доносчика... Шло даже, как передали мне перепуганные лакеи, расследование о том, кто и зачем без позволения ходил во флигель, кто копался в бумагах, кто их указывал... «Значит, — подумал я, — визит мой не прошел даром... Кое-кто зашевелился и сознает, что по части разоренного архива могут быть неприятности...»

Странной казалась мне, однако, та «охранительная» канцелярская логика, внезапно осенившая виленское дворцовое управление: двадцать лет разрешалось (или не препятствовали) дворникам и лакеям растапливать архивом кухонные печи, а в первый же раз, когда над конюшнями появился любитель-археолог, т.е. человек интеллигентный, сейчас вон и его, и лакеев с их семьями, ни в чем не повинными, из поруганного святилища... Досадно мне было и за прислугу, пострадавшую столь жестоко, благодаря моему несвоевременному любопытству.

А куча бумаги не давала мне покоя!.. У меня было, конечно, право на вход в разоренный архив, так как, будучи делопроизводителем местного управления общества Креста, видел я в куче бумаги и документы общества, относившиеся к деятельности его во время последней русско-турецкой кампании. Но не буду утомлять читателя подробным описанием всех моих приключений по вопросу о допущении меня поближе ознакомиться с архивной кучей и взять из нее хотя бы бумаги

Красного Креста. Наконец-то, после долгих колебаний, распросов, сомнений, дали мне разрешение порыться в архиве, а также и людей в помощь, причем было выражено полное недоумение по поводу предположенной мною экскурсии, а также высказана мысль, что «давно пора бы все эти старые, никому не нужные, дрянные бумаги вынести на середину дворцового двора и сжечь». Выражалось даже сожаление, что проект этот остался до сих пор не приведенным в исполнение. Я не спорил, чтобы не раздражить гусей, а принялся в самом архиве за работу. Впрочем, с первых же дней убедился я, что мне не одолеть гигантской груды, что для этого нужна известная система, продолжительное время, гораздо больше рабочих рук. Взяв кое-что, случайно подвернувшееся под руку из дел Красного Креста, я на этот раз малодушно отступил с сознанием, что бессилён бороться со стихией в виде разоренного архива, но не теряя надежды собрать более основательные силы и двинуться с новой энергией на борьбу и раскопки...

Осмотр, хотя и беглый, поверхностный, имел тем не менее для меня важное значение: он окончательно убедил меня в том, что находка моя, даже в ее позорном состоянии, даже в виде обрывков и остатков былых дел, имеет для края несомненное значение... Но в каком виде был самый архив, можно судить уже по тому, что помогавший мне в раскопках курьер вылезал из кучи бумаг буквально с ног до головы покрытый сухим навозом, паутиной, пылью, вероятно, посылая мне, непосредственному виновнику его страданий, мысленно не совсем лестные эпитеты... В глазах этого бравого заслуженного ветерана, несмотря на получаемое от меня за тяжелый, каторжный труд его прилагательное, не раз читал я уже высказанную мне мысль: «Давно пора бы сжечь всю эту дрянь посреди двора генерал-губернаторского дворца. А то ходят, беспокоят с нею других!»

Прошло с тех пор еще несколько месяцев. Во флигель над конюшнями, где покоились жалкие останки маститого старца — архива, снова незаметно поселились прежние жильцы с ребятишками и хозяйством; замок на дверях сняли, и доступ к бумажной груде по-прежнему стал свободен для всякого желающего, в том числе для кур, кошек, собак, облюбовавших старую бумагу. Напрасно начинал я разговоры с лицами прикосновенными к судьбе архива о необходимости положить конец этому безобразию и привести бумаги в порядок: мне отвечали улыбками, шутками, пожиманием плеч, недружелюбным мол-

чанием. Однажды во время подобной беседы в намеках и лице говорившего прочел я прежнюю энергичную идею о необходимости сразу же разрубить гордиев узел. Думаю себе, ну как на самом деле возьмут да и сожгут потихоньку моего старца, хотя бы за то, что он, в моей особе, упрямо напоминает о себе. А то продадут его на пуды виленским жидам. И такой проект, как мне потом передавали, уже появлялся, благо с ним связан был и доход казне от проданной ненужной и только зря занимающей место бумаги. Заходил я время от времени и в самый архив нарочно при свидетелях, чтобы не вызывать более сплетен и подозрений. Посещения эти только убеждали меня в том, что куча бумаги как будто бы оседает, тает, уменьшается в объеме; что целые папки, которые недавно еще видел я в куче, куда-то исчезают, вероятно, приносясь в жертву беспощадному Молоху — кухонным печам дворцовой прислуги. Да и время было холодное, сырое, вызывавшее усиленное отопление лакейских квартир. Трудно было и осуждать темных многосемейных бедняков!.. И каждый раз при моих посещениях встречал я собачку — новую жилицу флигеля, — несомненно, своеобразную ценительницу старины, которая, возбужденная моим приходом, взбиралась на самую вершину груди и преспокойно совершала там свои естественные отправления...

Много передумал я над архивной кучей во флигеле над конюшнями. Нового генерал-губернатора еще назначено не было, и мое более энергичное вмешательство не привело бы ни к чему, а только озлобило бы всех против меня, ускорив, быть может, кончину архива. Припоминалось и равнодушие наших чиновников к остаткам родной старины, и книга графа Леливы «Русско-польские отношения», сплошь основанная на выкраденных официальных документах, и многое другое... Можно ли, впрочем, винить мелкий чиновный люд, — философствовал я, — когда между лицами высоко стоящими, светскими и духовными, от которых подчас вполне зависит судьба исторических сокровищ, встречал я постоянно относившихся к этим сокровищам с нескрываемым пренебрежением или равнодушием, даже враждою?.. Надо действительно быть археологом, писателем, ученым в душе по рождению, по крови, чтобы проникнуться должным уважением к тому, что для толпы простых смертных — лишь сор, хлам, ненужная дрянь, которая только осложняет жизнь, вызывая неприятности, охрану, описи, справки... В археологии есть своеобразная высокая поэзия для тех,

кто посвятил себя ей... А много ли вообще истинных поэтов на белом свете?!

Между тем картина виленской жизни постепенно менялась... Последовало назначение на пост генерал-губернатора генерал-адъютанта В. Н. Троцкого, человека вполне русского, не любившего полуслов и полумер... Приехал и ближайший сотрудник его В. Т. Судейкин. В Вильне почувствовались в воздухе иные веяния. Канцелярии проснулись и засуетились: стало жить там не так спокойно, как жилось во время отсутствия высшей власти в крае... То были вновь хорошие, радостные минуты для нас, русских виленских старожилов, разные виды здесь видевших и думавших уже, что с генерал-губернаторством навсегда покончено... Радовался, надеялся со всеми и я, будучи уверен, что когда новые лица присмотрятся, когда водворится должный порядок, то можно будет заговорить с ними и об архиве над конюшнями, притом с надеждою на успех... Приезд в Вильну генерала Троцкого, как я уже сказал, быстро двинул вперед вопрос об открытии памятника гр. М. Н. Муравьеву: в лице Виталия Николаевича явился человек, уважавший память великого деятеля и часто справлявшийся с его взглядами и заветами. Состоялось, как я уже сказал выше, и назначение меня в числе прочих в комиссию по устройству музея имени графа Муравьева.

В первом же заседании комиссии, происходившем в зале Виленской публичной библиотеки, в нескольких шагах от генерал-губернаторского дворца, невольно зашла речь о том, как трудно доставать новые документы, освещающие эпоху усмирения гр. Муравьевым мятежа и правильно проливающие свет на его замечательную личность: «Все это скрыто, вывезено за границу, уничтожено; жаль, что мысль о Муравьевском музее не была осуществлена сейчас вслед за умиротворением края...» Тогда-то с торжеством заявил я впервые публично о моей неожиданной находке — той гряде исторической бумаги, которая много лет гниет над генерал-губернаторскими конюшнями и в которой попались мне документы, относящиеся к деятельности гр. Муравьева. Тут же, не щадя красок, откровенно рассказал я членам комиссии историю того, как случайная благотворительная выставка и глупый лакей, в святой простоте растапливающий старинной бумагой самовар, дали мне возможность дойти до разоренного архива. Сообщение мое было настолько неожиданно, что вызвало недоверчивые улыбки, а представитель генерал-

губернаторской канцелярии, заступавший в заседании место В. Т. Судейкина, выразил открыто сомнение в справедливости моих слов... Тогда, чтобы не быть голословным, предложил я председателю комиссии А. В. Белецкому, не откладывая дела в долгий ящик, пойти со мною во флигель и самому убедиться в точности сказанного мною. В назначенный день и час мы были уже с ним у В. Т. Судейкина и под предлогом розыска во дворце вещей, принадлежавших кабинету гр. Муравьева (действительно, уверяли, что старое кресло, стоявшее в архивной гряде, принадлежало когда-то Муравьеву), двинулись в поход с г. Судейкиным в сопровождении представителя дворцовой администрации и прислуги — той самой прислуги, которая столько раз передавала мне грустные подробности из былой жизни архива... Нарочно ничего не говорил я В. Т. Судейкину как правителю генерал-губернаторской канцелярии о затаенной цели нашей экскурсии, для того чтобы эффект вышел более сильный, неожиданный. Напрасно представитель дворцовой администрации (мне так, по крайней мере, это показалось) старался остановить наше торжественное шествие, уверяя, что «во флигеле над конюшнями ничего интересного нет», что «там грязь, пыль, вонь», — ему в конце концов предложено было вести нас из дворца прямо туда, куда я указывал. Мы прошли дворцовый двор, взобрались по хорошо знакомой мне скрипучей лесенке на второй этаж над конюшнями и очутились перед развалинами бывшего архива.

Тот, кто, подобно мне, беззаветно любит историю, археологию, отечественную старину, кто не раз дрожал нервной дрожью, понятной археологу, от волнения и восторга над каким-нибудь черепком или куском полуистлевшего пергамента, бросающими луч в темное прошлое, для кого мертвый предмет получал значение дорогого живого существа, говорящего о жизни прежних поколений, — тот поймет, что испытывал я в эти минуты, стоя перед тысячами загаженных, растрепанных, поруганных актов в присутствии В. Т. Судейкина, от одного слова которого всецело зависела дальнейшая судьба их.

Разыгралась над конюшнями характерная сцена, которой я никогда не забуду.

На изумленный, резкий вопрос Власия Тимофеевича, обращенный к представителю дворцовой администрации: «Что это такое?» — поспешил ответить за последнего я сам:

— Это часть вашего генерал-губернаторского архива.

Тут снова, на этот раз уже робко, в последний раз, прозвучало мнение о том, что всю эту «дрянь» давно следовало бы «сжечь посреди генерал-губернаторского двора», как напрасно занимающую место и никому не нужную. Тогда, торжествующий, неумолимый, в присутствии дворников и лакеев, ссылаясь на их показания, сообщил я В. Т. Судейкину неприкрашенную правду о том, как целые годы сжигалось, раскрадывалось и шло на отопление дворцовых печей, гибло под испражнениями людей и животных, быть может, бесценное сокровище местной истории, жалкие останки которого вопиют о правосудии и отмщении. И словно нарочно, чтобы подтвердить мое показание, собачонка — своеобразный любитель археологии, о которой я уже упоминал, не стесняясь нашим присутствием, взобралась на самую вершину груды и там устроилась. Когда же представитель дворцовой администрации заявил, что в грудке бумаг наверно нет ничего ценного, я и А. В. Белецкий стали наугад рыться в хламе, находя то какой-либо хорошо сохранившийся документ, то отрывок документа, то целое дело, причем натолкнулись на объемистую тетрадь, половина которой, видимо, недавно была оторвана. Попался и муравьевский автограф. Я торжествовал...

Искреннему негодованию В. Т. Судейкина, конечно, не подозревавшего при вступлении в должность правителя канцелярии о части этой канцелярии, валяющейся над конюшнями, не было границ. По докладу о находке генералу Троцкому, приказано было привести архив в должный вид: были назначены чиновники и служители для работы, а я как счастливец, открывший в Вильне Америку, очутился во главе работающих. С радостью приняв это назначение, ввел я в работы известную систему, прося чиновников откладывать в сторону все, относящееся к гр. Муравьеву, и уверенный, что усидчивой, непрерывной работы хватит, по крайней мере, на месяц. Раскопки начались в самой антисанитарной обстановке, которая, впрочем, для меня, как уже ранее работавшего по нашим архивам, не была новостью.

Помню, что по обязанностям службы должен был я на время уехать из Вильны. Прихожу по возвращении к архиву, чтобы убедиться, насколько подвинулась работа, и останавливаюсь пораженный: бывшей груды как не бывало; полкомнаты, в которой недавно она еще покоилась, торопливо подметается служителями; в углу куча порванной, видимо ненужной, бумаги, а

уцелевшие дела и листы тщательно сложены в тюки, которые перевязываются веревками и опечатываются печатью генерал-губернаторской канцелярии. Работа эта видимо шла к концу. Тогда произошел следующий диалог:

— Где же архив? — спрашиваю я.

— Как видите, он приведен в порядок, — отвечают мне.

— Вот как поняли вы распоряжение начальства. И вы называете это приведением в порядок?

— Называю.

— А муравьевские бумаги, которые просил я вас откладывать?

— Мы их и не отбирали. Где же тут возиться в такой обстановке? Один из работавших даже заболел, надыхавшись вони и пыли.

— Что же вы делаете теперь?

— А вот запечатаем эти последние тюки и отошлем их на подводах в общий архив присутственных мест по счету.

— И без описей?

— Без описей. Нам было велено привести архив в порядок — мы его привели как могли.

Дальнейшее ознакомление с работой убедило меня в том, что бумаги свалены в тюки без всякой системы, а на тюках — надписи, не дающие ровно никакого представления о содержании самых тюков. И это называлось привести архив в порядок! Конечно, я заявил энергичный протест, доказывая, что высшее начальство ожидало совсем иных результатов от работы; что я, на ответственности которого лежит общее наблюдение, не могу же допустить, чтобы найденный мною архив погиб на моих глазах на этот раз безвозвратно в пучинах общего правительственного архива.

— Значит, — спрашивают меня грустно, с оттенком разочарования, — надо, по-вашему, перерывать сначала?

— Значит.

Взял я один тюк, велел служителям раскрыть его, сам разложил бумаги на столах по десятилетиям, отобрав все, что относилось к последнему восстанию или графу Муравьеву. Работа, конечно, осложнилась, не была вполне удовлетворительна, но в ней, по крайней мере, существовал некоторый смысл; она давала известные положительные результаты...

Видя, что взгляд мой не встречает никакого сочувствия в работающих и что при подобном настроении ничего путного не

выйдет, — решил я сам засесть за разборку бумаг и, по обычаю, показать собою пример другим... На много дней потянулись строго систематические занятия, причем мне приходилось работать с утра до ночи, часто одному с четырьмя служителями и всегда в душающем зловонии и пыли, поднимаемой передвижаемой бумагой, утомляться до изнеможения, приходиться домой с больными, воспаленными глазами, с легкими, надыхавшимися зараженным воздухом. А главное, тяжело было работать, сознавая, что случайные сотрудники тебе не сочувствуют и трудятся лишь по обязанности... Но у меня имелось зато великое утешение: каждый день убеждал меня все более и более в том, что находка моя стоила потраченного на нее времени и здоровья... Кучка муравьевских документов постепенно росла и росла на окне, куда ее складывали... Бумаги Красного Креста тоже приходили в порядок... Наконец документов, относящихся к графу М. Н. Муравьеву, накопилось тринадцать больших тюков, которые я перенумеровал лично и отложил в сторону, чтобы на другой день сдать в канцелярию генерал-губернатора. Но вдруг случилось загадочное происшествие: один из тюков пропал!.. Историю его исчезновения, находки и того, что пережил я при этом, мне хочется рассказать как-нибудь в другой раз... Она слишком поучительна...

Наконец-то все тринадцать тюков были переданы в канцелярию, а оттуда сданы в Муравьевский музей, умножив собою сокровища последнего.

Что же спасено мною из груды бумаг над конюшнями для Музея имени графа М. Н. Муравьева? Конечно, только остатки, обрывки, клочки. Но и спасенное очень важно для характеристики той эпохи... Туда попали несколько черновых тетрадей телеграмм графа М. Н. Муравьева к разным лицам, секретное, очень ядовитое письмо к нему графа Валуева, любопытное донесение состоявшего при графе чиновником особых поручений князя Урусова, относящееся к депутации крестьян Августовской губернии, множество прошений лиц польского происхождения о свидании с заключенными, причастными к мятежу, весьма характерных по льстивому их тону и со справками о положении дел; сведения о расходах на поимку повстанцев, на субсидии семьям лиц, пострадавших от мятежа; ведомости по контрибуционному сбору и т.п.

Помню, как заволновался покойный ныне Иван Петрович Корнилов, когда узнал от меня о судьбе части генерал-губер-

наторского архива. По просьбе его я написал статью, погибшую безвозвратно в одной газете...

Не буду описывать приключений с другими документами, рисунками и предметами, попавшими в Муравьевский музей при моем посредстве. Упомяну между прочим лишь про замечательный рисунок акварелью художника Жамета, изображающий кабинет графа М. Н. Муравьева в виленском генерал-губернаторском дворце. Приобрел я этот рисунок у одного местного коллекционера-поляка в то время, когда о Муравьевском музее не было еще и речи в Вильне. На рисунке красовалась польская надпись карандашом, которую я стер... И негодовало же потом лицо, от которого удалось мне приобрести эту драгоценность, умолчав о цели покупки, когда узнало, что рисунок украшает собой музей имени графа Муравьева! Единственно благодаря этому рисунку, при моем личном содействии были найдены в генерал-губернаторском дворце письменный стол Муравьева (по заявлению прислуги, в нем переделаны лишь ножки) и два кресла, стоявшие когда-то у этого стола.

Также задолго до открытия музея собраны были мною многочисленные отдельные фотографии сотрудников графа М. Н. Муравьева, гравюры и рисунки, в их числе и весьма редкий рисунок тушью Пятницкой церкви в том позорном, разоренном виде, в каком существовала она в 1805 году.

Мною же пожертвованы в музей две группы ближайших сотрудников графа (на одной из них снят и он сам). Кажется, сравнительно немного лет прошло со времени усмирения последнего мятежа, а некоторые лица, снятые на группах, были определены мною лишь по указаниям сотрудников Муравьева — академика Н. М. Чагина, генерала А. М. Божерянова, предводителя дворянства В. И. Павлова и других лиц после продолжительных, сложных справок и переписки. Прошло бы еще несколько лет, и сделать это было бы уже невозможно...

Передача известным виленским деятелем, академиком Н. М. Чагиным, замечательных рисунков церквей, восстановленных и обновленных графом М. Н. Муравьевым, обошлась тоже не без моего участия, так как о передаче этой задолго до поступления рисунков в музей совещался я с Н. М. Чагиным, убедив его бросить колебания и сделать в музей это пожертвование.

Недавно прочел я одну статью о Муравьевском музее и его жертвователях. В статье этой пропущены, забыты самые интересные, трогательные жертвователи — лица низших и средних сословий; в ней смешаны, поставлены рядом действительные жертвы (т.е. то, что стоило жертвователям личного труда, досугов, личных средств) с передачей, например, копий официальной переписки, сделанных казенными писарями по приказу начальства. Недаром же покойный В. Н. Троцкий с резкостью, юмором и справедливостью ему присущими на черновом экземпляре первого отчета по музею, поднесенном для его рассмотрения в рукописи, против того места, где говорилось о весьма важном «пожертвовании» одним лицом копий с официальной переписки, сделал собственноручную заметку карандашом в том смысле, что лицо это как подчиненное не имело права приносить подобной жертвы... После такой отповеди, конечно, изменилась и редакция о «важности пожертвования». Mais voila comme on fait l'histoire!..

Кончаю настоящую статью далеко не удовлетворенный, чувствуя, что я мог бы рассказать о Муравьевском музее еще кое-что поучительное.

Признаюсь, многое хотелось бы видеть мне в Муравьевском музее при другой обстановке; многое смущало и смущает меня. А затем да здравствуют, как всегда, правда, свет, согласие и любовь!..

У меня сохранилось где-то в бумагах неизданное письмо пятидесятых годов известного польского романиста И. Крашевского к русскому писателю Нестору Васильевичу Кукольникову. Помню, как Крашевский, касаясь в нем раздоров между русскими писателями, говорит, что ссорящиеся писатели эти напоминают ему всегда жрецов, спорящих у алтаря о том, кому из них следует раньше приступить к жертвоприношению. Прекрасно и метко сказано! Я не придаю, конечно, Муравьевскому музею не подобающего ему значения какой-то школы для дурных патриотов, которые якобы должны ходить в него учиться патриотизму, какой-то фабрики отечественных патриотов (мысль автора анонимной статьи «Виленского календаря» 1902 г.): никакой музей не был и не будет школою, а лишь необходимым полезным пособием к школе, и того, кто не родился с любовью к родине, кто не всосал эту любовь с молоком матери, никакими музеями не обратишь в истинного патриота. Но устройство музея,

постепенное, умелое, добросовестное наполнение его историческим материалом — не своего ли рода торжественное жертвоприношение?! И нам ли, имеющим счастье участвовать в этом жертвоприношении, спорить за первое место у алтаря? Дело другое, когда затронута истина!.. Тогда нельзя молчать и прятаться за спины других... Тогда жрец, знающий правду, обязан раздвинуть ряды других жрецов, ее затемняющих, и провозгласить, восстановить истину, как бы это для них неприятно ни было.

Настоящая заметка посвящается таким же, как я, любителям-археологам, которые работают по разным уголкам нашего отечества, робко, неуверенно, никем не признанные, часто осмеянные и гонимые. Мне кажется, что, прочитав заметку, им приятно будет узнать о тех результатах, которых удалось мне добиться, благодаря забвению личных интересов и упрямому служению отвлеченной идее.

Повторяю, глубоко убежден я в том, что недалеко то время, когда звание археолога-любителя будет столь же почетным, как звание ученого. Итак, дорогие собратья по одной и той же профессии, любители-археологи, дружно, бодро, с верою в будущее примемся усиленно за работу!.. Если станут гибнуть на глазах наших правительственные и частные архивы, поспешим спасти их во имя исторической справедливости и науки!.. Станем, наконец, всеми силами предупреждать самую возможность такой гибели, смело, бесстрашно стучась с нашим протестом, заявлениями и разоблачениями в двери тех, от кого зависит судьба того или иного древнего бумагохранилища!.. Поверьте, всегда найдутся добрые, честные люди, которые вас поддержат. Не забывайте также старинного правила, продиктованного опытом, по которому в деле археологии нельзя откладывать на «завтра» того, что можно сделать сегодня: благодаря отступлению от этого мудрого правила, часто, на глазах моих, гинут документы, которые мог бы я еще спасти всего несколько дней тому назад. Сколько поздних сожалений и горьких упреков в этом отношении лежит на моей совести за то время, когда только что начал я еще втягиваться в дело любительской археологии, действовал робко, деликатничал и боялся дразнить канцелярских гусей... Дорогие друзья мои, не повторяйте моих ошибок!.. И смело, честно, открыто вперед, на спасение обломков родной истории!..

Недавно вновь проходил я в Вильне по так называемой Муравьевской площади, на которой стоит с непокрытой головой угрюмая, строгая фигура «диктатора Литвы». По правую руку ее — разваливающийся генерал-губернаторский дворец, в который теперь редко ходят ввиду его небезопасности; в нескольких саженях — Муравьевский музей... Читатель, вероятно, подумал, что этот музей представляет собой специально сооруженное здание в память того, кто дал особый оттенок всей жизни нашего края, в честь кого недавно еще праздновала, волновалась наша Вильна, гремели орудия и возносились горячие молитвы к Богу. Нет, если вы так предположили, то грубо ошиблись... В здании публичной библиотеки и общего музея (к слову сказать, возрожденных на русских началах все им же, графом М. Н. Муравьевым), в одной из нижних комнат, даже в углу одной из этих комнат, отгорожено небольшое место, в несколько квадратных аршин, — место, в котором трудно повернуться, и где немислимо работать. Это и есть знаменитый Муравьевский музей, гордость нашего края. В том же здании помещается центральный архив, десятки тысяч древних документов которого на русском языке красноречиво говорят о том, какая народность несколько столетий подряд преобладала в крае и кто в нем — законные, исторические хозяева, а кто — терпимые пришельцы. Редкие, случайные прохожие спешат через Муравьевскую площадь, мимо Муравьевского музея: площадь эта в стороне от общего главного движения. Иногда прогремят извозничьи дрожки, проедет шагом, непременно шагом, щегольской, аристократический экипаж, запряженный парой богатых рысаков в польской упряжи, и покажутся приезжие польские гости, не могущие не удовлетворить своего любопытства — взглянуть на бронзовые черты лица человека, который не позволил русской истории переключиться по капризу заграничных и местных энтузиастов... Но звук экипажа умолк в отдалении... И снова в безмолвии дремлет Муравьевская площадь, и думает на ней грустную думу бронзовая фигура, охраняемая дежурным полицейским... Остановишься против памятника, чтобы еще раз проверить себя, воскресить в памяти давно минувшее, призадуматься над преходимостью всего земного...

И помню, как возле памятника вдруг представилась мне однажды картина пожара музея и публичной библиотеки, — пожара, возможного в здании старом, совершенно не приспособленном, давно не удовлетворяющем культурным, научным

нуждам нашего края... Даже при одной мысли сердце болезненно сжалось: ведь, в несколько часов погибло бы тогда бесценное сокровище отечественной истории, которое с такой любовью накапливалось целыми поколениями, погибло бы на радость врагов наших!..

Да, вопрос о более приличном и безопасном помещении для Муравьевского музея — вопрос крайне важный и неотложный. Не разрешив его в удовлетворительном смысле, мы, русские, останемся навсегда с сознанием, что сделали для памяти графа М. Н. Муравьева далеко не все то, что должны были сделать по совести. Я слышал, впрочем, будто бы возбуждено уже ходатайство о постройке особого, приспособленного помещения для музея. Так ли это? И в каком положении вопрос? Опять тайна, опять молчание!.. А пока... пока и грустно, и больно, и стыдно-стыдно видеть Муравьевский музей, точно незаконное, терпимое лишь по необходимости детище, приютившимся в углу казенного и без того переполненного всяким историческим материалом здания, — здания, которое подвержено нежелательным случайностям...

Из отчета Виленской публичной библиотеки и Музея за 1903 год

Виленская публичная библиотека возникла в то время, когда во всем Северо-Западном крае не было ни одной русской библиотеки, когда даже было трудно и достать там русскую книгу. Она явилась как постулат современного положения дел в крае и вызвана желанием русского правительства и общества насадить здесь русскую культуру. Ее учредители (М. Н. Муравьев, И. П. Корнилов, К. П. Кауфман) видели в ней лучшее средство для местной культурной борьбы, и, при отсутствии в крае высшего учебного заведения, они думали сосредоточить при ней умственную и научную деятельность всего края, чтобы противопоставить таким образом «чистую (беспристрастную) науку русскую — польской».

Ядро Виленской библиотеки составили веками накопленные книжные и рукописные богатства римско-католических (закрытых) и православных монастырей, частных и общественных конфискованных библиотек, из преобразованного Виленского музея, из библиотек средних и низших учебных заведений, из пожертвований правительственных учреждений и частных лиц. Потребовалось много труда, знаний и денег, чтобы из хаотической массы собранных книг и рукописей создать стройное книгохранилище и поставить его на высоту современного библиотечного дела. Об этом постарались сами учредители, пригласившие специалистов этого дела, при помощи которых выработан план библиотеки, книжная система и самое Положение, составленное по образцу Устава Румянцевского музея и Императорской Публичной библиотеки. Положение это получило высочайшее утверждение в 1877 году, и изменить его может только высочайшая воля, чего не хотят знать наши читатели, высказывая свои требования и прежде всего о выдаче книг на дом. Этого не полагается ни в одной из правительственных Публичных библиотек

России и Запада, особенно Запада, где при более воспитанном уважении к закону правило это не делает исключения ни для кого¹. Это мудрое правило публичных библиотек вызывается тем, что в них хранятся не только редкие книги, но прямо уники, которые не обеспечит никакой ценный залог, так что с пропажей их мировая наука понесет ничем не возмездимую потерю.

Отчетный год принес Библиотеке с Музеем такие ценные пожертвования, каких они давно уже не видали. Первое место между ними занимает дар полковника А. В. Жиркевича, заключающий в себе книги, пергаменные грамоты, рукописи и художественные произведения. Не безызвестный в нашей литературе своими произведениями в прозе и стихах А. В. Жиркевич вместе является серьезным любителем старины. При его близком участии в Вильне основаны Муравьевский и Военный музеи, а его стараниями спасены от окончательной гибели ценные богатства, пропадавшие в руках евреев или гнившие на чердаках и в подвалах разных учреждений.

В рукописное отделение Библиотеки им пожертвовано:

1. Двадцать шесть (26) пергаменных грамот XVI–XIX столетий на русском, польском и латинском языках.

2. Автографы коронованных особ, а также русских и иностранных общественных и литературных деятелей, всего около 300 экземпляров.

3. Переписка бывших генерал-губернаторов Северо-Западного края князя Н. А. Долгорукова и Ф. Я. Мирковича.

4. Тридцать два (32) тома документов, относящихся к истории масонов в Западной крае России.

5. Девяносто четыре (94) тома документов самого разнообразного содержания, имеющих важное значение для истории Северо-Западного края, для истории городов и местных дворянских фамилий.

Шестнадцать (16) рукописных сборников литературного содержания на русском и польском языках. В числе их есть любопытный старообрядческий сборник XVIII века, писанный полууставом на церковнославянском языке.

¹ Однажды король английский Георг при посещении Оксфордской библиотеки пожелал взять с собою одну книгу; тогда библиотекарь молча указал на запрещающий это пункт закона, и король молча положил книгу на место. *Прим. ред.*



ГЛАВА 8
«Лиры мирной звук»

Поэтическое наследие А. В. Жиркевича

* * *

Весна и в Вильну забрела...
Ее дождался я!..
Все нечистоты унесла
Взбешенная Вилья...
Но бледен городских садов
Чохоточный убор...
И на меня излить готов
Букет свой каждый двор.
А ночью... Сладость бытия
Коты поют... Загих
Крик «Караул!»... Но слышу я —
В замену трелей соловья —
Свистки городскихых...

* * *

Зноем роща полна.
Стонет голубь в лесу...
О речную косу
Сонно плещет волна...
Лишь порой
Надо мной
Ветерок пробежит,
И опять
Сосен рать
Молчалива стоит...

По траве льется тень,
Вырос шепот кругом:
То ликующий день
В лес дохнул ветерком...
И опять
Сосен рать
Молчалива стоит.

Голубь смолкнул в лесу.
На речную косу
Рябь беззвучно бежит...
Тишина
Лишь одна
Усыпляет, томит...

* * *

Она идет: умолкнул соловей,
Испуганный знакомыми шагами.
Она идет: звончей гремит ручей;
Луна взошла ярка над облаками...
Она идет: на сердце вырос вдруг
Какой-то страх проникновенный...
И шепчет все таинственно вокруг:
«Она идет!»... О, счастья миг блаженный!!.

* * *

Не ждите от меня слов громких, модных тем:
Я лгать пред сердцем не умею!..
Там, где кумир толпы, я холоден и нем;
Там, где природа — пламенею...
Мне страшен мира вечный шум,
Противны войн кровавых грозы...
Не в сценах повседневной прозы
Вопросов вечных ищет ум...
Мой стих в часы уединенья
Мне стоил часто слез и мук...
Но каждый лиры мирной звук
Лишь служит богу вдохновенья!..

* * *

За стеною лип, померкшей и неровной,
Выплыл месяц — кроткий и румяный...
Все полно, горит истомою любовной —
Сад, поля, заката свод багряный...
Дышит там дыханьем осторожным
Каждый лист, весенней ждущий ласки...
А душа грустит, грустит о невозможном...
Целый мир — страница чудной сказки...

* * *

Спит, будто степь опаленная,
Дума моя утомленная...
Скоро ли ночка с туманами
Спустится в степь, над курганами,
Скоро ль над травами жадными
Росами брызнет прохладными,
И над уснувшей пустынею
Мира повеет святынею?!
Ей бы поведать нестройные
Думы мои душно знойные,
Сердца желанья стыдливые,
Чувства укоры ворчливые:
Все, чем за день усыпленная
Дума жила утомленная!!

* * *

Я жил, братаясь с нищетою...
Не страшен мне могильный мрак:
Авось у гроба надо мною
Заплачет хоть один бедняк!!

* * *

Как ни борись — не избежишь несчастья:
Всесильна плоть, а страсть живет в мечте!
Ведь в воздержании, молитве и посте
Есть тоже доля сладострастья!

* * *

Посвящается В. Г. Короленке

Порою улица дает свои уроки!..
Покой бежит меня..
У двери кабака,
Убогим рубищем прикрытую слегка,
Я видел женщину... Накрашенные щеки,
Походка шаткая и мутный, наглый взгляд,
И этот яркий порванный наряд,
И полная цинизма шутка
Мне выдали ее... Завернутый в платок
У груди высохшей дремал ее малютка.
Она бранилась: страшных слов поток —
Не то протест, не то упрек —
Из уст ее лился... Быть может, и в шинок
Она зашла, спасаясь от стужи,
Житейской бурей сорванный цветок,
Сестра несчастная... Встречавшиеся лужи
Рябил осенний ветер, и, жива,
Вся почернев, грозясь и негодуя,
На женщину взирая молодую,
У ног моих вздымалась Нева...
И вот я разобрал безумные проклятья —
Сквозь бури шум, стенания и вой —
Младенцу жалкому, уснувшему в объятьях,
Помехе в доле роковой...
Но вдруг... Умолкнув, полная тревоги,
Она откинулась, отрезвлена, назад,
Прижав дитя к груди... Я видел: робкий взгляд
Ее упал на траурные дроги...
Ребенка хоронили... В этот миг
За жизнь того, кого так страшно проклинала,
Она, как мать, испуганно дрожала...
И драму тайную внезапно я постиг...
Хотелось подойти, спросить... Но между нами
Толпа легла стеной... И видел я: шагами
Опять неверными, угрюма и бледна,
К дверям шинка направилась она...

Та женщина стоит перед глазами!..

За этот светлый миг на пагубном пути,
За чувство матери, могучею волною
Ее поднявшее над грязью роковою, —
Прости ей все, о Господи, прости!!

* * *

Промчались, промчались заветные годы,
Где звуки и образы в сердце стучались,
Где билось сердце у сердца природы, —
Бесследно, бесшумно промчались!..

Где зрели обеты на пажитях веры,
Друзья неизменны и святы казались,
Где чувства не знали ни гнета, ни меры...
И други, и чувства промчались!..

Те годы, где жаждалось подвигов, света,
Где песня легка и свободна слагалась,
Где мука чужая, любовью согрета,
Так трогала сердце... Промчались!..

И вот одиночек на развалинах милых
Стою я безмолвен... Куда же девались
Мечты мои, грезы? И бодрые силы?
Все мертво! Все пусто! Промчались! Промчались!!

* * *

Посвящается П. А. Устиновичу

Люби без усталости!.. Сумей
Разжечь любовь в преступной груди:
На свете нету злых людей —
Есть лишь озлобленные люди!!
И если встретишь на пути
За ту любовь веночек терновый, —
Прости обидчику, прости,
Исполнен жалости Христовой!

* * *

Не верьте внешности: она
Обманчива, как глубь морская!..
Порой под нею, гроз полна,
Таится бездна роковая...
И я был юн, и я спешил
Ей верить... Лишь годов уроки
Смирили юношеский пыл —
И ум диктует эти строки!..
Ведь иногда в палящий зной
Из почвы дикой, каменистой
Течет родник воды живой
И будит жизнь струею льдистой...
Ведь иногда в густой аллее
Осенний лист, хоть желт и сир,
А сердцу говорит сильнее,
Чем окружающий весь мир...

* * *

Посвящается Бар. Е. К. О-С-н.

Есть души... Трудно проследить
Их благотворное теченье!
Все озарять, согреть, любить —
Вот их девиз и назначенье...
Им все доступно: строй октав,
Полет наук, загадки чувства
И сердца мир, и шум дубрав,
И тайны мысли и искусства...
От них скрывается порок,
В них вера теплая таится...
И много скорбных душ стучится
На их священный огонек...

Вам Провиденьем с юных дней
Даны души подобной цели...
Вы в нашей Вильне круг друзей
Собрать, объединить успели...
От сплетен жизни городской,
От мелких дрязг и скуки чинной
И здесь, и в вашей же гостиной,

Мы укрывались порой...
Звучали тут беседы, лира;
Под чары музыки, мечты
Мы уносились от мира
И от житейской суеты...

Увы! Кружок осиротелый
Проститься должен навсегда
С своею чудной Филомелой!..

Пушай же люди и года
Не разорвут союз наш тесный!
Пушай из дали неизвестной,
Где много нового вас ждет,
Союз тот крепнет и растет!
Пушай такими же друзьями
Судьба дарит вас каждый час!
Прощайте! Бог да будет с вами!
А мы... Мы не забудем вас!!

В АЛЬБОМ

Куда идти? К чему стремиться?!
О чем заговорю, о чем?!.

И, как упрек, лежит страница
Под прослезившимся пером.

Ошибок много; мало дела...
Страстям — простор в душе моей...

Ну! Не желаю Вам я смело
Ни тех ошибок, ни страстей!!

* * *

Посвящается Н. Ф. Дубровину

Мой дорогой архив! Тебя ль я не любил!..
Бумаг старинных трепаные кипы...
О, сколько раз в ваш мир я уходил
От горя и забот!! Шумят, бывало, липы

Весенним шорохом, благоухает сад...
Но акты древние к себе меня манят
Бесстрашьем старины, таинственностью полны.
Пройдут года... Холодный и безмолвный
В моей квартире буду я лежать...
Кто разберет тогда вас — кипы дорогие?!
Иль бросят вас, как хлам, и станет продавать
Еврей-торгаш вас за гроши! Родные!
И осмеют меня, назвавши чудаком...
А между тем вы были мне дороже
Толпы и славы... И потом —
Когда умру — отдай архив мой, Боже,
Тому, кто старину пытающим умом
Способен озарить, любовью к правде сильный,
И может запылать над хартией пыльной!!

АРТИСТУ-СКРИПАЧУ

Когда, восторгом опьяненный,
Рукоплексал вам людный зал —
Игрою вашей потрясенный,
Я замирал...
В живые, радостные звуки
Вливали чудотворно вы
Аккорды скорби, гнева, муки,
Слезу мольбы...
И зарыдав в страданье трудном,
Опять вели нас в светлый край,
Где в царстве звуков ваших чудных
Всё — мир, всё — рай...
Благодарю!.. Вот дар поэта:
Пусть обо мне — хоть я далек —
Как в книгу вложенный листок,
Напомнит вам страница эта
В немного строк!!

* * *

Когда среди светил, загадкой мировую
Сияющих в бесстрастной вышине,
Увидишь звездочку, летящую стрелою

В забвение, то чистою душою
Ты вспомни обо мне!!

Когда в осенний день, холодный и ненастный,
Бродя с мечтой своей наедине,
Заметишь желтый лист, оторванный, несчастный,
Несомый вихрем в дальний путь опасный, —
Ты вспомни обо мне!!

Ты вспомни обо мне,
Когда кругом тебя, победно и сверкая,
Пустая речь польется, не смолкая...
Пусть, дружбою проникнутый вполне,
Мой голос говорит тебе, как прежде, увлекая!!

И помолись, о, помолися со слезами,
Не обо мне одном — грешно бы так просить! —
О всех, кто в мир пришел с горячими сердцами,
Кто не забыл еще, окованный цепями,
И ненавидеть, и любить!!

* * *

Хорош расцвет шестнадцатой весны,
Когда все так светло: вопросы, впечатленья,
Лазурь невинных глаз и жизни откровенья,
И сны, волшебные, чарующие сны...
Хорош расцвет шестнадцатой весны!

* * *

Есть в жизни три блаженные минуты:
Читать стихи свои у сердца дорогой,
Порвать раба томительные путы
И руку жать врагу прощающей рукой...

ИЗ А. МИЦКЕВИЧА

Как много звезд во тьме ночей,
Так много истин в жизни трудной —
И чем духовный взор острей,
Тем безграничней мир их чудный.

ГЛЫБА

Посвящается К. М. Фофану

...Я помню, видел раз,
как глыба снеговая
На солнце таяла одна!..
Одна...

А. Апухтин

Грустную картину
Видел я, гуляя:
Таяла над кручей
Глыба снеговая..
А в лесу ожившем
Сладко пташки пели,
Распускались почки,
Травы зеленели.
Солнышком пригрето,
Озеро лесное
Отражало в волнах
Небо голубое..
И совсем весною
Все б кругом дышало,
Если б эта глыба
Ярко не сверкала!

В жизни гибнет часто,
Как и глыба эта,
В общем ликование
Сердце у поэта,
И звучит порою
Жизни гимн пасхальный
Для него, бедняжки,
Песнью погребальной..
Да, ему, как глыбе,
Нужно, чтоб метели
В воздухе морозном
Бешено ревели;
Нужны лед и стужа —
Зим суровых дети —
Чтобы звуки крепи,
Чтобы жить на свете...

Говорила много
Сердцу, тихо тая,
Наклонясь над кручей,
Глыба снеговая...

ДЕТЯМ

*На стихотворение «Птичка Божия
Не знает ни заботы, ни труда...»*

Нет, дети, нет! — И птичке каждой
Господь послал тяжелый труд.
Они, как вы, томятся жаждой,
Как вы, страдают и умрут.
Малюток корм, их обученье,
Постройка гнездышка весной —
Все это труд, и труд большой,
И труд почтенный без сомненья...
А сколько алчущих врагов
У бедных птиц под каждой веткой! —
Коварный коршун — бич лесов,
Мальчишки с незаметной сеткой...
И каждый раз, когда поет
Певунья-пташка гимн свободный, —
Не забывай ее невзгод,
И дни труда, и день голодный!
Зато случается порой,
Отдавшись буйному веселью,
И птичка говорит с тобой,
Дитя мое, беспечной трелью.

* * *

Я видел старый клен. В него из черной тучи
Вонзила молния свой огненный кинжал:
И, одинок совсем, склонясь у дикой кручи,
Стоял он, немощный, и тихо угасал...
Кой-где еще на нем в минуты непогоды
Трепещущих листов виднелся жалкий след...
Как крест, он выносил томительные годы,

Какой-то грустию угрюмою одет.
Но что ж?.. Кругом его, чуть видная сначала,
Взросла из-под земли семья берез, дубков:
И ожил вновь старик — невзгод как не бывало,
Как будто для него опять весна настала,
И полон снова он и сил, и юных снов...

БУМАЖНЫЙ ЗМЕЙ

Басня с нравоучением для автора

Высоко в небесах бумажный змей летал;
Но, чувствуя, что все ж с землею был он связан,
На нить противную и злился и роптал.
— О, если бы тебя хоть ветер разорвал!
Как был бы я ему обязан!
Тогда бы я в такую высь
Направил мой полет свободный,
Куда б ни сокол благородный,
Ни облака — не поднялись! —
Вдруг нитка тут оборвалась,
Ему как будто бы в угоду;
И змей почувствовал свободу,
Взвился — и полетел... как камень прямо в грязь!

Нравоучение к сей басне таково:
Коль смысл ее читателю не ясен,
То надо автору творения сего
Строжайше запретить вперед писанье басен!

ОГОНЕК

*Написано для моей дорогой Тamarочки.
20 января 1918 г.*

Где-то там, в окне, высоко,
Поборяя ночи тьму,
Огонька мерцает око,
Светя сердцу моему.
Кто его зажег — не знаю.
И кому он служит там?

Но с отрадою взираю
На него я по ночам:
Между тем огнем и мною
Через жизни мрак и грязь
Бога любящей рукою
Связь незримая зажглась.
Может быть, отшельник старый
В тесной келейке своей
Пишет скорбно мемуары
О безумстве наших дней?
Не ночник ли лазарета
Над болящими зажжен?
Или лампа то поэта?..
И при ней мечтает он?..
Я бы счел приметой грозной,
Если б тот огонь погас
Зимней полночью морозной
Или в утра ранний час...
Так, в страданиях изнывая,
Верю я: в стране родной
Служит мне душа родная
Путеводною звездой...
Кто-то там с молитвой жаркой
Преклонившись у икон,
Озарен лампадой яркой,
Заглушая скорби стон,
Обо мне, ненужном, грешном,
Льет моления, не спеша, —
И горит огнем нездешним
Чья-то близкая душа...
Кто-то там меня прощает,
Кто-то любит, хоть далек.
Вот что мне напоминает
Мой заветный огонек.
Почему к нему порою,
Если мне взгрустнется вдруг,
Уношуся я мечтою
От сомнений, скорби, мук...
Благодатно, не сурово
Он горит в чужом окне.

Вот сейчас он там! И снова
Так отрадно, сладко мне...

Р. С. Помнишь, дружок, мой огонек в окне Симбирского кадетского корпуса, видный из окошек нашей квартиры? Вспоминная о нем, не забывай папу твоего и помолись за него! Любящий тебя Папа Жиркевич.

МОГИЛА 1812 ГОДА ПОД ГОРОДОМ КРАСНЫМ

Холм полуразрытый — братская могила!
Много ты о прошлом мне наговорила —
Лишь тебя увидел я тогда — впервые!!
Помню день ненастный. Тучи грозовые
Проносились к югу. А с креста обильно
Падали, как слезы, капли в прах могильный.
От напоров ветра ветхий крест качало.
Я один был возле... Все вокруг молчало...
И в другой раз — помню, у холма простого
Много пережил я чистого, святого...
Вечер, догорая, лобызал лучами
На кресте дощечку с чудными словами.
И читал я надпись — и опять могила
Тронутому сердцу скорбно говорила:
«Позабыли люди!.. А ведь храм тут Божий,
Изредка молитву сотворит прохожий...
Вьюга лишь поплачет над солдатской долей,
Одевая в саван этот холм и поле...
Прошебечет пташка; филин захохочет...
И опять слезою кости дождик смочит...
Но проходят годы... Крест готов свалиться,
И тогда не станут уж о нас молиться!»
В третий раз тут был я вешнею порою:
Красное яичко я привез с собою.
Вдруг ко мне донесся с колокольни дальней
Радостною вестью благовест пасхальный...
В небе раздавались жаворонка трели,
Первые побеги травок зеленели,
Почивало солнце на полях, на лесе...

Я шепнул могиле: «Друг! Христос воскрес!»
И в ответ молчанье лучше слов сказала
Сердцу то, что сердце втайне ожидало...

В 1908 г. на окраине г. Красный А. В. Жиркевич нашел заброшенную могилу. Оказалось — могила воинов, принимавших участие в кровопролитных боях 5–6 августа 1812 г., во многом определивших исход сражения. По инициативе Жиркевича в Смоленске был организован комитет по установке нового памятника, торжественное открытие которого состоялось 5 августа 1912 г. при участии войск, духовенства. Великий князь Константин Романов рекомендовал стихотворение для чтения слушателям военных училищ России.

МОЕМУ ЕВАНГЕЛИЮ

Это Евангелие было приобретено мною в бытность мою в Военно-юридической Академии, и с тех пор во всю мою жизнь я с ним не разлучался.

Спутник веры неизменный,
Врач души моей больной,
Бескорыстный друг, бесценный,
Связь меж Небом и Землей,
Утешающий в печалях,
Облегчавший крест труда,
И Христа в духовных далях
Путеводная звезда,
Книга жизни, правды, света,
Побеждающая мрак,
Тем собранье для поэта,
Для философа — маяк.

МОСКВА. ОСЕНЬЮ 1922 Г.

В музее Комиссариата здравоохранения на поругание выставлены Виленские мощи.

Не бредил я, когда видал
Вас на посмешище, в музее,

Когда о прошлом вспоминал,
И негодуя, и краснея...
Презревши злób земных тшету,
Всё те же вы, какими были...
Казалось, вашу наготу
Святые ангелы покрыли...
Казалось мне, что тот музей
В священный храм преобразился...
И плакал я, пока молился,
Как никогда, в тоске моей.

ПРОЩАНИЕ С ПРОШЛЫМ

Зовете в прошлое, забытые альбомы?
К чему? Все кончено!.. Меня не оживит
Ваш мир, мне с давних пор знакомый...
На скорбь мою с нужды моей истомой,
Как колокол надгробный, он звучит.
Просматривая вас, я будто бы блуждаю
В какой-то сказочной стране
Иль сказку слушаю... И даже сам не знаю,
Живу ли, нахожусь во сне,
Здесь о чужом ли речь идет иль обо мне,
Над чьєю радостью смеюсь я иль вздыхаю...
Ужели это я гляжу из вас —
Во дни весны моей, когда меня любили?!
Судьба заставила меня из темноты и пыли
На свет, наверное, в последний раз
Мне вынести с тоской сердечной вас...
И вы заговорили!!
Благодарю! Я, тронутый до слез,
Слабеющей мечтой люблю ваш лепет милый,
Хоть смотрят на меня из вас друзья могилы,
Хотя вы — кладбище надежд моих и грез,
Девизов боевых, былой душевной силы...

ГЛАВА 9

«А что-то говорит мне,
что меня еще вспомнят,
если документы моей жизни
сохранятся...»

«И один в поле воин...»

Биография Александра Владимировича Жиркевича,
составленная его младшей дочерью
Тамарой Александровной Жиркевич

*Отчизне милой посвятим
Души прекрасные порывы.*

А. С. Пушкин

Торопитесь делать добро.

Ф. П. Гааз

Но торопитесь спасать старину.

А. В. Жиркевич

Город Люцин Витебской губернии, где родился в 1857 г. 17 ноября Александр Владимирович Жиркевич, стоит на берегу громадного озера Большие и Малые Лужи. Кругом много зелени. В Люцине развалины замка ливонских рыцарей, основанного в XIV веке и разрушенного царскими войсками в XVIII веке. В земле находят много предметов старины. Замечателен Люцинский могильник, богатый захоронениями языческой эпохи.

На горе — кладбище, где похоронен дед А. В. Жиркевича Александр Иванович Астафьев.

Приезжая на следствие в 1896 г., Жиркевич заехал посмотреть могилу деда. Он записал тогда в Дневнике: «От замка и окрестностей веет глубокой, кровавой стариной. Мой приезд всех всполошил, полиция суетилась, вызвали священника для встречи со мной. Мне было неловко и смешно. Многие еще помнят деда и говорят о нем тепло».

В автобиографии А. В. Жиркевич пишет: «Первое впечатление детства — это впечатление неясное, которое каким-то туманным пятном без образов и ярких красок проносится в моей памяти. Это скорее запомненное, если можно так выразиться, чувство... Крутой берег какой-то широкой реки, даль и простор без границ и без меры и над всем этим заунывная, щемящая душу русская песня. Но ни местности, ни времени, когда я подвергался подобному впечатлению, ни слов песни — не помню. Что-то мутит душу, кого-то жаль, кто-то связан с этим чувством

необъяснимыми, но крепкими узами. Был ли то отец или мать, или друг — я не знаю. Само воспоминание мучает меня часто и теперь неразгаданностью и таинственностью...

* * *

Семья, в которой родился Александр Владимирович Жиркевич, была семьей потомственных военных. Дед его по отцу, Иван Степанович Жиркевич, участник войны 1812 года, награжденный Георгиевским крестом и орденом Анны, адъютант Аракчеева, бывший губернатор Симбирска и Витебска, оставил интересные мемуары, печатавшиеся в «Русской Старине» и «Историческом Вестнике»¹.

Детство А. В. Жиркевича было нерадостным, так как отец его Владимир Иванович страдал запоем, в пьяном виде издевался над женой, азартно играл в карты. Дети всё это видели и подчас ненавидели отца. Уже в детские годы Саша не мирился с несправедливостью и однажды, заступившись за мать, был выброшен отцом за дверь. В другой раз из-за матери же он получил от отца пощечину. Но, став взрослым и вспоминая детские годы, он говорил, что пострадать за тех, кого любишь и к кому относятся несправедливо, было для него всегда счастьем.

А Владимир Иванович постепенно опускался все ниже и ниже и должен был уволиться с военной службы. В дом пришла нужда. Семья в поисках заработка переезжала с места на место.

Одно время Владимир Иванович служил лесничим на казенной ферме под г. Лидой Виленской губернии. Кругом леса, поля — и эта близость к природе сыграла немаловажную роль в воспитании Саши. Он страстно полюбил природу и увлекся охотой, хотя и сознавал, что это противоречит его гуманному отношению к животным, и в скором времени эта «варварская забава» перестала его увлекать.

Впоследствии, сотрудничая в детском журнале «Зорька», он напишет рассказ из своей детской жизни «Волчок» о принесенном охотниками к ним в дом волчонке, которого Саша с братом

¹ И. С. Жиркевич (1789–1848), участник боевых действий при Аустерлице, Отечественной войны 1812 г. В 1834–1836 гг. — симбирский губернатор, в 1836–1838 гг. военный губернатор Витебска. В течение ряда лет в ж. «Русская старина» печатались его воспоминания (1874–1876, 1878, 1890), названные им «Записки Ивана Степановича Жиркевича». Подробнее о нем см. Новый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 17. С. 914; биографический словарь «Русские писатели. 1800–1917 гг.» 1992. Т. 2. С. 271.

Ваней приручили к себе лаской. Ставши взрослым, волк терроризировал кухарку: несмотря на ее отчаянные вопли, грозно рыча, он забирал у нее со стола все, что ему нравилось. Но обожал вырастивших его мальчиков. Мы, дети, без слез не могли слушать конец этого рассказа о том, как Сашу и Ваню отправили учиться в Вильно, а волк перестал есть, лежал на постели у Саши, выл, рвал подушку зубами и сдох с тоски.

Саша очень любил животных и возмущался при виде того, как их бьют и истязают. Однажды с ним даже сделался истерический припадок, когда его мать, в раздражении, выбросила за окно любимую кошечку Саши, мешавшую его занятиям.

Саша участвовал в походах против мальчишек, разорявших гнезда. Старался спасти собак от собаколовов «гичелей», отпуская потом спасенных псов на волю.

О своем детстве Жиркевич оставил воспоминания в поэме «Картинки детства», где с большой любовью вспоминает свою мать, бабушку и денщика отца «незабвенного Корнеича», который приставлен был к детям в качестве няньки. Не отсюда ли его любовь и горячее сочувствие к русскому солдату и желание ему помочь, защитить от несправедливостей?

Рано проявилось у Саши безотчетное страстное обожание музыки, пения, хотя в доме его родителей все это отсутствовало. Живя у бабушки, он, малолетний ребенок, ложился на пол квартиры и прижимался ухом к полу для того, чтобы наслаждаться прекрасной игрой живущего внизу пианиста, причем от восторга и умиления плакал, вызывая насмешки окружающих и их искреннее удивление. От матери он унаследовал религиозность. Евангелие было его настольной книгой всю жизнь.

14-ти лет Александра отдают учиться в Виленское реальное училище. Здесь впервые проявляется его страсть к коллекционированию. На уроке естественной истории он просит подарить ему показанную раковину. Удивленный учитель, исполняя его просьбу, спрашивает: «Зачем она вам?» — «Для коллекции», — отвечает Саша, не обращая внимания на то, что товарищи (не без зависти) шепчут ему вслед «нахал», «попрошайка», «нищенка». Коллекционирует Саша все, что ни попадается под руку, — книги, старые монеты, рисунки, отдавая за это свои порции мороженого или сладкие пирожки. Особый сундучок содержал в себе его приобретения. И как гордился он ими, показывая их товарищам. Страсть коллекционировать не оставляет его всю жизнь. Став взрослым, он собирает картины, доку-

менты, различные вещи, имеющие историческую и художественную ценность, и впоследствии передает их в музей.

В реальном училище проявляется и его интерес к литературе. Он даже послал свои стихи И. С. Тургеневу и получил от него в ответ фотографию с подписью, которую хранил всю жизнь.

По окончании реального училища Александр Владимирович поступает в юнкерское училище и, окончив его, служит в местечке Гольшаны Ошмянского уезда Виленской губернии в 108-м пехотном Саратовском полку.

В скором времени его производят в офицеры.

Здесь снова, как в детстве, проявляются у Жиркевича качества его характера: он добр, но непримирим ко всякой несправедливости, к унижению человеческой личности,

Вот как он описывает свои переживания в «Заметках» при наказании солдата: «...Самое ужасное для меня воспоминание первых лет моей работы в Гольшанах — это когда меня, только что прибывшего и вступившего в командование ротой, заставили присутствовать при экзекуции беглого солдата. Его привели под руки, так как он еще не оправился от предыдущей порки и бежал больной. Его поймали и назначили (кажется) 300 ударов. Говорили, что в ту порку он кричал. Здесь же, когда его привели, он только сказал: “...вашу мать с вашими законами”, потом закурил руку и не издал ни звука. Поркой командовал поручик Казакевич. Солдаты сначала хотели только касаться осужденного, Казакевич стал орать на них: “Дери его, дери его как следует!” ...На ягодицах сначала выступили капли крови, а дальше при каждом ударе брызгала фонтаном кровь и летели куски мяса, так что на ягодицах стали делаться вмятины. Солдат несколько раз терял сознание, но его приводили в чувство и снова продолжали. Я никогда не забуду лица этого солдата, когда его несли после экзекуции, — серое лицо, провалившиеся глаза, сведенные руки. Поручика Казакевича я возненавидел на всю жизнь. Мне все время вспоминался этот солдат, когда я взглядывал на Казакевича. А солдат пролежал долго в больнице, а потом снова бежал и исчез бесследно, говорят, что он утопился в Вилии...»

Жиркевич вникает в быт и нужды солдат. Из своего скудного заработка помогает нуждающимся нижним чинам, пишет неграмотным письма на родину, устраивает по своей собственной инициативе по вечерам в праздничные дни чтения и беседы. Солдаты любили его за это и стремились к нему в денщики. Особенно предан был ему один из них. В бытность Жиркевича

в Академии ему пришлось встретиться с этим своим подчиненным, служившим банщиком в общественной бане Петербурга. Они встретились как старые друзья. И когда Жиркевич, терпя в период учебы крайнюю нужду, заболел брюшным тифом, то бывший денщик снабжал его деньгами, которые впоследствии были ему, конечно, возвращены.

Жиркевич вступает за подчиненных солдат. Вернувшись из местечка Гольшан в Вильну, он попал на большие маневры, проходившие под Вильной в присутствии командования войсками Виленского округа... В разгар маневров штаб-капитан Длусский явился в роту, которой командовал Жиркевич, и, видя, что при стрельбе солдаты неправильно держат ружья, стал поправлять их (лежащих на земле), тыча носком сапога в лица. На просьбы Жиркевича прекратить это издевательство, последовал ответ: «Не ваше дело! Я за роту отвечаю! Не забывайте, что вы находитесь в строю!» — и новый пинок в зубы лежащего солдата. Тогда Жиркевич вкладывает саблю в ножны, выходит из строя и уходит с маневров. Затем подает рапорт командиру батальона, в котором пишет, что совершил воинское преступление, покинув фронт, за что и должен отвечать по суду, но что и бить солдат в строю воспрещается. Дело замяли. Окружающая среда угнетает А. В. Жиркевича. «Неужели я создан только для того, чтобы учить солдат глупостям», — пишет он в дневнике. Хочет вырваться из этой среды, учиться, но средств на это нет.

С 1881 г. А. В. Жиркевич пробует писать и посылает свои стихи и рассказы в журналы «Природа и охота» и «Глобус». Некоторые из них были приняты и напечатаны.

* * *

Большая часть жизни отца прошла в городе Вильне. Отец любил этот город с его узкими улочками, мощенными булыжником, старинными домами, крытыми черепицей, массой костелов и церквей. Он любил заходить в Духов монастырь, где покоились чтимые православными людьми мощи святых великомучеников Антония, Иоанна и Евстафия и где в полумраке подземелья совершалась торжественная служба. Верующие приносили вышитые тапочки, которые надевались на ноги святых великомучеников, освящались и возвращались верующим.

А рядом с Духовым монастырем находилась знаменитая икона Остро-Брамской Божьей Матери — одинаково дорогой как католикам, так и православным. Икона помещалась в арке

над улицей, и по этой непроезжей, тихой улице, крытой деревянными брусками, верующие католики проползали, молясь на коленах, а православные проходили, крестясь и снимая шапки.

На улицах лязгали и гремели конки, запряженные тройкой часто донельзя тощих и измученных лошадей. Даже маленькую горку им было трудно преодолеть, и кучер бежал рядом, кнутом и криком стараясь подбодрить лошадей. Когда отцу приходилось ездить на конке, он всегда, из жалости к измученным животным, сходил с конки в этих местах и шел пешком.

Ремесленное население Вильны было преимущественно польско-литовское, белорусское и еврейское.

Седобородые евреи, одетые в белые с черными полосами талесы, справляли свои обряды на берегах Вилии. А русские священники в праздник крещения, иногда в сильный мороз, погружали в прорубь святой крест под залп пушки. «Пушки и святой крест... Ну не кощунство ли?» — говорил Жиркевич.

В центре города площадь с собором и колокольной, а дальше прекрасный парк Телятник с горой Гедемина, поросшей вековыми каштанами.

Любил отец и шумевшую по камням речку Вилейку, и спокойную в течении Вилию, и городской район Антоколь с его костелом Петра и Павла.

Примерно в 1883 г. Александр Владимирович Жиркевич знакомится в Вильне с семьей Снитко: юной Екатериной Константиновной, ее братом Андреем, их дедушкой профессором университета, историком Павлом Васильевичем Кукольниковом, воспитательницей Кати и Андрюши Варварой Ивановной Пельской — заменившей осиротевшим детям мать.

С Катей Снитко он встречается на танцевальных вечерах, бывает у них в доме и влюбляется в эту «скромную, умную и добрую девушку» — нашу будущую мать.

Вот как он, много лет спустя, в своей памятке «Потревоженные тени», написанной для дочери, пишет про Катю Снитко:

«Мамочка ваша никогда не была красива. Но у нее были в молодости изящная фигурка, чудные, почти до колен, густые волосы и ясные, чистые, красивые глаза, при свежем румянце лица. При скромности костюма она в обществе поражала удивительным тактом и сдержанностью, так что казалась старше своих лет и выделялась между подругами, с которыми в Вильне выезжала в свет... На вечерах в те дни мы с нею встречались у старушки Любови Петровны Марк. В доме устраивались до-

машинные спектакли, в которых на второстепенных ролях принимала участие и Катюша, после же спектакля танцы под рояль. Катюша танцевала хорошо, но я, как не танцующий, только издали ею любовался... Признаться, я сам долго не мог отдать себе отчета в том чувстве, которое невольно влекло меня к Кате. Только почувствовав окончательно, что я влюбился, решил я завоевать право на семейное счастье высшим образованием, почему и стал готовиться в Академию...» Эти слова объясняются тем, что Катя Снитко была девушкой из состоятельной семьи, Жиркевич же был бедным офицером.

В 1885 г. А. В. Жиркевич едет в С.-Петербург и поступает в Александровскую Военно-Юридическую Академию. Учится и живет на стипендию. Из дому ему ничем помочь не могут. Обедает раз в неделю и в дни сдачи экзаменов, «чтобы голова ясно работала». С Екатериной Константиновной и ее воспитательницей Варварой Ивановной Пельской идет оживленная переписка.

Живя в Петербурге, бывая у своих родственников Герардов (Н. Н. Герард — член Государственного Совета), Жиркевич знакомится с поэтом А. Н. Апухтиным, с пианисткой В. В. Тимановой. Через них с поэтом К. М. Фофановым, с художниками И. Е. Репиным, Н. Е. Сверчковым.

Посещая литературные кружки, он и сам мечтает стать писателем. Пишет стихи, которые одобряет Апухтин и которые вызывают восторженные похвалы Репина и Фофанова.

К А. Н. Апухтину как человеку Александр Владимирович относится вначале отрицательно, но восхищается им как поэтом — «стихи его прелестны». Познакомившись ближе, Жиркевич начинает жалеть Апухтина, который из-за своей болезненной тучности («мальчишки пальцами показывают») и из-за несчастной, без взаимности любви к Панаевой принужден прятаться от людей.

«Вообще Апухтин ужасный весельчак, и там, где он бывает, всегда стоит хохот. Апухтин рассказывал, как он хотел в праздник Пасхи “похристосоваться” с одним из приятелей, таким же толстяком, как он, и это им не удавалось из-за животов. Тогда они встали у стола, облокотились на него и поцеловались. “А еще говорят, гора с горой не сходятся”, — сказал Апухтин... С Апухтиным у меня завязывается дружба, начинаю его любить»¹.

¹ «Заметки». Запись 11 марта 1886 г. См. «Новые материалы об А. Н. Апухтине» // Русская литература. 1998 г. С. 124.

Апухтин дает Жиркевичу много советов, поддерживает его веру в себя, находя у Александра Владимировича несомненный поэтический талант.

В «Заметках» Апухтину посвящено много страниц. Большая дружба завязалась и с И. Е. Репиным. Жиркевич и Репин бывают друг у друга. Репин показывает ему свои картины, делится замыслами. Вместе они ходят на выставки. А. В. Жиркевич пишет: «Мне ужасно нравится Репин, его взгляды на жизнь, на искусство, его отношение к людям... По словам Фофанова, я нравлюсь Репину, и мне это приятно...»

Страницы дневника, посвященные Репину, опубликованы в 1949 г. в «Художественном наследстве» — «Репин».

Подружился Александр Владимирович и с поэтом Фофановым. Он находил Фофанова талантливым лирическим поэтом. Особенно нравилось отцу стихотворение Фофанова «Звезды ясные, звезды прекрасные».

Восторгаясь Фофановым как поэтом, Жиркевич очень огорчался пороком, который губил Фофанова: его пристрастием к вину, в конце концов приведшим Фофанова в дом для умалишенных. Вместе с Репиным они опекали его во время болезни, помогали материально его семье, хлопотали перед издателем Сувориным о продлении ему пенсии.

Подружился Жиркевич и с пианисткой В. В. Тимановой, с художником Н. Е. Сверчковым и со многими другими интересными людьми.

* * *

Продолжаются годы учения в Академии.

Несмотря на нужду, Жиркевич полон энтузиазма, веры в себя, в свой литературный талант и интереса к окружающей его литературно-художественной жизни. Часто бывает на выставках, концертах.

В «Заметках» описываются концерты Ганса фон Бюлова, Антона Рубинштейна и других исполнителей. «Ганс фон Бюлов опять появился на горизонте и вновь участвует в концертах, хотя, уезжая в последний раз, дал слово не приезжать к нам, “варварам”. Но я рад, что нахального немца проучили. В декабре <...> Бюлов разучивал с оркестром “Арагонскую Хоту”. Фон Бюлов находил, что Глинка в одном месте неправильно поставил фа-диез — должно быть фа (или наоборот — не помню), но оркестр не согласен, и на каждой репетиции фон Бюлов кри-

чит “фа!”, но оркестр играет свое “фа дизз” <...> Они не хотят менять то, что поставил Глинка».

«Антон Рубинштейн давал свои исторические концерты. Последний раз я слышал его в январе в концертах “Патриотического общества”. Он только что вернулся из Москвы, был крайне измотан, хотя все же сыграл четыре пьесы подряд. Пот катился с его плоского измученного лица, и мне он казался каким-то добровольным мучеником, идущим на крестное страдание. А публика все требовала повторений <...> Фигура Рубинштейна очень типична: довольно высокого роста, брюнет с проседью, мрачная подвижная фигура, грива назад зачесанных волос, которая дрожит во время игры и падает на глаза. Длинные руки с длинными мускулистыми пальцами, под которыми бедный рояль все время качается, точно стонет...

Только что вернулся с музыкально-литературного вечера в зале Кононова. Молодые поэты и писатели по наружности произвели на меня неприятное впечатление, особенно Максим Белинский и граф Голенищев-Кутузов, читавший свои произведения умирающим голосом. Одна девица из публики, заметила про Максима Белинского: “Как не стыдно! Такой большой и таким голосом читает!” Горячо и хорошо читают Минский и Мережковский. Стихотворение последнего “Сакия-Муни” — прелестно...

Был на выставках И. К. Айвазовского и Р. Г. Судковского. На первой полно народу. Весь свет аристократии — “ахи-охи”, хотя многие картины не на высоте и надуманы: например, фигуры и одежда в картине “После всемирного потопа” <...> У Судковского все естественно и искренне. В его картине “Будет штормить” так и чувствуется приближение шторма. И все другие очень искренние. Но его вдова, устроившая выставку, даже не покрыла расходов на нее».

«Заметки» того времени полны описаний интересной культурной жизни Петербурга.

В год окончания Академии Александр Владимирович заболевает тифом. В записках «Потревоженные тени» он пишет: «Большой, слабый, в отчаянии от отказа начальства отложить для меня экзамены, видя все мечты мои о семейном счастье гибнущими, я решился сделать Кате Снитко предложение из лазарета, объяснив ей, что люблю ее давно, что из-за нее пошел в Академию, но что теперь, ввиду запрета врачей, Академию кончить не могу. Поэтому, если она согласится выйти за меня замуж, то ее, быть может, ждет судьба жены армейского бедного

подпоручика, жизнь где-нибудь в захолустье и т.п. <...> Вскоре я получил от Кати ответ с согласием выйти за меня замуж, даже если я останусь простым пехотным офицером, с просьбой бросить Академию и думать только о своем здоровье».

Академию Александр Владимирович все же окончил и получил место защитника в Вильне.

23 сентября 1888 г. он женится на Екатерине Константиновне Снитко.

Сразу после свадьбы молодые едут в С.-Петербург, где проводят целый месяц.

В Петербурге Александр Владимирович знакомит Катю с И. Е. Репиным и А. Н. Апухтиным...

Репин задумал серию портретов своих друзей и просит Александра Владимировича ему позировать. «Вчера Репин в один сеанс, вечером, прекрасно, правдиво и талантливо набросал черной масляной краской мой грудной портрет, почти в натуральную величину...»¹.

«Апухтин хочет познакомиться с Катей, но из-за своей полноты не может подняться к нам на третий этаж гостиницы, где мы живем... Повел Катю к Апухтину. Он встретил Катю на пороге. Хорошо одет, подтянут. Ведет ее под руку... Молодежи бы поучиться, как вести себя с женщиной! <...> Катя просит прочесть ей стихи, которые он мне читал накануне и которые так меня восхитили. Апухтин читает и просит разрешения преподнести их Кате...»

Я думаю, стихи, о которых говорит здесь отец, это те, которые он очень любил и часто декламировал и в которых так хужоженственно высказал Апухтин свое мироощущение:

Проложен жизни путь бесплодными степями,
И тишь, и мрак, ни хаты, ни куста.
Спит сердце, сковано цепями,
И разум и уста,
И даль пред нами
Пуста...

Но вдруг покажется не так тяжка дорога —
Захочется и петь, и мыслить вновь!

¹ Портрет А. В. Жиркевича работы И. Е. Репина находится в Ульяновском художественном музее.

На небе звезд горит так много,
Так бурно бьется кровь...
Мечты, тревога,
Любовь...
О, где же те мечты, те радости, печали,
Светившие нам в жизни столько лет...
От их огней в туманной дали
Чуть брезжит свет.
И те пропали —
Их нет¹.

Апухтин с грустью говорит: «Мне осталось жить не более года!».

Жиркевич знакомит Катю со своей родней, знакомится с ее родными.

Вернулись в Вильно 21 октября.

«Катюша кажется счастлива, а моему счастью нет предела. На вокзале нас встречала Тетя (В. И. Пельская) — я был ей ужасно рад...»

Варвара Ивановна по приглашению Александра Владимировича поселяется с ними. Но уже через год, а дальше все больше и больше возникают столкновения между Варварой Ивановной и Александром Владимировичем на почве религиозных воззрений. «Тетя вмешивается в мои религиозные убеждения... Почему я не хожу в церковь? Мне кажется, нет нетерпимее христиан, как православные... Катя умоляет не спорить с Тетей, смолчать...»

Эти нелады отравляют жизнь.

10 лет прожила Варвара Ивановна в семье Жиркевичей, а потом переехала к Андрею Константиновичу Снитко.

* * *

Жиркевич работает в Вильно защитником...

«Удалось оправдать рядового Ю., обвиняемого в умышленном вредительстве. <...> Четыре врача находили его притворщиком, но давали такие сбивчивые и противоречивые заключения, что это дало мне возможность, благодаря простому здравому смыслу, поймать их на несообразностях. Судьи сказали мне:

¹ Впервые стихотворение опубликовано в «Русском вестнике». 1891. № 2.; в более позднем издании: Апухтин А. Н. Полное собр. стихотворений. Л., 1991. С. 248.

“Знаете, отчего мы оправдали Ю.? Оттого что вы, оказывается, лучше знаете медицину, чем они”<...> — Врачи, у которых у больных идет гной из уха без воспалительного процесса, — отличились».

Много и других случаев описывается в «Заметках». Жиркевич любит свою работу, но все же ему кажется, что не это главное в его жизни, что он должен создать что-то большое в литературе... Он даже хотел бросить юридическую работу и отдаться литературному труду, но «Катя не согласна — что ж, пока покоряюсь».

* * *

Главное в характере отца была доброта и жалость ко всему страдающему — «солдатикам», узникам, нищим, бедным детям, старикам и животным. Постоянно он кому-то помогает, о ком-то хлопочет; и теперь с ним повсюду Катя, его друг и помощник в добрых делах.

Когда умер старый педагог С. В. Шолкович, у которого Жиркевич занимался еще в реальном училище, и дети Шолковича остались сиротами, Жиркевич берет над ними опеку и много лет возится с больной Верой, устраивая ее в больницу, в институт, потом на службу; и с Вадимом — трудным, ленивым мальчиком. Праздники и каникулы Вадим и Вера проводят у Жиркевичей.

Будучи в командировке в крепости г. Бобруйска, Жиркевич был на театральном представлении. «В антракте подошел ко мне палач — Успенский. Слышал о нем ужасы. Это начальник дисциплинарного батальона. Этот старый толстый тип напоминает гадину, когда она крадется к жертве. Наружность его обманчива — ласковая, добрая улыбочка, сладкий голосок. Говорят, он не только порет розгами солдат, но и пытается розгами. На него уже было покушение. Здесь, говорят, бывают “субботники”, на которых порют до беспамьятства и правого и виновного за самый пустяк. Успенского зовут “секун”. Когда запретили пытки розгами, он стал приказывать сечь не сразу большими порциями, а несколько дней подряд. Солдат получит 20 розог, и ждут, пока не подживет и не появятся струпыя, потом еще 20 и т.д., пока не получит всего. Это, говорят, так мучительно, что некоторое солдаты падали в обморок, когда их вторично приводили. Успенский пригласил побывать в батальоне. Обязательно пойду. <...>

Посетил дисциплинарный батальон с Беком и Никифоровым. Успенский буквально бегом выбежал к нам, расшаркивал-

ся, сладко улыбался. Гадкая тварь! Пришло на мысль, что Иуда Искаротский не был, как его изображают: мрачным, суровым, замкнутым, а как Успенский — вкрадчивым, смиренным, добродушным и болтливым.

Общий вид солдат в дисциплинарном батальоне ужасен. Унылые темные лица, пугливые взоры, торопливые движения. Как клетка со зверями. В числе солдат есть и видные лица. Например, князь Моксунов и семнадцатилетний семинарист (очень симпатичный). Карцер ужасен. Воздух отвратителен. Каждого вновь прибывшего сажали для усмирения в карцер <...>. Смотрели так называемый “светлый карцер”, но там темно. Бек сказал мне: “Вас ненадолго хватит, если все так принимать близко и сердцу”. Это верно. <...> “Я не жил, а горел”, как сказал Надсон. Бек много рассказывал о своей прокурорской практике. Если на меня будут так же давить, я брошу эту работу и буду искать другую. <...>

Надо уходить из нашего ведомства! Честному человеку скоро невозможно будет приносить пользу там, где личный произвол ставится выше закона. Сердце разобьешь о камни неправды, незнания, заведомой лжи, произвола! Каждый день ухожу с суда с сознанием, что вот-вот выйдет столкновение и я брошу всем этим господам правду в физиономию. Вспоминаю боязнь Кати и смиряю себя. Как не узнаваем я стал: Господи! Дай сил для борьбы! Не всели в меня привычку к чужому страданию! Разбей мое сердце в тот миг, когда умрет в нем сострадание к судимому ближнему! <...> Какой ужас, какое отчаяние, какая злоба кипит во мне».

* * *

Отец никогда не был завистлив. С восхищением читает первые рассказы «какого-то Чехова». Всегда радовался, встречая на своем пути талант, и старался, чем мог, помочь. Так, например, было, когда в лесу Закрет, под Вильной, встретил он бедного юношу Садкевича, рисовавшего с натуры. Отец дал ему рекомендательное письмо к Репину, снабдил деньгами и уговорил ехать учиться.

* * *

В 1890 г. Александр Владимирович Жиркевич издает поэму «Картинки детства» и рассылает ее знакомым и незнакомым писателям, прося их высказаться о поэме.

На этой почве заводится у него переписка с Л. Н. Толстым, А. П. Чеховым, И. А. Гончаровым и другими писателями.

Выдержки из письма Л. Н. Толстого от 30 июня 1890 г. Жиркевичу:

«Александр Владимирович!

Я получил вашу книжку и письмо тогда же, во время моей болезни, и прочел их. Вы спрашиваете моего мнения о книге и совета. Совет мой тот, чтобы вы оставили литературные занятия, в особенности в такой неестественной форме, как стихотворная. Простите меня, если мои слова оскорбят вас, но старому врать, как богатому красть, незачем и стыдно. Правда же может быть полезна... Вы спрашиваете: есть ли у вас то, что называют талантом? По-моему, — нет. Продолжать ли вам писать? ...Писать надо только тогда, когда чувствуешь в себе совершенно новое, важное содержание, ясное для себя, но непонятное людям, и когда потребность выразить это содержание не дает покоя. <...>

Я сказал, что у вас нет, по-моему, того, что *называется талантом*, — я этим хотел сказать, что у вас нет в этой книге того блеску, образности, которые считаются необходимыми для писателя и называются талантом, но которые я не считаю нужными для писателя. Для писателя, по-моему, нужна только искренность и серьезность отношения к своему предмету. А это будет ли у вас или нет, никто не может знать, и я не знаю. Могу только сказать, что когда у вас будет такое отношение к предмету, вас занимающему, тогда пишите, и тогда то, что вы напишете, будет хорошо. Мне очень больно думать, что я этим письмом вызову в вас недоброжелательное к себе чувство, и буду вам благодарен, если вы ответите мне.

Любящий вас Л. Толстой».

14 июля 1890 г. А. В. Жиркевич отвечает Толстому:

«Дорогой, хороший Лев Николаевич! Я получил ваше письмо лишь теперь, пересланное мне в деревню из Вильны. Спешу успокоить вас насчет впечатления, которое произвело ваше искреннее, честное письмо на мое авторское самолюбие. Отчего вы думаете, что я мог даже озлобиться на вас за правду, обидеться за нее? Нет! Если в первую минуту мне стало горько, то только потому, что я ожидал, что книга моя доставит вам удовольствие, но после, перечитывая ваши откровенные строки, и эта горечь исчезла, уступив место благодарности за правду. <...>

Вы упрекаете меня в недостатке искренности. Не могу согласиться с вами! В поэме я описываю свое детство, типы, введенные в ней правдивы, так как я их писал с натуры, были страницы, над которыми я плакал. <...> А вы заподозрили меня в неискренности и каких-то целях! Не обижаюсь нисколько на ваше мнение, но прошу верить, что все написанное в моей книге я перечувствовал, не солгав ни единого слова. <...>

Нет, дорогой мой критик. Отвергайте во мне талант, но верните мне человеческое чувство — искренность...»

Толстой прислал ответ 28 июля 1890 г.:

«Очень рад был получить ваше письмо, Александр Владимирович, и очень благодарен за ту доброту, с которой вы приняли мое резкое суждение. Страстное влечение ваше к литературе говорит в пользу того, что я ошибся, что очень вероятно и чего очень желаю. Повторяю только то, что пишете только в том случае, если потребность высказаться будет неотступно преследовать вас. Еще раз спасибо за доброту.

Любящий вас Л. Н. Толстой».

«Картинки детства» вызывают много «критической ругани», к которой Жиркевич болезненно чувствителен.

Репин, Апухтин, Фофанов поддерживают Жиркевича в его литературных опытах. Я. П. Полонский в письмах от 10 и 17 мая 1890 г. подробно разбирает его «Картинки детства», дает ему советы, критикует слабые места: «Но затем я натолкнулся на такие превосходные стихи, — пишет Полонский, — что ни один поэт от них не отказался бы!

Где туча черная, как дым,
Развив свои седые косы,
Роняет дождика откосы
На даль полей: как будто там
Гигантский пахарь по межам
Идет, бросая с шумом семя!

Сильно, верно, картинно и звучно и затем, увы!.. “На нив померкнувшее темя...” Не могу себе вообразить “темени нив” и опять предлог “на” и через два слова “темя”!»¹

¹ См. «Письма Я. П. Полонского к А. В. Жиркевичу» // ж. «Русская литература». 1970. № 2. Публикация И. А. Покровской.

Жиркевич печатается в разных газетах и журналах. Пишет воспоминания, некрологи, статьи публицистического содержания, статьи по археологии и т.п.

Лечась в 1890 г. в Крыму, Александр Владимирович знакомится с И. К. Айвазовским, который на присылку Жиркевичем своей поэмы ответил ему любезным приглашением к себе в Феодосию. Отец проводит у него целый день, знакомится с его молодой женой, осматривает картины Айвазовского в его доме и в музее. Айвазовский дарит ему на память этюд. Впоследствии, в 1899 г., отец шлет Айвазовскому посвященные ему стихи («Георгиевский монастырь»), а Айвазовский высылает ему «чудесную марину».

Из письма Айвазовского от 11 июня 1899 г. Жиркевичу: «В ваших стихах так много поэзии, они написаны с такой легкостью, что, читая их, в голове составляется картина. Такое же впечатление я чувствую, когда читаю Пушкина... Ну, об этом я не могу высказаться, как хотелось бы. Вчера, прочитав стихи, которые вам угодно было мне посвятить, я тут же написал маленькую картинку “Георгиевский монастырь в лунную ночь”».

Эта картина вставлена моим отцом в прекрасную раму и до сих пор хранится в нашей семье.

* * *

По дороге из Крыма отец заезжает на один день в Ясную Поляну. До этого он писал Толстому и получил от него разрешение на проезд.

В своих «Заметках» А. В. Жиркевич пишет: «Наконец-то я увиделся с Л. Н. Толстым! Только сегодня ночью я приехал из Ясной Поляны, где провел время с 10-ти утра до половины двенадцатого ночи. Пользуясь тем, что не все время в Ясной Поляне я был с Толстым и его семьей, я делал наедине карандашом заметки в свою дорожную записную книжку и теперь, вернувшись, в Москве, по этим записям и по памяти восстанавливаю мои беседы с Толстым».

Отец записывает высказывания Толстого о литературе, поэзии, живописи, о суде и наказании. Эти подробные записи опубликованы в «Литературном наследстве» за 1939 г. и в книге Жиркевича «Пасынки военной службы». В дневнике Л. Н. Толстого от 20 декабря 1890 г. записано: «Вчера приезжал Жиркевич. Добрый юноша».

А. В. Жиркевич был у Толстого три раза, переписывался с ним по поводу основанного в Ясной Поляне «Согласия против пьянства»¹.

Александр Владимирович принимал горячее участие в судьбе солдата Егорова, попавшего в Бобруйский дисциплинарный батальон из-за отказа по религиозным убеждениям от воинской службы. Отец старался спасти Егорова от зверств известного своей жестокостью начальника дисциплинарного батальона Успенского, а когда Егорова сослали в Сибирь — помогал ему материально. По этому поводу возникла у него переписка с Л. Н. Толстым, который тоже принимал деятельное участие в судьбе духобора Егорова.

* * *

В своих заметках Жиркевич сетует на нехватку времени для литературной работы: служба и постоянные командировки, заботы об имуществе жены — все это необходимо, хотя подчас и ненавистно. По делам службы Жиркевич часто встречается с прокурором-писателем А. А. Навроцким, автором знаменитого стихотворения, положенного на музыку: «Есть на Волге утес». Интересны записи об этом суровом с виду, но добром и честном человеке, очень противоречивом по взглядам, занимающемся спиритизмом и литературой.

* * *

Александр Владимирович, кроме своей семьи, содержит мать, бабушку и сестру. Приходится брать более высоко оплачиваемую работу помощника прокурора. «Не могу же я брать на их содержание денег у Кати!»

Запись в «Заметках»: «Я в первый раз обвиняю в суде! Никто не поверит, сколько мук душевных стоит мне переход от защиты к обвинению. Катя видит мою борьбу, но и ей я не гово-

¹ А. В. Жиркевич посетил Ясную Поляну в 1890, 1892 и 1903 гг. Помимо опубликованных незначительных отрывков из писем Жиркевича в «Литературном наследстве» (1939. Т. 37–38) по материалам архива Жиркевича, уже после смерти Т. А. Жиркевич, ее дочь Н. Г. Жиркевич-Подлесских осуществлен ряд публикаций. См.: «Три встречи с Толстым» // «Знамя». 1990. № 11; «Новые материалы о Репине и Толстом» // Толстовский ежегодник 2002. № 1; «Софья Андреевна и Лев Николаевич Толстые на страницах архива Александра Владимировича Жиркевича» // сборник «Друзья и гости Ясной Поляны. Материалы научной конференции, посвященной 160-летию С. А. Толстой». Тула. 2006. С. 87–100.

рю всей правды. Я убил бы ее, если бы сознался, что приношу себя в жертву моим родным, которым должен помогать...»

И далее: «Я слабый прокурор... по двум делам я уже отказался от обвинения. Вчера обвинял двух разбойников. Главный разбойник Попов растравил мне душу. Он сидел, не поднимая глаз, с поникшей головой. А когда вошел мальчик, которого он с товарищем не дорезал, он с ужасом посмотрел на него. Мне кажется, это не окончательно падший человек; я надеюсь, что он поймет свое преступление. Когда я стал говорить в его пользу — в его глазах было дикое изумление... Мне больно за него. Господи! Помоги ему выйти на путь правды и добра! Присудили обоих к каторжным работам, но не так тяжело, как можно было ожидать. Я чувствую, что много таких дел и меня не хватит. Что со мной творилось — я весь дрожал, и мне хотелось плакать. Мне ужасно жаль Попова!»

Изредка удается Александру Владимировичу вырваться в командировку или в отпуск в С.-Петербург, где кипит культурная жизнь, побывать у «доброего Ильи Ефимовича Репина», Апухтина, Герардов и других друзей, освежиться на выставках и концертах.

И снова Вильна, где мысль спит, где не с кем поговорить о литературе. «Даже Катя — умненькая и начитанная — остановилась на классиках и дальше не идет. А ведь живая мысль в журналистике!»

* * *

Идут годы... Рождаются дети. Их было у Жиркевича шесть человек. С восторгом встречает он появление каждого ребенка. Уезжая из дому, неизменно тоскует по «деткам и Каташечке». А в душе разлад. Теряется вера в свой талант, гаснут мечты «создать, что-либо великое»...

Умер маленький сынок... Репин, сочувствуя горю Жиркевичей, шлет им свой рисунок. «Дорогой Илья Ефимович прислал мне и Кате свой чудный рисунок “Христос, благословляющий детей”¹. Без слез нельзя смотреть на Христа и окружающих его деток».

В 1899 г. Александр Владимирович собирается провести отпуск на Кавказе. «Перед поездкой на Кавказ пришлось выехать в Петербург. Остановился у Репина. Он показал мне картину

¹ Рисунок И. Е. Репина «Христос, благословляющий детей» передан Жиркевичем в 1922 г. в Ульяновский художественно-краеведческий музей.

“Искушение Христа”, спрашивал моего мнения... Показывая картину, Репин говорил, что ему не удастся колорит неба. Во время обеда пришла мне мысль предложить ему ехать со мной на Кавказ, где он увидит картины неба в нужном ему освещении. Репин ухватился за эту мысль».

Репин и Жиркевич путешествуют вместе на лошадях по Кавказу и возвращаются через Батум и Новороссийск пароходом.

По дороге Жиркевич читает Репину свои рассказы, из которых Репину особенно понравились «Наезд», «Около великого», «В госпитале». «Он искренне заявил мне, что эти вещи замечательные, оригинальные и создадут мне имя».

В 1899–1900 гг. Жиркевич издаёт книгу «Рассказы. 1892–1899 гг.». На посланный Чехову рассказ «Против убеждения» получает пространное письмо с советами, как писать, чтобы было более убедительно и интересно.

В 1902 г. выходит его сборник стихов «Друзьям». Критика относится к сборнику по-разному.

Бывая в Петербурге, Александр Владимирович, по настоянию Репина, всегда останавливался у него. Гостил и в его имении Здравнёво.

В 1888 г. 8 августа Репин писал Жиркевичу: «Ваше прекрасное лицо, душевный тембр голоса всегда внушали мне полную симпатию и безграничное доверие». В письмах он обращается к Жиркевичу: «Дорогой мой Александр Владимирович!», «Дорогой друг, Александр Владимирович!». Репин заезжал к Жиркевичу в Вильно с сыном, проездом за границу.

Дружба с И. Е. Репиным продолжалась девятнадцать лет. Репин искренне верил, что из Жиркевича выйдет большой писатель. Вероятно, поэтому Репин сделал с А. В. Жиркевича по своей инициативе четыре портрета. Но постепенно Репин, по видимому, разочаровывается в Жиркевиче, так как последний, кроме названных выше поэмы, рассказов и стихов, больше художественных произведений не печатал. Понятна нарастающая досада и раздражение Репина.

Кроме того, в 1905–1906 гг. Репин сочувствовал революционному движению, а Жиркевич прислал ему свои стихи: «У памятника Глинки» и «Воспоминания об Айвазовском», напечатанные в приложении к реакционной газете «Бессарабец». Это взорвало Репина: «Репин, которому я послал книжку “Друг” с моими статьями, выругал меня <...>. Он вообразил, что если я даю мои статьи “Другу”, то вполне солидарен с его редакто-

ром!!» — пишет отец в «Заметках». На этом их отношения обновились. Отец искренне сожалел и охотно шел на примирение, прощая Репину грубый тон письма. Но Репин уклонился.

* * *

В 1900 г. в Вильно, предварительно сговорившись с А. В. Жиркевичем, присылает свои картины для выставки В. В. Верещагин. Отец принимает самое деятельное участие в организации выставки. Находит для нее помещение, развешивает со слугами Верещагина картины, пишет заметки о выставке, чтобы вызвать к ней интерес. «...А Верещагина все нет, и никто не знает, где он. Я выдал уже 200 р. из своих денег на расходы», — пишет отец в дневнике. И запись вечером: «Верещагин приехал! Придя утром на выставку, я застал его у картины — милого, сердечного, любезного и от души с ним расцеловался. Все недоразумения уладились в четверть часа».

Верещагин бывает в доме Жиркевича, знакомится с его женой и детьми. «Моя Марфутка не хотела сходить у него с рук». Выставка проходит успешно. Она приносит Верещагину 1700 р. дохода. «Недурно для Вильны», — говорит Жиркевич.

«Последние слова Верещагина, обращенные ко мне, были: “Ну, прощайте! Буду писать Вам с дороги. Пришлю Вам кусочек солнца”. <...> Войдя в вагон, он сказал: “Идите! А я буду следить, пока не исчезнет Ваша дорогая для меня фигура!” Мне было тяжело с ним расставаться, и я ушел не оглядываясь... Прошло с тех пор много времени, а от Верещагина ни слова! Новые впечатления заслонили ему меня, Вильно и мою Марфуточку».

* * *

В 1901 г. отец едет лечиться в Германию в Вильдунген, а оттуда совершает путешествие во Францию, Австрию, Италию. Он в восторге от красот природы, старины, искусства, но из дому приходят письма с большим опозданием, и беспокойство о жене и детях отравляет его радости.

У меня сохранилось свыше 600 писем отца и матери. Из них много писем этого периода с интересными описаниями путешествий отца.

* * *

Бывая как следователь на гауптвахте, в камере № 14, где содержались подследственные, отец видит с ужасом, в каких

условиях живут заключенные: без прогулок, без наблюдения врача. В камере грязь, вши, клопы, текущая параша, ужасный воздух, помещение не проветривается. Кроме подследственных, тут же находятся и уже осужденные за убийство. Больные сифилисом спят на одних нарах со здоровыми. Никаких книг, никаких развлечений.

Жиркевич связывается с комендантом гауптвахты Шипиным с целью улучшить быт заключенных. Пишет большое «послание» и направляет его через Штаб Военного Округа Командующему войсками военного округа. «В результате гауптвахту почистили, урегулировали вопрос с баней, с посещением врачей» («Пасынки военной службы»). Вильна. 1912 г.).

Книги, по военному уставу, можно было раздавать только религиозные. Жиркевич на свои личные средства создает библиотеку, в которую приносит, кроме книг религиозного содержания, и учебники, советуя грамотным учить неграмотных, и таким образом дает заключенным какое-то занятие. Но всего этого очень мало, чтобы сделать жизнь на гауптвахте более-менее сносной.

В 1902 г. отец едет с докладной запиской к военному министру Куропаткину. В своей записке он рассказывает об ужасных условиях, в которых живут заключенные на гауптвахтах-«клоповниках», в карцерах без света, без прогулок, в грязи... Его любезно приглашают на прием. Куропаткин выслушивает его, туманно обещает разобраться. Но дело так и не движается с места. Два раза отец приезжает в Петербург, пишет в разные инстанции, но все остается по-прежнему.

* * *

В 1903 г. умирает от туберкулезного менингита его одиннадцатилетняя дочь... «В ночь с 23 на 24 августа умерла наша чудная, добрая, умная Варюша — после долгих страданий. И мы с бедной Катей пережили ужас болезни и ужас смерти <...> Боже, Боже!!! Сколько любви было вложено в это дитя и сколько любви оно вносило в нашу жизнь! И мы еще живы с Катей... а дорогая наша птичка, наша гордость не с нами!»

Оставаясь религиозным, Жиркевич пишет: «Смерть детей встает между мной и Богом. За что страдают дети?»

* * *

Часто возникают у Жиркевича недоразумения с начальством. Вот случай, когда под суд попадает офицер за нанесенье

увечья солдату: начальство советует «мягче судить офицера» или «снять обвинение». Но возмущенный Жиркевич — враг рупорства, судит строго и пишет с удовлетворением в «Заметках»: «Быть может, с точки зрения учения Христа, это нехорошее чувство, но порой приятно скрутить мерзавца, дать ему почувствовать, что не всякий произвол и насилие остаются безнаказанны и что есть на свете справедливость». И таких дел немало в его практике.

В 1903 г. в военном госпитале он обнаруживает глубоко возмущивший его случай. Психически здорового жандарма Николаева засадили в отделение для сумасшедших, а так как он сопротивлялся, сторожа, надевая на него смирительную рубашку, зверски избили его, сломав ему ребра, в результате чего он умер. Жиркевич поднимает целое дело против врачей и порядков военного госпиталя. «Пришлось вырывать и вторично вскрывать труп погибшего. И какой мирок военно-врачебных душонок я открыл! Что за бессердечие и подлость!»

В результате поднятой истории в военном госпитале срочно наводятся порядки, и присланная комиссия не находит упущений. Происшествие замазывается, а Жиркевича как неудобного человека переводят в Смоленск. «Мерзавцы, меня разлучающие с городом, наносят моему сердцу жестокую рану <...> Но, хотя бы меня сослали в Якутск, я буду все-таки говорить, что дело <...> Николаева — грязное, возмутительное дело», — записывает отец.

В Смоленске Жиркевич пробыл четыре года. Ему неоднократно предлагают повышение, но он отказывается, все время стремясь обратно в Вильну.

Под городом Красным Смоленской губернии нашел он забытую могилу русских героев 1812 г., поднял вопрос о ее восстановлении, сделал сбор пожертвований и добился установки на ней подходящего памятника.

Кроме основной работы отец работает в обществах Белого и Красного Крестов, на постройке больницы, школы. Он попечитель тюрьмы и детского приюта и участвует в сборе средств для этого приюта.

* * *

В мои детские годы помню оживленную суету в нашем доме в предпраздничные дни. Громадные бельевые корзины, полные свежих булочек, куличей, яиц ставились на извозничью пролет-

ку и развозились отцом с матерью в тюрьмы и приюты. Мать устраивала на Рождество елку для бедных детей с подарками и угощением.

Она любила доставлять радость другим, вспоминая свое грустное детство. Отец моей матери Екатерины Константиновны Снитко умер, когда дети были еще маленькие, а мать ее, наша бабушка, тяжело болела чахоткой и умерла, когда Кате и Андрюше было по 13 лет.

Но нам мать с отцом постарались создать золотое детство. Нас не баловали, нет, но мы были окружены большой любовью и вниманием.

Родители старались дать нам разностороннее образование. Нас учили языкам, музыке, лепке, рисованию. И все это было так интересно! Много радости доставляли зверьки, игрушки и книжки, даримые нам в праздники, а чудесные традиции Рождества и Пасхи оставили незабываемые воспоминания.

Предки матери были униаты. Отец ее и мать православные. В семейных традициях бытовало много разных обрядов. В сочельник и мама, и прислуга не ели ничего до *первой звезды*. Затем большой стол в столовой раздвигался и покрывался соломой (в память рождения Христа на соломе в яслях), а сверху белоснежной скатертью. Подавался обед, на котором присутствовали и хозяйка, и прислуга... Стаканы качались, опрокидывались на солому, суп проливался, к великому удовольствию детей... Отец сидел во главе стола, большая салфетка, заткнутая за воротник, закрывала ему грудь — это по требованию мамы, иначе за разговорами он заливал китель супом. Наши славные кухарки и няня шептали свои католические молитвы, свет долго не зажигался, и в окно смотрели первые звезды... А потом елка до потолка, украшенная не покупными игрушками, а сделанными, под руководством мамы, самими детьми из ваты, бумаги, коробочек, шишек, скорлупок. Много игрушек, сделанных еще в прежние годы талантливой воспитательницей мамы В. И. Пельской, которые наша мать очень ценила и берегла. Заворачивались финики в цветные бумажки в виде хлопушек и инжир, который тогда называли фигами. Вешались на ниточках конфеты, мармелад, яблоки, мандарины.

Еще была традиция ставить башмачки перед камином под Рождество. По-моему, эта традиция пришла к нам с Запада. Теперь во всех семьях делают подарки детишкам под Новый год, а в нашем детстве это было принято не везде... Родители гово-

рили, что придет добрый Дед Мороз, только надо не закрывать выюшку у камина или форточку. Мы подозревали, что это и не Дед Мороз, а, может быть... папа. Уж очень хитрый вид у него бывал в Рождественский сочельник. Мы, дети, стоваривались не спать, подстеречь Деда Мороза или папу... и засыпали в конце концов. А утром какие-нибудь крошечные куколки, шоколадки, коробочки оказывались в наших тапочках.

* * *

В весенний праздник Пасхи были свои традиции. Тут уже верующие постились не до первой звезды, как на Рождество, а позволяли себе «вкусить пищу» лишь ночью, по возвращении из церкви.

Нас укладывали спать пораньше, а часов в 11 ночи поднимали, и к 12-ти мы были уже в церкви. Трогательна была наша детская вера и восторженные чувства, когда после тишины и ожидания в церкви — раскрывались двери алтаря и священник торжественно провозглашал: «Христос Воскресе!»

Отец не входил в церковь, но он любил постоять где-нибудь снаружи храма, послушать красивые церковные напевы, вспомнить свое детство. Вот как он, уже будучи стариком, в письме ко мне от 16 мая 1926 г. из Вильны описывает свои чувства в пасхальную ночь: «Я стоял под деревьями, когда проходил крестный ход и пели первое “Христос Воскресе!”. Все было убого, но искренне и поэтично. Никто меня в полумраке не видел, и я мог плакать свободно — о прошлом, о Родине, о тех, кто уже не встретит со мной Светлый Праздник».

Но вернусь к своим детским воспоминаниям... По возвращении домой мы «разговлялись» — садились все за стол, красиво убранный, уставленный всевозможными яствами — банкухенами (сооружение из теста, но полое внутри), мазурками (польский сухой торт, обсыпанный разноцветными крупинками), куличами, пасхой, яйцами.

Нам, детям, очень нравились тарелочки, на которых был заранее посеян овес, и в зеленую травку клали разноцветные яйца. А некоторые бутылочки оборачивались ватой, поливались водой и в вату сеялся кресс-салат. К празднику кресс-салат прорастал, появлялись крохотные листочки, и вся бутылка становилась зеленою.

На Пасху все дарили друг другу яйца: вареные, но красиво раскрашенные, или фарфоровые, деревянные — очень наряд-

ные. В этот праздник, как и на Рождество, развозили родители подарки заключенным и приютским детям.

И в Смоленске продолжает отец собирать старину, картины. Счастлив, что удалось купить портреты князей Голицыных. (Эти портреты переданы в фонды Литературного музея Л. Н. Толстого в Москве.)

Интересуясь археологией, он участвует в раскопках курганов под Смоленском.

В поисках исторических документов Жиркевич роется в пыли и грязи брошенных архивов Смоленска и Вильны, иногда на рынке у торговцев приобретает ценные бумаги, в которые заворачивали гвозди или селедку, и найденные документы передает в музей.

На чердаке бывших конюшен губернаторского дома в Вильне он находит много брошенных бумаг, относящихся к польскому восстанию 1863 г. На основе собранных и пожертвованных документов создается музей памяти М. Н. Муравьева. «Я вовсе не имел целью создать хвалу Муравьеву, но стремился создать музей, в котором были бы собраны все *за* и *против*, чтобы будущий беспристрастный историк мог сказать свое слово», — пишет отец в своих мемуарах.

Также содействует он и созданию музея при военном собрании в Вильне, где хотел собрать и показать орудия телесных наказаний, против которых всегда боролся.

Найденные интересные документы, имеющие ценность для поляков, посылает в Краков, в Ягеллоновскую библиотеку.

Во многие архивы и музеи Северо-Западного края передавал отец найденные документы. Все, что он собирает, предназначается для будущей истории — «чтобы не пропала старина». И его дом тоже превращается в музей. Много здесь подаренных картин с дружественными надписями и приобретенных у антикваров.

В гостиной висит портрет П. В. Кукольника работы К. Брюллова, портрет Жиркевича работы Репина, его же «Дуэль», картины Айвазовского, Сверчкова, Зырянки, Дубовского, Нестерова и др. Много картин иностранных художников (в 1922 г. все эти картины отец передал в Ульяновский художественный музей.)

Вспоминать сплошь завешенные картинами стены, и, когда на стенах места не хватало, картины вешались даже на дверях, при слабых протестах мамы. В углу гостиной стояла фигура японского самурая в латах и полном вооружении — вечером проходить мимо самурая было страшно... В стеклянных шкафа-

чиках стояли бронзовые колокольчики, цветные шишечки от японских шапочек, бронзовые изящные фигурки. В кабинете отца висел ковер — на нем древнее оружие. Все это можно было рассматривать часами.

* * *

Весной 1908 г. отца наконец возвращают в Вильну на должность судьи. Назначение состоялось в мае 1908 г., а в ноябре того же года, прослужив недолго в должности военного судьи (из этого времени надо исключить три месяца, проведенных в отпуске), отец подает в отставку.

Причиной выхода в отставку было то, что, ознакомившись как военный судья с секретными приказами, циркулярами и инструкциями, исходившими из Главного военного судебного управления под давлением Министерства внутренних дел, Жиркевич не захотел разбирать дел по политическим преступлениям под пристрастным, несправедливым нажимом начальства и выносить явно несправедливые смертные приговоры¹. По этому поводу у него произошел ряд конфликтов с военно-судебным начальством, в том числе с бароном Э. Р. Остен-Сакеном.

Надо заметить, что в это время царское правительство свирепствовало, расправляясь с участниками революции 1905 г., и пользовалось военными судами для широкого применения смертной казни революционной молодежи. Жиркевич считал это несовместимым со своей совестью. Он выходит в отставку с производством в генерал-майоры, но с небольшой пенсией. Отец всегда был противник смертной казни и, будучи прокурором и судьей, не запятнал себя ни одним смертным приговором. Не раз писал он прошения на высочайшее имя, стараясь спасти осужденного на казнь.

В одном из его альбомов хранится запись известного еврейского деятеля (ученого, писателя), друга Жиркевича Ф. Б. Геца, в которой тот описывает, как Жиркевич спас от смертной казни двух евреев, осужденных военным судом. «Одно воспоминание. Из более двадцатилетнего знакомства с вами, глубокоуважаемый Александр Владимирович, сохранилось в моей памяти немало ваших деяний, красноречиво свидетельствующих о вашем естественном влечении к безукоризненному добру и неподкупной правде. Но наиболее памятно мне ваше столь же великодуш-

¹ Памятная записка к уходу Жиркевича в отставку находится в семейном архиве.

ное, сколь и успешное заступничество за двух евреев, невинно осужденных к смертной казни за обвинение в совершении экстроприятия разбойнической. До гроба не забуду, с каким благодарным рвением вы взялись за изучение их дела, чтобы убедиться в их действительной невинности. Я живо припоминаю, как вы обрадовались открытием, что это дело велось крайне пристрасно председателем Варшавского военного окружного суда, который был вам известен как горький пьяница, что без всякого основания не были вызваны свидетели защиты и что оказались, по вашему пониманию и опыту, еще другие существенные упущения в ведении всего этого рокового процесса.

Осчастливлен этим неожиданным открытием, вы с полной уверенностью в опрометчивости судебного приговора отправились к генерал-губернатору, который должен был подтвердить этот вопиющий вердикт, и вам удалось убедить его воздержаться от этого решительного акта, предложив ему подписать составленный вами текст телеграммы на имя Председателя Совета министров Столыпина о замене смертной казни каторгой, чтобы иметь возможность при известных обстоятельствах подвергать это дело пересмотру, чего вы и добились.

Я не нахожу слов, чтобы описывать ваше счастье и вашу радость, когда вы примчались ко мне, чтобы сообщить мне эту радостную весть, как будто речь шла не о совершенно вам неизвестных евреях, а о близких родственниках, особенно дорогих вашему чуткому, любвеобильному сердцу, как вы, сияющий от радости и счастья, меня обняли и целовали за то, что я вам дал возможность спасти невинных людей от виселицы. Моя ныне покойная незабвенная жена и я, увидев ваше <...> вдохновение и увлечение актом человечности высшего порядка, были тронуты до слез и не могли достаточно удивляться вашему душу возвышающему благородству и вашей беспредельной доброте. Могилевская губерния. 13. 11. 1916. Ф. Гец».

Уйдя в отставку, отец продолжает заниматься общественной деятельностью, попечительствуя в тюрьмах и приютах.

* * *

Я была младшей дочерью в семье и помню отца уже пожилым, полным, с густыми седыми усами. Наверно, будучи в отставке, нам, младшим детям, он уделял больше внимания.

Очень любили мы прогулки с отцом. Вильно был тогда небольшим городком, и можно было, гуляя, попасть с улицы Боль-

шой Погулянки, где мы жили, прямо в чудесный лес Закрет или проехать на конке к нашей бабушке на Антоколь (теперь Антокальнис). Отец купил ей домик с маленьким садиком, примыкавшим к горе с сосновым бором и военным кладбищем. На кладбище похоронена была его любимая бабушка Мария Осиповна Астафьева. Весной вся гора покрывалась фиалками, которые мы собирали...

Потом мы жили на набережной реки Вилии в доме № 12. Отсюда мы совершали прогулки на гору Гедемина, которую тогда называли просто Замковая Гора, и собирали там блестящие каштаны. Ездили с родителями в дачное место Верки на маленьком парходике по реке Вилии. Вот это был праздник! Отец делал нам из бумаги птичек и бабочек, которые на ниточках летели сзади нас, когда мы носились по Верковскому парку.

Нас не баловали конфетами и фруктами, поэтому иногда было приятно заболеть. И вот уже папа несет виноград или халву, садится у постели, читает болеющей книжку или рассказывает сказки.

Когда мы были здоровы, мама устраивала нам «душеспасительные чтения», как, посмеиваясь, называл это отец. Из читаемого нам мне запомнилась книга (не знаю, кто был автор ее), называлась она «Во время оно» и повествовала о первых годах христианства. Книга была большая, и чтение ее продолжалось не один месяц. Мы, дети, сидели за столом и что-нибудь мастерили, а мама читала нам вслух. Бывало, приходил и отец послушать чтение и посидеть с нами.

Иногда в свое свободное время отец усаживался с нами перед камином. С волнением, сидя у его ног на ковре, слушали мы нескончаемые приключения «Макаки с макаканятами и Белочки Бобочки» — сказку отца, которую он всегда прерывал на самом интересном месте: «Деткам пора спать!» Иллюстрациями к сказкам служили вырезанные из многократно сложенной бумаги фигурки. Особенно нравились нам вырезаемые отцом чертенята. Все они в развернутом виде держались или за руки, или за хвосты и смешно корчились, поставленные на угольки в камине.

Любя животных, родители и нас приучали жалеть и любить их. Всегда у нас жили какие-нибудь птички или зверюшки. На даче бегали по комнате белочка или ежик, даже как-то принесли нам деревенские мальчишки зайчика... Потом зверюшки убегали или мы сами отпускали их в лес.

Каждая из нас, дочерей, должна была ухаживать за своей птичкой. Всегда были собаки. Наша последняя собачка Маса была вывезена нами из Вильны в 1915 г. и привезена в Симбирск, где пережила с нами всю тяжесть военного времени и погибла в голодные годы. Отец делился с ней своим хлебом. В своей биографии он трогательно пишет о ней, как о человеке.

* * *

Отец возмущался тяжелым положением евреев. В Смоленске в 1905 г. он срывал со стен домов призывы к погромам. Увидев еврейскую девочку, преследуемую мальчишками, забрасывавшими ее грязью, отец разгоняет маленьких погромщиков и отводит девочку домой. Об этом я слышала разговоры в нашей семье, а потом и сама прочла в автобиографии отца.

В доме у нас служили няни-польки, и мама всегда в католические праздники отпускала их в костел и делала им красивые подарки — платочки или ткани. Верхнюю одежду отцу и нам шил пожилой еврей, к которому была очень привязана моя сестра. Увидя его у мамы, она бежала к нему и иногда, подбегая сзади, целовала в ту часть тела, которая соответствовала ее росту, чем очень смущала старика. «Уф! Прямо в спину!» — говорил он. Мама сажала его пить чай, что, по-видимому, было ему приятно. Отношение наших родителей к полякам и евреям и в нас воспитывало уважение к людям другой национальности и другого вероисповедания.

* * *

Лето мы проводили всегда где-нибудь на даче под Вильной. Отец приезжал в воскресенье, так как, несмотря на отставку, был очень занят работой попечителя над тюрьмами и приютами.

Лучше всего нам жилось на даче у маминоного брата *дяди Андриюши*. Мать и дядя Андриюша нежно любили друг друга, а мы просто обожали добрейшего дядю. Но отец считал, что если мама, как родная сестра дяди Андриюши, и может жить на его средства все лето, то ему это неудобно, и не ездил с нами, очень в то же время тоскуя без нас.

Имя Андрея Константиновича Снитко — нашего дяди Андриюши — ныне занесено в Белорусскую Энциклопедию как человека, много сделавшего для повышения культуры Белорусского края и улучшения быта крестьянства.

* * *

В 1912 г. в нашу семью приходит великое горе. Скоропостижно умирает 22-х лет наш старший брат Сергей. Через много лет пишет в своей автобиографии отец: «Самым счастливым днем моей жизни было рождение сына Сергея и самым черным днем была его смерть». Но кругом столько несчастных, столько несправедливостей... Надо помогать людям, и это дает силы жить и отвлекает от личного горя.

Отец издает книгу «Пасынки военной службы», посвящает ее сыну и начинает ее словами: «Продиктованное смертью вступление. Я мирно заканчивал рукопись настоящей книги, когда со мной случилось неожиданно величайшее несчастье, какое только могло постичь меня и мою семью: 3 мая скончался скоропостижно от какой-то невыясненной болезни в Кронштадте, во цвете сил, надежд, дарований, земного счастья, в пылу энергичной служебной деятельности, единственный, любимый сын мой — юный моряк, мичман Сергей, которого я всегда мечтал видеть наследником моих научно-культурных начинаний — их продолжателем...»

В книге «Пасынки военной службы» отец рассказывает об ужасах гауптвахт, о своей борьбе за улучшение быта заключенных, о равнодушии начальства и т.д.

* * *

Посещая тюрьмы в качестве попечителя, Жиркевич наталкивается на дело старца Зосимы, приговоренного к каторжным работам. Арестанты зовут Зосиму «тюремным крестоносцем». Отец, убедившись в физической немощи Зосимы и невозможности им совершить те преступления, которые ему приписывались, в долгих беседах с ним открыл для себя его душевную чистоту и уже после смерти Зосимы выяснил, что он не был ни разу освидетельствован врачами. Жиркевич едет в Пермь¹, достает дело старца Зосимы, целую неделю переписывает его по ночам и на основе дела пишет книги «Жизнь во Христе старца

¹ Тамара Александровна ошиблась: ее отец поехал в Пермь еще при жизни старца. Изучая дело, он убедился в его невиновности, а вернувшись, узнал, что старца решили перевести в Сурдэгский монастырь (Литва). Жиркевич достает шубу, укутывает старца, и его, ослабевшего, в кресле вносят в вагон. Через месяц старец скончался. В настоящее время его мощи перевезены и находятся близ Красноуфимска, в храме, построенном на месте бывшего Святобоголюбского монастыря, основанного архимандритом Зосимой. *Прим. Н. Г. Жиркевич-Подлесских.*

Зосимы» и «Архимандрит Зосима (в мире Дмитрий Рашин) был не виновен», и рассылает свои книги многим высокопоставленным лицам. Этим он обращает на это дело общее внимание и восстанавливает доброе имя Зосимы.

* * *

В 1915 г., во время войны с Германией, Жиркевич с семьей эвакуируется в г. Симбирск, где у него был родственник — двоюродный брат жены художник П. И. Пузыревский. С большими трудностями вывозит он лучшую часть своих коллекций, свой архив, картины, но многое брошено в Вильне.

Симбирск в 1915 г. нас всех очаровал. Город-сад. Весной глядишь с реки на гору — она вся розовая от цветущих вишен и яблонь. Тихий провинциальный городок. Идешь, бывало, по главной улице города — Гончаровской — везде сады, поют соловьи и возвращаются с пастбищ коровы... А какой вид с горы на волжские дали, заливные луга, песчаные и лесистые острова! В разлив все это стоит в воде, и едешь на лодке, между деревьями, как в каком-то сказочном лесу. И Волга — как море.

Мы переменили несколько квартир и, наконец, поселились на Комиссариатской улице, дом № 6 на втором этаже с большой террасой, выходящей на зеленый двор и сад, где нам разрешалось гулять и где весной чудесно в кустах сирени пел соловей.

* * *

Приехав в Симбирск, Жиркевич и здесь начинает свою общественную деятельность, приняв почетную, хоть и без оплаты, должность попечителя симбирской каторжной тюрьмы, женской тюрьмы и исправительного арестантского отделения¹. Он устраивает в тюрьмах чтения, собеседования, после которых принимает от заключенных заявления об облегчении их участи или о бедственном положении их семейств. Хлопочет о снятии кандалов с больших арестантов.

О деятельности Жиркевича в женской тюрьме на Старом Венце написана большая статья в «Епархиальных Ведомостях» (1916, № 20), названная «Лучи света». В ней автор пишет: «Нынешняя великая война, всколыхнувшая Русь от края до края, забросила в Симбирск в августе 1915 г. человека, сумевшего в ко-

¹ А также становится попечителем самых больших госпиталей в городе. *Прим. Н. Г. Жиркевич-Подлесских.*

роткое время переделать жизнь тюрьмы на иной, светлый лад, — генерала Жиркевича, вынужденного эвакуироваться сюда из Вильны». Далее рассказывается, как Жиркевич вместе со священником Цветковым создали в тюрьме церковь. На средства Жиркевича и его жены куплен колокол, устроена больничка на несколько коек, у дверей тюрьмы появился ларь с трогательным воззванием. Ларь, в который стали тотчас же опускаться булки, баранки и другие припасы для больных и детей арестанток, приносимые добрыми обывателями Симбирска. Задуман приют, чтобы отделить детей, которые жили с матерями в тюрьме, и создать им нормальные условия.

В тюрьме Жиркевич натолкнулся на слепых арестантов, отбывающих каторжные работы. Среди них был слепой сапожник Соколов, обвинявшийся в политическом убийстве. Жиркевич подал министру юстиции мотивированное юридическими доводами заявление и доказал незаконность содержания на каторге ослепшего Соколова. Оказалось, что таких арестантов много и по другим губерниям России. Всех их освободили и разместили по богадельням, в том числе и двух из Симбирска (третий умер, не дождавшись свободы). С Соколовым и после его освобождения Жиркевич поддерживает переписку¹. Тогда же, в 1915–16 гг., Жиркевич поднял в Министерстве юстиции вопрос о тех узниках, которые из-за негигиеничных условий тюремной жизни начинают слепнуть; добивался принятия мер для предупреждения этого зла. В его архиве сохранялась переписка об этом.

Вскоре по приезде в Симбирск Жиркевич и его жена стали посещать «Убежище для слепых детей и подростков», устраивали там чтения, носили угощения и подарки по праздникам. Жиркевич списался с Петербургским обществом покровительства слепым и выхлопотал присылку новых книг с выпуклым шрифтом для библиотеки слепых. Слепые дети узнавали Жиркевича и его жену по голосам и встречали их радостными криками.

Поместив слепого Соколова в богадельню и ознакомившись с ее бытом, отец старается по возможности улучшить жизнь ее обитателей. В отдельных случаях своей борьбы с начальством за участь арестованных Жиркевич обращается в Петербург, в частности, к Ан. Ф. Кони.

¹ О симбирском периоде (1915–1925) жизни семьи Жиркевичей см.: «Симбирский дневник генерала А. В. Жиркевича» // ж. «Волга». 1992. № 7–12. Подготовлено к изданию Н. Г. Жиркевич-Подлесских. В 2007 г. издательством «Этерна» переизданы в книге «Потревоженные тени. Симбирский дневник».

* * *

Главной работой своей жизни отец считал свои труды по облегчению пребывания узников в дисциплинарных батальонах. У него скапливается все больше и больше материала. И в Симбирске, путем переписки, он пополняет свое исследование, которое собирался издать и которое, по его мнению, должно было сделать переворот в этом деле. Задумана была большая книга с иллюстрациями, заказанными художнику П. Яковлеву, на которых изображены были страшные сцены — запоротый солдат, розги, заключенные за решеткой в товарном вагоне, ссыльные и их прощание с семьей перед отправкой на каторгу и т.п. С наступлением революции все это уже не понадобилось и осталось в его архиве.

* * *

Вскоре после приезда в Симбирск Жиркевич был назначен инспектором лечебных заведений (тоже неоплачиваемая должность). В его ведении было десять военных лазаретов: на Новом Венце (в Гончаровском доме), в Дворянском собрании, в Александровской больнице, Чувашской школе и других местах. На благотворительные деньги Жиркевич устроил у себя склад махорки для даровой раздачи нижним чинам. Раздавал и книги, помогал раненым иногда и деньгами из своих средств.

Увидев однажды, как хоронят солдат, возмущенный Жиркевич вмешивается и добивается, чтобы солдат хоронили не голыми, везя на телеге из-под навоза, а одетыми, с воинскими почестями, на приличном катафалке, в присутствии священника и ставили крест, а не сваливали в общую могилу.

Работая попечителем тюрем и лазаретов, Жиркевич бывал в здании Чувашской школы, где помещался военный лазарет, и познакомился там с ее инспектором — замечательной личностью Иваном Яковлевичем Яковлевым — просветителем чувашского народа¹. Узнав о его прежней деятельности и необычайной судьбе, отец уговаривает Ивана Яковлевича писать мемуары, но тот не хочет, долго отговариваясь старостью и болезнями. Тогда отец предлагает ему безвозмездно свою помощь: Иван Яковлевич будет устно вспоминать — Жиркевич записы-

¹ *Яковлев Иван Яковлевич* (1848–1930) — выдающийся чувашский просветитель, создатель чувашской письменности, организатор Чувашской школы в Симбирске, центра просвещения и культуры чувашей.

вать. Наконец Иван Яковлевич соглашается, и начинается поистине титанический ежедневный, по несколько часов в день труд, который длился четыре с лишним года, был закончен, передан Жиркевичем сыну Ивана Яковлевича — Алексею Ивановичу и посвящен чувашскому народу.

Вспоминаю, как Иван Яковлевич приезжал в своей пролетке к нам на Комиссариатскую улицу. Помню его грузную старческую фигуру, с трудом сходящую с экипажа. Мы жили на 2-м этаже, и Ивану Яковлевичу трудно было к нам подниматься. Поэтому по большей части работа шла на дому у Яковлевых. Отец забирал меня с собой, и мы шли через весь город в Чувашскую школу, где жил Яковлев. Пока отец увлеченно работал с Иваном Яковлевичем, я, дружившая с его внучкой Катей¹, бежала с ней на речку Свиягу купаться или кататься на лодке. По возвращении нас поила чаем любезная хозяйка, жена Ивана Яковлевича, Екатерина Алексеевна. В доме Яковлевых приглашали часто молодежь, и Екатерина Алексеевна устраивала для внуков вечера, где ставились спектакли силами детей и взрослых, играли на рояле... Иногда и отец с Иваном Яковлевичем присутствовали на вечерах в качестве зрителей.

Мемуарами отец и Иван Яковлевич начали заниматься с 1918 г. и продолжали, несмотря на революцию и гражданскую войну. Оба они так погружались в работу, что не замечали, когда во время гражданской войны бомбили город и рвались не вдалеке от дома снаряды².

Познакомившись с Чувашской школой и ее интересными людьми, Жиркевич организует открытие историко-этнографического музея при Чувашской школе на основе коллекций учителя В. Н. Орлова, куда вносит и свой вклад. Кроме устройства музея и посвящения чувашскому народу воспоминаний Яковлева, как своего труда, Жиркевич устроил в Чувашской школе, в образовавшихся из нее учебных заведениях, ряд лекций для чувашской молодежи: о Толстом (по своим личным воспоминаниям), о значении археологии, музеев вообще и учрежденного им чувашского музея в частности.

¹ *Е. А. Некрасова*, внучка И. Я. Яковлева, в дальнейшем — доктор искусствоведения.

² См.: Яковлев И. Я. «Моя жизнь». М., 1997. На внутренней стороне обложки книги помещен снимок с рукописи Жиркевича. Об истории создания воспоминаний Яковлева сохранились подробные записи в Дневнике Жиркевича. См.: «Симбирский дневник генерала А. В. Жиркевича».

В большой дружбе был Жиркевич с интересной личностью — доктором психиатром В. А. Копосовым, директором Карамзинской колонии душевнобольных. Не раз пешком весной или осенью ходил отец в колонию, находившуюся в нескольких верстах от Симбирска. Многие больные и выздоравливающие его знали, беседовали с ним, дарили ему свои стихи и рисунки. А он одаривал их, чем мог: бумагой, карандашами, книжками, махоркой. Заботился отец и о могилах своих знакомых из Карамзинской больницы. Любовался дивными приволжскими видами и слушал рассказы старого доктора об интересных встречах за границей и его деятельности.

Любил бывать отец и у Дмитрия Ивановича Архангельского — пейзажиста, которому симпатизировал как человеку и чьи акварели всегда очень нравились ему. Весной в доме Архангельского на горе, в окружении цветущих яблонь и вишен, часто засиживался он за стаканом чая в беседе об искусстве.

* * *

В 1917 г., во время революции, из Симбирска бегут в панике «бывшие люди». Жиркевичу предлагают тоже при наступлении красных уехать, но он не хочет никуда уезжать из России. «Зачем? — говорит он. — Я никогда не делал подлости народу, мне нечего бояться».

В Симбирске меняются власти — белые, красные, чехи, снова красные. Жиркевич, не имея другой одежды, расхаживает по городу в генеральской шинели и лампасах, вызывая удивление и недоверие. Три раза его арестовывают по подозрению — не шпион ли он белых или не прячет ли у себя шпионов? Но всякий раз отпускают, хотя один раз пришлось вмешаться Ивану Яковлевичу, который поручился за благонадежность отца.

В годы революции заразился отец черной оспой. Переболел он ею в сравнительно легкой форме. Мама каждый день ходила в больницу и, заглядывая в окна первого этажа, видела отца. Вернувшись из больницы, отец рассказывал, что видел во сне старца Зосиму и верил, что это благодаря его молитвам он выздоровел.

Вспоминая нашу жизнь в Симбирске того времени, скажу, что, несмотря на нужду и лишения, отец с матерью жили удивительно дружно. Мы никогда не слышали, чтобы они ссорились. Единственно, что вызывало неудовольствие отца, это были дни уборок. С утра мать начинала дипломатические разговоры с отцом. «Сашурочка, ты сегодня куда-нибудь пойдешь?» —

«А что?» — подозрительно спрашивал отец. — «Да так...» Стоило отцу выйти за дверь, как мама с нашей прислугой Марьей, приехавшей с нами в Симбирск из Вильны и жившей у нас уже семнадцать лет как свой человек, принимались за уборку комнат и мытье полов. Иногда все проходило хорошо. Но иногда отец неожиданно возвращался, что-нибудь забыв, и тут начиналось: «Развели тут грязь! — шагая через лужи по комнате взад и вперед и мешая женщинам, сердито говорил отец. — На столе все бумаги перепутали! Ведь просил не трогать ничего!» А на столе у него всегда лежал ворох бумаг, который матери казался беспорядком, но в котором отец как-то разбирался. В конце концов мама всегда покоряла отца своей кротостью. Поворчав и не встречая возражений, он быстро остывал, и в доме водворялся мир.

Наша прислуга Марья нашла в Симбирске свое счастье и вышла замуж за вдовца. Мы все присутствовали на ее свадьбе. Мама подарила ей свое подвенечное платье, которое хранила как память... Без Марьи маме пришлось трудно. Мы все учились в дневные часы, а нужно было ходить на рынок за картошкой, овощами, покупать вязанки дров. Мама рассказывала: «Накуплю всего и думаю — как дотащу? И вдруг из-за угла выходит мой ангел-хранитель Сашурочка и помогает мне». Но у папы был порок сердца, и мама старалась все делать сама.

Жили мы с 1918 г. в двух разделенных аркой комнатах. Спали все в одной. Отец — за занавеской. Половина комнаты была завалена тюками с папиными альбомами, мемуарами и письмами. Перед ними стоял папин письменный стол, а в углу — параша, заменявшая нам уборную, так как в это время ни водопровод, ни уборные не действовали. Парашу выносил отец — мы, девочки, стеснялись.

С 18-го по 21-й год, когда не было ни топлива, ни еды, в соседней комнате стояла железная печурка, на которой и кипятили чайник и варили каши из овса или ржаной муки — «саламату», казавшуюся необычайно вкусной, если удавалось раздобыть и подлить в нее постного масла. Печку топили, чем попало, — щепками, тряпками и разбирали соседние заборы. К ночи печка остывала, и приходилось ложиться спать в валенках и пальто. Мыла не было, да и в таком холоде мыться нельзя было. Развелись в невероятном количестве вши, которых без мыла и кипячения белья невозможно было вывести.

В городе свирепствовал сыпной и брюшной тиф. В нашей семье брюшным тифом тяжело болела я. А мать надорвала здо-

ровье тяжелой работой, переживаниями, связанными с арестами отца, его болезнью и моей, когда ей казалось, что она и меня потеряет, как других детей. У нее развилась тяжелая болезнь сердца, начались приступы астмы, а потом водянка. Ее страдания облегчали грелки, и, чтобы согреть самовар, мы с сестрой собирали на улице всякий мусор.

В то время в Поволжье был страшный голод, и нам выдавали по восьмушке хлеба в день. Мама уверяла, что ей плохо от черного хлеба, и всячески старалась отдать нам свою порцию.

Из дома продавалось, менялось на продукты, на хлеб и молоко — белье, одежда, мамины украшения... Но продать или обменять что-либо из папиных коллекций никому не приходило в голову. Все знали, что это собиралось для Родины и не может быть передано в чужие руки... А между тем американцы, организовавшие в то время Помощь голодающим Поволжья — «Ара», как это называли, — узнав о коллекциях отца, предлагали продать хоть часть картин и сулили большие деньги. Но отец решительно отказался.

Когда устанавливается советская власть, отец поступает работать: он учит грамоте красноармейцев и преподает грамоту на командных курсах. Учительствует в школе кожевенного производства, читает лекции, но все это временные и краткосрочные работы... Мы постепенно приспосабливаемся к жизни. Отец работает, сестра Катя дает уроки и получает в уплату продукты. Старшая сестра уехала учиться в Москву и зарабатывает себе сама на жизнь тяжелым физическим трудом¹. Я ведаю хозяйством и ухаживаю за больной матерью. Научились обходиться без мыла. Варится зола, из которой получается едкий щелок, и хоть на руках после стирки в таком щелоке облезала кожа, но избавились от насекомых. Заводим на общественных началах огород у реки Свяги.

* * *

В 1921 г. 26 октября умирает в тяжелой обстановке нужды наша дорогая мама, любимый друг и помощник отца... В своей автобиографии отец пишет, что «со своей женою он был счаст-

¹ Мария Александровна Жиркевич (1899–1983), скрывая свое происхождение, училась на геологическом факультете Московского университета, а по вечерам работала грузчиком. В дальнейшем была руководителем геологических партий, в последние годы своей жизни — зав. кафедрой аспирантуры иностранных студентов Геологического института им. Губкина. Прим. Н. Г. Жиркевич-Подлесских.

лив, как только может быть счастлив человек, найдя в ней, прежде всего, друга, прекрасную женщину и достойную мать своих детей».

После смерти мамы отец очень тосковал и всю свою нежность перенес на нас. Любя всех дочерей одинаково, он особенно жалел меня, самую младшую, неустроенную в жизни, что его очень беспокоило. Старшие сестры нашли свою дорогу: одна — учась в университете, другая — занимаясь медициной¹, уже немного зарабатывали себе на жизнь. Я же занималась музыкой, но еще была в начале пути².

Вероятно, искусство особенно и сблизило меня с отцом. У нас бывали с ним продолжительные разговоры о поэзии, о музыке, живописи. Я делилась с ним прочитанным. Помню, в какой восторг он пришел, когда я достала ему «Жана-Кристофа» Ромена Роллана. Тогда впервые прочел он это произведение. Отец очень радовался, что я посвятила себя музыке. Восторгался моей, конечно, далекой от совершенства игрой, находя главным ее достоинством — чувство. Когда приезжали в Симбирск какие-нибудь артисты — друг ли отца скрипач М. Г. Эрденко, братья Роберт и Рафаил Адельгейм или певица Анна Алексеевна Коломийцева, отец всегда старался провести нас на концерты, доставая нам контрамарки.

* * *

Отец любил работать в ночные часы, когда ничто не мешало думать и вспоминать... Ему не спалось, и он садился за письменный стол, когда за окном была еще ночная тьма. Бывало, проснешься, откроешь на минутку глаза — мягко светят лампа, затемненная бумагой, и освещает лицо отца. «Который час?» — «Спи, спи, четыре часа, еще рано, детка!»

¹ *Екатерина Константиновна Жиркевич* (1902–1966), окончила Ленинградский медицинский институт. Стала педиатром. В годы Отечественной войны работала в госпиталях, пережила вместе с детьми Галиной и Людмилой ленинградскую блокаду. Унаследовав от отца литературный дар, в последние годы жизни писала небольшие рассказы, которые читались по ленинградскому радио. *Прим. Н. Г. Жиркевич-Подлеских.*

² *Тамара Александровна Жиркевич* (1904–1983), младшая дочь Жиркевича. Музыкант по образованию, последние годы своей жизни, с 1971 по 1983 гг., работала с архивом своего отца, сделав краткие выписки, которые стали ориентиром в дальнейшей работе с дневником Жиркевича. Положила начало работе с картотекой упоминаемых лиц в дневнике. С 1986 г. эту работу продолжает ее дочь и внучка А. В. Жиркевича — Н. Г. Жиркевич-Подлеских.

Мне кажется, отец был большой оптимист. Я не помню его жалоб в тяжелые годы гражданской войны, когда мы так нуждались и когда вообще ничего нельзя было купить. Гуляя по улицам, он, нисколько не стесняясь, подбирал все, что находил — гвозди, пуговицы, веревочки и т.п., чем вызывал у нас, молодых, возмущение. «Плюшкин», — с презрением говорили мы ему. Нам казалось, что это унижает его и нас. Но отец посмеивался, не обращая внимания на наше возмущение. И вот приходила такая минута, когда кому-нибудь из нас понадобились, как говорится, «до зарезу» пуговица, веревочка или гвоздик, и тогда, торжествуя, отец извлекал из своих запасов нужную нам вещь, и... приходилось принимать, к его великому удовольствию.

У отца было в Симбирске много друзей. Я сейчас помню только некоторые фамилии: Яковлевы, Ел. В. Василькова, В. С. Гаевский, Н. И. Ашмаринов, Д. И. Архангельский.

Все очень охотно приглашали к себе отца. В самую разлуку, когда встречаться друг с другом было сложно, отец был желанным гостем. Конечно, его везде поили чаем, угощали, кто чем мог. Поэтому он часто отказывался дома от своей порции обеда, говорил, что его уже накормили. А потом начал и нам приносить угощения, рассказывая, что, когда его в гостях чем-нибудь потчевали, — он говорил, что не может есть, так как у него дома голодные дочки. Мы возмущались, стыдили его, но... как в голодные дни отказаться от пирожков с картошкой?!

В те годы Жиркевич, сам нуждаясь, шлет посылки в Москву своему другу по Вильне, еврейскому ученому Ф. Б. Гецу. Пишет трогательное письмо в Американскую Миссию оказания помощи нуждающимся Поволжья «Ара» об умирающем в голоде и холоде художнике Н. Ф. Некрасове и счастлив, что удастся выхлопотать для него и вещи, и питание. Посылает также продуктовые посылки поэту А. А. Коринфскому в Петроград.

* * *

Время идет к старости. Умирают друзья, знакомые. Все меньше приходит писем. Изредка пишет А. Ф. Кони. Как радуется тогда отец!

Вся жизнь ушла на борьбу за улучшение быта заключенных, сумасшедших, слепых, детей, на спасение старины. Все где-то рассеяно, и только в альбомах следы его деятельности — письма, благодарности... и это лишь частица того, за что воевал «Борец за правду», как его называли друзья.

Говоря в автобиографии о себе в третьем лице, отец пишет: «Ему больно видеть развалины того, что он создавал с любовью и убеждением... Но потом его успокаивает, мирит с катастрофами на культурно-благотворительной почве сознание, что все это духовно легло в общую сокровищницу жизни родного ему народа, почему и не может пропасть бесследно, а когда-нибудь в чем-либо еще в грядущем проявится; что имя его забудется — Жиркевича не печалит. Сколько великих русских забыто. Тем не менее незримый след их деятельности остался в душе народной... Так понимать свое личное бессмертие — великое счастье».

Жизнь понемногу входит в мирное русло. Отец много работает архивариусом, но зарабатывает очень мало. Умиравшей жене он дал слово, что приложит все силы, чтобы помочь дочерям получить образование. И вот в 1922 г. он продает в Ульяновский художественный музей свою коллекцию картин. Всегда отдавая коллекции и старину бесплатно, отец горюет, что приходится продавать картины, и назначает минимальную цену¹.

Передача картин вызывает многочисленные отклики в газетах. Так, в «Правде» от 3 августа 1922 г. появляется статья Вавлевского. Статья кончается так: «...революция строго расправ-

¹ Более подробно история с передачей коллекции в Симбирский (Ульяновский) художественно-краеведческий музей и об отъезде Жиркевича выглядит следующим образом. В 1922 г., надеясь на скорый отъезд в Вильну («Две родины-матери — Литва и Россия, которую предпочесть?») — писал в Дневнике Жиркевич, он передал в музей по описи около 2 тысяч единиц своей коллекции: живописные полотна, рисунки, эскизы, предметы историко-культурного значения. («Для Родины и русского народа» — такими словами начинается опись коллекции.) Среди них работы Брюллова, Репина, Айвазовского, Лампи, Заряно, уникальная коллекция акварелей и рисунков русских художников, а также работы зарубежных авторов. Стоимость коллекции он оценил в сумму, равную стоимости проезда по железной дороге от Симбирска до Вильны. Многие пожимали плечами, не понимая его «донкихотского» поступка, а Жиркевич плакал при получении денег оттого, что давно не держал в руках деньги, и оттого, что нарушил свои принципы: только дарить в музей. В благодарность он получил от города пять пудов муки и солдатскую шинель (за неимением другой одежды Жиркевич ходил в генеральской шинели), что по тем временам было немалым подарком. Жиркевич просил разрешения на получение им должности в музее, чтобы быть около своих коллекций, но ему отказали, что также лишило его и средств к существованию. После отказа Польского посольства выдать ему разрешение на въезд в Литву он поступает архивариусом в Губфинотдел, где и влачит жалкое существование. В 1925 г. он снова обращается в Польское посольство, но теперь лишь с просьбой на временный въезд в Литву, для устройства имущественных дел. Передав свой личный архив в Государственный музей Л. Н. Толстого в Москве, в январе 1926 года он уезжает в Литву. Но оказалось, что вступить в права наследования имущества жены он может, лишь приняв постоянное подданство. Таким образом, Жиркевич остается в Литве.

ляется со всеми генералами, подло вредившими ей. Но она с глубочайшей чуткостью относится к тем, кто хочет служить народу, и об этом может также рассказать теперь гражданский генерал из Симбирска».

Деньги тают очень быстро. Жиркевич ищет себе работу, которая дала бы ему возможность помогать дочерям. Предлагает себя в качестве музейного работника, лектора, но безуспешно. В то далекое беспокойное время думать о нем было некому, а о себе хлопотать он не умел. Тогда он решает выехать в Вильну, где надеется найти и продать оставленное при эвакуации имущество.

Перед отъездом, зная, что его учащиеся дочери, живущие по общежитиям, не смогут сохранить его бумаг, он передает их в дар архиву при музее Л. Н. Толстого. Примерно в это же время он жертвует, безвозмездно, свою коллекцию старинного оружия в Румянцевский музей Москвы¹.

Пристроив свои коллекции и свой архив, он уезжает в 1926 г. в родную Вильну. Там ждет его тяжелый удар — все оставленные коллекции и обстановка пропали... Ему удается реализовать кое-что из земельного имущества жены и выслать дочерям деньги.

В марте 1927 г. он тяжело заболел.

Я хотела выхлопотать визу и приехать ухаживать за ним, но слабеющей рукою он пишет: «Не смей приезжать! Я не разрешаю тебе, и мы навсегда рассоримся! Жить же с тобой я не буду! Ваша жизнь должна быть в России — здесь все чужое!!» 13 июля 1927 г. его не стало.

Много делал хорошего отец. Мужественно, часто в ущерб своему материальному благополучию и здоровью боролся он за «униженных и оскорбленных», за спасение старины, и, когда ему удавалось что-то спасти, кому-то помочь, он был поистине счастлив. В своей автобиографии отец пишет, что «разменявшись на мелочи, он не мог создать ничего большого».

Но нельзя назвать «мелочами» ту большую общественную работу, которую он делал всю жизнь, стараясь обратить внимание на участь заключенных в тюрьмах и гауптвахтах и облегчить их существование, хлопоча об освобождении неправильно заключенных, стараясь спасти от каторги, снять кандалы с больных, освободить из тюрьмы слепых.

¹ В 1919 и 1921 гг. Жиркевич передал в Румянцевский музей 29 пудов старинного оружия и орудий пыток.

А его работа в детских приютах, военных госпиталях, хлопоты о пенсиях вдовам, больным, старикам, забота об умалишенных? И разве мелочи — восстановление доброго имени, пусть уже умершего, но невиновного человека и восстановление могил и памятников на них?

А масса коллекций, которые он собирал для истории и жертвовал в музеи Родины? И сколько под его влиянием и при его непосредственном участии написано интересных автобиографий общественными деятелями, художниками, писателями — все это для истории.

И ему не приходило самому в голову, что то «большое» в литературе, что он мечтал создать, это его мемуары — «Заметки».

Когда отец умер, я написала, чтобы его похоронили на лютеранском кладбище в той же могиле, где лежит его любимый сын и стоит памятник, на котором выгравированы стихи отца, посвященные сыну:

Все было в нем необычайно —
Таланты, сердце, ум и красота,
Возвышенность мечты, правдивые уста
И смерти скоротечной тайна...

«Если не успею, ты продолжишь...»

Тамара Александровна Жиркевич (1904–1983), младшая дочь Екатерины Константиновны и Александра Владимировича Жиркевичей, с 1971 г. начала вести систематическую работу с архивом своего отца и вела эту работу тринадцать лет, до самой смерти. В любую погоду, холод, гололед, с больными ногами ехала она на электричке в Москву в Толстовский музей, где с 1925 г. находится огромный личный архив ее отца.

Музыкант по образованию, выйдя на пенсию (но продолжая работать на общественных началах), она решила познакомиться с дневником отца, которого по своему детству помнила как доброго, отзывчивого человека, вечно хлопочущего о нуждах других.

Когда в 1903 г. А. В. Жиркевича переводили по службе из Вильны (Вильнюс) в Смоленск, виленская газета «Западный вестник» (6 ноября) откликнулась на это событие статьей, в которой говорилось: «Наш город должен искренне сожалеть, что лишается такого энергичного и живого человека, такого деятельного гражданина. Смело можно сказать, что не было в Вильне полезного предприятия, на которое он не отозвался бы своею русскою, сочувствующей душой». Помнила Тамара Александровна и многочисленные надписи на фотографиях: «Высокочтимому русскому деятелю Александру Владимировичу Жиркевичу от И. Я. Спрогиса. 4 декабря 1898 г.», «Высокочтимому исследователю западно-русской старины генерал-майору А. В. Жиркевичу на добрую память от автора. 21 октября 1909 г.», «Нелицемерному радетелю русского дела в Северо-Западном крае, многоуважаемому Александру Владимировичу Жиркевичу от Н. Одинцова на добрую память. 1901 г., 12 июня», «Другу страждущих, помощнику беспомощных дарит свою старую физиономию сестра милосердия, искренно чтущая А. Филатова» и другие.

Помнила Тамара Александровна, что отца любили многие известные люди России за смелый, независимый характер и одновременно редкую сострадательность ко всем нуждающимся в ней. Между тем, в 1940–1950-е гг. в первую очередь обращали внимание и подчеркивали генеральство А. В. Жиркевича, ставя ему в вину службу в царском военно-судебном ведомстве. Тамара Александровна сумела просмотреть почти весь дневник (восемь с половиной тысяч листов!), написанный плохо читаемым почерком, сделала важные для нее выписки, обозначила номера тетрадей. Таким образом, было прояснено содержание дневника, который ее отец вел сорок пять лет жизни (1880–1925). Затем эти выписки Тамара Александровна снабдила фотографиями, собрав всё в увесистую рукопись, которую посвятила дочери Наталье.

Шаг за шагом Тамара Александровна стала понимать значение отцовских записей для истории и культуры России. Не один раз она обращалась в редакции, чтобы опубликовать дневник А. В. Жиркевича, но везде получала отказ. Тогда она написала воспоминания о своем детстве, атмосфере в семье, о том, каким помнила отца. Фактически эти воспоминания стали первой биографией А. В. Жиркевича, с примечаниями и указаниями для будущих исследователей. Тамара Александровна положила начало картотеке упоминаемых лиц. Щедро делилась она своими знаниями со всеми, кто интересовался содержанием дневников ее отца, и огорчалась, когда встречала малопорядочных исследователей, «дельцов от культуры».

Тамара Александровна была достойной дочерью своих родителей по искренности, совестливости и преданности делу, которым занималась. В довоенные годы она, готовясь стать концертующим музыкантом, «переиграла» руки, получив заключение врачей о невозможности продолжать музыкальную деятельность. К счастью, врачи ошиблись. Во время Отечественной войны в удмуртском городе Сарапуле, где она оказалась с семьей, Тамара Александровна поняла, что руки перестали болеть, и стала концертмейстером в музыкально-драматическом театре. «К нам домой привезли рояль, и зачастую певцы, профессиональные и самодеятельные, — вспоминает дочь. — Мама часто играла раненым. Помню лес перебинтованных рук, ног, гипсовые повязки... А мама почувствовала свою востребованность и счастье, что своей игрой доставляет радость раненым бойцам».

В августе 1945 г. семья оказалась в подмосковном поселке Фрязино (теперь наукоград). Тамара Александровна пошла в завком, предложив организовать фортепианный кружок. Но время было трудное, послевоенное, и в завкоме сказали, что сейчас не до музыки, на что Тамара Александровна ответила с уверенностью: «Давайте попробуем!» — и повесила на столбе объявление. Набежало двадцать детей! Инструментов в поселке было всего два, позднее появился третий. Помимо занятий с Тамарой Александровной, а занималась она бесплатно, ребята приходили к ней домой учить заданное «на дом». «Я была в школе, — вспоминает дочь Наталья Григорьевна, — отец на работе, мама часто уезжала в Москву за продуктами и в старинную нотную библиотеку, откуда привозила фолианты дореволюционных нот, ключ оставлялся под ковриком».

Вскоре из фортепианного кружка Тамары Александровны возникла музыкальная школа, у истоков которой вместе с Т. А. Жиркевич стояли Б. И. Лебедев и С. С. Забродина.

Стремясь восполнить упущенные годы, Тамара Александровна стала брать частные уроки у одного из профессоров Московской консерватории, и в доме зазвучали: Революционный этюд Шопена, Сонет Петrarки Листа, 17-я соната Бетховена... Желая познакомиться с последними достижениями музыкальной педагогики, Тамара Александровна обратилась в Бабушкинскую музыкальную школу к Татьяне Ивановне Взоровой, тогда заведующей фортепианным отделом, которая владела уникальной методикой преподавания игры на фортепиано. Она потрясающе «ставила» руки, и даже средние ученики показывали высокие результаты. Тамара Александровна регулярно присутствовала на ее уроках. Однажды Татьяна Ивановна попросила поиграть ей. Послушав, сказала: «Если вы хотите овладеть моей методикой, вам нужно самой овладеть ею, т.е. заново “ставить” руки». И в доме зазвучали «Петушок», «Зайчик», детские пьесы. «Помню, мама часами искала нужное прикосновение: “Не так, не получается”. Уже много позже, когда мамы не стало, я узнала, что менять постановку рук после 40 лет нельзя!»

Тамара Александровна с упорством преодолевала все трудности, и все, что она играла ранее, зазвучало преображенным. Конечно, все это передавалось ученикам. На одном из методических занятий в Москве Тамара Александровна показывала одну из первых своих учениц, Лилию Лукошкову, и методист-консультант Гнесинского института Моисей Эммануилович

Фейгин заметил, что впервые слышит эту прелюдию Баха в исполнении ребенка на таком уровне. Затем начались областные конкурсы, многие ученики Тамары Александровны занимали призовые места. Дважды она получала значок от Министерства культуры за педагогические успехи (тогда звание «Заслуженного работника культуры» еще не существовало). Сохранилась старенькая программка заключительного концерта областного конкурса, который проходил в Малом зале Московской консерватории, где играла ее ученица.

Итак, она стала ведущим педагогом школы. Но Тамаре Александровне этого было мало! Ведь из-за «переигранных» рук она не имела диплома об окончании музыкального заведения. И вот, с большим трудом получив разрешение на сдачу экстерном всех предметов в Музыкальном училище им. Ипполитова-Иванова, она и еще две дамы из Бабушкинской музыкальной школы стали посещать групповые занятия. Тамаре Александровне было в это время 47 лет. За два года она прошла курс, рассчитанный на четыре года, по полной программе (16 предметов) и благополучно получила диплом. О том, какой след оставила Тамара Александровна в их жизни, вспоминают ее ученики.

Наталья Калугина (Воронкова): «Моя учительница музыки Тамара Александровна Жиркевич <...> на всю жизнь осталась для меня эталоном культуры. Помнится ее благородная фигура, необыкновенная осанка, одухотворенное лицо <...> Мы жили в г. Фрязино Московской обл. Музыкальная школа была действительно центром культурной жизни города. И Тамара Александровна была одним из проводников культуры не только музыкальной, но и общечеловеческой. В ее доме мы познакомились с книгами по искусству, на стенах комнат висели картины великих художников, наверно, это были копии, но тогда в наших квартирах ничего подобного не было. Когда мы, ее ученики, немного подросли, она стала возить нас в Москву на концерты и в музеи».

Тамара Александровна умерла 21 октября 1983 г. До самого последнего времени она ездила в Государственный музей Л. Н. Толстого, оставив о себе добрую память среди сотрудников.

* * *

Дочь Тамары Александровны Наталья Григорьевна Жиркевич-Подлесских продолжила работу с архивом своего деда, выполнив завещанное: «Если не успею, ты продолжишь».

За более чем тридцатилетний путь исследовательской работы — с 1986 г. по нынешнее время — Наталья Григорьевна подготовила несколько десятков журнальных публикаций и три книги, за одну из которых (А. В. Жиркевич. Встречи с Толстым. Дневники. Письма) получила Горьковскую литературную премию 2011 года. Ее выступления были включены в программы многих конференций. Благодаря трудам Натальи Григорьевны имя Александра Владимировича возвращается на свое заслуженное место в российской истории и культуре.

Путь Наталья Григорьевны как исследователя во многом был определен энциклопедической широтой содержания архива ее деда: Патриарх Тихон и юрист А. Ф. Кони, поэт А. Н. Апухтин и художник М. В. Нестеров... И каждый раз — погружение в неисследованные сюжеты, освоение новых пластов истории и культуры России.

Наталье Григорьевне принадлежит возвращение памяти о забытом уголке Псковской губернии — усадьбе Иваньково и ее незаурядно одаренных владельцах, государственных, военных деятелях. Были найдены уникальные великосветские романсы С. А. Зыбиной, одной из владелиц Иванькова, возможно, самые интересные среди творческого наследия женщин-композиторов XIX века. Наталья Григорьевна издала все материалы о поэте А. Н. Апухтине по архиву Жиркевича; письма юриста А. Ф. Кони, в которых впервые приоткрывался религиозно-нравственный мир его убеждений; изданы новые материалы о художнике М. В. Нестерове, найдены важные дополнительные штрихи к биографиям А. А. Фета, Н. Е. Сверчкова, И. К. Айвазовского. Опубликованы страницы истории Симбирска 1915–1922 гг. Подготовлены и ждут своего выхода в свет письма юриста и драматурга А. А. Навроцкого, поэта А. А. Коринфского, художника В. В. Верещагина.

В 2015 г. в Пушкинском заповеднике «Михайловское» прошла выставка материалов семейного архива Жиркевичей «Самостояние человека», заложившая основу постоянной экспозиции в Ульяновске. В наукограде Фрязино готовится к открытию Культурно-просветительская гостиница им. А. В. Жиркевича.

Директор Пушкинского заповедника Г. В. Василевич сердечно благодарил Наталью Григорьевну «за состоявшуюся выставку, за труды, творческое беспокойство, за несение памяти о близких и дорогих людях», желал «здоровья, сил и помощи Божией в новых трудах на благо людей, в память о великой нашей

истории и культуре, о духовном величии и красоте русских людей девятнадцатого и двадцатого веков».

Писатель и литературный критик В. Я. Курбатов высоко оценил изданную к 200-летию А. С. Пушкина книжку Н. Г. Жиркевич-Подлесских. «Дорогая Наталья Григорьевна! Вот только сейчас нашел время прочитать ста-а-аренюкую книжку “По Пскову-то сам Пушкин мне земляк”, — писал Курбатов в октябре 2016 г. — Читал почти в отчаянье, какое всегда испытываю, видя мучительную красоту. Господи, как же она была умна и прекрасна — милая Екатерина Кирилловна. Каждое слово — свет и счастье. Каждый стих — нежность. Перебираю, как скупой, эти сокровища, перечитывая уже в третий раз и не умея остановиться. Только закрыл последнюю страницу и опять сначала. И вы чудо, и Александр Владимирович, и Сапожков с ослепительным послесловием, и Георгий Николаевич с стихотворным вступлением, и художник Стройло. Как все счастливо сошлось! Какой светлый гимн русской усадьбе! Кинулся искать, чтобы скорее подарить товарищам. Ку-у-уда! Ни следа нигде — ни в Пскове, ни в Михайловском. Видно, это я один такой дурак — поздно прочитал. А остальные-то сразу увидели эту жемчужину и спрятали на груди, чтобы другой не увидел. Спасибо, спасибо, спасибо!»

Еще одно воспоминание и благодарное признание — от Натальи Кисленко, лауреата международных конкурсов, доктора музыки, профессора университета Калифорнии, г. Санта Барбара, США: «Дорогая Наталья Григорьевна! Вы занимаете в моей жизни и моем сердце особенное место — и как первый педагог по фортепиано, и как мой учитель на протяжении всей жизни, и как крестная мама... Мы познакомились в 70-е годы, когда по чистой случайности меня распределили в ваш класс фортепиано в ДМШ 14 в Москве. Невозможно представить, что этой встречи могло не произойти! Какая невероятная удача оказаться рядом с вами — уникальным человеком, всегда готовым поделиться знаниями, опытом и навыками... и потом сохранить нашу связь через годы, несмотря на тысячи километров, которые разделяют наши дома на сегодняшний день. И продолжать заряжаться творческим духом и познавать новое! За восемь лет рядом вы научили меня не только грамотной игре на фортепиано, но и пониманию музыки на очень тонком уровне. Вы подготовили благодатную почву для дальнейшего развития меня как профессионального музыканта в годы формирования, когда это

было особенно важно. Вы понимали важность и необходимость разностороннего знакомства с культурой с самых ранних лет. Были и походы в музеи, на концерты; и поездки по историческим местам России; и совместные творческие проекты, в которых мне посчастливилось участвовать... Из последних, уже во взрослом возрасте, вспоминается музыкально-историческая композиция о композиторе Антоне Рубинштейне и выдающихся женщинах императорского двора (2013 г.). Неопубликованные письма Рубинштейна, которые вы обнаружили в архивах, этот интереснейший материал сразу увлек музыковедов и музыкантов-исполнителей. Какое счастье и честь принять участие в таком замечательном проекте! А таких было много, и все построены на необычайно интересных, свежих материалах из нашей истории. Ваше творческое горение, талант и упорство исследователя, желание открывать новые пласты исторического и культурного наследия и непременно сразу же делиться этими новыми знаниями... эти редкие качества восхищают и не перестают удивлять! Дорогая Наталья Григорьевна! Спасибо тысячу раз за вашу теплоту и щедрость, за вашу дружбу все эти годы, за поддержку и вдохновение».

Исследования и публикации Н. Г. Жиркевич-Подлесских

1. «Жиркевич А. В.» — биографический словарь «Русские писатели. 1800–1917 гг.». М., 1992. Т. 2. С. 269–271. М., «Большая Российская Энциклопедия».
2. «Жиркевич А. В.» — «Ульяновская — Симбирская Энциклопедия». Ульяновск. 2000. Т. 1. С. 204. Ульяновск.
3. «Остен-Сакен Е. К.» — биографический словарь «Русские писатели. 1800–1917 гг.». М., 1999. Т. 4. С. 462.
4. «Остен-Сакен Е. К.» — Пушкинская энциклопедия «Михайловское»: В 3 томах. — село Михайловское — Москва. 2003. Т. I. С. 288–289.
5. «Жиркевич А. В.» — «Лев Толстой и его современники». Энциклопедия. 2008. М. изд. Парад.
6. М. В. Нестеров. «Продолжаю верить в торжество русских идеалов» (письма к А. В. Жиркевичу) // «Наше наследие». 1990. № 3. Публикация Н. Г. Подлесских.
7. А. Жиркевич. Три встречи с Толстым // «Знамя». 1990. № 11.
8. А. Жиркевич. Голод в Поволжье // «Слово». 1991. № X и XII.
9. «Спешите делать добро...» // «Вильнюс». 1992. № 9.
10. Симбирский дневник генерала А. В. Жиркевича // «Волга». 1992. № № 7–12.
11. Александр Жиркевич. Встречи, впечатления, размышления (по страницам дневника) // «Лад». Вильнюс. 1993. № 4.
12. Неизвестные письма А. Ф. Кони к А. В. Жиркевичу // «Знамя». 1995. № 1.
13. Усадьба Иваново: архивы и жизнь // «Лукоморье». Рига. 1995. № 1.
14. «Просто говорили: губернатор» // «Мономах». Ульяновск. 1995. № 2.
15. Новые материалы об А. Н. Апухтине из архива А. В. Жиркевича // «Русская литература». 1998. № 4; 1999. № 3. Публикация Н. Г. Подлесских-Жиркевич.
16. Забытые уголки русской провинции. Усадьба Иваново // «Михайловская Пушкиниана». Сб. статей Государственного музея-заповедника «Михайловское». М., 1999. Выпуск 5.
17. «Накануне патриаршества...» // Богословский сборник № 6. Изд. Православного Свято-Тихоновского Богословского Института. 2000. Вступительная статья Н. Жиркевич.
18. Письма Е. В. Федоровой (секретаря А. А. Фета) к А. В. Жиркевичу // Юбилейный сборник. Курск-Орел. 2000.
19. Л. Н. Толстой и И. Е. Репин (новые материалы из архива А. В. Жиркевича) // Толстовский ежегодник № 1. Государственный музей Л. Н. Толстого (Москва). 2001.

20. «Я имел счастье быть внуком И. С. Жиркевича...» (Витебский губернатор Иван Степанович Жиркевич и его мемуары). // Невельский сборник. Выпуск 8. СПб., Акрополь. 2003. С. 141–151.
21. Неизвестный автограф письма Л. Н. Толстого к художнику Н. Е. Сверчкову // Толстовский ежегодник № 2. Государственный музей Л. Н. Толстого (Москва). 2002.
22. Софья Андреевна и Лев Николаевич Толстые на страницах архива Александра Владимировича Жиркевича // «Друзья и гости Ясной Поляны». Материалы научной конференции, посвященной 160-летию со дня рождения С. А. Толстой. Тула. Издательский дом «Ясная Поляна». 2006 г. С. 87–100.
23. Значение архива А. В. Жиркевича для отечественной истории и культуры // «Коллекционеры и меценаты Поволжья». Материалы V Поливановских чтений. 27–28 ноября 2007 г. С. 5–21.
24. Моя бабушка — Екатерина Константиновна Жиркевич. Из семейной хроники // «Михайловская Пушкиниана». № 47. С. 86–115. — Материалы научно-музейных чтений в Государственном Пушкинском Заповеднике.
25. А. В. Жиркевич и его коллекции // «Художественный вестник» № 3. СПб., 2008. С. 213–13.
26. Дамский альбом начала XIX в. из наследия рода Жиркевичей // «Михайловская Пушкиниана». № 50. С. 181–.... Государственный Музей-Заповедник А. С. Пушкина. 2010.
27. «В гостях у Айвазовского // ж. «Третьяковская галерея». 2010. № 2 (27). С. 35–47.
28. А. А. Пластов и А. В. Жиркевич — собиратель русской культуры // журнал «Международная ассоциация художников «Пластовская осень». 24–27 сентября 2012 г. Ульяновск. 2012 г. С. 113–116.
29. Александр Жиркевич: К моим сокровищам еще придет труженик-историк // Краеведческий журнал «Мономах» № 6 (78) 2013. Ульяновск. С. 52–55.
30. «Служение Отечеству из века в век...» // Віцебскія старожытнасці. Матэрыялы навуковых канферэнцый. Минск. 2013. С. 157–163.
31. «Служение Отечеству из века в век...» // журнал «Край Смоленский». № 2. Смоленск. 2014. С. 8–13.
32. В эвакуации в провинциальном Симбирске. По страницам дневника А. В. Жиркевича. 1914–1918 гг. // журнал «Мономах» № 2 (80). 2014. С. 8–13.
33. Новые материалы о художнике Илье Ефимовиче Репине (по страницам архива А. В. Жиркевича) // журнал «Художник». 2014. № 1.
34. В гостях у Айвазовского // ж. «Третьяковская галерея». 2016. № 4 (53). С. 81–1.
35. «По Пскову-то сам Пушкин мне земляк...». 1999. К 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина. Брошюра. Пресс-служба администрации города Фрязино. Автор Н. Г. Жиркевич-Подлесских.
36. «По Пскову-то сам Пушкин мне земляк...». 2000. Книга. 258 стр. Государственный музей — заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Автор и составитель Н. Г. Жиркевич-Подлесских.
37. «Потревоженные тени. Симбирский дневник». 2007. изд. Этерна. С. 688.
38. «А. В. Жиркевич. Встречи с Толстым. Дневники. Письма». Изд. музея-заповедника «Ясная Поляна». 2009. С. 800.

СОДЕРЖАНИЕ

К ЧИТАТЕЛЮ	7
Глава 1. «ПОТРЕВОЖЕННЫЕ ТЕНИ...»	9
Записки А. В. Жиркевича об истории рода, составленные для дочери Марии	11
Глава 2. ВИТЕБСКИЙ ГУБЕРНАТОР ИВАН СТЕПАНОВИЧ ЖИРКЕВИЧ И ЕГО МЕМУАРЫ	57
Глава 3. «ЛЕТУЧИЕ ЗАМЕТКИ»	111
Дневник А. В. Жиркевича 1880–1881 гг.	113
Глава 4. ИЗ СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ... ..	225
<i>Н. Г. Жиркевич-Подлесских. Моя бабушка — Екатерина Константиновна Жиркевич</i>	227
Письма Кати и Андрея Снитко к Варваре Ивановне Пельской	238
Из переписки Екатерины Константиновны Снитко и Александра Владимировича Жиркевича	266
Глава 5. «И МИЛОСТЬ К ПАДШИМ ПРИЗЫВАЛ...» Из судебной практики А. В. Жиркевича	303
Страницы дневника А. В. Жиркевича	305
Из следственных документов полковника А. В. Жиркевича. Постановление № X	333
<i>А. В. Жиркевич. О необходимости изменить нравственную и материальную стороны быта военных арестантов.</i> Памятная записка	340
Отзыв протопресвитера военного и морского духовенства	349
Военная служба трех поколений	353

Глава 6. «ЛИЧНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ ТАМ, ГДЕ БЕЗМОЛСТВУЮТ АРХИВЫ...»	363
Дневник А. В. Жиркевича. Июнь — октябрь 1888 г.	365
Илья Ефимович Репин. По страницам архива А. В. Жиркевича	431
Поездка А. В. Жиркевича в 1892 г. в усадьбу Здравнёво	441
А. В. Жиркевич и Д. А. Милютин. Переписка	450
Глава 7. «БУДУ ХРАНИТЬ, КАК СВЯТЫНЮ, И ПЕРЕДАМ В НАСЛЕДСТВО...»	467
<i>А. В. Жиркевич</i> . «Свежо предание, а верится с трудом!»	469
Из отчета Виленской публичной библиотеки и Музея за 1903 г.	517
Глава 8. «ЛИРЫ МИРНОЙ ЗВУК» Поэтическое наследие А. В. Жиркевича	519
Глава 9. «А ЧТО-ТО ГОВОРIT МНЕ, ЧТО МЕНЯ ЕЩЕ ВСПОМНЯТ, ЕСЛИ ДОКУМЕНТЫ МОЕЙ ЖИЗНИ СОХРАНЯТСЯ...»	537
«И один в поле воин...». Биография А. В. Жиркевича, составленная его младшей дочерью Тamarой Александровной Жиркевич	539
«Если не успею, ты продолжишь...»	581
Исследования и публикации Н. Г. Жиркевич-Подлесских	588

НАСТОЯЩИЙ ДРУГ РУССКИХ КЛАССИКОВ

Утверждено к печати Ученым Советом
Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН

Редактор
Д. Пряхина

Художественный редактор
Т. Погодина

Корректор
Т. Зиновьева

Компьютерная верстка
А. Муравенко

Ответственная за выпуск
Н. Базанова

Подписано в печать 10.09.2017 г.
Формат 84×108 ¹/₃₂. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 31,08. Уч.-изд. л. 32,5.
Тираж 1300 экз. Заказ №

ООО «ИИА «Пресс-Меню»
129128, Москва, ул. Малахитовая, 21

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленных материалов в

ISBN 978-5-280-03847-9

